



Роман

ТАШКЕНТ
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
КОНЦЕРНА «ШАРК»
1993

Текст печатается по изданию:
ЖОРЖ САНД. Собрание сочинений: в 9-ти т., т. 9, Л.:
«Худож. лит.», 1974.

Перевод с французского
Т. Казанской и Н. Фарфель

Предисловие
Э. Фесенко

Художественное оформление
Г. Жирнова

Санд, ЖОРЖ.

Снеговик: Роман. (Пер. с фр. Т. Казанской,
Н. Фарфель. Предисл. Э. Фесенко). — Т.: «Шарк»,
1993.—528 с.

И (Фр)

Действие романа Жорж Санд «Снеговик», в котором
противостоят друг другу благородный кукольник и жесто-
кий барон, разворачивается на фоне величественной приро-
ды Скандинавии, с ее таинственными преданиями. Напря-
женная любовная интрига и серия загадочных происшеств-
вий подаются писательницей в манере увлекательного ро-
мантического повествования.

© Предисловие. Оформление.
Главная редакция издательско-
полиграфического концерна «Шарк»,
1993.

НА ПОРОГЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Творчество Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) более ста лет вызывает большой интерес у читателей и критики. Кто-то зачитывается ее романами, кто-то не считает их серьезной литературой, но... ее читали и читают. Писательница оставила глубокий и своеобразный след не только во французской, но и в мировой литературе. И, пожалуй, мы должны согласиться с Флобером, который хвалил ее за то, что она спасает веру, надежду и милосердие. Это во все времена так нужно людям.

Одним из наименее известных в нашей стране романов является роман «Снеговик». В течение 1858 года он печатался в журнале «Ревю де дё монд». И в этом же году он был переведен и напечатан в трех номерах журнала «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык». В России книги Санд пользовались неизменным успехом.

Свой роман «Снеговик» Ж. Санд посвятила сыну — Морису Санду.

События в нем происходят в Швеции. Предания Скандинавии, ее жизнь, ее природа интересовали писательницу давно. В период работы над романом она изучала историю Швеции XVIII века. В ее библиотеке в Ноане появились книги «Сцены далекарлийской жизни» Фредерики Бремер, «Швеция и Норвегия» Ле Баса, «Путешествие по северным морям» Ш. Эдмонда.

Роман «Снеговик» имел успех у читателей. Одна из шведских газет 1879 года оценила его так: «Политическую ситуацию и положение в стране писательница охарактеризовала так правдиво, что это сделало бы честь даже шведскому автору».

Жорж Санд сумела глубоко осмыслить один из сложнейших периодов жизни Швеции 70-х годов 18 века, когда был положен конец «эре свобод». Один из героев романа майор Осмунд так охарактеризовал расстановку сил в обществе в тот период, который описывается в романе: на первом месте — дворянство, за ним — духовенство; купечество придерживается патриархальных нравов и мало что значит; крестьянство — ничто, а король — и того меньше...

Автор романа точно указывает время действия — 1770 год и место действия — далекарлийская провинция. С любовью к этому краю Жорж Санд рассказывает о быте далекарлийцев, об их психологии. Адвокат Гёфле дает та-

кую характеристику людям, живущим в Далекарлии: «Эти места можно по праву назвать головой и сердцем Швеции, головой восторженной, полной причудливых вымыслов и возвышенных или нежных грез, сердцем пылким и щедрым, в котором бьется любовь к отчизне... Здесь живут люди, которые не умеют любить и ненавидеть наполовину».

Знакомясь с жизнью этого края, мы узнаем, что далекарлийцы верят во все чудесное, что они гостеприимны и удивительно добродушны по отношению к иностранцам, но «если далекарлиец бывает обычно добр, то он отнюдь не стремится к просвещению»; что королю далекарлийцы служат верой и правдой, если он защищает народ от злоупотреблений дворянства, так как это — первая обязанность королевской власти; что живут далекарлийцы в суровых условиях, что горды и простодушны.

Далекарлия — это область в Швеции, которая известна в истории потому, что в ней началось освободительное движение против владычества Дании.

Период с 1718 по 1772 годы в истории Швеции назывался «эрой свобод». Умер Карл XII, разрушилась абсолютная монархия, большие права получил сословный риксдаг. В стране наступает мир. Но политическая жизнь не замирает: обостряется борьба между феодальной знатью, которая не могла смириться с потерей власти, и чиновным дворянством. Появились две партии: партия «шляп» и партия людей «в ночных колпаках». Более двадцати пяти лет партия «шляп» удерживала власть, ориентируясь на дружбу с Францией. В середине 60-х годов, когда к власти пришли «колпаки», началось сближение Швеции с Россией. Накануне государственного переворота, который совершил Густав III, борьба двух партий резко обострилась. Переворот положил конец «эре свобод». Именно об этом периоде в жизни Швеции и рассказывается в романе «Снеговик» — периоде 60-х годов XVIII века.

Романтический контраст как эстетический принцип видения мира и его противоречий характерен для художественной системы романа. В центре его — два героя. Один из них — жестокий барон Олаус Вальдемор, прозванный Снеговиком. Другой — благородный бродячий кукольник Христиан Вальдо.

Барона Олауса Вальдемора прозвали Снеговиком после возвращения из России, где, как считали, он и заморозил свое сердце, пройдя «школу безбожия и преступления». В России он был «любезно принят» царицей как представитель партии «колпаков», хотя в разговоре с русским послом, которому он предлагает не жалеть денег, чтобы заполучить больше сторонников, говорит, что считает «ребячеством» обе эти партии и «предан России и душой и телом», потому что ему выгодно быть ее сторонником: «Да здравствует Екатерина Великая! Пусть она сунет нас к себе в карман, я возражать не стану. Только бы избавила нас от безумной идеи права и раскрепощения крестьян, это же наша беда! Пусть задаст кнута мещанам да сошлет в Сибирь побольше дворян, которые хотят заправлять по-своему». Бесстыдство, с которым барон предает родину, не знает границ. Он согласен, чтобы Швеция стала частью

России лишь бы ему по-прежнему можно было распоряжаться жизнью людей по своему усмотрению, ибо «богатый дворянин держал в руках судьбы своего края».

Барону было все равно, как к нему относятся люди. По мнению Маргариты Эльведы он был «самый могущественный, самый богатый, самый злой, самый ненавистный» человек. К этому можно добавить и мнение о бароне майора Осмунда: «человек злой, слишком подлый..., способный отправить лучшего друга на виселицу, если ему это выгодно, и для этого он не погнушается никакой клеветой». Барона Олауса подозревали в убийстве родного брата и его жены, его ненавидели, а потом он заставил себя бояться. Его спокойствие, его мертвенная бледность, зловещая улыбка, его красивое, но неподвижное лицо, его распухшие холодные руки наводили ужас. Казалось, он был лишен всех человеческих чувств. Юная Маргарита так сказала о нем однажды: «Он давно мертв, но владеет каким-то дьявольским секретом выдавать себя за живого». Презрение ко всем и тоска во взгляде придавали законченность образу героя-злодея.

Отличительной чертой сандовского героя, начиная с «Индианы», было всегда единство идейно-этического облика, что характерно и для данного романа.

Индивидуализм в эстетической системе Санд — понятие многоаспектное. В «Снеговике» индивидуализм — это роковой изъян души, который губителен и для самого человека, и для тех, кто его окружает (эта мысль звучала в произведениях «Мопра», «Орас», «Лукреция Флориани»).

В 40-е годы в связи с общими закономерностями литературного процесса со взаимодействием романтизма и реализма в произведениях писательницы судьбы героев все больше приводятся в связь с общественными событиями («Симон», «Мопра»). Это мы можем наблюдать и в романе «Снеговик».

Много общего у барона с графиней Эльфридой, которая любит свет и политику, «кокетлива больше из любви и интригам, чем из желания правиться». Она — пылкая сторонница партии «колпаков», интригует в пользу России против Франции, отстаивает интересы знати, выступает против королевской власти, которая искала опоры в горожане и крестьянстве. Она упряма, двулична, убеждена, что не надо «забывать голову любовью», хорошо знает, что «свет — это не сказочный замок, это горнило испытаний..., что под дворцовыми сводами, так же как и в глубинах рудников, есть немало всяких ужасов, которые человек не должен бояться». Препград для ее честолюбия нет. Она готова на все, как и барон Олаус.

Романтический конфликт, который является движущей силой сюжета в романе, предполагает в нем наличие другого лагеря людей, которые воплощают в себе силы разума, добра, благородства (для Жорж Санд всегда важно этическое разрешение конфликта). К этому лагерю относятся Кристиано (Христиан) Вальдо, его приемные родители Гоффриди, Маргарита Эльведа, Стенсон, адвокат Гёфле, майор Осмунд и его друзья, даннеман Ю Бетсой и его семья,

Главный герой романа — Христиан Вальдо. У него внешность романтического героя: высокий рост, синие глаза, пышные волосы. Иногда носит черную маску. Искатель приключений. «Наделен романтическим воображением», «любит поэтические фантазии». Хочет путешествовать, «созерцая и ощущая красоту жизни, новизну ее». Привык нравиться, «не принадлежал к числу отшельников; он был человек своего времени, но вместе с тем не перенял распушенности той среды, куда его забросила судьба». «Он был умен, а потому скромен и прост». Вальдо был наделен духовной и физической силой. Довольно образован, эрудирован в разных областях науки и искусства, знал много языков (в этом большую роль сыграли его приемные родители Гоффреды). Адвокат Гёфле довольно точно определил сущность Христиана, когда познакомился с ним, заметив, что в нем «есть что-то от мужчины и от малого ребенка, от ученого и искателя приключений».

Не случайно с образом Христиана связана тема театра в романе. И начинается роман с экспозиции, в которой его автор сравнивает начало событий, о которых собирается рассказать, с началом театрального действия. И мы вступаем в игру вместе с автором, который поднимается на театральные подмостки, детально описывает место действия (декорации), доверительно разговаривает с читателем, обещая рассказать о событиях, которые произойдут на сцене романа: «Мы просим читателя заглянуть вместе с нами в самую суть истории этой повести, как это бывает в театре, когда поднимается занавес над мизансценой, смысл которой раскроют потом зрителю ее участники».

И любовь главного героя к театру («Я открыю вам красоту и добро через иносказания и притчи»), и пьесы для марионеток, которые он сочинял, и ассоциации со сценой «мышеловки» в «Гамлете» Шекспира, возникающие, когда Христиан решает в замке сыграть спектакль, по сути историю своей жизни, разрушителем которой стал барон, и даже произошедший позднее отказ Христиана от искусства, ибо он понял, что ради него надо отказаться от всего в жизни, — все это проявление типично романтического понимания искусства как высшей закономерности жизни, воплощения ее гармонии и красоты.

Ж. Санд рассказывает нам романтическую историю подкидыша. Французский литературовед Марта Робер разработала теорию, согласно которой в основе всякого романного повествования лежит разрыв между человеком и миром, и он сходит с переживаниями ребенка, разлученного с родителями. Для выражения этих переживаний есть два образа — «найденш» и «бастард» (незаконнорожденный). Первый всегда стремится найти свою семью, второй вынужден сам бороться за себя. И поэтому оба они являют собой разные типы людей: «найденш» всегда пассивен, он ждет, «бастард» активен, он действует.

Трудно однозначно ответить, к какому из этих типов относится Христиан Вальдо. Его судьба типична для «найденша», который не знает, откуда он был привезен, кто его родители, почему он оказался в Италии, правда, в атмосфере любви и заботы. Но активное отношение к жизни

Христиана, его способность постоять за себя, стремление к независимости — это черты «бастарда».

После смерти приемных родителей на дорогах жизни он встретил еще одного человека, ставшего его учителем. Камюс учил его «пожертвовать честолюбием..., любить человечество и не обращать внимание на его предрассудки». Такой гуманистический взгляд формировался в юном Христиане, который позднее признавался, что «привык поступать разумно», что при юношеской чистосердечности и непосредственности не сразу понял, что «недостаточно было избегать зла — надо было творить добро». Будучи человеком, стремящимся к свободе, он встал на сторону «шляп», которые были на стороне Франции, стал противником России, ибо она для него была воплощением рабства (он не знал, что и его отец барон Адель Стан изгонял людей непокорных, упразднил наказание ремнем). И неудивительно, что такие антиподы, как Христиан и барон Олаус Вальдемор оказались в разных партиях.

По законам романтического жанра рядом с героем должна появиться героиня. В романе «Снеговик» — это Маргарита Эльведа. Юная девушка, воспитанная на романах, в которых наказывается порок, презиравшая провинциальных передворцов, пресмыкающихся перед Снеговиком. Это благородная романтическая душа, которая отказывается выйти замуж за барона, говоря о том, что хочет «сохранить свободу чувств и чистую совесть». Христиана в ней пленило то, что «она оставалась самой собой при любых обстоятельствах». Даже ее тетка Эльфрида Эльведа, способная на любовь, выгодный для нее поступок, вынуждена признать: «У нее есть принципы. Будет ли она довольна своей участью, или нет, она себя не уронит».

Когда Маргарита убеждается в благородстве и правоте Христиана, она готова свидетельствовать в его пользу, даже если при этом «лишится доброго имени». Но Маргарита — не эмансипированная женщина, которая поднялась над «женскими слабостями», как это сделала Консуэло и многие другие героини Ж. Санд, и бросила вызов обществу. Не осознавая сразу силу своих чувств, она не позволяет себе полюбить бродячего актера. Ж. Санд не уделяет в этом романе много внимания проблеме социального неравенства, как это было в «Консуэло», когда она рассказывала о перипетиях любви цыганки-певицы и графа Альберта, но описывает сомнения в возможности счастья, которые были и в душе юноши, не звавшего, что он представитель знатного рода, и в душе девушки, понимающей разделяющие их преграды.

В Маргарите Ж. Санд воплотила один из вариантов идеала женщины: «Воспитание женщины будет таким же, как у мужчин, но женское сердце останется убежищем любви, самоотверженности, терпения и милосердия. В жизни, полной грубых чувств, именно она должна спасти христианский дух милосердия. Мир, в котором женщина не играла бы этой роли, был бы очень жалким».

Для женщины Ж. Санд требовала гражданского равенства и равенства чувств. И юная Маргарита непреклонно отстаивала свои права на чувства и независимость. И она,

и Христиан — романтические герои. Их объединяет возвышенный романтический протест против несправедливости.

В основе своей творчество Ж. Санд — романтическое. Она ставила перед искусством задачу «поиска идеальной правды». Она признавала за писателями-реалистами Бальзаком, Флобером и другими право изображать людей такими, «какие они есть», но за собой оставляла право показывать их «такими, какими они должны быть».

Талант Ж. Санд романтический по природе, это видится в бескомпромиссности героев, в пылкости их чувств, в том, как хорошо знала Санд жизнь сердца, какое сочувствие к гонимым чувствуется в ее книгах (и в личном, и в социальном смысле), как прекрасна ее мечта о гармоничном человеке. Все это подняло Ж. Санд к вершинам духовной культуры века.

Вся обстановка романа «Снеговик» прихотливо романтическая: таинственный замок Стольборг, предания об убитых (атмосфера роковых злодейств, как уже было в романе «Ускок» и «Леоне Лионии»), замурованные комнаты, история об алхимике, который превратил тело умершей женщины в черный бриллиант, романтические приключения Христиана, проникшего в чужой одежде на бал в замок, его черная маска за ширмой театра марионеток, удивительные пейзажи северной страны, столкновения с тайной в том романтическом ее понимании, которая есть у Ж. Санд.

Высокая идейность соединяется с занимательностью романа «Снеговик». В центре его тип скитальца и искателя приключений в эту богатую приключениями эпоху, причем, романтические приключения понимаются как вызов обыденному, серому, общепризнанному.

Романтическое творчество Ж. Санд обнаруживает тенденцию к всеохватности. Начав с романов интимно-психологических, уже в них она стремится поставить индивидуальную судьбу героев в более широкий контекст. И закономерно, что большую весомость в ее книгах приобретает тема народа как источник и залог морального обновления (мы уже встречались с этим в романах «Мопра», «Симон», «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана»). Один из героев романа «Жанна» говорит, что народ — это «самое ценное сокровище на земле».

Сюжеты этих произведений строятся на том, что мудрость людей из народа помогает героям, относящимся по рождению к более высоким общественным группам. Так и в романе «Снеговик» маленького сына убитого Адельстана спасают слуга Стенсон, сестра крестьянина Ю. Бетсоа Карина.

Ж. Санд показывает, что у представителей народа — естественное и безошибочное нравственное чувство, способность любить и сострадать, вставать на сторону несправедливо обиженных. Отношения представителей разных классов идеализируются ею в просветительно-утопическом духе.

«Социализм» Ж. Санд далек от классовой определенности. Ее мечта — социальная гармония, примирение классов. Свою мечту о единении людей и сословий она выдвигает как противовес эгоизму и индивидуализму. Проблематику

сословного и классового неравенства она ограничивает часто сферой чувств, обращаясь к теме любви, которая разрушает все препятствия, как это было в «Консуэло» и «Графине Рудольштадт».

Андре Моруа, написавший книгу «Лелия, или жизнь Жорж Санд», рассуждает в ней о том, что философия Санд была простой: мир сотворен добрым господом богом и сила любви, живущая в нас, дана нам им. Надо жить и любить.

И во все времена читатель был благодарен Ж. Санд за благородные чувства, которые она в них пробуждала, за то, что в ее книгах чаще всего добро побеждает зло, за мужественный дух приключений, в которые пускаются ее герои, за веру в любовь.

Адвокат Гёфле говорит в романе такую фразу: «Мы на пороге удивительных событий». Возьмите в руки эту книгу. И вы окажетесь на пороге удивительных событий, которые произойдут с ее героями.

Э. Фесенко,



Морису Санду

Мы просим читателя заглянуть вместе с нами в самую суть интриги этой повести, как это бывает в театре, когда поднимается занавес над мизансценой, смысл которой раскроют потом зрителю ее участники. Поэтому мы просим его тотчас же перенестись вместе с нами туда, где развиваются события, с той лишь разницей, что в театре занавес редко поднимают над пустыми подмостками, а здесь мы с читателем окажемся на несколько мгновений с глазу на глаз.

Ну вот мы и очутились в довольно странном и не очень веселом месте: это, на первый взгляд, правильная прямоугольная комната, в которой все же один угол, северо-восточный, бесспорно, глубже трех остальных, стоит лишь приглядеться к квадрату обшитого темным деревом потолка; выступающие на нем балки тянутся дальше.

Эта неправильность, впрочем, еще подчеркивается деревянной лестницей, перила которой покоятся на балясинах довольно искусной резьбы,—тяжеловесное сооружение, относящееся, видимо, к концу XVI или к началу XVII века. Первые шесть ступеней прерываются маленькой площадкой, а затем лестница круто поворачивает, и последующие шесть ступеней ее упираются в стену. По-видимому, там была когда-то дверь, которую потом заложили. Внутри здание подвергалось кое-какой переделке. Следовало бы заодно убрать и лестницу, только загромождающую помещение. Почему же этого не сделали? Вот, дорогой читатель, вопрос, который мы с вами задаем друг другу. Несмотря на это явное свидетельство почтения или безразличия, комната, которую мы осматриваем, сохранила в неприкосновенности свой старинный комфорт. На большой круглой печке, где давно уже не

разводили огня, стоят прекрасные часы в стиле буль; их потускневшие стекла, ставшие радужными от сырости, отсвечивают в полумраке металлическим блеском. Затейливая медная люстра в голландском вкусе спускается с потолка. С годами она позеленела, и медь сделалась похожей на малахит. Одиннадцать восковых свечей, не тронутых временем, хотя и пожелтевших, торчат еще в широких металлических розетках, которые были хороши тем, что не давали пролиться ни капле воска, и плохи тем, что нижняя часть помещения погружалась во мрак, а весь свет устремлялся вверх, к потолку.

Двенадцатая свеча этой люстры на три четверти сгорела. Обстоятельство это поражает нас, любезный читатель, потому что мы очень внимательно рассматриваем каждую мелочь. Но мы бы вполне могли этого и не заметить, ибо удивительные украшения частично скрывают люстру с ее свечами и ниспадают плотными складками по ее изгибам. Вы, может быть, подумали, что это кусок серой материи, наброшенной сюда когда-то, чтобы уберечь медь. Потрогайте его, если сумеете дотянуться; вы увидите, что это ключья покрытой пылью паутины, похожие на листы пергамента.

Паутины, впрочем, достаточно всюду, по краям закопченных рам огромных фамильных портретов, занимающих три стены комнаты. По углам она нависает довольно правильными оборками, словно, приняв обличье паука, некая суровая и прилежная Парка вздумала завесить своей пряжей все эти запущенные панели и скрыть от глаз каждый закоулок.

Но вам не найти ни одного паука: все они давно уснули или же вымерзли от холода, и если вам надо будет провести ночь в этой мрачной комнате, чего я вам отнюдь не пожелаю, вам даже не удастся отвлечься от чувства одиночества, внимая мерному шороху этих неутомимых тружеников. Часы, которые своим тиканьем напоминают потрескивание работающего паука, и те безмолвствуют. Стрелка остановилась на четырех часах утра бог весть уже сколько лет назад!

Я говорю: на четырех часах утра, ибо в стране, где мы очутились, бой старинных часов иногда указывал на разницу между днем и ночью; потому что в стране этой дни длятся порою только пять часов, а

ночи — девятнадцать. И если, свалившись от усталости после дороги, вы забудетесь мертвым сном, то, когда вы проснетесь, вам нелегко будет сообразить, проспали вы около полусуток или целые сутки. Если бы часы были заведены, они бы вам все это сказали, но их никто не завел, и бог знает, можно ли их вообще завести.

В какой же мы все-таки стране? Об этом мы узнаем сейчас же, не выходя из комнаты. Вверху по всей скошенной стене, в которую вделана лестница и больше половины которой снизу обшито, как и другие стены, дубом, мы видим большие рисунки, повешенные туда, вероятно, из-за своего формата. Растянутые в ширину, они заполняют остаток стены, не одетый деревом. Развесив их так высоко, их не столько выставили для обозрения, сколько убрали с глаз долой, и нам придется подняться на все двенадцать ступенек этой ведущей в стену лестницы, дабы убедиться в том, что продолговатые полосы пергамента, раскрашенные в самые резкие тона, не что иное, как географические или навигационные карты и планы укрепленных городов.

Лестница доводит нас как раз до уровня карты, которая изображает места, где мы находимся, и которую, должно быть, для того сюда и повесили, чтобы, в случае надобности, можно было справиться по ней или чтобы прикрыть заделанный проем там, где была дверь.

Вон тот огромный зеленый змей, что извивается посредине, — это Балтийское море. Наверное, вы сразу узнали его по раздвоенному, как у дельфина, хвосту и по бесчисленным излучинам — фиордам, узким и извилистым заливам, глубоко врезающимся в прибрежные скалы.

Не отклонитесь в сторону Финляндии, вон она там подкрашена желтой охрой; найдите на противоположном берегу среднюю часть Швеции — она темно-красного цвета; вы узнаете по озерам, рекам, горам далекарлийскую провинцию, страну еще довольно дикую во времена, в которые вас перенесет наш рассказ, а именно в прошлом веке, к концу царствования добродушного и суматошного Адольфа-Фридриха Гольштейн-Готторпского, в прошлом любекского протестантского епископа, женатого впоследствии на Ульрике Прусской, друге Вольтера, сестре Фридриха

Великого: словом, насколько я могу судить, мы очутились в 1770 году.

Несколько позже мы увидим, как выглядит эта страна. А пока, дорогой читатель, удовольствуйтесь тем, что узнали: вы находитесь в старой усадьбе, прилепившейся к скале на самой середине замерзшего озера; и это, естественно, наводит вас на мысль, что я вас туда переносу в самый разгар зимы.

В последний раз окинем взглядом комнату, куда она еще наша; ибо, хотя она и очень мрачна и холодна, у нас ее скоро будут оспаривать. Уставлена она мебелью довольно искусной работы, но громоздкой и неуклюжей. Единственное кресло, сравнительно новое, а именно эпохи Людовика XIV, обитое пожелтевшим шелком, все в пятнах, но довольно мягкое и покойное, кажется, заблудилось здесь в чопорном обществе сточенных червями стульев с высокими спинками, наверное простоявших у стены уже больше двадцати лет. Наконец, в углу напротив лестницы, старая кровать с четырьмя кручеными столбами; ее шелковый истертый полог усугубляет своей ветхостью мрачный и унылый вид комнаты.

А теперь уйдем отсюда, читатель. Смотрите, дверь уже открывается, и вам придется положиться на меня, чтобы узнать, какие события произошли и произойдут на сцене, которую я вам только что показал.

I

Вот уже добрых четверть часа в наружные ворота Стольборгского готического замка стучали и названивали; но ветер так яростно свищет, а старый Стенсон совсем оглох! Его обычно выручал племянник, не такой тугой на ухо; да, на беду, племянник, русский верзила Ульфил, верил в нечистую силу и не торопился отпирать. Стенсон, старый управляющий барона Вальдемора, человек болезненный и хмурый, жил в одной из пристроек находившегося в его распоряжении заброшенного замка, который он охранял. Ему показалось, что в ворота стучат, но Ульфил справедливо заметил, что домовые и водяные, каких немало водится в озере, иначе не поступают. И Стенсон со вздохом снова углубился в чтение старинной Библии и вскоре отправился спать.

Но вот у тех, кто стучал, терпение наконец лопнуло; они сломали замок, вошли во двор и сквозь узкую галерею первого этажа вместе со своим ослом вступили в описанную выше комнату, которая называлась медвежьей, ибо на лепном гербе, видневшемся снаружи над окном, был изображен увенчанный короной медведь.

Дверь этой комнаты была обычно заперта. В этот день она оказалась открытой — удивительное обстоятельство, которое, однако, нисколько не озаботило наших пришельцев.

Оба гостя имели довольно странный вид. Один, закутанный в овчину, напоминал несуразное чучело, какие ставят пугалами на огородах или в коноплянике, чтобы отгонять птиц; другой, повыше и постройнее, походил на добродушного итальянского разбойника.

Осел был хорош: крепкий, навьюченный, точно вол, и настолько привыкший к путевым тяготам, что беспрекословно взошел на несколько ступенек и не выказал ни малейшего удивления, ощутив под ногами вместо соломы, как то бывает в конюшнях, еловые доски пола. Однако бедняга прихворнул, и это больше всего заботило того из двух путников, который был выше ростом.

— Знаешь, Пуффо,— сказал он, ставя фонарь на большой стол, занимавший середину комнаты,— Жан простудился. Он просто надывается от кашля.

— Черт побери, а мне-то самому каково!— ответил Пуффо по-итальянски, то есть на том языке, на котором к нему обратился его спутник.— Может быть, вы, хозяин, думаете, что сам я бодр и весел, наезжая с вами по этой чертовой стране?

— Я тоже продрог и устал,— сказал тот, кого Пуффо именовал хозяином,— но что толку жаловаться. Мы добрались сюда, и теперь все дело в том, чтобы не дать себя заморозить. Погляди хорошенько, точно ли это медвежья комната, про которую нам говорили.

— А как мне в этом убедиться?

— Да по географическим картам и по лестнице, которая никуда не ведет. Не так ли нам все описали на мызе

— Почему я знаю,— буркнул Пуффо,— не понимаю я их дурацкого наречия.

С этими словами он взял фонарь, поднял его над головой и сердито проворчал:

— Что, меня географии учили, что ли?

Хозяин глянул вверх и произнес:

— Это тут, конечно. Вон карты, а здесь,— добавил он, быстро вскочив на деревянную лестницу и приподняв висевшую перед ним карту Швеции,— замурованное место. Все в порядке, Пуффо, не надо огчаиваться. Комната закрывается наглухо, мы выспимся как короли.

— Что-то я ничего тут не вижу... А! Вот и кровать! Только нет ни тюфяка, ни подушки, а нам говорили, что тут две хороших постели.

— Неженка! Тебе бы всюду постели! Посмотри-ка, есть ли дрова в печи, да огонь разведи.

— Никаких дров не видать, один уголь.

— Еще лучше. Топи, дружище, топи! А я пока займусь бедным Жаном.

И, схватив валявшийся перед печью лоскут ковра, хозяин принялся так усердно растирать осла, что через несколько минут почувствовал, что и сам отогрелся.

— А меня ведь предупреждали,— обратился он к Пуффо, который растапливал печь,— что ослы не переносят температуру ниже пятидесяти двух градусов, но я не поверил. Я считал, что осел повыносливее лошади, что живет в Лапландии, а Жан у нас крепкий, да еще такой покладистый! Будем надеяться, что он последует нашему примеру и не помрет за эти несколько дней. Бедняга все еще перемогается и покорно несет на спине то, что и двум лошадям не под силу.

— Все едино,— заметил Пуффо, стоя на коленях перед печкой, где огонь начинал уже потрескивать и разгораться,— надо было вам продать в Стокгольме, там на него столько народу зарилось.

— Продать Жана! Чтобы из него чучело для музея сделали? Ну уж нет! Целый год он мне прослужил верой и правдой, и я люблю его, это верный слуга. Как знать, Пуффо, смогу ли я то же самое сказать через год о тебе?

— Благодарствую, господин Кристиано, но мне это все равно! Не больно-то я чувствителен, плевать мне на осла, по мне, было бы что выпить да закусить.

— И то верно. Чувства еде не помеха, я и сам

чертовски проголодался. Послушай, Пуффо, повторим прилежно урок; что нам сказали в новом замке? «Тут вам места не приготовили! Явись вы от имени короля, и то не нашлось бы даже самого малого уголка, куда вас приткнуть. Ступайте-ка на мызу». На мызе нам сказали то же самое, но там дали фонарь и указали дорогу, протоптанную в снегу напрямиком через озеро, и посоветовали пойти в старый замок. Путь был не из приятных, не спорю, сквозь эту пургу, но идти пришлось недолго. Каких-нибудь десять минут! И все же, если ты хочешь поужинать, придется тебе пройти по озеру еще разок.

— А если нас турнут с мызы, как вытурили из нового замка? Нам могут сказать, что и без нас ртов хватает и что у них и ломтя хлеба не найдется для таких, как мы.

— Что верно, то верно, вид у нас неказистый. Вот я и побаиваюсь, что Стенсон, управляющий,— он где-то тут поблизости живет, старик, говорят, препротивный... Так вот, смотри, чтобы он не пальнул по нас из ружья. Но послушай, Пуффо, либо он спит как сурок, мы ведь и замок сломали и преспокойно сюда прошли, либо ветер так воет, что ничего не слышно. Ну ладно, мы потихоньку на кухню проберемся и, черт возьми, чего-нибудь уж раздобудем.

— Благодарю покорно,— сказал Пуффо,— по мне, так уж лучше пройти еще раз по озеру да воротиться на мызу. Там хоть народ и занятой, да обходительный, а вот Стенсон, видать, старик сердитый и злой.

— Делай как знаешь, Пуффо, ступай! И тащи сюда чего-нибудь, чем бы желудок прогреть. Нет, дослушай меня, о мой несравненный спутник! Выслушай раз и навсегда...

— Чего еще?— переспросил Пуффо, собравшийся уже уходить и затягивавший шнурки, которыми завязывался кожух.

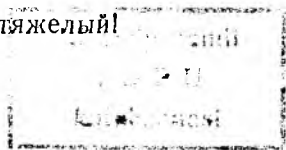
— Подожди-ка, не уноси фонарь,— окликнул его Кристиано,— дай я сперва зажгу свечу в этой люстре.

— А как до них достать? Тут что-то никаких лестниц не видать, в этой вашей проклятушей медвежьей комнате.

— Стань сюда, я влезу тебе на плечи. Выдержишь?

— Давайте! Не больно-то вы тяжелый!

И 9894



— Видишь ли, дружище,— рассуждал хозяин, стоя обеими ногами на широченных плечах Пуффо и держась рукой за один из изгибов люстры, а другой пытаясь вытащить свечу из подсвечника так, чтобы пыльная паутина не попала ему в глаза,— я не имею чести тебя знать. Три месяца мы с тобой блуждаем по белу свету, и, не считая твоего пристрастия к кабачкам, ты, видимо, парень неплохой, но, может быть, ты самый обыкновенный негодяй, и я прямо тебе скажу...

— Так говорите же,— прервал его Пуффо, слегка пошатнувшись,— поторопитесь лучше, чем мне тут правоучения читать. Не такой-то вы легонький, как я поначалу думал!

— Все!— вскричал Кристиано, ловко соскакивая на пол, ибо ему показалось, что помощник не прочь скинуть его вниз.— Свечку я раздобыл и теперь хочу договорить то, что начал. Сейчас мы с тобой как цыгане, Пуффо, два бедных странника. Но я привык поступать разумно, а тебе иной раз нравится вести себя как последняя скотина. Так знай: в моих глазах самое нелепое, самое подлое, что может сделать человек,— это украсть.

— Где это вы видели, чтобы я когда что украл?— мрачно спросил Пуффо.

— Уж если бы случилось мне застать тебя с личным, так я бы тебе шею наkostenял, дружище. Вот и хорошо, что я могу раз и навсегда тебя предупредить, какой у меня нрав. Только что я тебе втолковывал: постарайся раздобыть чего-нибудь поужинать либо уговорами, либо хитростью. Это наше право. Нас заманили в эти райские снега, чтобы мы потешили своими талантами большое и знатное общество. Нам выслали проездные, а если их уже не осталось, то не наша в том вина. Нам обещают кругленькую сумму, и я с тобой щедро поделюсь, хотя ты всего-навсего подмастерье, а мастер-то я; мы должны почитать себя довольными при условии, что нам не дадут сдохнуть с голоду и холоду. И надо же так случиться, что мы являемся среди ночи и как раз в то время, когда знатное общество изволит ужинать, когда у почтенных лакеев слюнки текут, а запоздалым путникам и мечтать ни о какой еде не приходится. Попытаемся же и мы поужинать сегодня, чтобы завтра приняться за свои обязанности.

Стянув какие-нибудь кушанья и бутылочку-другую вина, мы нисколько не согрешим и покажем, что мы не дураки; а вот начини мы запихивать в карманы серебряные приборы и прятать под седлом нашего осла салфетки и скатерти, мы, чего доброго, и сами угодим в ослы: ведь серебряными-то приборами сыт не будешь, а салфетки да скатерти под седлом порвутся. Понял, Пуффо? Раздобыть себе пропитание позволительно, только чур — не красть, а не то у меня сотню палок получишь. Вот как я смотрю на вещи.

— Ладно,— согласился Пуффо, пожимая плечами,— я вас вдосталь наслушался! Ну и болтун же вы!

И Пуффо удалился, забрав фонарь, крайне недовольный хозяином, который, однако, имел все основания заподозрить его честность, находя время от времени в своей поклаже бродячего актера различные предметы, внезапное появление которых Пуффо объяснял не очень-то убедительно.

И все же он не напрасно обвинял Кристиано в болтливости. Во всяком случае, хозяин его любил поговорить, как все люди, наделенные духовной и физической силой. Слуга чувствовал превосходство ума и природных качеств Кристиано, которые не шли ни в какое сравнение с его, Пуффо, вульгарным обращением и грубыми привычками. Он был покрепче скроен, и когда высокий и худой Кристиано пригрозил ему — кряжистому и приземистому ливорнцу, он больше полагался на свое влияние и ловкость, нежели на силу, хотя и изрядную: в этом он ему уступал.

Оставшись в одиночестве, Кристиано принялся ухаживать за своим ослом, к которому успел уже привязаться. Как только они вошли в медвежью комнату, он сразу же освободил его от поклажи. Он сложил в уголок все добро, состоявшее из двух порядочных сундуков, связки легких выструганных подпорок с разобранными перекладинами, из тюка свежерасписанных занавесов и кулис, плотно скатанных и завернутых в кожаный чехол. Все это составляло его актерское имущество, это было его ремесло, его кусок хлеба. Гардероб у него был не обременительный. Он состоял из узелка с бельем да грубого суконного балахона, который, как только хозяин

сбрасывал его с плеч, служил попоной ослу. Все прочее было на Кристиано, а именно: сильно поношенный венецианский плащ или что-то в этом роде, грубые штаны да три пары шерстяных чулок, натянутых одна поверх другой.

Чтобы удобнее было раскладывать вещи, Кристиано скинул плащ, шерстяную шапочку и широкополую шляпу. Это был высокий, стройный молодой человек с замечательно красивым лицом, обрамленным копною растрепанных черных волос.

В комнате стало уже заметно теплее, да и юношу так хорошо грела кровь, что он не очень-то ощущал холод. Расхаживая в жилете взад и вперед, он готовился поудобнее устроиться на ночлег. Его не так заботило, будут ли обещанные постели, как найдется ли Жану попить и поесть.

— Как я сглупил,— корил он себя,— что не подумал об этом, пока мы останавливались в новом замке или на мызе; но мыслимо ли о чем-то думать, когда ветер сыплет ледяными колючками в глаза! На мызе нас заверяли (теперь-то как подумаешь, сразу понятно, что говорилось это в насмешку), что будто в старом замке всего вволю найдется, лишь бы старику Стенсону заблагорассудилось нас пустить: но, как видно, ему неохота было это делать, раз уж нам пришлось вламываться самим. Ну, будь что будет, а надо узнать, как цербер сей лачуги взглянет на все это. В конце концов, приглашение у меня в кармане, и если меня отсюда погонят, уж я им покажу.

После чего Кристиано отвел Жана с кладью в закуток под деревянной лестницей и, отыскивая со свечой в руке гвоздь или какой-нибудь болт, чтобы привязать осла, обнаружил, что дверь в стене в самой глубине подклети отворялась, уводя в удлиненный угол комнаты.

Так как он не заметил ничего необычного в планировке, то не мог в точности определить, попал ли он в проход в толще стены или промеж двух стенок, сходящихся вверху. Он толкнул потайную дверь — она действительно была потайная, — не ожидая, что она окажется отпертой, и, убедившись, что ее ничто не держит, осторожно пошел вперед наудачу. Не успел он сделать и трех шагов, как свеча погасла. По счастью, печь пылала всюю, и от нее он

запалил фитилек, прислушиваясь чуть ли не с радостью к пронзительному и тоскливому завыванию ветра, гулявшего по потайному ходу.

Кристиано был наделен романтическим воображением и любил поэтические фантазии. Ему чудилось, что духи, издавна заключенные в этой покинутой комнате, сетуют на то, что кто-то проник в их тайны. А так как к тому же он опасался, как бы от мороза у бедного Жана не усилился насморк, он, выходя, тщательно прикрыл за собою дверь, обратив внимание на то, что снаружи она была снабжена крепкими засовами; но и собственной тяжести было достаточно, чтобы прижать ее к притолоке.

Предоставим же ему идти к новым открытиям и введем в медвежью комнату нового путника.

Этот тоже попал сюда неожиданно-негаданно, но сопровождает его Ульфил и почтительно ему светит, а следом за ним идет мальчик-лакей, одетый во все красное, и дрожит от холода. Все трое говорят по-далекарлийски и еще не миновали двора: на лице Ульфила написан страх, на лицах его обоих спутников — нетерпение.

— Ладно, Ульф, ладно, мой мальчик, довольно любезностей. Посвети нам только до пресловутой медвежьей комнаты и поскорее займись лошадыю. Она у меня вся в мыле после того, как втащила сани на эту скалу. Эх, и добрый же конь! Не хотел бы я с ним расстаться даже за десять тысяч риксдалеров!

Так беседовал с Ульфом главный адвокат города Гевалы, доктор прав Лундского университета.

— Как, господин Гёфле¹, неужто вы хотите тут заночевать? Мыслимое ли дело?..

— Молчи, молчи. Я знаю, наш славный Стен будет недоволен, но когда я там устроюсь, ему придется с этим примириться. Займись лошадыю, говорят тебе... Я и сам отлично найду дорогу.

— Что же, господин адвокат, вы так и явитесь туда среди ночи со своим внуком?

— Болван! Ты прекрасно знаешь, что у меня нет детей! А ну-ка, Нильс, помоги мне распрячь беднягу

¹ Гевала, Гефле, Гёфле — названия одного и того же города в различном написании. По случайному совпадению адвокат, о котором здесь идет речь, носил имя города, в котором он практиковал. (Прим. автора.)

Локи. Видишь, здесь только болтать умеют. Ну-ка, пошевеливайся! Или ты промерз насквозь за каких-нибудь три-четыре часа ночного пути?

— Полноте, полноте, господин Гёфле, он еще слишком мал,— вступился Ульфил, задетый упреком адвоката.— Ступайте направо в первую дверь, укройтесь там, а о лошади я позабочусь.

— Ба! Никак снег перестал. И мороз полегчал после метели,— продолжал Гёфле, которого профессия и природная склонность делали таким же разговорчивым, как и Кристиано.— Я ничуть не замерз и ежेलю поем хорошей каши и выкурю трубочку на сон грядущий... Ну-ка, Нильс, поди отнеси что-нибудь в комнату, это тебя займет, и ты отогреешься. Как, ты уже спишь? Еще и семи нет.

— Господин Гёфле,— проговорил мальчик, стуча зубами,— давным-давно уже стемнело, а мне в темноте всегда страшно!

— Страшно! Чего же ты боишься? Полно, не унывай; в это время года день прибавляется на полторы минуты.

Рассуждая так, Гёфле, сухопарый мужчина лет шестидесяти, живой и подвижный, сам повел лошадь в конюшню, тогда как Ульфил убирал сани и сбрую с бубенчиками, а маленький Нильс, сидя на тюках, не переставал ежиться от холода под деревянным навесом, окружавшим двор.

Когда Гёфле убедился, что его дорогой Локи, изящный и благородный конь, которого он назвал именем Прометея скандинавских саг, не будет ни в чем терпеть нужды, он уверенным шагом направился к медвежьей комнате.

— Подождите, подождите, господин адвокат,— окликнул его Ульфил,— это не здесь. Комната на двоих, что зовется караульной...

— Это, черт возьми, я и без тебя знаю,— ответил Гёфле,— я там уже ночевал.

— Может статься, да только давно. Сейчас там все в негодность пришло.

— Ну ладно, если она не годится, так приготовь мне постель в медвежьей комнате.

— Как, в комнате, что называют...

Ульф не посмел договорить, столь неслыханной показалась ему мысль Гёфле; однако, набравшись храбрости, он продолжал:

— Нет, господин адвокат, нет, это невозможно, вы шутки шутите! Пойду-ка поищу ключ от той комнаты, может там получше, дядюшка туда иногда заходит, и коль скоро из нее есть другая дверь в галерею, вам не придется проходить через комнату... ну сами знаете какую...

— Как! Давным-давно уже лестничную дверь замуравали, а за этой комнатой до сих пор еще дурная слава? Знаешь, Ульф, очень уж ты глуп, изволь-ка отпереть дверь сию же минуту. Слишком тут холодно дожидаться, покуда ты сходишь за другими ключами, а у тебя есть...

— Нету их у меня!— завопил Ульфил.— Вот ей-ей, господин Гёфле, нет у меня никаких ключей — ни от медвежатни, ни от караульни.

Преираясь таким образом, Гёфле, в сопровождении не охотно светившего ему Ульфа и Нильса, который шел за ним по пятам, добрался до первых дверей сторожевой башни, внизу которой находилась медвежья комната. Дверь была закрыта на один только наружный засов, и адвокат беспрепятственно проник в темную прихожую, поднялся на три ступеньки и толкнул дверь в комнату, которая поддалась под нетерпеливой рукой и распахнулась настежь с таким жалобным стоном, что Нильс в ужасе попятился.

— Отперта! Она отперта?— завопил Ульфил, побледнев настолько, насколько было способно бледнеть его лоснящееся красное лицо.

— Ну и что с того?— осведомился Гёфле.— Просто, должно быть, Стенсон тут побывал.

— Никогда он сюда не заходит, господин Гёфле. Нет уж, можно не опасаться, он сюда не заглянет!

— Тем лучше, значит, я могу спокойно располагаться, не стесняя его, он даже и не заметит. Но что ты там городишь? Ясное дело, сюда приходят, печьто вон как пылает!.. А! Теперь я понимаю, в чем дело, сударь мой. Ты сдал внаем эту комнату или пообещал кому-то, кого ждешь. Ну что ж, тем хуже! Раз уж мне не нашлось местечка в новом замке, хоть здесь-то для меня уголок найдется. Не тужи, мой мальчик, я заплачу тебе не меньше всякого другого. Зажги светильники... верней разыщи для них масла, а потом раздобудь простыни, грелку — словом, все, что надо, да про ужин-то смотри не забудь! Нильс тебе подсобит, он у нас проворный, шустрый, в общем

славный малый. Ну-ка, Нильс, поворачивайся; ступай, найди сам ту комнату, где мы должны ночевать, караульную, как ее называет Ульфил. Я-то знаю, где она, только не хочу тебе говорить. Поищи, покажи, что ты малый сообразительный, Нильс!

Но то был глас вопиющего в пустыне. Ульф, стоявший посреди комнаты, словно окаменел, Нильс отогревал руки у печки, и адвокату пришлось устроиваться самому.

Наконец Ульф тяжело вздохнул — от его вздоха, казалось, и мельница завертится — и вскричал крайне возбужденно:

— Вот уж по чести, господин Гёфле, клянусь вечным спасением, никому я этой комнаты не сдавал и не обещал. Как вы могли этакое на меня подумать, зная, что тут водилось, да и сейчас еще водится. Что вы! Да ни за что на свете дядюшка Стенсон не согласился бы вас тут оставить! Пойду скажу ему, что вы приехали, и раз уж за вами не оставили покои в новом замке, так он вам уступит свои в старом.

— Ну, а на это я не соглашусь,— возразил Гёфле,— и вообще не смей говорить ему, что я приехал. Завтра он узнает, что мне и здесь хорошо: караульная маловата, там только спать можно. Эта комната будет мне гостиной и рабочим кабинетом. Она, правда, не очень веселенькая. Но три-четыре дня я проживу здесь спокойно.

— Спокойно!— вскричал Ульф.— Спокойно, там, где нечисть водится?

— С чего ты это взял, дорогой мой Ульф?— с улыбкой спросил доктор прав, меж тем как маленький Нильс дрожал от стужи и от страха.

— А вот с чего,— мрачно и важно ответил Ульф.— Три причины тому есть: во-первых, ворота во двор настежь стояли, а я их своими руками запираю, как солдате село; во-вторых, дверь этой комнаты тоже была открыта, а такого я пять лет не видывал, с тех пор, как хожу убирать и дяде прислуживать; в-третьих — самое немыслимое, что тут уже лет двадцать огня не разводили, если не больше, а вот и пламя полыхает и печка горячая!.. Наконец... Погодите, господин доктор, ага, вот на полу воску только что накапали, и все же...

— И все же сам ты воску и накапал, потому, что фонарь набок наклонил.

— Нет, господин Гёфле, нет, потому что моя-то свеча сальная, а тут под люстрой поглядите-ка!

И, задрав голову, Ульф вскрикнул от ужаса, убедившись, что вместо одиннадцати с половиной свечей в люстре было на одну свечу меньше.

Адвокат был по природе человеком добродушным и жизнерадостным. Вместе того чтобы рассердиться на опасения Ульфила и страхи Нильса, он решил надо всем этим позабавиться.

— Вот как!— сказал он вполне серьезно.— Выходит, здесь поселились кобольды, а я всю жизнь только и мечтал с ними познакомиться, но мне так и не довелось ни одного увидеть, и захоти они мне явиться, я только порадуюсь, что выбрал эту комнату, где я буду спать под их любезным покровительством.

— Нет, господин доктор, нет,— воскликнул Ульф,— нет здесь никаких кобольдов; это дурное, проклятое место, вы же сами знаете, такое место, куда озерные тролли приходят все переворачивать и портить, как и полагается подобной нечисти; а маленькие кобольды — те добры к людям и только стараются им услужить. Кобольды охраняют, а не растаскивают. Они ничего не уносят...

— Наоборот, приносят! Все это я знаю, господин Ульф, но почему ты решил, что у меня нет в услужении кобольда, которого я выслал вперед? Он и свечку взял и огонь развел, чтобы, когда я приеду, здесь было тепло, он и двери заранее поотворял, зная, что ты изрядный трус и мне пришлось бы порядочно прождать; а теперь он еще и тебя проводит и поможет принести мне ужин (у тебя ведь есть такое доброе намерение?), а то, знаешь, кобольды терпеть не могут нерадивых и служат только тем, кто сам готов услужить.

Такое объяснение, казалось, несколько успокоило обоих слушателей; Нильс осмелел до того, что стал удивленно разглядывать своими огромными голубыми глазами потемневшие стены комнаты, а Ульф, передав ему ключ от шкафа в караульне, решил пойти приготовить ужин.

— Послушай, Нильс,— сказал адвокат своему маленькому лакею,— фонарь этот никуда не годен, с ним ничего не увидишь. Успеешь застелить постели, а пока разбери-ка чемодан. Поставь его на стул.

— Но, господин доктор,— возразил мальчик,— мне его и не поднять, он тяжеленный!

— И то правда, там бумаги, а это большая тяжесть.

Адвокат сам с некоторым усилием поставил чемодан на стул, добавив:

— Возьми хоть сундучок с одеждой. Я захватил только самое необходимое, он ничего не весит.

Нильс повиновался, но ему не удалось отпереть всякий замок.

— Я думал, ты половчее!— заметил адвокат, несколько нетерпеливо.— Твоя тетка уверяла... Да, кажется, она тебя перехвалила!

— Что вы, я отлично умею открывать незапертые чемоданы!— вскричал Нильс.— А скажите, господин Гёфле, у вас взаправду есть кобальд?

— Что, что? Кобальд? Ах, совсем позабыл. Ты, значит, веришь в кобальдов, мой мальчик?

— Да, если они есть. А они никогда не бывают влыми?

— Никогда, тем более, что их вовсе не существует.

— Как так! Вы же сами говорили...

— Говорил, чтобы посмеяться над этим дурнем. А тебя, Нильс, я вовсе не собираюсь воспитывать на подобных глупостях. Знаешь, мне хочется сделать из тебя не только хорошего слугу, но и немножко поблесать и научить уму-разуму, если сумею.

— Господин Гёфле, а вот тетка Гертруда верит и в добрых духов и в злых!

— Экономка моя в них верит? При мне она этим не хвалится. Подумать только, как морочат нас люди. Она всегда так здраво рассуждает, когда мне удастся поговорить с ней... Да нет, ты шутишь, не верит она в них; просто так сказала, чтобы тебя позабавить.

— И ничуть это не забавно, мне страшно! Я уснуть не мог.

— Ну, тогда она это напрасно. Но что ты там делаешь? Разве так разбирают чемодан, ты же все на пол побросал! Так ли фалунский пастор учил тебя прислуживать?

— Но, господин Гёфле, я не прислуживал пастору. Он взял меня, чтобы я играл с его мальчиком, когда тот хворал, вот уж где мы позабавлялись! Целыми

днями бумажные лодочки мастерили или лепили са-
ночки из хлебного мякиша!

— Вот как, это надо запомнить!— гневно восклик-
нул доктор прав.— А Гертруда-то мне говорила, что
ты был так нужен в доме!

— О господин Гёфле, я был там очень полезен.

— Ну, еще бы! Для всяких бумажных лодочек да
саночек из мякиша! Конечно, это дело полезное, но
если в твои годы ты ничего другого не умеешь...

— Нет, господин Гёфле, я умею не меньше, чем
всякий другой десятилетний мальчишка!

— Десятилетний, ишь ты, разбойник! Тебе только
десять лет? А твоя тетка уверяла, что тебе не то три-
надцать, не то четырнадцать! Ну, что там с тобой,
глупыш? Чего ты ревешь?

— Каково мне, господин доктор, коли вы меня
браните! Я ведь не виноват, что мне только десять.

— И то верно! Вот твое первое здоровое слово с
самого утра, когда мне выпало счастье заполучить
тебя в услужение. Полно, утри-ка глаза и нос! Я на
тебя не сержусь. Ты рослый и сильный для своих лет,
ну и ладно, а чего не умеешь, тому научишься, не
так ли?

— Ну конечно, господин Гёфле, я очень хочу!

— А ты скоро научишься? Я ведь нетерпелив,
предупреждаю!

— Да, да, господин Гёфле, я быстро-быстро на-
учусь.

— Постель стелить умеешь?

— О, еще бы! У пастора я всегда сам себе стелил.

— Или вовсе не стелил! Ну да все равно, по-
смотрим.

— Господин Гёфле, когда тетенька нынче утром
пришла в Фалун, чтобы отправить меня вместе с
вами, она мне сказала: «Ты ничего не будешь делать
в замке, куда поедешь со своим хозяином. В замке
барона... барона...»

— Вальдемора.

— Да, да, вот именно! «Там красивые комнаты,
всегда чисто прибранные, и тьма прислуги, которая
все делает. Что господину Гёфле нужно, так это что-
бы кто-то был при нем и за него приказывал, он не
хочет больше брать Франсуа, потому что его никогда
не дозовешься. Вечно он пьет да гуляет с другими
лакеями, а господину приходится самому всюду бе-

гать и кликать, чтобы добиться того, что нужно. Ему это неудобно. Господину это страсть как не нравится. А ты будешь умницей, ты его никогда не оставишь, понятно? Распорядишься, чтобы подавали, а заодно и тебе подадут».

— Так вот,— сказал доктор,— вот на что ты рассчитывал?

— Еще бы! Я ведь послушный и все понимаю, господин Гёфле, я вас не покину, не побегу за большими дворцовыми лакеями!

— А было бы лучше! Но попробуй-ка сбегай к ним отсюда.

— Разве иначе, как через озеро, в новый замок не попадешь?

— Нет, никак: не то ты бы уже, пожалуй, сидел в компании ливрейных лакеев.

— Да нет, господин Гёфле, раз это вам не нравится. Но до чего же там было красиво внутри!

— Где там? В замке Вальдемора?

— Да, так они называют новый замок... Ой, господин Гёфле, там куда лучше здешнего! А народу-то! Мне совсем не было страшно!

— Отлично, сударь, замок, полный гостей, вскрыл вам голову: шум, факелы, позолота, беспорядок, и еды вдоволь! Что до меня, то мне совсем не по вкусу торчать всю ночь на бале и ждать, что наутро я окажусь в первой попавшейся комнате с четырьмя-пятью молодыми болванами, пьяными или драчливыми. Я люблю есть понемногу, но часто и спокойно поспать несколько часов, но чтобы меня никто не тревожил. К тому же я не развлекаться сюда приехал. Барон вызвал меня по важному делу. Мне нужна отдельная комната, свой стол, чернильница и немного тишины. Досадно, если за всем этим праздничным весельем барон позабыл, что я уже не юный студент, падкий до музыки и вальсов! Завтра поутру я скажу ему все, что об этом думаю. Он должен был распорядиться, чтобы мне приготовили то ли это, то ли другое помещение, подальше от шума и от непрошенных посетителей. Я ведь чуть было уже не поворотил назад на фалунскую дорогу, видя, как удивились моему приезду лакеи и как они смутились, не зная, куда меня поместить поприличнее, да вот снега испугался, к тому же и Локи был весь в мыле! По счастью, я вспомнил, что в старом Стольборге есть

чертова комната, которой все сторонятся, и поэтому ее никому не предложат. Вот мы и в ней, и нам неплохо. Завтра, Нильс, ты вытрешь пыль и обметешь паутину. Я, знаешь, люблю чистоту.

— Да, господин Гёфле, я Ульфу скажу, а то я слишком мал, чтобы пообметать все наверху.

— Да, верно. Попросим Ульфа.

— Но скажите, господин Гёфле, почему эту комнату называют медвежьей?

— Что ж, название как название,— ответил Гёфле, который, погрузившись в раскладывание бумаг по ящикам письменного стола, счел совершенно излишним объяснять Нильсу вопросы геральдики.

Однако он вскоре заметил, что на мальчике лица нет от страха.

— Послушай, да что с тобой?— спросил он нетерпеливо.— Ты только ходишь за мной по пятам и ни в чем мне не помогаешь.

— Я медведей боюсь,— отвечивал храбрый Нильс,— вы с пастором в Фалуне насчет большой медведицы разговаривали, я все слышал!

— Я? О большой медведице? Ну конечно же, пастор астрономией занимается, вот мы и говорили... Успокойся, храбрый юноша. Видишь ли, речь шла о созвездии Большой Медведицы, что на небе.

— Ах, так большая медведица на небе,— воскликнул обрадованный Нильс.— Значит, тут ее нету? Она не придет к нам сюда?

— Нет, нет,— смеясь, сказал адвокат.— Она слишком далеко, слишком высоко! Если бы ей вздумалось спуститься, она бы себе лапы поломала. Ну, теперь ты не будешь ее бояться?

— Ни чуточки! Только бы она не свалилась отсюда.

— Ба! Видишь ли, она там, наверху, крепко-накрепко прибита семью алмазными гвоздиками призрачных размеров.

— Наверное, боженька ее приколотил туда за то, что она была злая?

— Должно быть, так! Теперь тебе не страшно?

— О нет,— сказал Нильс, пренебрежительно пожимая плечами.

— Тогда пойди скажи Ульфу...

— Господин Гёфле, вы еще о каком-то Снеговике говорили!

— Ах, вот что! Ты, видно, ничего не пропускаешь мимо ушей? Хорошенькое дело!

— О да, господин Гёфле,— простодушно согласился Нильс,— я ко всему прислушиваюсь.

— Что же такое, по-вашему, Снеговик?

— Не знаю. Пастор вам тихонечко говорил со смехом: «Вот вы и повидаете Снеговика!»

— Очевидно, он имел в виду гору, которая так называется.

— Ну уж нет! Ведь вы спросили: «А у него все та же прямая походка?» А пастор в ответ: «Он все охотится у себя на озере». О, я шведский не хуже далекарлийского понимаю!

— Из чего ты и заключил...

— Что по озеру, через которое мы сейчас ехали, расхаживает большущий снежный человек!

— Так, так, а за ним следом ковыляет большой медведь! У тебя, братец, воображения хоть отбавляй! Медведь-то белый или черный?

— Не знаю, господин Гёфле.

— Это не мешало бы выяснить, прежде чем мы усядемся ужинать в этой комнате. А вдруг они придут и сядут за стол вместе с нами?

Нильс увидел, что Гёфле над ним подтрунивает, и рассмеялся. Доктор уже собирался порадоваться, что успешно излечил детские страхи, как вдруг Нильс, снова притихший, сказал:

— Уйдемте лучше отсюда, господин Гёфле! Такое худое место.

— Превосходно!— в сердцах вскричал адвокат. — Вот и возись после этого с детьми! Я-то стараюсь ему растолковать, что Медведица — это созвездие, а он еще пуще пугается!

Видя, что хозяин недоволен, Нильс снова принялся утирать слезы. Это был балованный и пугливый мальчик. Гёфле, по натуре человек добрый, вбил себе в голову и то и дело повторял, что не любит малышей, и утешался тем, что пусть он в свое время не женился и не завел детей, зато не обременил себя ответственностью за их будущее и в полной мере сохранил свободу мыслей. Однако большая чувствительность, которой он был наделен от природы и которая незамедлительным образом выросла под влиянием душевных порывов и тревог, связанных с его профессией, привела

к тому, что огорчения и слезы слабых существ стали для него просто невыносимы. Настолько, что, ворча на глупого мальчишку, одолеваемый страстью к хитроумным ученым спорам, помогающим выигрывать дела, когда обращаешься ко взрослым, но портящим все, когда говоришь с детьми, он попытался утешить и успокоить малыша и даже пообещал, что если большая медведица появится в дверях, он пронзит ее шпагой, но в комнату войти не даст.

Гёфле простил себе то, что он сам называл дурацким снисхождением, и уже обдумывал занимательный рассказ о вечере в Стольборге, на потеху своим приятелям из Гевалы.

Между тем Ульф не возвращался. Гёфле понимал, что не так-то просто найти чем поужинать в довольно скромном хозяйстве Стенсона, но оставить гостя без света было непростительным упущением.

Остаток свечи в фонаре уже догорал, но адвокат, у которого всегда были чистые руки и безукоризненные манжеты, не решался притронуться к этому мерзкому фонарю и осветить комнату. Ему, однако, пришлось это сделать, чтобы взглянуть, нет ли в соседней комнате какой-либо еды и свечного огарка в шкафу, ключ от которого ему оставил Ульф. Нильс последовал за ним, держась за фалду его сюртука.

Обе комнаты, представлявшие для господина Гёфле все удобства смежных покоев, разделялись очень толстой стеной, в которой были две массивные двери. Гёфле отлично знал замок, но так давно не бывал в нем, что не сразу отыскал первую из них. Он думал, что она как раз напротив той двери, через которую он вошел, что было бы естественно, но вместо этого она оказалась несколько левее и была скрыта резьбою, подобно той, что Кристиано случайно обнаружил под лестницей и о существовании которой ни доктор, ни Ульфил не подозревали. В этих плотно прикрытых дверях без заметных снаружи замков не было, однако, ничего таинственного; то была просто-напросто тщательно выполненная резьба, которая в северных странах сделалась почти искусством.

Теперь, когда Гёфле стал обладателем спальни с двумя кроватями, заново отделанной лет десять назад и довольно уютной, ему даже не пришлось заглядывать в шкаф. Первое, что попало ему на глаза, была

пара тяжелых канделябров на три свечи каждый. Это было очень кстати: огарок в фонаре угасал.

— Коль скоро мы вполне уверены, что не останемся в темноте,— обратился Гёфле к малышу,— займемся сейчас же хозяйством. Зажги свечу, а я достану из шкафа постели.

Простыни уже лежали на кроватях, но тут Нильс умудрился наполнить всю комнату дымом. Когда же понадобилось застлать постели, которые были непомерно широки, он ничего лучшего не придумал, как забраться на них, чтобы дотянуться оттуда до середины изголовья. Гёфле чуть было не рассердился, но боясь, как бы снова не полились слезы, примирился с судьбой и сделал постель сам не только себе, но и своему маленькому лакею.

Ему никогда не приходилось этим заниматься, и, однако, он уже с честью справлялся с таким трудным делом, как вдруг из открытых дверей медвежьей комнаты донесся страшный шум. То был резкий, оглушительный и в то же время какой-то нелепый рев. Нильс упал на четвереньки и почел за благо залезть под кровать, тогда как Гёфле, не испытывая страха, но вытаращив глаза и раскрыв рот, с удивлением вопрошал себя, откуда могли появиться такие звуки.

«Если, как я полагаю,— подумал он,— какому-то глупому шутнику взбрело в голову напугать меня таким образом, то у него весьма странная манера подражать рычанию медведя. Ведь это куда больше напоминает ослиный рев и выходит на редкость точно; но неужто он принимает меня за лапландца, который отродясь не слышал, как кричит осел?»— Эй, Нильс,— крикнул он, ища своего маленького слугу,— никаких чар тут нет; пойдем, поглядим, что там такое!

Но Нильс предпочел бы лучше умереть, чем шелохнуться или ответить, и Гёфле, не зная, куда он девался, решил сам отправиться на разведку.

Он немало удивился, столкнувшись посреди медвежьей комнаты нос к носу с самым настоящим ослом, с таким, каких в Швеции не увидишь, и с такой славной мордой, что никак невозможно было ни рассердиться на него, ни дурно истолковать его посещение.

— Дружок мой,— смеясь, сказал Гёфле,— откуда ты взялся? Что ты делаешь в этих краях и о чем хочешь меня спросить?

Будь Жан наделен даром речи, он ответил бы, что, упрятанный под лестницей, куда никто не удосужился заглянуть, он чуточку вздремнул, доверчиво дожидаясь возвращения хозяина, но, видя, что тот не приходит и почувствовав сильный голод, потерял терпение и решил порвать очень слабо завязанную веревку, дабы явиться к господину Гёфле с просьбой накормить его ужином.

Последний с большой прозорливостью угадал его мысль, но не мог понять одного: как это Ульф, на чьей обязанности, как он считал, лежало присмотреть за ослом, поместил его в этой страшной стольборгской комнате. На этот счет у него возникло множество предположений. Поскольку ослы в северных странах большая редкость, барон, обладавший оленьей упряжкой — другой редкостью в этих краях, слишком холодных для ослов, но недостаточно холодных для оленей, — должно быть, уж очень дорожил им и поручил сторожам старого замка за ним ухаживать и держать его в хорошо натопленном помещении.

— Вот почему и печь топилась, — объяснил сам себе Гёфле. — Но для чего Ульф унадобилось делать вид, что в комнате нечисть водится, вместо того чтобы попросту сказать мне всю правду? Вот чего я себе объяснить не могу. Может, ему велено было соорудить конюшню *ad hoc*¹, а он этого не сделал и, желая скрыть свою нерадивость, понадеялся отвести меня от этой комнаты или подумал, что я не замечу присутствия странного постояльца... Как бы то ни было, — добавил Гёфле, приветливо обращаясь к Жану, вид которого его забавлял, — прошу меня извинить, мой бедный ослик, но я не намерен держать тебя рядом с собою. У тебя чудесный голос, а у меня очень чуткий сон. Отведу-ка я тебя на эту ночь к Локи: его соседство тебя обогреет, и ты разделишь с ним ужин и подстилку. Нильс! Поди сюда, мой мальчик, посвети-ка мне до конюшни.

Не получив никакого ответа, Гёфле вынужден был возвратиться в караульную, раскрыть убежище Нильса, извлечь его оттуда за ногу и насильно усадить на спину осла. Сперва Нильс дико орал, думая, что его посадили верхом на чудовищную медведицу, тем более, что в жизни он никогда не видел ослов и

¹ Для этого случая (лат.).

длинные уши Жана пугали его не менее рогов дьявола; но мало-помалу он успокоился, видя, как осел покладист и кроток. Гёфле дал ему трехсвечный канделябр, а сам потянул Жана за веревку, и все трое вышли из башни, направляясь к конюшне по деревянной галерее с замшелым навесом, окружавшей покрытый снегом двор.

В ту самую минуту Ульф выходил из флигеля, где жил его дядюшка, и направлялся к башне, неся в одной руке фонарь, в другой — большую корзину, содержавшую все необходимое для сервировки ужина адвокату. Насколько раньше Ульфу не хотелось возвращаться в медвежью комнату, настолько теперь он стремился туда. Им овладела непреодолимая тяга к человеческому обществу, как то бывает с людьми, доведенными до ужаса своим одиночеством. Вот что приключилось с Ульфом.

Как истый швед, Ульф был сама приветливость, само радушие, однако за несколько лет пребывания в мрачной стольборгской лачуге в обществе глухого, угрюмого человека бедный Ульф стал до того суеверным и трусливым, что после захода солнца всегда забирался к себе в комнату, решив раз навсегда, что даст замерзнуть в снегах и льдах любому, чей голос покажется ему хоть сколько-нибудь подозрительным. Если бы Гёфле не нашел ворота замка открытыми увесистым кулаком Пуффо и если бы Ульф не узнал голоса адвоката во дворе, почтенному законоведу пришлось бы, конечно, повернуться в новый замок с его суетою и шумом, которых он так боялся.

Водворив его в башне, Ульф несколько успокоился. Он подумал даже, что все к лучшему, ибо если уж Гёфле хочет повстречаться с чертом, то это его дело, и что лучше принять его здесь, нежели быть вынужденным сопровождать обратно в новый замок; это распоряжение означало бы, что бедному проводнику выпадет печальная необходимость возвращаться одному через озеро, где водятся страшные духи. По счастью, старый смотритель Стольборга, человек хилый, зябкий, привыкший рано укладываться спать, заперся в своем флигеле, расположенном в глубине второго двора, с окнами, выходящими на озеро, а не в первый двор. Поэтому спал Стенсон или нет, он, по всей видимости, никак не мог догадаться о присутствии гостя ранее завтрашнего утра. По зрелом рас-

суждении, Ульф решил не предупреждать его и как можно лучше самому приготовить ужин для господина Гёфле. Стенсон, человек весьма умеренный, был, однако, предметом самого пристального внимания со стороны своего хозяина барона де Вальдемора (владельца, как мы знаем, нового замка и старой сторожевой башни), который раз и навсегда строжайше наказал новому управляющему, чтобы тот заботился о благополучии своего старого и верного слуги.

Ульф был не прочь хорошо пожить, и, заметив, что дядюшка по своей скромности и порядочности отсылает обратно весь излишек пищи, которую ему приносили из нового замка, сумел подстроить все так, что получал еду без ведома дяди. На кухне у него был особый тайник, где он припрятывал свои гастрономические богатства, да еще небольшой погребец, выдолбленный в скале, прохладный летом и довольно теплый зимой, где за пустыми бочками были сложены бутылки со старыми винами, разумеется, большая ценность в стране, где виноград — растение тепличное.

Ульф не отличался жадностью, это был честный малый, и ни за что на свете он не стал бы извлекать доход из подарков, которые барон делал дядюшке. Сердце у него было доброе, и когда ему случалось оставить у себя товарища, он потихоньку делился с ним своими заветными бутылками и был рад пить не в одиночестве, что всегда тоскливо. Однако появление в башне, — правда, не медведицы, как думалось Цильсу, а печального призрака, — было вещью столь очевидной, что бедный Ульф никогда не задерживал друзей после захода солнца. Вот тогда-то он и решался приложиться для бодрости, и после этого ему начинали мерещиться злые тролли и *стрёмкарлы*, пытающиеся утащить свои жертвы и столкнуть их в поток. Должно быть, для того, чтобы побороть искушение последовать за ними, рассудительный Ульфил напивался до того, что ноги переставали его слушаться. Находились, конечно, в многочисленной свите барона просвещенные вольнодумцы лакеи, не верившие ни во что, но Стенсон всех их ненавидел в большей или меньшей мере, и его племянник Ульф разделял эту неприязнь.

Таким образом, Ульфу Стенсону было из чего готовить славный ужин для господина Гёфле, а он горд был жарить да варить. К тому же и веселость

адвоката несколько подбодрила его, и он собирался непринужденно поболтать, прислуживая ему; но все его радостные мечты были развеяны какими-то странными звуками, точно кто-то шарил между стен, точно что-то потрескивало в деревянной резьбе; не один раз сковорода падала из рук Ульфа, и на секунду ему показалось, что какой-то пересмешник за его спиной передразнивает его вздохи. Он простоял добрых три минуты, не смея вздохнуть и тем более оглянуться.

Вот почему он так медленно готовил столь вожделенный ужин. В конце концов, справившись кое-как со своим поручением, он спустился в погреб за вином. Но там его ждали новые страхи. В ту самую минуту, когда с достаточным запасом еды он выходил из своего святилища, мимо него проскользнула большая черная тень. Фонарь погас, и те же загадочные шаги, напугавшие его на кухне, быстро простучали раньше него по ступенькам. Ульф едва не потерял сознания; но он еще раз поборол испуг и добрался до кухни, где оставил кастрюли довариваться на плите, а сам решил полечиться от страхов у господина Гёфле по тем предлогом, что пора было накрывать на стол.

И вот, когда, нагруженный всей кухонной утварью, Ульф шел по деревянной галерее, он оказался лицом к лицу со странным видением, которое было не кем иным, как доктором прав в ночном колпаке, тащившим за уздечку странное, невероятное животное, какого, как истый далекарлийский крестьянин тех времен, Ульф и в глаза не видывал, а может, и не слышивал о таком. И на этом звере, тень от огромных ушей которого протянулась через всю галерею, сидел ярко-красный дьяволенок, держа в руке подсвечник с тремя свечами. Это был тот, кого Гёфле выдавал за лакея, но это, разумеется, был не кто иной, как кобольд, тот самый домовый, который, по хвастливым заверениям адвоката, всегда был к его услугам.

Это было уже слишком для бедного Ульфа. Он испытывал почтение к кобольдам, но видеть их вовсе не желал. Ослабевшей рукою он опустил корзину наземь и, повернув в другую сторону, направился к себе в комнату, поклявшись спасением души, что в течение ночи не выйдет оттуда, даже если адвокат померет с голоду, а его ужин сожрет черт.

Поэтому-то Гёфле совершенно напрасно пытался дозваться его. Ульф не отвечал, и тогда адвокат ре-

шил отвести осла в конюшню, а на обратном пути забрать брошенную корзину, пройти в медвежью комнату и накрыть на стол с помощью Нильса.

«Право же,— подумал он,— в путешествии нужно быть философом. Вот нашлись стаканы, приборы и тарелки, будем надеяться, что наш лунатик намерен добавить к этому немного пропитания. Подождем, не придет ли ему охота это сделать, ничего другого нам не остается; а пока откупорим бутылки».

Нильс неплохо постелил скатерть, не дал погаснуть очагу, и Гёфле пришел в свое обычное хорошее расположение духа, когда Нильс вдруг совсем обмяк и стал тыкаться во все углы — неоспоримое свидетельство того, что на него напала сонливость.

— А ну-ка встряхнись немножко,— сказал адвокат,— надо поесть. Ты, должно быть, проголодался.

— К сожалению, да, господин Гёфле,— отвечал мальчик,— но меня так клонит ко сну, что мне не дожидаться, когда вам подадут и вы отужинаете. Тут есть хлеб и варенье из ежевики, дайте мне немножко, после этого я смогу вам прислуживать.

Гёфле сам открыл баночку с вареньем; Нильс бесцеремонно уселся на хозяйское место, тогда как адвокат отогревал ноги, заочевшие после похода на конюшню. Гёфле обладал в равной мере и живым воображением и даром слова. Когда не представлялось случая поболтать, он или что-нибудь обдумывал, или спешил предаться радостным мечтам. И вот через четверть часа он опять почувствовал голод и обернулся, чтобы поглядеть, не пришел ли наконец Ульф с чем-нибудь посущественнее, чем варенье, но вместо этого увидел лишь маленького Нильса, который сладко спал, положив голову на стол и уткнувшись носом в тарелку.

— Эй,— прикрикнул он, тряся мальчишку за плечи.— Ты поел, ну, а поспишь потом. Надо и обо мне подумать; пойдн взгляни, что же Ульф...

Но все старания Гёфле были напрасны. Разморенный необоримым детским сном, Нильс стоял с блуждающим взглядом и покачивался, как пьяный. Гёфле пожалел его.

— Ладно уж, ступай ложись,— сказал он,— раз ты ни на что не годен!

Нильс направился к караульне, оперся о косяк двери и там притулился, продолжая спать стоя.

Пришлось довести его до кровати. Но тут возникло еще одно затруднение: у него не хватило сил снять с себя гетры. Гёфле сам стянул их с мальчишки, что было нелегко, так как они были в обтяжку, а ноги обмякли от сна.

Гёфле хотел было его уложить, но глупыш залез на постель совсем одетым.

— Черт бы тебя побрал!— выругался он.— Для того ли я тебе роскошную ливрею заказывал, чтобы ты в ней спал? Ну-ка, живо, вставай, потрудись хотя бы раздеться!

Нильс, насильно поставленный на ноги, делал тщетные попытки расстегнуть пуговицы. Тетка Гертруда, на радостях, что ей не отказывают в средствах на обмундирование юного лакея, не посоветовалась с его будущим господином и заказала племяннику лосины и куртку красного сукна, так точно пригнанные, что он был в них втиснут, как в панцирь, и Гёфле немалого труда стоило его оттуда извлечь. Во время всей этой процедуры мальчишка дрожал от холода, и поэтому адвокату пришлось сесть у камина и усадить его к себе на колени. Хотя Гёфле и злился и проклинал Гертруду за то, что та снабдила его таким слугой, чувство простой человечности не позволило ему дать мальчику замерзнуть. К тому же детское простодушие Нильса совершенно его обезоруживало. На все упреки хозяина тот наивно отвечал:

— Завтра я вам хорошо послужу, вот увидите, господин Гёфле, и я вас буду очень любить!

— Так, так,— отвечал наш адвокат, легонько подталкивая его,— ты уж лучше поменьше меня люби, да получше мне служи.

Наконец он уложил Нильса и собирался вернуться к весьма сомнительному ужину, как вдруг мальчик запросто окликнул его и сказал с упреком:

— Что же, вы меня тут совсем одного оставите?

— Этого еще не хватало!— воскликнул адвокат.— Тебе что, нужно чье-то общество для сна?

— Господин Гёфле, у фалунского пастора я ведь никогда не спал один в комнате, а тут, когда мне так страшно... ну нет, если вы меня тут оставите, я уж лучше лягу в вашей комнате на полу.

И Нильс, словно очнувшись от сна, как кошка, выскочил из постели и хотел в одной рубашке после-

довать за хозяином в медвежью комнату. Но тут уж Гёфле окончательно потерял терпение. Он стал бранить его — Нильс заплакал. Хозяин хотел его запереть — Нильс разревелся еще пуще. Тогда доктор прав принял героическое решение.

«Раз уж я сглупил,— подумал он,— сочтя десятилетнего ребенка четырнадцатилетним пареньком, и вообразил, что у Гертруды есть крупца здравого смысла, то мне за это и отвечать. Пять минут терпения, и этот неспособный мальчишка уснет; если же я буду ему противиться, он только разгуляется, и тогда бог знает, сколько времени мне придется слушать его вопли и крики».

Он пошел в медвежью комнату за папкой с бумагами, проклинаая мальчишку, который последовал за ним босиком и едва дал ему время найти очки; потом он уселся перед огнем в караульной, закрыв за собой двери, поскольку там было не слишком-то тепло, и, спросив Нильса не без схиства, не спеть ли ему колыбельную, углубился в свои бумаги, позабыв об ужине, который не подавали, и о мальчугане, который уже храпел вовсю.

II

Что же делал Кристиано, пока господин Гёфле устраивался на ночлег? Читатель, возможно, уже догадался, что резвый домовой, круживший возле бедняги Ульфа на кухне и в погребе в поисках ужина, был не кто иной, как наш путешественник. Огорчения и страхи Ульфила позволили ему выхватить у того чуть ли не из-под носа все самое удобное для перепоски съестное, найденное на кухне. В погребе ему меньше повезло. Задув фонарь перетрусившего Ульфа, он сам оказался в полной темноте и испугался, как бы его не заперли голодным в подземелье. И он тут же повернул назад, теша себя мыслью, что ему еще представится удобный случай отобрать у Ульфа его бугылки.

Наш искатель приключений не заметил появления Гёфле. Потратив целых четверть часа на тщательное исследование потайного хода из медвежьей комнаты (об этом ходе мы расскажем позднее), он выбрался из него не без труда и незаметно проник во флигель, занимаемый Стенсоном. Он подумал, что ужин пред-

назначается для старого управляющего. Затем, прежде чем вступить во владение комнатами, которые он для себя выбрал, он хотел добыть корм ослу и побрел по дворику, смежному с галереей. Это было спустя несколько минут после того, как Ульфил испытал последний приступ страха, и поэтому Кристиано не мог насладиться забавным видом Гёфле в ночном колпаке, победно ведущего на конюшню осла, на котором восседал одетый в красное кобольд. Обследуя все помещение, отворяя все не слишком крепко запертые двери, Кристиано наткнулся наконец на двери конюшни и поразился, увидев, что мэтр Жан с большим аппетитом уплетает ужин и утаптывает толстую подстилку из сухого мха в обществе премиленькой вороной лошадки, очень благожелательно к нему расположенной.

«Воистину,— подумал Кристиано, поглаживая благородного осла,— животные подчас куда разумнее и радушнее людей. За два дня наших скитаний в этих холодных краях Жан бывал предметом изумления, страха или отвращения во многих домах и деревнях, и я сам, вопреки радушию местных жителей, попал в такое место, где обитают духи недолги и тяжких забот, где мне приходится промышлять грабежом, как солдату в походе, а эта вот славная лошадка, не спрашивая Жана, откуда у него такие длинные уши, уступает ему место у кормушки и сразу смотрит на него как на себе подобного. Ладно, Жан, спокойной ночи, приятель! Если я спрошу, кто тебя сюда привел и сытно накормил, ты, может быть, не удостоишь меня ответом, а если бы я не видел, что ты привязан на веревке, то подумал бы, что у тебя хватило ума самому сюда явиться. Как бы то ни было, я поступлю как ты и поужинаю, не заботясь о завтрашнем дне».

Кристиано запер конюшню и вернулся в медвежью комнату, где его ждала приятная неожиданность в виде накрытого стола; сервировка поражала красной посудой, тяжелым серебром и белоснежной скатертью, если не считать нескольких пятен от варенья, которые Нильс оставил возле своей тарелки.

— Подумать только,— весело заметил наш чужестранец,— они не то кончили десертом, не то начали с него! Но кто же, черт возьми, обосновался тут в

мое отсутствие? Пуффо не настолько избалован, что стал бы накрывать на стол; в дороге он к такому не привык. К тому же он отправился искать удачи в новый замок, иначе бы я с ним столкнулся, осматривая старый. Да я никогда и не рассчитывал на помощь этого приятеля. Если он нашел где-то на кухне уголок за столом, я уверен, что он обо мне и думать забыл, и я отлично сделал, позаботившись о себе сам. Как-никак, если он случайно вернется сюда ночевать, нельзя же, чтобы бедняга замерз у ворот.

Кристиано отпер ворота во двор, которые Ульф успел запереть после приезда Гёфле, и вернулся с твердым намерением сесть за стол с кем угодно, будь то по доброй воле или принуждению.

«Это мое право,— убеждал он себя,— стол пуст, а я принес, чем его приятно заполнить. Если меня ждет сотрапезник, лишь бы он оказался приветливым, и мы не поссоримся; если нет, поглядим, кто кого выставит».

Рассуждая так, Кристиано пошел взглянуть, не тронул ли кто его пожиток. Он нашел их в порядке в углу, куда он их спрятал и где они остались незамеченными. Тогда он стал разглядывать сундук, чемодан и вещи, разбросанные на стульях, тщательно сложенное белье, которое, видно, собирались убрать в шкаф, парадное платье, раскинутое на спинках кресел, чтобы оно отвиселось; наконец — пустой чемодан, на крышке которого он прочел: «Господин Тормунд Гёфле, адвокат в Гевале и доктор прав Лундского университета».

«Адвокат!» — подумал наш герой. — Что же, это хорошо звучит — адвокат! Адвокатом не станешь, если нет ума и таланта. Вот кто составит мне приятную компанию, если у него хватит здравого смысла не судить о человеке по одежке. Но куда же этот адвокат запропастился? Должно быть, он тоже был приглашен на праздники в замок Вальдемора и так же, как я, нашел дом переполненным или по своему вкусу избрал себе приютом этот романтический замок. Нет, скорее всего человек этот — поверенный в делах богатого барона, ибо в этой стране сословных предрассудков и скрытой ненависти вряд ли приглашают людей незнатных на дворянские увеселения. Но какое мне дело! Адвокат ушел, это бесспорно. Должно быть, он беседует со старым управляющим, или он в той

комнате с двумя кроватями, о которой мне говорили и двери в которую не видно. Поискать? Но, возможно, он уже лег? Пожалуй, это вернее всего. Ему хотели подать ужин, он отказался, довольствуясь вареньем и желая только поскорее добраться до постели. Пусть же сей достойный муж мирно спит! Я отлично устроюсь в этом глубоком кресле, а если мне станет холодно, черт побери, вот великолепная меховая шуба и дорожная кунья шапка — и тело в тепле, и уши не замерзнут. Поглядим, удобно ли мне будет! О, и даже очень, — решил Кристиано, натягивая шубу и нахлобучивая шапку. — Как вспомню, что я десять лет занимаюсь серьезным делом, а надеть все нечего, и плаща-то добротного нет, особенно теперь, когда приходится блуждать по земле гипербореев!»

Кристиано разложил на столе еду: весьма заманчивый гамбургский язык, искусно прокопченный медвежий окорок и чудесный кусок копченой лососины.

Он собирался уже сбросить с плеч шубу доктора, чтобы удобнее было есть, когда сквозь единственное окно медвежьей комнаты донесся вдруг звон бубенчиков. У этого большого окна напротив печи были все же двойные рамы, как во всех зажиточных домах северян, и старинных и новых; однако наружная рама пришла в полную ветхость и говорила о запустении Стольборга. Почти все стекла были выбиты, и так как ветер стих, звуки снаружи доносились очень отчетливо: и глухой таинственный гул, с каким недавно выпавший обильный снег отделялся от нижних затвердевших слоев и обрушивался с отвесных утесов, и отдаленные голоса с хутора на берегу озера, и жалобный вой собак, встречавших невнятные проклятиями красный диск луны на горизонте.

Кристиано из любопытства захотелось взглянуть на сани, бороздившие озерный лед совсем близко от его убежища; открыв первую раму, он высунул голову наружу через разбитое окно. Он отчетливо различил сказочное видение, скользившее у подножия скалы. Два прекрасных белых коня, которыми правил бородатый кучер, одетый на русский лад, мчали сани, сверкавшие как драгоценные камни и отливавшие то одним, то другим цветом. Фонарь, высоко подвешенный над изящным возком, походил на звездочку, гонимую вихрем, или скорее на блуждающий огонек,

догоняющий санки. Свет его, подобно свету червонного золота, лился вперед и отбрасывал теплые отблески на снег, голубевший под луною, и всеми цветами радуги расцветивал пар, вившийся под ноздрями и над спинами коней. Ничто не могло сравниться по легкости и поэтичности с этим возком на полозьях; казалось, что сама озерная фея промчалась, как сневидение, перед ослепленным взором Кристиано. Разумеется, проезжая через Стокгольм и другие города страны, он перевидал немало саней, от самых роскошных до самых скромных; но ни одни не выглядели столь живописно и необычно, как те, что остановились у подножия скалы; ибо теперь уже сомневаться не приходилось: новый гость, на сей раз богатый, приехал вступить во владение или просто познакомиться с безмолвной стольборгскою твердыней.

«Санями я палубовался вдоволь,— подумал Кристиано,— но черт бы побрал тех, кто в них сидит. Готов побиться об заклад, что это серьезная помеха мирному ужину, на который я рассчитывал».

Но проклятия растаяли на губах Кристиано: чей-то высокий, нежный и на редкость певучий голос, какой мог принадлежать только очаровательной женщине, послышался из саней. Он звучал на языке, неизвестном Кристиано; это было местное наречие:

— Как ты думаешь, Петерсон, лошади смогут подняться до ворот старого замка?

— Да, барышня,— отвечал толстый кучер, закутанный в меховой тулуп.— По рыхлому снегу-то, надо полагать, им трудновато будет, но тут уж до нас просхали: виден свежий след, не бойтесь, въедем.

Подступы к Стольборгу, которые Гёфле называл буграми, состояли из настоящей естественной лестницы, образованной слоистыми и неровными пластами породы. Летом тут опрокидывались и лошади и повозки, но в северных странах зима делает все дороги проезжими, а всякого путника отважным. Толстый наст обледеленого снега, плотного и ровного, как мрамор, заполняет ямы и сглаживает ухабы. Лошади, соответственно подкованные, вскарабкиваются на вершины и уверенно спускаются по крутым склонам; сани редко переворачиваются, но даже когда это случается, опасность обычно никому не грозит. Через несколько минут наш возок был уже у ворот маленького замка.

— Надо позвонить тихонько,— приказал нежный голосок кучеру.— Знаешь, Петерсон, мне бы не хотелось, чтобы старый управитель видел меня; может быть, он обо всем докладывает хозяину.

— Да он совсем глухой,— ответил кучер, слезая с саней в снег.— Ульф не проболтается, он мне друг. Лишь бы ему была охота отворить! Он малость роется к ночи; оно и понятно, замок-то...

Петерсон, должно быть, заговорил бы о стольborgских привидениях, да не успел. Ворота распахнулись как бы сами собой, и Кристиано, выглядевший не хуже кучера благодаря адвокатской шубе и меховой шапке, показался на крыльце.

— Ну вот и он,— сказал тихий голос,— остановись тут Петерсон, и, прошу тебя, сними бубенчики с лошадей. И, как я уже тебя просила, запасись терпением, хоть я и не очень тебя задержу.

— Не торопитесь, барышня,— отвечал верный слуга, отряхивая ледяные сосульки с бороды,— вечер-то нынче выдался на славу!

Кристиано ни слова не понял из разговора, но тем не менее с восторгом внимал нежному голосу. Он подал руку маленькому созданию, до того укутанному в горностан, что оно больше походило на снегурочку, чем на человеческое существо. Девушка обратилась к нему на далекарлийском наречии, так что он не мог понять, что она ему велит; а в том, что она давала распоряжения, у него сомнений не было, хотя голос звучал мягко. Видно, его приняли за сторожа старого замка, а коль скоро распоряжение ни в одной стране не требует иного ответа, кроме немого почтительного поклона, то Кристиано был избавлен от необходимости делать усилия — понимать и отвечать во время недолгого перехода с молодой дамой по галерее от ворот до дверей башни.

Ведя ее к медвежьей комнате, Кристиано повиновался чувству гостеприимства, не зная, оценит ли она его доброе намерение. Выбежав ей навстречу, он повиновался также и чувству любопытства, и к этому примешивалось еще желание понравиться, очень сильное в те времена у молодых и пожилых мужчин, к какому бы сословию они ни принадлежали.

Между тем молодая дама, следовавшая за своим проводником, невольно удивилась, оказавшись в знаменитой медвежьей комнате.

— Это и есть медвежья комната?— спросила она с некоторым беспокойством.— Я здесь никогда не бывала.

А так как Кристиано ничего не понял и потому ничего не ответил, она взглянула на него при свете единственной свечи, стоявшей на столе, и воскликнула теперь уже по-шведски:

— Ах, боже мой! Это не Ульфил! С кем же я имею честь говорить? Может быть, это сам господин Гёфле?

Кристиано, превосходно понимавший и свободно изъяснявшийся по-шведски, тотчас вспомнил имя, написанное на чемодане доктора, и столь же быстро сообразил, что укутанный в одежду, заимствованную у вышеназванного адвоката, он мог недурно развлекаться, хотя бы на миг разыграв его роль. Чужеземец, одинокий, затерянный в стране, чьим языком он владел в силу особых обстоятельств, о которых мы узнаем позднее, но где не имел привязанностей и мог не принимать жизнь всерьез, он счел естественным позабавиться там, где представлялась такая возможность. И смело и наудачу ответил:

— Да, сударыня, я действительно Гёфле, доктор прав Лундского университета, занимаюсь адвокатской практикой в Гевале.

Говоря так, он нащупал валявшийся рядом футляр от очков и поспешно раскрыл его. То были зеленые очки, которые адвокат надевал, чтобы защитить глаза от утомительной белизны снегов. Восхищенный этой находкой, которую провидение дарит порою безрассудным людям, он нацепил очки на нос и почувствовал, что полностью преобразился.

— Ах, господин доктор,— сказала незнакомка,— приношу вам тысячу извинений, я вас не разглядела; к тому же прежде я не имела удовольствия встречаться с вами и приняла вас за стольборгского стража; именно ему-то я и велела разузнать, пообещав известное вознаграждение, что вам, верно, показалось смешным, не могли бы вы найти несколько минут для беседы со мною.

Кристиано почтительно поклонился.

— Итак,— продолжала незнакомка,— вы мне позволите изложить вам одно дело... немного затруднительное... щекотливое?

Эти два слова прозвучали столь заманчиво для

ушей чужеземца, что он позабыл, какую изрядную помеху его ужину нанес сей неожиданный визит, и теперь хотел только одного: увидеть лицо посетительницы, скрытое под горностаевым капюшоном.

— Я вас слушаю,— отвечал он, напуская на себя строгий тон.— Адвокат — это духовник... Но не бойтесь ли вы, если останетесь сейчас в шубе, схватить потом насморк, выйдя на воздух?

— Нет,— ответила незнакомка, усаживаясь в кресло, которое ей пододвинул хозяин,— я настоящая жительница гор и никогда не простужаюсь.

И тут же простодушно добавила:

— К тому же вы, может быть, найдете, что я неуместно одета для беседы, которую испросила у столь важного и почтенного лица, каким являетесь вы, господин Гёфле: я в бальном платье.

— Боже мой! — опрометчиво воскликнул Кристиано.— Я вовсе не старый чопорный ханжа, бальным платьем меня не смутить, особенно когда оно надето на хорошенькой женщине.

— Вы очень любезны, господин Гёфле, но я не знаю, хороша ли я и нарядно ли одета. Я понимаю, что не нужно прятать от вас лицо, ибо всякое недоверие к вам было бы оскорблением вашей честности, к которой я прибегаю, прося у вас совета и покровительства.

Незнакомка отстегнула свой капюшон, и Кристиано увидел самую очаровательную головку, какую только можно вообразить, настоящий пордический тип: синые, как сапфиры, глаза, тонкие и пышные светло-золотистые волосы, нежный и свежий цвет кожи, какого не встретишь у других народов; из-под распахнутой шубки виднелись стройная шея, белоснежные плечи и гибкая талия. Все это дышало чистотою, как само детство, ибо миловидной гостье было не более шестнадцати лет и она еще не перестала расти.

Кристиано не принадлежал к числу отшельников; он был человеком своего времени, но вместе с тем не перенял распушенности той среды, куда его забросила судьба. Он был умен, а потому скромен и прост. Он спокойно и доброжелательно взглянул на эту северную красавицу, и если прежде у него мелькнула коварная мысль завлечь девушку в медвежью берлогу, то мысль эта сразу же уступила место жажде

приключения, романтического и увлекательного, но вполне честного, и этой честностью дышало милое и простодушное личико его юной гостьи.

— Господин Гёфле,— продолжала она, ободренная вежливым обращением мнимого адвоката,— когда вы увидели мое лицо и убедились, что оно принадлежит отнюдь не злодейке, я должна назвать свое имя. Имя это вам хорошо известно. Но меня смущает, что вы стоите, тогда как я заняла единственное кресло в этой комнате. Мне известно, сколь вы уважаемы... сколь уважаемы ваши достоинства, я чуть было не сказала — ваши годы, потому что, сама не знаю почему, привыкла считать вас очень старым, а вы, как я вижу, намного моложе барона.

— Вы оказываете мне большую честь,— сказал Кристиано, надвигая на глаза и шю меховую шапку со спущенными ушами,— я стар, очень стар! Молодым во мне может казаться лишь кончик носа, и я прошу прощения, что не снимаю шапки в вашем присутствии; но ваше посещение застало меня врасплох. Я снял парик и вынужден прятать свою лысину.

— Пожалуйста, без церемоний, господин Гёфле, и соблаговолите сесть.

— Если вы позволите, я останусь стоять у печки, меня мучит подагра,— ответил Кристиано, который, таким образом, оказался в тени, тогда как скудный свет свечи падал прямо на собеседницу.— Разрешите узнать, с кем имею честь...

— Да, да,— с живостью отозвалась она.— О! Вы меня хоть и не встречали, но прекрасно знаете! Я Маргарита.

— Ах, вот как!— воскликнул Кристиано тем же тоном, каким признался бы: «Мне это ровно ничего не говорит».

К счастью, девушка поторопилась объяснить.

— Да, да,— продолжала она,— Маргарита Эльведа, племянница вашей клиентки.

— А! моей клиентки...

— Графини Эльведа, сестры моего отца, полковника, того, что был другом несчастного барона.

— Несчастного барона?..

— О господи, барона Адельстана, имя которого я не могу произносить без волнения в этой комнате, того, что был убит фалунскими рудокопами... или

кем-то другим! Ибо, в конце концов, кто знает, сударь! Уверены ли вы, что это были рудокопы?

— О, что до этого, барышня, то уж если кто может поклясться честью, что ничего об этом не знает, так это ваш покорный слуга,— ответил Кристиано проникновенным тоном, который она истолковала по-своему и, казалось, была глубоко потрясена.

— Ах, господин Гёфле,— живо воскликнула она,— я так и знала, что вы разделяете мои подозрения! Нет, ничто не разуверит меня в том, что все эти трагические смерти, о которых говорили и сейчас еще шепчутся... Но мы здесь совсем одни? Нас никто не может услышать? Это так серьезно, господин Гёфле!

«Действительно, дело представляется серьезным,— подумал Кристиано и пошел взглянуть, закрыта ли входная дверь, стараясь подражать старческой походке,— только я тут ничего не понимаю».

Он оглядел комнату и опять не заметил двери в караульную, которая была закрыта и отделяла Гёфле от двух наших собеседников.

— Так вот, милостивый государь,— продолжала молодая девушка,— понимаете ли вы, что тетя хочет выдать меня замуж за человека, в котором я не могу не видеть убийцу моих близких?

Кристиано, не имевший ни малейшего понятия, о чем идет речь, решил дать своей новой клиентке разговориться, показав, что он на ее стороне.

— Не иначе,— заявил он несколько развязно,— как ваша тетушка сошла с ума... Или с ней еще что-нибудь похуже!

— Ах, что вы, господин Гёфле, тетю мою я уважаю и виню ее только в известном ослеплении или предубеждении.

— Ослепление это или предубеждение — не суть важно, но я ясно вижу, что она не желает считаться с вашей склонностью.

— О, это правда, я ведь не терплю барона! Она вам этого не говорила?

— Напротив! Я полагал...

— О, господин Гёфле, могли ли вы поверить, что в мои лета мне мог понравиться пятидесятипятiletний старик?

— Подумать только! Вашему нареченному, оказывается, к тому же еще пятьдесят пять?

— Вы так говорите, будто сомневаетесь в этом, господин Гёфле! Но ведь вам-то отлично известен его возраст, вы же его советчик и, говорят, его преданный друг... Только я не могу этому поверить.

— Черт возьми! Вы совершенно правы. Пусть меня повесят, если он для меня что-нибудь да значит. Но как вы называли этого господина?

— Барона? Вы что же, не знаете, о ком я говорю?

— Конечно, нет. Мало ли баронов на свете.

— Но тетя же сказала вам...

— Ваша тетя, ваша тетя! Почему я знаю, о чем толкует ваша тетя. Она, может быть, и сама того не знает.

— Увы! Простите меня: уж она-то это слишком хорошо знает! У нее железная воля. Невозможно, чтобы она не посвятила вас в свои планы насчет меня, она ведь уверяет, что вы их одобряете!

— Одобрить, что столь прелестное дитя приписывается в жертву старому хрычу?

— Ах! Вот видите, вы же знаете возраст барона!

— Но какого барона все-таки?

— Какого барона? Что же, я должна вам называть Снеговика?

— Ах! Ну да! Речь идет о Снеговике? Ну, что ж, признаюсь, мне это ничего не говорит.

— Как, господин Гёфле, вам неизвестно прозвище самого могущественного, самого богатого и в то же время самого злого, самого ненавистного из ваших клиентов, барона Олауса Вальдемора?

— Что! Хозяйина этого замка?

— И пового замка, по ту сторону озера, и невесть скольких железных и свинцовых рудников, а также залежей квасцового сланца и многих долин, лесов и гор, не считая полей, стад, хуторов и озер; наконец, владельца едва ли не десятой части всей далекарлийской провинции! Вот те доводы, о которых тетя мне твердит с утра до вечера, чтобы я позабыла о том, что он уныл, стар, болен и, может быть, отягощен преступлениями!

— Черт побери!— воскликнул Кристиано в крайнем удивлении.— Вот, оказывается, у какого милейшего человека я нахожусь.

— Вы смеетесь надо мной, господин Гёфле, вы не верите в его преступления! Значит, и сейчас, когда вы говорили, вы хотели посмеяться надо мной?..

— Все, что я говорил, я готов повторить вам еще

раз, но только мне хотелось бы знать, в каком преступлении вы обвиняете моего хозяина?

— Не я обвиняю его — народная молва приучила меня видеть в нем убийцу отца, брата и даже его невестки, злосчастной Хильды!

— Как! И только?

— Вам хорошо известно, что все так говорят, господин Гёфле; ведь вам было когда-то поручено?.. Нет, я ошиблась, это ваш отец был тогда поверенным в делах барона Олауса. Барон предъявил какие-то документы. Его ни в чем нельзя было уличить; по истине так и не узнали и никогда не узнают, если только мертвые не выйдут из могил, чтобы поведать ее.

— Это иногда случалось,— отвечал с улыбкой Кристиано.

— Вы действительно так думаете?

— Так говорится на языке людей моей профессии; понимаете, когда неожиданное доказательство, потерянное письмо, позабытое слово...

— Да, я знаю; только ничего не нашли, а спустя пятнадцать или двадцать лет пришло молчание и забвение. Сперва барона подозревали и ненавидели, потом он заставил себя бояться, и этим все сказано. А теперь в самонадеянности и наглости он дошел до того, что задумал вновь жениться. Ах! Не приведи господь, чтобы я стала предметом его ухаживаний! Говорят, он очень любил жену; но что касается баронессы Хильды, все думают...

— Что думают?

— Я вижу, что до вас не дошли местные слухи, господин Гёфле, или они вам смешны, поскольку вы спокойно расположились в этой комнате.

— Действительно, за всем этим что-то кроется,— отвечал Кристиано, внезапно пораженный воспоминанием.— Люди с мызы говорили мне нынче вечером: «Ступайте, а завтра расскажете нам, как вы провели ночь!» Верно, тут домовый или привидение...

— Надо полагать, что есть какая-то странность: призрак или действительность; потому что сам Стенсон в это верит, а может быть, и барон; после смерти невестки его ноги здесь не было, и он велел даже заделать какую-то дверь...

— Вон ту,— сказал Кристиано, указав на верх лестницы.

— Возможно, я не знаю, — ответила Маргарита, — все это очень загадочно, я думала, что вы посвящены в то, чего не знаю я. Я не верю в привидения! Тем не менее я не хотела бы с ними повстречаться, и ничто на свете не принудило бы меня сделать то, на что отважились бы, оставаясь тут ночевать. Что до барона, то правда или ложь вся история с бриллиантом...

— Ах, еще одна история?

— Она все же из всех наименее правдоподобная, с этим нельзя не согласиться, меня разбирает смех, когда я начинаю ее рассказывать. В округе говорят, что из любви к жене, которая была такой же злобной, как он сам, барон отдал ее тело алхимику, который путем перегонки превратил его в большой черный бриллиант. Вполне достоверно, что он носит на пальце странный перстень, на который я не могу смотреть без ужаса и омерзения.

— Что и служит доказательством! — заметил Кристиано со смехом. — Подумать только, что вас может ожидать подобная участь! Конечно, из реторты, где вас растворяют, может выйти только прехорошенький розовый бриллиантик чистой воды; но вам-то от этого не легче, и я вам советую не подвергать себя опасности кристаллизации.

Маргарита расхохоталась; эхо старинной комнаты несколько раз повторило ее звонкий ребячий смех, искажая его так таинственно, что девушку сразу охватил страх, и, снова погрузившись, она сказала с унынием в голосе:

— Ну, тогда все кончено, господин Гёфле, вы действительно любезный и остроумный человек, так все говорят; но я ошиблась, надеясь, что вы будете думать, как я, и станете мне опорой и избавителем. Вы думаете, как моя тетка, вы сочли пустой фантазией все, что я вам рассказала, и отвергли мои сетования! Да сжалится надо мною господа! На него одного моя надежда!

— Но послушайте, — сказал Кристиано, растроганный при виде крупных слез, катившихся по ее юному лицу, на котором только что играла улыбка, — что же, вы не уверены в самой себе? Что вы мне сейчас рассказали? Вы обещали что-то поведать мне под секретом, а свели все к тому, что вам навязывают неподходящую партию и жениха, который вам

неприятен. Я ожидал услышать любовное признание... Не краснейте! Любовь бывает чистой и законной, хотя бы ее и не одобряло честолюбие предков. Отец и мать могут ошибаться, и побороть их влияние не легко. А вы сирота!.. Да, конечно, раз вы зависите от старой тетки... Я назвал ее старой, а вы качаете головой. Допустим, она молода... Вернее, ей хочется, чтобы ее считали молодой. Тут уж я, видимо, мало что смыслю. Я-то думал, что она старая.

Если это не так, то тем больше оснований послать ее... Я не хочу сказать куда, но пусть она получше все это обдумает, а вы тем временем посоветуйтесь со старым другом, с господином Гёфле... иначе говоря, со мной, словом, с кем-то, кто поможет вам выйти замуж за счастливого смертного...

— Но клянусь вам, дорогой господин Гёфле,— ответила Маргарита,— я никого не люблю. О боже, не хватало мне еще этого, и без того я достойна сожаления! Разве не достаточно ненавидеть человека и быть вынужденной терпеть его ухаживания?

— Вы неискренни, дитя мое,— продолжал Кристиано, который вошел в роль Гёфле и довольно убедительно исполнял ее,— вас пугает, что я передам ваши признания графине, моей клиентке.

— Нет, дорогой господин Гёфле, нет! Я знаю, что вы более чем честны.— вы добры. Все вас почитают, и сам барон, который обо всех думает дурно, не решается сказать о вас ничего дурного. Я так вам доверяю, так уважаю вас, что я подождала, когда вы приедете, и сейчас признаюсь, как мне пришло в голову повидать вас, а это и будет в двух словах вся моя история, которую тетя вам передала, может быть, не совсем точно.

Выросла я в замке Дальбю (В Вермланде, в двадцати милях отсюда), под присмотром моей опекуниши, графини Эльфриды Эльведа, сестры отца. Когда я говорю «под присмотром»... Видите ли, тетя любит свет, политику. Она живет при стокгольмском дворе и придворными делами интересуется куда более, чем мои, а я живу с самого рождения в заброшенном замке с гувернанткой-француженкой, мадемуазель Потен. По счастью, она очень добра и любит меня. Два раза в год тетя приезжает поглядеть, выросла ли я, хорошо ли я говорю по-французски и по-русски, не нужно ли мне чего-нибудь и сле-

днт ли суровый пастор нашей церкви за тем, чтобы мы никогда не принимали других посетителей, кроме нее и ее семьи.

— И это очень невесело?

— Да, но я не вправе считать себя несчастной. Я много занимаюсь с гувернанткой, я достаточно богата, а тетя довольно щедра, так что я не испытываю лишений; к тому же мадемуазель Потен очень милая, и, когда нам скучно, мы принимаемся за чтение романов... О! романов вполне благопристойных и очень интересных, они скрашивают одиночество; пороки в них всегда бывает наказан и добродетель вознаграждена!

— Как бы не так... И все же неплохо в это верить и должным образом вести себя. Но неужели в вашем одиночестве никакой красавчик со страниц романа не закрался к вам в дом или в мысли, невзирая на пастора и на тетку?

— Нет, никогда, клянусь вам, господин Гёфле,— простодушно ответила Маргарита.— Однако могу вам признаться, что некий идеальный образ будущего мужа у меня все же возник, и когда, неделю назад, тетя вдруг показала мне барона Олауса Вальдемора, добавив: «Вот он, будь с ним полюбезнее», я нашла, что он не похож на мой идеал, и приняла его очень сухо.

— Ну, разумеется. И тогда ваша тетка...

— Высмеяла меня. «Ты дурочка,— сказала она.— Девушке благородного происхождения не следует забивать себе голову любовью. Замуж выходят не ради любви, а для того, чтобы сделаться знатной дамой. Ты станешь баронессой Вальдемора, или, клянусь тебе, ты на всю жизнь останешься узницей в этом замке и живой души не увидишь. Больше того — я рассчитаю мадемуазель Потен: наверно, это она дает тебе дурные советы. Решай, даю тебе месяц сроку. Барон приглашает нас на рождественские праздники¹ в свое богатое поместье в Далекарлии. Там будет очень весело: все время охота, балы, развлечения. Ты получишь представление о его богатстве, влиянии, значении и поймешь, что это самая

¹ Рождественские праздники в Швеции и Норвегии длятся с 24 декабря по 6 января. (Прим. автора).

блестящая и почетная партия, которую ты можешь составить.

— И что же... вы сказали «да»?

— Я ответила: «Хорошо, поедемте в Далекарлию, коль скоро вы дадите мне месяц на размышления». Я ничего не имела против того, чтобы повидать новые места, праздники и, наконец, просто новые человеческие лица. Но только за неделю, что мы живем здесь, клянусь вам, господин Гёфле, барон стал еще более неприятным для меня человеком, чем показался в первый день.

— Но у барона вы встретите... если уже не встречали, кого-нибудь, кто вам будет не столь противен, кому вы откроете сердце, как вы открыли его сейчас мне, и кто вселит в вас надежду на счастье и вдохновит на борьбу куда лучше, чем какие бы то ни было советы старого адвоката!

— Нет, господин Гёфле, никому, кроме вас, я не открою своего сердца и не стану доверяться людям, которые могут встретиться в замке Вальдемора. Я слишком хорошо вижу, что барон их ловко подобрал среди тех, кто ему чем-то обязан, или же среди честолюбцев, которые боятся его или льстят ему, и что, кроме нескольких превосходных людей, которые и не думают за мной ухаживать, все в замке гнут передо мной спину, как если бы я уже была женою их покровителя! Ко всем этим провинциальным царедворцам я испытываю только презрение и неприязнь, но зато доверяю вам, господин Гёфле! Вы поверенный в баронских делах, но вы не его холоп. Ваша независимость и благородство известны всем. Видите, тете не удалось обмануть меня! Она меня уверяла, что вы одобряете все ее замыслы, и я могла ожидать, что встречу в вас насмешливого противника, исполненного презрения к моим романтическим мечтаниям; однако брат мадемуазель Потен, гувернер в одной семье тут неподалеку, хорошо вас знает. Это Жак Потен, которому вы оказали столько услуг.

— Да, как же, прелестный молодой человек!

— Прелестный, ну уж нет! Он ведь горбун!

— Прелестной души! Горб тут совсем ни при чем.

— Это правда, он человек исключительный, он нам столько хорошего о вас наговорил, что вот я и решила повидаться с вами потихоньку от тетушки. Мадемуазель Потен умеет ловко все подстраивать и

выведала день и час, когда вас ожидали в новом замке. Она укараулила ваш приезд и узнала: так как в новом замке слишком много народа, вы предпочтете остановиться в Стольборге. Она мне подмигнула, когда я на глазах у тети заканчивала мой бальный туалет. Когда тетушка, которой тоже надо было одеваться, а у нее это берет не меньше двух часов, удалилась в свои покои, мадемуазель Потен осталась у меня, чтобы придумать какой-то предлог и избавить меня от необходимости идти к графине, если она позвонит. А я проскользнула по потайной лестнице на берег озера, где Потен велела моему верному Петерсону ожидать меня с санями, и вот я здесь! Слышите, это, должно быть, трубы в замке возвещают открытие бала. Надо скорей удирать! Да и бедный мой кучер меня заждался. Прощайте, господин Гёфле; позвольте мне прийти завтра днем, когда тетя будет спать. Она ведь на балах обычно танцует и очень потом устает. А я скажу, что пошла с гувернанткой гулять, и приду к вам.

— К тому же, если тетушка ваша рассердится,— сказал Кристиано более молодым, чем следовало, голосом,— вы вполне можете сказать ей, что я вас представляю в ее духе.

— Нет,— ответила Маргарита, охваченная скорее безотчетным, нежели осознанным подозрением,— я не хочу смеяться над нею, да, может быть, лучше мне больше и не приходить. Если вы сейчас же пообещаете отговорить ее от этого ужасного сватовства, мне больше не надо будет вас беспокоить.

— Клянусь вам, я сделаю для вас все, как для родной дочери,— продолжал Кристиано, стараясь быть осмотрительным,— но вам необходимо время от времени оповещать меня о том, к чему приводят мои старания.

— Раз, так, то я приду еще. Как вы добры, господин Гёфле, и как я вам обязана. О! Я предчувствовала, что вы станете моим добрым гением!

С этим пылким признанием Маргарита поднялась и протянула мнимому старцу руки; тот не преминул почтительно их поцеловать и на мгновение залюбовался прелестной графиней в бледно-розовом атласном платье, украшенном перьями гагары.

Он отечески помог ей застегнуть крючок на горностаевой шубке и надвинуть капюшон, не измаяв лент

и цветов ее прически; затем взял ее под руку и довел до саней, где она утонула в пуховых подушках, словно лебедь в гнезде.

Сани умчались вдаль, оставив на льду сверкающий след полозьев, и исчезли за прибрежными холмами, прежде чем Кристиано, стоя на Стольборгском утесе, почувствовал, что его пронизывает стужа и он едва стоит на ногах от холода.

Не говоря уже о глубоком волнении, в котором он не хотел себе признаваться, наш герой был захвачен изумительным зрелищем. Метель совсем утихла и уступила место ледяному ветру, который, в противоположность нашим широтам, дует с запада и за несколько мгновений очищает весь небосклон. Никогда в южных странах Кристиано не приходилось видеть, чтобы звезды блистали так ярко. То были в полном смысле слова маленькие солнца, и самый месяц, по мере того как серп его вставал на чистом небе, сверкал, подобно звездам, чего нельзя увидеть на нашем небе. Ночь, и без того уже светлая, занеслась снежными и льдистыми отблесками, и окрестные громады вырисовывались в прозрачном воздухе, словно посеребренные сумерками.

Громады гор поражали своим величием. Угловатые гранитные кряжи, покрытые вечными снегами, замыкали тесный горизонт, и лишь на юго-западе открывалась долина. Контуров гор, как ближние, так и дальние, скрадывались темнотой, но главные линии пейзажа ясно обрисовывались на фоне широкой полосы голубого неба, которое виднелось в просвете скал. Кристиано, добравшийся к Стольборгу чуть ли не ощупью, сквозь метель, теперь сообразил, что он проезжал по всем этим волнистым косогорам, и мало-помалу представил себе расположение фалунских ущелий и постоянного двора, где еще утром он завтракал и где Гёфле, которого везла сильная лошадь, останавливался после него и пробыл дольше, чем он.

Долина, вернее — целая цепь узких полей и луговин, ведущих из Фалуна к замку Вальдемора, заканчивалась тупиком, неровным амфитеатром вершин, образованным отрогами Севенбергской цепи (иначе говоря, горами Севы или Севоны), отделяющей эту часть центральной Швеции от южной части Норвегии. Два бурных потока низвергаются со стремнин Севен-

берга с северо-запада к юго-востоку, охватывая горы слева и справа и устремляясь по мере их понижения один к Балтийскому морю, другой — к озеру Венерн и Каттегату. Эти два потока постепенно становятся более полноводными и образуют реки Дэльэльв и Кларэльв.

Замок Стольборг лепился на каменном утесе в глубине береговой впадины небольшого озера, образованного Кларэльвом или одним из его стремительных притоков. Читателю не требуется излишняя точность, но мы опишем ему местность в общих чертах, без значительных отклонений от истины. Хаотический пейзаж сверкал в прозрачной мгле, словно хрустальные крепостные стены, раскиданные на разных уровнях прихотливо и своевольно; граниты и льды замыкали вид с трех сторон, ниже виднелись зубчатые выступы обледенелого сланца, не столь величественные, но еще более причудливые, а по краям замерзшие каскады повисали вдоль скал тысячью алмазных игл, смыкаясь там, где ширился поток, также скованный льдом и точно припаянный к озеру, берега которого можно было различить лишь по очертаниям склонов и торчащих голых камней, на черные острия которых морозу не удалось набросить свой ровный белый покров.

«Недаром мне говорили, что студеные ночи севера неслыханно прекрасны,— подумал Кристиано.— Если бы я сказал в Неаполе, что неаполитанские ночи говорят только чувствам и что тот, кто не видал зимы на ее морозном троне, понятия не имеет о чудесном творении божьем,— меня бы осрамили и забросали камнями. Ну и что же! Поистине все прекрасно под небесами, и для того, кто способен чувствовать красоту, последнее впечатление, может быть, всегда окажется самым полным и самым достойным восхищения. Но, должно быть, это поистине божественно, если я о службе и думать забыл, а считал ее невыносимой, если мне даже приятно вдыхать воздух, который врзается в грудь, словно клинок кинжала. Конечно, я и в Лапландии побываю, даже если Пуффо меня бросит, а бедняга Жан околеет на снегу. Хочу увидеть ночь, длящуюся круглые сутки, и краткий полуденный рассвет в январе. Удачи в этой стране мне не ждать, но скромные деньги, которые я зарабатываю, позволят мне путешествовать как знатному

вельможе, а именно пешком и в одиночестве, всем существом своим созерцая и ощущая красоту жизни, повизну ее, иначе говоря — светлую полосу, которая отделяет желание от пресыщения и мечту от воспоминания».

И наш юноша с пылким воображением искал уже глазами в глубоких горных ущельях невидимую тропинку, по которой он поднимается на север или доберется до Норвегии. Ему уже рисовалось в мечтах, как он висит над краем пропасти, легкомысленно распевая какую-нибудь тарантеллу, которая поразит древнескандинавское эхо, как вдруг звуки далекого оркестра донесли до его ушей припев старинной французской песенки, должно быть, только что попавшей к далекарлийцам. То была музыка на балу, который барон Олаус Вальдемора устраивал в новом замке для своих соседей по имению в честь престелной Маргариты Эльведа.

Кристиано вернулся к действительности. Только что он готов был на крыльях лететь к Нордкапу, а сейчас все помыслы, все желания, все надежды влекли его к освещенному замку, снявшему огнями на берегу озера и отдававшему в окружающий воздух струи комнатного тепла.

«Я вполне уверен,— сказал он себе,— что и за пятьсот экю (а бог весть, понадобятся ли мне пять сотен экю) я не покину этой удивительной страны нынче вечером, даже если сами валькирии перенесут меня в сапфировый дворец великого Одина. Завтра я вновь увижусь с белокурою феей, правнучкой светлокурого Гаральда! Завтра? Да нет, завтра-то мне се не видать! Ни завтра, ни через год! Ведь завтра счастливый смертный, законно носящий имя Гёфле, отправится в новый замок как доверенное лицо своей клиентки, тетушки Эльведа, и может статься, как и подобает бессердечному дельцу, будет способствовать свадьбе свирепого Олауса с нежной Маргаритой! И завтра нежная Маргарита узнает, что была обманута, и кем? Каким гневом, каким презрением она оплатит мне за мои лицемерные речи и благие советы!.. Однако все это не мешает мне быть голодным и ощущать холодок декабрьской ночи где-то между шестьдесят первым и шестьдесят вторым градусами широты. А ведь как я когда-то жаловался на то, что в Риме холодные зимы!»

Кристиано брел обратно к медвежьей комнате, но по долгу милосердия решил проведать своего осла. Тут он более внимательно рассмотрел стоявшие под навесом сани Гёфле. Каким образом от вида этих саней наш проказник внезапно пришел к безумному решению, объяснить мы не беремся. Нам известно только, что вместо того, чтобы спокойно усестись и поужинать, греясь у печки, он устоялся на принадлежавшие доктору черный кафтан и штаны, развешанные на спинке кресла в медвежьей комнате.

Кристиано полагал, что ученый законовед, которого по воле случая ему довелось изображать, должен был носить старомодный и даже несколько засаленный костюм. Куда там! Господин Гёфле, который был когда-то красивым малым, очень заботился о собственной персоне, почитал своим долгом держаться прямо, был подтянут и одет всегда строго и со вкусом. Кристиано примерил кафтан, который пришелся ему как раз по фигуре, нашел пудреницу и пуховку и слегка припудрил свою черную шевелюру. Шелковые чулки чуть жали в икрах, а башмаки с пряжками были великоваты; но что из того? Станут ли в Далекарлии так уж присматриваться? Короче говоря, через десять минут Кристиано выглядел как сын богатых родителей, профессор невесть каких наук, студент или член какого-то факультета, серьезный по виду, но простой в обращении и с безукоризненными манерами.

Вы уже догадались, что наш беспутный герой вывел лошадь Гёфле из конюшни, уговорив Жана не очень скучать в одиночестве, затем впряг послушного Локи в санки, зажег фонарь и стрелой пустился вниз по крутой стольборгской дороге.

Спустя десять минут он уже въезжал в ярко освещенный двор нового замка. Он небрежно кинул поводья ливрейным лакеям, сбежавшимся на звон бубенчиков сго коня, и, перепрыгивая через ступеньки, стремительно поднялся в роскошный вестибюль.

III

Кристиано двигался как во сне, когда чувствуешь себя вовлеченным в необыкновенное приключение и сам не можешь дать себе отчет в своих поступках.

Да и разве не было все необыкновенным в стране, куда его забросила судьба? Сказочный замок, прозванный новым, в отличие от обветшавшего Стольборга, но в действительности воздвигнутый еще во времена королевы Кристины, был настолько роскошен, а сейчас и многолюден, что, казалось, упал с неба в самое сердце голой пустыни; окруженный дикими скалами и грозными потоками, он, естественно, имел вид совершенно неприступный, но теперь, в зимнюю пору, бесчисленные изящные возки прочертили по льду извилистые и удобные колен; длинные ленты фонарей выделяли из мрака крепостные стены с призмистыми башенками, увенчанными большими медными колпаками с непомерно высокими шпилями, и вытянутый в длину жилой дом, с разных сторон окруженный четырехугольными пристройками, которые завершались громоздкими резными коньками с фигурными узорами и эмблемами. На башенных часах среднего здания пробило десять часов вечера — час, когда даже медведи, и те побоятся отряхнуть слой снега, под которым они укрылись, в то время как мужчины, самые утонченные из всех земных созданий, танцуют в шелковых чулках с женщинами, у которых обнажены плечи; словом, все в этой суровой и величавой природе и в оживлявшем ее светском веселье, вплоть до шутивно-жеманных мотивов старинной французской музыки, легко сочетавшейся с пронзительными стонами выюги в длинных коридорах, — все поражало путника, да и было от чего смутиться итальянскому гостю.

Видя, что огромные залы и длинная галерея с плафоном, на котором красовались древние божества, стали местом шумного сборища, Кристиано совершенно серьезно спрашивал себя, не чудится ли ему, не духи ли это, которых вызвали к жизни колдуньи здешних пустынных мест, чтобы над ним посмеяться. Откуда взялись эти люди, вырядившиеся в костюмы рококо, кавалеры в усыпанных блестками кафтанах, напудренные дамы, улыбающиеся в волнах перьев и кружев? А что, если этот заколдованный замок исчезнет вдруг по мановению волшебной палочки, а щегольски одетые гости, танцующие менуэт и чакону, взлетят ввысь, приняв обличье белых соколов и диких лебедей?

Кристиано, однако, уже подметил своеобразный

характер шведских нравов: раскиданные там и тут уединенные домики, огромные расстояния, отделяющие их от мелких деревушек, именуемых селами, разбросанность этих сел, протянувшихся иногда на две-три мили и объединенных между собой только зеленоватым куполом колоколенки приходской церкви; презрение знати к городскому образу жизни, который в их глазах был уделом торгашей, наконец — страсть к пустынным просторам, странным образом сочетающаяся со страстью к бешеной езде, в надежде на самые неожиданные и, казалось бы, невозможные встречи. Но хотя Кристиано и был приглашен на деревенское празднество, он отнюдь не предвидел, что эти черты у шведов возрастают по мере того, как природные условия становятся суровей, ночи длиннее, а передвижение затруднительней. Однако именно в этом заключается потребность человека покорять себе природу и заставлять ее служить себе. Барон еще за два месяца оповестил всех соседей на пятьдесят миль вокруг, что приглашает местную знать на рождественские праздники. Никто не уважал и не любил барона, и тем не менее вот уже несколько дней, как замок полон гостей, которые сочли своим долгом съехаться со всех сторон — из-за озер, лесов и гор.

Гостеприимство далекарлийцев вошло в пословицу, и, так же как любовь к уединению и сопутствующая ей жажда наслаждений, хлебосольство растет по мере углубления в отдаленные и труднодоступные области. Кристиано, заметивший удивительное добродушие шведов по отношению к чужестранцам, в особенности если те говорят на их языке, несколько не задумывался над тем, как трудно быть представленным на бале, где вас никто не знает и куда вдобавок вас никто и не думал приглашать. Поэтому на какое-то мгновение он испытал нечто вроде неприятного пробуждения, когда в вестибюле навстречу ему вышел мажордом при шпаге и, почтительно поклонившись, учтиво протянул ему руку.

Кристиано сначала подумал было, что таков в этой стране обычай приветствовать гостей, и собиравшись крепко пожать протянутую руку, но потом ему пришло в голову, что его просто просят предъявить пригласительный билет. Мажордом был стар, некрасив; лицо его было изрыто оспой, а заплывшие

глаза выражали слащавое равнодушие, таившее в себе плохо скрытую фальшь. Кристиано на всякий случай сунул руку в карман, хоть и был уверен, что не найдет того, что ему нужно. Само собой разумеется, его пригласили в замок Вальдемора за счет амфириона, но на совсем иных условиях, чем местное дворянство. Поэтому он уже приготовился было разыграть роль человека, потерявшего пропускное свидетельство и не собирающегося за ним возвращаться, как вдруг нащупал у себя в кармане, вернее в кармане Гёфле, билет за подписью барона, содержавший написанное по принятой форме приглашение на имя господина Гёфле и членов его семьи. Едва взглянув на него, Кристиано с решительным видом предъявил пригласительный билет, который мажордом не стал особенно разглядывать, успев, однако, прочесть его целиком.

— Ваша милость приходитесь родственником господину Гёфле?— спросил он и бросил билет в корзину, где уже было сложено много других.

— А как же, черт побери!— самонадеянно ответил Кристиано.

Юхан (так звали мажордома) еще раз отвесил поклон и пошел открывать дверь, ведущую на парадную лестницу, по которой взад и вперед сновали гости, расположившиеся в замке, и свободно поднимались наверх соседи, хорошо известные многочисленной прислуге. Этой обычной формальностью и ограничилась процедура введения Кристиано в дом, но он и ее был бы рад избежать, ибо совершенно не намеревался участвовать в празднике. У него было только желание появиться на нем и взглянуть на престную Маргариту.

Сначала он попал в обширную галерею, расписанную фресками, проходившую через все главное здание, в убранстве которой сквозило подражание итальянскому стилю, введенному в Швеции королевой Кристиной. Картины были писаны посредственно, но производили известное впечатление. Они изображали охотничьи сцены, и хотя все эти собаки, лошади и дикие звери в своем порывистом движении и не могли удовлетворить знатока точностью рисунка, все же они радовали глаз сочетаниями ярких и живых красок.

Пройдя галерею, Кристиано очутился на пороге

довольно пышной гостиной, где в это время как раз начинались танцы. Он стал разглядывать танцующих, охваченный только одной мыслью. И вместе с тем к его желанию увидеть Маргариту примешивалось тайное опасение. Найти способ возобновить начатый с нсю в Стольборге разговор, изменив обличье, в котором он предстал ей там, на свое собственное или на какое-нибудь еще, теперь уже не казалось ему делом столь легким, как он полагал вначале, когда пускался в это безумное предприятие. Поэтому он почти обрадовался, не увидев на бале Маргариты, и воспользовался этой передышкой для того, чтобы попытаться составить себе более полное мнение о светском обществе, которое видел перед собою.

Он ожидал чего-то необыкновенного, но так и не нашел. На первый взгляд он не обнаружил ничего, воображение его обмануло. То был вольтеровский век, а следовательно, век всего французского. По примеру едва ли не всех европейских государей, высшие круги почти всей Европы переняли язык и внешнюю сторону философской и литературной мысли Франции; но так как хороший вкус, способность логически мыслить и здраво судить о вещах всегда являются достоянием меньшинства, то безудержное увлечение нашими идеями повлекло за собою немало всяческих неуместностей. Так, нравы и обычаи нередко носили на себе в большей степени печать версальской испорченности и изнеженности, нежели плодотворных фернейских досугов. Как и философия, Франция стала модою. Искусства, платье, здания, хороший тон, образ жизни и внешний лоск — все было более или менее удачным подражанием Франции, всему, что было в ней хорошего и плохого, блистательного и низкого, удачного и досадного. То было своеобразное время, когда прогресс идет еще рука об руку с упадком; потом они схватываются в борьбе, стараясь удушить друг друга.

Убранство в доме барона Олауса было всего-навсего несколько устарелым воспроизведением французского интерьера XVIII столетия, и тем не менее барон ненавидел все французское и вел политическую игру в пользу России; но и в России неумело подражали тогда Франции и говорили по-французски; при дворе царили жестокие и кровавые обычаи, свойственные варварам, но и там старались приновить-

ся к учтивой любезности в духе нашей эпохи Просвещения. Барон Олаус следовал неудержимому веянию века. Впоследствии мы узнаем его историю. А теперь вернемся к Кристиано.

Когда наш герой вдоволь налюбовался туалетами дам, найдя, что они лишь на несколько лет отстают от французских, а их лица, далеко не все молодые и красивые, почти всегда выражают кротость или ум, он стал искать хозяина дома, вернее, постарался угадать его среди других мужчин по всему внешнему облику его и по лицу. Неподалеку от места, откуда он наблюдал за окружающими, оставаясь незамеченным, два человека тихо разговаривали между собой, стоя к нему спиной. Кристиано невольно прислушался к их разговору, хотя он его нимало не затрагивал.

Эти два человека говорили по-французски, один с русским акцентом, другой — со шведским. По-видимому, для обмена мнений им потребовался язык придворных и дипломатов.

— Ба! — воскликнул швед, — я не «колпак» и не «шляпа», хотя меня и пытаются поставить во главе парламентской фракции, состоящей из самых старомодных «колпаков». Говоря по правде, все эти ребячества кажутся мне смехотворными, и вы плохо узнали бы Швецию, если бы предпочли одних другим.

— Я все это знаю, — ответил русский, — голоса достанутся тому, кто больше заплатит.

— Вот и платите побольше! Никакой другой политики вести не приходится. Она проста, а вам это не трудно, у вас богатое государство. Что до меня, я предан вам душой и телом, ничего от вас не требуя взамен: это вопрос одних только убеждений.

— Сразу видно, что вы не из числа тех сторонников золотого века, кто мечтает о скандинавской унии, и что с вами мы всегда сговоримся. Царица на вас рассчитывает; но не надейтесь избежать ее благодарности: она не принимает услуг, не оплатив их с великой щедростью.

— Знаю, — отвечал швед с цинизмом, поразившим Кристиано, — я это на себе испытал. Да здравствует Екатерина Великая! Пусть она сунет нас к себе в карман, я возражать не стану. Только бы избавила нас от безумной идеи права и раскрепощения крестьян, это же наша беда! Пусть задаст кнута мещанам до сошлет в Сибирь побольше дворян, ко-

торые всем хотят заправлять по-своему. А нашему славному королю важно только, чтобы вернули его приход, да еще избавили от жены, и он жаловаться не будет.

— Не говорите так громко,— прошептал русский,— быть может, нас подслушивают.

— Не бойтесь! Все только притворяются, что говорят по-французски, но на сотню здесь едва ли найдется и десяток таких, кто действительно понимает этот язык. К тому же все то, что я вам сказал, я привык говорить без всякого стеснения. Я уже давно понял, что лучшая политика — заставить бояться своего мнения. Вот я и кричу на всех углях, что со Швецией покончено. Кому не нравится, пусть доказывает, что это не так!

Хотя Кристиано и не принадлежал ни к какой национальности и ничего не знал о своей стране и семье, его возмутило, что швед с таким бесстыдством продает свою родину, и он попытался разглядеть лицо человека, который вел этот разговор; но тут его внимание привлекла странная фигура, шумно и неловко переходившая от одной группы гостей к другой с видом человека, отвечающего за честь праздника. Этот персонаж был облачен в ярко-красный, богато расшитый мундир, украшенный орденом шведской Полярной Звезды. Бросалась в глаза слишком высокая для того времени прическа с кричащей завивкой весьма дурного вкуса, а огромные богатые кружевные манжеты свидетельствовали о том, что роскоши тут больше, нежели чистоплотности. Ко всему, это был человек старый, неуклюжий, вертлявый, нелепый, слегка горбатый, изрядно хромой и к тому же совершенно косой. Из этого последнего обстоятельства Кристиано заключил, что у него лживый взгляд и что этот неприятный чудак не мог быть никем иным, кроме нелепого и отвратительного претендента на руку Маргариты.

Кристиано скромно удалился, чтобы не быть вынужденным ему представляться и поддерживать версию мнимого родства с Гёфле (вольность, которую он со спокойной совестью позволил себе с мажордомом); он решил побродить по залам до тех пор, пока не приметит юную графиню, даже если потом ему придется уйти сразу, не сказав с ней ни слова. Ему показалось, что горбатый владелец замка взглянул на

него довольно внимательно; но, ловко прошмыгнув мимо гостей, болтавших в дверях, он надеялся, что ускользнет от него.

Несколько мгновений он прогуливался, не скажу — в толпе (помещение было чересчур велико по сравнению с числом приглашенных), но среди мелькавших перед ним оживленных групп гостей, к которым он не успевал приглядываться. Боясь, что к нему обратятся прежде, чем он настигнет ту, кого искал, он озабоченно проходил мимо, и именно этого, что чувствовал себя неуверенно, принимал еще более независимый вид. И, однако, то ли из любопытства, которое возбудил к себе никому не известный гость, то ли из чувства симпатии к его привлекательной наружности и красивому лицу, только в каждом кружке, мимо которого он проходил, находились люди, расположенные с ним поговорить или любезно ответить на его поклон. Но у Кристиано кружилась голова, и он истолковывал превратно обращенные к нему приветливые взгляды и милые улыбки. Он не останавливался, притворяясь, что открыто ищет кого-то, и кланяясь с непринужденным изяществом, которое, впрочем, ему ничего не стоило, людям, оказывавшим ему знаки внимания, сам едва осмеливаясь при этом на них взглянуть.

Наконец, вернувшись в галерею, называемую охотничьей, он заметил двух женщин, и тотчас же в одной из них признал ту, кого видел в Стольборге час назад, в другой — ее воспитательницу; последнее предположение основывалось на скромной одежде, робком и вместе с тем лукавом выражении лица и чем-то очень французском во всем облике мадемуазель Потен. На этом закончилась первая часть романического приключения, которое замыслил Кристиано. Он явился на бал, беспрепятственно проник в замок, сумел не попасться на глаза хозяину дома и избежать его расспросов и, наконец, нашел Маргариту под благожелательным надзором ее наперсницы. Но этого было мало. Оставалось еще заговорить с молодой графиней или привлечь к себе ее внимание и завязать с ней знакомство на новых началах.

Вторая часть романа началась с больших волнений. В ту минуту, когда Кристиано ловил взгляд Маргариты, надеясь, что взгляд этот его вдохновит, он услышал за собой неровные шаги. Кто-то пытался

нагнать его, и резкий, крикливый голос у него за спиной остановил его, окликнув:

— Судары! Господин чужестранец! Куда вы так спешите?

Наш путешественник повернулся и столкнулся нос к носу с косоглазым и кривобоким стариком, встречи с которым, как ему казалось, он так удачно сумел избежать. Я сказал — нос к носу, ибо хромопогий, пустившись ему вдогонку, не сумел вовремя умерить шаг и чужь не упал ему в объятия. Кристиано мог бы убежать, но этим бы все погубил; и он ответил, глядя в лицо опасности:

— Приношу вам тысячу извинений, господин барон, вас-то я и искал.

— Ах, да! — сказал хромой, приветливо протягивая ему руку. — Я так и знал. Из всех гостей мне ваше лицо запомнилось, и я сразу подумал: «Вот, должно быть, человек образованный, какой-нибудь ученый путешественник, человек серьезный, умная голова, и, уж конечно, я тот полюс, что привлечет магнит». Ну, так вот, я к вашим услугам и с радостью отдаю себя в ваше распоряжение. Мне нравится любознательная молодежь, можете задавать вопросы, и вы на все получите ответ.

В веселом лице и самоуверенных речах старика было столько чистосердечия и расположения, что Кристиано в душе уже готов был обвинить Маргариту, что она к нему несправедлива. Правда, в роли жениха он был смешон и нелеп, но то был добрейший человек в мире, который не мог бы обидеть ребенка, и в то время как один глаз его, мутный и словно слепой, блуждал по стенам залы, другой глядел на своего собеседника с такой откровенностью и отеческой теплотой, что всякое обвинение его в жестокости казалось напраслиной.

— Я так смущен вашей добротой, господин барон, — отвечал Кристиано спокойно и даже несколько иронически. — Я много наслышан о ваших знаниях, и поэтому, имея некоторые слабые понятия...

— Вы хотели спросить моего совета, может статья, руководства... Ах, дитя мое, во всем нужна метода... Но что же я вас заставляю стоять среди сей легкомысленной молодежи, снующей туда и сюда; давайте присядем. Никто нам не будет мешать, и, если хотите, мы можем болтать здесь всю ночь. Ког-

да разговор заходит о науке, я не знаю ни усталости, ни голода, ни сна. Да вы и сами такой, готов поручиться! Ах видите ли, надо или быть таким, или не лезть в ученые.

«Увы,— подумал Кристиано,— я попал на кладь премудрости, и вот я приговорен к каторжным работам в рудниках, ни больше, ни меньше, как какой-нибудь сибирский ссыльный!»

Это открытие оказалось тем более жестоким, что Маргарита как раз прошла мимо и была уже в конце галереи, болтая с дамами и кавалерами, которые с нею раскланивались, видимо, направляясь в танцевальную залу, куда барон отнюдь не собирался за нею следовать. Они уселись в одной из полукруглых амбразур галереи, у печки, укрытой ветвями тиса, терновника перемежку с оружием и чучелами голов диких зверей.

— По всему видно, что вы человек очень разносторонний,— начал Кристиано, которому хотелось избежать в эту минуту ученых разговоров.— Разумеется, вы к тому же еще и умелый охотник, и меня только удивляет, откуда у вас на все находится время...

— Почему вы решили, что я охотник?— удивился старик.— Ах! Вы, верно, сочли меня виновным в убийстве этих зверей, чьи отрубленные головы так грустно взирают на нас своими янтарными глазами? Вас ввели в заблуждение: я в жизни не охотился. Мне претят жестокие развлечения, которые потакают столь естественной для человека дикости. Я посвятил себя изучению бесчувственных, но богатых недр земного шара.

— Простите, господин барон, я подумал...

— Но почему вы зовете меня бароном? Никакой я не барон, правда, король пожаловал мне дворянство и орден Полярной Звезды в награду за мои труды в фалунских копиях. Как вам, конечно, известно, я был профессором горного института в этом городе; это не дает мне права на титул, но с меня довольно небольших привилегий, ценных в глазах гордой касты, мнение которой я, впрочем, ни во что не ставлю.

«Должно быть, я обознался,— подумал Кристиано,— ну, раз так, то надо поскорее отделаться от этого ученого мужа, если только я смогу разыскать его потом».

Но он внезапно переменял решение, видя, что Маргарита возвращается и медленно, поминутно останавливаясь, направляется как будто к тому месту, где он сидит. Теперь он думал лишь о том, как бы поладить с геологом, чтобы тот и представил его, если это будет возможно, как человека благородного звания. Он сразу же приступил к делу. Он знал больше, чем нужно, чтобы задавать умные вопросы. Еще утром, пробираясь через Фалун, он спустился в глубокий рудник и подобрал просто так, для своего удовольствия, несколько образцов пород, к величайшему возмущению Пуффо, который поглядывал на него как на повредившегося в рассудке. К тому же он прекрасно знал, что если ученый обуреваем тщеславием, то достаточно с должным почтением выслушать его речи и дать ему возможность поговорить о своей науке, чтобы он счел вас за человека очень умного. Так оно и получилось. Не дав себе труда осведомиться о том, как зовут его собеседника, откуда он родом и чем занимается, профессор пустился в подробное описание подземного мира, на поверхности которого он интересовался лишь самим собой, своей репутацией, своими работами и, наконец, успехом собственных наблюдений и открытий.

Во всякое другое время Кристиано слушал бы его с удовольствием, ибо понимал, что имеет дело с человеком знающим, а сам он питал живейший интерес к изучению природы. Но приближалась Маргарита, и ученый, заметя внезапную рассеянность молодого человека, посмотрел своим здоровым глазом в том же направлении и воскликнул:

— А, вот и моя невеста! Нет ничего удивительного! Послушайте, друг мой, я должен вас представить приятнейшей женщине во всем королевстве!

«Значит, это все-таки он!— подумал потрясенный Кристиано.— Положительно это барон Олаус! Он не в себе, и вот безумному старику стараются принести в жертву эту розу снегов!»

Он окончательно уверился в этом, и его еще больше поразило, что Маргарита поспешила к старику.

— А вот и моя любовь!— воскликнула она, обращаясь к мадемуазель Потен.

Затем она добавила, с ласковой улыбкой протягивая руку старику:

— Но как же вы можете, сударь, укрываться в

этом уголке, когда невеста ваша вот уже целый час вас разыскивает!

— Вы видите, она меня искала!— с простодушным самодовольством сказал ученый.— Она меня ищет, она скучает, когда меня нет рядом с ней! Что поделать, моя прекрасная возлюбленная! Не моя вина, что всем хочется со мной посоветоваться. И вот премилый молодой человек, француз, не так ли? Или итальянец, у вас ведь есть небольшой акцент. Позвольте мне, графиня Маргарита, представить вам моего юного друга, господина... Как же вас звать?

— Христиан Гёфле,— уверенно ответил Кристиано. Это имя, а также и тембр голоса, и интонации, которые были ей очень знакомы, заставили Маргариту вздрогнуть.

— Вы сын господина Гёфле?— с живостью осведомилась она.— О! Поразительно, до чего же вы на него похожи!

— Ничего нет удивительного, если близкие родственники так похожи друг на друга,— ответил ученый,— но молодой человек может приходиться только племянником господину Гёфле: ведь Гёфле никогда не был женат, а значит, у него нет детей, так же как и у меня.

— Это еще не причина их не иметь,— шепнул Кристиано на ухо ученому.

— Ах, верно, верно— ответил тот тем же тоном и с невероятной наивностью,— я и не подумал! Ну и пострел же этот Гёфле! Выходит, вы его побочный сын?

— Да, я воспитывался за границей и только недавно прибыл в Швецию,— ответил Кристиано, в восторге от успеха осенившей его мысли.

— Ну, хорошо, хорошо!— продолжал ученый, очень плохо слушавший все, что прямо его не касалось.— Понимаю, это ясно, вы его племянник.— Затем, обращаясь к Маргарите, он добавил:— Господин этот — мой хороший знакомый, позвольте вам представить его как истинного племянника нашего Гёфле, которого вы не знаете, но с которым, как вы сегодня утром мне говорили, хотели бы познакомиться.

— Я и сейчас это говорю!— воскликнула Маргарита.

И она сразу покраснела, встретившись взглядом с Кристиано, глаза которого напомнили ей своей жи-

востью глаза мнимого Гёфле: как ей показалось, они что-то уж очень сильно блестяли из-под пушистой меховой шапки, когда Кристиано время от времени приподнимал зеленые очки адвоката, чтобы получше ее рассмотреть.

— А как это получилось, что вы не танцуете? — продолжал ученый, обращаясь к девушке и не замечая ее смущения. — Я думал, что всю эту ночь вы будете царицею бала и я не смогу вам и словечка сказать.

— Так вот, мой дорогой поклонник, вы ошиблись. Танцевать я не буду: я подвернула ногу на лестнице. Вы не заметили, что я хромаю?

— Нет,нисколько! Вздумали стать похожей на меня? Расскажите господину Гёфле, как я охромел. Это ужасная история, и другому бы из нее живым не выйти. Да, сударь, видите ли, я жертва науки.

И, не дав Маргарите даже раскрыть рот, Стангстадиус принялся с воодушевлением рассказывать, как однажды, когда его спускали в шахту, веревка оборвалась, и он упал с корзиной на самое дно пропасти глубиной в пятьдесят футов семь дюймов и пять линий. Он пролежал без сознания шесть часов пятьдесят три минуты и бог уж знает сколько секунд и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой в течение двух месяцев, четырех дней и трех с половиной часов. Он не преминул также с удручающей пунктуальностью указать точную меру гипса, приходившуюся на каждую пострадавшую часть тела, и количество — в драмах и скрупулах — всевозможных снадобий, которые он вобрал в себя либо в виде настойки, либо в виде мазей для притираний.

Рассказ получился до чрезвычайности длинным, несмотря на то, что старик говорил быстро и не повторялся. Но память была для него сущим бичом и не позволяла опустить ни одного, даже самого ничтожного обстоятельства, когда он говорил о себе самом; ему и в голову не приходило, что кому-нибудь это может наскучить.

Маргарите, знавшей весь этот рассказ наизусть, незачем было его слушать особенно внимательно, и она уллучила несколько минуток, чтобы потихоньку перемолвиться с мадемуазель Потен. Результат их недолгих переговоров, не ускользнувших от внимания

Кристиано, не замедлил сказать. Услужливая Потен ловко воспользовалась моментом, когда старик заканчивал свою историю и собирался начать следующую, и с подкупающим простодушием стала расспрашивать его об одной из глав его последнего труда, который, по ее словам, ей трудно было понять.

Видя, с каким жаром старик углубился в спор с гувернанткой, Кристиано был восхищен женской находчивостью, а в это время глаза Маргариты открыто говорили ему:

«Я умираю от желания поговорить с вами!».

Он не заставил повторять себе это дважды и последовал за нею на другой конец полукруга, где она уселась на диван, а он, став рядом с нею в почтительной позе и прикрывая собою амбразуру, искусно заслонял ее от взглядов прогуливавшихся гостей.

— Господин Кристиан Гёфле,— сказала она, снова внимательно к нему приглядываясь,— удивительно, до чего вы похожи на вашего дядюшку!

— Мне часто это говорят, графиня, видимо, и в самом деле мы очень похожи.

— Я плохо разглядела, вернее, почти не видела его лица; но голос, манера говорить... ну, в точности те же!

— Мне все-таки думается, что голос у меня помоложе!— ответил Кристиано, который в Стольборге время от времени старательно приглушал свой голос, читаясь подражать старицовой речи.

— Да, есть, конечно, разница в годах,— сказала молодая девушка,— хотя можно сказать, что у вашего дядюшки голос еще очень звучный. В конце концов, он не очень и стар, не правда ли? Мне показалось, что ему нельзя дать его лет. У него чудесные глаза, и он почти с вас ростом...

— Почти,— сказал Кристиано, невольно бросив взгляд на кафтан законоведа и спрашивая себя, уж не потешается ли над ним Маргарита.

И, решив ускорить объяснение, он сказал:

— Мы с дядей еще кое в чем схожи: мы оба питаем живейший интерес к одной известной вам особе и равно ей преданы.

— Ах, вот оно что,— сказала молодая девушка, краснея еще сильнее, но в словах ее прозвучала такая искренность, что все сомнения Кристиано рассеялись.

— Видимо, ваш дядюшка любитель поболтать,

если он уже успел рассказать вам о моем сегодняшнем визите.

— Мне неизвестно, доверили ли вы ему какой-либо секрет; в том, что он мне пересказал, никаких тайн нет, вам незачем краснеть.

— Пересказал... пересказал... Уверена, что вы были там, прятались где-нибудь в соседней комнате. Вы все подслушали.

— Ну да, конечно,— ответил Кристиано, поняв, что доверие к нему только возрастет, если он воспользуется мыслью, невинно ему внушенной,— я был в спальне и разбирал дядины бумаги. Он и не знал об этом, а я невольно все услышал.

— Вот приятный сюрприз!— заметила Маргарита, хоть и смущенная, однако в глубине души довольная, сама не зная почему.— Вместо одного поверенного я нашла двух!

— По-видимому, вашими устами говорил ангел во плоти, но сейчас у меня появилось опасение, уж не был ли это скорее злой демон?

— Спасибо за доброе мнение обо мне! Но разрешите спросить, на чем же оно основано?

— На притворстве, которого я никак не могу понять. Вы описали барона Олауса как чудовище телом и душой...

— Простите, сударь, вы плохо слушали. Я описала его человеком неприятным, страшным, но я никогда не говорила, что он некрасив.

— Как раз это вы могли сказать, ибо, откровенно говоря, он совершеннейший урод.

— У него действительно жестокое и холодное лицо, это верно, но все как один говорят, что у него очень правильные черты.

— У здешних жителей странная манера судить о виденном. Но не будем спорить о вкусах. Я смотрю иначе. Я нахожу его некрасивым и неуклюжим, но добродушным и препотешным...

— Вы, конечно, смеетесь, господин Христиан Гёфле, или это недоразумение. Да простит мне бог, но глазами вы указывали на господина напротив. Неужто же его вы и приняли за барона Вальдемора?

— Кто же иной, если не барон, может говорить о вас как о своей невесте, кого же, как не его, вы можете весело называть своим возлюбленным?

Маргарита расхохоталась.

— О, в самом деле, если вы могли подумать, что я обращаюсь с бароном так запросто, по-дружески, вы должны были счесть меня лгуньей или очень непоследовательной; но, слава богу, я ни то, ни другое. Тот, кого я в шутку называю своим возлюбленным, не кто иной, как доктор наук Стангстадиус, и не может быть, чтобы вы не были о нем наслышаны от вашего дядюшки.

— Доктор Стангстадиус?— повторил Кристиано с большим облегчением.— Ну что ж, признаюсь, я не знаю даже его имени. Я приехал из дальних стран, где провел всю жизнь.

— Тогда,— сказала Маргарита,— мне понятно, что вы не знаете ученого минералога. Как вы совершенно верно заметили, это превосходный человек, иногда немного вспыльчивый, но не злопамятный. Добавлю, что он прост, как ребенок, и что бывают дни, когда он всерьез верит в мою *страсть* к нему, и старается от меня отделаться, говоря, что такие люди, как он, принадлежат всему обществу и не могут посвятить себя какой-нибудь одной женщине. Я познакомилась с этим человеком очень давно, еще тогда, когда он приехал для своих ученых занятий в наши края, в тот замок, где я воспитывалась. Он провел там несколько недель, и тетя позволила ему меня навещать, когда он бывает по делам в этих местах. Это единственный человек, которого я здесь знала, когда мы сюда приехали, ибо, надо вам сказать, барон Олаус поручил ему вести работы в своем имении. Но вот уже тетя ищет меня и сейчас начнет меня бранить, вот увидите!

— Вы хотите, чтобы она вас не видела? Пройдите между стеной и этими охотничьими трофеями..

— Пусть и Потен тоже сюда придет, только никогда нам не уговорить господина Стангстадиуса, чтобы он нас не выдавал. Увы! Тетушка начнет меня бранить, требуя, чтобы я танцевала с бароном, а я упорно буду ссылаться на свою хромоту, хотя на самом деле прихрамываю почти незаметно.

— Надеюсь, вы совсем не хромаете?

— Все-таки прихрамываю. Мне посчастливилось только что упасть у нее на глазах, когда я шла по лестнице. Я отделалась легкой болью в щиколотке, но скорчила немало гримас, желая доказать, что никак не могу открыть бал менуэтом в паре с хозяином до-

ма. Тете пришлось заменить меня другой, вот почему я здесь; но все кончено, она идет сюда!

Действительно, графиня Эльфрида Эльведа приближалась, и Кристиано пришлось немного отодвинуться от Маргариты, подле которой он сидел.

Графиня была невысокой, довольно полной женщиной, едва достигшей тридцати пяти лет, хорошо выглядевшей, живой, решительной и очень кокетливой, больше, правда, из любви к интригам, чем из желания понравиться.

Она была одной из самых пылких сторонниц шведской партии «коляпаков», иными словами интриговала в пользу России против Франции, приверженцы которой называли себя «шляпами», а также отстаивала интересы знати и лютеранского духовенства против королевской власти, искавшей, естественно, опоры в других сословиях, в горожанах и крестьянстве.

В юности она, по-видимому, отличалась привлекательностью, да и сейчас была еще достаточно красива, а ум ее и положение в обществе также помогали ей одерживать победы. Но Кристиано не понравилась ее манера держать себя, то высокомерная, то чересчур фамильярная. С первого взгляда заметив в ней двуличие и упрямство, он решил, что и то и другое опасно для будущего Маргариты.

— Ну что же, — спросила она племянницу язвительным и резким тоном, — что ты так жмешься к печке, точно замерзла? Подойди, мне надо с тобой поговорить.

— Хорошо, тетушка, — отвечала лукавая Маргарита, делая вид, что ей трудно встать, — но у меня действительно очень болит нога! Я не могла танцевать в большой зале, и мне стало холодно.

— Но с кем вы тут болтали? — спросила у нее графиня, оглядывая Кристиано, который вновь присоединился к Стангстадиусу.

— С племянником вашего друга Гёфле, с которым меня сейчас познакомил господин Стангстадиус. Хотите, тетушка, я вам его представлю?

Кристиано, который пропускал мимо ушей все, что ему говорил ученый, отлично расслышал ответ Маргариты и, решившись на все, лишь бы продолжать знакомство с племянницей, сам подошел приветствовать тетушку и сделал это так почтительно и непринужденно, что произвел на нее хорошее впечат-

ление. Надо полагать, она очень пуждалась в расположении Гёфле, ибо, несмотря на заурадное и отнюдь не дворянское имя, которое присвоил себе Кристиано, она отнеслась к нему не хуже, чем если бы он принадлежал к знатному шведскому роду. Затем, когда Стангстадиус подтвердил, что это достойнейший молодой человек, она сказала:

— Мне очень приятно с вами познакомиться, и я в претензии на господина Гёфле, что он ни разу не похвалился мне, что у него такой хороший племянник. Вы тоже занимаетесь науками, как наш знаменитый друг Стангстадиус? Это весьма одобряется. Это один из лучших путей, какой может выбрать молодой человек. С помощью науки можно даже достичь самого приятного положения в свете — заставить себя уважать, ничем ради этого не поступаясь.

— Я вижу,— заметил Кристиано,— что именно так обстоит дело в Швеции, к чести этой благородной страны будь сказано; но в Италии, где я воспитывался, и даже во Франции, где я прожил некоторое время, ученые обычно бедны и не получают настоящего поощрения, а подчас даже подвергаются преследованию со стороны религиозных фанатиков.

Этот ответ привел нашего геолога в неописуемую радость, ибо льстил его национальному самолюбию, и бесконечно понравился графине, которая презирала Францию.

— Вы совершенно правы,— сказала она,— и я не понимаю вашего дядю, пожелавшего воспитывать вас в чужих странах, а не у себя на родине, где судьба студента столь почетна и счастлива.

— Ему хотелось,— на всякий случай ответил Кристиано,— чтобы я смог легко изъясняться на иностранных языках. Но ради этого, я думаю, незачем было засылать меня в такую даль, так как я замечаю, что по-французски тут говорят не хуже, чем в самой Франции.

— Благодарю вас за комплимент,— сказала графиня,— но вы мне льстите. Вряд ли все-таки мы говорим по-французски так хорошо, как вы. Что, до итальянского, то на нем мы говорим и того хуже, хотя этот язык и входит в наше воспитание, если оно может назваться хорошим. Поговорите-ка по-итальянски с моей племянницей, а если она будет коверкать этот язык, посмейтесь над ней, очень вас про-

шу. Только почему все же господин Гёфле придает такое значение живым языкам? Уж не предназначает ли он вас к дипломатической карьере?

— Очень может быть, ваше сиятельство; мне еще не вполне известны его намерения.

— Что вы говорите!— воскликнул геолог.

— Успокойтесь, дорогой профессор,— сказала графиня.— Этой стороной дела еще надо заняться. Все жизненные пути хороши, если умеешь продвигаться.

— Если госпожа графиня соблаговолит давать мне советы,— начал Кристиано,— я почту себя счастливым и глубоко обязанным.

— Ну что же, весьма охотно,— ответила она, глядя на него приветливо и дружелюбно,— мы поболтаем, и я о вас позабочусь, тем более что вы обладаете всем необходимым для успеха в свете. Проводите нас в танцевальную залу, мне непременно хочется заставить мою племянницу станцевать хотя бы один менуэт; это не утомительно, а ее отказ может показаться неуместным. Слышишь, Маргарита. Надо делать то, что делают все!

— Знаете, тетушка,— сказала Маргарита,— не у всех ведь нога болит!

— В свете, дитя мое,— начала графиня,— я это говорю и для вас, господин Гёфле, не может быть никаких помех, когда речь заходит об учтивости и приятном обхождении. Запомните хорошенько: если судьба наша складывается неудачно, мы всегда в этом виноваты сами. Надо иметь железную волю, превозмогать холод и жару, голод и жажду, уметь переносить большие страдания, равно как и мелкие неприятности. Свет—это отнюдь не сказочный замок, где люди только и делают, что развлекаются, как это представляешь себе в молодости. Совсем наоборот, это горнило испытаний, где любые преграды, любые желания, любое отвращение следует преодолевать с истинным стоицизмом.., когда у тебя есть какая-то цель! А ведь только глупец живет без цели. Справьтесь у своего возлюбленного, Маргарита, думает ли он о своих удобствах, боится ли ушибиться, спускаясь в пропасть, чтобы найти там то, что является целью его жизни! Так вот, под дворцовыми сводами, так же как и в глубинах рудников, есть немало всяких ужасов, которых человек не должен бояться.

Потанцевать с небольшой болью в щиколотке — такой пустяк в сравнении со многим, что ты узнаешь в будущем. Полно. Вставай и пойдем!

Маргарита невольно обратила горестный взгляд на Кристиано, точно говоря:

«Вот видите, мне никогда не удастся настоять на своем».

— Вы позволите мне предложить руку графине Маргарите? — спросил Кристиано у ее властной тетушки. — Она действительно хромает.

— Нет, нет, все это одни капризы! Вот увидите, ей совсем не захочется прихрамывать, это же очень некрасиво. Маргарита, подайте руку господину Стангстадиусу и проходите вперед, чтобы мы могли видеть, кто из вас двоих больше припадает на ногу.

— Это я-то хромаю! — вскричал ученый. — Я хромаю, только когда я об этом не думаю! Если я захочу, я хожу в десять раз быстрее и держусь прямее, чем лучшие ходоки! Ах! Хотел бы я, чтобы вы меня в горах повидали, когда порою надо показать ленивому проводнику, что человек может сделать все, что захочет!

Говоря это, Стангстадиус принялся очень быстро шагать, так сильно переваливаясь с ноги на ногу, что бедная Маргарита, которую он увлекал за собой, едва касалась пола.

— Дайте мне руку, — попросила Кристиано графиня Эльфрида, — хоть я, правда, не нуждаюсь ни в охране, ни в опоре, но мне просто хочется побеседовать с вами.

Идя быстрыми шагами и продолжая говорить на ходу, она добавила:

— Ваш дядя вам, должно быть, говорил, что я хочу выдать племянницу за барона Вальдемора?

— Действительно, ваше сиятельство, он мне об этом говорил... сегодня вечером.

— Сегодня? Он приехал? Я не знала, что он уже здесь.

— Он, должно быть, не нашел места в замке и остановился в Стольборге.

— Как! В этом пристанище злых духов? Что ж, в хорошей же он там будет компании, но на бал он разве не придет?

— Надеюсь, что нет! — неожиданно вырвалось у Кристиано.

— Надеетесь, что нет?

— У него ведь подагра. Ему необходим отдых.

— Как, у него подагра? Вот уж не повезло ему, он ведь такой подвижной и деятельный! Никогда у него не было подагры, и он был уверен, что так и проживет без нее.

— Совсем недавно, на этих днях, у него был приступ. Он послал сюда меня вместо себя, прося передать вам его нижайшие поклоны и получить ваши распоряжения, дабы я мог их ему сообщить наутро, как только он проснется.

— Ну, вот и прекрасно. Вы передадите ему все, что я вам скажу. Тайны я из этого не делаю. Я заметила, что стоит предать какой-либо проект огласке, и он уже тем самым наполовину осуществлен. Итак, я хочу выдать племянницу за барона. Вы скажете, что он не молод: лишний повод для него поскорее отвадить от себя дюжину неспособных наследников, обхаживающих его без всякого толку. Да вот как раз двое из них проходят мимо; один — это граф Нора, человек безобидный, другой — барон Линденвальд, умный интриган, честолюбец, но беден, как и вся наша нынешняя знать. Барон Олаус, у которого нет братьев, составляет счастливое исключение, но могу сказать — и вам и вашему дяде, — что он склонен остановить свой выбор на моей племяннице, она же к нему склонности не питает. Меня это, правда, ничуть не тревожит: племянница моя — еще дитя, она уступит. Так как моя воля стала всем известна, ухаживать за ней никто больше не посмеет, это я беру на себя. Вашему дяде остается лишь убедить барона, а сделать это очень легко.

— Если графиня удостоит меня своими указаниями...

— Вот они в двух словах: моя племянница любит барона.

— В самом деле?

— Как! Вам еще непонятно? Вы же готовитесь в дипломаты!

— Ах, да, конечно; простите, сударыня... Считается, что графиня Маргарита любит барона, хотя на самом деле она его не выносит, и...

— И нужно, чтобы барон поверил, что он любим.

— Стало быть, Гёфле должен рассказать ему всю эту историю?

— Только он. Барон очень недоверчив. Я давно его знаю; убедить его мне не удастся. Он подозревает, что я имею на него виды.

— А у вас их нет,— сказал, улыбаясь, Кристиано.

— Есть, только... для моей племянницы. Разве это не мой долг по отношению к ней?

— Разумеется, но согласится ли Гёфле на это маленькое преувеличение?

— Чтобы адвокат постеснялся слегка прикрасить истину? Что вы мне говорите! Ради того, чтобы выиграть дело, ваш милейший дядюшка и не на такое пойдет!

— Конечно, но поверит ли барон?

— Барон во всем доверяет Гёфле. Он считает его единственным искренним человеком.

— Господин барон хочет, чтобы его любили ради него самого?

— Да, у него есть такая странность.

— Если он любит графиню Маргариту, то легко поддастся иллюзии!

— Любить! Да разве в его годы любят? Вовсе не в этом дело! Это человек серьезный, думающий о женитьбе, чтобы иметь наследника, ведь его сын умер два года назад. Он хочет обладать красивой женой благородного происхождения, и ему нужно только, чтобы она не сделала его посмешищем. А с моей племянницей он ничем не рискует. У нее есть принципы. Будет ли она довольна своей участью или нет, она себя не уронит. Можете сказать это вашему дяде, чтобы его убедить. Обещайте вдобавок мою благодарность, она чего-нибудь да стоит, он это прекрасно знает. Мое положение помогает мне оказывать большую услугу в обмен за малую. Начнем с того, чего он хотел бы для вас? Чего вы сами хотите? Хотите сразу стать атташе и прочно укрепиться в русском посольстве? Мне стоит лишь сказать слово. Посол здесь.

— Боже упаси!— воскликнул Кристиано, ненавидевший Россию.

Но он спохватился, не желая пока что ссориться с графиней, и закончил фразу так:

— Боже меня упаси позабыть о ваших милостях! Я сделаю все, чтобы их заслужить.

— Ну, так сразу же и начинайте.

— Должен ли я отправиться в Стольборг разбудить дядю?

— Нет; пока длится бал, подходите время от времени к моей племяннице и заговаривайте с ней. Воспользуйтесь этим, чтобы расхваливать ей барона.

— Но я ведь его не знаю.

— Вы его видели, этого достаточно: говорите так, словно вас поразили его благородное лицо и величественная осанка.

— Я охотно бы это сделал, если бы мне довелось его видеть, но...

— Ах! Вы еще не поздоровались с ним? Идемте, я берусь вас ему представить. Или нет, не так. Вы попросите Маргариту показать его вам и тотчас же восхититесь красотой его черт. Это будет просто-душно, непосредственно и куда лучше заранее заготовленных похвал.

— Но как может мое мнение, пусть даже искреннее, повлиять на взгляды вашей племянницы?

— В Швеции каждый, кто путешествовал, стоит двоих, а то и троих. А к тому же разве вы не знаете, что молодые девицы ни в чем сами не разбираются, что в выборе они руководствуются самолюбием, а не склонностью, и поэтому человек, которым они более всего восхищаются, будет тот, кто вызывает наибольшее восхищение у других. Взгляните, вот моя племянница среди молодых особ, которые не прочь снискать расположение барона! Вот и отлично, что она сидит с ними. Я оставляю ее там, а вы вмешайтесь в их пересуды, и чтобы помочь вам исполнить то, что вы мне пообещали, я сейчас возьму барона под руку и пройду с ним на виду у этой чинной компании. Пользуйтесь случаем.

— Но ежели барон ненароком меня приметит, он спросит, кто этот дурень, который даже не попросил себя представить ему и до того неотесан, что не сумел этого сделать сам?

— Не бойтесь, я все беру на себя. К тому же барон вас не увидит. У него плохое зрение, и он различает людей только по голосу. На охоте он носит очки и бьет очень метко, но в свете из кокетства он этого себе не позволяет. Итак, решено. Ступайте!

Минуту спустя Кристиано уже оказался в кружке прелестных барышень, отдыхавших между двумя

танцами. Чтобы присоединиться к ним, он обратился к мадемуазель Потен, стоявшей в последнем ряду, сказав ей несколько любезных слов, к которым бедная девушка была очень чувствительна. Маргарита с удовольствием заметила, что он примкнул к группе молодых людей, окружавших кресла своих дам, и тут же узнали от нее, что это «достойный молодой человек, племянник знаменитого адвоката Гёфле, близкого друга тетушки». Некоторые надули губки, считая, что не полагается человеку незнатному ухаживать за ними наравне с молодыми офицерами индельты¹, которые, как правило, происходили из хороших семей; но большинство девушек приняло его радушно, найдя его очень милым.

Дело в том, что, как и многие другие искатели приключений этой богатой приключениями эпохи, Кристиано и вправду был очень мил. Природа наделила его той красотой, которая должна была нравиться в этих краях: высоким ростом, белой кожей, свежим цветом лица, синими глазами, опущенными длинными ресницами, черными, как смоль, бровями, пышными волосами. Никто не сомневался, что это чистокровный далекарлиец, характерный представитель народности, резко отличающейся от всего прочего населения скандинавских стран. В нем было еще что-то, что выделяло его и обращало на себя внимание: какая-то необычная манера держать себя, особая мягкость речи, и в этом ощущалось влияние более цивилизованного и изысканного общества, нечто очень тонкое итальянское или французское, исходившее от всего его облика. Как только узнали, что он воспитывался в Италии, его засыпали вопросами. Ответы его дышали здравым смыслом, искренностью и весельем, и, поболтав с молодыми девушками каких-нибудь четверть часа, он вскружил им всем головы. Хоть Кристиано и не был фатом, его это нисколько не удивило. Он давно уже привык нравиться, и, пожелав во что бы то ни стало разыграть из себя в этот вечер человека светского, он понимал, что справится с этой ролью лучше большинства присутствовавших на бале людей, титуло-

¹ Индельта — регулярная армия, расквартированная на постоянное жительство по хуторам и имеющая особую организацию. (Прим. автора).

ванных и увешанных орденами, и что помешать этому может только нечто непредвиденное, но тогда уже это будет настоящим провалом.

Между тем маленькая графиня Эльфрида, вцепившись, или, скорее, повиснув на руке огромного барона Олауса, уже дважды прошла мимо, не встретив взгляда Кристиано. На третий раз она громко кашлянула, потом подвела барона к Маргарите, и Кристиано, уловив наконец ее намерение, оторвался от упитальной беседы и отошел, чтобы разглядеть барона, не привлекая к себе его внимания.

Барон Олаус был очень высоким, грузным и, несмотря на свой возраст, красивым мужчиной, но лицо его действительно отпугивало своей матовой белизной и какой-то зловещей неподвижностью. Его пристальный взор сковывал, как порывы ледяного ветра, от которых захватывает дух, а губы пытались изобразить мрачное подобие улыбки, исполненной презрения и тоски. Его невыразительный голос был неприятно сух; стоило Кристиано услышать, как барон обращается к Маргарите, и он тотчас узнал в нем человека, который час назад так дешево продавал Швецию, изливаясь в своих чувствах перед русским дипломатом. Он узнал его и по высокому росту и богатой одежде темного цвета, которую приметил, слушая, как он расписывал свою родину врагу.

— Так вы решительно не желаете потанцевать,— обратился раздосадованный барон к Маргарите,— у вас очень болит нога?

Графиня Эльфрида не дала Маргарите ответить.

— О, это сущие пустяки,— вмешалась она,— Маргарита сейчас пойдет танцевать.

И она увела барона прочь, снова кинув на Кристиано весьма властный взгляд. Кристиано же истолковал ее приказание по-своему:

— Так это и есть барон Олаус Вальдемора?— спросил он у Маргариты, подходя к ней и к мадемуазель Потен, которая вплотную придвинулась к девушке при виде хозяина замка.

— Это он,— с горькой улыбкой отвечала Маргарита.— Как вы его находите?

— Этот человек, возможно, был красив лет тридцать тому назад.

— По меньшей мере!— подхватила Маргарита со вздохом.— А лицо его вам нравится?

- Да. Я люблю веселые лица. А у него оно такое...
- Страшное, правда?
- Так что же вы говорили дяде?— спросил Кристиано, усаживаясь позади ее кресла и понижая голос.— Он убил свою невестку?
- Так думают.
- А я уверен в этом!
- О! Потому что...
- Потому что, должно быть, он вот так глядел на нее!
- А правда ведь, у него взгляд как у моржа?
- Вы немного преувеличиваете,— заметила мадемуазель Потен, которая, без сомнения, была запугана какой-нибудь молчаливой угрозой графини Эльфриды,— у него пристальный взгляд незрячих людей.
- Да! Совершенно верно, смерть слепа,— сказал Кристиано.— Но кто же прозвал его Снеговиком? Прозвище подходящее: для меня оно олицетворяет шпицбергенскую стужу. Меня дрожь пробрала.
- А тик у него какой, заметили?— спросила Маргарита.
- Он поднес руку ко лбу, словно собирался отереть пот; вы об этом?
- Вот именно.
- Может быть, Снеговик хочет, чтобы думали, будто его в пот бросило, а он просто-напросто подтаивает.
- Вот видите, я права, что боюсь его. А на его черный бриллиант вы обратили внимание?
- Да, я заметил омерзительный черный бриллиант, когда он отирал лоб своей иссохшей рукой; рука-то иссохшая, хотя живот у него толстый и лицо одутловатое.
- О ком это вы говорите?— спросила молоденькая русская девушка, приподнявшаяся, чтобы расправить платье на своих фижмах.— Не о бароне ли Вальдемора?
- Я как раз утверждал,— не смущаясь, ответил Кристиано,— что этому человеку и трех месяцев не протянуть.
- Ну, раз так,— ответила, смеясь, русская,— то ропись выйти за него замуж, Маргарита!
- Приберегите этот совет для себя, Ольга,— ответила молодая графиня.

— Увы! У меня нет, как у вас, такой тети, перед которой ничто не устоит! Но почему вам кажется, господин Гёфле, что барон так болен?

— По его неравномерной полноте, по желтизне белков его стекловидных глаз, по втянутым ноздрям его горбатого носа, а больше всего по-чему-то неуловимому, что я ощутил, когда взглянул на него.

— В самом деле? Вы наделены ясновидением, как здешние обитатели севера?

— Сам не знаю. Я не считаю себя колдуном, но верю, что есть натуры более или менее чувствительные к некоторым таинственным влияниям, и ручаюсь вам, что барон Вальдемора недолговечен.

— По-моему,— сказала Маргарита,— он давным-давно мертв, но владеет каким-то дьявольским секретом выдавать себя за живого.

— Верно, он похож на привидение,— встала Ольга,— но все равно я считаю его красивым, несмотря на его годы, в нем есть какая-то завораживающая сила. Он мне снился прошлой ночью. Мне было страшно, и этот страх был сладостен. Объясните мне почему!

— Это очень просто,— отвечала Маргарита,— барон — великий алхимик: он умеет делать бриллианты! А сегодня утром вы ведь говорили, что за бриллианты пошли бы на сделку с дьяволом!

— Вы злочка, Маргарита. А если бы я это рассказала кому-то, кто передал бы все барону в том виде, как вы это повернули, ручаюсь, вам было бы очень досадно.

— Вы тоже так думаете, господин Гёфле?— спросила Маргарита у Кристиано.

— Нет,— отвечал он,— к чему бриллианты ангелам?— Разве у них нет звезд?

Маргарита покраснела и, обращаясь к русской девушке, молвила:

— Милая Ольга, я вас умоляю, скажите сами барону, что я его не переносу. Вы окажете мне большую услугу. А в подтверждение... Вот браслет, он вам так нравится! Поссорьте меня с бароном, и браслет ваш.

— Ну, вот еще! А что скажет ваша тетя?

— Я скажу, что потеряла его, а вы его пока не надевайте. Вот и все. Смотрите, барон опять к нам идет, хочет меня пригласить снова. Начинается ме-

нуэт. Я откажусь. Тетя там занята политическими разговорами с русским посланником. Станьте рядом со мной, барону придется пригласить вас.

Действительно, барон с замогильным видом подошел подтвердить свое приглашение. Маргарита задрожала всем телом, когда он протянул руку, ожидая, что она вложит в нее свою, и произнес:

— Графиня Эльведа сказала, что теперь вы пожелаете танцевать, и я велел повторить для вас менуэт.

Маргарита поднялась, сделала шаг и вдруг снова упала в кресло:

— Мне хотелось послушаться тети,— проговорила она решительно,— но вы видите, господин барон, я не могу, и не думаю, чтобы вы захотели подвергать меня пытке.

Барон удивленно развел руками. Это был человек умный, очень хорошо воспитанный и крайне недоверчивый. Графине не удалось провести его настолько, чтобы по малейшему признаку он не распознал отвращения Маргариты, а оно было столь явно, что сомневаться не приходилось. В улыбке его проглянуло глубочайшее презрение, и он с изящной иронией ответил:

— Вы, право, слишком добры ко мне, мадемуазель, поверьте мне, я глубоко тронут!

И тотчас, обратясь к Ольге, он пригласил ее и взял за руку, а Маргарита тем временем наскоро расстегнула драгоценный браслет и успела сунуть его честолубивой девушке.

— Господин Гёфле,— порывисто воскликнула она, обращаясь к Кристиано; голос ее дрожал.— Вы принесли мне счастье, я спасена!

— Однако вы побледнели,— заметил Кристиано,— вы дрожите.

— А как же иначе! Я испугалась, а сейчас думаю, как, должно быть, рассердится тетушка, и мне снова становится страшно! Но все равно, я избавилась от барона! Он мне отомстит, до смерти, может быть, доведет, но я не стану его женой, не буду носить его имени, не дотронусь до его обгащенной кровью руки!

— Замолчите, ради бога, замолчите!— твердила мадемуазель Потен, столь же бледная и перепуганная, как она.— Вас могут услышать! Вы вели себя

храбро, и я вас поздравляю, но в глубине души вам страшно, а сейчас вы так возбуждены, что, того гляди, заболите. Боже мой! Только не упадите, дорогая моя, вот, нате, понюхайте!

— Не бойся, моя милая,— ответила Маргарита,— вот мне уже и лучше. А гости что-нибудь заметили? Я еще не решаюсь ни на кого взглянуть.

— Нет, слава богу, громкая ригурнель оркестра заглушила слова, а все девушки как раз встали с мест для танца. Мы почти одни здесь в уголке. Не оставайтесь на виду. Самое главное, чтобы тетушка не устроила вам сцены, пока вы в таком состоянии. Уйдемте, вернемся к вам в комнату. Обопритесь на мою руку.

— Я больше вас не увижу?— сказал Кристиано, не будучи в силах скрыть волнение.

— Увидите,— ответила Маргарита,— мне хочется еще с вами поговорить; приходите через час...

— Где мне найти вас? Скажите!

— Не знаю... Ну хорошо, в буфетной!

И Маргарита удалилась, а Кристиано тотчас покинул гостиную через другую дверь и отправился на поиски условленного места встречи, чтобы попусту не плутать в нужную минуту. К тому же слово «буфетная» возбудило в нем чувство, которое мучило его с момента приезда на бал, как бы ни был он увлечен своим приключением.

«Если там никого нет, я нанесу страшнейший урон хозяйским запасам»,— подумал он про себя.

Покуда он направляется к этому святилищу, посмотрим, что происходит в гостиной.

IV

Разумеется, барон не любил танцевать, и не с его телосложением было выделять антраша: однако в те времена имелись благородные танцы, и в них принимали участие самые степенные люди, приобщаясь тем самым к светской жизни. Барон, вдовевший уже давно, не задавал праздников, покада был жив его будущий наследник; но видя, что имени его суждено умереть с ним, а титулам и богатству грозит опасность перейти к другой линии рода, которую он ненавидел, он твердо решил поскорее жениться вто-

рично и найти себя отнюдь не любезную подругу жизни, в чем у него не было ни малейшей потребности, а просто молоденькую девушку, у которой родились бы дети. И вот он поставил замок на широкую ногу и со всей округи созвал особ прекрасного пола с единой целью возложить баронскую корону на самую задорную головку, которая бы этого захотела.

Графиня Эльфрида думала уже заполучить ее. Но ее игру разгадали, у старого жениха открылись глаза. Он понял, что смешон, и поклялся отомстить тетке, а равно и племяннице; но к этой клятве, которую он поспешил произнести, присоединилось решение не дать себя обмануть второй раз и самому устроить свои дела, остановив свой выбор на первой попавшейся девице благородного происхождения, которая окажется к нему благосклонной. Девицею этой стала Ольга; у него отпали на этот счет все сомнения, когда она рассказала ему шепотом, что Маргарита уступила ей свои права и притязания на его сердце. Она нагло сплела сеть интриг с притворным простодушием и с видом невинного ребенка, каким она во многих отношениях и была, но вместе с тем как женщина, снабженная честолюбием и действующая расчетливо и умело. Будучи человеком неглупым, барон поддержал ее болтовню, делая вид, что не придает ей значения, но по окончании танца, вместо того чтобы отвести Ольгу на место, он предложил ей руку и повел в галерею, широкие просторы которой позволяли уединиться. И там, сжав своими ледяными руками ее горевшую руку, он холодно сказал:

— Ольга, вы молоды и прекрасны; но вы бедны, а благородное происхождение ваше не позволяет вам выйти замуж за какого-нибудь красавца без имени. От вас одной зависит, чтобы ваша милая болтовня перестала быть болтовней. Предлагаю вам свое имя и блестящую будущность. Ответьте мне серьезно и немедленно, ибо мы с вами никогда больше не вернемся к этому разговору.

Ольга действительно была молода, красива, бедна, тщеславна и жадна. Она ухватила за это предложение и согласилась без малейших колебаний.

— Очень рад, благодарю вас, — сказал Олаус, целуя ей руку. — Разрешите мне не добавлять к этому

ни слова. Я был бы смешом, если бы стал говорить вам о любви. А то вы подумали бы, что я рассчитываю на любовь. Мы поженимся. Это решено, и у нас есть веские основания, чтобы пойти на это, и у того и у другого, это правда. Теперь, если вы заинтересованы в том, чтобы брак состоялся, я требую от вас полной тайны в течение нескольких дней; главное, ничего не говорите Маргарите и ее тетке. Можете вы мне это обещать? Поймите, что всякая нескромность приведет к разрыву между нами.

Ольга была слишком заинтересована в этом молчании и со всей искренностью пообещала хранить тайну. Барон вернулся с ней в большую залу.

Их отсутствие было столь недолгим, что если кто-то его и заметил, то вряд ли мог придать этому обстоятельству какое-либо значение. Однако графиня Эльведа уже заволновалась и пошла поглядеть, куда делась племянница.

— Не беспокойтесь,— сказала Ольга,— она только что здесь была.

— Она прячется, она ни за что не хочет танцевать!

— Нисколько,— возразил барон,— она как раз согласилась, но я сам не захотел злоупотреблять ее любезностью.

И, взяв графиню под руку, он пошел с нею; дорогой он успел сказать ей, что не хочет никакой любви по принуждению, что он взрослый и отлично может сам ухаживать за женщиной, и попросил ее ни во что больше не вмешиваться, если она не хочет, чтобы у него пропала всякая надежда на женитьбу и даже само желание жениться.

Графиню такое торжественное заявление даже успокоило: ведь впервые барон как будто принял решение добиваться руки ее племянницы. При всем своем коварстве и умении вести интригу она на этот раз попала впросак, ибо барон теперь задумал отплатить ей той же монетой и разыграть ее так же ловко, как она разыграла его.

«Удивительно,— рассуждал сам с собой Кристиано, направляясь к буфетной,— насколько самые высокопоставленные интриганки, считающие себя вершительницами судеб простых смертных, глупы в своих ухищрениях, и как легко оставить их в дураках! Так и должно быть, когда исходят, при таком образе

жизни, из полного презрения к человеческой природе. Нельзя презирать других, не презирая самого себя, а кто не умеет уважать себя в своих делах, того охватывает бессилие. Тетка была и великолепна и забавна, когда она преспокойно мне говорила: «Я веду племянницу на заклание; помогите же мне поскорее, вам за все заплатят: вы получите место старшего лакея в хорошем доме!»

Но тут Кристиано прервал свои философские размышления: он вошел в залу, которую искал и которую узнал по запаху жареной дичи, поистине восхитительному. Это была хорошенькая ротонда, где стояли складные столики с закуской, чтобы еще до начала ужина особо проголодавшиеся гости могли немного подкрепиться. А так как в девять часов все уже сидели за большим столом, то зала пустовала, если не считать крепко спавшего лакея, которого Кристиано не стал будить, боясь прослыть обжорою и невеждой. Ничего не выбирая и не выискивая, он взял себе заливного, приготовленного по-французски; но не успел он отрезать кусок ножом с позолоченной ручкой, как дверь с грохотом отворилась, внезапно разбуженный лакей вскочил на ноги, как будто подкинутый пружиной, и вошел Стангстадиус, тяжело и неровно ступая по паркету, так что задрожал хрусталь и зазвенела фарфоровая посуда.

— Ах, черт побери! — воскликнул он, увидя Кристиано. — Как хорошо, что вы тут! Не люблю закусывать в одиночестве, мы с вами поболтаем о серьезных вещах, пока будем удовлетворять слепую потребность нашей жалкой человеческой машины... Ба! Да вы никак собрались закусывать стоя? Ну уж нет, это очень вредно для пищеварения, и толком не распробуешь вкус кушанья... Карл, приготовь-ка нам вот этот стол, тот, что побольше... Вот так! И подай нам чего-нибудь получше... Ветчины, закусок? Нет, еще для начала чего-нибудь посущественнее, хороший кусок говядины; а потом выбери кусочек медвежьего окорока повкуснее. Ветчина-то эта по крайней мере норвежская? Это лучшее копчение... И вина, Карл, что же ты стал? Мадеры, бордо да добавь несколько бутылочек шампанского для молодого человека, он, должно быть, до него охотник... Вот так, Карл, ну и хватит, мой мальчик; только не отходи далеко, нам скоро и десерт понадобится.

Заказав все, что было надо, Стангстадиус уселся поудобней спиной к печке и принялся уплетать всю яства и так обильно запивать их винами, что Кристиано не выдержал и, нисколько не стыдясь, принялся работать всеми своими тридцатью двумя зубами. Что до ученого, то у него хоть и оставалось их не больше дюжины, он так ловко ими действовал, что нисколько от него не отстал, продолжая при этом болтать без умолку и энергично жестикулировать. Удивленный Кристиано в глубине души сравнивал его со сказочным чудовищем, полукрокодил-полубезьяной, и вопрошал себя, как в этом разболтанном теле, с виду тщедушном, с остроконечной, нелепо посаженной головой и расходящимися глазами вмещается такая могучая сила.

Разглагольствования геолога помогли ему разрешить эту задачу. Достойный муж никогда не любил никого, даже своей собаки. Ему все было безразлично, за исключением идей, в кругу которых он жил как бы одним собою, довольный собою, восторгаясь собою, ублажая себя и опьяняясь похвалами за неимением ничего другого.

— Видите ли, дорогой мой,— отвечал он, когда Кристиано пришел в восхищение от его крепкого здоровья,— меня господь бог таким создал и такого другого уже не создаст. Нет, клянусь вам, ему не суметь! Я не испытываю тех неприятностей, от которых страдают все прочие люди. Начать с того, что я никогда не знал грубого и жалкого недуга любви. Не было у меня в жизни ни минуты, когда бы я забыл себя ради какой-нибудь из этих хорошеньких кукол, из которых вы понаделали себе кумиров. Семьдесят лет женщине или восемнадцать — мне все едино. Когда я голоден и сижу один в хижине, я ем все, что там найдется, а если не нахожу ничего, то принимаюсь обдумывать свои труды и способен переносить голод, не испытывая при этом мучений. За хорошим столом я ем все и наедаюсь до отвала без дурных последствий. Я не страдаю ни от жары, ни от холода; голова у меня всегда пылает, но священным огнем, который не изнашивает организма, но, напротив, поддерживает его и обновляет. Мне незнакомы чувства ненависти или зависти; я знаю, что никто не разбирается в них лучше, чем я; что до завистников, а их много, я их давлю, как червяков,

и после моей критики им уже никогда не подняться. Короче говоря, я сделан из железа, золота и алмазов и могу потягаться с земными недрами, ибо вряд ли в них содержится вещество прочнее и драгоценнее того, из которого создан я.

Услышав столь категорическое и откровенное заявление, Кристиано не мог удержаться от приступа смеха, чем ничуть не смутил и не обидел кавалера Полярной Звезды. Напротив, он принял эту смешливость как веселую дань уважения его превосходству во всех областях, и Кристиано понял, что имеет дело со странным возбуждением особого рода, которое он мог бы определить следующим образом: безумие от избытка позитивизма. Было бы совершенно бесполезно расспрашивать его о лицах, интересовавших Кристиано. Стангстадиус соблаговолил лишь заметить, что барон Вальдемора, несмотря на некоторый интерес к науке, в сущности все же дурак. Что до Маргариты, то он считает, что очень глупо с ее стороны колебаться, когда можно разбогатеть, выйдя за кого-то замуж. Он все же щадил ее немного и признавался, что находит ее приятнее других за то, что она была в него влюблена, что было доказательством наличия у нее здравого смысла, но сам он оставался к ней равнодушен, ибо наука была для него одновременно и женой и любовницей.

— Понстине, господин профессор,— сказал Кристиано,— вы производите на меня впечатление натуры удивительно цельной, и логика ваша просто чудесна.

— Ах, могу вас уверить,— ответил Стангстадиус,— я не уступлю вашему барону Олаусу, чья сила и хладнокровие так восхищают глупцов.

— Моему барону? Право же, мне от него ничего не нужно.

— А я о нем не говорю ни хорошего, ни плохого,— ответил профессор.— Все люди более или менее жалки; но разве он не старается прослыть вольнодумцем, который никогда ничего не любил?

— Неужели он действительно кого-то любил? Значит, лицо его очень обманчиво.

— Не знаю, любил ли он жену, пока она была жива. Чертовка была презлющей.

— Быть может, он преклонялся перед ней?

— Как знать? Она помыкала им как хотела. Во

всяком случае, после ее смерти он не мог без нее обходиться и обратился ко мне, чтобы я пережег и кристаллизовал госпожу баронессу.

— Так, так! Значит, пресловутый черный алмаз дело ваших рук?

— Вы его заметили? Не правда ли, прекрасное произведение искусства? Гранильщик терялся в догадках, естественный он или искусственный. Я должен вам рассказать, как я действовал и как мне удалось добиться прозрачности. Я взял тело, покрыл его слоем извести, как это делали древние, поместил на очаг, где ярким пламенем горели дрова, каменный уголь и смолы, облил все это горным маслом. Когда тело сильно уменьшилось...

Кристиано, которому выпало на долю слушать рассказ о том, как сжималась и кристаллизовалась баронесса, решил поскорее поужинать и пропускал все мимо ушей, но он насытился прежде, нежели профессор закончил свою лекцию. Встреча с ним расстроила все планы Кристиано: ему хотелось остаться наедине с Маргаритой и ее гувернанткой. Положение еще больше осложнилось, когда в залу хлынуло множество молодых офицеров индейты.

Этим прозорливым гиперборейцам мало было тех кушаний и напитков, что разносили в большой зале. Они пришли разогреться добрыми испанскими и французскими винами, и Кристиано обнаружил наконец в их обычае отведывать вина особенность, свойственную северянам, которой он ранее не наблюдал. Тогда же он заметил, что манеры их грубоваты, а веселость более тяжеловесна, чем у него. Зато откровенность и сердечность этих молодых людей подкупала. Все его чествовали и заставляли пить за компанию, пока он не почувствовал себя слегка навеселе и, боясь впасть в излишнюю непринужденность, остановился, дивясь, с какой легкостью эти могучие сыны гор поглощали крепкие вина.

Как только ему удалось ускользнуть от их дружеских угощений, он стал возле дверей, чтобы сразу же выйти, как только Маргарита появится в галерее. Он полагал, что, увидя залу, где столько молодых людей пьют вино, она не захочет войти; но она спокойно вошла, а через несколько мгновений следом за ней пришли и другие молодые девушки в сопровождении своих кавалеров. Они расположились за дру-

гими столиками, а сидящие там потеснились, чтобы дать им место, и принялись их угощать. Веселье стало шумным и дружным. Язык Версаля был оставлен, все перешли на шведский, а то и на далекарлийское наречие; голоса сделались громче, девицы пили шампанское, не поморщившись, и даже кипрское вино и портвейн, не боясь захмелеть. Среди присутствовавших оказались братья, женихи и кузены; все было по-домашнему, в отношениях с девушками замечалась приятная непринужденность, подчас экспансивность и некоторая вольность, но, в общем, они подкупали своей целомудренной простотой.

«Вот чистые души,— рассуждал Кристиано,— чего же ради эти люди, когда хотят понравиться, стараются подражать русским или французам, в то время как они так выгадывают, становясь самими собой?»

В маленькой графине Маргарите его пленяло именно то, что она оставалась сама собой при любых обстоятельствах. Конечно, мадемуазель Потен прекрасно ее воспитала, сохранив в ней природную непосредственность. В особенности ему было приятно, что она отказалась от вина. У Кристиано были на этот счет свои предрассудки.

Пока молодежь болтала и смеялась, окружив Стангстадиуса, чей стол с обильными яствами сделался центром и мишенью насмешек, нимало, однако, его не смущавших, Маргарите удалось рассказать Кристиано в доверительном тоне, чем, должно быть, она очень порадовала его, о том, что тетя совсем к ней переменялась: не бранила ее и говорила с ней ласково.

— Как видно, барон ей ничего не сказал о моей выходке,— добавила она,— или, зная об этом, она решила взяться за меня иначе, чтобы вернее склонить к своей цели; как бы то ни было, но я вздохнула свободно, барон мной больше не интересуется, и если даже завтра тетя разбранит меня или отошлет в наказание в Дальбю, где я буду совсем одна, я все же хочу повеселиться этой ночью и позабыть все огорчения. Да, да, мне хочется потанцевать и попрыгать, потому что, представьте себе, господин Гёфле, ведь это первый бал в моей жизни, и танцевать мне приходилось только у себя в комнате с моей милой

Потен. Поэтому я умираю от желания попробовать свое умение на людях и умираю от страха, что покажусь неуклюжей или перепутаю па французской кадрили. Мне бы надо найти кого-то, кто бы любезно помог и понаблюдал за мной, чтобы дружески предостеречь меня от промахов.

— Такого человека найти не трудно,— ответил Кристиано,— а если вы мне окажете доверие, ручаясь, вы станцуете так, точно это ваш сотый бал.

— Ну вот мы и условились, принимаю с благодарностью. Дождемся полуночи. Мы устроим с этими господами и барышнями, что тут собрались, свой собственный маленький бал, в конце галереи, и, может быть, тетя, которая танцует в большой зале с самыми важными особами, не заметит, что вывих мой так быстро прошел.

Кристиано, со своей стороны, начал болтать с прелестной девушкой, а так как он немного захмелел от шампанского, веселость его незаметно перешла в сентиментальность; как вдруг громко произнесенное имя заставило его вздрогнуть и мигом обернуться.

— Христиан Вальдо?— произнес молодой офицер с открытым и живым лицом.— Кто его видел? Где он?

— Да, в самом деле!— воскликнул Кристиано, поднимаясь,— где Христиан Вальдо, и кто видел его?

— Никто,— послышалось за другим столом.— Кто видел лицо Христиана Вальдо, и кто его когда-нибудь увидит?

— Вы его не видели, господин Гёфле?— спросила Маргарита у Кристиано.— Вы его не знаете?

— Нет! Кто этот Христиан Вальдо, и почему его лицо невозможно увидеть?

— Но вы о нем слыхали? Вас поразило его имя?

— Да, потому что оно дошло до моих ушей еще в Стокгольме; но я не обратил на него особенного внимания, и я уже не помню...

— Послушайте, майор,— начал молодой лейтенант,— раз вы знаете этого Вальдо, объясните нам, кто он такой и что он делает. Я ничего еще о нем не знаю.

— Если это удастся майору Ларсону, значит, он человек весьма умелый,— заметила Маргарита.— Что до меня, то я столько всего наслышалась о Христиане Вальдо, что заранее обещаю не поверить ни слову из того, что мы о нем сейчас услышим.

— Однако,— отвечал майор,— честью готов поклясться, что не скажу ничего, о чем не осведомлен как следует. Христиан Вальдо — итальянский актер, разъезжающий из одного города в другой, развлекает народ своими славными шутками и неистощимым всельем; спектакли его состоят из...

— Это мы знаем,— перебила Маргарита,— нам даже известно, что он дает представления то в гостиных, то в тавернах, сегодня во дворце, а завтра в хижине, беря втридорога с богачей, но часто совсем задаром играя для народа.

— Забавнейший чудака,— заметил Кристиано,— что-то вроде паяца.

— Паяц или нет, а человек он необыкновенный,— продолжал майор,— больше того, отважный. Я видел, как в Стокгольме месяц тому назад он храбро дрался с тремя разъяренными пьяными матросами; один из них чуть не побил молоденького юнгу, а возмущенный Христиан Вальдо вырвал у него из рук его жертву. В другой раз этот Христиан кинулся в огонь, чтобы спасти старушку, и всегда отдавал почти весь свой заработок тем, кто вызывал в нем жалость. Наконец, в предместье люди его так полюбили, что, говорят, он вынужден был уехать потихоньку, чтобы ему не устроили торжественных проводов.

— А также,— сказала Маргарита,— чтобы не снимать маски: а то власти начали уже опасаться столь популярного незнакомца и думать, не русский ли он шпион, готовый поднять какой-нибудь мятеж, когда придет время.

— Вы полагаете,— сказал Кристиано,— что этот чудака — ибо, как видно, он все же чудака — русский шпион?

— Ну нет, этому-то я не верю,— ответила Маргарита,— я не из тех, кому всегда хочется, чтобы под обликом доброты и щедрости скрывались дурные намерения.

— Но зачем эта маска?— спросила одна из девушек, жадно слушавшая офицера,— зачем он всегда надевает черную маску, когда входит в свой театр и выходит оттуда. Может быть, чтобы изобразить итальянского арлекина?

— Нет, он ведь никогда не играет сам в спектакле, который дает публике. Причина тут есть, только никто ее не знает.

— Может быть,— предположил Кристиано,— чтобы скрыть какой-то изъян?

— Поговаривают, что ему нос отрезали,— сказал кто-то из молодых людей.

— А другие уверяют,— добавил третий собеседник,— что это писанный красавец и что хозяева дома, где он остановился в предместье, и еще несколько человек, с которыми он подружился, видели его лицо.

— Кажется даже,— продолжал майор,— он вовсе и не маскируется, если можно так сказать, внутренне; что до его лица, то тут мнения разделяются. Молодая перевозчица, сходявшая с ума от любопытства, добилась того, что он снял маску, и ей стало дурно: она увидела череп.

— Положительно, этот Вальдо — воплощение дьявола,— сказала Маргарита,— если он умеет по желанию прикинуться то красавцем, то привидением. А вам, барышни, не хочется поглядеть на него?

— А вам самой, Маргарита?

— Честно говоря, все мы горим этим желанием, и все-таки нам очень страшно.

— Говорят, что он приедет сюда?— спросила одна из девиц.

— Говорят даже, что он уже здесь,— ответил майор.

— Как, неужели?— вскричала Маргарита.— Он приехал? Мы его увидим? Он, может быть, здесь, на бале?

— Ну, сюда ему было бы трудно попасть,— проговорил Кристиано.

— Почему трудно?

— Потому что фигляр не посмеет появиться в хорошем обществе в качестве приглашенного.

— Ба! Похоже, что этот шутник отважится на все,— сказал майор.— Маска и лицедейство неразлучны с его именем; но утверждают, и это весьма возможно, что под другим именем и без всякой маски он расхаживает по улицам Стокгольма, проникает в дома и что на гуляньях и в самых людных тавернах, заводя разговор о нем, никогда не знаешь, нет ли его где-то рядом и не он ли сам говорит с вами в эту минуту.

— Ну, раз так, заметил Кристиано,— то можно ли вообще что-нибудь толком о нем узнать? Чего

доброе, он сейчас туг, среди нас, в этой комнате!
— Ну уж нет!— возразила Маргарита, обведя глазами стены.— Тут все друг другу знакомы.

— Но меня-то никто не знает? Может быть, я и есть Христиан Вальдо!

— Тогда где же ваш череп?— смеясь, сказала одна из девушек.— Без маски и без черепа вы только мнимый Вальдо! Кстати, господа, кто-нибудь скажет нам, откуда известно, что он приехал?

— Могу вам сказать,— предложил майор,— как я узнал об этом. Какой-то неизвестный попросил здесь пристанища, ему сказали, чтобы он шел на хутор, потому что в доме полно народу. Он назвал себя, показал письмо мажордома Юхана, пригласившего его от имени своего господина, барона, развлечь собравшееся общество. Не знаю, нашелся ли для него уголок в замке или в другом месте. Но что он приехал — это верно.

— Кто вам это рассказал?

— Сам мажордом.

— И он был в маске?

— Да, в маске.

— Как же он выглядит! Высокого роста, толстый, статный, кривоногий?

— Об этом мне было незачем спрашивать, я его своими глазами видел в Стокгольме, хотя и в маске. И знаю, что он высок, строен и легок, как олень.

— Может быть, в прошлом он канатный плясун?— заметил Христиан. Казалось, что разговор уже перестал его занимать и поддерживал он его только из вежливости.

— Нет, что вы,— возразила Маргарита,— это человек, получивший отличное образование. Все в восторге от его пьес — они написаны прекрасным стилем и остроумны.

— А кто докажет, что писал их он сам?

— Люди, сведущие в старой и новой словесности, утверждают, что там ничего не заимствовано. Эти балаганские пустячки, иногда, как говорят, сентиментальные, явились литературным событием в Стокгольме.

— Как вы думаете, мы услышим его завтра?— посыпались вопросы со всех сторон.

— Весьма возможно,— ответил майор,— но если

барышням не терпится это узнать, я берусь сам отыскать его и спросить у него об этом.

— Сейчас, в полночь? — спросил Кристиано, поглядев на стенные часы. — Бедный малый, должно быть, давно уже спит. А я-то думал, что графиня Маргарита собиралась представить на обсуждение общества более важное предложение.

— Да, действительно, — воскликнула Маргарита, — мне хотелось предложить вам устроить маленький бал в своей компании. Признаюсь, я здесь новенькая, настоящая дикарка; всего два-три дня, как мы с вами знакомы, но все, кто здесь присутствует, оказали мне прекрасный прием и были со мной так предупредительны, что я беру на себя смелость сказать... Пусть уж господин Гёфле будет так любезен и все вам расскажет сам.

— Дело вот в чем, — начал Кристиано, — графиня Маргарита, как она только что вам сказала, сущая дикарка. Она ничего не умеет, даже танцевать; она неприглядна сверх всякой меры и хромает не меньше, чем наш знаменитый ученый муж Стангстадиус. Помимо того, она неуклюжа, рассеянна, близорука... В общем, чтобы согласиться с ней танцевать, нужна немалая толика истинно христианского милосердия, ибо...

— Довольно, довольно, — вскричала, смеясь, Маргарита, — вы описали мою особу в самых уничижительных тонах, но я все же вам благодарна. Теперь все ждут таких ужасов, что если я хоть кое-как выйду из положения, все будут в восторге! Я хочу дебютировать в небольшом кругу, и если все хотят того же, то мы немножко потанцуем в галерее. Оркестр в большой зале так грохочет, что нам иной музыки не потребуется.

Некоторые молодые люди сразу же устремились к Маргарите, желая стать ее партнерами. Она поблагодарила их, сказав, что Христиан Гёфле заранее уже принес себя в жертву.

— Да, это так, господа! — весело вскричал Кристиано, беря своей рукой в перчатке ручку Маргариты, — пожалейте меня, и отправимся на пытку!

В одно мгновение место было выбрано, и начался контрданс. Маргарита попросила освободить ее от участия в начинавшейся кадрили.

— Вы ужасно взволнованы, — заметил Кристиано.

— Это верно,— ответила она,— сердце у меня бьется, как у птицы, которая впервые выпорхнула из гнезда и не окончательно уверена в том, что у нее есть крылья.

— Видимо, первый бал — это важное событие в жизни девушки,— сказал наш искатель приключений.— Через год, когда вы в сотый раз пойдете танцевать, вспомните ли вы случайно имя и лицо скромного смертного, которому выпала честь и счастье направлять ваши первые шаги?

— Да, безусловно, господин Гёфле, это воспоминание всегда будет связано с самым сильным волнением в моей жизни, со страхом перед бароном и с радостью освобождения от него усилием воли, на которое я не считала себя способной и на которое, конечно, вы с вашим дядей вдохновили меня.

— А знаете что,— сказал Кристиано,— теперь я не очень-то верю в ваше отвращение к барону.

— Почему же?

— Вас, во всяком случае, гораздо больше пугала необходимость танцевать на людях, чем танцевать с ним.

— И, однако, я с ним не танцевала, а с вами танцую.

Кристиано невольно сжал пальчики Маргариты, но она подумала, что это знак, что пора вступать в танец, и, покрасневшись от удовольствия и робости, последовала за ним; они смешались с веселой толпой, где вскоре она почувствовала себя совсем уверенно, ибо ее изящество и легкость давали ей на то неоспоримое право.

— Ну вот, кажется, уже и не страшно,— сказала она, возвращаясь на место, в то время как другая четверка начинала новую фигуру.

— Очень уж вы расхрабрились,— отвечал Кристиано.— Я надеялась, что на что-то пригожусь, да, видно, вы успели отрастить себе крылышки и того гляди упорхнете с первым встречным.

— Только не с бароном! Но скажите же, отчего вы все-таки решили, что я преувеличила свою неприязнь к нему?

— Боже ты мой! Я вижу, что вы страстно любите танцы, а значит, праздники и роскошь; всякая страсть имеет свои последствия. А если удовольствие — цель, то богатство — средство.

— О, неужели вы находите, что я такая глупенькая и такая дурнушка, что мне не получить богатства иначе, как выйдя за старика?

— Так вы признаетесь, что богатство для вас условие замужества?

— Если бы я ответила «да», то что бы обо мне подумали?

— Ничего плохого.

— Да, я всего-навсего стала бы одной из многих, поэтому вы обо мне ничего хорошего не подумали бы.

Отдыхая после третьей кадрили, которую танцевала их пара, они вновь вернулись к этому щекотливому разговору.

Маргарита сама вызвала Кристиано на откровенность.

— Признайтесь,— начала она,— вы презираете девушек, идущих замуж ради богатства, как Ольга, например, которая находит барона красивым сквозь бриллиантовую призму собственных грез.

— Я никого не презираю,— ответил Кристиано,— от роду человек терпимый, а может быть, грани моей добродетели просто поистерлись от соприкосновения со светом. Меня восхищает то, что выше суждения света, а к тем, кто следует общему течению, я отношусь с философским равнодушем.

— Восхищает, говорите вы? Не чересчур ли дорогая плата за столь естественную вещь как бескорыстие? Но я не требую так много, господин Гёфле, мне нужно только ваше уважение. Поверьте, прошу вас, если я не буду стеснена в выборе, я послушаюсь зова сердца, а никак не корысти. Даже если мне никогда не придется носить кружева на рукавах, атласные бантики на платьях и не суждено танцевать при свете тысячи свечей под звуки тридцати скрипок, гобоев и контрабасов, я чувствую себя в силах принести эту огромную жертву, чтобы сохранить свободу чувств и чистую совесть.

Маргарита говорила с жаром. Возбужденная танцем, она ничего не старалась скрыть; благородная романтическая душа ее сквозила в сверкающих глазах, лучезарной улыбке, в этом порыве птицы, рвущейся в облака, в светлых кудрях, змейками струившихся по белым плечам, во взволнованном голосе, словом — во всем ее обаятельном существе. Кристиано был

ослеплен, и, точно во сне, сам не зная, что говорит, он вдруг задал Маргарите странный вопрос:

— Все же вы никогда не полюбили бы человека не вашего круга, и если бы, наперекор разуму, сердце ваше склонялось в пользу бедняка, человека без имени, без состояния... скажем, к Христиану Вальдо, полагаю... вы бы устыдились и сочли бы себя в разладе с собственной совестью?

— К Христиану Вальдо!— удивилась Маргарита. — Почему к Христиану Вальдо? Вы выбрали весьма странный пример!

— Чрезвычайно странный, и я это сделал намеренно. Когда исходят от противного... Возьмем такой пример: предположим, этот Христиан Вальдо, которого я совершенно не знаю, обладает смелостью, умом, благородным сердцем, которым его только что наделяли, но вместе с тем неразлучен с бедностью, неизменной спутницей его приключений, и именем, которое им взято, надо полагать, не из тех, что записаны на пергаменте...

— И с головой мертвеца.

— Нет, без головы мертвеца. Так вот, предположим, что вам пришлось бы выбирать себе в мужья между этим человеком и бароном Вальдемора.

— Я приняла бы очень простое решение; я бы вовсе не вышла замуж.

— Если только под маской этого Христиана не оказался бы молодой прекрасный принц, вынужденный скрываться по соображениям государственной важности.

— Полноте,— ответила Маргарита,— еще один царевич Иван, бежавший из тюрьмы, или новоявленный Филипп Третий, избегнувший своих убийц!

— И в этом случае, настоящий он или мнимый, он в ваших глазах заслужил бы прощение.

— Что вы хотите, чтобы я вам ответила? Итальянский шут не может служить для сравнений, если уж говорить серьезно.

— Это справедливо!— отрезал Кристиано.— Вот и конец; пусть же он будет легок нам, ибо это горсть земли, брошенная на роман под названием «Первый контрданс».

Но этому контрдансу не суждено было окончиться по хореографическим законам. Ибо Стангстадиус, закончив наконец вечернюю трапезу, которую он назвал

закуской между ужином и встречей Нового года, вышел в эту минуту из буфетной. Вечно увлеченный какой-то высокой мыслью, вызванной приятной работой здорового желудка, он наткнулся по пути на маленький бал и пошел напролом без церемоний, задевая кавалеров, грациозно выделявавших па аванде, и то и дело наступая на ножки танцующим дамам, словно шел по камням. Он так смешно ковылял из-за своей хромоты, что все покатились со смеху. Вся фигура танца была смята и молодые пары, взявшись за руки, завели шумный хоровод вокруг кавалера Полярной Звезды, который, не желая оставаться в долгу, сам принялся припрыгивать не в такт, квящей потехе всей компании. Но увы! они так развеселились и распелись, что в большой зале наконец обратили на это внимание.

Оркестр закончил последнюю ригурнель, а молодежь даже этого не заметила. Распевая, она плясала вокруг Стангстаднуса, который сравнивал себя с Сатурном, окруженным своим кольцом. Прибежала графиня Эльфрида и увидя, что племянница ее неожиданно исцелилась, пришла в негодование, с которым на сей раз не смогла совладать.

— Дорогая Маргарита, — сказала она резким, дребезжащим голосом, — ты очень неблагоразумна; ты забыла, что у тебя вывих, а с этим шутить опасно. Я только что говорила с нашим домашним врачом: он назначил тебе на эту ночь полный покой. Пожалуйста, уходи сейчас же отсюда вместе со своей гувернанткой, она уложит тебя в постель и поставит компресс. Поверь, это лучшее, что ты можешь сделать.

И она добавила совсем тихо:

— Изволь повиноваться!

Раскрасневшаяся Маргарита сразу стала бледной и то ли от досады, то ли от огорчения не могла сдержать две крупные слезинки, блеснувшие на длинных ресницах и покотившиеся по щекам. Графиня Эльфрида поспешно схватила ее за руку и увлекла за собой, добавив шепотом:

— Ты сегодня поклялась делать одни глупости. Ты за это поплачешься. Я простила тебе то, что ты не хотела танцевать с хозяином дома; он действительно мог поверить, что ты нездорова. Но плясать с другим означает вести себя вызывающе по отноше-

нию к барону, и я не могу допустить, чтобы он это сам заметил.

Кристиано пошел вслед за Маргаритой, ища способа обезоружить или отвлечь ее тетку, если бы вдруг нашлась удобная минутка, чтобы к ней обратиться, но тут он увидел приближающегося барона. Он сразу остановился у подножия статуи, внимательно следя за тем, что должно было произойти между этими тремя лицами.

— Как!— воскликнул барон.— Вы уже уводите свою племянницу? Так рано! Она как будто перестала скучать у меня! Прошу вас ее помиловать, и коль скоро, как меня уверяют, она уже танцевала, я прошу ее потанцевать и со мной. Теперь она уже не сможет отказать, и я уверен, что она охотно согласится.

— Если вы этого требуете, барон, я уступаю,— сказала графиня.— Поблагодари барона, Маргарита, и следуй за ним; разве ты не видишь, что он предлагает тебе руку для полонеза?

Маргарита колебалась; ее глаза встретились со взглядом Кристиано, в котором боролись желание, чтобы она осталась на бале, и боязнь, что она уступит просьбе барона. Последнее чувство, видимо, преобладало у него во взгляде, и Маргарита твердо ответила барону, что уже приглашена.

— Кем это, скажите, пожалуйста?— вскричала графиня.

— Да, кем?— осведомился барон странным тоном, в спокойствии которого Маргарите почуялось нечто недоброе.

Она опустила глаза и смолкла, не понимая, что происходит в уме ее преследователя, от которого она уже считала себя избавленной.

А у барона не было в мыслях ничего другого, кроме желания помучить и осрамить ее; он прекрасно видел, что она испытывает к нему отвращение, и платил ей от всего сердца той же монетой. Злобную холодность и мстительность он скрыл под шуткой, но говорил достаточно громко, чтобы его услышали многие любопытные уши:

— Где тот счастливый смертный, у кого я должен вас оспаривать? Ибо я решил вас оспаривать, я имею на это право!

— У вас на это есть право? — вскричала Маргарита вне себя.— У вас, господин барон?

— Да, у меня,— отвечал тот с устрашающим издевательским спокойствием,— вам это прекрасно известно! Ну, где же он, сей мнимый соперник, что посмеет плясать с вами у меня под носом?

— Вот он!— откликнулся Кристиано, теряя голову и бросаясь к барону с угрожающим видом, среди всеобщего молчания, вызванного любопытством и страхом.

Было известно, что барон раздражителен и только кажется сонным и пресыщенным. Знали и его непомерную гордость. Все ожидали скандала, и действительно барон сделался вдруг очень бледен и даже позеленел, мигая большими близорукими глазами, точно из них вот-вот посыпятся молнии и уничтожат неизвестного смельчака, открыто бросившего ему вызов; но лицо его стало красным, на лбу вздулась кровавая жила, а губы посинели. Глухой крик вырвался из его груди, руки судорожно вытянулись, и весь он как-то осел, бормоча:

— Он! Он!

Он свалился бы на пол, если бы два десятка услужливых рук не протянулись, чтобы поддержать его. Он потерял сознание, и его пришлось перенести к окну, которое тут же разбили, чтобы ему было чем дышать. Ольга протиснулась сквозь толпу, стремясь оказать ему помощь. Маргарита исчезла, должно быть, тетка куда-то увлекла ее за собой. Нашего Кристиано быстро увел майор Осмунд Ларсон, успевший уже с ним подружиться.

— Пойдемте со мной,— сказал этот славный молодой человек.— Я должен с вами поговорить.

Через две-три минуты Кристиано оказался наедине с Осмундом в старинной зале нижнего этажа, где топился огромный камин.

— Здесь мы можем покурить в свое удовольствие,— сказал майор.— Взгляните, какой богатый набор трубок; выбирайте себе любую по вашему вкусу, а вот табачница, угощайтесь! Видите, на столе лучшее местное пиво и старая данцигская водка. А сейчас и приятели мои явятся с последними новостями.

— Вы, кажется, думаете, что я очень сержусь, милый майор,— отвечал Кристиано,— но вы ошибаетесь. Я ничего другого не желаю, кроме как дать барону время прийти в себя и, покуривая с вами, дожидаться, чтобы он продолжил наше объяснение.

— Зачем? Чтобы драться на дуэли?— спросил майор.— Что вы! Барон никогда не дерется, он ни разу не дрался на дуэли. Вы что, совсем его не знаете?

— Нет,— ответил Кристиано, спокойно набивая трубку и наливая большую кружку пива.— Выходит, что совсем как Дон Кихот я столкнулся с ветряной мельницей? А я и не подозревал, что поставил себя в такое смешное положение.

— Вы не были в смешном положении, дорогой мой; в глазах многих, и в том числе моих, вы даже совершили смелый поступок, не уступив Снеговика.

— Но мне следовало бы помнить, что он из снега, а снег легко тает.

— Только не в наших краях! У нас такие снеговики выстаивают подолгу.

— Значит, я, сам того не ведая, попал в герои?

— Лишь бы вам не пришлось в этом убедиться на собственной шкуре. Барон не хватается за шпагу, но он мстит и никогда не прощает обиды. Где бы вы ни были, его ненависть последует за вами. Какую бы карьеру вы ни избрали, он не даст вам продвинуться. Если вы попадете в неприятное положение, что может случиться с любым смельчаком, он сумеет добиться, чтобы все окончилось для вас плохо, а если ему удастся засадить вас в тюрьму, то он устроит так, что вы уже оттуда не выйдете. Поэтому советую вам не встречаться с ним у него в доме и во всяком случае — быть настороже до конца жизни, если только черту не заблагорассудится этой ночью свернуть шею своему куманьку и его не хватит удар.

— Вы полагаете, что барон так плох?— спросил Кристиано.

— Мы сейчас узнаем. Вот лейтенант Эрвин Осборн, мой лучший друг, и он, конечно, разделяет мою симпатию к вам. Ну, что, лейтенант, какие новости о Снеговике? Оттепель не приближается?

— Нет, все это пустяки,— ответил лейтенант,— по крайней мере он уверяет, что пустяки. Он на минутку удалился в свои покои и вышел оттуда такой посвежевший, что можно подумать, будто он наложил на свои бледные щеки румяна. Но все равно: взгляд у него тусклый и речь затруднена. Я подошел к нему просто из любопытства, а он это принял за знак внимания и соблаговолил мне сказать, что желает, что-

бы гости шли танцевать и перестали им заниматься. Он остался в большой зале, а что ему хуже, чем он хочет признаться, доказывает то, что он совершенно забыл о приступе ярости, который довел его до столь чудесного состояния, и никто не смеет ему об этом напомнить.

— Теперь танцы пойдут на славу,— сказал майор, — и вот увидите, гости повеселятся еще больше прежнего. Все здесь хотят забыться, будто перед какой-то близкой бедой, а наследники, присутствующие в ямке, поглядывают с нескрываемой радостью на то, что барон так серьезно занемог. Но скажите-ка нам, Христиан Гёфле, кем вы прикинулись или какими чарами околдовали нашего любезного барона? Может быть, вы призрак или волшебник? Уж не *озерный* ли вы *дух*, завораживающий людей своим леденящим взглядом? Что произошло между вами и бароном и почему, когда он терял сознание, у него вырвался этот загадочный возглас — на этот раз я хорошо его расслышала: «Он! Он!»

— Объясните мне это сами,— сказал в ответ Кристиано,— сколько я ни стараюсь, никак не могу припомнить, где я видел этого человека, а если и видел, то, должно быть, при каких-то незначительных обстоятельствах, раз воспоминание о нем так смутно. Скажите, он не путешествовал по Франции или Италии?..

— Давным-давно уже он не покидает Севера!

— Ну, так, значит, я ошибся: я видел сегодня барона впервые! Однако можно было подумать, что он узнал меня... Не кажется ли вам, что, говоря: «Он! Он!», барон, может быть, просто бредил?

— Несомненно,— подтвердил майор.— В моем бустёлле¹ есть один садовник, которому пришлось у него служить, так вот он сообщил мне прелюбопытные подробности. Барон страдает припадками, кото-

¹ Бустёлле офицеров индельты — это дом с примыкающим к нему участком земли, предоставленный в пожизненное пользование, который приносит большой или меньший доход, в зависимости от чина офицера; доход этот и составляет его содержание. Церковный дом также называется бустёлле, и священник может пользоваться им, помимо своего собственного. У солдата индельты тоже есть свой торп — маленький домик, сад и небольшой земельный участок. Индельта — это поселенная армия, созданная Карлом XI и великолепно организованная, подобной которой нет ни в одной стране. (*Прим. автора*),

рые доктор считает нервными и которые происходят от застарелой болезни печени. Во время припадков он иногда испытывает беспричинный страх. Великий скептик и насмешник становится малодушен, как ребенок; ему являются призраки, в особенности призрак женщины. Тогда-то он и кричит: «Он! Он! Худо мне! Он меня душит!»

— Может статься это укоры совести?

— Уверяют, что это воспоминание о его невестке.

— Которую он убил?

— Говорят, что не убил, а просто сделал так, что она исчезла.

— Да, это слово, звучит приятнее.

— Но ни то, ни другое недостаточно обосновано,— возразил майор.— Фактически же никто ничего не знает, и возможно, что барон неповинен во многих преступлениях, которые ему приписывают. Знаете, мы с вами находимся в замечательном краю, где верят во все чудесное. Далекарлийцы не выносят ничего положительного и не признают никаких естественных объяснений. В этом краю нельзя споткнуться о камень без того, чтобы не подумали, будто домовый нарочно его столкнул вам под ноги, а если у вас зачесался нос, то бегут к колдунье, чтобы она удалила яд карлика, который вас укусил. А если постромка порвалась у возка или саней, то возница, перед тем как ее починить, непременно скажет: «Ну, ну, чертенок, чур меня, чур, мы ведь тебе ничего худого не делали, ступай своей дорогой». Вы сами понимаете, что среди столь суеверных умов барон Вальдемора не мог разбогатеть, не прослав алхимиком. Вместо того чтобы предположить, что ему платила русская царица за то, что он поддерживал ее политические интересы, сочли, что проще обвинить его в колдовстве. От такого упрека один шаг до обвинений в самых черных преступлениях: любому чародею ничего не стоит утопить человека в водопаде, скинуть в пропасть, накрыть его лавиной. Он правит шабаши, питается по меньшей мере человеческим мясом и сойдет, пожалуй, за скромника, если удовольствуется высасыванием крови у младенцев. Что до меня, то я такого понаслышался, что больше уж никакие рассказы всерьез не принимаю. С меня хватает и того, что я знаю, а именно, что барон — человек злой, слишком подлый, чтобы убить, слишком

избалованный и привередливый, чтобы пить кровь, слишком зябкий, чтобы подстерегать прохожих подо льдом на озере, но способный отправить лучшего друга на виселицу, если ему это выгодно, и для этого он не погнушается никакой клеветой.

— Какой негодяй!— воскликнул Кристиано.— Но позвольте, меня все же удивляет, что в гостях у него столько порядочных людей...

— Да, конечно!— перебил Осмунд, не давая ему договорить.— Прескверная штука приходить развлекаться за счет ненавистого всем человека. Вам-то простительно, вы его не знаете, а уж нам-то...

— Я не хочу переходить на личности,— заметил Кристиано.

— Охотно верю, мой дорогой; только напрасно вы удивляетесь, что у тирана есть свой двор. Вам, без сомнения, известна история вашей страны; но, конечно, отсутствуя долгие годы, вы могли надеяться, что кое-что пришло в равновесие в связи с развитием философии. Но ничего такого не произошло, Христиан Гёфле, равным счетом ничего, скоро вы увидите это собственными глазами. На первом месте дворянство, за ним следует духовенство, просвещенное, суровое, но деспотическое и нетерпимое. Весьма полезное государству купечество придерживается патриархальных прав и мало что значит. Крестьянин ничто, а король — и того меньше. Когда дворянин богат, что, по счастью, бывает редко, он держит в руках все судьбы своего края, тогда он вертит людьми и делами по своему усмотрению и нередко ведет их к гибели. Знайте же, что если бы мы, молодые офицеры, проявили непочтительность к владетельному барону Вальдемору, мы, конечно, не лишились бы своего воинского звания,— чтобы лишиться его, надобно совершить преступление,— но были бы вынуждены терпеть неслыханные преследования, покинуть свои квартиры, дома, отказаться от всего, чем мы владеем, от наших привязанностей и отправиться в обычный гарнизон, несмотря на несокрушимые права *индельты*.

Еще двое молодых офицеров вошли покурить, и Кристиано решил спросить у них, не появилась ли графиня Эльфрида.

— Каков молодчик!— отвечал один из них.— Вы не заставите, однако, нас поверить, что вас интересует сварливая графиня Эльведа! Но да будет вам

известно, что ее миленькая племянница исчезла одновременно с вами и что тетка заверяла, будто она сильно покалечилась.

— Почему вы говорите, что она *исчезла*? — воскликнул Кристиано, безотчетно ужаснувшись этому слову.

— Послушайте! — вскричал майор. — Вы уже испугались за свою красавицу, дорогой Гёфле?

— Позвольте, ничто все-таки не дает повода говорить в таком тоне о графине Маргарите. Она красива, это верно, но, к моему великому сожалению, она ни в коей мере не моя.

— Я не хотел сказать ничего плохого, — стал оправдываться Осмунд, — я только видел, как все, что вам была оказана честь первого контрданса и что вы мило беседовали. Если вы в нее не влюблены, то, ей-богу, напрасно; а если у нее нет к вам некоторой склонности, то и это напрасно, — всем нам вы кажетесь чудным товарищем.

— А я считаю, что напрасным трудом было бы заглядываться с вожделением на звезду, слишком высоко стоящую над моим горизонтом.

— Ба! Оттого, что у вас нет титула? Но ваша семья получила право дворянства, а ваш дядюшка, адвокат, образец таланта и характера. Сверх того, он по меньшей мере столь же богат, как красавица Маргарита, и она не вечно будет под опекой. Любовь побеждает все преграды, а если есть несносные родственники, то можно обвенчаться тайно. В нашей стране такой брак столь же священен, как всякий другой. Итак, мы готовы вам помочь.

— Помочь? В чем? — смеясь спросил Кристиано.

— Немедля получить свидание потихоньку от тетки. Итак, друзья, что вы на это скажете? Нас четверо добровольцев! Я даже знаю, где покои графини. Мы сейчас же туда пойдем. Если мадемуазель Потен испугается, мы наговорим ей комплиментов, которых она к тому же заслуживает, ибо это очаровательная женщина! А если какая-нибудь горничная вскрикнет, мы ее поцелуем и наобещаем ленточек в косы... Потом мы потребуем для Христиана Гёфле серьезного разговора по просьбе его дядюшки Гёфле... Важное сообщение! Гм? Вот именно. Нас вводят, без наших трубок, разумеется, в маленькую гостиную, где мы важно усаживаемся в сторонке, пока Христиан

Гёфле шепотом предлагает свое сердце *alla diva confessina*¹, или, если он слишком робок для объяснений в любви, то он только слегка о ней намекает, а заодно осведомится о том, какие опасности грозят его несравненной, и обсудит с ней, как от них уберечься. Я не смеюсь, господа! Совершенно очевидно, что госпожа Эльведа хочет насильно выдать свою племянницу замуж, а коварный Олаус пытается ее скомпрометировать, чтобы устранить любого соперника. Великолепный предлог для человека, который в разгаре бала стал на защиту жертвы этой отвратительной и нелепой сделки. Идемте, Христиан, идемте, господа, решено? Эх, черт возьми, долг платежом красен! В другой раз вы, Христиан, можете нам в честных намерениях; так принято у молодежи. Что бы мы делали, если бы не вполне доверяли друг другу? Итак, вперед! На штурм твердыни! Кто меня любит, следуй за мной!

Все поднялись, и даже Кристиано, пришедший в восторг от этого предложения, но на пороге гостиной он остановился и остановил остальных.

— Спасибо, господа,— сказал он им,— и знайте, что в случае необходимости я брошусь за вас в огонь, только не пристало мне вписывать в свою жизнь эту нежную главу романа. Ничто в поведении графини Маргариты не дает мне права брать ее под защиту, как я это сделал, поддавшись необдуманному порыву возмущения, и ничто не дает мне надежды на ее благодарность. Быть может, все это как раз наоборот, и адвокату Гёфле следует защищать ее от всех посягательств, разъяснив графине ее права. Лучшее, что я могу сделать, раз уж моя прелестная партнерша не хочет танцевать, а мой свирепый соперник не хочет драться, это пойти спать, в чем я очень нуждаюсь,— я на ногах уже более суток.

Все одобрили слова Кристиано и громогласно объявили, что он человек благородный. Его пытались удержать и заставить выпить вина, думая, что перед таким соблазном ему не устоять, но Кристиано был воздержан, как вообще жители теплых стран. Была глубокая ночь, и он счел благоразумным покончить с комедией, которую играл до сих пор с таким успехом. Он пожал всем руки и откланился, но обещал

¹ Божественной графине. (итал.).

возвратиться к завтраку, в душе, однако, решив этого не делать. И, не дав расспросить себя о том, в какой части замка он расположился, и храня полную тайну, он проворно возвратился к себе тропкой по льду озера.

Кристиано намеренно позабыл Локи и бросил сани доктора прав в новом замке. Он опасался, что его услышат и выследят. Он шел краем берега до тех пор, покуда не забрел так далеко, что его нельзя было видеть из окон замка, и достиг ворот Стольборга, которые он оставил открытыми и которые ни Ульфилу, ни кому-либо другому не пришлось в голову запирать.

Ему пришлось принять эти меры предосторожности, ибо бледный свет луны сменился мерцающим, но ослепительным светом чудесного северного сияния: я сказал — чудесного, ибо таким оно было в тех краях, тогда как в северных широтах Балтики оно выглядит очень обыденно; должно быть, в это мгновение оно сияло очень ярко на севере и осветило всю местность вокруг застывшего озера. Снега, окрашенные в изменчивые тона, отливали красным и голубым бесподобного сказочного оттенка, и Кристиано, прежде чем войти в медвежью комнату, постоял несколько минут за воротами двора; несмотря на холод и безлюдье, он не в силах был оторваться от этого необыкновенного зрелища.

V

Было уже восемь часов утра, когда Гёфле проснулся. Должно быть, он спал не так хорошо, как обычно, так как любил вставать рано, и сам устыдился, что в такой поздний час он еще в постели. По правде сказать, он рассчитывал, что маленький Нильс разбудит его, но Нильс спал сладким сном и мерно похрапывал, и Гёфле, после тщетных попыток взбудить его, решил дать ему выпастись вволю. Он уже давно перестал сердиться на мальчика, которого взял в лакеи, он просто махнул на него рукой. Смирившись, он сам развел огонь и, будучи человеком методическим, при свете свечи, которая, казалось, дремала стоя, побрился и расчесал парик так хорошо и тщательно, как если бы располагал для этого всеми необходимыми удобствами. Наконец, когда утренний

туалет был закончен настолько, что оставалось лишь надеть кафтан, если понадобится, он завел часы, взглянул на небо, где не брезжило ни малейшего утреннего луча, накинул халат и, открыв обе створки двери, счел долгом пойти приготовить все в своей гостиной (в медвежьей комнате), чтобы поработать в тепле и покое до самого завтрака.

Но когда он подошел к печке, заслоняя рукою дрожащее пламя свечи, он вздрогнул: прямо перед ним в глубоком кресле лежал человек. Голова его была откинута на спинку с подушечками, ноги вытянуты и засунуты в отдушину, открытую под топкой погасшей печи, хранившей еще остатки тепла.

«Ну и спит же! Какой красавец! — подумал адвокат, остановившись и любуясь ровным и глубоким сном Кристиано. — Какой-нибудь баловень семьи, вынужденный, как я сам, искать здесь, в Стольборге, прибежище от шума и суматохи нового замка. А я-то уж думал, что здесь, в этом проклятом месте, я буду в одиночестве. Но ничего не поделаешь, придется примириться с тем, что у меня есть сосед. По счастью, лицо у него славное. Бедный малый очень скромен, он постарался не шуметь и даже не искал лежа поудобнее этого кресла, где он, наверное, все бока себе отлежал!»

Гёфле слегка коснулся щеки Кристиано, который сделал движение, точно отгоняя муху, и даже не проснулся.

«По крайней мере холодно ему не было, — рассуждал сам с собой адвокат, — у него хорошая шуба, совсем как моя. Да, точь-в-точь! Но где же моя? Ах! я все понимаю: он нашел ее на кресле и в нее укутался. Честное слово, правильно сделал. Я бы охотно и сам дал ему надеть ее, да вдобавок уступил бы ему вторую постель в своей комнате; господину Нильсу пришлось бы снизойти и поспать на диване. Можно лишь пожалеть о том, что этот милый юноша был чересчур скромен! Да, конечно, просто удивительно скромен. Это воспитанный молодой человек, сразу видно, и очень аккуратный; кафтан он на ночь снял; признак уравновешенной натуры. Интересно, чем занимается этот милый юноша? Черный кафтан... точь-в-точь мой парадный, похожий на него как две капли воды... да это и вправду мой, вот и платок, надушенный мускусом, из кармана торчит, и... А! Мое пригла-

шение на бал ему, верно, пригодилось. И... мои белые перчатки? Где же мои белые перчатки? Фу ты, на полу? Ладно, им и там хорошо, они уже не первой свежести. Ну, ну, господин сонливец, вы вовсе не такой уж стыдливый, как мне показалось, смею даже заметить, вы человек бесцеремонный! Вы теряете чемоданы или не даете себе труда их раскрыть и залезаете без спросу в чужие! Такие шутки — привычное дело у молодежи, я знаю... Помнится, на одном бале в Христиании я всю ночь отплясывал в кафтане бедняги Стангстадиуса, который был вынужден пролежать это время в постели и даже весь следующий день, ибо я увлекся... Но что об этом говорить! Мы были молоды тогда, а теперь я уже не в том возрасте, чтобы позволить... другому... подобную шалость. Эй, сударь! Просыпайтесь и отдавайте мне мои штаны и шелковые чулки... Боже милостивый! Сколько петель он, верно, попускал отплясывая, скотина! А милостивый государь не изволит и глаз, продрать!»

Углубившись в эти размышления, Гёфле добрался и до потрепанного платья, которое Кристиано бросил на другой стул, разморившись после бала. Вид поношенных штанов, потертого венецианского плаща и тирольской шапочки с истрепанным шнуром погрузил Гёфле в пучину новых предположений. Итак, сей юноша с возвышенным челом и тонкими руками был всего лишь каким-то цыганом, поводырем ученого медведя, коробейником или бродячим певцом? Итальянский певец? Нет, лицо этого искателя приключений, без сомнения, принадлежало к типу жителей Далума. Какой-нибудь мошенник... может статься очень уж ловкий? Нет. Кошелек Гёфле лежал нетронутый на дне чемодана, а выражение лица спящего говорило о его честности! И спал он действительно сном праведника.

Что подумать и на что решиться? Адвокат почесал в затылке, а что, если это незавидное одеяние было лишь средством, при помощи которого молодой человек неузнанным прошел по всей стране ради каких-нибудь донжуанских походов под балконом какой-нибудь прелестницы, находящейся проездом в новом замке? Но так как ни одно предположение не казалось удовлетворительным, Гёфле решил разбудить гостя, хорошенько тряхнув его несколько раз и

выкрикивая над самым ухом: «Эй, эй, пу, ну, давай, приятель, вставай!» и все прочие слова, которыми принято будить тех, кто чересчур уж заспался.

Наконец Кристиано открыл глаза, пристально посмотрел на Гёфле, не видя его, и снова сомкнул веки с поистине олимпийским спокойствием.

— Ага, все понятно,— пробормотал адвокат,— вот вы уже и снова отбыли в страну сновидений!

— Что такое? Разве северное сияние еще светит?— спросил полусонный Кристиано, по-видимому, весь еще во власти радужных видений.

— Откуда взяться северному сиянию в такое время,— сказал Гёфле.— Сейчас солнце взойдет.

— Солнце? Кто говорит о солнце в разгаре бала?— пробормотал Кристиано тем особенным мягким голосом заспавшегося человека, который как будто умоляет и уговаривает, чтобы его оставили в покое.

— Да, да, бал, мой кафтан, солнце, мои штаны, северное сияние — все вполне логично,— проговорил Гёфле,— все это чудесно переплетается в ваших снах, мой милый друг, но мне бы хотелось услышать от вас нечто более разумное, и я буду вас тормошить до тех пор, пока вы не сможете получше произнести свою защитительную речь.

Покладистый Кристиано с невозмутимой кротостью позволял трясти себя. Засыпать на любых досках, будь то на море в любую погоду или на дороге в любой повозке, вошло у него в привычку, и оттого, что адвокат сердито его расталкивал, к нему приходило только приятное ощущение полного отдыха от всяких забот. Мало-помалу, однако, ему пришла мысль, что пора дать себе отчет в том, где он находится. Он вновь приоткрыл глаза, взглянул на печь, ватем повернулся, чтобы осмотреть темные стены комнаты.

— Черт меня побери,— пробурчал он,— если я знаю, где нахожусь! Но что это меняет, в конце концов. Сегодня здесь, завтра там! Такова жизнь.

— Потрудитесь хотя бы узнать, с кем вы имеете дело.

Весьма довольный этим гордым вступлением, Гёфле ожидал увидеть изумление, ужас или смущение на лице виновного, но ожидания его были напрасны. Кристиано протер глаза, взглянул на него с улыбкой и сказал самым приветливым тоном:

— У вас славное лицо! Чего же вы от меня хотите?

— То есть как это чего я хочу?— возмущенно вскричал Гёфле.— Я хочу мою шубу, шапку, куртку, белье, сапоги,— словом, все, что вы у меня забрали, чтобы принарядить и приукрасить свою персону!

— Что? Вы так думете? Да это вам приснилось, мой друг!— произнес наш герой, приподнимаясь на своем кресле и удивленно глядя на весь заимствованный им гардероб.

Затем, рассмеявшись при довольно смутном еще воспоминании о своей проделке, он сказал:

— Честное слово, господин Гёфле,— конечно, я имею честь говорить с уважаемым и знаменитым господином Гёфле, не так ли?

— У меня есть все основания полагать это, сударь. А затем?

— А затем,— продолжал Кристиано, поднявшись окончательно и с безупречной вежливостью снимая шапочку доктора,— я должен принести вам тысячу извинений, признав при этом, что не заслужил и одного. Чего вы хотите, милостивый государь! Я молод и в эту минуту в большой нужде. Романтический замысел увлек меня ночью на бал, под рукой не нашлось другого приличного платья, кроме этого, вовремя посланного провидением. Человек я чистоплотный и вполне здоровый, и к тому же, если вам не захочется надевать ваше платье после того, как я его носил, то я уверен, что смогу завтра выкупить его у вас по цене, какую вы сами назначите.

— Здорово! Вы очень забавны. Вы что, принимаете меня за торговца платьем?

— Нет, конечно, но я буду в отчаянии, если меня примут за вора. Я к этому не привык.

— Черт возьми! Вижу, что вы честный малый... Вибалмошный — это да! Что толку сердиться, дело то ведь сделано. Сразу видно, что вы ничем не боле-ли, черт побери! Вы крепко скроены... Ну и шевелюра! Ах, любезный, узнаю запах моей пудры! Но каким ветром вас занесло на бал без приглашения, ведь ваше дорожное облачение свидетельствует...

— Что я не принадлежу к высшему обществу, не так ли? Договаривайте же, не так уж я щепетилен на этот счет.

— Собственно говоря, я просто не знаю! Дело совсем не в одежде. У вас очень аристократическая рука. Выкладываете все начистоту. Кто вы такой? Если тут роман, то я люблю романические истории, а если тут тайна, ну что ж, ваше лицо мне нравится, и я обещаю быть скромным... Я ведь адвокат — этим все сказано.

— В вашей скромности, господин Гёфле, я не сомневаюсь, — сказал Кристиано, — к тому же в жизни моей нет таких тайн, которые я не мог бы поведать человеку умному и порядочному — такому, как вы. Но история моя длинновата, предупреждаю вас, а печь почти уже не греет. К тому же, по правде сказать, хоть я и изрядно поужинал вчера вечером, мне стоит только глаза открыть, как я чувствую голод; вот и сейчас у меня уже сосет под ложечкой...

— А как же я? — вскричал Гёфле. — Ведь я привык пить чай со сливками в постели, как только проснусь. Этот увалень Ульфил меня совсем забросил! На столе все то же самое, что было вечером.

— Благодаря мне, господин Гёфле, я ведь узнаю ветчину и рыбу, которые я прихватил на кухне этого Ульфа... Как там вы его назвали?

— Ульфом вместо Ульфила. Это очень хорошо. Здесь сокращают все имена, их делают односложными, опасаясь, видимо, чтобы, когда кличут людей, половина слова не замерзла в воздухе. Впрочем, если это вам я обязан вчерашним ужином, то из этого следует, что Ульф, о котором шла речь, дал бы мне умереть с голоду, да, да, в той самой комнате, где раз уже было нечто подобное. Этот негодяй, видно, хотел поддержать ее дурную славу, подвергнув меня этой пытке.

— Разве здесь баронесса Хильда умерла с голоду, господин Гёфле?

— Вы и об этом уже слышали? Слава богу, все это басни. Но подумаем о завтраке. Я позову.

— Не трудитесь, господин Гёфле, Ульф придет. К тому же, если вам чего-то не хватает, я схожу и принесу. Чего уж лучше, если можно самому составить меню по выбору; только разве медвежий или кабаньей окорок, копченый язык и жареная дичь — все эти блюда, к которым вы едва прикоснулись вчера вечером, вам ничего не говорят поутру?

— Как же, говорят. И тут всего столько, что вдво-

ем не справиться. Ну что ж, раз стол накрыт, позавтракаем, а?

— Лучшего и не пожелаешь. Но позвольте мне найти укромной уголок, чтобы одеться, или, вернее, раздеться, ибо я все еще...

— В моем платье? Это я прекрасно вижу, черт возьми! Ну и оставайтесь в нем, раз уж оно на вас, только снимите шубу и надевайте опять кафтан, а не то вы задохнетесь, когда будете есть.

Кристиано начал с того, что наложил в печь дров, после чего, тщательно умыв лицо и руки в углу, вернулся и стал нарезать холодные блюда, проявляя при этом своего рода *maestria*¹.

— Забавно,— заметил Гёфле,— у вас такие хорошие манеры, что во Франции вас бы сочли человеком вполне благовоспитанным, и, однако, ваш дорожный плащ...

— Свидетельствует о превратностях судьбы, но не о бедности,— спокойно отвечал путник.— Неделю назад я был отменно одет, так, что смело мог бы отправиться на бал.

— Возможно,— согласился Гёфле, усаживаясь и с большим усердием принимаясь за еду,— но так же вероятно, что вы мне сейчас преподнесете одну из тех историй, какие любят странствующие герон. Мне все равно, лишь бы было занимательно.

— Вот как,— улыбаясь сказал Кристиано,— а на каком языке вы пожелаете, чтобы я вам рассказывал?

— Черт возьми! По-шведски, раз это ваш язык! Вы швед и к тому же далекарлиец, это сразу видно по вашему лицу.

— Однако я не швед, а скорее исландец.

— Скорее?.. Вы в этом уверены?

— Нисколько не уверен. Поэтому, поскольку латынь — язык универсальный, если угодно...

И Кристиано вполне свободно повел речь на изящной и правильной латыни.

— Очень хорошо,— одобрил адвокат, слушавший его дружелюбно и со вниманием,— но итальянское произношение немного мешает мне понимать вашу латынь.

— То же, пожалуй, может получиться с греческим

¹ Искусство, (итал.).

и с немецким,— сказал Кристиано, начавший говорить на языке мертвом, а затем и на живом с той же легкостью и так же правильно, сопровождая свою безукоризненную речь цитатами, избличавшими в нем человека, понаторевшего в древней и новой словесности.

— Bravo!— воскликнул доктор.— Вы очень образованный человек, это видно. А французский вы тоже знаете?

— Французский и английский, по вашему усмотрению,— отвечал Кристиано,— меня всему этому учили, а я питал склонность к изучению языков.

— Ну ладно, рассказывайте по-французски,— решил Гёфле, который был не меньшим полиглотом, чем Кристиано.— Я люблю Италию, а Францию просто обожаю! Это наша союзница, и не все ли равно, полезная или нет; главное, что это полная противоположность русскому духу, который я ненавижу.

— Слава богу, я тоже противник русских с тех пор, как прибыл в Швецию, и в особенности после вчерашнего вечера; а теперь, господин доктор, прошу вас, не принимайте меня за педанта. Если я посмел прихвастнуть своими скромными познаниями перед профессором Лундского университета, то это только потому, что, заметив, как мастерски я резал ветчину, вы подумали, уж не какой-нибудь ли я бывший Фронтен из хорошего дома, впавший в немилость и подыскивающий, кого бы лучше надуть.

— Надо же! А ведь вы угадали, каюсь: эта мысль пришла было мне в голову. Но теперь я вижу, что если вы и служили в хороших домах, то уж отнюдь не в качестве лакея.

— Боже ты мой, сударь,— сказал Кристиано,— что лакей, что учитель — не велика разница, ступенькой выше или ниже в глазах иных.

— Только не в Швеции, друг мой, черта с два! Нет, у нас дело обстоит не так.

— Знаю, сударь: в вашей стране люди бескорыстно стремятся к серьезным знаниям, и нигде так достойно не поощряется развитие гуманитарных наук; но в других странах нередко...

На этом речь Кристиано была прервана приходом Ульфила, который принес завтрак и, увидев, что стол накрыт, остановился в изумлении.

— Вот видишь, невежа,— весело воскликнул Гёф-

ле, угадавший причину его удивления,— мой кобольд прислуживал мне вместо тебя, и мне очень повезло, потому что вот уже около полусуток, как ты меня совершенно забросил.

Ульф попытался оправдаться; но накануне он весь вечер так усердно искал утешения в бутылке и мозг его настолько отяжелел, что ему трудно было отдать себе отчет в том, почему он покинул хозяина. Обычно Ульф чувствовал себя спокойно на рассвете, а когда вставало позднее зимнее солнце, он бывал не хуже и не лучше всех остальных. Обильные возлияния еще продолжали оказывать свое действие на оцепенелый ум, но так как это ничуть не мешало ему выполнять свои домашние обязанности с точностью машины, то состояние это не имело ничего обидного для других или опасного для него самого. Он флегматично пробормотал на своем далекарлийском наречии какие-то слова удивления, глядя на блюда, расставленные на столе, и на незнакомого человека, сидевшего рядом с доктором.

— Прислуживай этому господину так же, как мне,— сказал Гёфле,— это мой друг, с ним я охотно делю кров.

— Ну что же, сударь,— отвечал Ульф,— я ведь не против, но вот лошадь-то...

— Сам ты лошады!— заорал Кристиано, который уже знал несколько слов по-далекарлийски и почувствовал, что ему грозит полное разоблачение.

— Да, сударь, я-то лошадь,— покорно согласился Ульф,— но вот сани...

— Что сани?— спросил доктор.— Ты их почистил? А лошадь?

Когда слово «лошадь» вторично долетело до уха Кристиано, он повернулся к Ульфу и бросил на него украдкой столь устрашающий взгляд, что бедняга оторопел, совсем потерял голову и пробормотал заикаясь:

— Да, да, сударь мой, лошадка, саночки — будьте покойны!

— Ну, так будем завтракать,— сказал доктор.— принеси-ка табаку, Ульф, а чайник не трогай. Мы сами заварим чай.

Ульф склонился над печью, чтобы получить поставить чайник. Кристиано подошел к нему совсем близко, словно собираясь проследить, как он спра-

вится, и, наклонясь и снова бросив на него устрашающий взгляд, сказал ему на ухо по-далекарлийски: «Лошадь, сани, новый замок, живо!» Ульфу представилось, что это распоряжение он уже получал, но с похмелья забыл его выполнить. Он наскоро пошел подвязывать коньки и побежал в новый замок разыскивать Локи в шумных конюшнях, где было множество конюхов и лошадей.

Доктор прав не был обжорой, не то что доктор наук Стангстадиус. Он действовал неторопливо, чтобы распробовать всякое блюдо и порассуждать о приложении основ поваренного искусства к возвышенным потребностям избранных желудков. После получасовой беседы на эту тему и ее практического применения они с Кристиано переглянулись и заметили друг у друга розовый отблеск на лицах.

— Наконец-то!— воскликнул Гёфле.— Вот и солнышко взошло на небе.

Он поглядел на часы.

— Без четверти десять,— сказал он,— эти часы из Муры неплохо идут! Поглядите, они местного изделия. Наши далекарлийцы на все руки мастера: сами выделывают все необходимое, от наипростейшего до наиболее сложного... Но не гасите свечу, она нам пригодится закуривать: к тому же я люблю, когда зимой в помещении солнечный свет спорит с искусственным, мешая неясные и причудливые тона... Вот так штука! Бьют стенные часы! Вы, должно быть, завели их вчера вечером?

— Конечно. А вы не заметили этого?

— Ничего я не заметил. Я спал наяву или грезил. Может быть, мне приснилось и то, что я пошел сюда и поужинал! Не все ли равно! Чай вы умеете заваривать?

— Нет, зато кофе — в совершенстве.

— Ну, хорошо, готовьте кофе, а я беру на себя чай.

— Вы любите этот безвкусный и тоскливый напиток?

— Да, разбавив его на треть водкой или старым ромом.

— Ну, тогда другое дело. Меня восхищает, господин доктор, что нас обслуживают здесь не хуже, чем в Париже или Лондоне.

— А почему бы и нет? Мы ведь не на край свега

засхали. Мы в шести часах пути от берега Пруссии, где живут как в Париже.

— Да, но в провинциальной глуши, забравшись на шестьдесят или восемьдесят миль в глубь страны, и в таком бедном краю...

— Таким бедном! Вы полагаете, что страна бедна, потому что у нее неплодородная почва? Но вы забываете, что недра земли у нас побогаче ее поверхности и что далекарыйские рудники являются сокровищницей Швеции. Вы заметили, что эта область, примыкающая к Норвегии, мало населена, а из этого заключаете, что она не может быть населена гуще. Знайте же, что если бы государство могло и сумело получше за это взяться, то наших богатых залежей хватило бы на то, чтобы во сто раз увеличить достояние и численность жителей. Когда-нибудь, возможно, все пойдет лучше, если нам удастся вырваться из когтей Англии, опутывающей нас интригами, и из тисков России, сковывающей нас угрозами. А пока что знайте, мой мальчик: если на земле есть бедняки, то не по вине самой благодатной божьей земли, на которую клеветают, пользуясь невежеством, ленью и ложными представлениями ее обитателей. Здесь сетуют на суровую зиму и на твердые скалы, но сердце земли горячо! Стоит лишь спуститься в ее недра — повсюду, да, повсюду, ручаюсь вам, найдется драгоценный металл, разветвляющийся у нас под ногами бесчисленными радужными жилами. На свои металлы мы могли бы скупить все ценности, всю роскошь, все, что производит Европа, если бы только у нас хватало рук, чтобы доставить наши сокровища на поверхность земли. Люди жалуются на землю, а не хватает только рабочих рук! Скорее земля могла бы на нас пожаловаться!

— Боже меня упаси осуждать Швецию, дорогой господин Гёфле. Я только сказал, что огромные пространства пустынь и невозделанны и что здешние жители настолько умеренны, что для путника у них не найдется ничего, кроме каши и молока — пищи, без сомнения, здоровой, но не способствующей тому, чтобы воспламенить воображение и закалить волю.

— Вот и тут вы глубоко ошибаетесь, дорогой мой! Эти места можно по праву назвать головой и сердцем Швеции, головой восторженной, полной причудливых вымыслов и возвышенных или нежных

грез, сердцем пылким и щедрым, в котором бьется любовь к отчизне. Вы ведь знакомы с историей страны?

— Да, да! Густав Ваза, Густав-Адольф, Карл Двенадцатый — все герои Швеции искали людей в глубинах этих гор, тогда как остальная часть нации погрязла в рабстве или пороках. В этом прославленном уголке земли, в этой северной Гельвеции и отыскивалась во все переломные эпохи вера и твердая воля, спасавшие родину.

— Что ж, в добрый час. Так согласитесь же, что овсяная похлебка и бесплодные обледенелые скалы могут породить и вскормить поэтов и героев.

Рассуждая так, доктор прав плотнее запахнулся в мягкую ватную душегрейку и подлил в горячий и очень сладкий чай полфляги первосортного рома. Кристиано наслаждался превосходным кофе, и оба принялись смеяться над собственным восхищением горной служей и кашею бедняков.

— Ах, все дело ведь в том, — сказал Гёфле, став повясь серьезным, — что мы вырожденцы. Нам нужны возбуждающие средства, наркотики. Вот это и доказывает, что самый способный и знаменитый из нас не стоит последнего крестьянина здешних диких гор! Но посмотрим, принесет ли нам табачку эта скотина Ульфил! Совсем неотесанный парень.

Кристиано снова рассмеялся, а Гёфле, убедившись, что его похвалы умеренности и сдержанности сейчас неуместны, успокоился, увидев перед собой табачницу. Ульф принес ее механически, по привычке, но по своей крайней нерасторопности не успел об этом сказать.

— Ну что ж, — сказал Гёфле, откинувшись в кресле поудобнее, для лучшего пищеварения, раскуривая превосходную турецкую трубку, чубук которой упирался в выступ печи, покуда Кристиано, поминутно то вставая, то присаживаясь, то устраиваясь верхом на стуле, покуривал походную трубочку, торопливо и не очень сосредоточенно. Ну вот, мой загадочный приятель, расскажите-ка, если это возможно, о себе всю правду.

— Итак, — начал Кристиано, — я зовусь, вернее — меня называют, Кристиано дель Лаго.

— Кристиано или Кристиан Озерный? Откуда такое романтическое имя?

— Ах, вот в этом-то и дело. «Chi lo sa?»¹, как у нас говорится. Это целый роман, где, верно, нет ни словечка правды. Я вам все передам так, как мне самому это рассказывали.

В неизвестных мне краях, на берегу озера, мало-го или большого, чье название мне неизвестно, у некой дамы — уродливой или красивой, богатой или бедной, благородной или из простых, — в законной любви или при достойных сожаления обстоятельствах родился ребенок, чье появление, по-видимому, совершенно необходимо было скрыть. С помощью веревки и корзины (эта подробность точна) сама ли дама или ее верная служанка спустили бедного новорожденного в лодку, находившуюся там случайно или по таинственному уговору. Никто не мог мне сообщить, что случилось с дамой, да и где бы я мог об этом узнать? Что до ребенка, то его потихоньку унесли неизвестно куда и вскормили не знаю как до той поры, когда его можно было отнять от груди, и тогда он был опять увезен неизвестно кем в другую страну...

— Неизвестно какую! — смеясь подхватил Гёфле. — Сведения довольно-таки неопределенные, и я затруднился бы на основании их помочь вам выиграть ваше дело!

— Мое дело?

— Да вам ведь, вероятно, приходило в голову судиться, чтобы вернуть себе имя, права, наследство?

— Будьте покойны, господин Гёфле, — возразил Кристиано, — вам никогда не придется вести мое дело. Меня еще не обуяло безумие, общее всем проходивцам таинственного происхождения, которые лишь в крайнем случае снисходят до того, что согласны признать себя королевскими сыновьями, и всю жизнь скитаются по белу свету в поисках своей знаменитой семьи, ни разу не подумав, что сами они своим появлением лишь стеснили бы эту семью и не доставили бы ей ни малейшей радости. Что до меня, то если даже я и происхожу из знатного рода, то я этого не знаю, и меня это несколько не интересует. Это безразличие разделяли со мною, или, вернее, внушили мне, мои приемные родители.

— А кто были ваши приемные родители?

¹ Кто знает? (итал.).

— Я не знаю и не помню ни тех, кто из окна принял меня в лодку, ни тех, кто отдал меня кормилице, ни тех, кто отвез меня в Италию,— об этих людях я ничего не смогу вам сказать; может быть, это была все та же семья или все то же лицо. Я знал только своих истинных приемных родителей — синьора Гоффреди, антиквара и профессора древней истории в Перудже, и его прекрасную жену Софию Гоффреди, которую я любил как родную мать.

— Но откуда и от кого достойные супруги Гоффреди приняли вас на хранение? Они должны были вам это сказать...

— Они и сами того не знали. У них было небольшое состояние, и, не имея детей, они неоднократно выражали желание усыновить какого-нибудь сироту. И вот однажды вечером в дни карнавала перед ними появился человек в маске, вынул из-под плаща существо, которое имеет честь сейчас беседовать с вами, и не мог ничего о нем рассказать, ибо говорил он на языке, которого никто не понимал.

— Но все-таки,— продолжал адвокат, слушавший рассказ так внимательно, точно ему предстояло расследовать судебное дело,— что же все-таки сказал человек в маске, вручая вас профессору Гоффреди и его жене?

— Вот слово в слово то, что было мне сказано: «Я пришел издалека! Я беден и был вынужден издержать в пути часть средств, доверенных мне вместе с ребенком. Я считал, что должен был так поступить, получив приказ увезти его далеко, очень далеко от его и от моей родины. Вот оставшиеся деньги. Мне стало известно, что вы хотите усыновить ребенка, и я знаю, что в вашей семье он будет счастлив и получит хорошее образование. Хотите взять бедного сиротку?»

— И профессор согласился?

— Он принял ребенка и отказался от денег. «Если я беру ребенка на воспитание,— сказал он,— то лишь для того, чтобы сделать ему добро, а не для того, чтобы воспользоваться его добром».

— И он не любопытствовал расспросить?..

— Он мог спросить только об одном, а именно, не придет ли кто потребовать ребенка, ибо он хотел бы получить его навсегда и боялся, что привяжется к нему, а потом в один прекрасный день его вдруг от-

нимут. Незнакомец поклялся, что никогда никто за мной не придет, а в доказательство сказал: «Я привез его из дальних краев, находящихся более чем в пятистах милях отсюда, чтобы самый след затерялся навеки. Ребенок подвергся бы большой опасности, может быть, даже и здесь, если бы стало известно, где он находится. Поэтому не задавайте мне вопросов, отвечать я не стану». И он настоял на том, чтобы у него взяли небольшую сумму денег, каких-нибудь две-три сотни цехинов.

— В итальянской монете?

— В иностранных золотых монетах самых различных стран, как будто незнакомец проехал всю Европу и задался целью наменять деньги монетой самых различных государств, чтобы пресечь всевозможные поиски и догадки.

Ему возразили, сказав, что он человек бедный — он сам в этом признался, да и по виду его нельзя было ошибиться. Справедливо было бы возместить ему расходы за время долгого пути и труда, связанного с неукоснительным выполнением приказа, касающегося моего удаления, но он отказался от этого предложения с суровым упорством. Он исчез внезапно, обещав, чтобы избежать расспросов, что на следующий день еще вернется. Однако он не вернулся; его больше никогда не видели; о нем больше никто не слышал, а я оказался доверенным, точнее — подобранным, слава богу, господину и госпоже Гоффреди, которые обо мне и позаботились.

— Ну, а вся эта история с озером, окном и лодкой, ее-то вы, черт побери, откуда взяли?

— Погодите! Когда мне минуло пять или шесть лет (мне, вероятно, было около четырех или пяти лет, когда я оказался в Перудже, спрятанный под плащом человека в маске), я откуда-то упал, и все думали, что я убится. Это был пустяк, но в числе друзей моей приемной семьи, пришедших справиться обо мне, проскользнул маленького роста еврей, не то крещеный, не то нет, ведший торговлю предметами искусства и антикварными вещами с иностранцами и обосновавшийся в Перудже. Мои родители не любили его за то, что он еврей, а в Италии, как и здесь, сильно недолюбливают это племя. Он заботливо обо мне расспрашивал и даже просил, чтобы меня ему показали, желая убедиться, в каком я состоянии.

Год спустя мы проводили лето в деревне, и вот, как только мы вернулись в город, он явился опять затем, чтобы справиться обо мне и поглядеть своими глазами, вырос ли я и в добром ли здравии. Это всех удивило, и его спросили, почему он так интересуется мною, пригрозив отказать ему от дома, если он не даст удовлетворительного объяснения своему поведению, ибо к тому времени меня уже полюбили и боялись, как бы этот еврей не выкрал меня. Тогда он признался — или же просто придумал, что ему случилось приютить человека в маске в тот день, когда тот привез меня в город, и удалось вырвать у него несколько признаний, касающихся меня. Эти смутные, неправдоподобные и невразумительные сведения я вам уже сообщил в начале своей истории, да, быть может, им и не следует придавать никакой веры. Мою присмную мать они только забавляли. Однако найдя в этом приключении нечто романтическое, она дала мне прозвище дель Лаго, которое долго было моим настоящим именем.

— Но ваше имя Христиан, Кристиан, Кристиерн, Кретъен или Кристиано, кто вам его дал?

— Человек в маске, не добавив никакого иного.

— Человек этот говорил по-итальянски?

— Плохо, и то, что он объяснялся на этом языке с трудом, немало способствовало окружавшей меня таинственности.

— А какой у него был акцент?

— Профессор Гоффреди занимался только мертвыми языками; его жена, также весьма образованная женщина, знала много живых языков. Однако ей не удалось определить, к какой национальности можно было отнести акцент человека в маске.

— А еврей что об этом думал?

— Если он что и думал, то не пожелал об этом сказать.

— А ваши родители были вполне уверены, что он сам не взял на себя роль человека в маске?

— Вполне уверены. Человек в маске был довольно высок, а еврей был меньше пяти футов ростом. Ни его голос, ни выговор не имели ничего общего с тем незнакомцем. Я вижу, господин Гёфле, что вы, как и мои бедные Гоффреди, задаете себе всевозможные вопросы на мой счет; но скажите мне, пожалуйста, какое все это может иметь значение?

— Да, в самом деле, какое?— ответил Гёфле.— Вы, может быть, и не стоите того, а я вот уже целый час ломаю себе голову, как вам помочь найти свою семью. Видите ли, эта забота моя связана с профессиональной привычкой. Не будем пока что об этом говорить, тем более что во всем, что вы мне сказали, нет ни одного точного факта и не на чем построить сложную систему научных и хитроумных выводов. Однако постойте. Что сделали с деньгами, принесенными человеком в маске?

— Мои родители, полагая, что деньги эти, быть может, плата за похищение или еще за какое-либо преступление и что счастья они мне не принесут, поспешили пожертвовать все эти чужеземные монеты в фонд немущих при Перуджинском соборе.

— Но вы сами уже говорили на каком-то языке, когда вас привезли?

— Конечно; только я скоро его позабыл, так как мне не с кем было на нем разговаривать. Помню только, что год спустя какой-то немецкий ученый, навестивший нас, пытался пролить свет на эту тайну. Мне с большим трудом удалось вспомнить несколько слов моего родного языка. Языковед заявил, что это какой-то северный диалект и что-то похоже на исландский, однако мои черные волосы не подтверждали этой версии. Так и не стали допытываться до истины. Моя приемная мать хотела, чтобы я утратил всякое воспоминание о моей прежней родине и о прежней семье. Вы понимаете, что она без труда этого достигла.

— Еще один вопрос,— сказал Гёфле,— мне интересно слушать только тогда, когда я понимаю, что служит отправной точкой рассказа. Ваши воспоминания, естественно, стерлись, да и окружающие постарались заставить вас их забыть, и все же, неужели у вас ничего не осталось в памяти?

— У меня осталось что-то такое смутное, что я не сумею отличить эти воспоминания от снов. Мне видится странный дикий край, еще более величественный чем здешний.

— Холодная страна?

— Об этом я ничего не знаю. Дети не ощущают холода, а я никогда не был зябликом.

— А что еще вы видите в этом сне? Солнце или снега?

— Не знаю. Большущие деревья, стада, может быть, коров...

— Большие деревья — это уже не Исландия. А от путешествия, приведшего вас в Италию, что у вас осталось?

— Ровно ничего. Мне кажется, что мой спутник или спутники были мне незнакомы до отъезда.

— Тогда продолжайте вашу историю.

— То есть я ее начну, господин Гёфле, ибо до сих пор я мог только говорить о загадочных обстоятельствах, которые, как говорят поэты, окружали мою колыбель. Повесть о своей жизни я начну с первого поразившего меня отчетливого воспоминания. Воспоминание это, не ужасайтесь, господин Гёфле, связано с каким-то ослом.

— С ослом? Четвероногим или двуногим?

— С самым настоящим ослом о четырех ногах, с ослом во плоти и крови; это было любимое животное Софии Гоффреди, и звали его Нино, уменьшительное от Джованни. Так вот, я был так к нему привязан, что назвал Жаном осла, который сейчас мне служит для перевозки клади, в память о том, кто доставил мне первые детские радости.

— Ах, так у вас есть ослик? Уж не тот ли, что посетил меня вчера вечером?

— Так, значит, это вы велели отвести его в конюшню?

— Вот именно. Вы, видно, любите ослов?

— По-братски... И я уже целых полчаса думаю, что мой ослик, может быть, остался без завтрака.. Ульф мог его испугаться, он его мог и из замка выгнать. Несчастный сейчас, может быть, бродит где-нибудь во льдах и снегах, и лишь равнодушное эхо вторит его жалобным крикам! Прошу вас, извините меня, господин Гёфле, но я непременно должен на минутку вас покинуть, чтобы справиться о судьбе моего осла.

— Чудак! — воскликнул Гёфле. — Ну, конечно же, сходите поскорее, да заодно взгляните на моего конягу, который вполне стоит вашего осла, не в обиду вам будь сказано. Но что же, вы так и побежите в конюшню в моем кафтане и в шелковых чулках?

— Да я мигом!

— Вовсе нет, вовсе нет, мой мальчик. К тому же

вы простудитесь. Наденьте-ка мои меховые сапоги и шубу; ступайте скорее и поскорей возвращайтесь!

Кристиано повиновался с благодарностью; он на-шел Жана в самом лучшем настроении, кашлял он уже куда меньше, чем накануне, и закусывал в обществе Локи, которого Ульф как раз привел из нового замка.

Ульф с ужасом смотрел на осла: хмель помаленьку проходил, и его мучило подозрение, что животное, которое он утром кормил, не было лошадью. Кристиано уже накануне вечером, промышляя себе ужин, понял, с каким суеверным трусом имеет дело, и разыграл перед ним по-итальянски необычную пантомиму с устрашающими жестами и взглядами, не скупясь на фантастические угрозы в случае, если он неуважительно отнесется к ослу, которого следует чтить как мифическое божество. Испуганный Ульф удалился, отвесив поклон ослу и его хозяину, охваченный самыми несуразными мыслями, которые под влиянием ночных возлияний порождали новые страхи и все более и более странные предположения.

— Итак,— заявил Кристиано, снова принимаясь за трубку и за прерванное повествование и сидя верхом на все том же стуле,— осел госпожи Гоффреди стал моим лучшим другом. Мне казалось, что ни у одного осла на свете не было столь красивых ушей, ни столь приятной походки. Ах, господин Гёфле, дело в том, что когда впервые его размеренная поступь и длинные уши привлекли внимание моего сонного мозга, меня инстинктивно поразило прекраснейшее в мире зрелище. Это было на берегу озера: озера, видите ли, играют важную роль в моей жизни. И что за озеро, сударь, Перуджинское озеро, иначе говоря, Тразменское. Вы никогда не бывали в Италии, господин Гёфле?

— Нет, к величайшему моему сожалению; но что касается озер, то у нас в Швеции есть такие, озера, перед которыми итальянские покажутся просто лужами.

— Я не скажу ничего худого о ваших озерах; я уже не одно из них видел. Должно быть, они хороши летом. В зимнюю пору, со своими мьялями (ведь так вы зовете огромные песчаные оползни, заполняющие берег зелеными деревьями и странными глыбами, оторвавшимися от скал), согласен с вами, они

совершенно необыкновенны. Иней и лед, сковывающий эти причудливые формы, превращают любую былинку в бриллиантовую гирлянду. А запутанное переплетение корней можно принять за искусную стеклянную пряжу без конца и края; все это залито багряным солнечным светом; зубчатые края гор сияют вверху, как сапфирные иглы в утреннем пурпуре... Да, признаюсь, здешняя природа величественна, а вид из моего окна ослепителен; но он ослепляет меня, и именно против этого я и хочу возразить. Он возвышает меня, возносит меня над самим собою... Восторг, разумеется, значит очень много, но неужели в этом вся жизнь. Неужели нет у людей огромной потребности в отдыхе, в бездумном созерцании и упоительно нежном мечтательном состоянии, называемом у нас *far niente*?¹ Так вот, там, на Тразименском озере чувствуешь, что живешь чудесной безмятежной жизнью. Там я мирно рос, не зная мучительных переживаний, как соломинка, занесенная из невесты какой безвестной страны на эти благодатные солнечные берега, под светлую сень старых олив, словно вечно купающихся в теплом золотистом потоке!

У нас был (уву, я говорю у нас) загородный домик, *villietta*², на берегу ручья, который зовется *Сангвинето*, что значит *Кровавый ручей*, в память как будто о пролитой крови, обогрившей эту равнину в знаменитой Тразименской битве. Мы проводили все теплое время года в этом оазисе, исполненном сельских радостей. Ручьи больше не приносят трупов, и волны Сангвинето прозрачны, как кристалл. И, однако, мой приемный отец был поглощен одной-единственной заботой — выискивать кости, медали и остатки доспехов, которые и по сей день еще можно найти в большом количестве в траве и цветах по берегам озера. Жена его обожала (и было за что), она повсюду сопровождала его, а я, толстый беспечный мальчишка, на которого тоже распространялось обожание, валялся на теплом песочке или мечтал, покачиваясь под мерный шаг *Нино*, на коленях у моей милой матушки. Мало-помалу я увидел и понял, до чего чудесны в этой прелестной стране и дни и ночи. Озеро очень велико, не потому, что по размерам своим оно достига-

¹ Ничего неделанием (*итал.*).

² Маленькая вилла (*итал.*).

ет самого малого из ваших озер, но потому, что величие — понятие совершенно иное, нежели протяженность; чаша его так обширна, окружающая природа столь отрадна для глаз, что светящиеся глубины навевают мысли о бесконечности. Не могу вспомнить без волнения восходы и закаты солнца на этой зеркальной глади, отражавшей холмы с большими деревьями, с округлыми и могучими стволами, и далекие белоснежные островки среди розовеющих волн. А по ночам мириады звезд дрожали в этих тихих водах, не расплываясь и не сталкиваясь друг с другом! Какие нежные ароматы веяли по серебристым холмам и какие таинственные созвучия струились вдоль берегов, когда вся огромная масса воды слегка колебалась, точно боясь потревожить спящие цветы! У вас, согласитесь, господин Гёфле, природа неистова даже зимой, когда она предается покою. Все в ваших горах носит след непрерывных и разрушительных весенних и осенних бурь. Там же любой клочок земли уверен, что надолго сохранит свои очертания, и любое растение спокойно развивается на почве, его взрастивший. Там с самим воздухом как бы вдыхаешь сладость бытия, и извечное блаженство природы проникает в душу, не смущая ее покоя и не будоража ее.

— У вас есть поэтическая жилка, вы умеете видеть,— сказал Гёфле,— но разве жители этих благодатных краев не прозябают в грязи, лени и по собственной вине не обрекают себя на нищенское существование?

— Во всякой нищете половина вины ложится на правителей, а половина на тех, кем правят; зло не бывает односторонним. Вот поэтому и получается, я думаю, что добра не наживешь; но в теплых краях нищета, порожденная ленью, находит оправдание в неге созерцательной жизни. Еще юношей я живо ощутил пьянящую прелесть южной природы и тем более ее оценил, что почувствовал в себе приступы лихорадочной деятельности, словно я и на самом деле родился за пятьсот миль от тех мест, в какой-то холодной стране, где дух более властен над материей.

— Выходит, вас нельзя было назвать ленивым?

— Мне кажется, что я несколько не был ленив: ведь родители мои хотели сделать из меня ученого, и из любви к ним я усердно трудился, чтобы получить

образование. Однако я чувствовал влечение к естественным наукам, а также к живописи и к философии гораздо больше, чем к тщательным и кропотливым изысканиям ученого мужа Гоффриди. Его усилия казались мне почти парадными, и я не способен был прийти в безудержную радость оттого, что нам удалось определить назначение древнего камня или разобрать смысл этрусской надписи. Он, впрочем, вовсе не мешал мне развивать мои природные способности и создал мне самое отрадное существование, какое только можно вообразить. Здесь я должен остановиться на некоторых подробностях этого периода жизни, где на рубеже детства и юности я почувствовал пробуждение своих духовных сил.

Перуджа — город университетский и исполненный поэзии, один из прекраснейших и учений городов старой Италии. Там по желанию можно стать ученым или художником. Она богата древностями и памятниками всех эпох, там прекрасные библиотеки, академия художеств, частные собрания и т. п. Город чрезвычайно красив и живописен; он насчитывает более сотни церквей и пятидесяти монастырей, изобилующих картинами, рукописями и т. п. Замечательна Соборная площадь: там, напротив пышного готического собора, фонтана работы Джованни Пизано, подлинного шедевра, и других памятников различных эпох высится большой дворец в венецианском стиле. Это странное и гордое здание тринадцатого или четырнадцатого века, темно-красное отделанное черными коваными украшениями, с окнами, пробитыми в причудливой беспорядочности, которую стали презирать после того, как с началом Возрождения утвердились правильные линии и чистота вкуса.

Я страстно полюбил трагический облик древнего палаццо, к которому Гоффриди относился пренебрежительно, считая, что здание это принадлежит к эпохе варварства; он ценил только античность и те века нового времени, которые вдохновлялись античностью. На меня, признаюсь вам открыто, все эти похожие друг на друга шедевры, старые и новые, наводили страшную скуку, которая брала верх над чувством восхищения. Это нарочитое стремление Италии возвратиться к своим первоисточникам и вычеркнуть те эпохи, где проявилось истинное ее лицо, между абсолютизмом императоров и абсолютизмом пап, настоль-

ко укоренилось в обществе, что тот, кто по горло сыт этим чрезмерным совершенством, непременно прослывет вандалом¹.

Я был чистосердечен и непосредствен. Мне не раз доставалось за мою любовь ко всему, что без особенного разбору называли *gotico*², иначе говоря — ко всему, что не принадлежало к веку Перикла, Августа или Рафаэля. Даже этого последнего мой приемный отец признавал с трудом. Он восхищался лишь развалинами Рима и, приведя меня к ним, был удивлен и раздосадован, услышав, что там я не нашел ничего, что могло бы заставить меня позабыть поистине величественную фантастичность и картинность нашей *piazza del Duomo*³ с огромным черно-красным дворцом, средоточием самого разнообразного великолепия, и извилистыми улочками, внезапно устремляющимися как бы таинственно и почти трагически под темные аркады.

Мне было тогда лет пятнадцать — шестнадцать, и я мог уже разобраться в своих мыслях и склонностях. Я сумел изложить моему отцу свое стремление к полнейшей независимости в области вкусов и чувств. Я ощущал потребность восторгаться, испытывать духовное наслаждение при виде любого взлета человеческого гения и воплощения его пытливой мысли; я не в силах был сковать свои чувства, ограничив их некой системой, некой эпохой, некой школой. Словом, мне хотелось объять весь мир, восславить бога и искру божью, дарованную людям во всех творениях искусства и природы.

«Вот потому-то, — говорил я ему, — я люблю ясное солнце и темную ночь нашего сурового Перуджино, неистового Микеланджело, могучие римские фундаменты и тонкую мавританскую резьбу. Я люблю наше мирное Тразименское озеро и бурные пороги Терни. Я люблю милых вашему сердцу этрусков и всех ваших превосходных греков и римлян, но я люблю также и греко-арабские соборы, и, наравне с величественным тревийским фонтаном, струйку воды, бегущую

¹ И сейчас еще этому подвержены очень многие. Как прошлое столетие, так и начало нынешнего отмечены всеобщим презрением ко всему средневековому. (*Прим. автора*).

² Готическим (*итал.*).

³ Соборной площади (*итал.*).

меж двух скал среди неведомых пустынных полей. Все новое кажется мне достойным любопытства и внимания, и мне близко все, что сумело овладеть моим сердцем и умом хотя бы на мгновение. Я склонен предаваться всему, что прекрасно и возвышенно, или даже только приятно и восхитительно, и поэтому меня страшат требования исключительного преклонения перед некими общепринятыми формами красоты.

Однако, если вы полагаете, — говорил я ему, — что я на дурной стезе и что потребность разностороннего развития в любом случае — опасное отклонение от правила, то постараюсь подавить в себе это и сосредоточиться на занятии, которое вы для меня выберете. Ибо прежде всего я хочу стать тем, чем вы хотите, чтобы я стал; только вы, отец мой, прежде чем подрезать мне крылья, внимательно взгляните, нет ли в этом суетном оперении чего-то, что стоит сохранить.

Гоффреди, человек очень непримиримый во всем, что касалось его занятий, был самым великодушным из людей, каких мне когда-либо приходилось встречать. Он много размышлял над моим развитием, тщательно обсуждая все со своей удивительно чуткой женой. София Гоффреди была тем, что в Италии зовется *letterata*, не писательницей, как это понимается во Франции, но женщиной начитанной, очаровательной, вдохновенной, образованной и простой. Она так нежно меня любила, что, казалось, видела во мне какое-то чудо; эти превосходные люди решили между собою, что следует уважать мои склонности и не гасить пламени, не выяснив сначала, священный ли это огонь или просто мимолетная вспышка.

Они поверили в меня оттого, что я стремился широко развивать свои умственные способности отнюдь не из сердечного непостоянства. Я любил всех своих ближних с кротостью, но вовсе не намеревался расплескивать наружу бурлившую во мне жизнь. Я был привязан исключительно к этим двум существам, усыновившим меня, и их я предпочитал всем прочим. Их общество было моим величайшим, можно сказать — моим единственным удовольствием после всех увлекавших меня разнообразных занятий.

Итак, было решено, что душа моя принадлежит мне, а коль скоро эта душа была, в сущности, неплохая, то мне не стали навязывать строго университет-

ского образования. Мне предоставили самому искать свой путь и дали волю разносторонним способностям, которыми я был наделен. Совершили ли они ошибку? Не думаю. Безусловно, меня могли наделить профессией, которая бы навсегда обеспечила мне скромное местечко в науке или искусстве, и я бы не узнал нищеты; но скольких духовных радостей я бы тогда лишился! Да и к тому же кто поручится, что такие вот положительные взгляды и соображения собственной выгоды, отчетливо доказанные мною самому себе, не засушили бы чистоты моего сердца и совести? Сейчас вы увидите, что Софии Гоффреди не пришлось пожалеть о том, что мне позволили стать самим собою.

Сперва я внушил себе, что родился писателем. София учила меня писать стихи и прозу, и еще ребенком я придумывал романы и сочинял комедии, которыми простодушно восхищались мои близкие. Я мог бы стать очень тщеславным, ибо меня сильно баловали все те, кто у нас бывал, но моя приемная мать часто говорила мне, что самодовольный человек не движется вперед, и это простое предупреждение оградило меня от глупного самолюбования. К тому же я вскоре увидел, что для того, чтобы стать литератором, нужно много всего знать, иначе все обратится в пустые фразы. Я поглотил огромное количество книг, но получилось так, что изучая историю и природоведение, я затерялся в них, и, вместо того чтобы, подобно пчеле, собирать мед и воск, умчался в бесконечные просторы человеческого знания, единственно ради удовольствия познать и уразуметь.

Тогда я ощутил влечение к естественным наукам, и тогда же сложилось мое предпочтение к этому роду деятельности и в уме определилось призвание куда сильнее первого. К этой жажде знаний присоединилась жажда все повидать, и можно сказать, что во мне пробудились как бы два человека: одному хотелось бы открыть тайны мироздания из любви к науке, вернее — к себе подобным, а другому хотелось бы наслаждаться красотами вселенной как поэту, то есть и для себя самого.

С той поры я стал вынашивать мысль о далеких странах. Погрузившись в изучение собраний и музеев Перуджи, я мечтал об антиподах, а при виде малейшего камешка или засохшего цветка я мыслен-

но уносился на вершины высоких гор и за далекие моря. Я жаждал повидать большие города, источники просвещения, ученых моего времени, богатые и обширные коллекции. София Гоффреди научила меня французскому, немецкому и немного испанскому. Я понимал, что мне необходимо изучить северные языки, чтобы нигде в Европе не быть чужеземцем. Я очень быстро и легко выучил английский, голландский и особенно шведский. Произношение у меня было скверное, вернее, у меня не было никакого произношения. Я не старался воспроизводить интонации языка, которого не мог услышать, рассчитывая на свой хороший слух и на легкость, с которой мне дается подражание различным звукам, и надеялся, что, когда это понадобится, практика мне поможет. Действительность не обманула моих надежд. Мне достаточно двух недель, чтобы заговорить без акцента на языке, который я изучил самостоятельно по книгам.

Одновременно с изучением языков, я учился рисованию и немного занимался живописью, чтобы суметь закрепить этюдами свои путевые воспоминания, разные города и страны, редкие растения, одежду, памятники искусства, все то, что мы запечатлеваем лишь умозрительно, когда руки наши неловки и не повинуются внутреннему чувству. Кроме того, я читал избранных писателей, учась у них излагать мысли ясно и сжато; ибо меня часто раздражал темный и вялый стиль путевых заметок. И это, господин Гёфле, мне удалось настолько, что в восемнадцать лет я был вполне готов стать если не ученым, то по меньшей мере человеком, полезным своими знаниями, энергией, умением работать и способностью наблюдать. Это была самая прекрасная пора моей жизни, проведенная наилучшим образом, самая чистая и отрадная. О, если бы так могло продолжаться хотя бы еще несколько лет, право, я стал бы другим человеком!

Синьор Гоффреди был погружен в свои археологические изыскания и непосредственно не занимался моим воспитанием; однако время от времени он заставлял меня повторять все, что я выучил, и внимательно меня слушал. Убедившись, что время мое и труды не пропадают даром, он поверил в мое здравое суждение. Вначале он пытался отговорить меня заниматься слишком многими вещами одновременно, но, увидев, что разного рода познания вполне уместаются

в моем уме, не смешиваясь друг с другом, он стал хотеть для меня того же, что хотелось мне, и вместе со мною предаваться мечтам. Сам он до женитьбы путешествовал и теперь задумал совершить новую археологическую экспедицию в такие места, где раньше не бывал. С особенным рвением он стал лелеять этот план после того, как получил небольшое наследство, дававшее ему возможность расстаться с должностью профессора в университете. В течение десяти лет он работал над книгой, которую нельзя было завершить, не посетив берегов Африки и некоторых островов Греческого архипелага. Надо вам сказать, что работал он медленно и писалось ему нелегко, по всей вероятности оттого, что у него не было умения ясно выражать свои мысли, а возможно, даже и четкости в самих этих мыслях, когда он принимался рассказывать о своих замечательных открытиях. Это был человек светлого ума, которому не хватало таланта.

Он был доволен тем, как я отредактировал несколько страниц его ученого труда, и решил взять меня с собой, чтобы по возвращении я мог уже сам писать вместо него этот труд. Я чуть не сошел с ума от радости, когда он сообщил мне о своем решении, но радость эта сменилась печалью при мысли, что мне придется оставить одну мою приемную мать, которую я боготворил и которая жила только для нас, и я попросил, чтобы отец разрешил мне остаться с нею.

Она была мне очень признательна; вместе с тем она нашла способ удовлетворить всех нас троих, предложив поехать с нами,— мы с восторгом приняли это предложение. К отъезду нашему мы готовились как к празднику. Увы! Все нам улыбалось. София привыкла к путешествиям. В поездках она сопровождала нас повсюду. Бодрая, смелая, восторженная, она никогда не становилась нам помехой. Если нам иногда случалось почувствовать себя усталыми и изможденными, она умела поднять в нас дух и восхищала нас своей веселостью и силой воли. Она была еще молода и сильна, а лицо ее переставало быть некрасивым, когда его озаряла ангельская улыбка, полная нежности и доброты. Муж души в ней не чаял, а что до нее, то она считала своего Сильвио Гоффредди полубогом, невзирая на его худобу, на преждевременно ссутулившуюся спину и на все его диковинные

увлечения. До чего же чиста и благородна была душа, обитавшая в этом хилом теле и проявлявшая себя столь нерешительно и робко! Бескорыстие его было поистине восхитительно. Работа, ради которой он жертвовал своим служебным временем и которая подчинила себе все его привычки, убедительно это доказывала. Он отлично знал, что подобные труды требуют такой затраты средств, которая не окупается, особенно в Италии, и не рассчитывал, что увеличит этим свое состояние. Но это была его слава, цель и мечта всей его жизни.

Моей бедной матери больше всех не терпелось поскорее уехать. Она безраздельно верила в то, что это нам предначертано судьбой. Было решено начать наше нутешество с островов Архипелага.

Позвольте мне рассказать лишь вкратце о последующем: воспоминание это слишком мучительно для меня. Идя пешком по Апеннинам, мой бедный отец споткнулся и повредил себе ногу о камень. Как мы ни молили его, он не обратил должного внимания на свою рану и продолжал идти пешком все последующие дни. Стояла удушающая жара. Когда мы подошли к побережью Адриатического моря, где должны были сесть на корабль, он был вынужден несколько дней пролежать, и мы уговаривали его, чтобы он показался хирургу. Каков же был наш ужас, когда тот обнаружил у него гангрену! Мы находились в захолустье, где не было знающих врачей. Местный лекарь, который больше походил на цирюльника, преспокойно предложил ампутировать ногу. Спасло бы это отца или, напротив, ускорило его смерть? Мы с матерью были в ужасном смятении и не знали, на что решиться. Отец проявил поистине героическое мужество и попросил, чтобы ему отрезали ногу, решив, что будет продолжать путешествие на деревяшке. Но нам было страшно доверить его скальпелю мясника. Мы находились на расстоянии каких-нибудь пятидесяти миль от Венеции, и я решил немедленно поехать туда. Я взял лошадь, но к вечеру она выбилась из сил, и мне пришлось сейчас же покупать себе другую. Приехал я совсем изможденный, но все же живой. Я обратился к одному из лучших хирургов и уговорил его поехать со мной, предложив ему все деньги, какие были у Софии. Мы взяли лодку, чтобы ехать морем. Она шла так быстро, что сердце мое

преисполнялось радостью и надеждой. Увы, господин адвокат, доведись мне жить тысячу лет, воспоминание об этом ужасном дне будет для меня, должно быть, столь же мучительно, как и сегодня! Сильвио Гоффреди я застал мертвым, а жену его, Софию,— сумасшедшей.

— Бедный мальчик!— воскликнул Гёфле, видя, как из глаз Кристиано покатались крупные слезы.

— Нет, нет,— сказал Кристиано, поспешно утирая их,— не надо было давать волю этим чувствам; это доказательство того, что когда их чересчур усердно гонишь, они внезапно мстят за себя, вступая в свои права.

Опытный врач, которого я привез с собой, не мог излечить мою мать и даже дать мне надежду на ее выздоровление. Он мог только внимательно вникнуть в природу ее безумия и научить меня, что надо делать, чтобы предотвратить припадки буйства. Надо было удовлетворять все ее желания, в которых была хоть малейшая видимость здравого смысла; что же касается остальных, то надо было попытаться подчинить ее воле, подобно тому как отец подчиняет себе ребенка.

Я отвез ее в Перуджу вместе с телом моего несчастного отца, которое мы набальзамировали, чтобы можно было доставить его в мавзолей на берегу Тразименского озера, чего очень хотелось его жене. Невозможно описать, сколько я выстрадал в душе, когда мне пришлось везти бездыханное тело отца и безумную мать в места, с которыми мы столь беззаботно расстались каких-нибудь три недели назад. Когда мы покидали их, София смеялась и пела всю дорогу; теперь когда мы вернулись туда, она все еще пела и смеялась, но как мрачны были эти песни, какое душераздирающее отчаяние звучало в голосе! Мне нельзя было спускать с нее глаз, надо было увещевать, убеждать и развлекать как малое дитя эту женщину, такую умную и такую сильную, на которую я совсем еще недавно смотрел как на мою наставницу и мою опору,— мне ведь тогда едва только исполнилось девятнадцать лет, господин Гёфле!

Когда останки Сильвио Гоффреди были преданы земле, вдова его была спокойна, казалось даже, что в этом неожиданно наступившем чрезмерном спокойствии нашла себе завершение ее трагическая судьба.

Как только я понял, что она, если можно так выразиться, совсем отрешилась от самой себя, я потерял последнюю надежду на ее выздоровление. Единственное, о чем она могла думать,— это о надгробном памятнике своему дорогому Сильвио. Теперь уже нельзя было говорить с ней о чем-либо другом. Никакой своей работой я уже не мог заниматься, потому что ночами она не спала и мне с трудом удавалось выкроить для сна несколько часов не то что в день, а в неделю. Нельзя было и думать о том, чтобы даже на несколько мгновений поручить ее чьим-то посторонним заботам. С кем бы она ни оставалась, кроме меня, она неизменно приходила в возбужденное состояние и впадала в страшное буйство; со мною же у нее ни разу не было приступов ярости или отчаяния. Она все время говорила, но не о своем муже,— казалось, что о нем у нее не сохранилось уже ни малейшего воспоминания, больше того — что он стал для нее существом умозрительным, кого она никогда не видела,— а об эпитафии, об эмблемах и статуях, которыми ей хотелось украсить его могилу.

Она заставляла меня чертить тысячи разных проектов надгробия; последний из них обычно нравился ей в течение часа или двух, после чего приходилось все менять снова, как недостойное памяти *мага*, как она называла своего дорогого мужа. Ни одна эмблема не отвечала ее отвлеченным и путаным мыслям; погруженная в свои глубокие размышления, она вырывала у меня из рук карандаш, который сама же дала, и, прося меня кое-что немного изменить, заставляла потом разрабатывать совершенно новый сюжет и все начинать сначала. Разумеется, сюжеты эти были по большей части неосуществимы и не имели никакого смысла. Так как она беспокоилась и приходила в волнение, когда я что-либо в них изменял, я сознательно решил во всем ей повиноваться. Папки мои наполнились странными рисунками, которые могли свести с ума любого, кто захотел бы уяснить себе их содержание.

Проведя за этим занятием несколько часов, она всла меня смотреть мраморные надгробия, которые она заказала всем местным скульпторам. Ими были заставлены весь двор и весь сад, но ничье исполнение ее не удовлетворяло.

Еще одной ее страстью, которую мне непременно

хотелось удовлетворить, был подбор материала для этого воображаемого памятника. Она выписала образчики всех видов мрамора и всех известных металлов; было сделано столько моделей, что дом уже не мог их вместить. Дошло до того, что их водружали на кроватях, и путешественники, решив, что в нашем доме устроен музей, приходили осматривать его и просили нас объяснить содержание странных сцен, которые представляли их глазам. Несчастной Софии доставляло удовольствие принимать их и посвящать в свои замыслы. После этого они уходили, удрученные всем виденным и сожалея, о том, что пришли туда; иные же смеялись и пожимали плечами. Несчастные! Ирония их казалась мне преступной.

Меж тем средства наши иссякали. Гоффреди оставил в безраздельное пользование жене свое небольшое состояние, которое потом предстояло унаследовать мне. Был созван семейный совет, как для того, чтобы соблюсти, по словам родных, мои интересы, так и для того, чтобы исполнить в отношении меня волю моего отца. Приглашенный родными адвокат решил, что следует объявить несчастную Софию невменяемой, не пускать к ней художников, литейщиков, рабочих и поставщиков ценных материалов, ее же самое отправить в сумасшедший дом, ибо начать перечить ее желаниям означало бы неминуемо вызвать обострение ее буйных припадков, опасное для окружающих.

— Адвокат был прав,—сказал Гёфле,—как ни прискорбно было это решение, иначе поступить было нельзя.

— Прошу прощения, господин Гёфле, но я на этот счет держался другого мнения. Коль скоро я был единственным наследником Гоффреди, я имел право предоставить моей опекунше растратить завещанное мне состояние.

— Нет, права этого у вас не было. Вы были несовершеннолетним, а закон защищает тех, кто не может защитить себя сам.

— Мне так и сказали, но я уже мог постоять за свои права настолько, что пригрозил адвокату вышвырнуть его из окна, если он не откажется от своего подлого намерения. Поместить мою мать в сумасшедший дом! Пусть тогда помещают туда и меня, ведь она не может прожить без меня и минуты, а я умру от

беспокойства, зная, что поручил ее заботам чужих людей, которым за это платят! Лишить ее единственного развлечения, которое могло бы оказать на нее успокаивающее, можно сказать — даже чудодейственное влияние! Лишить ее права проявлять и убаюкивать свое горе сооружениями, пусть шаткими и нелепыми, но которые не причиняли никому ни зла, ни вреда! А какое дело этому жирному и румяному адвокату до нашего дома, заставленного надгробиями? Кто его принуждал приходить и сожалеть о попусту растраченных деньгах или насмехаться над несчастной, обезумевшей от горя вдовой? Я настоял на своем, родня покойного осудила меня, адвокат объявил меня сумасшедшим, но мать мою оставили в покое.

—Ого, мой мальчик, вот оказывается, как вы обращаетесь с адвокатами!— улыбаясь, сказал Гёфле.— Ну так дайте же мне пожать вашу руку,— добавил он, глядя на Кристиано глазами, полными слез умиления и сочувствия.

Кристиано пожал обе руки доброму Гёфле и поднес их к губам, как это делают итальянцы.

— Меня радуют ваши добрые чувства ко мне,— сказал он,— но я не допущу никаких похвал моему поведению. Видите ли, все это было настолько естественно, что всякая забота о собственном благополучии в моем положении была бы подлостью. Разве я вам не говорил, как меня любили, ласкали, баловали эти два существа, я ведь действительно чувствовал себя их детищем, и физически и духовно. О, я был счастлив, очень счастлив, господин Гёфле! И какая бы беда со мной ни случилась, у меня никогда не будет права жаловаться на providение. Я ведь не заслужил всего этого счастья до моего рождения. Так разве не подобало мне стараться заслужить его, немного пожив на свете?

— А что же случилось с несчастной Софией?— спросил Гёфле после минутной задумчивости.

— Увы, я собирался рассказать вам мою историю елико возможно веселее, но мне все-таки не удалось обойтись без печальных воспоминаний. Простите меня за это, господин Гёфле; я поверг вас в грусть, и мне лучше было бы просто сказать вам, что несчастной Софии нет в живых.

— Ну разумеется, коль скоро вы здесь. Я отлично

понимаю, что вы никогда бы ее не покинули. Но неужели ей пришлось изведать нищету перед смертью? Я хочу все знать.

— Слава богу, она никогда ни в чем не нуждалась. Я не знаю, что бы случилось, если бы мы прожили все наше состояние и мне пришлось бы зарабатывать на хлеб. Однако не это меня тревожило: я видел, как, несмотря на все свое кажущееся спокойствие, она быстро угасала.

Прошло около двух лет, и вот однажды вечером, когда мы сидели в тишине на берегу озера, она сказала вдруг каким-то необычным голосом:

«Кристиано, у меня, верно, лихорадка; пощупай мой пульс и скажи, что со мною».

Это в первый раз после пережитого ею горя она обращала внимание на свое здоровье. Я почувствовал, что ее сильно лихорадит. Я привел ее домой и позвал врача.

«Она в самом деле очень больна,— сказал он,— но кто знает, может быть, это кризис, после которого ей станет лучше?»

После постигшего ее несчастья у нее ни разу не было лихорадки.

Я потерял надежду. Моя мать впала в глубокое забытие. Ни одно лекарство не принесло ей ни малейшего улучшения; она таяла на глазах. За несколько минут до смерти к ней как будто вернулись силы; казалось, что она пробуждается от долгого сна. Она попросила меня приподнять ее и сказала мне на ухо слабым голосом:

«Благословляю тебя, Кристиано, ты мой спаситель; должно быть, я была безумной, я мучила тебя; Сильвио меня только что за это корил. Я сейчас его видела, он велел мне встать и идти за ним. Помогите мне выйти из этой могилы, куда меня непреодолимо влекло спрятаться... Скорей! Поднимают паруса... В путь!...»

Она собрала последние силы, чтобы подняться, и упала мертвой мне на руки.

После этого я несколько дней не мог прийти в себя; казалось, что в этой жизни мне уже больше нечего делать, ибо мне не было больше о ком заботиться, кроме как о самом себе.

Я похоронил мою мать в той же могиле, что и отца. Я поставил на эту могилу самое простое и са-

мое белое из всех надгробий, хранившихся в нашем доме; я сам выгравировал на нем дорогие мне имена, не сопроводив их никакой эпитафией. Вы ведь понимаете, что я испытывал отвращение ко всем формулам и эмблемам. Когда я вернулся с похорон, мне сказали, что дом отныне принадлежит уже не мне, а моим заимодавцам. Я это знал, я уже так давно был готов покинуть милый моему сердцу кров, что, ни о чем не думая, связал в узелок свои вещи в то время, как тело моей матери заворачивали в саван. Я предоставил родным ликвидировать все дела. При всей моей расточительности я был достаточно трезв, чтобы знать, что хоть на мою долю и ничего не осталось, я по крайней мере не оставляю после себя никаких долгов.

Я собирался покинуть дом, когда вдруг явился тот самый маленький еврей, о котором я вам говорил. Я подумал, что он хочет купить за бесценок какие-нибудь старинные вещи из коллекции Гоффреди, которая должна была продаваться с торгов, но даже если нечто подобное и было у него в мыслях, он оказался достаточно деликатен, чтобы не говорить со мной об этом, и, видя, что я уклоняюсь от разговора, последовал за мною в сад, куда я пошел нарвать цветов — единственное, что мне хотелось унести с собою из дома. Там он сунул мне в руку туго набитый кошелек и хотел уйти, ничего не сказав.

Я был тогда так полон мыслями о моих умерших родителях, что мне и в голову не приходило, что у меня может быть еще какая-то родня, и я решил, что это просто милостыня, переданная через посредство этого еврея, и отшвырнул кошелек, чтобы заставить его вернуться. Он действительно тут же вернулся и, подняв его, сказал:

«Это вам, да, вам. Эти деньги я был должен Гоффреди, и я вам их возвращаю».

Я отказался их взять. Эта небольшая сумма могла пригодиться наследникам для уплаты долгов. Маленький еврей настаивал.

«Это от ваших настоящих родителей, — сказал он, — мне было поручено передать вам эту сумму, когда вам понадобятся деньги».

«Мне не надо никаких денег, — ответил я, — мне есть на что поехать в Рим, а там друзья Гоффреди найдут для меня работу. Успокойте моих родителей».

Вряд ли это люди богатые, если они не имели возможности воспитать меня сами. Поблагодарите их за память и скажите, что мне уже столько лет и я получил такое воспитание, что скоро сам смогу помогать им, если в этом явится необходимость. Захотят ли они встретиться со мной, или нет, я все равно с радостью исполню свой долг. Они отдали меня в такие хорошие руки и выбор их принес мне такое счастье, что я им премного благодарен».

Таковы были мои чувства, господин Гёфле, я несколько не рисовался, ибо они таковы и сейчас. Я никогда не испытывал потребности обвинять и расспрашивать людей, давших мне жизнь, и я не понимаю незаконнорожденных, которые жалуются, что появились на свет лишенными привилегий,— как будто все живое не предназначается для жизни, как будто не существует бога, который призывает нас или посылает нас в этот мир, чтобы жить в тех условиях, которые угодны его воле.

«Родителей ваших уже нет в живых,— ответил маленький еврей.— Помолитесь за них и примите дар от друга».

Так как это было уже третье объяснение, отличавшееся от первого и второго, в душу мою закралось недоверие.

«Не вы ли и есть тот, кто выдает себя за моего друга и решил прийти мне на помощь?»

«Нет,— ответил он,— я всего-навсего в точности исполняю данное мне поручение».

«Ну так вот, скажите тем, кто вас послал, что я благодарю их, но ничего не приму ни от друзей явных, ни от тех, которые не хотят, чтобы я их знал. Имеете ли вы что-нибудь сообщить мне с соизволения моей семьи?»

«Нет, ничего,— ответил он,— может быть, несколько позднее. Где вы собираетесь жить в Риме?»

«Решительно не знаю».

«Ну так мне надо это узнать,— ответил он,— так как я не должен терять вас из виду. Прощайте же и помните, что если с вами приключится какое-нибудь несчастье, деньги эти ваши, и достаточно сообщить мне, чтобы я вам помог».

Мне показалось, что на этот раз он искренен, но могло статься, что это был какой-нибудь расчетливый делец, решивший облагодетельствовать людей бед-

ных, с тем чтобы впоследствии на них пожить. Я сухо поблагодарил его и уехал почти с пустыми руками.

Я несколько не задумывался о том, кем я стану. Мечтать о путешествии больше уже не приходилось, и надо было поступать куда-нибудь на службу, чтобы прокормиться. Память у меня была превосходная, и несмотря на то, что я уже в течение долгого времени не имел возможности продолжать образование, я ничего не забыл. Познания мои отличались достаточным разнообразием, основы же были заложены во мне достаточно твердо для того, чтобы я мог с успехом взять на себя воспитание мальчика. Мне этого больше всего хотелось—я надеялся, что смогу пополнять свое образование, урывая время от сна.

В провинции, где мы жили, к отцу моему относились с большим уважением, однако—странное дело!—поведение мое в отношении синьоры Гоффриди было сочтено романическим и недостойным человека серьезного. Я, видите ли, ничего не сделал, чтобы не разориться,—тем хуже для меня! И я еще имел глупость добиваться должности, я, которого знали как безрассудного мота, как безумца! Поэтому думать о том, чтобы получить место в Перудже, мне не приходилось. В Риме один из друзей моего отца рекомендовал меня в качестве воспитателя неаполитанскому принцу, у которого было два сына, ленивых и глупых, и горбатая дочь, кокетливая и влюбчивая. Спустя два месяца я покинул свою должность, дабы избавиться от взглядов этой геронни романа, героем которого я вовсе не хотел стать.

В Неаполе я нашел еще одного друга моего отца, ученого аббата, который определил меня в другую семью, менее богатую, но значительно более неприятную и где ученики оказались еще большими туницами, чем в первой. Мать их, женщина уже немолодая и некрасивая, сразу же невзлюбила меня, потому что я не поддался ее чарам. Я не кичился своей строгою добродетелью и ни в какой степени не рассчитывал, что первой моей любовью непременно будет богиня,—я умел довольствоваться гораздо меньшим, но даже если бы хозяйка дома была недурна собою, я все равно не хотел становиться любовником женщины, которая распоряжалась мною и платила мне деньги. Я снова отправился к ученому аббату и рассказал ему о своих огорчениях.

«Ну так вы сами в этом виноваты,— рассмеявшись, ответил он,— вы красивый малый, поэтому вы и привередничааете».

Я умолил его рекомендовать меня какому-нибудь вдовцу или сиротам. Спустя некоторое время он сказал мне, что все уладил. У юного герцога де Виллареджа умерли родители; у него не было ни сестер, ни теток. Воспитывался он у дяди-кардинала, и нужен ему был не гувернер — у него он был,— а учитель языков и литературы; я был принят. Работать там мне было не только приятно, но и выгодно. Кардинал был человеком начитанным и умным; племянник его, которому было тринадцать лет, оказался мальчиком способным и обходительным. Я очень к нему привязался, и, занимаясь со мной, он сделал большие успехи, причем одновременно с ним многому научился и я. У меня была отдельная комната, вечерами я бывал совершенно свободен и мог посвятить это время занятиям. Кардинал был настолько доволен мною, что старался, чтобы я не брал никаких других учеников, и довольно щедро меня вознаграждал.

На протяжении почти целого года я усердно трудился, и ничто меня не отвлекало. Я был так поглощен своим горем, так отчетливо ощущал свою отчужденность от общества, что относился к жизни, может быть, серьезнее, чем она того заслуживала. Я мог превратиться в педанта, если бы кардинал не принялся хитро и осторожно приобщать меня к легкомыслию и испорченности нашего времени. Он сделал из меня светского человека, и я не очень-то знаю, должен ли я быть ему за это благодарен. Я приучился тратить много времени на туалет, ухаживание за женщинами и любовные утехы. Во дворце кардинала собирались местные острословы и самые блестящие люди города. От меня не требовали, чтобы я обучал моего ученика нравственным правилам, но хотели, чтобы я научил его приятной легкости светского обращения. Мне же самому полагалось только быть со всеми любезным. Это было нетрудно, ибо меня окружали люди легкомысленные и доброжелательные; я сделался *прелестным*, быть может, более *прелестным*, чем приличествовало быть сироте, не имеющему ни покровителей, ни состояния, ни будущего.

Мало-помалу я стал вести распушенную жизнь и одно время оказался даже на плохой дороге, причем

окружающие потакали моим дурным наклонностям и, казалось, еще больше сталкивали меня вниз. От окончательного падения меня удерживало только воспоминание о моих родителях и опасение оказаться недостойным доброго имени, которое они мне оставили, ибо надо сказать, что в завещании своем отец предписывал мне называться Кристиано Гоффриди, и под этим именем меня знали в Неаполе. Это высококочтимое имя служило мне отличной рекомендацией людям серьезным и рассудительным, но я очень скоро позабыл, что простое происхождение, о котором оно свидетельствовало, должно было призвать меня к большому благоразумию и сдержанности в моих взаимоотношениях с титулованной молодежью, с которой я сталкивался во дворце кардинала. Предупредительность моя привела к большой близости с нею. Молодые люди эти были довольны тем, что во мне не было ни неуклюжести, ни суровости профессионального педагога. Меня приглашали, меня увозили с собой. Я принимал участие во всех развлечениях самой блестящей молодежи.

Кардинал поздравлял меня с тем, что мне удавалось сочетать ужины, балы и ночные бдения с точностью и ясностью, которыми неизменно были отмечены мои занятия с его племянником. Однако я отлично видел и чувствовал, что недостаточно развиваю свой ум, что останавливаюсь на полпути, что незаметно превращаюсь в болтуна и пустоцвета, становлюсь светским комедиантом и салонным поэтом, но я не сделал никаких сбережений для предстоящей мне свободной жизни и поддержания собственного достоинства, что у меня слишком много прекрасного белья, но слишком мало полезных знаний, наконец, что я попал словно в тиски между двумя параллельными линиями — беспутством и ничтожеством и рискую никогда не выбраться из этого плена.

Мысли эти, которые чаще всего я старался от себя отгонять, иногда все же возвращались ко мне, и я бывал ими очень озабочен. Самые упойтельные наслаждения несколько меня не забавляли. В родительском доме, в обществе отца и матери, я испытывал более высокие радости и более живые развлечения. Я предавался воспоминаниям о тех чудесных прогулках, которые мы совершали вместе с какой-нибудь серьезной целью, испытывая от них всегда истинное

удовлетворение, а в лихорадочном возбуждении моей новой жизни я только томился и вновь возвращался к раздумьям о собственной участи, об окружавшей меня гнетущей праздности. Я начинал мечтать о том, как полнокровно можно жить, совершая дальние путешествия, и, видя, что кошелек мой неизменно пуст, спрашивал себя, не лучше ли было бы истратить на удовлетворение здоровых физических потребностей и духовных интересов те средства, которые шли на развлечения, оставлявшие лишь тяжесть в теле и пустоту в душе. Внезапно я начал чувствовать себя совершенно чуждым суетному свету, рабопенному обществу, расслабляющему климату, ленивому населению — словом, всему, что меня окружало и с чем я не был связан прочными семейными узами. Я чувствовал, что становлюсь одновременно и более деятельным и более углубленным в себя. Несмотря на мои двадцать три года и бедность, я думал также о том, чтобы жениться, завести семью, чтобы было для кого беречь деньги и о ком заботиться. Но кардинал, которому я поверял одолевавшие меня по временам душевные тревоги, только отшучивался и называл меня безумцем.

«Ты слишком много выпил или слишком много работал вчера вечером,— говорил он,— в голове у тебя туман. Ступай-ка развеяй его, взгляни на Чинтию или на Фьямметту, не вздумай только жениться ни на той, ни на другой».

Я любил кардинала; это был человек добрый и веселый. Но хоть он и обращался со мной по-отечески и без всякой спеси, я слишком хорошо понимал, что в нем было больше любезности, нежели любви, что он умеет окружать себя приятными людьми и что я меж них кое-что значу, но что он не из тех, кто захочет в течение долгого времени переносить мое присутствие, если я впаду в меланхолию или стану скучным.

Я старался заглушить свою тоску и забыться, упиваясь собственным благополучием, жить сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем, подобно всем, кто меня окружал. Мне это не удалось. Скука еще более возросла, отвращение стало неприкрытым. Я пресытился доступной любовью, чувственными увлечениями, которые охотно разделяли со мной женщины всех сословий. Для меня, бедного простолюдина, эти на-

слаждения были поначалу притягательны, как всякий успех у женщин. Убедившись, что мой цирюльник, который был очень красивым малым, пользуется не меньшим успехом, я возненавидел всех маркиз. Я решил уехать из Неаполя. Я попросил кардинала отправить меня на одну из его вилл в Калабрии или Сицилии: я готов был стать управителем или библиотечарем все равно где: я жаждал отдыха и одиночества. Кардинал еще больше поднял на смех мое стремление уединиться. Он в это не верил. Он считал, что я так же не создан быть управителем, как и монахом. Он был, разумеется, прав, но, как вы увидите из дальнейшего, отнюдь не должен был удерживать меня при себе.

В ту пору вернулся из странствий и поселился в доме кардинала другой его племянник. Насколько юный Тито Виллареджа был человеком приятным и доброжелательным, настолько его двоюродный брат Марко Мельфи был глуп, вздорен, нагл и тщеславен. Все сразу невзлюбили его, и не успел он приехать, как вспыхнуло несколько дуэлей. Он был отчаянным бретером и ранил или убивал своих противников, сам не получая ни малейшей царапины, отчего заносчивость его не знала предела. Я старался быть с ним елико возможно сдержанным, но как-то раз, выведенный из себя его вызывающей грубостью, я уличил его во лжи и предложил дать ему удовлетворение. Он отказался, потому что я не был дворянином, и, кинувшись на меня, хотел дать мне пощечину. Я свалил его с ног, не причинив ему никаких повреждений, но сумел подавить его ярость. Происшествие это наделало много шума. Кардинал втайне оправдывал меня и упросил как можно скорее укрыться в одном из его поместий до тех пор, пока Марко Мельфи снова не отправится путешествовать.

Мысль о том, что я должен прятаться, возмутила меня.

«Несчастный,— сказал кардинал,— разве ты не знаешь, что мой племянник вынужден теперь тебя убить?»

Слово «вынужден» показалось мне забавным. Я ответил кардиналу, что заставлю Марко драться со мной.

«Ты не смеешь убивать моего племянника!— сказал он, весело похлопывая меня по голове.— Даже если бы ты оказался для этого достаточно ловок, тебе ведь не захочется так отплатить мне за отеческую доброту, которую я тебе показываю».

Этот довод заставил меня замолчать. Я вернулся к себе и стал готовиться к отъезду. Быть может, мне следовало бы сделать все более скрытно, но мысль о том, что это будет похоже на тайный побег, казалась отвратительной. Как только я вышел из своей комнаты за ящиком, стоявшим в вестибюле, на меня неожиданно напали двое бандитов и стали связывать. Отбиваясь, я тянул их за собою вниз по лестнице, но не успел я отделаться от них, как входная дверь вдруг захлопывается и до меня с площадки доносится чей-то резкий голос:

«Смелее, вяжите его! Я хочу, чтобы он издох здесь под палками!»

Это был голос Марко Мельфи.

Негодование придало мне нечеловеческую силу. Я так отчаянно дрался с обоими бандитами, что вскоре они лежали на полу. Тогда, уже не думая о них, я бросился на Марко, который, видя, что затея его потерпела неудачу, хотел было удариться в бегство. Я прижал его к двери и вырвал у него шпагу, которую он собирался вытащить из ножен.

«Несчастный,— сказал я,— убивать тебя я не хочу, но ты будешь драться со мной, и немедленно!»

Марко был слабосильным и тщедушным. Наступая, я заставил его подняться по лестнице, втолкнул к себе в комнату, запер дверь и повернул ключ на два оборота, там я взял шпагу и, возвращая ему отнятую, сказал:

— Ну, а теперь защищайся; как видишь, иногда приходится драться и с человеком низкого звания!

— Гоффреди,— ответил он, опуская клинок,—я не хочу и не буду с тобой драться. Я слишком уверен, что убью тебя, а это было бы жаль, ты ведь славный малый. Ты мог меня убить, но не сделал этого. Будем же друзьями!

Доверчиво, забыв о злобе, я готовился пожать протянутую мне руку, как вдруг он очень стремительно и ловко нанес мне левой рукой удар стилетом в шею. Я едва успел уклониться — стилет соскользнул и поранил мне плечо. Тут уж я не удержался; в ярости я набросился на этого негодяя и заставил его защищаться. Оружие у нас было равноценное; на его стороне было такое преимущество, как умение драться и большой опыт в поединках, которого у меня, разуме-

ется, не могло быть. Но так или иначе, я все же уложил его. Он упал мертвым со шпагой в руке, не произнеся ни слова, с дьявольской усмешкой на губах. Раздался отчаянный стук в дверь, ее стали высаживать. На какое-то мгновение можно было подумать, что он будет отомщен. Измученный усталостью и волнением, я решил было, что погиб, что либо это убийцы очнулись от обморока, либо сбиры, узнав от них о случившемся, явились за мной. Собрав последние силы, я решил выпрыгнуть из окна. До земли было каких-нибудь двадцать футов; я довольно благополучно очутился на мощеном дворе и, плотно укутавшись в плащ, чтобы струившаяся из плеча кровь не капала на мостовую, бросился наутек.

По счастью, мне удалось выбраться из города. Я попал в очень скверную историю — ведь все произошло без свидетелей. И что из того, что право было на моей стороне, что вел я себя достойно и великодушно, а противник мой был подлым негодяем? Он принадлежал к одной из лучших семей в королевстве, и святой инквизиции ничего не стоило расправиться с таким ничтожеством, как я.

На ночь я укрылся в рыбацкой хижине, но у меня не было с собой ни гроша, чтобы заплатить за грозящее опасностью гостеприимство, о котором я попросил. Вместе с тем моя разорванная и выпачканная в крови одежда не позволяла мне нигде показаться. Рана моя — я так и не знал, тяжелая она или легкая, — причиняла мне сильную боль. Я ощущал большой упадок сил и знал, что вся полиция королевства была поднята на ноги, чтобы арестовать меня. Лежа в чуланчике, на драной циновке, я горько оплакивал — не участь мою, этой слабости я никогда бы себе не позволил, — а внезапный и непоправимый разрыв с добрым кардиналом и моим славным учеником. Я почувствовал, как я их люблю, и проклинал судьбу, которая заставила меня обогреть кровью дом, где меня приняли с таким доверием и лаской.

Но надо было не плакать, а спастись бегством. Мне очень хотелось найти маленького еврея, утверждавшего, что он знает моих родителей или тайных друзей, которые то ли сами наблюдали за моей жизнью, то ли поручили это ему. Я забыл сказать, что человек этот переехал в Неаполь, и я встречал его там несколько раз; однако возвращаться в

город казалось мне слишком опасным, писать же еврею означало riskовать, что меня обнаружат. От этой мысли я отказался.

Не стану рассказывать во всех подробностях о приключениях, которые сопутствовали моему бегству из окрестностей Неаполя. Мне удалось обменять разорванную в клочья одежду на менее подозрительные лохмотья. Я с трудом добывал себе пропитание, местные крестьяне знали, что власти разыскивают подлого убийцу знатного вельможи, и относились с недоверием к каждому нищему незнакомцу. Не будь женщин, которые всюду оказываются храбрее и человечнее нас, мужчин, я давно бы умер от голода и лихорадки. Рана моя вынуждала меня забираться в самые глухие уголки, и вот, лишенный ухода за собой, я не раз думал, что останусь там навсегда, ибо у меня не было сил подняться и идти дальше. И вы не поверите, господин Гёфле, в этом отчаянном положении я испытывал по временам приливы радости, словно, вопреки всему, я наслаждался зарею возвращенной мне свободы! Свежий воздух, ходьба, отсутствие любого принуждения, просторы полей с беспредельными горизонтами, которых я теперь надеялся достигнуть, все, даже мое грубое ложе на камне, напоминало мне планы и надежды тех времен, когда я жил настоящей жизнью.

Наконец, без всяких происшествий я достиг границы Папской области, и, коль скоро я не шел по Римской дороге, у меня были все основания надеяться, что, свернув в горах немного в сторону, я не буду замечен и выслежен ни одним шпионом. Я остановился в деревне, чтобы продать мой товар: надо вам сказать, что просить подаяние мне было отвратительно, отказ же приводил меня в такое бешенство, что мне хотелось отколотить людей, которые были со мной грубы, и я вздумал начать торговать...

— Торговать? Чем же?— спросил Гёфле.— У вас ведь не было ни гроша.

— Разумеется, но когда я бежал, при мне был перочинный ножик: он-то и обеспечил мне заработок. Хотя я никогда раньше и не занимался ваянием, я достаточно хорошо знал рисунок и однажды, найдя на дороге камень, очень белый и очень мягкий, решил подобрать кусков десять этого камня, которые тут же обтесал и потом в минуты отдыха высекал из них

фигурки мадонн и ангелочков величиною с палец. Этот камень, или, вернее, мел, был очень легок, и я мог носить с собой полсотни таких фигурок и продавать их на фермах или в крестьянских домах по пять-шесть байокко за штуку. Больше они и не стояли, а на эти деньги я мог купить себе хлеба.

Так я промышлял два дня, а на третий в селе был базарный день, и я решил, что смогу спокойно сбыть весь свой товар. Когда же я увидел, что покупателей у меня мало из-за конкуренции одного пьемонтца, у которого было много гипсовых статуэток, я решил усесться на землю и, на глазах обступившего меня народа, стал высекать перочинным ножом свои фигурки. Успех был огромный. Быстрота, с которой я это делал, а возможно, и наивное простодушие фигурок совершенно очаровали зрителей, и эти славные люди, главным образом женщины и дети, стали бурно выражать свое изумление и удовольствие, пьемонтец же, видя успех своего соперника, пришел в ярость. Несколько раз он грубо задира́л меня, но я, однако, не терял терпения. Я видел, что он ищет предлога поссориться со мной и заставить меня уйти, и удовлетворялся тем, что смеялся над ним, предлагая, чтобы он делал статуэтки сам и показал всем присутствующим свои способности; публика меня горячо поддерживала. В Италии даже самый простой народ любит все, что дышит искусством. Мой конкурент был посрамлен и прозван тупицей, меня же все шумно провозгласили настоящим художником.

Чтобы отомстить мне, этот негодяй пустился на подлость. Он нарочно уронил на землю несколько своих топорных изделий и поднял страшный крик, призывая полицейских, которые ходили среди толпы. Едва только они обратили на него внимание, как он объявил, что я возбудил против него народ, что его нарочно толкнули и нанесли большой ущерб его хрупкому товару; что он человек честный, исправно платит за свое место и всем знаком, я же проходимец, бродяга, а может быть, кто знает, еще и похуже того — *подлый убийца кардинала*. Именно так рассказывали здесь о том, что произошло в Неаполе, и пьемонтец решил вызвать враждебные чувства ко мне у публики и полицейских. Народ стал на мою сторону; многочисленные свидетели заверяли, что ни я, ни они ни в чем не повинны. Никто не толкал и даже вообще не

касаясь товара пьемонтца. Окружившая меня кучка людей спокойно встретила полицейских и расступилась, чтобы дать мне убежать.

Но если среди народа нашлись храбрые люди, то нашлись также подлецы и трусы, которые, не говоря ни слова, указали на меня пальцем, как раз когда я бежал по узенькой извилистой улочке. За мной погнались, я успел вырваться вперед, но я не знал этих мест и, не сумев выбраться из села, очутился на другой небольшой площади, где в это время внимание многочисленной публики было приковано к балагану с театром марионеток. Я едва успел проскользнуть в толпу, как увидел полицейских, которые обходили зрителей, пристально в них вглядываясь. Я постарался наклониться возможно ниже и притворился, что с большим интересом слежу за похождениями Пульчинеллы, чтобы не обратить на себя внимание теснившихся со всех сторон людей, как вдруг мой крайне возбужденный мозг осенила блестящая мысль. Движимый сознанием опасности, которая мне грозит, я проталкиваюсь все дальше вперед в плотной и праздной толпе, в которую силится пробраться полиция. Так я добираюсь до занавеса балагана, все больше наклоняюсь и вдруг ныряю под этот занавес, как лиса в нору, и оказываюсь зажатым между ног *operante*, или *recitante*, иначе говоря — актера, приводящего в движение марионеток или говорящего за них. Вы знаете, господин Гёфле, что такое театр марионеток?

— А как же! На днях я видел в Стокгольме театр Христиана Вальдо.

— Вы его видели... снаружи?

— Да, только снаружи, но я представляю себе и внутреннее его устройство, хоть оно и показалось мне довольно сложным..

— Это театр двух *operanti* или четырех рук, иначе говоря — с четырьмя персонажами на сцене, что позволяет выводить довольно много *burattini*.

— А что такое *burattini*?

— Это марионетки, классические, примитивные и самые лучшие. Это не *fantoccio* — кукла, появляющаяся во всех пьесах и подвешенная за ниточки к потолку, которая ходит по земле, не касаясь ее ногами, и поднимает невообразимый и ненужный шум. Это более искусная и совершенная разновидность марионетки с гибкими руками и ногами, со множе-

ством механических приспособлений для того, чтобы делать более или менее естественные жесты или принимать довольно изящные позы. Я не сомневаюсь, что есть еще и приспособления, с помощью которых можно добиться полного сходства с жизнью, но, углубляясь в этот вопрос, я подумал: для чего же все это делать и какое преимущество может извлечь искусство из театра автоматов? Чем они станут крупнее и чем больше будут походить на людей, тем грустнее и даже ужаснее будет выглядеть спектакль, исполненный этими псевдоактерами. А каково ваше мнение?

— Разумеется. Но все это отступление, интересующее меня меньше, чем продолжение вашей истории.

— Простите, простите, господин Гёфле, простите, отступление это совершенно необходимо. Я дошел до весьма странного периода моей жизни, и мне необходимо доказать вам преимущество **burattino**; это примитивное воплощение комического актера не является — и я вам это докажу — ни машиной, ни шутовской побрякушкой, ни куклой; это живое существо.

— Вот как, живое существо? — сказал Гёфле, изумленно глядя на своего собеседника и думая, уж не свихнулся ли он.

— Да, живое существо! Я это утверждаю, — с жаром воскликнул Кристиано, — и тем более живое, что у него нет тела... У **burattino** нет ни пружин, ни ниточек, ни блоков; это всего-навсего голова, и только; голова выразительная, умная, в которой... смотрите!

Кристиано зашел под лестницу и вытащил оттуда маленькую деревянную, одетую в тряпье фигурку; он бросил ее на пол, поднял, подбросил и поймал на лету.

— Вот поглядите, — продолжал он, — видите — тряпка, щепка, как щепка, как будто едва оструганная. Но вот в этот кожаный мешочек забирается моя рука, мой указательный палец углубляется в выемку внутри головы, а средний и большой пальцы уходят в рукава и приводят в движение эти маленькие деревянные руки, которые вам кажутся короткими, бесформенными, а ладони ни открытыми, ни сжатыми в кулак; все это сделано намеренно, чтобы скрыть от всех их неподвижность. Ну, а теперь отойдем на расстояние, которого требует наш маленький человечек. Оставайтесь в вашем кресле и смотрите.

С этими словами Кристиано в два прыжка очутился на верху деревянной лестницы, наклонился, как

бы прячась за рампой, поднял над этой рампой руку и принялся управлять движениями марионетки с необыкновенной ловкостью и изяществом.

— Видите, видите, — вскричал он все так же весело, но с твердой убежденностью в голосе, — вот вам иллюзия, и она достигается даже без сцены и декораций. Эта фигура, грубо отесанная и разрисованная довольно тусклыми красками, приходит в движение и мало-помалу оживает. Если бы я показал вам чудесную немецкую марионетку, лакированную, ярко раскрашенную, всю в блестках и приводимую в движение пружинами, вы все равно не смогли бы позабыть, что это кукла, нечто механическое, тогда как мой *burattino* — гибкий, послушный каждому движению моих пальцев, идет вперед и назад, кланяется, поворачивает голову, скрещивает руки, воздевает их к небу, размахивает ими во все стороны, здоровается, дает пощечину, стучит ими в стену в радости или в отчаянии... И вам кажется, что вы читаете все его чувства у него на лице, не так ли? Откуда же рождается это чудо, каким образом эта едва обозначенная голова, такая уродливая, если смотреть вблизи, неожиданно от игры света и тени приобретает такую подлинную выразительность, что вы совершенно забываете о ее настоящей величине? Да, могу вас уверить, когда вы видите *burattino* в руках настоящего артиста на удачно декорированной сцене, где и пространство и обрамление находятся в соответствии с персонажами, вы совершенно забываете, что сами вы иных масштабов, чем эта маленькая сцена и эти маленькие существа, вы даже забываете, что голос, которым они говорят, не их собственный. Это, казалось бы, невозможное сочетание головы величиною с кулак и такого сильного голоса, как мой, совершается благодаря какому-то таинственному упоению, в которое я могу постепенно вовлечь и вас, а все чудо происходит от... Знаете от чего? Оттого, что этот *burattino* отнюдь не автомат, оттого, что он послушен моему капризу, моему вдохновению, моему увлечению, оттого, что каждое его движение подчинено мыслям, которые приходят мне в голову, и словам, которые я вкладываю в его уста, короче — оттого, что это я, иначе говоря — живое существо, а никак не кукла.

Высказав все это с большой горячностью, Кристиано спустился с лестницы и положил марионетку

на стол. Сославшись на то, что ему очень жарко, и извинившись перед господином Гёфле, он снял кафтан и, усевшись верхом на стуле, стал продолжать свою историю.

Во время этого странного отступления Гёфле выглядел тоже довольно комично.

— Послушайте, — сказал он, беря в руки *burattino*, — все, что вы говорите, верно и хорошо обосновано. И сейчас мне становится понятным то необычайное наслаждение, которое я испытал на представлениях Христиана Вальдо. Вы вот мне ничего об этом не говорите, а я-то ведь ясно вижу, что это маленькое существо, которое сейчас у меня в руках... и которое мне бы очень хотелось заставить двигаться и говорить... Послушай, друг мой, — добавил он, засовывая пальцы в голову и в рукава, — взгляни-ка на меня... Да, да, ты очень мил, и мне очень радостно видеть тебя так близко. Ну так вот, теперь я тебя узнаю, ты Стентарелло, веселый, насмешливый, изящный Стентарелло, который столько смешил меня в Стокгольме две недели тому назад. А вы, дорогой мой, — добавил Гёфле, поворачиваясь к своему гостю, — хотя я и никогда не видел вашего лица, я вас тоже отличнейшим образом узнал по голосу, остроумию, веселости и даже по чуткости, — вы не кто иной, как Христиан Вальдо, знаменитый *operante recitante* неаполитанских *burattini*.

— Имею честь быть вашим покорным слугой, — ответил Христиан Вальдо, изящно раскланиваясь, — и если вы хотите знать, каким образом Кристиано дель Лаго, Кристиано Гоффреди и Христиан Вальдо — одно и то же лицо, позвольте мне продолжить рассказ о моих приключениях.

— Слушаю вас, все это очень интересно, но мне не терпится узнать, откуда взялось это новое имя — Христиан Вальдо.

— Да, это в самом деле совершенно новое имя, оно появилось с осени прошлого года, и, право, мне не легко будет вам объяснить, почему я его избрал. Если не ошибаюсь, я услышал его во сне, это было напоминание о каком-то названии местности, поразившем меня еще в детстве.

— Это удивительно! Но все равно. Вы оставили меня в балагане *burattini* на площади...

— На площади Челано, — подсказал Христиан, — И

это тоже было на берегу чудесного озера. Уверяю, вас, господин Гёфле, судьба моя связана с озерами, и тут есть какая-то тайна, которую рано или поздно я, может быть, разгадаю. Вы помните, что за мною гналась полиция и что, не проберись я в балаган марионеток, меня бы, вероятно, арестовали и повесили. Балаган этот был очень мал, и в нем мог поместиться только один человек. Когда я спросил вас, жителя страны, где совсем не знают этих итальянских спектаклей и куда они были занесены, может, быть, только мною, знаете ли вы, как устроены балаганы **burattini**, то я просто хотел, чтобы вы представили себе мое положение между ног **operante**, который в это время был занят дракой Пульчинеллы со сбирями, высоко подняв не только руки, но и глаза, и, напряженно переживая все перипетии этой шуточной драмы, не мог ни на мгновение от нее оторваться и разобраться в том, что происходит в это время возле его колен. Поэтому мне и выдалась минутная передышка между развязкой пьесы и поворотом моей судьбы. Я почувствовал, что мне не следует ждать, что меня спасет случай; я схватил двух лежавших на полу **burattini**, которые, по странному совпадению с моим собственным положением, изображали палача и судью, и, плотно прижавшись к **operante**, поднялся рядом с ним так высоко, как только мог; я поставил марионеток на дощечку и, рискуя разодрать матерчатые стены балагана, неожиданно для всех вставил в пьесу новую сцену. Успех был невообразимый, и мой партнер, нимало не смутившись, подхватил реплики на лету и, как нам ни было с ним тесно вдвоем, принял участие в диалоге с необычайным весельем и не менее удивительным присутствием духа.

— Чудесная и безумная Италия!— воскликнул Гёфле.— Только в этой стране дарования человека столь тонки и неожиданны!

— Дарования моего компаньона,— ответил Христиан,— были более поразительны, чем вы можете себе представить. Он узнал меня, сообразил, в какое положение я попал, и решил меня спасти.

— И он вас действительно спас?

— Не говоря ни слова, в то время как я произносил вместо него обращенный к публике заключительный диалог, он напялил мне на голову колпак, на-

кинул на плечи красную тряпку, вымазал мне лицо охрой и, как только занавес опустился, шепнул мне на ухо:

«Готфриди, взвали театр себе на спину и следуй за мной».

И вот мы с ним перешли через площадь, покинули деревню, и никто нас не остановил. Мы шли всю ночь и, прежде чем рассвело, очутились уже на Римской дороге.

— Кто же был этот преданный друг?— спросил Гёфле.

— Это был выходец из знатной семьи, по имени Гвидо Массарелли; как и я, он бежал из Неаполитанского королевства. Его дело было менее серьезно, чем мое,— он просто спасался от кредиторов. И вместе с тем он не стоил меня, в этом я вам ручаюсь! Но все же это был приятный молодой человек, образованный, умный и на редкость привлекательный. Я близко знал его по Неаполю, где он промотал свое наследство и приобрел много друзей. Сын богатого коммерсанта, наделенный большими способностями, он получил хорошее воспитание. Как и я, он устроился в свет, который быстро сделал его своим рабом; вскоре он разорился. Какое-то время я его кормил, но скромное существование его не удовлетворяло и, не имея достаточно мужества, чтобы зарабатывать себе на пропитание, он кончил тем, что стал мошенничать.

— Вы об этом знали?

— Я об этом знал, но я не посмел попрекать его этим в ту минуту, когда он спас мне жизнь. Он был, как и я в ту пору, очень беден. Когда он бежал, у него было всего несколько экю, которые он употребил на то, чтобы купить у одного канатного плясуна театр марионеток, помогавший ему не столько зарабатывать деньги, сколько прятать свое лицо.

«Видишь ли,— сказал он,— что я делаю сейчас, граничит с гениальностью. Вот уже два месяца, как я брожу по Неаполитанскому королевству, не будучи узнан. Ты спросишь меня, почему я не скрылся куда-нибудь подальше. Дело в том, что и в других местах у меня есть кредиторы; если только я не уеду во Францию, я встречу их на своем пути повсюду. К тому же в Неаполе остались предметы моих увлечений, по которым у меня сладко ныло сердце; вот почему

я и задержался в окрестностях города. Эта полотняная будка позволяет мне оставаться невидимым среди толпы. В то время как взоры всех устремлены на **burattini**, ни один человек не задумывается над тем, кто же тот, кто их приводит в движение. Я хожу с одного места на другое, как черепаха, спрятав голову под таким вот панцирем, и стоит мне покинуть площадь, как никто не подумает, что именно я забавлял народ».

«Неплохая мысль,— сказал я,— но что ты собираешься делать сейчас?»

«Все, что тебе захочется,— ответил он.— Я так счастлив, что снова встретил тебя и могу тебе услужить, что готов следовать за тобой куда угодно. Не могу даже сказать, как я к тебе привязан. Ты всегда бывал ко мне снисходителен. Не будучи богат, ты в своем положении сделал для меня больше, чем все богатые люди: ты защищал меня, когда меня обвиняли, ты корил меня моими заблуждениями, но всегда убеждал меня, что я сам в состоянии от них избавиться. Я не знаю, прав ли ты, но, несомненно, в угоду тебе я сделаю последнее усилие, но только уже за пределами Италии. Пойми, что в Италии я погиб, я обесчещен. Мне надо уехать за границу и жить там под чужим именем, если я хочу попытаться начать новую жизнь».

Гвидо говорил убежденно, он даже плакал. Я знаю, что по натуре он добр, и считал его искренним. Может быть, в эту минуту он и действительно был искренен. По правде говоря, я всегда относился очень снисходительно к тем, в ком великодушие сочетается с расточительностью, а Гвидо, насколько мне известно, несколько раз одновременно бывал и великодушен и расточителен. Это не значит, господин Гёфле, что я не отличаю щедрости от эгоистической беспорядочности, хотя в ней-то я и сам не раз бывал грешен. Словом, я дал моему бывшему товарищу уговорить себя и разжалобить, и вот мы с ним вдвоем на Папской земле скромно завтракаем под тенью сосен и составляем планы на будущее.

Оба мы были нищими, но мое положение, хоть с точки зрения закона оно было серьезнее, все же не было безнадежным. Стоило мне захотеть, и я мог спастись бегством без всякого риска, затруднений и злоключений. Мне надо было только найти себе при-

станции где-нибудь за пределами Неаполя, у первого же благородного человека из числа тех, кто выказывал мне там дружбу и кто, разумеется, поверил бы мне на слово, узнав, какие обстоятельства, можно сказать, меня вынудили убить моего подлого врага. Его все ненавидели, а меня — любили. Меня бы приняли, спрятали, позаботились бы обо мне и покровительством своим помогли бы покинуть страну. Если бы в дело вмешались высокопоставленные особы, и полиция и даже инквизиция, может быть, закрыли бы на все глаза. Однако решиться на это я не мог, и причиной моего непреодолимого упорства было отсутствие денег и необходимость принимать чью-то помощь. Живя у кардинала, я находился в таких хороших условиях, что не имел права уехать от него с пустыми руками. Ему самому даже не могло прийти в голову, что я нищий. Мне было бы стыдно признаться не в том, что у меня нет денег — такое часто случалось со светскими молодыми людьми, у которых я бывал, — но в том, что у меня их и не будет до тех пор, пока я не поступлю на новую должность, да еще при условии, что на новом месте я буду вести более разумную и размеренную жизнь, чем на прежнем. Что касается последнего, то мне очень хотелось обещать это самому себе, гордость же моя мешала дать такое обещание в подобных же обстоятельствах другим людям.

Когда я объяснил все это Гвидо Массарелли, его крайне изумила моя шепетильность, и он даже проникся ко мне жалостью. Чем настойчивее он уговаривал меня попросить помощи у моих друзей в Риме, тем больше росло мое нежелание к ней прибегать. Оно было, возможно, преувеличено, но одно могу сказать: сидя рядом с моим товарищем по несчастью, я несколько не стыдился того, что вынужден есть вместе с ним бобовую кашу, но скорее бы умер с голоду, чем решился бы попросить кого-нибудь из моих прежних знакомых накормить нас двоих обедом. Гвидо столько раз злоупотреблял сочувствием к его просьбам, обещаниям, притворным раскаяниям и лживым речам, что я боялся, как бы и меня не сочли таким же вымогателем и мошенником.

«Мы натворили глупостей, — сказал я, — теперь надо за них расплачиваться. Я вот решил отправиться либо во Францию через Геную, либо в Гер-

манию через Венецию. Я пойду пешком и буду зарабатывать себе на хлеб чем смогу. Как только я окажусь за пределами Италии, где мне вечно грозила опасность за малейшую оплошность попасть в руки неаполитанской полиции, я постараюсь добраться до какого-нибудь большого города и найти там работу. Я напишу кардиналу, оправдаюсь перед ним и моими друзьями,— попрошу у них рекомендательные письма, и, проведя какое-то время в нищете и ожидании, я в конце концов, не уронив своего достоинства, сумею устроиться. Если ты хочешь следовать за мной, отправимся вдвоем, я употреблю все силы, чтобы и ты мог поступить как я — начать трудиться, чтобы честно жить».

Гвидо, казалось, был настолько убежден и настолько переменялся, что я больше не стал противиться и поддался его дружеским излияниям. Мне, однако, случалось заметить, что откровенные подлецы бывают иногда очень милы и что самые общительные люди — это те, которым больше всего не хватает достоинства. Но у нас есть какое-то глупое самолюбие, которое убеждает, будто мы можем иметь влияние на этих несчастных, и если они считают нас дураками, то виноваты в этом не только они, но и мы.

Все эти предварительные соображения надо было вам изложить, чтобы сразу же перейти к продолжению моего рассказа.

Итак, речь шла о том, чтобы покинуть Италию, иначе говоря — пройти пешком несколько сот лье без гроша в кармане. Я обещал Гвидо, что изыщу способ добыть деньги, и просил только оставить меня на несколько дней в покое, чтобы дать зажить ране, которая уже начинала сильно гноиться.

«Поди промысли себе что-нибудь на жизнь,— сказал я,— а я останусь здесь, в расщелине скалы возле источника; хлеба мне пока хватит, а это все, что нужно человеку, у которого лихорадка. Встретимся потом где-нибудь в условленном месте: я приду, как только смогу ходить».

Гвидо отказался меня покинуть и начал так старательно и заботливо исполнять свою роль кормильца и сиделки, чтобы утешить мою боль и облегчить мои бедствия, что я почувствовал к нему самую искреннюю благодарность. Спустя три дня я был уже на ногах и задумался над будущим.

И, поразмыслив, вот к чему я пришел: самое лучшее, что мы можем сделать,— это показывать марионеток. Но только надо было сделать наше ремесло более выгодным и менее примитивным. Надо было отказаться от вечно одной и той же драмы Пульчинеллы и импровизировать вдвоем на такие же простые, но менее избитые сюжеты, развлекательные комические пьесы. Гвидо при этом оказался более сообразителен, чем можно было ожидать; в нем эта мысль не вызвала ни скуки, ни отвращения. Он понял, что работа со мной доставит ему удовольствие: ведь это же общее правило, что развеселить других может только человек, сам не поддающийся скуке. И он помог мне соорудить переносный театр, состоящий из двух половин, каждая из которых была для нас надежной защитой от солнца, дождя и полицейских. Соединяясь с помощью крюков, они образовывали сцену, достаточно просторную, чтобы на ней могли действовать две пары рук. Я превратил его нелепые *burattini* в осмысленные фигурки и нарядно одел их. К ним я добавил дюжину новых персонажей, сделанных моими собственными руками, и под открытым небом, в пустынном уединении мы решили испробовать наш новый театр.

Скромные расходы по его устройству покрылись продажей моих статуэток из мягкого камня, которые Гвидо сумел сбыть в деревнях значительно выгоднее, чем я сам. Через неделю уже нам удалось дать десяток представлений на окраине Рима. Успех был огромный, и мы собрали баснословную сумму — три римских эку! Теперь мы могли уже пуститься в путь и пройти безлюдные равнины, отделяющие Вечный город от других итальянских провинций. Восхищенный нашим успехом, Гвидо не прочь был остаться в Риме и подольше. Разумеется, мы могли бы набраться смелости и отправиться в богатые кварталы, чтобы привлечь к нашим комедиям внимание людей благородных, но этого-то я как раз и боялся больше всего, да и об этом нам следовало этого опасаться, ибо у каждого были свои причины оставаться в тени. Я уговорил моего спутника не задерживаться, и мы отправились по Флорентийской дороге, давая представления в разных городах и небольших местечках, чтобы собрать денег на дорогу.

Мы выбрали путь через Перуджу, и надо сказать,

что я не без умысла предпочел эту дорогу Сиеннской. Мне хотелось увидеть дорогой моему сердцу чудесный город, мое безмятежное Тразименское озеро, в особенности же маленькую виллу, где я провел такие счастливые дни. Уже темнело, когда мы вступили в Бассиньяно. Никогда в жизни не видел я такого лучезарного заката на спокойных и прозрачных водах. Я предоставил Гвидо устраиваться на ночлег в захудалой гостинице, а сам побрел по берегу озера к маленькой вилле Гоффриди.

Чтобы не быть узнанным в родных краях, я надел маску и шляпу арлекина, купленные в Риме на случай опасности. Две-три раскрашенные тряпки преобразили меня в паяца; это был очень удобный костюм для антрепренера театра марионеток, который должен зазывать публику. Деревенские ребяташки побежали за мной, думая, что я буду показывать фокусы, но я отогнал их, размахивая своей палочкой, и вскоре остался один на берегу.

Я добрался до родных мест, когда уже совсем стемнело, но вечер был ясный. Я загляделся на кристально прозрачное озеро, где вместе с сумерками тонут контуры горизонта: мне казалось, что я уношусь в бескрайное, усеянное звездами небо и, словно бесплотный дух, парю по его необъятным просторам. О, до чего же странной бывает иногда жизнь, господин Гёфле! И каким чудищем я был тогда в моем нелепом фантастическом наряде, когда, как кающаяся душа, искал под выросшими в мое отсутствие ивами уединенную могилу моих бедных родителей. На мгновение я подумал даже, что ее больше нет, что у меня ее украли,— ведь она принадлежала мне, и это было единственное мое достояние: на последние гроши я купил этот маленький клочок освященной земли, где я похоронил их останки.

Наконец я на ощупь уже нашел скромную каменную плиту; я сел возле нее и, скинув с себя маску арлекина, наплакался вволю. Я провел там несколько часов, погруженный в раздумье, и решил, прежде чем покину эти места, и, может быть, навсегда, покаяться в моих былых заблуждениях и как следует поразмыслить над тем, что же мне делать. Благодарить божья — это не иллюзия, господин Гёфле. Я не знаю, какой вы там лютеранин, а что до меня, то я не кичусь тем, что я настоящий католик. Мы живем

в такое время, когда никто ни во что не верит, разве только в то, что надо быть веротерпимым и что это наш долг, но я... я смутно верю в мировую душу, называйте ее как хотите, — в великую душу, исполненную любви и доброты, которой мы поверяем наши слезы и наши желания. Нынешние философы считают нелепостью полагать, что высшее существо снизойдет до того, чтобы заниматься такими ничтожными червями, как мы. Я же утверждаю, что не существует ни большого, ни малого перед лицом того, в ком воплотилось все, и что в океане любви всегда найдется место, где можно ласково подобрать бедную человеческую слезинку.

Сидя у этой могилы, я стал размышлять о своих поступках: мне казалось, что в этом потоке кроткого света, который струили с неба спокойные звезды, мои отец и мать тоже могли послать мне маленький луч, чтобы отыскать и благословить меня. Мне нечего было перед ними стыдиться, на совести у меня не было ни преступления, ни подлого или нечестивого поступка, я не забывал о них ни на один день, и среди всех соблазнов, когда демон юности и любопытства подталкивал меня к безднам этого порочного и безбожного мира, я защищался и спасал себя воспоминаниями о Сильвио и Софии.

Но недостаточно было избегать зла — надо было творить добро. Добро — это нечто относительное и зависит от положения и способностей каждого из нас. Я чувствовал себя обязанным продолжить работы Сильвио Гоффредо и сделать так, чтобы сэкономленные деньги позволили мне написать и опубликовать результаты его исследований. Для этого мне нужно было сколотить себе какое-то состояние, с тем чтобы продолжить его путешествия. Сначала я об этом действительно думал, а потом неопытность, влечения чувств и дурные примеры привели к тому, что я стал жить как искатель приключений — лишь сегодняшним днем. Эти поиски приключений в конце концов и стали причиной моей гибели. Если бы я довольствовался местом скромного учителя, я не был бы вынужден убивать Марко Мельфи. Ему бы не пришло в голову меня оскорбить, и он даже никогда и не встретил бы меня в гостиных кардинала, не стал бы меня разыскивать в моем кабинете, среди книг, — он бы даже не знал о моем существовании.

Я не жил жизнью, какая подобает человеку серьезному. Мне хотелось разыграть роль дворянина, а вот пришлось стать убийцей.

«Сколько бы слез пролила моя бедная мать,— думал я,— если бы она увидела меня сейчас, переодетого бродячим актером, изранившего о камни ноги, которые она когда-то согревала своими руками, прежде чем положить меня в колыбель. И разве мой отец не стал бы бранить меня за эту ложно понятую честь, которая сделала меня убийцей и изгнанником?»

Я вспоминал живой характер и гордую шепетильность благородного Сильвио. Сам он никогда не брал в руки шпаги и отказался взять для меня учителя фехтования, сказав, что дешево стоит честь человека, если он не умеет себя уважать без клинка на боку!

Я поклялся священной памятью дорогих мне людей исправить мои ошибки, и после того, как я долго глядел на небо, где, казалось мне, они могли соединиться на одной из счастливых звезд, я пошел обратно по дороге в деревню, решив, что не стану ничего узнавать о нашей *villetta*. Разве я имел право предаваться бесплодным сожалениям? Сильвио завещал мне эту виллу вовсе не для того, чтобы я обогатился и стал жить в праздности. Он должен был бы благословить меня из своей могилы, когда я отдал и истратил все, чтобы облегчить последние дни жизни его вдовы; однако, принеся эту жертву, я должен был работать еще больше и не думать, что один-единственный благой поступок, вызванный чувством преданности близкому человеку, давал мне право напиваться пьяным в доме людей, которым нечего было делать.

На обратном пути я встретил Гвидо Массарелли, который отправился за мной на берег озера. Он беспокоился за меня. Я рассказал ему обо всем, что здесь передумал, и он, видимо, был очень растроган. Усевшись в стоявшую на причале лодку, мы стали говорить с ним о чувствах, морали, философии, метафизике, астрономии и поэзии и просидели так до того, как забрезжил рассвет. У Гвидо был очень возвышенный ум. Увы! Эта странная аномалия встречается у подлецов, как бы для того, чтобы заставить нас усомниться в промысле божьем!

На следующий день мы были уже в пути, а не-

сколько дней спустя во Флоренции, возле Старого дворца, мы уже веселили уличную толпу. Сбор оказался хорошим. Мы могли бы поехать в Геную в поезде. Тем не менее мы с удовольствием шли пешком, но наш багаж, который все время пополнялся новыми марионетками и новыми декорациями, стал очень тяжелым.

В Генуе нас ждал новый успех и необыкновенный сбор. Представления наши так нравились, что мы уже не могли удовлетворить всех обращенных к нам просьб. Поначалу на городской площади мы развлекали простой народ, когда же перед балаганом остановилось несколько лиц более высокого ранга, мы не могли отказаться от желания пококетничать и поднять наш диалог на более высокий уровень, сделав спектакль для более образованной публики.

На него обратили внимание, и его стали повторять в свете. Одним из таких случайных зрителей оказался маркиз Спинола, который пригласил нас к себе, чтобы позабавить своих детей. Мы явились к нему в масках, поставив наше инкогнито одним из обязательных условий спектакля. Театр наш расположился у него в саду, и нашими зрителями были самые высокопоставленные и знаменитые люди города.

В последующие дни мы уже не знали, кого и слушать. Все стремились заполучить нас к себе, и Гвидо назначил очень высокую плату за вход, однако никто не стал возражать. Тайна, которой мы себя окружили, маски на лицах — мы ни за что не хотели их снимать до того, как войдем в балаган, — фантастические имена, которыми мы себя называли, — все это, разумеется, делало наши спектакли еще более модными. Все без труда догадались, что оба мы происходим из хороших семей, но в то время как одни догадывались также, что мы стали бродяжничать после того, как учинили какую-то глупость, другие убеждали себя, что мы занимаемся этим ремеслом исключительно ради забавы и побившись с кем-то об заклад. Дошли даже до того, что отождествили нас с двумя молодыми неаполитанцами, которые потом не замедлили приписать себе наши успехи, о чем нам рассказали уже позднее.

В Ницце, Тулоне и до самого Марселя нас сопровождал триумф за триумфом. А так как мы пере-

двигались медленно, то наша слава опережала нас, и на постоянных дворах, где мы останавливались, мы узнавали, что уже кто-то приходил спрашивать о нас и приглашать на вечерние представления.

После Марсея успех наш стал уменьшаться, и так дела шли до Парижа. Я довольно хорошо говорил по-французски и с каждым днем освобождался от итальянского акцента, который вначале мешал мне варьировать интонации моих персонажей; акцент же Гвидо, гораздо более заметный, чем мой, напротив, становился еще ощутимее, и наш диалог от этого страдал. Меня это несколько не беспокоило. Мы собирались бросать ремесло актера, и я радовался, что у нас есть теперь достаточно средств для того, чтобы начать более серьезную жизнь.

VI

Передохнув несколько минут, Кристиано, которого мы теперь будем называть Христианом, продолжил свою повесть.

— Не забыть бы рассказать вам, какая интересная встреча примирила меня на несколько дней с ремеслом странствующего актера. Это был совершенно необыкновенный человек; он занимает сейчас в Париже высокое положение, и вы о нем, разумеется, слышали. Речь идет о Филиппе Ледрю, прозванном Комюсом.

— Ну конечно, — отозвался Гёфле, — я читал в своем научном журнале, что этот искусный престижитатор был очень крупным физиком и что его опыты над магнитом обогатили науку новыми инструментами исключительной точности. Не так ли?

— Совершенно верно, господин Гёфле. Господин Комюс был назначен учителем французских принцев крови; он создал морские карты по новой системе — это результат огромных работ, предпринятых по приказу короля; рукописные экземпляры этих карт он вручил господину де Лаперузу. Словом, с того дня, как я встретил его на дороге, где он подвизался в роли бедного ученого, распространяющего образование в занимательной форме, он быстро завоевал всеобщее уважение, милости министров и возможность

применить плоды своих обширных познаний и добиться значительных результатов.

Итак, мне довелось встретить знаменитого Комюса, правда, не на городской площади в Лионе, но в одном из тех мест, где обычно давались спектакли бродячих *operanti*, которые каждый из нас арендовал за свой счет. Привыкший к разным нелепостям и грубостям такого рода конкурентов, я держался, по своему обыкновению, настороже, когда Комюс обратился ко мне первый с такой изысканной вежливостью, что я был очарован и поражен. Это был человек лет тридцати пяти, великолепно сложенный, одинаково крепкий и телом и духом, столь же легкий в своих движениях, сколь и в речи, словом, одна из тех необычайно одаренных натур, которые чаще всего рождаются в неизвестности. Он что-то спросил у меня насчет моего ремесла и удивился, что я оказался человеком достаточно образованным, чтобы говорить с ним. Я поведал ему о трудных обстоятельствах своей жизни, и он отнесся ко мне по-дружески.

После того как он побывал на нашем представлении, которое ему очень понравилось, он пригласил нас посмотреть свое, что оказалось для меня очень полезным, ибо он знал немало секретов, которыми не владели другие и которые были не чем иным, как одним из случаев использования открытий исключительной важности. Ему хотелось посвятить меня в них, и, обнаружив у меня достаточно способностей, он предложил мне разделить его судьбу и ездить вместе с ним по стране. К сожалению и на горе себе, я от этого отказался: к сожалению — потому, что Комюс был одним из самых лучших, самых бескорыстных и самых приятных людей, каких я когда-либо встречал; на горе — потому, что этот странствующий физик не сумел найти полезное и серьезное применение своим незаурядным талантам. Я поклялся Массарелли не покидать его, а у Массарелли не было никакой склонности к наукам.

Встреча эта, которой я не мог воспользоваться в материальных целях, была, однако, до такой степени полезна мне с точки зрения нравственной, что я до конца жизни буду благословлять за нее небеса. Постараюсь же покороче изложить те советы, которые этот искусный и превосходный человек мне дал — весело, дружески, без всякого педантизма, за скром-

ным ужином, который мы разделили с ним в харчевне, заставленной ящиками с нашим багажом: наутро нам предстояло расстаться.

«Дорогой мой Гоффреди,— сказал он,— мне жаль, что мы расстаемся так скоро, и я искренне разделяю ваше огорчение. Несколько дней, проведенных нами вместе, было достаточно, чтобы я мог узнать и оценить вас. Но пусть мысль о будущем не огорчает и не тревожит вас. Оно будет прекрасно, если окажется вам полезным. Послушайте, я буду сейчас говорить с вами на языке, совершенно не похожем на тот, на котором говорят все, и смысл его станет вам ясен, если вы будете поступать так, как я вам советую. Иные скажут: «Пожертвуйте всем ради честолюбия». Я же скажу: «Прежде всего пожертвуйте честолюбию», как его понимают люди, иначе говоря, не пеки-тесь ни о состоянии, ни о славе; идите прямо к своей цели — просветить ваших ближних, все равно в каких условиях и какими путями. Все пути прекрасны и благородны, если они ведут к этой цели. Вы всего-навсего шут, а я колдун! Посмеемся же над этим и будем продолжать наше дело, потому что и марионетки и волшебство служат в наших руках благим целям. В этом я вижу секрет быть счастливым наперекор всему. Я знаю только две вещи на свете, и обе они заключаются в одном правиле: любить человечество и не обращать внимания на его предрассудки. Презирать заблуждение означает уважать человека, не так ли? Владея этим секретом, вы всегда будете достаточно богаты и знамениты. Что же касается потерянного времени, которого вам жаль, то вы еще достаточно молоды, чтобы с избытком все возместить. Я тоже в молодые годы грешил легкомыслием, немного кичился этой молодостью, был опьянен своей силой. А потом, довольно безрассудно растратив свой патриотизм и свои лучшие годы, я вновь поднялся, и вот я иду. Я человек здоровый, вы — тоже. Я работаю по двенадцати часов в день, а это по плечу только тому, кто не хил и не болен. Окунитесь в науку, и пусть люди неспособные гоняются за наслаждениями. Они не найдут их там, где ищут, а вы найдете их там, где они действительно есть — в спокойной совести и в развитии ваших высоких способностей».

Тут Комюс разложил весь свой сбор на две кучки, большую и маленькую. Маленькую он оставил

себе, большую же отдал на пужды странноприимных домов города. Я был поражен, видя, до чего просто и весело он распорядился своими деньгами; он сделал это как человек, привыкший исполнять свой незыблемый долг, и ему незачем даже было скрывать это — настолько все было естественно и просто. Я упрекал себя в том, что мог позабыть заветы моих дорогих Гоффреди: ведь господин Комюс и говорил и делал именно то, чему меня учили они. Вот так, господин Гёфле, бродячий фокусник убедил и обратил в свою веру импровизатора с большой дороги.

Мы прибыли в Париж; путешествие наше длилось три месяца, и я вспоминаю о нем как об одном из самых приятных периодов моей жизни. В дороге я не терял времени, я старательно изучал в природе и обществе все то, что доступно человеку, не имеющему специального образования, если он не глупее других. Я делал записи; мне казалось, что в городе литературы и искусств мне легче всего будет зарабатывать деньги пером, если только у меня будет что сказать и я буду чувствовать в себе силу это выразить.

Мы вошли в столицу в мрачный и унылый осенний день. Мне трудно было даже представить себе, что можно привыкнуть к этому климату, и Гвидо сразу же сделался грустен и заметно упал духом. За очень дорогую плату мы сняли жалкую меблированную комнату. Там мы немного привели себя в порядок, разобрали наш театр, а *burattini* заперли в ящик на ключ. Мы собирались продать наш театр какому-нибудь бродячему актеру и несколько дней думали только о том, чтобы навести необходимые справки и увидеть памятники, спектакли и достопримечательности французской столицы.

По истечении недели наш скромный капитал уменьшился, и хуже всего было то, что я не знал, за что взяться, чтобы его пополнить. Я был полон иллюзий, или, вернее, совершенно не представлял себе, что такое настоящий большой город и какое ужасающее одиночество ожидает в нем иностранца, у которого нет ни денег, ни друзей, ни рекомендаций. Я навел справки относительно Комюса, рассчитывая, что он может меня кое с кем познакомить; но Комюс не вернулся еще из своих поездок, и имя его в ту пору было известно только в провинции. Я выписал

себе бумаги Сильвио Гоффреди, на основании которых собирался издать под его именем описание сделанных им исторических исследований. Ни на какую материальную выгоду я не рассчитывал, но надеялся, что, выполнив свой долг, приобрету себе доброе имя и друзей. В Италии кое-какие друзья остались верны мне, и они отправили мне эту посылку, но до меня она так и не дошла. Ни кардинал, ни мой юный ученик не ответили на мои письма, другие же ограничились сухими выражениями участия или не пожелали компрометировать себя, рекомендуя меня влиятельным итальянцам, жившим в Париже. Они даже посоветовали мне не привлекать к себе внимания нашего посла, который мог, пожалуй, найти необходимым во имя чести своей семьи (он приходился родственником Марко Мельфи) испросить у французского короля приказ о моем аресте.

Увидев, в какое положение я попал, я стал рассчитывать только на себя самого. Но поверьте мне, господин Гёфле, в столь беспомощном состоянии и при всех тяготах жизни, которую приходится вести в таком городе роскоши и соблазнов, как Париж, я все же сумел остаться честным человеком! Когда-то я был гостем дворцов под роскошным небом, потом — беззаботным странником в очарованном краю; теперь же я превратился в мрачного и унылого жителя мансарды, боровшегося с холодом, голодом, а порою охваченного отчаянием и отвращением к жизни. И все же благодаря богу и разумным решениям, которые я принимал, мне удавалось найти какой-то выход: я никого не обманул и не умер от нищеты. Мне удалось напечатать кое-какие произведения, которые не обогатили меня, но принесли мне некоторую известность в узком кругу безвестных и скромных ученых. Мне выпала честь подобрать материалы для некоторых статей в Энциклопедии по вопросам естественных наук и итальянских древностей. Некий блистательный маркиз взял меня к себе в секретари и прилично одел. Тут я и вышел в открытое море. Если нельзя сказать, что одежда во Франции — это все, то можно по крайней мере утверждать, что иметь вид человека, живущего в достатке, необходимо каждому, кто не хочет оставаться нищим. Маркизу и моему новому платью я обязан тем, что свет снова распахнул передо мной свои двери. Это был опас-

ный риф, о который я легко мог разбиться. Не считайте меня за дурака, если я скажу вам, что мне бы легче жилось, если бы наружность моя была столь же безобразна, как у вашего друга Станстадиуса. Человеку красивому и не имеющему ни гроша в кармане свет в наши дни охотно дает доступ к богатству... и к позору... Сколь благоразумным вы бы ни старались быть, вам приходится каждую минуту наступать на прожорливый, мятущийся муравейник дам полусвета. Не будь у меня перед глазами образа моей целомудренной и гордой Софии, я бы, вероятно, дал себя вовлечь в лабиринт этих вкрадчивых и вечно копошащихся тварей.

Я сумел избежать этой опасности, но, прожив год в Париже, как раз в ту пору, когда трудом своим и бережливым отношением к деньгам я уже почти что добился самостоятельного положения, я вдруг ощутил непреодолимое отвращение к этому городу и страстное желание попутешествовать. Главной причиной этого отвращения был Массарелли. Он не смог перенести, подобно мне, лишения и всю томительность ожидания. В первые же дни нищеты он забрал у меня театр марионеток и стал пытаться зарабатывать деньги на перекрестках дорог, собирая вокруг себя самых отпетых людей. На свою беду, он не сумел, подобно мне, избавиться от акцента и не достиг никакого успеха. Вскоре он перешел на мое попечение, и мне пришлось одевать и кормить его. Так продолжалось несколько месяцев, и мне они дались нелегко. Потом он снова исчез, несмотря на то, что расточал мне заверения в дружбе и пытался работать вместе со мной. Но отделаться от него мне никак не удавалось. Не проходило и недели, чтобы он не являлся, иногда пьяный, и не обворовывал меня. Я захлопывал у него перед носом дверь, но он продолжал ходить за мной по пятам. Наконец, учинив какие-то подлости, он сумел в конце концов добыть деньги и решил отдать мне то, что у меня брал, *лобратски* разделить со мной все и выплакать еще раз у меня на груди свои слезы, вызванные вином и раскаянием. И деньги его и нежности были мне отвратительны, я их отверг. Он рассердился, захотел драться со мной, но я с презрением отказался. Тогда он дал мне пощечину, и мне пришлось прибить его тростью. На следующий день он написал мне, прося

прощения, но я уже устал от него и, встречая его повсюду, даже в хорошем обществе (бог знает, как ему удавалось туда проникать), я испугался, что он может опорочить меня каким-нибудь плутовством. Я не ощущал в себе эгзистической храбрости, позволяющей выгнать с позором из дому человека, которого когда-то любил, и предпочел удалиться сам и расстаться с ним. По счастью, мне удалось наконец получить кое-какие хорошие рекомендации, среди прочих и от Комюса, который в это время потрясал Париж своей *катоптрикой*, то есть фантазмагорией, достигаемой с помощью зеркал, где вместо того, чтобы показывать духов и дьяволов, он воспроизводил одно только приятное и очаровательное. Его большие способности и привычка наблюдать позволили ему узнать человеческий характер и человеческое сердца настолько, что он читал чужие мысли и, казалось, был наделен даром пророчества. Наконец, глубокое изучение алгебры дало ему возможность разрешить, придав им форму занимательных и остроумных головоломок, задачи, вникнуть в которые люди необразованные не могут и которые многие склонны поэтому считать волшебством.

Мы живем в век просвещения, когда, в силу удивительного противоречия, потребность в чудесном, столь могущественная и беспорядочная в прошлом, все еще борется у многих людей с голосом разума. Вам кое-что об этом известно здесь, где к вашему знаменитому ученому Сведенборгу обращаются как к колдуну в еще большей степени, чем к ясновидцу, да и сам он верит в то, что владеет тайнами загробной жизни. Комюс — это человек, пожалуй, не столь убежденный и добродетельный, как Сведенборг, о котором, как я знаю, говорить следует всегда с уважением, но более мудрый и более серьезный. В поступках своих он руководствуется только теми законами, которые доступны человеческому разуму, и секреты свои охотно делает достоянием ученых и путешественников, которым предстоит воспользоваться ими в интересах науки.

Он принял меня радушно и предложил поехать с ним в Англию, чтобы помочь ему в его исследованиях. Предложение его было очень соблазнительным, но мечты мои влекли меня к минералогии, ботанике и зоологии, а также и к изучению нравов и общества.

Англия казалась мне уже слишком изученной страной, чтобы я мог почерпнуть там какие-либо новые изобретения. К тому же Комюс был тогда поглощен одною узкою областью знаний, в которой я вряд ли мог бы быть ему полезен. Он ехал в Лондон, чтобы проследить за изготовлением точных приборов, которые ему не могли достаточно хорошо сделать во Франции. Мысль провести год или два в Англии мне не улыбалась. Я устал от жизни в большом городе. Мне мучительно хотелось свободы, движения, а главное — возможности действовать самостоятельно. Хотя мне и следовало быть благодарным всем тем, у кого я до этого времени служил, я был настолько не создан для зависимости и повиновения, что, попав в подобное положение, просто заболел.

Комюс познакомил меня со многими знаменитыми людьми, с господами Де Ласепедом, Бюффоном, Добантоном, Бернаром де Жюсье. Я очень заинтересовался стремительным и блестящим развитием ботанического сада и зоологического музея, во главе которых стояли и каждый день обогащали их эти достойные ученые. Я видел, как туда поступали великолепные дары отдельных богатых собирателей и драгоценные приобретения путешественников. Мною овладело безудержное честолюбие приобщить себя к числу этих служителей науки, смиренных адептов ее, которые довольствовались тем, что были благодетелями человечества, не требуя за это ни славы, ни награды. Я отлично видел, как высокий человек в белых манжетах, господин Бюффон, стремясь удовлетворить свое честолюбие, широко пользовался терпеливыми и скромными трудами своих помощников. Что из того, что у него была эта странность, что ему хотелось быть «господином графом» и требовать от своих вассалов, чтобы они выполняли все его требования, что он то и дело хвалил себя сам, приписывал себе также и труды, участие в которых для него сводилось иногда к простому совету. Такой уж у него был характер. Совсем иначе вели себя его умные и великодушные собратья. Они с улыбкой давали ему высказать все, что он хотел, а сами работали изо всех сил, отлично зная, что, решая задачи, способствующие прогрессу всего человеческого рода, они должны подняться над всем личным. Они поэтому были счастливее его. Счастливее в том смысле, как

это понимал Комюс, тем счастьем, к которому стремился и я. Поэтому я предложил им свои услуги, после того как научился у них всему, чему мог, слушая их публичные лекции, вникая в их частные беседы. Мое горячее рвение и мои способности к языкам показались господину Добантону достаточными, чтобы обеспечить мне успех. Единственным препятствием была моя бедность.

«Наука богатеет,— говорил он с гордостью, окидывая взглядом все великолепие кабинета и сада,— а ученые чересчур бедны для того чтобы путешествовать. Жизнь для них во всех отношениях трудна, будьте к этому готовы».

Я был к этому совершенно готов. Мне удалось скопить небольшую сумму, и мне казалось, что ее хватит надолго при том скромном образе жизни, который, кстати говоря, ничуть меня не страшил. Мне дали официальное научное поручение, чтобы дорогой в чужих краях никто не принял меня за бродягу или за шпиона, и я уехал, не задумываясь над тем, на какие средства я буду жить по прошествии года. Провидение должно было позаботиться об остальном. Однако с помощью бумаг, утверждавших безобидную и почтенную цель моих странствий, я сумел все же получить кое-какую материальную помощь от научных учреждений и даже от частных лиц — друзей науки. Я не хотел ни о чем просить, зная, до какой степени семья Жюсьё поистратилась на такого рода жертвования, и решив действовать самостоятельно, на свой страх и риск.

Теперь наконец потекли счастливые дни. Впереди было очень много времени, все зависело лишь от того, насколько хватит у меня средств. Они, правда, были не очень-то велики. Поэтому для того, чтобы продлить и удовлетворить мою страсть к путешествиям, я сразу же постарался сделать так, чтобы их хватило. В самом начале пути я оделся в костюм горца, грубый и прочный; купил осла, чтобы он вез мой небольшой багаж: книги, инструменты и образцы — мою будущую добычу, — и отправился в горы, в Швейцарию. Не стану рассказывать вам о моих трудах, переходах и приключениях. Путешествие это я опишу, как только у меня будет время, и недавняя потеря моего дневника не мешает мне сделать это, ибо память у меня на редкость хорошая. Эти одино-

кие странствия вернули мне здоровье, беззаботный характер, веру в будущее, хорошее расположение духа, словом — все то, что было сильно подорвано за период моей парижской жизни. Я почувствовал, что воспоминание об обоих Гоффреди умиротворилось во мне, а это означало, что я стал чувствовать себя счастливым.

Я достаточно работал в области ботаники и минералогии, чтобы выполнить все обещания, которые дал в отношении той и другой специальности; но, не платя никакой дани людскому тщеславию, я приобретал достаточно времени, чтобы жить за свой счет в качестве наблюдателя, а может быть, немного и артиста и поэта, иными словами — человека, который ощущает все красоты природы в их божественном единении. Из каждого города я посылал в Париж отчеты и даже сами образцы вместе с довольно подробными письмами, адресованными Добантону, зная, что романтические впечатления юноши могут доставить ему удовольствие.

Девять или десять месяцев спустя я был уже в Карпатах вместе с ослом, который сослужил мне истинно большую службу и был так верен и с такой готовностью следовал за мной повсюду, что ни разу не становился для меня обузой, как вдруг в уединенной сельской местности я повстречал бородатого нищего, в котором сразу признал Гвидо Массарелли. Чувство отвращения боролось во мне с жалостью, я не решался с ним заговорить, но он сам узнал меня и подошел ко мне с таким смиренным и понурым видом, что сочувствие к нему одержало во мне верх над отвращением. В эту минуту я был счастлив и склонен к доброте. Усевшись на пенё поваленных деревьев, я с аппетитом закусывал, а осел мой мирно пасся в нескольких шагах от меня. Чтобы дать ему отдохнуть, я снял с него вьюк и поставил у себя между ног корзину с припасами. Там было не очень-то много, но все же достаточно для двоих. Массарелли, бледный и изможденный, едва стоял на ногах от голода.

«Садись и ешь,— сказал я.— Я уверен, что ты впал в такую нищету по собственной вине, но, так и быть, спасу тебя еще раз».

Он рассказал мне о своих злоключениях, истинных или мнимых, унижительно и пошло бичевал себя,

но в конце концов старался все же свалить вину на других людей, якобы жестоких и неблагодарных. Я мог только пожалеть, что он стал таким, и, поговорив с ним с полчаса, дал ему несколько дукатов и отправился своей дорогой. Пути наши лежали в разные стороны, и я был очень этому рад. Но не успел я пройти и четверти часа, как у меня закружилась голова, и я вынужден был остановиться: меня одолевали усталость и сон. Не понимая, что это со мною вдруг приключилось — такого у меня не бывало никогда в жизни, — и вспоминая, что, завтракая вместе с Гвидо, я не выпил и стакана вина, я подумал, что это следствие жары, и плохо проведенной ночи в харчевне. И вот я улегся в тени, чтобы немного соснуть. Может быть, это было неблагоразумно с моей стороны, я ведь находился в совершенно пустынной местности, но поступить иначе я был не в силах. Меня окутал какой-то дурман, тяжелый и непреодолимый.

Проснувшись и все еще чувствуя себя очень плохо от тяжести в теле и какой-то пустоты в голове, я увидел, что лежу на прежнем месте, но что меня обворовали до нитки. На горизонте вставало солнце. Сначала я думал, что это сумерки и что проспал я десять часов, но когда увидел, что солнце поднимается в тумане, а на густой траве поблескивает роса, я понял, что проспал весь день и ночь. Осел мой исчез вместе со всем багажом, карманы мои были пусты, мне оставили только платье, что было на мне. Внимание мое привлек предмет, не имевший никакой ценности, забытый или брошенный бандитами: это была чашечка из небольшого кокосового ореха, которой я пользовался в пути, чтобы не пить из горлышка бутылки, что мне всегда было противно. Щепетильность моя дорого мне обошлась: в ту минуту, когда я отвернулся, Гвидо насыпал мне в эту чашку снотворного. На дне ее выкристаллизовалась какая-то соль. Гвидо не был обыкновенным бродягой, он возглавлял воровскую шайку. Свежие следы вокруг свидетельствовали о том, что тут было несколько человек.

Оглядевшись, я увидел на камне едва заметную, сделанную мелом надпись и прочел написанные полатыни слова:

«Друг мой, я мог тебя убить и должен был это сделать, но я тебя пощадил. Спи спокойно!»

Это был почерк Гвидо Массарелли. Почему же он должен был меня убить? Чтобы отплатить мне за то, что я отколотил его тростью в Париже? Возможно. Среди самых больших несчастий, которые постигают его душу и разум, итальянец сохраняет чувство мести или, во всяком случае, помнит обиду. Что же я мог сделать, чтобы, в свою очередь, ему отомстить? Ничего, что не требовало бы времени, денег и хлопот. У меня же не было ни гроша, и я начинал испытывать голод.

«Полно,— сказал я, снова пускаясь в путь.— Ранно или поздно мне суждено было просить подаяния; но только, как бы жестока ни была ко мне судьба, клянусь, долго нищенствовать я не буду! Надо будет отыскать какой-нибудь новый способ зарабатывать деньги».

Я вышел из ущелья и нашел приют у радушных крестьян, которые дали мне даже еды на дорогу. Они рассказали, что в этих краях бродит шайка разбойников и что главарь ее известен под именем *Итальянца*.

Продолжая свой путь, я попал в Силезскую область. У меня было намерение остановиться в первом же городе, обратиться там в полицию и потребовать, чтобы разыскали бандитов. Когда я шел, глубоко задумавшись и перебирая в уме множество планов, один несбыточнее другого, как достать денег, не обращаясь за сочувствием к властям, я вдруг услышал позади себя неровный галоп и, обернувшись, к великому изумлению, увидел моего осла, моего бедного Жана, гнавшегося за мной с большим трудом — он был ранен. А говорят еще, что ослы глупы! Но ведь они почти такие же смысленные, как и собаки: в этом я мог уже не раз убедиться, путешествуя с моим верным слугой. На этот раз он доказал, что по-настоящему предан мне, и обнаружил некий необычайный, непостижимый инстинкт. Его украли и увели; он убежал налегке, разумеется, без выюка. В него стреляли — он этим пренебрег и продолжал свой путь, нашел мои следы и, настоящий герой, с пулей в бедре, разыскал меня!

Уверяю вас, это была сцена, достойная Санчо Пансы, и еще более патетическая, потому что мне надо было оказывать помощь раненому. Я извлек пулю, застрявшую под кожей моего доблестного дру-

га, и очень тщательно промыл рану. Дав себя прооперировать и обмыть, бедняга выказал присущий своему роду стоицизм и такое безграничное доверие, которого у нас, по всей видимости, не найти. Вернув себе осла, я имел уже средства к существованию. После того как я вытащил пулю, он уже не хромал. Крупный, красивый и сильный, он мог что-то стоять... Но я не дал этой подлой и мерзкой мысли выразиться в цифрах и с негодованием ее отверг. Речь шла уже не о том, чтобы продать моего друга, а о том, чтобы прокормить не одного, а двоих.

Так или иначе я добрался до города Троппау. Дорогой Жан отыскивал себе чертополох. В тот день я поделился с ним хлебом, мне хотелось сделать ему что-то приятное, пока он поправляется. В Троппау люди пожалели меня, пустили на ночлег и накормили с тем редкостным милосердием, которое особенно отличает людей бедных. Городские власти не очень-то поверили моему рассказу. Одет я был в самую простую одежду, и у меня не было ни одной бумаги, подтверждающей, что я занимаюсь науками и заслуживаю доверия. Говорил я, правда, хорошо, слишком хорошо для деревенского жителя, но здесь, возле границы, подвизалось столько ловких мошенников. Совсем недавно, оказывается, один итальянец выдал себя за знатного синьора, ограбленного в горах, а потом узнали, что сам он и был главарем банды, на след которой он будто бы хотел навести.

Я счел благоразумным не настаивать, ибо, вспомнив о Гвидо Массарелли, они легко могли заподозрить меня в сообщничестве с ним. Я вернулся к моим бедным хозяевам. Они приняли меня очень хорошо, поругали городские власти, с завистью посмотрели на Жана и сказали:

«По счастью, у вас еще остался осел, его можно продать!»

Так как я сделал вид, что не понимаю, на что они намекают, они разъяснили мне, как бы давая совет, что я могу свободно прожить два-три месяца у них в доме и вместе с ними питаться; что если я умею что-то делать, я могу за это время подыскать себе работу, и если к концу моего пребывания у них я смогу покрыть все их расходы на меня, то тогда не надо будет отдавать им осла. Это был мудрый совет, я послушался его, решив, что лучше уж я

буду копать землю, только бы не оставлять им моего бедного Жана, который еще может пригодиться своему законному владельцу.

Хозяин мой был сапожник. Чтобы доказать ему, что я не какой-нибудь лентяй, я спросил его, чем, не зная его ремесла, я могу быть ему полезен.

«Я вижу,— сказал он,— что вы хороший малый, и лицо ваше внушает мне доверие. Завтра ярмарочный день в одной из деревень в двух милях отсюда. Я не смогу там быть, ступайте-ка туда вместо меня да захватите с собой на осле мой товар и продайте столько пар башмаков, сколько сумеете. Получите со всей прибыли десять процентов».

Наутро я уже был на месте и продавал башмаки так, как будто всю жизнь только этим и занимался. Я не имел ни малейшего понятия о всех хитростях крупной и мелкой торговли, но я старательно расточал всем женщинам комплименты по поводу того, какие крошечные у них ножки, и так сумел развлечь народ своими гиперболами и веселой болтовней, что за несколько часов распродал весь свой товар. Веселый, вернулся я вечером к моему хозяину, который был поражен моими успехами и наотрез отказался взять мою долю прибыли в уплату за пансион.

Итак, я снова при деле, и в кармане у меня деньги, необходимые для того, чтобы удовлетворить потребности моей новой жизни и позволить себе кое-какую роскошь. Хозяин мой Ханс отправил меня на три дня в соседние области, где мне удалось распродать все, что завалилось у него в мастерской. Когда я вернулся, он расплатился со мной еще более щедро, чем обещал, но едва я заговорил о том, чтобы уехать от него, как он рассердился, разразился слезами, назвал меня неблагодарным сыном и предложил мне в жены свою дочь, рассчитывая этим меня удержать. Девушка была хороша собою и поглядывала на меня приветливо и простодушно. Я разыграл из себя дурачка, как сказали бы многие из моих прежних знакомых острословов. Я не попытался даже поцеловать ее и потихоньку уехал ночью, захватив с собой Жана и два риксдалера. Все остальное, то есть еще два риксдалера, я оставил доброму сапожнику в Троппау в уплату за расходы.

Надо было уйти как можно дальше, все равно куда, насколько позволят мои средства, так, чтобы

не пришлось рассказывать всем тем людям в разных немецких и польских городах, к которым мне были даны рекомендации, о постигшем меня несчастье, ибо доказать, что это было так, я ничем не мог, разве только моей бедностью. Подозрительность бургомистра Троппау излечила меня от намерения говорить всем о своей беде. У меня не осталось выданных мне свидетельств, я должен был теперь рассчитывать только на себя самого и на правдоподобие моих утверждений. Но может ли говорить правдоподобные вещи тот, кто просит помощи? Впрочем, меня это особенно не огорчало. Я уже успел привыкнуть к своему положению и еще раз в жизни убедился, что завтрашний день всегда настает для тех, кто умеет претерпеть сегодняшний.

Два дня спустя я оказался в захудалой таверне напротив коренастого и крепкого парня, который сидел, облокостившись на стол, и, прикрыв руками лицо, казалось спал. За мои десять пфеннигов мне подали кружку пива, немного хлеба и сыра. Питаясь подобным образом, я мог прожить еще с неделю. Хозяйка что-то спросила сидевшего напротив меня парня, но тот ей не ответил. Когда он поднял голову, я увидел на глазах его слезы.

«Вы голодны,— спросил я,— и вам нечем заплатить?»

«Увы»,— лаконично ответил он.

«Ну что ж,— продолжал я,— там, где хватит еды одному, хватит и двоим. Поешьте».

Ничего не говоря, он вытащил из кармана нож и отрезал себе хлеба и сыра. После того как он молча поел, он сказал мне несколько слов благодарности, и мне захотелось узнать причину его горя. Не знаю уж, какое у него было настоящее имя, но сейчас он разъезжал под именем Пуффо. Он был из Ливорно, города, который в отношении определенного рода людей пользуется в Италии дурной славой. В глазах любого моряка Средиземноморского побережья житель Ливорно — синоним пирата. Человек этот, возможно, оправдывал ходячее мнение: в прошлом он был моряком и отчасти флибустьером. Сейчас он был гаером.

Я слушал его без особого интереса, потому что рассказывал он плохо, а слушать о приключениях интересно только из уст хорошего рассказчика, ибо,

если в них разобраться, рассказы эти уж очень похожи один на другой. Однако когда этот человек стал говорить о своем не приносившем дохода театре, я все же спросил его, какие представления он давал.

«Боже ты мой!— вскричал он.— Это самое пропащее дело, которым я когда-либо в жизни занимался! Черт бы побрал того, кто меня надоумил!»

С этими словами он вытащил из мешка марионетку и в сердцах швырнул ее на стол.

От удивления я даже вскрикнул: эта марионетка, до ужаса грязная и рваная, была творением моих рук, это был *burattino*, сделанный на мой лад! Впрочем, что я говорю. Это была моя первая кукла, мой главный персонаж, мой остроумный и очаровательный Стентарелло, краса моих дебютов в предгорьях Апеннин, любимец прелестных генуэзок, созданный моим резцом, плод моего вдохновения, столп моего театра!

«Как, несчастный!— воскликнул я.— У тебя в руках Стентарелло, и ты не умеешь им пользоваться?»

«Меня, правда, уверяли,— ответил он,— что кукла эта приносила в Италии много денег, и тот, кто мне продал ее в Париже, сказал, чтобы я никому ее не отдавал. То же говорили и другие участники труппы, принадлежавшей нарядно одетому итальянцу, который утверждал, что составил себе состояние благодаря... Может, это были вы?»

Он рассказал мне, как он не без успеха выступал на перекрестках дорог во Франции с нашим театром и его актерами, как, зная несколько иностранных языков, он хотел *путешествовать*, но, поскольку ему *не везло*, он страшно бедствовал до той минуты, пока я не встретил его, решившего уже было продать свою *лавочку* и заняться дрессировкой медведя, которого он собирался добыть в горах.

«Ладно,— сказал я,— покажи мне свой театр и все, что ты умеешь делать».

Он отвел меня в сарай, где я помог ему расставить его балаганчик. Среди всяких дрянных случайных марионеток, одетых в лохмотья и побитых, я узнал самых лучших кукол моей труппы. Пuffedo разыграл мне одну из сцен, чтобы я имел понятие о его даровании. Он довольно ловко управлялся с *burattini*, и у него был свой несколько грубоватый

талант, но сердце мое обливалося кровью, когда я видел, что мои актеры попали в такие руки и что им приходится играть такие роли. Поразмыслив, однако, я пришел к выводу, что провидение свело моих кукол и меня к нашему общему благополучию. Я тотчас же дал в деревне представление и заработал дукат, к великому изумлению Пуффо, который с этой минуты всецело положился на меня во всем, что касалось театра, актеров и своей собственной участи.

Ну, скажите, разве мне не покровительствовало небо? Разве я вновь не обрел единственную возможность свободно продолжать мои путешествия, не будучи никому ничего должен и не изменяя ни имени, ни лица по капризу публики? За несколько дней все марионетки были снова отделаны моим резцом, вычищены, раскрашены, приодеты и аккуратно уложены в удобный и портативный ящик. Самый театр тоже был подновлен и приспособлен для двоих *opérandi*. Я взял Пуффо к себе в услужение, вменив ему в обязанность содержать, располагать и хранить театр, а также вместе со мною переносить его на своих крепких плечах, что было для него привычным делом, ибо больше чем когда-либо мне хотелось, чтобы Жан служил науке и носил мой багаж естествоиспытателя.

Пуффо, разумеется, парень недалекий. Соображает он туго, но никогда не лезет в карман за словом, ибо владеет даром говорить, ничего не сказав. На каком бы языке он ни изъяснялся, произношение у него плохое, но в чужих странах его все же понимают, а это много значит. Вот почему я оставил его при себе. Разговариваю я с ним мало, но мне все же удалось отучить его от грубых слов. Я поручаю ему разыгрывать сценки из народной жизни, это нечто вроде интермедий, позволяющих мне иногда немного передохнуть. Когда у меня на сцене бывают одновременно три или четыре персонажа, я пользуюсь его руками и довольно ловко заставляю всех участников спектакля говорить так, что зрители слышат совершенно различные голоса. Словом, господин Гёффе, вы видели мой театр и знаете, что на наших представлениях бывает весело. Тем не менее в Германии дела у нас шли не очень-то хорошо, и мне подумалось, что в Польше они пойдут лучше. У поляков французский дух и итальянский вкус. Итак, мы

проехали Польшу и из Данцига после полуторамесячного успешного путешествия по стране отплыли в Стокгольм, где у нас были очень хорошие сборы. Там я и получил приглашение барона Вальдемора и с удовольствием его принял, ибо оно давало мне возможность поехать по стране, которая меня больше всего интересовала. Все мои помыслы всегда влекли меня на север, то ли в силу тех разительных контрастов, которые он являет жителю юга, то ли в силу некоего патриотического инстинкта, который пробудился во мне еще в детстве. Между тем мое северное происхождение, заподозренное ученым-филологом, который в детском лепете моем распознал полузабытые, искаженные слова скандинавского наречия, вещь вполне достоверная. Но неважно: мечта это или предчувствие, у меня всегда перед глазами стоит — я вижу ее и сейчас — некая романтическая страна, и мне радостно было продлить мое путешествие и приехать сюда, то есть пересечь Маларен и добраться до Веттерна, чтобы объездить весь край больших озер.

Но мне были предопределены разные несчастья. Пуффо, который разжирел на моих хлебах и который стал бояться усталости, решил нанять сани для переезда через таинственное озеро Веттерн, глубины которого, по-видимому, сотрясаются вулканическими взрывами. Подо льдом погибли мое платье, белье и деньги. По счастью, сам Пуффо переходил озеро пешком и успел спастись вместе с возницей, у которого погибли сани и лошадь. По такой же случайной случайности я пошел берегом вместе с Жаном, который вез театр, актеров и мой научный багаж. Поэтому, благодарение богу, не все потеряно, и завтра я снова буду при деньгах — завтра ведь я даю платное представление в замке Снеговика.

— Послушайте, — сказал Гёфле, еще раз пожмая руку Христиана Вальдо, — ваша история заинтересовала меня и позабавила. Я не знаю, приятно ли вам было ее рассказывать, но ваша манера быстро говорить, расхаживая по комнате, ваша итальянская жестикаляция и лицо жителя уж не знаю какой страны, но, безусловно, выразительное и счастливое, приковали меня к вашей повести. Я вижу в вас человека незаурядного ума и очень доброго сердца, а те ошибки, которые вы ставите себе в вину, па мой

взгляд, значат очень мало по сравнению с заблуждениями, в которые вы могли бы впасть, когда вступили в свет таким юным, без наставника, без денег и наделенный красотою, которая легко может погубить как мужчин, так и женщин в развращенном обществе Неаполя или Парижа...

— Значит ли это, господин Гёфле, что в северных странах люди в нравственном отношении выше и чище? Я был бы рад этому поверить, однако то, что я видел в Стокгольме...

— Увы, мой дорогой друг, если вы судите о нас по интригам, тщеславию, жестокости и подлой продажности нашей теперешней знати, как «колпаков», так и «шляп», вы должны подумать, что хуже нас нет ни одной нации на свете, но вы ошибаетесь, ибо в действительности мы, шведы, народ хороший, и нам нужна только революция или большая война, для того чтобы на поверхность всплыли наши высокие качества, те песчинки чистого золота, которые лежат где-то глубоко на дне. Сейчас же, глядя на нас, вы видите одну только пену... Но давайте поговорим лучше о вас, вы ничего не рассказали мне о вашей жизни в Стокгольме. Как могло случиться, что в этой стране интриг и всеобщего недоверия вы смогли носить маску и вас не побеспокоили агенты тех трех или четырех полиций, которые работают на свои партии?

— Дело в том, что я не всегда ношу маску, и вы в этом можете убедиться, господин Гёфле. Это бы меня очень стеснило, и стоит мне отойти на сотню шагов от моего балагана, как у меня уже нет оснований прикрывать лицо маской, принимая самые простые предосторожности, чтобы сбить с толку любопытных. Не такая уж я важная персона, чтобы люди стремились во что бы то ни стало меня увидеть, и та небольшая таинственность, которой я себя окружаю, в значительной степени присуща репутации, которую я приобрел. В конце концов, я не настолько уже в плену у светских предрассудков, чтобы огорчаться, если когда-нибудь маска моя упадет на улице и прохожий случайно узнает совершенно известного адепта науки, который под другим именем занимается ею в другие часы и в других кварталах города.

— Ах, вот как? Этого-то вы мне и не сказали. Значит, в Стокгольме у вас было еще другое имя, а

не Христиана Вальдо, и жили вы в другом доме, а не там, где пребывали Жан, Пуффо и ящики со всей остальной труппой?

— Вы правы, господин Гёфле. Что же касается имени, то вы хотите знать буквально все?

— Ну конечно же. Вы что, не доверяете мне?

— Коли вы так толкуете, то я с величайшей охотой покоряюсь. Это имя — Дюлак, не что иное, как французский перевод моего первого вымышленного имени *del Lago*. Я присвоил его себе в Париже, чтобы по какой-нибудь несчастной случайности не навлечь на себя месть неаполитанского посла.

— Отлично! И что же, живя под этим именем, вы успели завести в Стокгольме какие-нибудь полезные знакомства?

— Я не особенно к этому стремился, торопиться мне было незачем. Мне хотелось сначала хорошо познакомиться с достопримечательностями города по части искусств и наук, а потом узнать его жителей, их вкусы, обычаи! Иностранец, у которого нет в городе никаких знакомых, очень легко может изучать нравы и воззрения народа в местах общественных сборищ. Я так и сделал, теперь же мне бы хотелось узнать всю Швецию, чтобы потом вернуться в Стокгольм и Упсалу и быть представленным там знаменитым ученым, и прежде всего господину Линнею. К тому времени я получу рекомендательные письма, которые мне должны прислать из Парижа, и смогу рассказать кое-что интересное этому знаменитому ученому. Я могу найти где-нибудь в глуши редкостные растения, которых он не знает, ему будет приятно получить их в подарок. Нет такого путешествия, которое не принесло бы полезных открытий или новых полезных наблюдений над вещами уже известными. Лишь тогда, когда он может поделиться итогами своих исследований и результатами своих изысканий, молодой человек имеет право явиться к маститым ученым; иначе он всего-навсего удовлетворяет свое тщеславие или любопытство, отнимая у них драгоценное время. Что же касается полиции — вы ведь меня и о ней спросили, — то после беглого допроса, на котором я отвечал, по-видимому, достаточно откровенно, она оставила меня в покое. Славные горожане, у которых я жил и которые относились ко мне как к родному, поручились за мою благонадеж-

ность и помогли мне скрыть от публики мою двойную жизнь. Итак, вы видите, господин Гёфле, что в настоящем моем положении все сложилось к лучшему и что я могу сохранять хорошее расположение духа, потому что у меня есть свобода, довольно прибыльное занятие, страсть к науке и мир, открытый для меня, легкого на ногу!

— Однако кошелек ваш на дне озера Веттерн...

— Знаете что, господин Гёфле, озера-то ведь населены добрыми духами, с которыми я, разумеется, нахожусь в хороших отношениях, хоть и сам того не знаю. Разве я не зовусь Кристиано *del Lago*? Либо тролль Веттерна вернет мне мой кошелек, когда я всего меньше буду этого ждать, либо он подкинет его какому-нибудь бедному рыбаку, который будет очень этому рад; в обоих случаях результат окажется превосходным.

— Да, но все же... У вас в кармане есть хоть какие-нибудь деньги, мой мальчик?

— Ни гроша, господин Гёфле,— со смехом ответил молодой человек.— У меня было ровно столько денег, сколько требовалось, чтобы прибыть сюда, немного, правда, подтянув живот, для того чтобы мой слуга и мой осел могли есть вволю; но нынче вечером у меня будет тридцать риксдалеров сбора за мою комедию, и после обильного завтрака вместе с вами подле этой превосходной печки, глядя на этот чудесный пейзаж, сияющий алмазами там, за окном, сквозь облако дыма, которым наши трубки наполнили комнату, я чувствую себя самым богатым и самым счастливым из смертных.

— Решительно, вы чудак,— сказал Гёфле, вставая с места и выбивая трубку.— В вас есть одновременно что-то от мужчины и от малого ребенка, от ученого и искателя приключений. Мне кажется даже, что вы до безумия любите этот последний период своей жизни и, будучи далеки от мысли считать его чем-то неприятным, хотели бы продлить его под предлогом непомерной гордости.

— Позвольте, господин Гёфле,— ответил Христиан,— что касается гордости, то здесь не может быть середины, это или все, или ничего. Я вкусил нищеты и знаю, как при этом легко бывает опуститься. Надо, стало быть, чтобы человек, предоставленный своим собственным средствам, привык не бояться ее и даже

как бы играть с нею. Я вам сказал, что в большом городе она было мне тягостна. Дело в том, что там, среди всякого рода соблазнов, она очень опасна для человека молодого и деятельного, который легко поддается страстям. Здесь же, напротив, в путешествии, иначе говоря — на свободе, находясь под защитой вымышленного имени, позволяющего мне возвратиться завтра в общество в обличье человека серьезного, я чувствую себя легко, как школьник на каникулах, и, признаюсь, мне совсем не хочется снова обременять себя цепями принуждения и досадными условностями.

— В общем-то... да, я понимаю,— сказал доктор прав,— мое воображение, которое не совсем еще приутилось, рисует мне достаточно ярко радости этой кочевой и беззаботной жизни. Но ведь вы же любите свет, и ведь не ради того, чтобы исследовать северные льды в полуночный час, вы надели мое парадное платье?

В эту минуту дверь отворилась, и Ульфил, которому Гёфле, разумеется, отдал какие-то распоряжения, пришел сказать, что сани запряжены. Казалось, Ульф совсем протрезвел.

— Как,— в изумлении воскликнул доктор прав,— который же час? Двенадцать часов дня? Нет, не может быть! Эти старые часы подвигают... Да нет,— мне сейчас же надо идти поговорить с бароном насчет большого процесса, ради которого он меня сюда вызвал. Удивительно, как это, зная о моем приезде, он до сих пор еще не прислал никого узнать обо мне!

— Но господин барон посылал,— ответил Ульф,— разве я вам об этом не говорил, господин Гёфле?

— Ни слова!

— Он посылал час тому назад сказать, что ночью чувствовал себя плохо, не то бы явился сюда сам...

— Сюда?.. Ты преувеличиваешь учтивость барона, мой дорогой Ульф... Барон никогда не заглядывает в Стольборг!

— Очень редко, господин Гёфле, но...

— Понимаю. Ну а как насчет почтенного Стенсона, его-то я смогу увидеть? Прежде чем отпраздновать в замок, я зайду проведать этого достойного человека. Он что, все так же глух?

— Еще пуще оглох, господин Гёфле; он теперь и слова не услышит из того, что вы скажете.

— Ну, так я объяснюсь с ним знаками.

— Знаете, господин Гёфле... Дело в том, что дядя еще не знает, что вы здесь.

— Вот как! Ну, так он узнает.

— Он будет очень меня ругать за то, что я не предупредил его... и за то, что я согласился...

— На что? На то, чтобы я здесь переночевал, не правда ли? Так ты скажешь ему, что я обошелся без твоего позволения.

— Вообразите,— добавил Гёфле по-французски, обращаясь к Христиану,— ведь мы водворились здесь обманным путем, и господин Стенсон, управляющий старым замком, об этом ничего не знает. Очень странно еще, что упомянутый господин Стенсон, а равно и его уважаемый племянник, здесь присутствующий, очень не любят, когда кто-то хочет переночевать в этих развалинах, до такой степени они убеждены, что здесь водятся злые духи...

Гёфле напустил вдруг на себя серьезный вид, словно, привыкнув посмеиваться над подобными вещами, он вдруг начал себя в этом упрекать, и внезапно спросил Христиана, верит ли тот в привидения.

— В галлюцинации — да,— не задумываясь, ответил Христиан.

— А у вас они иногда бывали?

— Несколько раз, когда я болел лихорадкой или бывал уж очень утомлен. Тогда, правда, их было не так много, как при лихорадке, и я понимал, что это мне чудится; однако видения эти были довольно отчетливы и очень меня тревожили.

— Ну вот видите, вот видите!— вскричал Гёфле.— Так представьте же себе... Но я расскажу вам все это вечером, сейчас мне некогда. Я уйду, друг мой, я иду к барону. Очень может быть, что он оставит меня обедать, а обедает он в два. Во всяком случае, я постараюсь вернуться как можно раньше. Послушайте, окажите мне, пока я хожу, одну услугу.

— И две и три, если вам угодно, господин Гёфле. Что я должен сделать?

— Поднять моего лакея.

— Разбудить его?

— Нет, нет: поднять его, одеть, застегнуть ему

гетры, натянуть на него штаны — они ведь очень узкие, и у него не хватит сил...

— Да, понимаю, ваш преданный старый слуга хилый, больной?

— Нет, не совсем так... Да вот и он! Просто чудо! Он встал без посторонней помощи. Это похвально, уважаемый Нильс! О, да вы делаете успехи! В двенадцать часов уже на ногах! И оделись собственными силами! Вы не очень устали?

— Нет, господин Гёфле,— ответил мальчик с торжеством.— Я очень хорошо застегнул себе гетры. Поглядите!

— Немного, правда, перекосили, но в общем-то ничего. Ну а теперь вы до вечера собираетесь отдыхать, не так ли?

— О нет, господин Гёфле, я собираюсь поесть, я очень голоден и вот уже добрый час из-за этого не могу уснуть.

— Видите,— сказал Гёфле, обращаясь к Христиану,— каким слугою обеспечила меня моя экономка! Теперь я поручу ему позаботиться о вас. Заставьте его вас слушаться, если можете. Я уже махнул на него рукой. Ладно, Ульф, проходи, я иду за тобой.. Что это там еще такое? Что это?

— Это,— ответил Ульфил, мысли которого неспешно следовали неторопливому восходу солнца,— это письмо, которое у меня давно в кармане, я забыл...

— Передать его мне? Вот так-так! Видите, Христиан, как хорошо нас обслуживают в Стольборге!

Гёфле распечатал конверт и прочел письмо, останавливаясь на каждой фразе, чтобы сделать по поводу нее замечания по-французски:

— «Мой дорогой адвокат...» Я знаю этот почерк... Это графиня Эльведа, знаменитая кокетка; приверженец России в юбке!.. «Я хочу увидеть вас первой. Я знаю, что барон ждет вас к двенадцати. Сделайте одолжение, приходите в Стольборг немного пораньше и загляните ко мне, мне надо сообщить вам важные вещи...» Важные вещи! Какие-нибудь глупые козни, черные как уголь и легко различимые глазами, как тот же уголь на снегу! Честное слово, слишком поздно, время прошло.

— Конечно, время прошло,— заметил Христиан,—

а то, что вам собирались сказать, и вовсе не стоит слушать.

— Ах, так вы, оказывается, знаете, о чем идет речь?

— В точности, и я вам сейчас же все расскажу, не боясь, что вы поддадитесь желанию, в равной степени отвратительному и нелепому. Графиня хочет выдать свою прелестную племянницу Маргариту замуж за старого и угрюмого барона Олауса.

— Я все это знаю и открыто высмеял это превосходное намерение. Сочетать браком прелестный месяц май с бледным декабрем? Надо быть таким же белым старым колпаком, как пик Сюльфильетта, чтобы в голову могли прийти подобные мысли!

— Ну, я был уверен, что вы так скажете; не правда ли, господин Гёфле, ведь это же подло обречь Маргариту на закляние?

— Обречь Маргариту? Э, так выходит, что вы хорошо с ней знакомы?

— Очень мало. Я видел ее: она прелестна.

— Так говорят. Но откуда, черт возьми, вы знаете графиню, и как вам удалось выведать ее тайные намерения?

— Это еще одна история, которую я должен вам рассказать, если у вас есть время...

— Ну уж нет, какое там время... Но тут еще есть постскрипtum, я не разглядел... Ничего не понимаю. «Должна похвалить отличные манеры вашего племянника и его ум...» Моего племянника! Нет у меня никакого племянника! Да что она, с ума сошла, графиня? «Однако при всем своем уме он непростительно сплеховал, и вы должны хорошенько намылить ему голову за его наглость! Мы с вами об этом поговорим, и я постараюсь загладить его сумасбродства, мне хочется сказать — его глупости...» Его наглость, его глупости! Похоже, что господин племянник там немало всего натворил! Но только, черт возьми, где же мне теперь искать этого молодца, чтобы ему намылить голову?

— Увы, господин Гёфле, далеко вам идти не придется, — жалобно сказал Христиан. — Неужели вы не догадываетесь, что если я мог явиться без маски на вчерашний бал, то, уж во всяком случае, не под именем Христиана Вальдо?

— Не спорю, но выходит, что вы избрали себе имя Гёфле?

— Приглашение на это почтенное имя лежало у меня в кармане.

— Оказывается, милостивый государь,— строго сказал Гёфле, и в глазах его блеснул гнев,— вы не довольствуетесь тем, что присваиваете чужие вещи, начиная с пудры для парика и кончая башмаками, вы позволяете себе еще пользоваться чужим именем и делать другого человека ответственным за все сумасбродства, которые вам угодно совершать! Это уже ни на что не похоже...

Тут наш добрый Гёфле не мог сдержаться и разразился смехом — до такой степени положение Христиана Вальдо показалось ему забавным. Молодой человек, вскипевший от гнева и гордый, с трудом сносил брошенный ему в глаза прямой упрек и, казалось, горел желанием тут же резко на него возразить, тем более что, с одной стороны, Ульф, не понимавший ни слова из того, что говорил Гёфле, но догадывавшийся по его интонациям, что тот разгневан, невольно сам подражал его взглядом и жестам, а, с другой, маленький Нильс, точно так же ровно ничего не знавший о сути дела, встал напротив Христиана с гордым, едва ли не угрожающим видом.

Христиану, которого выводили из себя эти две фигуры, нелепо копировавшие во всем Гёфле, очень хотелось ударить старшего кулаком, а мальчишку пнуть ногой, но он чувствовал, что был неправ, и очень огорчился тем, что позволил себе обидеть такого любезного и приятного человека, как доктор прав. Физиономия его, на которой были написаны то досада, то раскаяние, была настолько выразительна, что наш адвокат оказался совершенно обезоруженным. Смех же его равным образом обезоружил и его обоих клеветников, которые стали тоже смеяться из солидарности с ним и вслед за тем вернулись к исполнению своих обязанностей, а в это время Христиан рассказал в нескольких словах Гёфле то, что графиня Эльведа назвала его наглой выходкой, и то, что, как он считал, могло послужить к его полному оправданию. Гёфле, при всем том, что спешил уйти, выслушал его внимательно и, когда Христиан кончил, сказал:

— Ну, разумеется, мой мальчик, вы ничем не за-

пятнали имени Гёфле. Напротив, вы вели себя по-рыцарски. Тем не менее вы поставили меня в крайне затруднительное положение. Помнит барон Олаус или нет о припадке эпилептической ярости, который вы в нем вызвали, вряд ли он мог позабыть о том, что вы его оскорбили. Вам ведь говорили, что этот человек ничего не забывает, и вам лучше всего возможно скорее убраться отсюда в обличье Гёфле, ибо речь идет именно о Гёфле. И не думайте выходить из этой комнаты без маски. Станьте снова Христианом Вальдо, и вам нечего будет бояться.

— Но скажите, почему я должен бояться барона, даже если я отправлюсь к нему с открытым лицом? Что, это действительно человек, способный подослать ко мне убийц?

— Ничего не знаю, Христиан; клянусь вам честью, что я ровно ничего не знаю, и в этом вы мне можете верить. Ведь если бы, общаясь с ним, я получил хоть малейшее подтверждение всех тех обвинений, которые на него возводят, я бы просто перестал с ним встречаться. Я не очень опасался бы потерять богатого клиента и не преминул бы сказать ему в глаза жестокие истины, независимо от того, были бы они полезны или нет. Однако некоторые слухи так распространились, и столько людей, которые позволяли себе противиться барону, постигала беда, что я порой задумывался над тем, не дурной ли у него глаз, не то ли, что у вас в Италии называют, если не ошибаюсь, словом *gettatura*¹, до такой степени, что для того, чтобы не навлекать на себя несчастье, позвольте мне объявить всем, что *племянника моего* с утра здесь уже нет, что, иначе говоря, он снова отправился в дальние путешествия.

— Уж если дело идет о том, чтобы не подвергать вас какому бы то ни было риску, то можете положиться на мое благоразумие. Я выйду отсюда или надев маску, или переодевшись так, что никто не узнает во мне галантного и необычайно рыцарственного танцора этой ночи.

После этих слов Гёфле и Христиан Вальдо пожали друг другу руки. Нильса, от которого за все это время требовалось только, чтобы он успел позавтра-

¹ Человек с дурным глазом (итал.).

кать, хозяин укутал теперь в меха и должен был сам посадить в сани и вложить ему в руки вожжи и кнут. Но как только мальчик почувствовал себя на месте, он помчался как стрела и спустился со скалы очень уверенно и ловко. Править лошадью было единственное, что он умел и что делал охотно.

Что касается Ульфа, которому Гёфле, прежде чем ехать в новый замок, дал соответствующие распоряжения, то он приготовил для Христиана постель, на которой спал Нильс, а для Нильса — большой диван, где он мог теперь отдыхать в свое удовольствие; после этого Ульф, по-прежнему скромный в своем неповиновении, отправился исполнять распоряжения дядюшки, ни словом, однако, не обмолвившись тому о постояльцах, водворившихся в старой башне.

VII

Читатель, может быть, помнит, что старый Стенсон жил во флигеле, расположенном в глубине второго внутреннего дворика, который вместе с более обширным пространством между ним и первой оградой и составлял территорию заброшенного замка Стольборг. О появлении этого старинного замка существовала легенда, восходившая к эпохе распространения в Швеции христианства. На скале стоял тогда деревянный дом. Однажды осенью во время сильной бури владелец его, в ту пору язычник, испугавшись, что порывами ветра дом будет унесен на дно озера, дал обет принять новую веру, если только небеса спасут его от яростной стихии. Крышу дома уже снесло, но не успел он произнести слова обета, как из недр скалы чудодейственно поднялась гранитная башня, и после того, как владелец дома принял крещение, ураган никогда больше не сотрясал эту могучую твердыню.

В противовес этой правдивой истории знатоки местной старины решались утверждать, что квадратная башня Стольборга относится всего-навсего к эпохе короля Биргера, иначе говоря — к XIV веку. Так или иначе замок с окружавшим его небольшим поместьем был приобретен неким отважным дворянином по имени Вальдемора в XV веке. В XVII столетии Олаф Вальдемора сделался фаворитом коро-

левы Христины, которая подарила ему несколько участков королевских земель, иные из которых находились именно в этой части Далекарлии. История не утверждает, что Вальдемора непременно был любовником взбалмошной наследницы Густава-Адольфа. Может быть, королеве просто понадобились деньги, и она уступила ему эти богатые угодья по невысокой цене. Очевидно, что в пору *редукции* 1680 года, когда деятельный король Карл XI пересмотрел все земельные договоры и вновь воссоединил с королевскими владениями все, что было незаконно отчуждено его предшественниками,— страшной, но вместе с тем и спасительной меры, обеспечившей Швеции дотации на университеты, школы и суды, создание почтовых учреждений, поселенной армии и оказавшей ей ряд других благодеяний, которых старые «колпаки» так и не простили королю ко времени нашего рассказа, барон Вальдемора на законном основании сохранял за собою большие земельные угодья, полученные от деда, и завершил отделку нового замка, который тот построил на берегу озера, дав ему свое имя.

Итак, единственным, что оставалось от прежнего фамильного замка, была башня, казавшаяся очень высокой из-за массивного каменного укрепления, спускавшегося к водам озера. На самом деле в ней было только два этажа, а именно — медвежья комната и караульня, находившиеся почти на уровне двора, и над ними еще одна или две комнаты, куда лет двадцать, иначе говоря — с того времени, когда верхнее помещение замуровали, никто никогда не проникал. Остальная часть замковых построек, много раз подвергавшихся переделке, была своего рода норвежским гордом. Известно, что словом «горд» в Норвегии называют усадьбу, в которой селится несколько семейств, живущих сообща. Комнаты, кухни, столовые, хлева и кладовые не теснятся под одной крышей, как в других местах, а представляют собой самостоятельные строения; каждое из них имеет отдельную крышу, а все они в целом являют собой множество непохожих друг на друга домиков. Многие обычаи в Швеции сходны с норвежскими, особенно же в этой части Далекарлии, которая ближе всего к пограничным горам. В ту пору, когда Стольборг, после того как ему предпочли новый замок, сделался сельской фермой, в этих краях насчитыва-

лось уже несколько гордов, расположенных подобным же образом. Как и во всей Швеции, а равно и во всех странах, где много деревянных строений, здесь часто случались пожары, и наиболее древние из этих домиков хранили еще на себе следы огня. Их обугленные углы и покоробленные крыши, словно черные призраки, выделялись на фоне снежных гор.

Двор, окруженный замшелым навесом, кое-как соединявшим различные строения, с дощатой крышей, сверкавшей бахромой ледяных сосулек, являл взгляду кучу заброшенных швейцарских шале. Давно уже ферму перенесли в другое место, и все замковые постройки были предоставлены в распоряжение Стенсона, который больше уже не поддерживал эти ни на что не нужные лачуги, служившие разве только местом хранения кормов и сушеных овощей. Грубые плиты, которыми когда-то вымостили двор, были испещрены множеством желобков, выдолбленных в камне бурными весенними потоками; ни одна дверь не держалась на петлях, и казалось, что если теперь еще раз не будет принесен какой-нибудь торжественный обет, наподобие того, что был дан первым владельцем дома, малейшим дуновением ветра в первую же весну или осень сразу сметет все эти домики, и они скроются на дне озера.

Второй двор, расположенный позади первого, был уже более новой пристройкой, менее живописной, но несравненно более удобной. Пристройка эта относилась к тому времени, когда барон Олаус Вальдемора унаследовал земельные угодья от своего брата Адельстана и вступил во владение поместьем. Он построил нечто вроде второго маленького горда для своего верного Стенсона, чтобы управляющему не захотелось покидать этих стен, которые возбуждали в нем ужас. Итак, пристройки эти составляли новую кучку домов, расположенную несколько ниже, чем первая, на склоне скалы. Скаты крыш упирались в неотесанный камень и были сложены особенным образом, как принято в этой стране: это были еловые бревна, хорошо прошпаклеванные мхом, устланные березовою корой, а поверх всего — слоем земли, покрытым газоном. Известно, что такие газоны на крышах сельских домиков являются в Швеции предметом особого внимания; иногда даже они разделены на грядки и на них сажают цветы и кустарники.

Крыши эти бывают покрыты густой и пышной травой, где стада находят самый лакомый корм.

В этой-то части построек старого замка, которая и носила специальное название *горд*, тогда как другая называлась просто двором, жил последние двадцать лет Стенсон, настолько уже немощный и дряхлый, что он почти никогда не выходил из своего флигеля — очень теплого, очень опрятно убранного, а снаружи выкрашенного в красный цвет окисью железа. Жить ему там, конечно, было очень удобно: помещение было наглухо отделено от домика, где жил его племянник, кухня находилась в одном из шале, коровник и молочная ферма — в другом. И тем не менее жизнь этого загадочного старца была на редкость однообразна и печальна. По самому расположению его жилища замечалось, или, во всяком случае, можно было заметить, сколько труда было вложено, чтобы заделать все двери и окна, выходившие в сторону башни и даже замка. Проникнуть в дом можно было только через маленькую боковую дверь, а для того, чтобы добраться до комнаты, приходилось еще и петлять по узенькому коридору. Казалось, что он боится увидеть с этой стороны башню через открытую дверь. Но в конце концов, може быть, это было всего лишь предосторожностью на случай, если вдруг подует западный ветер.

Как бы в подтверждение всей дурной молвы, ходившей в этих местах, Стенсон чрезвычайно редко выходил из своего домика — для того, чтобы погреться немного на солнце в узеньком садике на берегу озера, и то всегда со стороны, противоположной башне. Говорили, что едва только на аллен начинала ложиться слабая тень от флюгера, он спешил уйти из сада и возвратиться домой, как будто эта зловещая тень несла с собой ужас и страдание. Во всем этом вольнодумцы из нового замка, мажордом и вновь нанятые слуги видели одни только чрезмерные предосторожности, превратившиеся у зябкого и болезненного старика в настоящую манию. Однако Ульфил и подобные ему считали это неопровержимым доказательством того, что в мрачном Стольборге водятся злые духи и страшные привидения. Говорили, что за все двадцать лет Стенсон ни разу не прошел двором и не выходил за пределы западных ворот замка. Когда ему непременно требовалось

быть в новом замке, он отправлялся туда через свой фруктовый сад, где внизу на причале у него стояла собственная лодка.

Хотя присутствие барона в новом замке, где он обычно бывал в те дни, когда ему не приходилось принимать участие в заседаниях *stendoerne* (парламента), членом которого он был, ничего не меняло в жизни Стенсона, Ульфил заметил, что вот уже несколько дней, как его дядюшка пребывает в состоянии волнения. Он все расспрашивал о старой башне, как будто был заинтересован в сохранности этой проклятой великанши. Ему захотелось узнать, заходит ли туда время от времени Ульф, проветривает ли он медвежью комнату, в какие часы и не замечал ли он там чего-либо необычного. В этот день Ульф солгал, не без раскаяния, правда, зато без колебаний: кивком головы и движением плеч он подтвердил, что ничего нового не произошло. У него были веские основания надеяться, что Стенсон, не выходявший по случаю холодной погоды из дому, ничего вообще не заметил, и он ясно слышал, как в кармане Гёфле именно ради него прозвенели несколько экю, но так, что своды Стольборга не поколебались от возмущения из-за такой малости. Не будучи человеком жадным, Ульф не пренебрегал, однако, перепавшей мздой и; может быть, уже начинал мириться с существованием башни.

Пойдя на эту ложь, Ульф подал дядюшке второй завтрак и собирался было уйти, когда тот попросил его достать Библию, стоявшую в его библиотеке на особой полке и в которую он заглядывал редко. Стенсон положил Библию перед собой на стол и знаком велел Улфу выйти. Однако племянник его, сгорая от любопытства узнать намерения дядюшки, спустя минуту приоткрыл дверь и, убедившись, что его не слышат, тихо подошел к креслу, в котором сидел старик; он увидел, как тот, словно невзначай, просунул между страницами нож, открыл толстый том и внимательно прочел стих, на котором задержалось острое ножа. Он повторил трижды этот опыт, благочестивый и вместе с тем каблистический, применявшийся даже у северных католиков, чтобы выведать у бога тайны грядущего, соответственным образом истолковав слова писания, на которые укажет судьба. Затем Стенсон закрыл Библию

и обхватил руками голову, словно для того, чтобы воспринять разумом то, что перед тем предстало его взгляду, и Ульф удалился, сильно встревоженный результатами этого опыта. Заглядывая дядюшке через плечо, он сумел прочесть три стиха. Вот они в том порядке, в каком на них указал жребий:

«...Пучина и смерть говорят: мы слышали о ней!»

«...Не плакал ли я разве из любви к тому, кто испытал тяжелые дни?»

«Сокровища грешника предназначены для праведника».

Отдельные стихи этой таинственной и великой книги почти все поддаются толкованию в любом смысле, который может подсказать фантазия. Поэтому старый Стен, прочтя первый стих, задрожал, молитвенно сложил руки на втором, а после третьего с чувством облегчения вздохнул. Но Ульфил слишком много выпил накануне и был не в состоянии надлежащим образом истолковать все сказанное в священной книге. Однако он все же со страхом спросил себя, не выдала ли старая Библия сплетенную им ложь, рассказав о ней дядюшке в аллегорической форме, понять которую было ему, Ульфу, не под силу.

Он был выведен из своего раздумья появлением во дворике нового гостя: это был Пуффо, который пришел, чтобы условиться с Христианом относительно вечернего представления. Пуффо не отличался многословием — он не любил зимней природы и не понимал ни слова по-далекарлийски. Однако в эту минуту он пребывал в довольно хорошем расположении духа, и на это были свои причины. Он поздоровался с Ульфом почти по-дружески, в то время как тот, совершенно ослепленный, смотрел, как незнакомец бесцеремонно, словно к себе домой, ввалился в медвежью комнату.

Пуффо застал Христиана за разбором ящика с образцами различных минералов.

— О чем вы тут призадумались, хозяин? — спросил он. — Не время сейчас камушками заниматься, надо готовиться к вечернему представлению.

— Черт побери, я как раз об этом и думаю, — ответил Христиан, — ну что мне было делать одному, без тебя? Пора бы уж тебе и пожаловать! Где это ты слоняешься со вчерашнего дня?

Пуффо не стал оправдываться и рассказал, как он нашел на мызе хороший ужин и хороший ночлег, и как, подружившись с лакеем из замка, который там был, он возвестил всем о приезде в Стольборг Христиана Вальдо. После того как он позавтракал, его вызвал к себе мажордом и очень любезно с ним говорил; он объявил ему, что ровно в восемь часов вечера в замке ждут представления театра марионеток.

— «Ты скажешь своему хозяину,— добавил мажордом,— что господин барон хочет, чтобы было очень весело, и что он просит его проявить все свое остроумие».

— Так, так,— сказал Христиан,— остроумие по приказу господина барона! Пусть же он поостережется, как бы этого остроумия не оказалось у меня чересчур много! Только скажи мне, Пуффо, ты разве не слышал, что барон болен?

— Да, этой ночью ему как будто действительно было худо,— ответил фигляр,— но он уже успел позабыть об этом. Может быть, он напился, хотя лакеи его говорят, что он никогда не пьет; только мыслимое ли это дело, чтобы такой богач, как он, не попользовался тем, что у него хранится в погребе!

— Ну а ты, Пуффо, бьюсь об заклад, что ты-то уж кое-чем попользовался?

— Да, спасибо лакею,— сказал Пуффо,— у него полюбовница на мызе есть, он-то меня и пригласил к себе за стол, ну вот доброй водки я с ним и выпил порядком, это хлебная водка, немного грубовата, правда, но зато и греет же, вот я и спал потом как убитый.

— Я восхищен твоей удачей, уважаемый Пуффо, но надо бы подумать и о нашей работе. Поди-ка погляди сначала, как там Жан, не хочет ли он есть или пить, а потом придешь ко мне за распоряжениями. Только поторопись!

Пуффо вышел, а Христиан принялся за дело: повздыхав немного, он закрыл ящик с минералами, чтобы открыть другой, с *burattini*, когда звон бубенцов на приближавшихся санях заставил его поглядеть в окно. То не был возвращавшийся раньше времени доктор прав; он увидел хорошенькие голубые с серебром сани, которые накануне вечером привозили в Стольборг Маргариту.

Надо ли говорить, что Христиан позабыл обещание, которое эта милая девушка дала мнимому Гёфле: вернуться на другой день! По правде говоря, Христиан, после всех событий, происшедших на балу, больше уже не рассчитывал на возможность этого визита и не подумал даже известить о нем настоящего Гёфле. Может быть, он уже считал свое вчерашнее приключение завершённым, может быть, даже хотел, чтобы это было так, ибо куда оно могло его завести? Разве только вызвать одно презрение и проклятие — он ведь отнюдь не был человеком, способным воспользоваться неопытностью ребенка.

Однако сани все приближались; они поднялись по склону, и Христиан заметил одетую в горностаевый капюшон хорошенькую головку юной графини. Что делать? Хватит ли у Христиана духу захлопнуть перед ней дверь или послать Пуффо сказать ей, что доктора прав нет дома? Ну да! Ульф сейчас же ей все передаст; нечего ему и вмешиваться. Сани вот-вот повернут обратно. Христиан остался стоять у окна, гостываясь увидеть, как они спускаются по склону. Однако они не спустились, и дверь отворилась. Перед ним стояла Маргарита, и Христиан едва успел захлопнуть крышку ящика, откуда все еще нескромно торчали большие носы и улыбающиеся губы ма-рионеток.

— Как, сударь,— удивленно вскричала молодая девушка,— вы все еще здесь? Вот этого-то я уж никак не ожидала! Я надеялась, что вы уехали.

— Так вы никого не встретили во дворе?— спросил Христиан, который, по-видимому, был уже не прочь обвинить судьбу в этом стечении обстоятельств.

— Никого я не видела,— ответила Маргарита,— и так как я приехала потихоньку, то поспешила поскорее войти, чтобы меня никто не заметил. Только, повторяю, господин Гёфле, вам бы не следовало здесь быть. Барон, вероятно, уже знает имя того, кто так вызываясь себя с ним вед, и, клянусь вам, вы должны были уехать.

— Уехать? С вашей стороны очень жестоко мне это говорить! Но вы напоминаете мне, что я и на самом деле уехал. Да, да, можете быть спокойны, я уехал, чтобы никогда не возвращаться. Господин Гёфле сказал, что я могу навлечь на него неприят-

ности, я обещал ему, что исчезну, и, как видите, я уже укладываю багаж.

— О, тогда продолжайте, я не хочу вас задерживать!

— Вам не терпится забыть всякое упоминание обо мне? Но только знайте, это дело решенное: я уплываю в Америку, а может быть, и дальше, я мчусь на всех парусах, чтобы мой страшный враг не мог меня настичь, а на глаза мои навертываются слезы при воспоминании о первой кадрили, которой суждено стать в моей жизни последней...

— Со мною— да, но не с другими же?

— Кто знает? Человек, который разговаривает сейчас с вами, всего только тень, всего только призрак того, кем он был вчера. Мое второе «я»— игрушка волн и судьбы, мне до него не больше дела, чем до обитателей луны.

— Боже ты мой, какой же вы весельчак, господин Гёфле! А знаете ли вы, что мне-то совсем не весело?

— И в самом деле,— сказал Христиан, пораженный грустным видом Маргариты,— какой же я негодай, что говорю о самом себе, когда должен был бы побеспокоиться о последствиях того, что произошло вчера вечером! Не удостоите ли вы меня ответом, если я позволю себе задать вам вопрос?

— Ну, конечно, после всего того, что по воле судьбы я вам рассказала о себе... Нынче ночью тетка бранила меня, и мадемуазель Потен получила приказ уложить мои вещи и отвезти меня сегодня же в Дальбю; но утром все вдруг переменялось, и после тайных переговоров с бароном, к которому, по ее словам, вернулись *здоровье* и *обычная веселость*, было решено, что я остаюсь и что до наступления вечера мне надлежит думать только о своем туалете. Кстати, знаете ли вы, что сегодня вечером у нас будет Христиан Вальдо? Говорят даже, что он остановился здесь, в Стольборге. А раз он здесь, то вы его, вероятно, уже встретили? Вы его видели?

— Ну, конечно.

— И без маски? Расскажите, какой он! В самом деле у него вместо головы череп?

— Еще того хуже! У него деревянная голова.

— Перестаньте же смеяться надо мной!

— Я нисколько не смеюсь. Стоит вам его увидеть,

и вы поклянетесь, что лицо его вырезано из дерева, да еще тупым ножом. Он похож на самую уродливую свою марионетку, вот на эту, взгляните!

И Христиан показал ей нелепую физиономию сбира, торчавшую из ящика. Не будь Маргарита так взволнована, она заметила бы его и сама.

— Подумать только!— воскликнула она не без испуга.— Так это и есть его *хитрый ящик*? Уж не живет ли он в этой комнате вместе с вами?

— Нет, успокойтесь, вы его не увидите. Он ушел, испросив у господина Гёфле позволения оставить здесь свой багаж.

— Бедняга,— задумчиво сказала Маргарита,— он до такой степени некрасив! Ну и верьте после этого всему, что рассказывают! А ведь какие-то люди видели его и говорили, что он красавец. Он, может быть, уже и старик?

— Ему должно быть около сорока пяти лет. Но о чем вы задумались, и почему вы такая грустная?

— Не знаю, мне просто грустно.

— Но ведь вы же остаетесь в замке и сегодня вечером увидите марионеток!

— Послушайте, господин Гёфле, вы принимаете меня за ребенка. Вчера на балу мне действительно было весело, я забавлялась, я была счастлива, я думала, что уже навсегда избавилась от барона. А сегодня вот узнаю, что у моей тетки опять появились надежды, я отлично это понимаю, мне придется снова предстать перед человеком, которого я отныне ненавижу всей душою. Разве он не оскорбил меня вчера и так подло? Напрасно тетка говорит, что он хотел пошутить, с девушкой моего возраста не шутят так, как с детьми. Чтобы немного успокоить мою оскорбленную гордость, я постараюсь убедить себя, что он говорил в забытьи, что у него уже начинался нервный припадок, когда он произносил эти грубые слова. Такого же мнения держатся и мои подруги, но откуда я знаю, что он мне скажет сегодня, когда мы увидимся? И если он снова оскорбит меня — по злобе ли своей, или по безумию,— то кто встанет на мою защиту? Вас там не будет, и никто не посмеет...

— То есть как это никто не посмеет? Что же это за мужчины вас окружают? А эти славные молодые люди, которых я видел вчера?

— Да, конечно, я тоже считаю их славными, но

они не знают меня, господин Гёфле, и, может быть, они сочтут, что я заслужила оскорбления барона. Плохая это для меня рекомендация — быть вывезенной в свет моей теткой, за которой, хоть и несправедливо, утвердилась репутация женщины, жертвующей всем во имя политики.

— Бедная Маргарита! — сказал Христиан, огорченный тем, в какое трудное положение попала славная девушка.

На лице его она прочла искреннее волнение, и так как в манерах его не было ни малейшей фамильярности, которая могла бы ее обидеть, Маргарита позволила ему коснуться ее руки, которую он тотчас же опустил, как только отдал себе отчет, что происходит.

— Послушайте, — сказал он, — вам надо принять какое-то решение!

— Я его уже приняла. Трудно сделать только первый шаг. Теперь я буду сама нападать на это чудовище, Олауса, при каждой встрече я при всех буду говорить ему, что он за человек, и пусть меня лучше считают коварным демоном, нежели фавориткой этого далекарлийского паша. В конце концов, я лучше всего смогу защитить себя сама; ведь если бы вы были там, я боялась бы на это решиться, чтобы еще больше вам не повредить, и сделалась бы еще сдержаннее. Но все равно, господин Гёфле, я никогда не забуду добрых советов, которые вы мне дали, и рыцарского мужества, с каким вы осадили мерзкого барона. Не знаю, увидимся ли мы с вами когда-нибудь еще, но где бы вы ни были, все помыслы мои будут с вами, и я буду молить бога, чтобы он ниспослал вам больше счастья, чем досталось на мою долю.

Христиан был глубоко тронут искренностью и нежностью этой прелестной девушки. И во взгляде и в словах ее сквозила неподдельная сердечность без малейшей примеси кокетства.

— Милая Маргарита, — сказал он, поднося ее прелестную ручку к губам, — клянусь вам, что я тоже всегда буду вас помнить! Как жаль, что я не богат и не знатен! Тогда я, может быть, был бы в силах вам помочь, и будьте уверены, я сделал бы все, чтобы обрести счастье сделаться вашим покровите-

лем. Но я ничто, и поэтому я ничего не могу для вас сделать.

— От этого признательность моя не становится меньше,— ответила Маргарита.— Вы для меня как брат, которого я раньше не знала и которого господь послал мне в тяжелый для меня час. Взгляните точно так же и вы на нашу короткую встречу, и давайте простимся и не будем отчаиваться в том, что нас ожидает.

Маргарита была настолько чистосердечна, что в душу Христиана закрались угрызения совести. С минуты на минуту мог вернуться господин Гёфле, и невозможно было предположить, чтобы молодая графиня, которая обратила внимание на сходство в интонациях мнимого дяди и мнимого племянника, не поразилась бы, увидев их вместе, полному отсутствию сходства. К тому же Гёфле не станет, разумеется, поддерживать весь этот обман, и Христиан с горечью думал о том, что оставляет Маргарите плохую память о себе. Поэтому он сам признался ей во всем и повинился в том, что, не зная ее, позволил себе дурную шутку — похитил шубу и шапку доктора прав, чтобы выдать себя за него, добавив, что горько во всем раскаивается, увидев, над какой ангельской душой он хотел посмеяться. Маргарита немного рассердилась. Когда Христиан обратился к ней в первый раз на бале, у нее мелькнуло было подозрение, что это кто-то другой, но он с такой искренностью рассказал ей, что слышал из соседней комнаты, что все сомнения ее рассеялись.

— Как выяснилось, вы искусно умеете лгать,— сказала она,— и как легко вы можете обмануть человека! Я не в обиде на самую шутку: явившись сюда, я поступила неблагоразумно и совершила рискованный шаг, за что и была наказана этой мистификацией. Мне только грустно, оттого что вы до конца разыгрывали все с таким апломбом и таким чистосердечием.

— Скажите лучше — с раскаянием и ложным стыдом: первый грех всегда влечет за собой другие и...

— И что же еще? В чем еще вы собираетесь признаваться?

Еще мгновение, и Христиан рассказал бы всю правду. Но он удержался, сообразив, что, услышав имя Христиана Вальдо, Маргарита тут же убежала бы,

огорченная и негодующая. Поэтому он решил быть искренним только наполовину и остаться для молодой графини Христианом Гёфле. Однако это притворство, которое по отношению к каждому другому человеку приносило ему тайную радость, стало ему очень тягостным, когда она устремила на него свой ясный взгляд, омраченный опасением и упреком.

«Я хотел поиграть с ней как ребенок с ребенком,— подумал он,— но помимо нас в игру эту вмешалось чувство, и чем оно чище и нежнее, тем более я чувствую себя виновным...»

Он, в свою очередь, помрачнел, и Маргарита это заметила.

— Послушайте,— сказала она с улыбкой, в которой светилась лучезарная доброта,— не будем портить излишними придирками интересную главу романа, который закончится, оставив нас обоих такими же благонамеренными, какими мы были. Вы ведь не злоупотребили моим доверием, чтобы действительно посмеяться надо мной. напротив, вы помогли мне рассчитывать только на самое себя, чтобы противостоять злой судьбе, и я далека от того, чтобы чувствовать себя обиженной и смешной: по сравнению со вчерашним я теперь тверже стою на ногах.

— Это действительно так, вы говорите правду?— порывисто спросил Христиан,— господь свидетель...

— Договаривайте же до конца,— сказала Маргарита.

— Ну так вот,— горячо сказал Христиан,— господь свидетель, что при всем этом я не думал о себе и что единственной заботой моей было ваше счастье.

— Я это знаю, Христиан,— воскликнула Маргарита, вставая и протягивая ему руки,— я знаю, что вы видели во мне только несчастную сестру перед богом... Я благодарна вам, а пока я хочу проститься с вами, ведь скоро вернется ваш дядя; он меня не знает, и вовсе не нужно говорить ему, что я приезжала. Но скажите ему все, что хотите, я уверена, что он не станет действовать против меня: он такой же порядочный и великодушный человек, как и вы.

— Да, но... вы же приехали с тем, чтобы о чем-то с ним посоветоваться,— сказал Христиан, который с сожалением видел, что роман стремительно приближается к концу,— для того, чтобы во что-то его посвятить. Может быть, надо, чтобы он знал...

— Я приехала,— после некоторого колебания ответила Маргарита,— попросить его, чтобы он сказал точно, как поступит со мною моя тетка, если она встретит с моей стороны открытое неповиновение... Но все же и это было трусостью. Мне не к чему это знать. Пусть же меня ждет изгнание, отчуждение от всех, заключение, побой — не все ли равно? Я не сдамсь, я вам это обещаю, я клянусь... Если я когда-нибудь и выйду замуж, то только за человека, которого смогу... уважать.

Маргарита не дерзнула сказать «любить». Христиан тоже не осмелился произнести это слово; но глаза их сказали его, а на щеках у обоих вспыхнул румянец, говоривший о взаимном чувстве. После их искреннего разговора, продолжавшегося около часу, это было единственное и стремительное признание в том, что они по-настоящему еще не сказали себе сами. Маргарита — потому что не знала, что она любит, Христиан — потому что был уверен в том, что не любит. Но когда Маргарита села в сани и уехала, а Христиан потерял ее из виду, оба почувствовали, что сердце у них разрывается от боли. Незаметно набегавшие слезы увлажняли щеки молодой девушки, а Христиан, охваченный потоком каких-то смутных мыслей, глубоко вздохнул, как будто, пробуждаясь от солнечного сна, он возвращался в холодную зиму. Чтобы дольше видеть убегающие сани, он вошел в медвежью комнату и стал у окна между рамами, но в это время услышал позади себя какой-то шорох, заставивший его оглянуться, и взгляду его предстала картина, которая немало его удивила.

Посреди комнаты стоял худощавый бледный старик с благородными чертами лица, очень опрятно одетый в серое, по старинной моде; в руках у него была зеленая ветка. Христиан не слышал, как он вошел, и это лицо, освещенное проникавшим в комнату сквозь единственное окно косым красным лучом солнца, в котором играли пылинки, походило на какое-то фантастическое видение. Выражение этого лица было не менее странно, чем его неожиданное появление. Оно казалось нерешительным, удивленным, что видит себя здесь, маленькие стеклянные глазки с изумлением взирали на перемены, которые принесло в это мрачное жилище вторжение новых обитателей. Немного подумав, Христиан сообразил, что это не

привидение, а скорее всего старик Стенсон, который пришел засвидетельствовать свое почтение господину Гёфле и удивился, что не застал его дома. Но что означает эта зеленая ветка и почему у него такой боязливый и растерянный вид?

Это действительно был старик Стенсон, и хотя он плохо слышал, зрение у него было отличное. Зажженный огонь, накрытый стол и мерно качающийся маятник сразу же поразили его, но передвигался он очень медленно, и поэтому у Христиана было время отойти и спрятаться за изъеденной мышами занавесью, прежде чем старик обратил свой взгляд на открытое окно. Поэтому Христиан мог наблюдать его, оставаясь незамеченным. Что же до Стенсона, то он подумал, что это его племянник, который, как ему было известно, любил выпить, пригласил втайне от дяди нескольких друзей, чтобы вместе с ними провести здесь рождественский вечер. До какой степени это его возмутило, только он один мог бы рассказать. Первой заботой старика было навести в комнате порядок. Он начал с того, что стал извлекать щипцами из печи горящие угли, чтобы огонь погас. Потом, прежде чем убрать со стола посуду или заставить преступника самого это сделать, он остановил маятник и переставил стрелки на четыре часа, так, как было, когда Христиан вошел в эту комнату и своей рукою святотатственно пустил их в ход. Потом Стенсон обернулся, словно для того, чтобы сосчитать свечи в люстре, но солнце било ему в глаза, и он направился к окну, чтобы поскорее его закрыть.

В эту минуту Христиан, который мог быть застигнут врасплох, вышел из своего укрытия. При появлении незнакомца, освещенного лучами заходящего солнца, Стенсон, который вырос в суеверной семье и сам был достаточно суеверен, отступил и оказался под люстрой, причем лицо его изобразило такой страх, что Христиан, забыв о том, что старик глух, обратился к нему очень почтительно и кротко, чтобы его успокоить. Но голос его потонул в этой открытой и выстуженной комнате, и эхо ни разу его не повторило. Стенсон мог только увидеть движение его губ, его красивое лицо и добрые глаза. Старик упал на колени, протягивая ему руки, словно молил его о чем-то или благословлял, и, весь дрожа, протянул

ему ветку кипариса, как будто делал подношение некоему божеству.

— Послушайте, дорогой мой,— сказал Христиан, возвышая голос и подходя ближе, чтобы поднять старика,— я никакой не бог, я даже не рождественский ангел, который влетает через окно, а вылетает через печную трубу; встаньте!.. Я...

Но Христиан остановился: он увидел, что лицо старика, в котором и так не было ни кровинки, покрыла смертельная бледность. Он понял, что до смерти его напугал, и отошел в сторону, чтобы дать ему время прийти в себя. Вскоре Стенсон действительно приободрился, но лишь настолько, чтобы подумать о бегстве. Он прополз немного на коленях, с трудом поднялся и вышел через спальню, бормоча про себя какие-то бессвязные слова. Решив, что это приступ помешательства, возникшего от старости или чрезмерной религиозной экзальтации, Христиан не стал следовать за ним, он боялся, что это может окончательно сразить старика, и, подняв ветку, которую тот уронил к его ногам, обнаружил, что к ней был привязан кусочек пергамента; развернув его, он прочел три стиха из Библии, написанных еще довольно твердой рукою:

«Пучина и смерть говорят: «Мы слышали о ней!»

«Не плакал ли я разве из любви к тому, кто испытал тяжелые дни?»

«Сокровища грешника предназначены для праведника».

Христиану некогда было долго раздумывать над смыслом этой загадки. Время шло быстро. К половине второго прозрачные тени снежных вершин растянулись уже по голубоватой поверхности озера. Это было чудесное зрелище, и Христиан был бы рад наслаждаться им, ничем не отвлекаясь. Эти короткие северные дни дают иногда удивительные по своей красочности эффекты, и даже в полуденные часы видна, как говорят художники, игра *светотени*. Это означает, что лучи падают косо, и от этого все предметы как бы купаются в свете и тени, как у нас в утренние и вечерние часы. Может быть, в этом и заключается та особая прелесть освещения, о которой с таким восторгом говорят все, кто путешествовал по северу. Путешественников по Швеции и Норвегии поражают не одни только необыкновенные пей-

важи, бурные водопады, огромные озера и великолепие северного сияния. Они утверждают, что самое красивое там — это прежде всего тот восхитительный свет, при котором мельчайшие предметы приобретают особый блеск и очарование. Люди, живущие в других странах, не могут даже представить себе этого.

Однако наш герой, восхищаясь красотами неба, замечал в то же время, что день уже клонится к закату, и видел издали приготовления к празднику, за который он в известной степени был в ответе. Из труб нового замка поднимались густые клубы черного дыма, резко выделявшиеся на фоне розовато-перламутровых облаков. Ружейные выстрелы, которые глухо отдавались в снегах, возвещали об усилиях охотников заполнить вертела этих пантагрюэлевских очагов. Видно было, как по ледяному покрову маленького озера разбегаются во все стороны проворные конькобежцы, посланные с какими-то спешными поручениями: они сталкивались друг с другом и порою летели кувырком. Чинилась безжалостная расправа над всеми богатствами округи, начиная с огромных поленьев, которые должны были полыхать в каждой комнате замка, и кончая несчастными белыми куропатками, которые напрасно надеялись спастись от зоркого взгляда человека и от шуха безжалостных гончих.

Итак, все готовились к великолепному пятому рождественскому вечеру (ибо это было двадцать восьмое декабря), и один только Христиан и не думал готовиться к нему. Его беспокоило, что Пуфф не возвращается. Переодевшись в отрепье, сдвинув на лоб длинную пышную шевелюру и надвинув на глаза остроконечную шапку, он отправился разыскивать своего слугу по дворику, по горду и заглянул даже на кухню, где накануне так напугал Ульфа. Он, однако, позабыл спуститься в погреб — там он мог бы увидеть Пуффа, спавшего сладким сном.

Христиан уж было собрался вернуться, когда ему пришло в голову отправиться в маленький садик старика Стенсона. Сначала он издали оглядел его и, удостоверившись, что старого управителя, которому он причинил столько тревоги своим появлением, там сейчас нет, спустился вниз по крутой дорожке, ведущей к озеру. Оттуда он мог видеть всю сторону гор-

да, откосом спускавшегося к маленькой бухточке. Старая каменная постройка так плотно примыкала к скале, что трудно было отличить естественное укрепление от возведенного людьми. Все было перевито стеблями ползучих растений, от инея ставших похожими на кристаллы и окунавшихся в озеро, где они были плотно зажаты льдом. Добравшись до этого места, Христиан стал вспоминать все, что с ним случилось накануне, когда он хотел исследовать потайной ход в медвежью комнату. Мы обещали читателю рассказать об этом, и сейчас как раз пора это сделать.

Вспомним, что для того, чтобы раздобыть что-нибудь на ужин, Христиан пошел по узкому проходу, начинавшемуся под лестницей и скрытому за дверью, очень плотно пригнанной к деревянной панели стены: он думал, что ход этот ведет к домику Стенсона. Но оказалось, что это не так. Сделав несколько шагов по узкому коридору, Христиан обнаружил крутую лестницу; она была завалена мусором, можно было подумать, что по ней давно уже никто не поднимался. В нижней части этой очень глубоко спускавшейся лестницы он натолкнулся на открытую дверь. Удивленный тем, что казавшийся ему таким загадочным потайной ход открыт, он попытался пройти дальше, но порыв ветра задул его свечу, и он очутился в темноте. Осторожно ступая, он сделал еще несколько шагов, но тут луна вышла из-за туч, и он очутился в своего рода гроте, откуда в нескольких местах можно было выйти на озеро. Он прошел по этой галерее, казалось, выдолбленной самой природой, куда прорыкала вода из озера. Продолжая свой путь по льду, он добрался до маленькой калитки, через которую нетрудно было перелезть и проникнуть сначала в садик, а потом — в горд Стенсона.

Эта калитка, по обе стороны которой росли молодые тисы, подрезанные в виде сахарных голов, обратила сейчас на себя внимание Христиана и помогла ему узнать те места, по которым он проходил ночью. Хоть и не рассчитывая здесь найти Пуффо, Христиан вышел из садика и пошел по озеру вдоль откоса, под каменной стеною в направлении башни. Ему интересно было увидеть днем тот путь, который он проделал ночью — наполовину наугад в темноте, наполовину при свете луны.

Так он добрался до входа, как ему казалось тогда, в грот. В действительности это было всего-навсего нагромождение огромных валунов гранита, из тех, что называют, если не ошибаюсь, *эратическими*, обозначая этим словом то, что их находят вдали от места появления и там, где их окружают горные породы совсем иного характера. Предполагают, что валуны эти — следствие некоего первоначального, или, напротив, недавнего, катаклизма, неистовства потоков или кропотливого труда ледников, которые и забросили их в эти места очень издавна. Валуны эти, округлившись, стали голышами, и прихотливое нагромождение их, казалось, свидетельствовало о том, что, гонимые бурными потоками, они встретили на своем пути преграду в виде сольборгских сланцев, которым с тех пор и стали служить опорой и контрфорсом. Идти здесь было совсем нелегко: накануне вечером выпал снег, а ветер смел его, или, вернее, скатал вдоль голышей толстыми складками, похожими на складки савана.

Христиан собирался уже вернуться, когда его вдруг поразили живописные контуры башни, которая здесь была видна снизу, и он отошел немного подальше, чтобы охватить ее взглядом всю целиком. Невольно глаза его стали искать местоположение медвежьей комнаты и сразу же остановились на единственном окне на высоте около ста футов над поверхностью озера и пятидесяти над верхними валунами. Было не очень холодно, и Христиан, у которого в кармане всегда был небольшой альбом, начал размахисто набрасывать обрывистый край скалы и хаос гигантских валунов; беспорядочное нагромождение составляло, как груды песчаника в Фонтенбло, целые галереи и крытые ходы, имевшие очень странный вид.

С любопытством оглядывая местность, Христиан услышал вдруг чье-то пение и сначала не обратил на него особенного внимания. То был голос крестьянки, звучавший несколько приглушенно, а по временам дрожавший, как будто пела женщина пожилая или больная. Это походило на какое-то песнопение, и в заунывной, однообразной мелодии была своя прелесть. Печальная песня, звучавшая на высоких нотах, навевала грусть на молодого художника и повергала его в такое состояние, когда он мог с осо-

бенным проникновением ощутить и передать характер тех мест, с которыми так удивительно гармонировал этот голос. Сначала слова показались Христиану совершенно непонятными, но потом, по мере того как он бессознательно все больше и больше вникал в них, он начал понимать их, ибо то были шведские слова, произносимые с далекарлийским акцентом. Вскоре смысл их настолько поразил его своей необычностью, что он стал вслушиваться внимательнее.

— «Я видела замок, квадратный домик в часы заката. Ворота его глядят на север. Капли яда сочатся сквозь высокие окна. Пол его вымощен змеями.

Древо мира обвивает себя ветвями, могучий ясень трепещет. Огромный змей кусает волны. Орел кричит; бледным клювом своим он раздирает трупы; корабль мертвецов снушен на воду.

Где асы, где эльфы? Они вздыхают у входа в пещеры. Солнце меркнет, все умирает.

Но земля, восхитительная в своем зеленом наряде, снова начинает блистать на востоке; воды пробуждаются, водопады устремляются вниз.

На вершине неба я видела дворец прекраснее солнца... А теперь я уже его не вижу. Вала погружается в ночь».

Понемногу в отрывках этой мрачной поэзии Христиан узнал несколько видоизмененные или восстановленные по памяти стихи древней поэмы «Волупта». В простонародном произношении певицы они звучали совсем необычно. Неужели же у местных крестьян могли сохраниться традиционные скандинавские священные песни на мифологические сюжеты? Вряд ли это было возможно; кто же тогда перевел их и обучил им эту женщину? Христиан, как истый путешественник, любознательный ко всему, решил расспросить певицу, как только закончит свой набросок, но когда несколько минут спустя он сунул свой альбом в карман, голос перестал быть слышен. Он оглядел все вокруг и никого не увидел. Решив, что пели где-то за валунами, он захотел пройти по ним и все выяснить. Это было не легче, чем идти по толстому слою наметенного снега, который их окаймлял. Внутри главной пещеры, которая, прихотливо

извиваясь, следовала за скалою на протяжении шагов пятидесяти, лед был бугристым и скользким, как будто в одну из холодных осенних ночей прибрежные водовороты мгновенно оледенели.

Однако нашему путнику удалось обнаружить следы своих же шагов, когда накануне он шел по этим местам, считая, что под ногами у него обломки кирпича и черепицы, и вскоре он снова очутился перед таинственной дверью, через которую вышел из башни, но на этот раз она была заперта. Христиан заметил два железных кольца и замок, ключ из которого был вынут и, как видно, совсем недавно. Должно быть, женщина, которая пела, подобно Стенсону и Ульфилу, имела отношение к охране старого замка. Она, вероятно, была где-то неподалеку, потому что еще пять минут тому назад она пела. Женщина эта могла находиться только где-нибудь среди валунов; ни на озере, ни на склоне Христиан никого не заметил. Он вернулся, чтобы выйти из грота, где было довольно темно и куда свет проникал только в среднюю его часть через естественное отверстие. Он стоял там немного, смотря на небо. Но он увидел не только небо, но еще и нечто нависавшее над скалою и выступавшее на прямой и ровной стене башни. Вскоре он понял, что это был низ каменного балкона под окном медвежьей комнаты с двойной рамой и что с этого балкона по каменным глыбам можно было сойти вниз прямо на валуны по веревочной лестнице или просто по веревке и сразу же оказаться укрытым тем сводом, который они образовали в этом месте.

Будучи человеком романтически настроенным, Христиан сразу же представил себе, как здесь можно было бы спастись бегством, если бы разразилась война или если бы пленника заточили в Стольборгской башне. Он взобрался на валуны, служившие неровными стенами гроту, и, правда, не без труда, но все же вылез через это отверстие, которое, как он окончательно убедился, не было делом рук человека. Разглядывая его, он пришел к размышлению, которому каждый предавался хотя бы раз в жизни: в отчаянном положении человек иногда находит пути к спасению столь невероятные, что они как будто выходят за пределы реального, и кажется, что так бывает только в романах. Не оставив, однако, мысли о том, чтобы найти левизну, Христиан продолжал

свои поиски, карабкаясь по валунам. Хотя они находились на неодинаковом расстоянии друг от друга, по ним можно было кое-как пройти. Он никого не нашел и готов уже был отказаться от своей затеи, когда голос зазвучал снова, но на этот раз ниже того уровня, где, как ему казалось, он услышал его впервые. Он направился в ту сторону, но едва достиг места, где рассчитывал найти таинственную певицу, как песня снова внезапно оборвалась, подобно жужжанию стрекозы, почуввшей приближение человека, и прозвучала с другой стороны, гораздо выше, словно она парила где-то в пространстве. Христиан поднял голову и заметил на стене башни длинную расщелину, едва заметную из-под плюща. Она проходила почти вертикально от окна третьего этажа, значительно правее окна медвежьей комнаты, вплоть до куска обрушившейся стены, и оканчивалась среди нового нагромождения камней.

Ему даже показалось, что по этой трещине то и дело скатываются вниз маленькие камушки, как будто кто-то бросал их сверху. Однако, подойдя к ней ближе, он счел ее недоступной для человека и направился дальше.

Жалобная песня зазвучала меж тем вновь, и Христиан, которого это вначале забавляло, начал терять терпение; он снова принялся искать таинственную певицу, переходя с места на место по этому хаосу гранитных глыб. Но каждый раз его ожидало новое разочарование, и он в конце концов вышел из себя. В этой дикой песне, в этих обрывках какого-то мрачного апокалипсиса, обрывавшихся сразу и словно вдохновенных безумием, в этом зловещем месте и в эти грустные сумеречные часы было что-то страшное, и Христиану невольно подумалось о живущих в воде ведьмах, без которых не обходится ни одна шведская легенда, да и вообще народные верования всех северных стран Европы.

Он наконец решил, что голос этот доносится из башни. Может быть, там в одной из темниц томится пленница. Три раза Христиан окликнул ее, назвав ее наугад известным из мифологии именем *Вала*, иначе говоря — *сивилла*, каковою, видимо, она себя считала. После этого голос замолк, и это было в духе суеверных легенд этих мест, гласивших, что стоит лишь назвать по имени ворчливых или жалобных

горных духов, и они пугаются или умиротворяются и, уж во всяком случае, умолкают.

Но Христианом, направлявшимся в это время к башне, овладела другая мысль: перед тем как вернуться туда, ему пришлось в голову, что, может быть, эта жертва таинственного барона Олауса стонет там, охваченная безумием, где-то в подземелье. Однако вся эта фантазия вылетела у него из головы, как только он увидел господина Гёфле, сидевшего в медвежьей комнате за столом.

— В хорошенькую же историю я чуть было не влип из-за ваших ночных походов!— воскликнул адвокат, продолжая есть.— Странно только, что барон не обмолвился об этом ни словом; зато графиня Эльведа ни за что не хотела поверить, когда я поклялся ей, что нет у меня ни племянника, ни незаконного сына.

— Как, господин Гёфле, вы отреклись от сына, который оказал вам такую честь?

— Да, отрекся. У меня не было возможности ни поддерживать эту шутку, ни взять на себя ответственность за подобную мистификацию. Известно ли вам, что на вас обратили внимание и что, если оставить в стороне все, что произошло между вами и амфирионом, то вы поразили всех, особенно дам, своей обходительностью и прекрасными манерами? В апартаментах графини я повстречал нескольких франтих нашей провинции, которым вы вскружили головы, и когда я дал слово, что сей незнакомец не имеет ко мне ни малейшего отношения, то надо было слышать все их предположения и комментарии! Некоторые готовы были думать, что это не кто иной, как Христиан Вальдо, за которым водятся подобные проказы, но в конце концов решили, что вы наследный принц, путешествующий инкогнито по своим будущим владениям.

— Принц Генрих, который теперь в Париже?

— Он самый, и этим отлично можно было объяснить случившийся с бароном нервный припадок. Он ненавидит принца, и, таким образом, в нем могли столкнуться ненависть, злопамятство и то уважение, которое надлежит воздавать будущему наследнику престола.

— Но не может же графиня Эльведа разделять подобное заблуждение?

— Ну, конечно, нет, она слишком хорошо знает принца; но ведь она большая насмешница и просто потешалась над этими дамами, заявив им, что вы до такой степени похожи на нашего будущего короля, что она не знает, что и думать. Только когда я уже уходил, она отвела меня в сторону и сказала: «Вы чересчур строги, господин адвокат, к этому юному безумцу и напрасно от него отрекаетесь. По-моему, это очень славный юноша, и если он и не похож на вас лицом, то, уж во всяком случае, напоминает вас своим умом и изысканностью манер».

— Вы очень мне этим льстите, господин Гёфле, но неужели она все еще принимает меня за вашего сына?

— Вне всякого сомнения, и чем больше я протестовал, тем больше она надо мной смеялась, говоря, что я теперь уже никак не могу от вас отречься, коль скоро вы открыто представились в свете под моим именем. «Любите кататься,— сказала она,— любите и саночки возить. Этот сумасброд, который приводит вас теперь в ярость,— справедливое наказание за ваши юношеские проделки, вольно же вам было заводить таких отчаянных детей». Подумайте только, какой урон вы нанесли моему доброму имени! В конце концов, чтобы отделаться от вас, я сказал, что, сын вы или племянник, но, так или иначе, вы уехали, что я вас с позором прогнал за то, что вы неуважительно отнеслись к господину барону.

— Ну что же, господин Гёфле, вы хорошо сделали, ибо что касается барона... не знаю, не грежу ли я, но мне, право, начинает казаться, что он и на самом деле Синяя Борода, каким его представляют местные легенды.

— Что вы говорите! Ну так расскажите же мне все, только давайте что-нибудь поедим: сейчас уже больше двух часов, и вы, наверное, голодны?

— Нисколько! Я как будто только что вышел из-за стола. Мы же до полудня завтракали с вами!

— А разве вы не знаете, что в нашем холодном климате полагается есть через каждые два часа? Я вот недавно пил кофе в новом замке, а сейчас пора пообедать. В четыре часа мы будем пить с вами

кофе, в шесть устроим чай, иными словами — в ожидании ужина будем есть хлеб с маслом и сыром.

— Благодарю покорно, как ловко вы все придумали! Я знаю, что такой образ жизни ведут толстые стокгольмские купцы, но вы-то ведь еще такой стройный, господин Гёфле!

— Так вы, что же, хотите, чтобы я совсем превратился в скелет? Так и будет, стоит мне только нарушить заведенный в стране порядок. Поверьте мне, следуйте ему сами, иначе неминуемо заболеее.

— Для того чтобы последовать вашему совету, мне нужны две вещи: время и мой слуга Пуффо. Но время-то идет, а Пуффо появился всего на минуту и снова исчез и вернется, может быть, только завтра утром.

— А не могу я вам чем-нибудь помочь? О чем идет речь?

— Об очень многом. Самое главное, надо выбрать сюжет для пьесы, которую эта скотина Пуффо мог бы разыграть сегодня со мной. Память ему не изменяет при условии, что перед представлением бывает репетиция. А так как мы вот уже несколько дней как путешествуем и ничего не делаем и он этой ночью еще, как видно, напился...

— Полноте, в вашем распоряжении еще пять часов, это же очень много! Мне иногда не требуется столько времени даже для того, чтобы изучить дело куда более запутанное, чем ваши комедии для марионеток! Говорю вам, я обещаю вам помочь, но только при условии, что вы сейчас сядете и поедите со мной: ведь самое скучное — это есть одному.

— Позвольте мне по крайней мере наскоро закусить,— сказал Христиан, садясь против адвоката,— и не очень много говорить, а то мои легкие мне сегодня еще понадобятся!

— Ну хорошо, хорошо,— согласился Гёфле, отрезая Христиану огромный кусок холодной телятины, блюда, которое очень любят шведы, в особенности когда она должным образом сварена,— но что вы мне такое говорили, входя сюда? Что бы вы открыли, если бы у вас было время?

Христиан рассказал о своем приключении и, закончив свой рассказ, спросил, не думает ли господин Гёфле, что в фундаменте Стольборга скрыта старая подземная тюрьма.

— Ничего я об этом не знаю, — ответил адвокат. — Очень возможно, что в каменной твердыне, которая сейчас у нас под ногами, есть подземелье, и если это так, то в том, что оно служило тюрьмой, я нисколько не сомневаюсь. Нравы наших предков отнюдь не отличались мягкостью, и к тому же владельцы поместий и сейчас еще вершат правосудие на своих землях.

— Так вы не сомневаетесь, что и теперь подземелье этой башни может служить тюрьмой?

— Кто знает! Вы хотите этим сказать...

— Что, может быть, там скрывается еще какое-нибудь преступление, что может еще оказаться в живых одна из многих жертв — кто-то, на кого барон излил страшную месть.

— И в самом деле! Любопытно было бы что-нибудь такое открыть, — сказал адвокат и погрузился в раздумье. — А вы уверены, что и этот голос и эти странные песни вам не приснились?

— То есть как это уверен?

— Да ведь вы недавно еще говорили, что человек иногда подвержен галлюцинациям. Так вот, галлюцинации бывают и слуховые и зрительные, и надо, чтобы вы знали (для того, чтобы уберечься от них), до какой степени галлюцинации распространены в Швеции, особенно когда попадаешь на север страны, где у двух третей всего населения это своего рода хроническая болезнь.

— Да, если к этому примешивается еще и суеверие, эти видения становятся прямо-таки заразительными. Только, пожалуйста, не думайте, что я нахожусь под влиянием веры в ведьм и злых духов, живущих в озерах, водопадах и старых замках.

— Ну, я в них, разумеется, не верю. И все-таки... Послушайте, Христиан, независимо от суеверий есть нечто необъяснимое в воздействии, которое северная природа оказывает на людей с пылким воображением. Оно — в воздухе, в звуках, особым образом отдающихся среди льдов, в туманах, принимающих таинственные очертания, в диковинных миражах, появляющихся на наших озерах, в *hagring*¹ — удивительном явлении, о котором вы, разумеется, слышали и которое в любую минуту можете увидеть и на

¹ Мираже (швед.).

этом озере; оно, может быть, также в особенностях кровообращения, нарушенного постоянным вторжением ледяного воздуха в воздух наших жилищ, перенасыщенный теплом, и, напротив, внезапным и неизбежным переходом тепла в холод. Ну что вам еще сказать? Даже самые рассудительные, самые уравновешенные люди, наименее всего склонные к суевериям, те, кто прожил большую часть жизни и никогда не поддавался этим иллюзиям, вдруг становятся одержимыми, и ваш покорный слуга...

— Договаривайте же, господин Гёфле... если только этот рассказ не слишком вам тягостен, вы ведь побледнели как полотно.

— Да я и действительно плохо себя чувствую. Сегодня со мной такое было уже два-три раза. Какое все-таки жалкое существо человек! То, чего он не может понять, страшит его или волнует. Налейте-ка мне стаканчик портвейна, Христиан! За ваше здоровье! В общем-то я доволен, что отказался от торжественного обеда там, в новом замке, и остался с вами вдвоем здесь, в этой проклятой комнате, которой я, впрочем, нисколько не боюсь. Так как вы со своей стороны приносите мне жертву — едите, не будучи голодными, и выслушиваете меня в ущерб вашим собственным делам, то я хочу вознаградить вас за это, рассказав о том, какая у меня была галлюцинация.

Знайте же, дорогой друг, что не далее как вчера вечером, в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся, я, сидя в соседней комнате, погрузился в изучение одного довольно интересного процесса, в то время как мой маленький лакей после всяческих фокусов сонно ушел наконец улежаться спать. Я собиравшись терпеливо выждать четверть часа, потому что мне хотелось есть, а я не знал, что стол здесь уже накрыт, но бес науки, умеющий сделать так, что ни одна профессия не кажется глупой, даже профессия адвоката, завел меня так далеко, что я обо всем забыл, и мой бедный желудок вынужден был кричать мне повсюду, что уже одиннадцать часов вечера.

Я посмотрел на часы — и в самом деле, было уже одиннадцать... Что поделаешь! Я привык к заботам моей экономки, которая предупреждает меня о часах еды, и совсем забыл, что в этой конуре я вверен попечению лунатика Ульфила и мне ни о чем не

напомнят. Что касается Нильса, то, как я вам уже говорил, это мальчик, которого мне дала Гертруда для того, чтобы он обучал меня работе лакея. Итак, обнаружив, что уже целых семь часов я ничего не ел, я встаю, зажигаю канделябр, иду в эту комнату, вижу принесенную вами еду и, приписав это заочное благодеяние Ульфилу, довольно жадно начинаю утолять голод.

Вы уже знаете, мой дорогой Христиан, что в этих развалинах бродит дьявол, во всяком случае, такого мнения держатся правоверные прихожане — по той причине, что здесь, как говорят, была еще недавно часовня одной католички, баронессы Хильды, вдовы Адельстана, старшего брата...

— Барона Олауса Вальдемора, — сказал Христиан. — Неужели же далекарлийцы до такой степени ненавидят католиков?

— Не меньше, — ответил Гёфле, — чем до Густава Вазы они ненавидели протестантов. Это люди, которые не умеют любить и ненавидеть наполовину. Что же касается злого духа, живущего в Стольборге, то старый Стенсон в него не верит. Зато он верит в *даму в сером*, которая, по его словам, не кто иная, как душа покойной баронессы, умершей в этой самой комнате более двадцати лет назад.

За какой-нибудь час до этого я еще смеялся над видениями, чтобы успокоить моего маленького лакея, но вы знаете, из чего рождаются сны: иногда это какое-нибудь слово, которое скажешь сам или услышишь днем, не обратив на него никакого внимания, и тут же таинственным образом забудешь. Они помимо нашей воли пробуждаются в нас потом и живут до ночи. И в то время когда глаза наши закрыты, а разум спит, они вдруг предстают нашему воображению и нашему обманутому взору в виде фантастических образов, сделавшись в десять раз более значительными, а подчас и более страшными.

Надо полагать, что галлюцинация, иначе говоря — видение без сна, следует тем же законам. Я кончил ужинать и только успел закурить трубку, как вдруг пронзительный и жалобный стон, похожий на стенание ветра, который врывается вдруг сквозь отворенную дверь, огласил всю комнату, и в ту же минуту от струи холодного воздуха замерцало пламя горевших на моем столе свечей... Так как в

эту минуту у меня перед глазами была дверь в вестибюль, плотно закрытая и неподвижная, я решил, что Нильс проснулся и открыл за моей спиной дверь, ту, что ведет в караульную.

«Так это опять ты!— вскричал я, вставая.— Ляжешь ты наконец спать или нет, трус несчастный!»

И я направился к этой двери, убежденный, что чудак не посмел распахнуть ее и только немного приоткрыл, чтобы удостовериться, что я нахожусь рядом. Но и эта дверь оказалась запертой.

Но, может быть, увидев меня, мальчишка решил ее снова прикрыть, и я ничего не услышал просто потому, что в эту минуту набивал трубку и подкидывал дрова в камин? Это было весьма вероятно. Я прошел в караульную и увидел, что Нильс спит глубоким сном. Можно было с уверенностью сказать, что он даже не пошевелился. Из предосторожности я потушил огонь в камине и вернулся в свою комнату, где все было спокойно. Жалобного стопа больше не было слышно. Я решил, что это просто порыв ветра, ворвавшийся через какую-то щель, и вернулся к своей трубке и к папке с делом, которое я изучал по просьбе барона.

Это дело, которое для меня интересно связанным с ним каверзными юридическими вопросами, для вас не может представить ни малейшего интереса, и поэтому рассказывать о нем я не стану. Вам достаточно знать, что речь идет об акте продажи, подписанном когда-то бароном Адельстаном, и что имя барона, равно как и его жены Хильды Бликсен, фигурирует в каждой строке этого документа. Имена обоих супругов, умерших в расцвете лет, один — таинственной и трагической смертью, другая — в той самой комнате, где мы находимся с вами сейчас, и, может быть, именно на этой ободранной и расшатанной кровати, которую вы видите, очевидно произвели на меня какое-то впечатление, в чем я не отдавал себе отчета. Я был целиком поглощен своей работой, а дрова в печи сильно трещали, как вдруг мне показавшись, что я слышу на лестнице скрип шагов, и это повторилось несколько раз. Меня это взволновало, и вместе с тем мне стало стыдно оттого, что я задрожал; я решил впредь даже не оборачиваться, чтобы посмотреть, что это может быть. Надо ли удивляться, что старые влажные деревья

ные панели начали потрескивать, когда в камине развели такой огонь?

Я снова погрузился в чтение, но за скрипом ступенок и перил последовал и другой шум. Похоже было, что стену ковыряет каким-то металлическим предметом рука — так неуверенно и слабо, что можно было подумать, будто за развешанными наверху картами скребется крыса. Я посмотрел туда, но ничего не увидел и снова взялся за работу, решив не обращать больше внимания на все эти шумы, которые можно услышать в любом доме и которые имеют всегда самое обычное объяснение. Сущее ребячество начать отыскивать причины всех этих явлений, когда есть более серьезные вещи, которыми необходимо заняться.

Однако, когда скрип и шорох послышались в третий раз, я все-таки обернулся и посмотрел в сторону лестницы. Я услышал, что большая пергаментная карта, прикрывающая замурованную дверь, колышется и странным образом поскрипывает. Я увидел, что она несколько раз приподнялась и снова опустилась на вделанных в нее кольцах и надулась, как будто некий предмет, достаточно крупный, чтобы быть человеческим телом, шевелится позади нее. На этот раз я был действительно потрясен. Может быть, там спрятался вор, собиравшийся улучшить минуту и кинуться на меня. Я мгновенно вскочил, чтобы схватить шпагу со стула, на котором оставил ее, когда приехал сюда: шпаги не было.

— И понятно почему! — воскликнул Христиан. — Увы, она была у меня.

— Не знаю уж, — продолжал Гёфле, — не написал ли я исчезновение шпаги причуде Ульфила, решившего ее спрятать. Дело в том, что я даже не заглянул в свой чемодан и нисколько не был обеспокоен тем, что не вижу кафтана, повешенного мною на спинку кресла. Я не привык заниматься такими вещами сам и, вероятно, уже ни о чем этом не помнил. Проклятая шпага никак не находилась. У меня было время успокоиться и сказать себе, что я трус, что никто не может покушаться на мою жизнь и что если вору захотелось завладеть моими деньгами, то самое разумное, не сопротивляясь, отдать ему кошелек, где их, кстати, было совсем немного.

Итак, клянусь вам, набравшись хладнокровия и

решимости, я обернулся в сторону лестницы. Вот тут-то меня и ждала галлюцинация... Христиан, взгляните-ка на этот портрет, направо от окна...

— Я уже пытался его рассмотреть,— сказал Христиан,— но он так неудачно повешен против света и на нем столько пятен от мух или от сырости, что мне трудно увидеть лицо.

— В таком случае посмотрите его при искусственном свете, тем более что уже начинает темнеть и пора зажигать свечи.

Христиан зажег стоявший на столе канделябр на три свечи, встал на стул и стал рассматривать портрет при этих трех мерцающих огоньках, направляя на него свет своим вынутым из кармана альбомом.

— Все-таки я еще плохо его вижу,— сказал он,— это портрет женщины довольно высокого роста и с хорошей фигурой. Она сидит, и лицо ее укрыто черной вуалью, как носят шведские женщины зимою, чтобы уберечь глаза от слепящей белизны снега. Я вижу руки, очень хорошо написанные и очень красивые. На ней жемчужно-серое шелковое платье с бантами черного бархата. Так это портрет дамы в сером?

— Да, это она, баронесса Хильда.

— Ну раз так, то я хочу разглядеть лицо. Ага, вижу. Какая красавица, сколько в ней обаятельной кротости! Еще минутку, господин Гёфле... Лицо это трогает и пленяет.

— Так вы меня уже больше не слушаете?

— Как же, как же, господин Гёфле! Мне сейчас очень некогда, и вместе с тем ваше приключение настолько меня интересует, что я хочу знать, чем оно закончилось. Слушаю вас.

— Ну так вот,— ответил адвокат,— когда мой взгляд остановился на большой карте Швеции, которая сейчас преспокойно висит здесь перед вами, из-за нее, словно из-за портьеры, появилось человеческое лицо, и это было лицо женщины, высокой и худой, не той стройной красавицы, какою должна бы была быть та, что изображена на этом портрете, но мертвенно-бледной и осунувшейся, как будто вышедшей из могилы, в сером платье, поношенном и грязном, с развязанными и беспорядочно свисавшими черными лентами, и, казалось, она вся еще осыпана могильной землею. Все это было до того мрачно и

страшно, мой дорогой друг, что я закрыл глаза, чтобы избавиться от власти тягостного видения. Когда я снова открыл их — теперь я уже не знаю, было ли это секунду или минуту спустя, — лицо это было прямо передо мной. Женщина спустилась по лестнице, скрип которой был еле слышен, и смотрела на меня растерянно и так пристально, как, по-моему, могли бы глядеть мертвецы, разумея под этим отсутствие всякой мысли, всякого интереса, всякой жизни. Действительно, передо мною, в каких-нибудь двух шагах от меня, стояла покойница, а сам я был точно околдован и, возможно, сделался даже неузнаваемо безобразен, а может быть, волосы у меня стали дыбом — не знаю...

— Право же, видение не из приятных, — воскликнул Христиан, — и, наверно, будь я на вашем месте, я бы или выругался, или что-нибудь разбил. И это длилось долго?

— Не могу сказать. Мне казалось, что это никогда не кончится, потому что я снова закрыл глаза, чтобы отделаться от наваждения, а когда я открыл их, привидение двигалось по комнате. Оно подошло к постели. Что оно там делало, я не знаю. Мне показалось, что оно шевелит занавесом, что оно наклоняется, чтобы что-то сказать тому, кого оно видит, а я не вижу. А потом оно как будто пыталось открыть окно, но, по-моему, так его и не открыло. Наконец оно снова приблизилось ко мне. Я набрался храбрости. Я попытался посмотреть на все трезво. Мне захотелось запечатлеть в памяти лицо этой женщины. Это оказалось выше моих сил. Я видел только огромные мертвые глаза и не мог от них оторваться. К тому же на этот раз привидение быстро прошло мимо меня. Если оно и заметило мое присутствие, то не проявило при этом ни раздражения, ни удивления. Оно словно парило в воздухе, потом попыталось вернуться на лестницу и, казалось, не могло ее отыскать. Костлявыми руками оно ощупывало стены. И вдруг все исчезло. В воздухе и в ушах у меня был еще слышен свист ветра; потом и он стих, и так как в эти страшные минуты я все же не лишился рассудка, я заметил исчезновение и необычных шумов и этого сверхъестественного видения. Я ощупал себя — это, несомненно, был я. Я ущипнул себя за руку и ощутил боль. Я взглянул на бутылку с ромом —

она была едва начата. Стало быть, здесь не имели место ни экстаз, ни опьянение. У меня не было даже никакого чувства страха. Я хладнокровно говорил себе, что спал стоя. Я докурил свою трубку; мысли мои витали вокруг пережитого, и я давал даже волю воображению и смутному желанию испытать еще раз галлюцинацию, для того чтобы попытаться с ней справиться; однако больше я уже ничего не увидел и улегся спать совершенно спокойный. Уснул я, правда, очень поздно, но ни в малейшей степени не чувствовал себя больным.

— Но в таком случае, — сказал Христиан, — почему же теперь, когда вы только что думали об этом, вам было не по себе?

— Ах, так уже устроен человек! Есть чувства, имеющие обратное действие: когда человеку приходится слышать о всяких безумствах, он становится немного безумным сам. Сегодня мне дважды довелось вспоминать истории подобного рода; все это, разумеется, фантазии или небылицы, но в них содержится высокий и таинственный смысл.

— Как же это может быть, господин Гёфле?

— Боже ты мой! Моему отцу, например, который был, так же как и я, адвокатом и доктором прав, случилось увидеть призрак человека, несправедливо приговоренного к смерти более десяти лет назад, который требовал признания прав своих разоренных детей и восстановления своего доброго имени. Дух этот явился ему у подножия виселицы, когда однажды он проходил мимо. Он пересмотрел дело, обнаружил, что призрак сказал ему все как было, и добился оправдания невиновного. Не приходится сомневаться, что призрак этот был иллюзией, но он взывал к совести моего отца. Откуда же шел этот зов? Из глубины могилы? Разумеется, нет, но, может быть, с небес — кто знает?

— Так какой же вывод вы можете сделать, господин Гёфле, из этого ночного видения?

— Ровно никакого, дорогой друг, но меня по временам не перестает тревожить мысль, что баронесса Хильда стала, может быть, жертвой, которую оклеветали, и что господь допустил — не то, чтобы мне явилась ее душа, но чтобы воспоминание о ней так поразило мой ум, что образ ее представился мне во плоти и я потом захотел доискаться истины.

— Но в чем же обвиняли эту пресловутую баронессу?

— В дерзкой лжи, целью которой было лишить барона Олауса законно принадлежавшего ему наследства.

— Расскажите, пожалуйста, и эту историю, господин Гёфле! После того, как вы рассказали мне о привидении, меня стало разбирать любопытство.

— Ну, конечно, расскажу, это нетрудно сделать.

У барона Магнуса Вальдемора, которого у нас в стране называли великим ярлом — хотя «ярл» означает в то же время и «граф», потому что под ярлами разумеют вообще всех высокопоставленных дворян, — было два сына. Старший, Адельстан, был натурой живой, порывистой, пылкой; другой, Олаус, тот, которого сейчас называют Снеговиком, был юношей мягким, ласковым, прилежным. Оба, высокого роста, красивые и сильные, были гордостью отца. Старик владел значительным состоянием, что является редкостью в нашей стране, где редукция 1680 года так разорила нашу богатую знать. Майоратов у нас нет — сыновьям достаются равные доли наследства. Но состояние, о котором идет речь, было настолько велико, что, даже будучи разделено пополам, несомненно удовлетворило бы притязания обоих братьев, и если и существовал когда-нибудь наследник, начисто лишенный всякой зависти, то это был именно Олаус, спокойный и слегка насмешливый юноша, которому отец отдавал известное предпочтение и которого вообще любили больше, чем его старшего брата.

Этот старший брат был человеком благородным, но немного резким в своей прямоте. В нем рано проявились предприимчивость, тяготение к путешествиям и новшествам. К тридцати годам он уже объездил всю Европу и вывез из Франции новые философские идеи, напугавшие старших в семье и даже его отца. Его захотели женить, он согласился, но в конце концов последовал влечению сердца и женился на молодой девушке, с которой познакомился во Франции, на красавице Хильде Бликсен, сироте, происходившей из благородной датской семьи, но у которой ничего не было, кроме ума, обаяния и добродетели. Вы скажете, что это уже много, и я полностью разделяю это мнение. Точно так же разделял его и ста

рый барон Магнус, который сначала порицал этот брак по любви, а потом преисполнился к своей снохе нежностью и почтением. Иные утверждали, что Олауса их примирение огорчило и что он всячески старался поссорить отца с Адельстаном. Поговаривали также, что барон Магнус был человеком здоровым и крепким и его внезапная смерть показалась странной. Но все это случилось давно, и доказать тут ничего нельзя.

Когда пришла пора делить наследство, между братьями произошла серьезная размолвка, и при одном из споров относительно раздела имущества, происходившем в присутствии моего отца, в ответ на довольно мягкое замечание Олауса, укорившего брата тем, что тот давно уже не жил с отцом и предпочел путешествовать вместо того, чтобы исполнять свой сыновний долг и заботиться о семье, у Адельстана вырвались следующие слова:

«Отец никогда не знал, чего стоит твоя притворная любовь. По-настоящему он это понял, может быть, только сейчас, лежа в могиле!»

Видя, как порывист Адельстан и как сдержан Олаус, отец мой во всеуслышание осудил ужасное подозрение, которое сорвалось с уст старшего брата. Тот больше не настаивал на нем, но непохоже, чтобы он от него отказался. Рассказывали, что он не раз говорил подобные вещи. Слова эти не подкреплялись никакими доказательствами, но они оказывали свое влияние, так как запоминались кое-кем из его ближайшего окружения.

У барона Магнуса не было сбережений, которые помогли бы одному из братьев выкупить свою часть недвижимости. Поэтому возник вопрос о продаже земель и замка. Олаус отказался принять ту сумму денег, которую ему предлагал брат и которая, однако, была больше предложенной им самим, в случае если поместье было бы присуждено ему. Но в конце концов он должен был согласиться — никаких покупателей не нашлось. Этот огромный замок, стоявший в отдаленной пустынной местности, не мог привлечь к себе людей нашего времени, тяготеющих к столице и к южным провинциям. Отец мой точно высчитал доходы и расходы поместья и на основании этого установил сумму ренты, которую тот, кто вступит во владение поместьем, обязан будет выплачивать дру-

гому брату, после чего оба согласились бросить жребий. Поместье досталось старшему.

Олаус не выказал никакой досады. Однако, как говорили потом, он горько об этом жалел и жаловался своим доверенным лицам на несправедливость судьбы, которая выгоняла его, человека, привыкшего к деревенской жизни и досугу, из владений его предков и отдавала это чудесное поместье в распоряжение непостоянного и беспокойного Адельстана. Всеми этими жалобами и излияниями чувств, равно как и щедротами, которыми он осыпал многочисленных слуг замка, он сколотил целую партию, которая вскоре сделала для старшего брата затруднительным ведение хозяйства и подрывала его авторитет.

Мой отец, которому пришлось провести здесь несколько недель, чтобы закончить дела, обратил внимание на создавшееся положение вещей. Но он устал смотреть на это тягостное соперничество внутри семьи и, как видно, не сумел оценить честную и открытую натуру старшего брата. Отец, пожалуй, даже в большей степени прельстился ласковым обхождением и мнимым добродушием младшего и, никогда, правда, не поступаясь справедливостью, в отношении которой был суров и непреклонен, отдавал все же предпочтение Олаусу. После того как он напрасно пытался сделать замок резиденцией обоих братьев, отец уехал. Олаус, по-видимому, хотел, чтобы ему разрешили сохранить за собой право жить в Стольборге. Адельстан решительно этому воспротивился.

Как только Олаус уехал в Стокгольм, где он и должен был остаться, Адельстан привез в замок свою жену, которая, пока шли все эти споры из-за наследства, жила у своей подруги в Фалуне вместе с сыном, которому было несколько месяцев. Молодая чета поселилась в замке Вальдемора. Тогда-то и появилось множество подозрений и сплетен, и в конце концов была раскрыта тайна, которую молодые супруги никогда никому не доверяли. Баронесса Хильда, как говорят, была католичкой. Рассказывали, что, живя во Франции, она поддавалась влиянию своей тетки и ее окружения, что она была так неосторожна, что стала изучать богословие, и заблуждение ее дошло до того, что, возгордившись своими знаниями, она отреклась от веры отцов, которая ей

казалась чересчур новой. Говорили также, что ей показали мнимые чудеса и вынудили безрассудно дать какие-то обеты. На этот счет я вам ничего не могу сказать. Я не был знаком с баронессой, хотя вполне мог быть ей представлен, но подходящего случая так и не нашлось. Говорят, что это была женщина очень образованная и умная. Вполне возможно, что ум ее и совесть потребовали от нее перехода в другую веру, и что до меня, то, будучи философом, я готов ей это простить. На ее несчастье, общество ей этого не простило. Здесь, в Швеции, люди очень привержены к государственной религии. Диссиденты известны все наперечет, их порицают и даже преследуют, правда, не так жестоко, как в менее просвещенные времена, но достаточно для того, чтобы сделать их жизнь тягостной и горькой. Закон позволяет изгонять их из страны.

Поэтому разразился страшный скандал, когда люди узнали, или решили, что знают, будто баронесса, не особенно усердно посещавшая приходскую церковь, воздвигла тайно в башне старого замка, где мы находимся с вами сейчас, часовню в честь девы Марии и будто, ввиду отсутствия католического священника, она отправляла все богослужения сама; крестьяне же говорили, что она попросту занимается колдовством. Но так как баронесса никого не пыталась обратить в свою веру и никогда о ней ничего не говорила, понемногу все успокоилось. Она осыпала многих благодеяниями, и изящество ее ума покорило немало предубежденных людей.

Молодая чета жила в замке Вальдемора уже около трех лет, и у них был сын, которого они боготворили. Кротостью своей баронесса умела смягчить ту резкость в характере мужа, которая вызывалась его стремлением к независимости и любовью к правде; люди стали проникаться к ним симпатией и отдавать им должное. И слуги и соседи начали уже забывать Олауса, несмотря на частые и по большей части бесполезные письма, которые он посылал, чтобы доставить себе удовольствие подписаться: *Несчастный изгнанник*. Пастор Микельсон из приходской церкви, находящейся на расстоянии полумили отсюда, которую вы, наверно, видели, был более всех предан Олаусу. Олаус проявлял всегда большую набожность. У Адельстана были свои представ-

ления о религиозной терпимости, которые задевали пастора — лютеранина, склонного к фанатизму. Адельстан, например, решительно захотел изъять из употребления в церкви палку, которой причетник должен был будить заснувших во время проповеди прихожан. Вопрос этот был поставлен перед епископом, который постарался примирить обе стороны. Причетнику было разрешено шекотать ноздри спящих кончиком хлыста, но он должен был расстаться с палкой, которой привык их ударять. Пастор, однако, не мог простить барону Адельстану, а в особенности молодой баронессе, которая, как говорили, посмеивалась над далекарлийским благочестием, насаждаемым палочными ударами, этого посягательства на его власть. Он не переставал изводить молодого ярла и его жену и возбуждать против них крестьян, упорных в своей неприязни к чужой вере.

Вместе с тем молодая чета старалась внедрить в свои владения начатки цивилизации. Барон строго преследовал за обман и безжалостно изгонял людей непорядочных. Он упразднил также наказание ремнем лакеев и унижительные повинности, доставшиеся крестьянам от далекого прошлого. Если далекарлиец и бывает обычно добр, то он отнюдь не стремится к просвещению. Многим крестьянам было трудно предпочесть уважение к человеческому достоинству, сменившее производ.

Как-то раз, в один поистине несчастный день, барон должен был поехать по делам в Стокгольм, и так как это был период осенних дождей, когда дороги становятся размытыми и по ним порою невозможно проехать, ему пришлось оставить жену в замке. Когда через две недели барон Адельстан возвращался домой, он был убит в Фалунском ущелье. Ехал он верхом и, сгорая от нетерпения поскорее увидеть любимую Хильду, опередил остальных своих спутников, которые в это время сидели за трапезой, показавшейся ему слишком долгой. Ему было тогда тридцать три года. Жена его овдовела двадцати четырех лет.

Убийство это наделало много шума и несказанно поразило всю округу. Несмотря на то, что наши далекарлийцы в некоторых местностях очень дики и что в этом горном крае еще очень распространена норвежская дуэль на ножах, предательское и тайное

убийство здесь вещь едва ли не беспримерная. Никого из местных жителей не посмели в нем обвинить, да для этого и не было никаких оснований. Все поиски ни к чему не привели. Несколько рудокопов-чужеземцев внезапно исчезли из Фалуна. Поймать их не удалось. Барон Адельстан не подвергся ограблению. На свете был всего один человек, заинтересованных в его смерти. Иные называли шепотом имя барона Олауса, большая же часть с негодованием отвергала это подозрение, и мой отец первый.

Можно было подумать, что смерть брата повергла барона Олауса в страшное отчаяние: он приехал сюда, плакал на глазах у всех и, может быть, даже слишком старался выразить невестке свое искреннее сочувствие. Всех это растрогало, кроме нее: она приняла деверя крайне холодно и несколько часов спустя попросила оставить ее одну с ее горем, где не может быть никакого утешения. Барон уехал, к большому огорчению слуг, которых он успел щедро одарить. В тот же вечер у маленького Гаральда, сына баронессы, начались судороги, и ночью он умер.

Окончательно сраженная этим последним ударом судьбы, несчастная мать позабыла всякое благоразумие и во всеуслышание стала обвинять Олауса в том, что он отравил их сына, а перед этим убил мужа, чтобы завладеть всем состоянием. Крики ее слышали только стены, и на них не откликнулось ни одно эхо. Ни один врач не стал устанавливать причину смерти ребенка. Ни один слуга не захотел давать никаких показаний против барона Олауса. Пастор Микельсон, который сам лечил своих прихожан, объявил, что Гаральд умер так, как умирают иногда маленькие дети в ту пору, когда у них прорезаются зубы, и что несчастная баронесса несправедлива и, весьма вероятно, сошла с ума.

Барон Олаус не успел еще уехать далеко, когда его настигла весть о случившемся. Он тут же вернулся и притворился, что искренне разделяет горе баронессы. Та разразилась громкими проклятиями, на которые он ответил только улыбками, полными безграничной скорби. Все жалели вдову, мать, *безумную!* Никто не обвинял великодушного, терпеливого, добросердечного Олауса. Может быть, его даже жалели больше, чем ее,— ведь ему приходилось теперь сносить оскорбительные подозрения баро-

пессы. Можно ли сомневаться, что им восхищались, видя, что, вместо того чтобы раздражаться, он жалел ее и с нежностью в голосе предлагал Хильде сохранить за собою ее апартаменты в замке и жить с ним, как сестра с братом? Я глубоко убежден, что барон большой притворщик и что племянника своего он нисколько не жалел, но я далек от мысли, что он чудовище, и я никогда не считал его способным отважиться на подобное злодеяние. Баронесса была слишком потрясена и возбуждена, чтобы смотреть на все хладнокровно. Она обвинила его в убийстве отца, брата и племянника, а потом вдруг приняла странное решение, которое представляется мне актом мести и отчаяния или результатом какого-то наваждения.

Она созвала местных судей и должностных лиц округа и в присутствии всех домашних объявила, что беременна и что требует утверждения в правах ее будущего ребенка, которого ей будет положено опекать. Сказано все это было с большой убежденностью, и она добавила, что решила поехать в Стокгольм, для того чтобы там подтвердили это обстоятельство и признали, что до рождения ребенка все права принадлежат ей.

«Вы совершенно напрасно утруждаете себя и подвергаете опасностям путешествия,— ответил барон Олаус, с невозмутимым спокойствием выслушавший ее признание.— Мне слишком радостна надежда увидеть возрожденным к жизни потомство моего любимого брата, чтобы я мог еще о чем-нибудь спорить с вами. Я вижу, что присутствие мое вас не только тревожит, но и раздражает. Пусть же никто не говорит, что я своей волей усугубил помутнение вашего разума. Я уезжаю и вернусь сюда только после рождения вашего ребенка, если только все, что вы нам сказали, соответствует истине».

Олаус действительно уехал, заявив, что совершенно не верит всем этим разговорам о беременности, но что отнюдь не торопится вступить во владение наследством.

«Если это необходимо для установления истины, то я свободен могу подождать еще год, чтобы были соблюдены все правила приличия и чтобы невестка моя имела время прийти в себя»,— добавил он.

Все это он рассказал в Стокгольме, куда тотчас же вернулся, моему отцу, и я помню, что отец еще упрекал его в излишней доверчивости и деликатности. Он был уверен, что всю эту историю с беременностью баронесса Хильда придумала. Ведь это не первый случай, когда вдова ссылается на несуществующее дитя, чтобы лишить прав законного наследника. Барон очень мягко на это ответил:

«Довольно! Я устал от отвратительных поклепов, которые эта женщина в своем отчаянии хочет на меня возвести. Лучшим опровержением их будет полнейшая незаинтересованность, которую я теперь покажу, и даже, для того чтобы ненависть ее не преследовала меня и здесь, самое лучшее для меня, до того как все переменится, это уехать путешествовать».

Вскоре барон Олаус уехал в Россию, где был очень любезно принят царицей и где было положено начало всем интригам, которые потом сделали его одним из самых упорных и опасных представителей партии «колпаков». Уверждают, что он удивительным образом перевоспитал себя при этом дворе и что, когда он вернулся оттуда, характер его, склад ума, манеры и даже взгляды настолько переменились, что он стал совершенно другим человеком: теперь он был неизменно спокоен и всегда улыбался, но это была зловещая улыбка, спокойствие его наводило ужас; он был все еще мягок и ласков со стоявшими ниже, но в этой мягкости ощущалось презрение, а лаская человека, он выпускал когти; словом, он был уже таким, каким мы видим его теперь, если не считать, что годы и болезнь сделали еще более мрачными черты этого загадочного существа, то ли законченного подлеца, то ли жертвы странного сочетания злых начал. После того как он прошел эту школу безбожия и преступления, которую царица так хорошо использовала в своих интересах и о которой наш добродетельный барон вскоре стал говорить с неким самодовольным удивлением, его прозвали Снеговиком, желая сказать этим, что в России он заморозил себе сердце или что он приехал сюда, чтобы оттаять в общественном мнении под солнцем своей страны, более ярким и горячим. Мертвенная бледность, вскоре покрывшая его лицо, рано поседевшие волосы, скованность в движениях и распух-

шие холодные руки словно еще больше оправдывали это прозвище.

Но не надо, однако, опережать события. Происшедшая в бароне перемена, которая, может быть, была не чем иным, как усталостью от борьбы с несправедливой подозрительностью людей, сделалась особенно заметной только после смерти или исчезновения всех тех, кто был ему помехой. Считают, что одним из его первых шагов на пути хитрости и обмана было распространение в Швеции слуха о том, что он смертельно болен. Слух этот, как говорят, был лишен всяких оснований, и впоследствии уже, задумавшись над тем, почему ему вдруг пришла в голову фантазия прослыть умирающим в Петербурге, враги его не находили никакого другого объяснения, кроме одного: он хотел, чтобы баронесса Хильда не боялась его и чтобы она не ехала рожать в Стокгольм. К несчастью (я все время говорю сейчас от имени врагов Олауса), баронесса попала в расставленную ловушку: она провела лето в замке Вальдемора, и когда она уже была на сносях и ехать никуда не могла, ибо все страдания до крайности ее изнурили, барон Олаус появился неожиданно в окрестностях замка, здоровый и бодрый.

Вот, Христиан, то, что я могу рассказать, как бы подытоживая все, что известно об этом деле. Остальное — тайна, и нам надо будет предположить или угадать истину в ожидании доказательств, если таковые вообще существуют и если они когда-нибудь будут найдены.

Узнав, что Олаус находится в доме пастора Микельсона, баронесса пришла в такой ужас, что решила запереться в старом замке, занимавшем тогда сравнительно небольшое пространство (новый горд еще не был построен), охрану которого можно было обеспечить небольшим числом верных слуг. Во главе их стоял управляющий Адам Стенсон, успевший состариться на службе в замке, и преданная баронессе служанка, имени которой я не запомнил.

Что же произошло потом? Говорят, что барон подкупил всех сторожей Стольборга, в том числе и преданную служанку и даже неподкупного Стенсона, но я дам руку на отсечение, чтобы поручиться за Стенсона, и то, что между этим достойным человеком и бароном продолжают сохраняться хорошие отно-

шения, для меня почти неопровержимое доказательство его, барона, невиновности. Просочившиеся в народ слухи двояки. По одной версии, барон заточил свою невестку в Стольборге и сделал ее такой несчастной, что она умерла там от нужды и от горя. По другой — она сошла с ума, у нее бывали припадки одержимости, и она умерла в состоянии иступления, проклиная Евангелие и призывая парство Сатаны.

Во всем этом одно только очевидно: никакой беременности не было вообще, а спустя десять месяцев после смерти мужа и после тяжелого физического недуга и умственного расстройства, длившихся месяца три, баронесса умерла в конце 1746 года и перед смертью призналась, скрепив это признание своей подписью, в присутствии пастора Микельсона и барона, что беременна она не была и что ей просто захотелось придумать себе ребенка, мальчика, чтобы в ее руках остались все богатства ее покойного мужа и чтобы она могла удовлетворить свою ненависть к барону Олаусу. Существует и еще одна версия, которую мне неприятно даже пересказывать, — что баронесса умерла от голода в этой башне, но Стенсон всегда решительно это опровергал. Как бы то ни было, последние дни и часы жизни Хильды окутаны мраком. Ее родные давно уже умерли, родные же ее мужа, напуганные слухами о ее религиозных взглядах, успевшими уже распространиться, не пришли ей на помощь и закрыли на все глаза. Они всегда отдавали предпочтение покладистому Олаусу, льстившему их предрассудкам, перед гордым Адельстаном, поведение которого их не раз задевало. Говорят, что история эта дошла до самого короля и что он захотел в ней разобраться. Однако сенат, где у Олауса были могущественные друзья, попросил короля заняться собственными делами, иначе говоря — ни во что не вмешиваться.

Отец мой был очень болен, когда барон Олаус на свой лад рассказал ему о смерти своей невестки. В первый раз отец выразил удивление и стал даже корить барона. Он упрекнул его в том, что тот дал повод для подозрений, сказал, что в случае, если он будет обвинен, его нелегко будет защитить. Барон показал ему документ, подписанный пастором Микельсоном, где тот как врач и как священник свиде-

тельствует, что беременность баронессы была ложной и что умерла она от болезни, которую он весьма точно установил и тщательно лечил по свидетельству всех приглашенных в дальнейшем врачей. Сверх того, он предъявил подписанное баронессой показание, где та утверждает, что обманулась касательно своего состояния. Отец внимательно исследовал этот документ, дал его на рассмотрение другим знатокам почерков и нашел этот документ неоспоримым. Помнится только, он упрекал барона, что тот не вызвал в Стольборг десяток врачей вместо одного, для того чтобы окончательно снять с себя все подозрения. Но вместе с тем он никогда не подозревал барона ни в преступлении, ни в обмане и вскоре умер в убеждении, что тот ни в чем не виновен.

Поднялся ропот против барона, которого начали уже ненавидеть, но он вскоре заставил людей бояться себя, и так как не было никого, кто был бы заинтересован в том, чтобы отомстить за жертвы, не нашлось ни одного великодушного человека, у кого хватило бы смелости взяться за это дело. Что до меня, то хотя я и был тогда еще очень молодым юристом, я бы решился на это и готов был бы поднять дело даже сейчас, если бы только у меня были определенные подозрения, но естественно, что я находился тогда под влиянием отца, убежденного, что Олауса нельзя ни в чем упрекнуть, разве только в неблагоразумии по отношению к самому себе. К тому же, именно тогда отец и умер, и нет ничего удивительного, что мое глубокое горе отвратило меня от всех остальных помыслов.

Клиентура барона досталась мне по наследству, и, как я вам уже сказал, невзирая на растущую антипатию, которую внушали мне его политическая деятельность и поведение, я тем не менее до настоящего времени не мог найти ни единого доказательства преступлений, в которых его обвиняли, ни даже сколько-нибудь серьезных оснований их заподозрить. Среди зависимых от него людей возникло противодействие ему, которого можно было ожидать. Как только миновала нужда в их поддержке, он перестал их обхаживать. Что же касается слуг, — а вступив во владение замком, он их сменил, и там все теперешние, из чужих краев, — то он платит им сейчас столько, что может быть уверен в их слепом повино-

венни и полнейшей скромности. Стенсон — единственный из всех прежних служащих замка, кого он оставил при себе; долгое время он держал его в должности управителя, но в конце концов, когда тот достиг преклонного возраста и ушел на покой, барон назначил старику хорошую пенсию и продолжал оказывать ему различные знаки внимания и даже проявлять заботу о его повседневных пуждах. Это наводит на мысль, что Стенсон был его сообщником, но как раз на этот счет, Христиан, у меня нет никаких сомнений, и совесть моя спокойна: Стенсон — святой человек, образец всех христианских добродетелей.

VIII

Христиан внимательно выслушал рассказ адвоката.

— Здесь много неясного, — сказал он после минутного раздумья. — Мне жаль несчастную баронессу Хильду, и из всех участников этой драмы она интересует меня больше всего. Кто знает, не умерла ли она от голода в этой страшной комнате, как утверждают некоторые?

— Нет, этого не может быть! — воскликнул Гёфле. — Мне внушали эту мысль столько раз, что она и самому мне не давала покоя. Но Стенсон, который никогда бы этого не мог допустить, дал честное слово, что он непрестанно заботился о баронессе и ухаживал за нею до самых последних минут ее жизни. Она действительно умерла от истощения, но организм ее не мог уже принимать никакой пищи; барон же ничего не жалел, чтобы удовлетворить все ее желания.

— Да, и на самом-то деле, — сказал Христиан, — если он так хитер, как следует из вашего рассказа, то он не стал бы совершать бесполезное убийство. Ему достаточно было бы, чтобы эта несчастная женщина умерла от страха или от горя. Но есть еще одна версия, господин Гёфле, моя собственная!

— Какая же?

— То, что она, быть может, жива.

— Вот это уж никак невозможно! Но вместе с тем... Никто никогда не знал, где ее похоронили,

— Ну вот видите!

— Пастор отказался хоронить ее на приходском кладбище. Католического кладбища здесь нет, и ее предали земле, по всей вероятности, ночью в садике Стенсона или еще где-нибудь.

— Как, Стенсон никогда не говорил вам где?

— Стенсон не хочет, чтобы его об этом расспрашивали. Воспоминание о баронессе ему одновременно и дорого и страшно. Он искренне ее любил, ревностно служил ей, но каковы бы ни были религиозные верования этой дамы, он на этот счет ничего не говорит, и всякие расспросы о них вызывают в нем раздражение и испуг.

— Допустим, но что же он все-таки говорит о бароне?

— Ничего.

— Это, может быть, уже само по себе много значит.

— Да, может быть, но ведь нельзя же на основании этого молчания обвинять человека в убийстве.

— Раз вы так уверены, господин Гёфле, то не будем больше говорить об этом. Какое это имеет для нас значение? Что прошло, то прошло. Только вы говорили, что явившееся вам привидение вселило в вас странные сомнения...

— А что вы думаете! Стремление доискаться до истины там, где надо и не надо,— это профессиональный недуг, с которым мне всегда приходилось бороться. У нас хватает хлопот с трудными делами, которые нам поручают вести, чтобы мы ломали себе еще голову над теми, которые нас не касаются. Наверное, оттого, что я несколько дней пребываю в праздности, мозг мой находит себе работу помимо меня, вот я и пустился искать во мраке прошлого давно забытую всеми баронессу Хильду...

— Тем более,— сказал Христиан,— что женщина, явившаяся вам, может быть, вовсе не сон, а вполне реальное существо, одетое точь-в-точь как та, другая, на портрете.

— Хорошо, если так, но те, что проходят сквозь стены, не кто иные, как малопрятные обитатели потустороннего мира.

— Погодите, господин Гёфле, вы ведь не сказали мне, в какой стороне комнаты исчезло привидение, прихода которого вы не заметили.

— Чтобы сказать, надо знать. Мне показалось, что именно в той стороне, откуда оно появилось.

— Через лестницу?

— Нет, пожалуй, ниже.

— Тогда, значит, через потайную дверь?

— А разве есть потайная дверь?

— Так вы об этом не знали?

— Право же, нет.

— Ну так посмотрите.

Христиан взял светильник и повел за собою Гёфле, но дверь оказалась запертой снаружи. Она была так плотно пригнана к деревянной резьбе, что ее совершенно невозможно было отличить от других панелей, обрамленных рельефным орнаментом, и такая толстая, что при выстукивании ее слышался тот же тупой звук, что и в любом другом месте дубовой обшивки. К тому же сзади она была задвинута тяжелым засовом, который накануне Христиан нашел отпертым и так оставил и который потом заперла, очевидно, та же рука, что замкнула другую дверь, на нижней площадке потайной лестницы. Христиан сообщил об этом обстоятельстве господину Гёфле, которому оставалось только поверить на слово, ибо пойти и убедиться, что это так, он все равно не мог.

— Поверьте мне, господин Гёфле,— сказал Христиан,— либо сюда приходила вчера старая служанка Стенсона, чтобы убрать комнату, не зная, что здесь живут, либо баронесса Хильда томится в заточении где-нибудь у нас под ногами или над головой, не знаю уж где, в этой замурованной комнате, из которой есть, может быть, потайной выход сюда. Кстати, об этой замурованной двери — вы ведь мне не сказали, ни куда она ведет, ни почему ее вдруг заделали, а мне это представляется обстоятельством довольно любопытным.

— Объясняется это очень просто, и Стенсон мне все рассказал. Комната, расположенная над этой, очень давно уже была совершенно заброшена. Когда баронесса Хильда укрылась в Стольборге, она велела замуровать эту дверь, так как оттуда проникали ветер и стужа. После ее смерти Стенсон открыл ее снова, чтобы заделать все трещины во втором этаже здания. Но для того чтобы сделать это помещение годным для жилья, надо было потратить больше, чем оно стоило, и люди не хотели жить там, где до

них была католическая часовня, ибо считали это место проклятым; поэтому Стенсон, то ли из экономии, то ли для того, чтобы забылись все эти суеверные страхи, наглухо замуровал, и, как говорят, своими собственными руками и с позволения барона, этот ход, теперь уже никому не нужный.

— Но все-таки, господин Гёфле, вы же видели, что это мнимое привидение вышло из-под карты Швеции, которая прикрывает каменную кладку.

— Да, но ведь это же все мне привиделось! Загляните-ка туда, Христиан, и если вы найдете там дверь, которую можно открыть, вы окажетесь половчее меня. Неужели же вы думаете, что я не заглянул туда, как только мой сон рассеялся?

— Ну, конечно,— ответил Христиан, который успел подняться по лестнице, заглянуть под карту Швеции и несколько раз постучать по прикрытой ею стене,— здесь ничего нет, кроме стены, такой же толстой, как и в других местах, если судить по этому глухому звуку. И даже слой этой красноватой краски очень искусно нанесен заподлицо и нигде не потерт по краям; но заметили ли вы, господин Гёфле, как гипсовая облицовка в середине поцарапана?

— Заметил и решил, что это, должно быть, крыса.

— И любопытным же существом должна быть эта крыса! Посмотрите-ка, до чего правильно начерчены на стене все эти кружочки.

— И в самом деле, но только что же это может означать?

— Всякое следствие имеет причину, а именно эту-то причину я и ищу. Вы ведь мне, кажется, говорили, что среди всех прочих звуков, которые вы слышали, у вас было ощущение, будто кто-то скребется?

— Да, как будто стену чем-то скоблили.

— Так знаете, что это, по-моему, такое? Это следы работы слабой или неумелой руки, которая хотела продолбить стену, чтобы посмотреть, что за ней.

— Тогда, очевидно, у нее был только гвоздь или еще более невинный инструмент, потому что она отковыряла гипс на глубину не больше двух линий.

— И того меньше, но вместе с тем она ковыряла его в нескольких местах, и притом упорно.

— Скорее всего это пометки Стенсона: ему, наверно, надо было запечатлеть какое-то воспомина-

ние, а записывать его он не захотел. Вы-то ведь умеете расшифровывать любые письма, не правда ли?

— Я достаточно знаю их, чтобы утверждать, что это вовсе не надпись и ни о каком из известных мне языков здесь не может быть и речи. Я продолжаю стоять на своем: это попытка продолбить стену. Взгляните, всюду какие-то маленькие углубления, сделанные тупым инструментом, и вокруг каждой лунки с содранными краями — довольно четкий светлый кружок, как будто все это делалось ножницами, одна из половинок которых была сломана и служила точкой опоры, словно ножка циркуля.

— Как вы догадливы...

— Да, в данную минуту я догадлив, почому что вот тут, на последней ступеньке лестницы, кучка совсем свежей белой пыли.

— Ну и что же?

— А то, что женщина, о которой я говорил, кем бы она ни была, знаменитой ли пленницей или старухой служанкой, которая бродит тут во всякое время, явилась сегодня ночью, чтобы попытаться, и не в первый раз, а по меньшей мере в двадцатый, увидеть то, что скрыто за этой стеной... Или нет... стойте, скорее вот что! Она знает, что есть какая-то тайна, какой-то недоступный ей способ открыть недоступную дверь, и она ищет, она нащупывает, она роет, словом — она трудится, и если мы выследим ее сегодня ночью, загадка будет разрешена.

— Черт возьми! Вот это план! И я с тем большей охотой готов его осуществить, что он избавляет меня от большого беспокойства. Я перестану быть духовидцем, я услышу и увижу живое существо! Мне это больше по душе, хоть и немного стыдно сейчас, что я мог в этом усомниться. Не беда, Христиан, я хочу, чтобы у меня не было никаких сомнений. Я не верю в существование узницы, потому что в таком случае должны существовать и тюрьма и тюремщик. А комната эта, когда вы сюда вошли, была открыта с двух сторон, что же касается тюремщика, то им должен бы оказаться честный и преданный Стенсон.

— На при всем том баронесса перенесла здесь суровое заточение, а ведь честный Стенсон был здесь.

— Нет никаких доказательств тому, что она бы-

ла в заточении, а если даже это и так, то Стенсон вряд ли был тогда хозяином Стольборга. Теперь же он здесь всем распоряжается один, вы ведь понимаете, что Ульфила нельзя принимать в расчет...

— Можете говорить все, что вам угодно, господин Гёфле, но здесь есть тайна, и какова бы она ни была, серьезная она или пустяковая, я хочу ее разгадать. Но боже ты мой, о чем же я думаю — время идет, Пуффо и след простыл, а я тут занялся сочинением романа и совсем позабыл о том, который должен представлять на сцене! Этого-то я и боялся, господин Гёфле, что, усевшись с вами за еду, я заговорюсь и забуду про свою работу!

— Полно, полно, мой мальчик, готовьтесь, я ведь обещал вам помочь.

— Вы-то уж никак не можете мне помочь, господин Гёфле; мне нужен мой подручный, бегу его разыскивать.

— Так идите же, а я тем временем отправлюсь к Стенсону: мне все еще недосуг было его повидать, да он, может быть, и не знает, что я здесь. Он сюда никогда не заходит...

— Прошу прощения, господин Гёфле, заходит, он только что здесь был. Я видел его, когда вы уходили... И, знаете что, я совсем забыл рассказать вам одну вещь: он принял, должно быть, меня за дьявола или за привидение, очень испугался и убежал отсюда, спотыкаясь и бормоча всякий вздор.

— Что вы! Неужели он такой трус! Но я не чувствую себя вправе смеяться над ним, я-то ведь сам был уверен, что видел даму в сером! Только не мог ведь он вас принять за нее!

— Не знаю уж, за кого он меня принял; может быть, за тень графа Адельстана?

— Э... вполне возможно. Поглядите-ка на его портрет, что висит напротив портрета жены. И рост и телосложение совсем как у вас. Только в том одеянии, которое на вас сейчас...

— Тогда его еще не было. На мне был ваш черный кафтан.

— А что это вы делаете сейчас? Хотите замаскироваться?

— Нет, просто надеваю маску на тот случай, если мне придется искать моего слугу в новом замке.

— Ну-ка, покажите мне вашу маску. Она вас, должно быть, очень стесняет?

— Нисколько! Маску эту я сам придумал, она легкая и гибкая, вся из шелка, надевается прямо на голову, как колпак, и я могу, когда надо, поднимать ее и опускать. Когда она поднята и спрятана под шалкой, она по крайней мере скрывает мои волосы, а они ведь очень густые и привлекают к себе внимание. Когда же она опущена, а при вашем климате это бывает даже очень приятно, она никак не может упасть, и мне не приходится без конца завязывать и развязывать ленту, которая легко может оборваться или затянуться узлом. Удачное изобретение, не правда ли?

— Превосходное! Ну а как с голосом, можете вы сделать так, чтобы его не узнали?

— Это моя профессия и мой талант; вы хорошо это знаете, вы же видели одну из моих шутливых пьес.

— Это верно, я готов был поклясться, что там было не меньше двенадцати человек. Вот что, хочу послушать вас вечером. Я сяду где-нибудь среди публики, но только я не хочу знать пьесу наперед. До свидания, мой мальчик! Пойду, постараюсь извлечь из старика Стенсона кое-какие разъяснения насчет того, что приключилось со мною ночью. Но откуда эта ветка кипариса? Вы что, хотите украсить его портрет дамы в сером?

— И об этом я вам забыл рассказать, ее сюда принес господин Стенсон. Не знаю только, что он собирался с ней делать; он кинул мне ее под ноги, и, хотел он этого или нет, я решил поднести ее несчастной баронессе Хильде.

— Не сомневайтесь, Христиан, старик, видно, это и сам хотел сделать. Это ведь завтра или сегодня... Погодите-ка, у меня хорошая память на даты... Боже ты мой, да ведь как раз сегодня годовщина смерти баронессы! Вот вам и объяснение, почему Стен решил сегодня прийти сюда помолиться.

— Раз так,— сказал Христиан, раскручивая полосу пергамента, которой была обвита ветка и которую Гёфле принял за ленту,— попробуйте истолковать стихи из Библии, которые здесь написаны. А мне некогда, и я уйду.

— Постойте,— остановил его Гёфле, надевший

уже очки, чтобы прочесть написанное на пергаменте,— если вы будете в новом замке и найдете там господина Нильса, который не изволил объявиться перед завтраком, сделайте одолжение, возьмите его за ухо и приведите сюда. Хорошо?

Христиан дал слово привести его живого или мертвого, но ему не пришлось далеко идти, чтобы разыскать и лакея Гёфле и своего. Войдя в конюшню, куда он надумал заглянуть перед тем как выйти из дворика, он обнаружил Пуффо и Нильса, которые храпели, лежа бок о бок, оба совершенно пьяные. Ульфил, который был покрепче, расхаживал взад и вперед по дворам, довольный тем, что к наступлению темноты он теперь не один, и время от времени ласково поглядывал на своих товарищей по пирушке. Христиан быстро сообразил, что произошло. Нильса, знавшего и шведский и далекарлийский, двое пьяниц использовали как переводчика; дружбу свою они скрепили в погребке. Несчастного мальчишку-лакея не надо было долго искушать для того, чтобы он позабыл своего господина, если только вообще память о нем беспокоила его до той минуты, когда, улегшись на сухом мху, который в этой стране служит подстилкой, с раскрасневшимися щеками и еще более красным носом, он позабыл, равно как и Пуффо, все заботы этого низменного света.

— Послушайте,— сказал Гёфле, обращаясь к Христиану, который встретился ему во дворе и показал эту трогательную картину,— как только этот плут придет в себя, я бы хотел, чтобы меня освободили от службы при нем.

— Но я-то, господин Гёфле, не могу ведь обойтись без этой скотины Пуффо,— ответил Христиан весьма озабоченно.— Напрасно я его тряс, он как мертвый, и я уже знаю — это часов на десять, на двенадцать!

— Ну ничего!— ответил занятый своими мыслями Гёфле,— идите выбирайте скорей вашу пьесу и не волнуйтесь. Такой умный человек, как вы, всегда сумеет найти выход из положения.

И, предоставив Христиану выпутываться самому, он направился своими короткими шагами к флигелю, расположенному в горде, где жил Стенсон. Три стиха из Библии не давали ему покоя.

Во флигеле было нижнее помещение, род вести-

бюля, где Ульфил, боявшийся оставаться один, больше любил спать, чем в своей собственной комнате, под тем предлогом, что дяде его, как человеку очень старому, во всякую минуту могла понадобиться его помощь. Ульф только что вошел в эту комнату, но теперь, повалившись на кровать, уже храпел. Гёфле собирался было подняться во второй этаж, как вдруг до него долетели какие-то слова. Он услышал спор, который два человека вели между собой на итальянском языке. Один из этих голосов звучал так, как будто говоривший плохо себя слышал. То был голос Стенсона. По-итальянски он говорил довольно свободно, хоть и с неприятным акцентом и множеством ошибок. Другой голос, отчетливый, говорил на чистом и звучном итальянском языке с сильно вибрирующим произношением, и казалось, что старик хорошо его слышал, несмотря на свою глухоту. Гёфле поразило, что старый Стенсон понимал по-итальянски и худо ли, хорошо ли, но мог изъясняться на этом языке; адвокату и в голову не могло прийти, что ему когда либо случалось говорить на нем. Разговор этот происходил в кабинете Стенсона, рядом с его спальней. Дверь на лестницу была закрыта, но, поднявшись на несколько ступенек, Гёфле мог расслышать отрывок диалога, который сводился примерно к следующему:

— Нет,— это были слова Стенсона,— вы ошибаетесь. Барону будет совершенно неинтересно об этом узнать.

— Очень может быть, господин управляющий,— отвечал незнакомец,— но мне ничего не стоит в этом удостовериться.

— Так, значит, вы продадите эту тайну тому, кто вам больше заплатит?

— Может быть. А что вы мне предлагаете?

— Ничего! Я беден, потому что всегда был честен и бескорыстен; здесь нет ничего принадлежащего мне. У меня есть только жизнь, возьмите ее, если она вам нужна.

При этих словах, которыми старый Стен, казалось, отдавал себя в руки бандита, Гёфле перепрыгнул через две ступеньки, чтобы поспешить к нему на помощь, но в это время итальянец совершенно спокойно ответил:

— Что же мне, по-вашему, с ней делать, госпо-

дин Стенсон? Выслушайте меня спокойно; вы можете выйти из этого затруднительного положения, достав ваши старые талеры из старого тайника, в каких обычно держат деньги все старые люди.— У вас будет чем заплатить Манассе за его молчание.

— Манассе был человеком честным. Эта сумма...

— Предназначалась, думается, не ему, но он распорядился ею иначе, он всякий раз оставлял ее себе.

— Вы на него клевете!

— Как бы там ни было, Манассе умер, а *другой*...

— *Другой* тоже умер, я это знаю.

— Вы знаете? Откуда?

— Я не обязан вам это говорить. Он умер, я в этом уверен, и вы можете говорить барону все, что вам заблагорассудится. Я вас не боюсь. Прощайте. Мне недолго осталось жить, дайте мне подумать о спасении души, это теперь моя единственная забота. Прощайте. Говорю вам, оставьте меня в покое, денег у меня нет.

— Это ваше последнее слово? Вы знаете, что через час я предоставлю свои услуги барону?

— Мне это все равно.

— Вы же должны понимать, что я приехал издалека не для того, чтобы получить в уплату ваши ответы.

— Делайте все, что хотите.

Гёфле услышал, как открылась дверь, и решительно направился навстречу выходившему. Он столкнулся лицом к лицу с человеком лет тридцати с довольно красивым, но каким-то зловеще бледным лицом. Адвокат и итальянец, поравнявшись на узенькой лестнице, посмотрели друг другу в глаза. Открытый, строгий и испытующий взгляд адвоката встретился с подозрительным, брошенным украдкою исподлобья, взглядом незнакомца, который почтительно поздоровался с ним и спустился вниз, тогда как адвокат поднялся на верхнюю площадку; тут оба они обернулись, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, и адвокат обнаружил что-то дьявольское в этом мертвенно-бледном лице, освещенном висящей у внутренней двери вестибюля маленькой лампой. Войдя к Стенсону, Гёфле увидел, что старик сидит, обхватив руками голову, неподвижный как статуя. Адвокат должен был коснуться его пле-

ча, чтобы дать знать о своем появлении. Стенсон был настолько во власти своих мыслей, что посмотрел на него совершенно отсутствующим взглядом, и понадобилось некоторое время, пока он узнал вошедшего и собрался с мыслями. Наконец он как будто пришел в себя и, сделав над собою большое усилие, поднялся и приветствовал Гёфле с присущей ему вежливостью, стал расспрашивать о его жизни и собирался уступить ему кресло, на котором сидел, от чего тот отказался. Пожимая руку старика, Гёфле почувствовал, что она теплая и влажная, то ли от пота, то ли от слез, и это его взволновало. Он очень уважал и любил Стена и привык выказывать ему почтение, которого тот заслуживал своим возрастом и положением. Он понимал, что старик только что пережил большое потрясение и что он перенес его с достоинством. Но что же это была за тайна, которую незнакомец подозрительного вида и наглый в своих речах занес как дамоклов меч над его головой?

Стенсон меж тем вернулся в свое обычное состояние: он стал серьезным, несколько холодным и церемонным. Никогда и ни с кем человек этот не был способен на излияния чувств. То ли это была гордость, то ли робость, но он был одинаково сдержан с людьми, которых знал тридцать лет, и с теми, кого видел в первый раз, и, помня его привычку отвечать односложными словами как на самые важные, так и на самые незначительные вопросы, Гёфле был просто поражен, услышав те несколько вполне связных фраз, которые только что были сказаны незнакомцу.

— А я и не знал, что вы у нас в замке Вальдемора, господин адвокат,— сказал старик,— вы приехали по поводу процесса?

— Да, по поводу процесса барона с его соседом Эльфдаленом, который предъявляет свои права, и, может быть, обоснованно. Я посоветовал барону не судиться с ним. Вы меня слышите, господин Стенсон?

— Да, сударь, отлично.

Поскольку из чрезмерной вежливости старик всегда имел обыкновение отвечать только так, расслышал он или не расслышал, Гёфле, собиравшийся поговорить с ним, наклонился над самым его ухом

и старался как можно более ясно выговаривать каждый слог. Вскоре он, однако, убедился, что по сравнению с прежними годами необходимости в этом было меньше. Стенсон за эти годы не только не сделался еще более туг на ухо, но, напротив, он стал слышать гораздо лучше. Гёфле сделал ему по этому поводу комплимент. Стенсон покачал головой и сказал:

— Когда как, очень по-разному. Сегодня вот я все хорошо слышу.

— Не правда ли, это бывает, когда вы чем-нибудь взволнованы?— спросил Гёфле.

Стенсон изумленно посмотрел на адвоката и, с минуту подумав, произнес слова, которые, однако, нельзя было назвать ответом:

— Я первый, очень нервный!

— Позвольте вас спросить,— продолжал Гёфле,— кто этот человек, которого я встретил, входя сюда?

— Я его не знаю.

— Вы не спросили, как его зовут?

— Это итальянец.

— Я спрашиваю, как его зовут.

— Он назвал себя Джулио.

— Он что, собирается поступать на службу к барону?

— Возможно.

— Неприятная физиономия...

— Вы находите?

— Впрочем, она будет не единственной среди тех, что окружают барона...

Стенсон промолчал, и на лице его ничего не отразилось. Нелегко было завязать такой деликатный и задушевный разговор с человеком, который всем своим церемонным обращением как бы твердил вам: «Говорите о том, что вас интересует, а не о том, что касается меня». Однако бес любопытства подстегивал Гёфле, и он не отстал.

— Этот итальянец говорил с вами не очень-то вежливо,— сказал он вдруг.

— Вы так думаете?— равнодушно ответил старик.

— Я слышал, когда поднимался к вам по лестнице.

По лицу Стена пробежало волнение, но он не

быказал его никаким тревожным вопросом относительно того, что Гёфле мог услышать.

— Он вам угрожал?— добавил адвокат.

— Чем?— сказал Стенсон, пожимая плечами.— Я ведь так стар...

— Он угрожал, что расскажет барону то, что вам так важно было держать от него в тайне.

Стенсон продолжал сохранять спокойствие, как будто ничего не расслышал. Гёфле не унимался:

— А кто этот Манассе, который умер?

Снова последовало молчание; непроницаемые глаза Стенсона, устремленные на Гёфле, казалось, говорили: «Если вы знаете, то зачем же спрашиваете?»

— А этот *другой*?— продолжал адвокат.— О каком это *другом* он говорил?

— Вы подслушивали, господин Гёфле?— в свою очередь спросил старик весьма почтительным тоном, в котором, однако, ясно слышалось осуждение.

Адвокат смешался, но сознание своей конечной правоты его успокоило.

— Неужели вас удивляет, господин Стенсон, что, пораженный угрожающими нотками в незнакомом мне голосе, я подошел поближе для того, чтобы кинуться вам на помощь в случае необходимости?

Стенсон протянул Гёфле свою морщинистую руку, которая снова стала холодной.

— Спасибо,— сказал он.

Потом он еще несколько мгновений шевелил губами, как человек, не особенно привыкший говорить, которому хочется излить свои чувства. Но он так долго не мог ничего сказать, что Гёфле, чтобы немного его приободрить, спросил:

— Дорогой господин Стенсон, у вас есть тайна, которая вам не дает покоя, и из-за нее вам грозит большая опасность?

Стенсон только вздохнул и лаконически ответил:

— Я честный человек, господин Гёфле!

— И все-таки,— порывисто сказал адвокат,— ваша благочестивая и робкая совесть в чем-то вас упрекает!

— В чем-то?— переспросил Стенсон предупредительно и мягко, как будто он хотел сказать: «Я жду, что вы мне об этом расскажете».

— Во всяком случае, вам приходится опасаться какой-то мести барона?— проговорил адвокат.

— Нет,— возразил Стенсон с внезапной силою в голосе.— Я знаю то, что мне сказал врач.

— А что, врач сказал, что дни его сочтены? Что ему стало хуже? Я видел его сегодня утром: должно быть, его еще хватит надолго.

— На несколько месяцев,— ответил Стенсон,— а мне еще надо жить годы. Я показывался врачу вчера... Я показываюсь ему каждый год...

— Так, выходит, вы ждете смерти барона, чтобы сделать какие-то важные признания? Но вы же знаете, считают, что он способен умертвить людей, которые ему страшны: что вы на это скажете?

Лицо Стенсона изобразило удивление, но Гёфле показалось, что это было деланное удивление, простой знак вежливости, потому что оно сменилось тайным беспокойством, которое старик все же не мог скрыть: Стенсон умел быть сдержанным, но не умел притворяться.

— Стенсон,— сказал ему адвокат искренне и проникновенно, взяв его за обе руки,— вас тяготит какая-то тайна. Откройтесь мне как другу и рассчитывайте на меня, если надо положить конец несправедливости.

Несколько мгновений Стенсон колебался, потом, отперев ящик секретера, ключ от которого у него был в кармане, показал Гёфле маленькую запечатанную шкатулку и спросил:

— Вы даете мне честное слово?

— Даю.

— Вы клянетесь священным писанием?

— Священным писанием! Ну так что же?

— Так вот... Если я умру раньше, чем *он...* откройте, прочтите и действуйте... *после моей смерти!*

Гёфле взглянул на шкатулку: на ней были написаны его имя и адрес.

— Вы позаботились о том, чтобы это передали мне?— сказал он.— Благодарю вас, друг мой. Но только если жизнь ваша в опасности, то зачем же медлить и что-то скрывать? Послушайте, дорогой мой господин Стенсон, я, кажется, начинаю понимать... Барон...

Стенсон знаком показал, что не будет ему отвечать, Гёфле, однако, продолжал:

— Уморил голодом свою невестку!

— Нет,— вскричал Стенсон убежденно,— нет, нет! Этого не было!

— Но когда она подписывала некое показание касательно ее беременности, ее к этому вынудили?

— Она подписала его по своей доброй воле. Я при этом присутствовал и сам подписал этот документ.

— А что вы сделали с ее телом? Его бросили собакам?

— О господи! Да разве же я там не был? Ее похоронили как христианку.

— Вы похоронили ее сами?

— Своими собственными руками! Но вы чересчур любопытны! Отдайте мне шкатулку!

— Вы что же, сомневаетесь в моей клятве?

— Нет,— ответил старик,— держите ее при себе и ни о чем больше меня не спрашивайте...

Он пожал еще раз руку Гёфле, подошел к огню и снова совершенно оглох или притворился, что ничего не слышит. Чтобы хоть немного отвлечь его и надеясь склонить его потом к каким-то признаниям, Гёфле начал рассказывать ему о той тяжбе, которая утром была предметом его разговора с бароном. На этот раз ему пришлось писать все вопросы, а в ответах старика сквозила присущая ему ясность ума. По его словам, минеральные богатства горы, которая была предметом спора, принадлежали соседу барона, графу Розенштейну. Он изложил все свои основания и, порывшись в своих папках, очень аккуратно надписанных и разложенных, предоставил ему доказательства. Гёфле заметил, что таково его собственное убеждение и что он будет вынужден поссориться с бароном, если тот станет навязывать ему это заведомо проигранное дело. Он добавил к этому кое-какие соображения относительно худой молвы, ходившей о его клиенте, но так как Стенсон ничего, казалось, не слышал, а письменная форма общения исключает возможность заставить собеседника врасплох, Гёфле вынужден был отказаться от дальнейших расспросов.

Вернувшись в медвежью комнату, Гёфле задумался над тем, надо ли посвящать Христиана во все, что произошло между ним и Стенсоном, и, взвесив все, решил, что должен молчать. К тому же в

эту минуту он и вообще-то не был склонен к каким бы то ни было излияниям. В голове его пронеслось множество странных мыслей, множество противоречивых предположений. Мозг его напряженно работал, словно ему поручили какое-то трудное и путаное дело. И вместе с тем все обстояло совершенно иначе: Стенсон не позволял ему даже быть любопытным. Запрещение это, правда, ни к чему не приводило, и Гёфле не властен был уговорить рождавшиеся у него волнующие гипотезы. Адвокату не составило большого труда хранить молчание — Христиан в эту минуту был занят, ему не только не пришло в голову о чем-нибудь расспрашивать Гёфле, но он начисто забыл даже весь бывший меж ними разговор и был поглощен своей пьесой. К тому же он впал в глубокое уныние, и когда адвокат спросил его, нашел ли он способ обойтись без слуги, Христиан ответил, что напрасно ищет его уже в течение часа. В крайнем случае он, конечно, мог бы без него обойтись, но это повлекло бы за собою немало несообразностей и пропусков в мизансцене. Это было очень утомительным делом, и предстояло столько всего обдумывать и решать, что он уже готов был отказаться от своего замысла.

— Право же,— сказал он Гёфле, который пытался его подбодрить,— клянусь вам клятвой фигляра, что игра не стоит свеч; другими словами, я только измучаюсь совершенно бесславно и заставлю барона попусту истратить на меня деньги. Все равно дело провалилось, не будем же больше о нем думать. Знаете, что мне остается сделать, господин Гёфле? Отказаться от мысли об успехе в этих краях, все упаковать и уехать подобра-поздорову в какой-нибудь город, где я поищу себе другого слугу, который мог бы мне стать подручным и был бы достаточно благочестив, чтобы сдержать клятву, которую я от него потребую, пить одну только воду, даже если вино будет струиться потоками по горам Швеции!

— Черт побери!— сказал Гёфле, очень огорчившись при мысли, что потеряет своего соседа.— Если бы я мог хоть немного растормошить этих куколок... Только мне этого не суметь.

— А ведь нет ничего проще. Попробуйте: указательный палец — в голову, большой — в руку, сред-

ний — в другую руку... Ну и отлично! Как раз то, что надо! А теперь, в знак привета, поднимите руки к небу!

— Это-то нетрудно, а вот сочетать жесты со словами! А потом, что говорить? Я ведь могу симпривизировать только монолог!

— Это уже много. Послушайте, защищайте кого-нибудь, забудьте, что вы господин Гёфле, смотрите на фигурку, которую приводите в движение. Говорите, и совершенно естественно движение ваших плеч и положение всего корпуса передадутся кончикам пальцев. Надо только проникнуться сознанием реальности *burattino* и воплотить в нем вашу индивидуальность.

— Проклятие! Вам-то легко говорить, но когда человек не привык... А ну-ка попробуем. Допустим, что я кого-то защищаю... Только кого же мне защищать!

— Защищайте барона, которого обвиняют в убийстве брата!

— Защищать? Я бы предпочел обвинять.

— Если вы будете обвинять, то впадете в латенту, а если вы будете защищать, то можете рассмешить.

— Согласен,— сказал Гёфле, вытягивая руку, которая держала марионетку, и жестикулируя.— Я говорю речь, слушайте. «Какие обвинения вы можете выставить против моего клнента? Вы ставите ему в вину такой простой, такой естественный поступок, как избавление себя от одного из членов семьи, который мешал. Но с каких это пор человек, который любит деньги и тратит их, вынужден уважать это вульгарное соображение, которое вы называете правом на жизнь? Право на жизнь! Но мы требуем его для себя, и тот, кто говорит «право на жизнь», утверждает право на такую жизнь, какая ему желательна. Поэтому, если мы не можем жить без привилегий, которые дает высокое положение, если без роскоши можем погибнуть от стыда и обиды, у нас есть право, мы требуем себе это право и будем им пользоваться — будем убирать с нашего пути все, что мешает блеску нашей жизни! За нас говорит...»

— Выше! — сказал Христиан, который смеясь слушал сатирическую речь адвоката,

— «За нас говорит,— повторил Гёфле, повышая голос,— традиция древнего мира, начиная с Каина и кончая великим королем Биргер-Ярлом, который уморил голодом двух своих братьев в замке Нючёпинг. Да, господа, на нашей стороне старинный северный обычай и славный пример нравов русского двора за последнее время. Кто из вас осмелится противопоставить такую мелочь, как нравственность, великим государственным соображениям? Государственные соображения, господа; знаете ли вы, что такое государственные соображения?»

— Выше,— продолжал Христиан,— выше, господин Гёфле!

— «Государственные соображения,— вскричал Гёфле фальцетом, ибо голосом он не мог взять верхних регистров,— государственные соображения — это, на наш взгляд...»

— Еще выше!

— Черт бы вас побрал! Я с вами тут горло надорву! Благодарю покорно, хватит с меня, если надо так подвывать.

— Да нет же, господин Гёфле! Я же не прошу вас говорить выше, а вот уже целый час добиваюсь, чтобы вы подняли выше вашу руку, а вы не хотите понять, что если будете держать марионетку так, на уровне груди, никто ее вообще не увидит и вы будете играть для себя одного! Посмотрите на меня: надо, чтобы рука у вас была выше головы. Итак, начинаем диалог! Я — адвокат противной стороны, и я обрываю вашу речь, потому что не могу сдерживать своего негодования. «Я больше не в силах это слушать, и если судьи, заснувшие в своих креслах, могут вынести подобное злоупотребление человеческим словом, то, несмотря на показное красноречие моего знаменитого и страшного противника, я...» Так прерывайте же меня, господин Гёфле! Надо всегда прерывать!

— «Адвокат!— вскричал Гёфле.— Я вам не давал слова». Я буду судьей.

— Отлично, но тогда меняйте голос.

— Я не сумею...

— Сумеете! Одна рука у вас свободна, зажмите себе нос.

— Зажал,— сказал Гёфле, начиная гнусавить.

«Адвокат противной стороны, вам будет дано слово...»

— Браво! «Я хочу говорить сию же минуту! Я хочу опровергнуть мерзкие софизмы моего противника!»

— «Мерзкие софизмы!»

— Отлично, отлично! Гневный голос! Я отвечаю: «Беспринципный оратор, я отдам тебя на суд общественного мнения!» Дайте мне пощечину, господин Гёфле.

— Как! Чтобы я вас ударил по щеке?

— Да, по щеке моего адвоката и чтобы непременно был слышен звук пощечины. Публика при этом всегда смеется. Крепче сожмите пальцы, сейчас я буду срывать с вас колпак. Давайте сцепимся. Браво! Теперь выхватывайте марионетку из моих пальцев и швыряйте ее в публику. Дети всегда кидаются поднимать ее, смотрят на нее с восхищением и бросают обратно на сцену. Постарайтесь, чтобы вам непременно угодили в голову. Публика смеется тогда до упаду, бог знает почему, но это всегда так. Оскорбления и удары — восхитительное зрелище для толпы; под это веселье наш персонаж покидает сцену с торжествующим видом.

— И тогда можно немного передохнуть, это просто счастье. Мне это нужно, я совсем охрип!

— Передохнуть! Ну уж нет! *Орегате* никогда не отдыхает... Надо поторопиться подготовить других актеров для следующей картины, и, чтобы не расходовать публику видом пустой сцены, надо все время говорить, как будто прежние актеры все еще продолжают о чем-то спорить за кулисами или как будто новые рассуждают о только что происшедшем.

— Проклятие! Но ведь это же адский труд!

— Пожалуй, да, но нервы приходят в возбуждение, и тогда чувствуешь себя все лучше и лучше. А ну-ка, господин Гёфле, беремся за следующую сцену! Сейчас мы выведем...

— Нет уж, с меня хватит! Неужели вы думаете, что я собираюсь показывать марионеток?

— Я думал, что вы хотели помочь мне показать их сегодня вечером!

— Как! Вы хотите, чтобы я принял участие в спектакле?

— А кто будет знать, что это вы? Театр устанавливают перед дверью в комнату, куда никто не заходит. Матерчатые стены отделяют вас от публики. В случае надобности, когда есть опасность входа и выхода встретить кого-нибудь в коридоре, вы надеваете маску.

— Это верно, вас никто не видит, никто не знает, что вы там, но мой голос, мое произношение! Стоит мне только раскрыть рот, как все скажут: «Ба, да это господин Гёфле!» Хорошенькое дело! Это в мои-то годы начать заниматься такими штуками! Нет, это невозможно, давайте не будем больше об этом думать.

— Жаль, у вас это хорошо получалось!

— Вы находите?

— Ну, конечно, вы бы принесли мне такой успех!

— А мой злосчастный голос, который все знают...

— Есть множество способов его изменить. За пятнадцать минут я обучу вас трем или четырем, а больше нам на этот вечер и не понадобится.

— Что ж, попробуем. Если бы я был уверен, что никто не догадается о моем сумасбродстве! Ага, вот инструмент, назначение которого я начинаю понимать: это пенселе... А это вот кладут в рот, на язык или держат под языком.

— Нет, не то,— сказал Христан,— это разные грубые приспособления, которыми пользуется Пуффо. Вы слишком умны, чтобы они могли вам понадобиться. Послушайте меня и подражайте мне.

— А в самом деле,— сказал Гёфле, сделав несколько удачных проб,— это не так уж хитро! В молодости мне приходилось участвовать в любительских спектаклях, я играл не хуже других: я умею изобразить беззубого старика, сюсюкающего фата, педанта, который при каждом слове облизывает себе губы. Ну хорошо, если только вы не заставите меня очень много говорить и утомлять горло, я берусь подавать вам реплики в трех-четыре-х сценах. Надо повторить пьесу. Что это такое? Где она? Как она называется?

— Погодите, погодите, господин Гёфле: у меня много сюжетов, которые вам достаточно будет прочесть один раз, потому что тот, который мы будем разыгрывать, изложенный кратко и написанный

крупными буквами, всегда у нас перед глазами на внутренней стенке театра. Но мне хочется сыграть с вами такую пьесу, которая была бы приятна и давала пищу вашей импровизаторской фантазии, поэтому если вы полагаетесь на меня, мы сочиним ее с вами вместе и сию же минуту.

— А это идея, замечательная идея! — сказал Гёфле. — За дело! Сядем здесь, освободите место па этом столе. Какой мы выбираем сюжет?

— Какой хотите.

— Вашу собственную историю, Христиан, или по крайней мере что-то из той истории, которую вы мне рассказали.

— Нет, господин Гёфле, история моя не из веселых и никого не может развлечь. В жизни моей нет ничего романического, кроме того, чего я сам не знаю, но на этой канве я часто вышивал приключения моего Стентарелло. Вы знаете, что Стентарелло — персонаж, годный для всех характеров и для всех ситуаций. Так вот, одна из моих причуд — это приписывать ему таинственное происхождение, как у меня самого: в начале пьесы он рассказывает о некоторых подробностях подлинной или выдуманной истории, которую София Гоффреди слышала из уст маленького еврея. Меня это иногда забавляет, и мне вдруг кажется, что я услышу из публики какое-нибудь слово, чей-нибудь крик, и моя мать отыщется. Что вы хотите! Такова уж моя причуда, но давайте поговорим о Стентарелло: это комический персонаж, то молодой, то старый, в зависимости от того, надеваю ли я ему на голову русый или седой парик. Но чтобы рассмешить людей, он должен быть сам смешон. В замысле, о котором я говорю и который предлагаю вашему вниманию, он разыскивает своих родителей и выдает себя самое меньшее за незаконного сына какого-нибудь государя. Итак, с ним происходят разные нелепые приключения, и он совершает невероятные промахи, а в конце концов узнает, что он сын простолюдина, и почитает еще за счастье, что после всех своих бед находит отца, который кормит его и принимает его под свой кров.

— Отлично, — сказал Гёфле, — мы сделаем его обжорой и сыном повара или цирюльника.

— Замечательно! Вы угадали. Начинаем.

— Так пишите же, если у вас разборчивый до-

черк. Я пишу слишком медленно, чтобы за вами успеть, и почерк мой все равно что кошачье царапанье. Черт побери, у вас чудесный почерк! Но что вы такое делаете?

— Я сначала составляю список всех персонажей.

— Вижу, но в первом акте у вас значится *Стентарелло в пеленках*?

— Вот что я думаю, господин Гёфле. Мне надоело заставлять беднягу Стентарелло пересказывать все то, что я слышал о самом себе — как меня когда-то спустили на веревке из окна в лодку. Если вы ничего не имеете против, мы все это представим на сцене.

— Вот это здорово! Только как же вы ухитритесь это сделать?

— У меня есть на декорации старый замок...

— Что же вы с ним собираетесь делать?

— Я сделаю из него Стольборг. Мы дадим ему другое название, но это будет тот романтический пейзаж, который поразил меня на озере, когда заходило солнце; я его нарисовал.

— Вы хотите писать красками?

— Да, пока вы будете писать, хорошо или худо, — это не важно: мы с моим бедным Гоффреди столько расшифровали разных иероглифов! Помните, что времени у нас мало; у меня есть все необходимое, чтобы переделать декорации так, как нам надо: жестяная баночка с застывшим клеем, мешочки с разноцветной пудрой... Холст у меня как раз подходит по размеру к заднику, да и просохнет все за каких-нибудь пять минут. Мне больше ничего и не надо будет, чтобы сделать окно в моей квадратной башне. Вот посмотрите, господин Гёфле: сначала я делаю вырез в холсте... вот этими ножницами; потом я подогреваю в печке клей... Я набрасываю углем кучу больших валунов — видите? Иные из них нависают... Я все это как следует разглядел, это было очень красиво... Внизу будет лед... Впрочем, нет, надо, чтобы это была вода, — у нас ведь есть лодка...

— А где вы ее возьмете?

— В ящике с аксессуарами. Вы что, думаете, что у меня нет лодки? Что нет кораблей, карет, тележек и разного зверья? Как бы я мог обойтись без всего этого арсенала вырезных фигур? Ведь это

благодаря им я могу поставить любую пьесу, а места они занимают так мало. Кстати, вот еще одна идея, господин Гёфле: я помещаю лодку под этим сводом из валунов.

— Зачем?

— Это придаст сцене больший эффект! Выслушайте меня внимательно: у нас же в пьесе предполагается очень таинственное рождение ребенка?

— Ну, разумеется.

— Сопряженное с опасностями?

— Непременно.

— Это дитя любви?

— Как вам будет угодно.

— Ревнивый муж... Нет, никаких прелюбодеяний. Если случайно это в самом деле окажется моей собственной историей, то я предпочел бы не быть плодом грешной любви. Моя мать... бедная! Может быть, мне даже не в чем ее упрекнуть — спасает меня от мести свирепого брата или дяди... который готов убить меня, лишь бы скрыть неравный и тайный брак!

— Отлично; оставляю за собой роль безжалостного дяди, какого-нибудь испанского гранда, который хочет убить ребенка! Чтобы спасти его, это невинное создание выбрасывают из окна и прячут где-то на дне озера, рискуя его потопить.

— О господин Гёфле, все это чистая фантазия! У меня другая школа. Я всегда остаюсь в пределах известного романтического правдоподобия, потому что заведомо неправдоподобные положения не вызывают ни смеха, ни слез. Нет, нет, будем представлять настоящих убийц, безобразных и смешных, какие действительно бывают на свете. Покамест они орождают по валунам, наблюдая за окном, лодка, на которой уже потихоньку успели спрятать драгоценный груз (установленный стиль), мягко и бесшумно скользит под скалами, под самым носом у сборов, которые ничего не подозревают. Публика растрогана, и особенно потому, что фигуры разбойников вызывают в ней смех. Она очень любит одновременно и плакать и смеяться. И занавес падает в конце первого акта под гром аплодисментов.

— Превосходно, превосходно! — вскричал Гёфле. — Так, значит, лодка отплывет! А в окне разве никого не будет?

— Будет! У меня ведь двери руки. В то время как левой я толкаю мой чели по прозрачным водам, правой я держу в окне верную служанку, которая спустила вниз корзину с ребенком, с мольбою простирает свои маленькие деревянные руки к небу и нежным голосом восклицает: «Божественное провидение, убереги рожденное в тайне дитя!»

— Так, так! А мать разве не появится?

— Нет, это было бы неудобно.

— А отец?

— Отец в Палестине. Это место, куда всегда отправляют актеров, которые ни на что не нужны.

— Ну и отлично, но если сбиры подняты на ноги, если есть брат с испанским представлением о чести и верная дуэнья, то, значит, Стентарелло происходит из знатного рода?

— Ах, черт возьми, так как же все уладить?

— Очень просто. Ребенок, которого мы спускаем из окна,— это Алонсо, сын герцогини. Стентарелло же — сын пирожника монсеньера.

— Но зачем нам этот пирожник?

— Откуда я знаю? Это вы должны придумать. Никаким писанием картин вы мне тут не поможете!

— Посмотрите же, господин Гёфле, какое у меня хорошее небо!

— Чересчур хорошее, уж очень оно бросается в глаза.

— Вы правы. Черт возьми! У вас верный глаз, господин адвокат. Я сделаю мою башню потемнее.

— Прекрасно. Теперь ваше розовое небо красиво и напоминает светящиеся облака нашего севера. Но ведь это же отнюдь не небо Испании?

— Так давайте перенесем тогда действие в Швецию, почему бы и нет?

— Ну уж нет, не согласен. Вы знаете, что во всем этом акте... и особенно на фоне этого вида Стольборга, который вы только что написали... если дать волю воображению, может возникнуть повод к некоторым параллелям.

— С историей баронессы Вальдемора?

— Кто знает? На самом деле их нет, там ведь не было ребенка. Но кто-то может решить, что мы изображаем мнимое пленение дамы в сером. Нет, Хри-

стиан, пусть это будет в Испании! Так гораздо лучше.

— Испания так Испания! Итак, мы говорим, что у пирожника есть малютка; он только что родился, и он станет потом знаменитым Стентарелло. Словом, повар замка послал этому пирожнику от барона...

— От барона?

— Вы напомнили мне про барона, начав говорить о возможных параллелях. Нашего предателя будут звать дон Диего или дон Санчо.

— В добрый час! Итак, повар барона... Чудно! Я того же мнения! Я про дона Санчо, что он ему посылает?

— Великолепный пирог в корзине, он должен будет его испечь.

— Понял! Понял! Он положил эту корзину в лодку. Лодочник, которому поручено увезти и спасти рожденного тайно ребенка, невнимателен и уносит обе корзины; потом он по ошибке относит пирог кормилице, а пирожнику — ребенка, чтобы тот его сунул в печь!

— И добрый пирожник воспитывает обоих детей, или нет: он путает их и оставляет у себя сына герцогини. Засим следуют бесконечные перипетии, и мы уверенно движемся к развязке. Мужайтесь, господин Гёфле, я кончил писать декорацию и снова берусь за перо. Давайте приведем в порядок все сцены. «Сцена первая: повар один».

— Погодите-ка, Христиан. А почему ребенка не отнесли вниз по лестнице?

— Да, в самом деле, тем более что в Стольборге есть потайная лестница; только ее охраняют сбиры.

— Они неподкупны?

— Нет, но герцогиня стеснена в деньгах, а у предателя полны карманы золота. «Вторая сцена: дон Санчо, свирепый дядюшка, является для того, чтобы наблюдать за преступлением».

— Почему же сам он не поднимется на башню, где томится его жертва, и почему бы ему попросту не выбросить ребенка из окна?

— Ну, на этот счет я ничего не знаю. Предположим, ребенок еще не родился, и ждут, пока наступит роковая минута!

— Прекрасно. Значит, ребенок должен вот-вот родиться, и когда дон Санчо входит в башню и под-

нимается по лестнице, Пакита, служанка, спускает вниз только что появившегося на свет ребенка! Скажите, а ребенка зрители увидят?

— Конечно! Я нарисую его в колыбели. Ниточка будет изображать веревку. Все это будет вырезано и видно на заднем плане.

— Итак, предатель раздосадован, оттого что птичка улетела. Что же ему делать? Что, если мы дадим ему выброситься из окна и разбить голову о камни?

— Нет! Прибережем это к развязке пьесы, это отличный конец!

— Ну, тогда он в ярости убивает свою несчастную племянницу. Слышен крик, и появившийся на сцене убийца говорит: «Честь моя отомщена».

— Его честь! По-моему, уж лучше ему сказать: «Состояние мое упрочено».

— Почему?

— Потому что он наследует все после герцогини: не будем же его делать злодеем только наполовину, раз мы все равно решили, что он в конце концов разобьет себе голову!

— Разумеется, это логично, но...

— Но что?

— А то, что мы снова попадаем в историю барона Олауса, какой ее рассказывают его враги: отравление родственницы, исчезновение...

— Какое это имеет значение, если вы уверены, что эта история — вымысел?

— Я в этом совершенно уверен, и все же... Послушайте, вашим таинственным голосом, мыслью о пленнице и подземелье, тем, как вы объяснили мое собственное видение этой ночью, и вашими словами из Библии вы сделали меня настоящим ясновидцем.

— Так как во всем этом, очевидно, нет ничего, кроме игры нашего воображения, мы не рискуем никого обидеть, и к тому же, господин Гёфле, если даже, надев маску и выступая под псевдонимом Христиана Вальдо, я вызову у господина барона какое-нибудь неприятное воспоминание, то позвольте вас спросить, какое мне до этого дело? Что же касается вас, когда вы окажетесь рядом со мною, инкогнито ваше будет полностью сохранено...

— Что касается меня, то стоит только барону поручить меня своим подлым лакеям, и они начнут

выслеживать каждый мой шаг и обо всем ему доносить...

— Ну, если вы действительно подвергаете себя какому-то риску, то не будем больше об этом говорить и поинтересуемся другой сюжет для комедии.

Гёфле оставался некоторое время погруженным в свои мысли, к великому нетерпению Христиана, который с тревогой посматривал на стрелку часов. Наконец адвокат ударил себя по лбу, стремительно вскочил и, начав ходить взад и вперед по комнате, воскликнул:

— Но кто знает, не означает ли это убежать от поисков истины? Неужели же я окажусь в роли трусливого придворного этого сомнительного героя? Неужели же совесть моя не будет чиста? Неужели скажут, что некий скиталец, иными словами — красивый и добрый посланец судьбы, достойный, разумеется, лучшей доли, при всей своей беспечности, найдет в себе мужество бросить вызов могучему врагу, тогда как я, официальный служитель истины, облеченный доверием, ревнитель человеческой и божественной справедливости, закоснею в эгоистической лени, граничащей с подлостью? Христиан! — добавил Гёфле, снова усаживаясь, но все еще пребывая в большом возбуждении, — давайте перейдем ко второму акту и сочиним страшную пьесу! Пусть ваши марионетки прославят себя сегодня! Пусть они станут серьезными персонажами, живыми образами, орудиями судьбы! Пусть, так же как в трагедии о Гамлете, эти актеры сыграют драму, которая заставит трепетать и бледнеть торжествующее преступление, в конце концов раскрытое! Итак, Христиан, за дело! Предположим... все, что в этих местах предполагают относительно барона: что он отравил отца, зарезал брата, уморил голодом невестку...

— Да, как раз в этой комнате! — сказал Христиан, пытавшийся представить себе декорацию третьего акта. — Посмотрите, какая это будет прекрасная сцена! Мне думается, что ребенок... Раз мы держимся того мнения, что ребенок существовал, будем также думать, что сын герцогини вернется через двадцать пять лет, чтобы восстановить истину и наказать преступника! Пусть же наши марионетки продолжают эту таинственную стену и найдут там, за этими кирпичами... Можно быстро написать декора-

цию для данного случая, я выкрою на это время...

— Найдут что?— спросил Гёфле.

— Не знаю,— ответил Христиан, сразу помрачнев и погрузившись в раздумье.— В голове у меня проносятся такие тяжелые мысли, что я уже отказываюсь от этой темы. Она лишит меня всего моего задора, и, вместо того чтобы продолжать пьесу, я, раздражаемый любопытством, начну ломать эту стену...

— Дорогой мой Христиан, не сходите с ума! Достаточно того, что сам я уже спятил,— ведь все это сплошной бред, и совесть моя не позволяет придавать значение подозрениям, рожденным несварением желудка и праздною ума. Заканчивайте пьесу и сделайте ее безобидной, если вы хотите, чтобы публика развлекалась. А я хочу немного поработать: тут надо разобрать одну папку, которую мне передал Стенсон; надо составить определенное мнение о том, что в ней содержится,— ведь с минуты на минуту барон может прислать ко мне за тем решением, которое я ему обещал сегодня утром.

Христиан принялся писать пьесу, а Гёфле — читать судебное дело; оба расположились на противоположных концах большого стола, сдвинув на середину остатки завтрака. Ульфил пришел и молчаливо заменил их новыми кушаньями. Он находился в обычном для него состоянии легкого опьянения и завел с Гёфле довольно длинный разговор, которого Христиан не слышал, да и не захотел слушать: речь шла о супе из молока, пива и сиропа — национальном блюде, которое Гёфле заказал себе на ужин и которое, по словам Ульфила, лучше него никто во всей Швеции не сумеет приготовить. Обещанием своим он обезоружил адвоката, сердившегося на него за то, что он напоил его маленького лакея. Ульфил же поклялся, что знать ничего не знает, и, может быть, это была совершенно искренняя клятва, исходившая от человека, которого винные пары не лишали ни спокойствия, ни уверенности в себе.

В шесть часов Христиан все закончил, а Гёфле не работал: он был слишком взволнован и встревожен, и всякий раз, когда Христиан случайно поднимал глаза, он встречал его сосредоточенный и напряженный взгляд. Думая, что это свидетельствует о том, что Гёфле поглощен работой, он не хотел ничем его от-

влекать, но в конце концов, уже несколько обеспокоенный, спросил адвоката, не захочет ли он прочесть пьесу.

— Конечно,— ответил Гёфле,— только почему вы мне не прочтете ее сами?

— Это невозможно, господин Гёфле. Сейчас надо отобрать кукол, немного приодеть их в соответствии с пьесой, собрать декорации, нагрузить все это на осла и быстро отправиться в новый замок, чтобы осмотреть помещение, где мы будем играть, расставить все по местам, наладить освещение и так далее. Я не могу больше терять ни минуты. В восемь часов начало.

— В восемь часов! Черт возьми! Какое неудобное время. Значит, ужинать в замке будут не раньше десяти? А когда же будем ужинать мы?

— Ах да, ужин, надо в пятый раз садиться за стол! — в отчаянии вскричал Христиан, торопясь все собрать. — Ради всего святого, господин Гёфле, поужинайте лучше сию же минуту, чтобы через час быть готовым. Вы прочтете пьесу за едой.

— Как бы не так! Ничего себе вы мне тут режим устроили! Есть, когда нет аппетита, и читать во время еды, чтобы пища не переваривалась!

— Тогда не будем больше об этом думать. Я попробую сыграть всю пьесу один. Сделаю все как смогу. Ничего! Какой-нибудь добрый дух мне поможет!

— Нет! Нет! — вскричал Гёфле. — Этим добрым духом хочу быть я; я вам это обещал, а я всегда держу свое слово.

— Нет, господин Гёфле, благодарю вас, для вас это непривычное дело. Вы человек рассудительный, вы не поступите с вашими важными занятиями, чтобы надеть на голову шутовской колпак с бубенцами! Очень неделикатно было с моей стороны согласиться на это.

— Вот как! — воскликнул Гёфле. — За кого же вы меня принимаете? За болтуна, который бросает на ветер слова, или же за старого педанта, неспособного весело поболтать?

Христиан увидел, что противоречить адвокату было лучшим способом вернуть его к ранее принятому решению и что сей достойный муж отлично мог переполотиться в комического актера и для этого ему требовалось не больше подготовки, чем самому Христиану. Поэтому он еще больше раздражил его при-

творной скромностью и ушел лишь тогда, когда убедился, что адвоката почти рассердили его сомнения, что он твердо и даже не без ожесточения решил, что окажется на высоте, даже если ему придется съесть без аппетита суп на молоке и пиве и учинить непростительное насилие над своими повседневными привычками.

Христиан находился уже на полпути между Стольборгом и замком Вальдемора, как вдруг столкнулся лицом к лицу с каким-то черным призраком, бежавшим вприпрыжку по льду. Он без особого труда узнал в нем Стангстадиуса, спешившего, как и он, с потайным фонариком в руке и готового вступить в разговор. Так как Христиан был уверен, что этот человек, не обращающий ни малейшего внимания на других, его не узнает, то он счел излишним опускать на лицо маску и изменять голос.

— Эй, друг,— сказал ученый, не потрудившись даже взглянуть на него,— вы что, из Стольборга?

— Да, сударь.

— Вы там видели доктора Гёфле?

— Нет, сударь — ответил Христиан, сразу же представив себе, какую неприятную смуту внесет подобное посещение во все благие намерения его нового компаньона.

— Как! — воскликнул Стангстадиус. — Доктора Гёфле нет в Стольборге? Он же сам мне говорил, что остановился там.

— Он там недавно был,— уверенно ответил Христиан,— но два часа тому назад он уехал в Стокгольм.

— Уехал! Уехал, не дождавшись моего визита, после того как я еще сегодня утром предупредил его, что приду в старую башню с ним поужинать? Нет, это невозможно.

— Он, наверно, забыл?

— Забыл! Забыл! Это меня-то? Вот так здорово!

— Ну хорошо, сударь,— сказал Христиан,— идите туда, если вам угодно, только вы не найдете ни ужина, ни адвоката.

— В таком случае я не пойду, но только это какая-то невероятная история! Должно быть, бедняга Гёфле сошел с ума!

И Стангстадиус, повернувшись, пошел вслед за Христианом, который продолжал свой путь в замок,

Через несколько минут натуралист опомнился и стал громко говорить сам с собою по своей всегдашней привычке:

— Ну хорошо, Гёфле уехал, это горячая голова, сумасброд; ну а его племянник? У него же ведь есть племянник, прелестный молодой человек, с которым можно поговорить; он знает, что я приду туда к ужину, и, наверно, ждет меня. Нет, мне надо пойти туда, непременно надо пойти... Вот что, друг мой,—сказал он, обращаясь к Христиану,—я во что бы то ни стало хочу попасть в Стольборг... Я много ходил сегодня по снегу и очень устал, не одолжите ли вы мне вашу лошадку?

— С большим удовольствием, сударь, но если вы хотите найти племянника господина Гёфле...

— Да, конечно, Христиана Гёфле, так его зовут. Вы видели его? Вы ведь служите в Стольборге, не правда ли?? Тогда вернитесь туда, дайте мне вашу лошадку, а сами идите вперед и велите приготовить ужин. Это неплохая идея!

И не дожидаясь ответа Христиана, Стангстадиус, прелощенный маленьким ростом и спокойным шагом Жана, которого он упорно принимал за лошадь, решил сесть на него верхом, нимало не беспокоясь о навьюченном на него грузе, но встретил решительное сопротивление.

— Оставьте его в покое!—сказал Христиан, которого начало раздражать его упрямство.—Племянник господина Гёфле уехал вместе с дядей, а Стольборг заперт на ключ, как тюрьма.

— Как, и молодой человек уехал!—удивленно воскликнул Стангстадиус.—Боже ты мой! Должно быть, в этой семье случилась какая-то беда, если и дядя и племянник могли позабыть о моем обещании быть у них; но должны же они были оставить мне письмо. Надо сходить за ним.

— Никакого письма они не оставили,—ответил Христиан, которого осенила новая мысль.—Они поручили мне передать некоему господину Стангстадиусу в новом замке, что им пришлось уехать. За этим-то я и иду сейчас в новый замок.

— Некоему Стангстадиусу!—в негодовании вскричал ученый.—Они так и сказали *некоему*?

— Нет, сударь, это я так сказал. Я-то ведь не знаю этого Стангстадиуса!

— Ах, как это ты сказал, дурак этакий! Некому Стангстадиусу! Которого ты, видите ли, не знаешь, скотина! Ну ничего, это к лучшему. Так знай же, кто я такой: я самый знаменитый натуралист... Только зачем это тебе? На этой несчастной земле есть еще удивительные тупицы! Останови же свою лошадь, скотина! Не сказал я тебе разве, что собираюсь сесть на нее верхом? Говорю тебе, я устал! Неужели ты думаешь, что я не сумею ехать верхом все равно на каком четвероногом?

— Послушайте, господин ученый,— хладнокровно ответил Христиан, хоть он и был очень раздосадован этой встречей, которая еще больше его задерживала,— вы же видите, какую тяжесть тащит на себе этот бедняга.

— Подумаешь! Сбрось свой груз, а потом за ним вернешься.

— Это невозможно, мне некогда.

— Как! Ты мне отказываешь? Что ты за дикарь такой! Ты первый крестьянин во всей Швеции, который отказывается помочь доктору Стангстадиусу! Я на тебя пожалуюсь, будешь у меня знать, несчастный! Я пожалуюсь на тебя.

— Кому? Барону Вальдемора?

— Нет, потому что он велит тебя повесить, и ты получишь только то, что заслужил... Я хочу, чтобы ты знал, какой я добрый; я лучший из всех людей, и я тебя прощаю.

— Ну уж, положим,— ответил Христиан; его всегда развлекали чудаки, которых он встречал в своей бродячей жизни,— я вас не знаю, а вы выдадите себя за другого. Вы говорите, что вы натуралист? Полноте! Да вы же лошади от осла отличить не можете!

— От осла?— сказал Стангстадиус, по счастью, отвлекшийся от назойливого желания ехать верхом.— Ты что, утверждаешь, что это осел?

И, поднеся свой фонарь, он стал оглядывать со всех сторон Жана, которого хозяин его так тщательно укутал в шкуры разных животных, что тот действительно принял совершенно фантастический вид.

— Осел? Не может этого быть, ослы не могут жить в наших широтах. То, что ты по своему грубому невежеству называешь ослом, всего-навсего мул!

А ну-ка я посмотрю как следует, сними с него все эти шкуры.

— Послушайте, сударь, Стангстадиус вы или нет, но вы мне надоели... Мне некогда с вами разговаривать. До свидания.

Тут он пощекотал хлыстом своего верного Жана, который быстро побежал вперед, оставив доктора наук позади. Но нашего доброго Христиана вскоре начали мучить угрызения совести. Добравшись до берега, он обернулся и увидел несчастного ученого, который далеко от него отстал, двигался с трудом и то и дело скользил. Должно быть, он действительно очень устал, если, привыкший жить только разумом и языком, он все это замечал, а главное, если он, считавший себя самым сильным человеком своего века, с этим мирился.

«Если силы ему изменят,— подумал Христиан,— он может остаться на льду, а в этих краях несколько минут такого вынужденного отдыха в ночное время могут оказаться смертельными, особенно для такого хилого старика. Подожди-ка меня, милый Жан!».

Он побежал к Стангстадиусу, который действительно стоял на месте и, может быть, уже снова думал о том, как осуществить свой план — пообедать в Стольборге. Мысль эта заставила Христиана ускорить шаги. Однако Стангстадиус, который далеко не всегда был таким доблестным, каким он считал себя сам, почувствовав предубеждение против незнакомца, столь неуважительно к нему отнесшегося, решил, что тот задумал что-то худое, и пустился со всех ног бежать по направлению к Стольборгу. Это совсем не входило в расчеты Христиана, он кинулся за ним и вскоре его догнал.

— Несчастный!— вскричал ученый прерывающимся голосом, сам не свой от ужаса и изнеможения.— Ты решил меня убить, я это вижу! Да, мои завистники наняли тебя, чтобы ты погасил светоч мира. Отпусти меня, бесчувственная скотина, не трогай меня! Подумай, на кого ты заносишь руку!

— Ну полноте, успокойтесь, господин Стангстадиус,— сказал Христиан, посмеиваясь над его ужасом,— и старайтесь лучше узнавать людей, которые оказывают вам услуги. Садитесь-ка мне на спину, и

давайте поторопимся, а то я весь вспотел, пока гнал-ся за вами, а я не хочу простужаться.

Стангстадиус согласился с большой неохотой. Однако он успокоился, увидев, как легко молодой силач взвалил его на спину и донес до берега. Там Христиан поставил его на ноги и постарался поскорее уйти, чтобы отделаться от его великодушия, ибо в порыве благодарности Стангстадиус начал было рыться в кармане, чтобы вытащить оттуда мелкую монетку, убежденный, что по-королевски расплачивается с человеком, которому выпало счастье оказать ему услугу.

IX

Пока доктор Стангстадиус шагал к главному входу в замок, Христиан разыскал небольшую дверцу, ведущую, как во всех барских усадьбах, во дворы и службы. Надев маску, он подозвал одного из слуг и, сняв с его помощью поклажу с осла, велел отвести его в стойло; затем он поднялся по ступенькам потайной лестницы к господину Юхану, мажордому нового замка. Не успел еще Христиан представиться ему, как мажордом, приняв благодушный и покровительственный вид, воскликнул:

— Ага, вот и наш человек в черной маске! Знаменитый Христиан Вальдо! Идемте, идемте, голубчик, я вас сейчас проведу туда, где вы спокойно будете готовиться к представлению. У вас еще в запасе целый час.

Христиану помогли перенести вещи в предоставленное ему помещение и по его просьбе вручили ключ от двери. Он тотчас же заперся, снял маску, чтоб вольнее дышалось, и принялся собирать свой театр, то и дело растирая руками плечи: господин Стангстадиус не так уж много весил, но был до того костляв, что у Христиана ныли плечи, будто он протащил на себе вязанку сучковатых поленьев.

Он находился в небольшой гостиной, одна дверь которой открывалась в коридор, выходявший на потайную лестницу, другая — в дальний конец просторной, пышно убранной галереи, так называемой Охотничьей, где Христиан накануне танцевал с Маргаритой. В проеме этой двери и надо было ему уста-

новить свой театр так, чтобы сцена была хорошо видна зрителям, сидящим на галерее. Христиан измерил ширину двустворчатой двери и увидел, что весь театр в собранном виде как раз поместится в ней и полностью скроет его самого от зрителей, так что он будет чувствовать себя в этой гостиной как дома. Благодаря столь удачному размещению он сможет свободно двигаться, и тут уж наверняка никто не узнает ни его, ни Гёфле.

Христиану достаточно было взглянуть на кресла и стулья, расставленные для зрителей, чтобы сообщить, даже не подсчитывая, что около сотни удобных кресел предназначено для дам и примерно столько же мужчин встанут или рассядутся позади них. Ни одна зала, где доводилось Христиану выступать как *operante*, не была так удобна, как эта длинная и не слишком широкая галерея. Судя по своду, расписанному фресками, акустика была превосходной. Люстры уже горели, и вся галерея была ярко освещена; оставалось только расположить светильники в кулисах таким образом, чтобы тот или иной участок маленькой сцены в нужный момент приобрел минимую и наиболее выигрышную глубину.

За что бы Христиан ни брался, дело свое он выполнял тщательно. Маленький свой театр он любил как взыскательный художник и проявил такую изобретательность, создавая его, что подмостки эти являли собой уменьшенное подобие настоящих. Он мог бы с успехом писать пейзажи или портреты, если бы страсть к науке не вынудила его остановить свой выбор на чисто развлекательном виде искусства. Благодаря редкой одаренности он не брался ни за одно занятие, которому не мог бы придать известное изящество и неповторимый отпечаток своей личности. Сцена его небольшого театра всегда пленяла свежестью декораций и радовала глаз. Христиан любил щегольнуть своим искусством перед понимающим зрителем, а если ему порой случалось досадовать на то, что приходится тратить время на такие пустяки, память тотчас же приводила ему в утешение любимое изречение Гоффриди: «Если ты взялся за какое-то дело, старайся довести его до совершенства, даже если ты просто-напросто стругаешь зубочистку».

Итак, Христиан с головой ушел в подготовку

спектакля. Окинув быстрым взглядом галерею, дабы убедиться, что там никого нет, он для пробы выдвинул в проем двери свои подмостки с установленными на них декорациями, а сам вышел в зрительный зал и уселся на лучшее место, чтобы составить мнение о перспективе и вообразить, как будут выглядеть его актеры, выходя на сцену и двигаясь по ней.

К тому же он нуждался в нескольких мгновениях отдыха. Он уже давно привык выступать и в жару и в холод, но здесь, на севере, его быстро утомляла духота нагретых комнат. К тому же прошлой ночью ему едва довелось вздремнуть часок-другой в кресле, и теперь, то ли по вине пережитых за день волнений, то ли после бега по льду с профессором геологии на плечах, его внезапно сморил непреодолимый сон, какой мгновенно переносит человека из мира действительности в царство грез. Ему почудилось, будто он находится в саду знойным летним днем и слышит, как хрустит песок, словно по нему идут крадучись. Кто-то осторожно приближался, и, еще не видя, кто идет, он был уверен, что это Маргарита. Поэтому он пробудился, не вздрогнув, когда чье-то дыхание коснулось его волос, но тотчас же окончательно пришел в себя, вскочил и, схватившись рукой за лицо, понял, что маска упала на пол. Христиан наклонился за ней, прежде чем обернуться к тому, кто его разбудил, и вздрогнул, услышав у себя за спиной хорошо знакомый голос:

— Незачем прятать лицо, Христиан Вальдо, я узнал тебя, ты Христиан Гоффреди!

Христиан в изумлении обернулся: перед ним стоял не кто иной, как Гвидо Массарелли, в хорошем платье, чистый, свежевыбритый.

— Как? Это вы?— воскликнул Христиан.— Что вы делаете здесь? Вам место в лесу, с петлей на шею!

— Мое место здесь,— с надменной и спокойной улыбкой ответил Гвидо.

— Ваше место здесь, в доме барона? А, понимаю! Это меня не удивляет. Мошенник и грабитель с большой дороги стал лакеем; иначе и быть не могло.

— Я не лакей,— возразил Массарелли все так же спокойно.— Я друг этого дома, близкий друг,

Христиан! А поэтому советую тебе водить дружбу со мной, и считай, что тебе повезло.

— Вот что, любезный,— сказал Христиан, отодвигая театр назад, в гостиную,— тут не место для объяснений; я рад тому, что знаю, где вас найти.

— Это угроза, Христиан?

— Нет, обещание. Как известно, друг мой, я перед вами в долгу. Но сначала я хочу исполнить свой долг в этом доме, иначе говоря — сыграть кукольный спектакль, назначенный через час, а там уж сочтусь и с вами и обещаю отдубасить вас так, как вам и не снилось.

С этими словами Христиан вернулся в свою артистическую уборную, погасил свечи и опустил занавес.

Массарелли вошел следом и закрыл за собой дверь, ведущую на галерею. Христиан занимался своим делом, стоя к нему спиной и отлично понимая, что мошенник способен воспользоваться случаем и покончить с ним без свидетелей, но он слишком презирал Массарелли, чтоб позволить ему заметить эти опасения, и продолжал сулить ему суровую кару с таким же спокойствием, с каким тот начал разговор.

К счастью для неосмотрительного Христиана, Гвидо не был храбрецом, а потому держался на расстоянии, чтобы пуститься наутек, если противник вздумает выдать ему задаток в счет обещанного.

— Послушай, Христиан,— заговорил он снова, решив, что первый пыл юноши остыл,— обсудим все хладнокровно, прежде чем дойдем до крайностей. Я готов дать тебе удовлетворение и ответить за свои поступки, стало быть, ты попусту оскорбляешь человека, у которого, как ты знаешь, нет оснований тебя бояться.

— Жалкий трус! — ответил в ярости Христиан и подошел вплотную к Массарелли. — Ужели я стану требовать удовлетворения от тебя, подлеца из подлецов? Нет, Гвидо, с такими, как ты, один разговор — пощечина! А если этого мало — их избивают как собак, но с ними не дерутся, понял? Сбавь тон и опусти глаза, каналья! На колени, или я тебя сейчас ударю!

Гвидо побледнел, как мертвец, и молча упал на

колени; по щекам его покатались крупные слезы — слезы страха, стыда или злости.

— Хватит!— сказал Христиан, охваченный одновременно отвращением и жалостью.— Вставай и убирайся прочь; на сей раз я отпускаю тебя безнаказанным, но больше не попадайся мне на пути и не смей заговаривать со мной, где бы ты меня ни встретил. Для меня ты умер. Вон отсюда, лакей! Эта комната на ближайšie два или три часа моя.

— Христиан!— вскричал Гвидо, вскочив с колен, с деланным или искренним пылом.— Дай мне только пять минут, чтоб объясниться!

— Нет!

— Христиан, слушай,— продолжал разбойник, прислонившись спиной к двери, на которую указал ему Христиан,— я должен сообщить тебе очень важную новость, от которой зависят и твое богатство и твоя жизнь!

— Мое богатство,— сказал Христиан с презрительной усмешкой,— оно давно у тебя в кармане, вор! Но я придавал ему так мало значения, что давно о нем позабыл; что касается жизни, попробуй отними ее!

— Я однажды держал ее в своих руках, Христиан,— ответил Гвидо, которому великодушие противника вернуло самоуверенность.— Это может повториться. Я был жестоко оскорблен тобой и жаждал мести; но я не мог забыть, что когда-то любил тебя, и даже сейчас, несмотря на то, что ты нанес мне новую обиду, хочу вернуть тебе прежнюю дружбу — это зависит только от тебя!

— Благодарю покорно,— возразил Христиан, пожимая плечами — Только у меня нет времени выслушивать твою высокопарную болтовню; я хорошо знаю ей цену.

— Я не так виноват, как ты думаешь, Христиан; когда я ограбил тебя в Карпатах, я не волен был поступить иначе.

— Так говорит всякий, кто продался дьяволу.

— Да, я и впрямь продался тогда дьяволу. Я был атаманом шайки разбойников! Мои сообщники выследили тебя; они не спускали глаз с нас обоих. Не напои я тебя и не помешай тем самым твоему безрассудному сопротивлению, они бы покончили с тобой.

— Значит, я еще должен благодарить тебя? Таков твой вывод?

— Мой вывод — вот он: я нахожусь на пути к богатству. Не позднее, чем завтра, я смогу вернуть тебе все, что взяли, силой добившись моего позволения, люди, атаманом которых я стал против собственной воли; они же несколько дней спустя обобрали и бросили меня самого так же, как прежде — тебя.

— Отлично, поделом тебе.

— Ты помнишь, Христиан, сколько у тебя взяли денег?

— Конечно.

— Ты еще будешь завтра в Стольборге?

— Не знаю. Это не твое дело.

— Мое. Я хочу завтра же вернуть тебе эти деньги.

— Не трудись понапрасну. В Стольборге я у себя и никого не принимаю.

— Но...

— Замолчи, с меня хватит.

— Но если я верну деньги?..

— Разве это те самые деньги, что ты украл у меня? Ведь не те же? Ты давным-давно их пропил. Так вот, раз это другие деньги, которые достались тебе не иначе, как от грабежа или даже чего-то худшего, мне они не пужны. Запомни это раз и навсегда и избавь меня от своих хвастливых обещаний. Я не так глуп, чтобы в них поверить, а если б и поверил — все равно нывернул бы тебе прямо в лицо деньги, добытые грязными руками.

Христиан замахнулся на Гвидо, чтобы вынудить его наконец уйти, и тому пришлось повиноваться.

Operante уже закрывал за ним дверь, когда на лестнице появился Гёфле, закутанный в меха с головы до ног, с рукописью в руке. Адвокат, видимо, перескучил насмех или совсем не ел; зато он залпом проглатывал пьесу, быстро усвоил ее суть и, опасаясь, что не успеет подготовиться к спектаклю, примчался пешком, при свете звезд, пряча лицо и меняя голос, когда приходилось спрашивать дорогу к театру маэрионеток, — словом, принимая всяческие предосторожности, словно молодой повеса, который спешит на тайное свидание с возлюбленной. В эти минуты он думал только о **burattini**, а тайны Стольборга

вылетели у него из головы, будто их вовсе никогда не было; но когда он легко взбегал по лестнице, ему во второй раз за этот вечер попалась навстречу весьма подозрительная личность, и обстоятельство это вновь навело его на тревожные мысли о бароне Олаусе, Стенсоне и покойной Хильде.

— Подождите,— сказал он Христиану, который выражал радость по поводу его рвения,— взгляните на человека, что идет по коридору; он только что повстречался мне на лестнице. Он вышел отсюда? Это лакей барона? Он вам знаком?

— Слишком знаком, и мне только что пришлось высказать ему все, что я о нем думаю,— отвечал Христиан.— Не знаю, лакей он или нет, но это тот самый Гвидо Массарелли, о котором я упоминал не далее, как нынче утром, рассказывая вам о своих приключениях.

— Ого! Вот так странная встреча!— воскликнул Гёфле.— И вполне возможно, чреватая для вас неприятностями. Он ненавидит вас, не правда ли? И причинит вам зло, какое только сумеет, если вы обошлись с ним, как он того заслужил.

— Какое зло он может мне причинить? Он такой трус! Я заставил его стать передо мной на колени.

— Ну, в таком случае... Не знаю, что он может сделать, не знаю, какая тайна стала ему известна...

— Тайна, касающаяся меня?

— Нет,— ответил Гёфле. Он уже собрался все рассказать Христиану, но вовремя вспомнил о решении скрыть от него все связанное со Стенсоном.— Но под маской Христиана Вальдо скрывается Христиан Гоффреди, а Гвидо способен вас выдать...

— Пускай себе! Я не запятнал имени Гоффреди. Придет, надеюсь, день, когда мои удивительные приключения послужат мне на пользу. К чему мне опасаться людского мнения? Разве я лентяй или распутник? Да я смеюсь над всеми Массарелли вместе взятыми! Разве я уже не завоевал репутацию рыцаря здесь, в Швеции, да и в других местах, под моей шутовской маской? Мне приписывают больше подвигов, чем я способен совершить за всю жизнь, я становлюсь легендарной личностью! Не я ли прошлым вечером прослыл наследником шведского престола? А если эта слава станет непомерно фантастической, к моим услугам всегда найдется другое

ния, как только представится случай заняться серьезным делом. Самое важное теперь — и то исключительно ради вас, господин Гёфле, — чтобы под маской Вальдо не узнали человека, который назвал себя вчера на балу вашим племянником. Ну, а в том, что Массарелли не был здесь вчера вечером, я совершенно уверен, и об этом моем приключении ему ничего не известно, иначе он поспешил бы похвалиться такими сведениями. Впрочем, что бы ни случилось, вам достаточно говорить правду, то есть повторять во всеуслышание, что у вас никогда в жизни не было ни племянника, ни внебрачного сына и что вы вовсе не ответственны за проделки, которые шутнику Христиану Вальдо угодно вытворять на глазах у всех.

— А мне на это наплевать! — возразил Гёфле. Он снял парик и, взяв из рук Вальдо тонкую шелковую черную маску, натянул ее на голову. — Напрасно вы полагаете, будто я способен струсить перед всеобщим пугалом! Послушайте, Христиан, сейчас я впервые выступаю в роли кукольника — *operante*, как вы говорите. Так вот, если когда-нибудь вас попрекнут тем, что вы, желая в дальнейшем посвятить себя науке, были бродячим комеднантом, вы сможете ответить: я знаю человека, который с честью подвизался на весьма серьезном поприще и в то же время был моим партнером ради собственного удовольствия!

— Или, вернее, из добрых чувств ко мне, господин Гёфле.

— Из самых дружеских чувств, если хотите, — вы мне по душе; но я солгу, если скажу, что наше с вами занятие мне докучает. Напротив, мне кажется, что оно будет весьма и весьма забавным. Прежде всего пьеса очаровательна, безмерно остроумна и местами очень трогательна. Вы правильно поступили, переделав ее так, что никто не увидит в ней намеков. Ну, Христиан, пора репетировать! У нас осталось только полчаса. Поспешим! Дверь хорошо заперта? Никто не сможет подсмотреть или подслушать?

Христиану пришлось удерживать Гёфле, чтобы он не напрягал попусту голос и не потратил весь запал на репетицию. Содержание каждой сцены излагалось в нескольких словах на вывешенном листе картона; достаточно было двух-трех реплик, чтобы соткать

канву для импровизации диалога в присутствии зрителя. Теперь оставалось разместить актеров на запасной полочке, чтобы безошибочно взять того или другого, когда придет его черед предстать перед публикой, уговориться заранее о порядке и причине их появления на сцене и о теме их разговоров. Сам же диалог и различные вставные сценки создавались по вдохновению во время спектакля.

Никогда еще у Христиана не было столь приятно-го и умного партнера, как Гёфле, поэтому он почувствовал прилив энергии, а к тому времени, как часы пробили восемь, он пришел в такое счастливое и бодрое расположение духа, какого не знал с тех пор, как с ним выступал Массарелли, в те дни еще исполненный любезности и очарования. На какое-то мгновение ему стало грустно при мысли, что эти воспоминания отныне и навеки отравлены и лишены всякой прелести, но он быстро овладел собой и сказал Гёфле:

— Ну, я слышу, как публика заполняет галерею. За дело, дорогой мой партнер, желаю вам удачи!

В это время кто-то постучался в заднюю дверь, и мажордом Юхан позвал Христиана Вальдо.

— Простите, сударь, сюда входить нельзя, — отозвался Христиан. — Ежели вам что-то от меня надобно, говорите, я слушаю.

Юхан ответил, что Христиану надлежит быть наготове и дожидаться троскратного стука в дверь галерей, после чего дверь распахнется и театр предстанет перед глазами зрителей.

После этих переговоров еще добрая четверть часа ушла на то, чтобы каждая дама покрасовалась перед всеми пышными фикжмами и собственными предестями и уселась рядом с приглянувшимся ей кавалером либо на виду у того, кому сама хотела приглянуться. Христиан уже привык к таким нравам, а потому спокойно расставлял на столике прохладительные напитки, приготовленные в гостиной для того, чтобы кукольные могли в антракте промочить горло. Потом оба заняли свои места под деревянным каркасом, на который спереди и с боков была натянута плотная ткань, напрочню скрепленная на стыках крючками. Задняя часть каркаса была открыта и находилась в достаточном отдалении, чтобы декорации, расставленные одна позади другой, создавали

иллюзию глубины. Теперь обоим *operanti* оставалось только дожидаться троекратного стука: Христиан был спокоен, но Гёфле охватило лихорадочное нетерпение, которое он и проявлял в довольно крепких выражениях.

— Досадуете на задержку?— спросил Христиан.— Значит, волнуетесь, а это хороший признак — вы блистательно сыграете.

— Будем надеяться,— ответил адвокат,— хотя, по правде сказать, мне сейчас кажется, что я не сумею произнести ни единого слова и буду стоять, словно воды в рот набрав. Приятнейшее чувство, доложу вам, прямо голова кружится! Ни одно выступление на самом ответственном процессе, ни одна речь, от которой зависели жизнь или честь моего клиента, а также мой личный успех, не вызывали такой сумятицы у меня в мозгу и такого напряжения всех нервов, как эта предстоящая комедия. Перестанут ли наконец эти болтушки кудахтать там, за дверью? Может быть, они задались целью уморить нас в этом чулане? Еще немного, и я их обругаю!

В конце концов раздалась долгожданная три удара. Два лакея, стоявшие на галерее по обе стороны двери, одновременно распахнули створки, и зрители увидели, как маленькое театральное здание легко двинулось вперед, словно по собственной воле, и остановилось, заняв собой дверной проем. Четверо музыкантов, как это было условлено заранее, сыграли короткую музыкальную пьесу на итальянский манер. Взорвался занавес, и пока зрители аплодировали декорациям, оба *operanti* успели взять кукол и приготовились к их выходу на сцену.

Однако, перед тем как начать спектакль, Христиан постарался рассмотреть публику через глазок, специально проделанный в занавесе. Прежде всего взгляд его упал на ту, которую он мечтал увидеть: Маргарита сидела рядом с Ольгой в первом ряду. Наряд ее вызывал восхищение; она была прелестна. Затем Христиан заметил барона, восседавшего позади дам в креслах, предназначенных для мужчин, и выделявшегося среди всех своим ростом. Лицо его казалось еще более бледным, нежели вчера. Тщетно Христиан искал глазами Массарелли; зато он обрадовался, увидев майора Ларсона, лейтенанта Эрвина и других молодых офицеров, проявивших к нему

такую сердечность на вчерашнем бале и после бала; по улыбке, игравшей на их румяных, жизнерадостных лицах, можно было заранее угадать, что они доброжелательно примут спектакль. До слуха Христиана донеслись возгласы зрителей, расхваливавших декорации.

— Два ведь это Стольборг!— говорили некоторые из них.

— И впрямь,— раздался металлический голос барона Олауса,— мне тоже кажется, что это попытка изобразить наш старый Стольборг!

Гёфле ничего не слышал и никого не видел. Он был взволнован чрезвычайно. Чтобы дать ему время собраться с духом, Христиан для начала разыграл без его помощи сценку с участием двух кукол. Его голос удивительным образом менялся в зависимости от того, за кого из кукол он говорил; к тому же он умел превосходно схватывать и передавать любые оттенки человеческой речи, а потому каждый персонаж говорил тем языком, какой требовался по роли и ходу действия. С первых же реплик диалог в исполнении Христиана покорила публику своей простотой и искренностью. Вскоре к Христиану присоединился Гёфле с куклой, изображавшей старика; и хотя поначалу адвокату не удавалось изменять голос, никому в голову не могла прийти мысль о его участии в представлении; к тому же все были убеждены, что за актеров говорит один только Христиан, и не переставали восхищаться многообразием его таланта.

— Можно побиться об заклад, что их тут не меньше дюжины!— восклицал майор Ларсон.

— Или по крайней мере четверо!— вторил ему лейтенант.

— Нет,— возражал майор,— их всего двое, хозяин и слуга; но слуга — тупая скотина, из него еле-еле слово вытянешь; он еще и рта не раскрывал!

— Нет, слушайте, вот они говорят вдвоем, я ясно слышу два различных голоса!

— Чистейший обман слуха!— восторженно повторял Ларсон.— Это все тот же Христиан Вальдо, он умеет одновременно подражать голосам нескольких людей — двух, трех, четырех, а возможно, и больше, кто его знает? Черт, а не человек! Но вы послушайте пьесу, она тоже представляет немалый интерес. Он

сочиняет такие штуки, что поневоле хочется их запомнить или записать!

И все же мы не станем пересказывать пьесу нашему читателю. У подобных крылатых, остроумных творений та же судьба, что у любой музыкальной или устной импровизации. Всегда ошибаешься, думая, что они сохраняют свою ценность, если их записать или удержать в памяти. Они пленяют нас именно своей неожиданностью, и чем туманнее становятся впоследствии воспоминания о них, тем больше прелести обретают они в нашем воображении.

Христиан импровизировал с жаром, блеском и вкусом, и все обмолвки и оговорки, неизбежные в столь бурном потоке слов, покрывались умением автора выводить на сцену новых актеров, едва он чувствовал, что старым тут больше нечего делать.

Что касается Гёфле, то ему позволили легко справиться с задачей природное красноречие, остроумие, всегда приходившее ему на помощь в минуты подъема, а также весьма обширное и глубокое образование. Его способность подхватывать на лету самые причудливые порывы фантазии партнера придавали диалогу неожиданно острые и забавные повороты, и Христиан более обычного поражал публику обилием и разнообразием своих знаний, о которых свидетельствовали эти блистательные отступления.

Но, отказавшись от намерения передать содержание пьесы, мы по крайней мере обязаны поделиться с читателем тем, как Христиан переделал первое действие, столь тревожившее Гёфле.

Опасаясь, как бы невольные намеки и впрямь не привели к неприятным для адвоката последствиям, Христиан превратил своего злодея в комического персонаж, некую разновидность Кассандра, обманутого воспитанницей, который всячески пытается разоблачить этот обман и найти «дитя тайны», но не вынашивает никаких коварных замыслов. Вот почему Христиан был весьма удивлен, когда среди финальной сцены этого первого действия он внезапно заметил какое-то волнение среди публики. Неясный шепот, выражавший не то восхищение, не то негодование, донесся до его слуха, привыкшего ловить между репликами любое проявление чувств театрального зрителя.

«Что случилось?» — поспешно задал он себе вопрос и посмотрел на Гёфле, который с очень расстроенным лицом нетерпеливо притоптывал ногой, в то время как кукла, надетая на его руку, судорожно металась по сцене.

Христиан решил, что адвокат перенутал ход событий, поэтому он на полуслове прервал Гёфле, вывел на сцену лодочника, поторопился закончить действие и опустил занавес под странный гул, доносившийся из залы, не похожий ни на аплодисменты, ни на свист, а скорее всего напоминавший говор толпы, в смятении покидающей залу до конца представления.

Прежде чем отодвинуть свой театр в глубь гостиной, Христиан заглянул в глазок и увидел, что зрители еще не разошлись, но встали с мест и повернулись спиной к сцене, вполголоса переговариваясь о каком-то происшествии. Разобрав слова: «Ушел! Он ушел!», Христиан посмотрел по сторонам, сился понять, о ком идет речь, и заметил, что барона в зале уже нет.

— Ну что же, — сказал Гёфле, подтолкнув его локтем. — Вернемся за сцену, здесь нам делать нечего. Сейчас антракт.

Итак, театр отодвинули в гостиную, двери, ведущие в галерею, закрылись, и Христиан, торопливо подготавливая декорации второго действия, спросил Гёфле, не заметил ли тот чего либо необычного. Адвокат был вне себя.

— Черт побери! — воскликнул он. — Ну и натворил же я дел! Как вам это нравится?!

— Вы? Да вы превосходно сыграли, господин Гёфле!

— Я сваял дурака, я с ума спятил! Можно ли поверить, чтобы такая беда приключилась с человеком, привыкшим выступать публично и касаться самых шекотливых вопросов в самых запутанных делах!

— Ради бога, какая беда, господин Гёфле?

— Как? Вы, стало быть, оглохли? Вы не слышали, что я трижды чудовищно обмолвился?

— Чепуха! Со мной это, наверно, случается по сто раз на дню! Кто это замечает?

— Да, как же! Вы полагаете, что никто ничего не заметил? Держу пари, что барон ушел до конца.

— Да, он действительно ушел. Неужели его изощренный слух не в состоянии вынести неправильное ударение или не к месту сказанное слово?

— Ах, тысяча чертей! Разве об этом речи! Лучше бы мне исковеркать всю грамматику, чем сказать то, что я сказал! Вообразите только: когда вы наклонились, чтобы провести лодку между скал, я, говоря за сбиров, три раза произнес «барон» вместо «дон Санчо»! Да, три раза! Первый — нечаянно, второй — когда заметил и хотел поправиться, третий — о, третий! Это неслыханно, Христиан! Из рта вылетает именно то слово, которое боишься сказать! В этом есть что-то роковое, поневоле будешь верить, как наши крестьяне, в злых духов, что подчас вмешиваются в наши дела!

— В самом деле, любопытный случай,— сказал Христиан,— но нет человека, с которым бы это не случилось. Какого черта это вас так тревожит, господин Гёфле? Не взбредет же барону в голову, что вы это сделали нарочно. К тому же разве в мире нет других баронов? Даже сейчас, среди наших зрителей, их было, возможно, не меньше дюжины! Подумаем лучше о втором действии, господин Гёфле: время идет, и нам вот-вот велят начинать...

— Если только не велят вовсе прекратить спектакль. Слышите? Стучат в дверь!

— Это опять мажордом. Станьте под раму, господин Гёфле, а я надену маску и открою. Надо узнать, что там творится.

Гёфле спрятался, а Христиан натянул маску и открыл дверь, за которой стоял Юхан.

— В чем дело?— нетерпеливо спросил его Христиан.— Мы можем продолжать?

— А почему нет, господин Вальдо?— ответил мажордом.

— Мне показалось, что барон нездоров.

— О, это с ним часто случается, ему становится не по себе, если он долго остается без движения, но это пустяки. Он только что сам сказал мне, что вы должны продолжать представление независимо от того, будет он в зале или нет. Он хочет, чтоб вы хорошо позабавили его гостей. Но что за странная мысль пришла вам в голову, господин Христиан, избразить наш старый Стольборг на вашем театре?

— Я думал угодить господину барону,— дерзко ответил Христиан.— Неужто я ошибся?

— Господин барон в восторге, он не переставая твердил: «Очень, очень красиво! Так и видишь перед собой наш старый замок!»

— Отлично!— сказал Христиан.— Итак, продолжим наш спектакль. Всегда к вашим услугам, господин мажордом! Ну, смелее, господин Гёфле,— обратился он к адвокату, едва Юхан вышел.— Видите, все идет прекрасно, и наши страхи оказались пустыми бреднями. Бьюсь об заклад, барон окажется милейшим из людей! Того и гляди, он так преобразится, что мы причислим его к лику святых!

Следующее действие, короткое и веселое, по-видимому, очень развлекло барона. Дон Санчо на сцене не появлялся, Гёфле ни разу не оговорился и сумел так изменить голос, что никто не догадался о его участии в представлении. Чтобы удержаться в приподнятом расположении духа, он выпил в следующем антракте несколько бокалов портвейна и к третьему, последнему действию был слегка навеселе, что не помешало спектаклю иметь еще больший успех, чем в начале.

Наряду с шутовскими выходками Стентарелло, потешавшими зрителей, в пьесе Христиана были и чувствительные сценки, разыгранные другими персонажами. В последнем действии Алонсо, «дитя озера», узнает, что Росита, дочь добросердечной четы, усыновившей и воспитавшей его, вовсе не приходит к нему сестрой, и тотчас же изъясняется ей в любви. Такой поворот сюжета, достаточно известный на театре, всегда таит в себе известную опасность. Как-то неприятно, когда брат внезапно переходит от святых родственных чувств к бурной страсти, ибо, несмотря на изменившееся положение героев, это невольно наводит на мысль о кровосмешении. Но действующие лица пьесы, девушка и Алонсо, были единственными персонажами, которых Христиан создал без комедийных преувеличений. Он придал Алонсо свойственные ему самому чувства и мысли. Образ этого доброго, благородного и отважного юноши пришелся зрителям по душе, и женщины, позабыв, что у них перед глазами всего лишь кукла, поддались очарованию нежного голоса, говорившего о любви с пленительным целомудрием и искренностью,

столь отличными от свойственной тому веку жеманной изысканности французских пасторалей.

Христиану были хорошо знакомы творения Мариво — писателя, одаренного, с одной стороны, тончайшим умом, с другой — сердечной чистотой и волнующей страстностью. Христиан сумел проникнуть в его подлинную сущность, понять, чем поистине велик этот чудесный талант, и поэтому сам в совершенстве овладел языком любви. Любовная сцена показалась публике слишком короткой, раздались возгласы: «Еще! Еще!» И Христиан, уже отложивший было в сторону своего Алонсо, снова взял его, уступая желанию зрителей, и тут же придумал остроумный и вполне естественный повод для его возвращения на сцену. «Вы меня звали?» — спросил Алонсо свою юную возлюбленную, и в этих простых словах прозвучала такая робость, счастливая растерянность и наивность, что Маргарита закрыла лицо веером, чтоб скрыть жгучий румянец, внезапно окрасивший ее щеки.

Сердце девушки в этот миг испытывало удивительное чувство. Она, единственная из всех, узнала голос Христиана Гёфле в голосе Алонсо. Может быть, это объяснялось тем, что она успела поговорить с ним дольше, чем другие, и голос его еще живо звучал в ее памяти. А ведь Христиан Вальдо нарочно говорил от имени своего юного героя несколько более звонким голосом, чем было свойственно ему самому; и все же Маргарита трепетала, ловя то и дело какие-то знакомые оттенки и интонации. Когда же началась сцена любовного объяснения, последние сомнения покинули ее, несмотря на то, что сама она от Христиана Гёфле не слышала ни единого слова любви. Маргарита ни с кем не поделилась своими мыслями, и когда Ольга, как всегда, холодная и насмешливая, толкнула ее локтем и спросила, уж не плачет ли она, эта невиннейшая девушка ответила как завзятая лицемерка, что сильно простудилась и с трудом сдерживает кашель.

Что касается Ольги, она куда лучше умела скрывать свои чувства: по окончании спектакля она с величайшим презрением отозвалась о пылком влюбленном юнце, хотя во время действия сердце ее билось учащенно, ибо у некоторых русских женщин холодный расчет вовсе не исключает жара страстей.

Ольга со всей решительностью ступила на путь, куда влекла ее алчность; тем не менее ее сердце наперекор воле стал терзать тайный ужас перед бароном, едва она дала согласие стать его невестой. Когда после представления барон заговорил с ней, Ольга содрогнулась от его резкого голоса и ледяного взгляда, и тут поневоле вспомнились ей пылкие слова Христиана Вальдо и нежный звук его речей. Барон же, казалось, был в отличном настроении. Злополучный дон Санчо был благоразумно устранен стараниями Гёфле, хотя ему по ходу действия и надлежало бы еще раз появиться в конце пьесы. Но между первым и вторым действиями Гёфле, посоветовавшись с Христианом, внес в сюжет некоторые изменения. Дон Санчо в антракте скончался, Росита оказалась его дочерью и наследницей оставленного им огромного состояния и вышла замуж за Алонсо, вознаградив его таким образом за все лишения. Весь этот легкий вымысел, построенный на воздушной основе бесчисленных приключений, недоразумений и ошибок, романических событий и забавных взаимоотношений действующих лиц, среди которых особо выделялся Стентарелло с его наивным эгоизмом и отчаянной трусостью, вызвал бурный восторг всех зрителей, за исключением господина Стангстадиуса, который ничего не слушал и все бранил, возмущенный общим интересом к пустейшему творению, где науке не уделялось никакого места.

Между тем Гёфле разлегся в глубоком кресле в гостиной, отведенной ему и Христиану; в то время как последний с привычной ловкостью и тщательностью разбирал и складывал на место составные части своего театра — причем все актеры умещались в одном ящике, а подмостки с декорациями — в громоздком, но удобном тюке, — адвокат отирал пот со лба и рассеянно прихлебывал испанское вино, предаваясь столь же блаженному отдыху, как и после выступлений в суде, когда он сбрасывал наконец мантию и парик и возвращался, как он говорил, в лоно личной жизни.

Этому на редкость приятному человеку за всю жизнь почти что не довелось испытать неудач в отношениях с обществом и огорчений в делах домашних. Одного лишь не доставало Гёфле с тех пор, как он в зрелом возрасте вкусил радости покойной и

размеренной жизни: внезапных, непредвиденных событий. Он утверждал, и сам, должно быть, этому верил, что всякая неожиданность ему ненавистна, но именно в силу своего многогранного таланта и пылкого воображения испытывал живейшую потребность в неожиданном. Поэтому в тот миг он, сам не зная почему, чувствовал необычайный прилив бодрости и очень сожалел, что спектакль уже окончен, ибо, несмотря на то, что все еще обливался потом от усталости, он готов был тут же присочинить к пьесе хоть с десяток дальнейших сцен.

— Это еще что? — спросил он Христиана. — Я тут отдыхаю, а вы трудитесь, прибираете. Можно вам помочь?

— Нет, нет, господин Гёфле; да вы и не сумеете. К тому же, видите, все уже в порядке. Готовы ли вы отправиться в Стольборг или хотите еще немного остыть?

— В Стольборг? Неужто мы скучнейшим образом уляжемся спать после такого возбуждения?

— Что касается вас, господин Гёфле, вы имеете возможность выйти из этого замка через потайную дверь, снова войти в него с парадного входа, сесть за праздничный стол, — я только что слышал, как звонят к ужину, — и принять участие в дальнейших увеселениях, подготовленных, должно быть, к нынешнему вечеру. Моя же роль окончена, и коль скоро вы отказались от родства со мной и я уже не могу появиться рядом с вами под именем Христиана Гёфле, я пойду восвоюси, перекушу немного и займусь минералогией, пока меня не сморит сон.

— Бедный мой мальчик, вы и впрямь, должно быть, устали!

— Я чувствовал некоторую усталость перед началом представления, а сейчас я возбужден не менее вас, господин Гёфле. Ведь при импровизации испытываешь особый подъем как раз в тот момент, когда подходит конец пьесы, наступает развязка и занавес падает. Тут бы только и начаты! Вот когда в полную меру достало бы и пылкости, и ума, и души!

— Вы правы; вот почему я отнюдь не намерен сейчас расстаться с вами. Вам будет скучно одному. Мне знакомо это состояние; то же бывало со мной после речи в суде; но сегодняшний вечер взволновал

меня еще более, и сейчас я способен сочинить поэму, прочесть монолог из трагедии, поджечь дом или напиться, наконец, чтоб разделаться с этой потребностью совершить нечто небывалое!

— Берегитесь, господин Гёфле,— сказал смеясь Христиан,— последнее вам уже угрожает!

— Мне? Никогда в жизни! Увы! Мне свойственно глупейшее воздержание!

— Однако взгляните, бутылка уже наполовину пуста!

— Ну, знаете ли, полбутылки портвейна на двоих — это еще не попойка!

— Простите, я к ней не притронулся, я пил только лимонад.

— В таком случае,— сказал Гёфле, отставляя только что наполненный бокал,— прочь от меня, коварный напиток! Самое печальное на свете — пить в одиночку. Хотите, пойдемте в Стольборг и напьемся там вместе? Или... постойте... Утром я слышал разговор о предстоящих нынче гонках при факелах на озере, если не помешает снегопад. А вечером, когда я шел сюда, погода была прекрасной. Не принять ли нам участие в гонках? Вы знаете, в рождественские праздники всякий волен рядиться, как захочет, да к тому же... ей-богу, я теперь вспомнил, нынешним утром графиня Эльведа как раз говорила о маскараде!

— Превосходная мысль!— воскликнул Христиан.— Я окажусь в своей стихии: человек в маске! Но где нам взять костюмы? У меня здесь, в ящике, их добрая сотня, но вряд ли кому-нибудь из нас придется впору платье куклы!

— Э! Найдем, возможно, что-нибудь в Стольборге, как знать!

— Только не среди моих пожитков.

— Тогда, возможно, среди моих! За неимением лучшего всегда можно вывернуть наизнанку собственный костюм! Ну-ка, немножко воображения...

— Идите вперед, господин Гёфле, а я вслед за вами. Мне еще надо навьючить поклажу на осла и получить деньги. Вот вам маска, наденьте ее, у меня есть вторая; кто знает — вдруг на лестнице вам встретится какой-нибудь любитель поглазеть...

— Или любительница... поглазеть на вас! Поспешите, Христиан, я пошел.

И Гёфле, подвижный и легкий, как в двадцать лет, помчался вниз по лестнице, расталкивая слуг и тщательно закутанных дам, пробравшихся туда в надежде хоть мельком увидеть знаменитого Христиана Вальдо. Поэтому на Христиана уже никто не обратил внимания и он почти никого не встретил на лестнице, когда, в свою очередь, вышел туда, нагруженный ящиком и огромным тюком.

— Ну,— говорили зеваки,— вот этот, конечно, слуга, коли он несет на себе всю поклажу. Никак он тоже в маске? Каков хлыщ!

И все они были в отчаянии, оттого что не успели подметить ни единой черточки «настоящего» Христиана Вальдо, не составили о нем ни малейшего представления, когда он с быстротой молнии промелькнул мимо них.

Еще в гостиной, укладывая театральные скробы, Христиан заметил, что пресловутый Юхан пытается проникнуть в гостиную, дабы застать его врасплох, под предлогом необходимости рассчитаться за представление, на деле же стремясь удовлетворить собственное любопытство. Христиану захотелось посмеяться над настойчивым пройдохой, а потому он тщательно закрыл лицо маской и учтиво распахнул перед Юханом дверь.

— Я имею удовольствие говорить с маэстро Христианом Вальдо, если не ошибаюсь?— сказал мажордом, передавая актеру деньги.

— Безусловно,— ответил Христиан.— Разве вы не узнаете меня по голосу и по одежде?

— Конечно, любезный, конечно; но ваш слуга, как видно, тоже носит маску: я только что видел, как он прошмыгнул мимо и выглядел, ей-богу, не менее таинственно, чем вы; однако вчера, с дороги, он не был так закутан, как нынче.

— Этот плут позволяет себе носить мою шубу на плечах, вместо того чтоб держать ее в руках наготове для меня. Да я ему это позволяю, бедняга очень зябнет.

— И вот еще какая странность: вчера ваш зябкий слуга показался мне на голову ниже вас.

— Ах, вот что вас удивляет!— сказал Христиан, мысленно призывая на помощь весь свой талант импровизатора.— Разве вы не заметили, что у него на ногах?

— Право, не заметил. На ходули он взгромоздился, что ли?

— Не совсем так. Он просто надел башмаки на подставке толщиной в четыре-пять дюймов!

— Это зачем же?

— Как, господин мажордом, неужели вы, с вашим проницательным умом, задаете такой вопрос?

— Признаюсь, не понял,— ответил Юхан, кусая губы.

— Так знайте же, господин мажордом, что на таком театре, как наш, *operanti* должны быть примерно одного роста, иначе тот, кто повыше, невольно высунет голову на сцену и рядом с маленькими *burattini* покажется таким жителем Сатурна, а тому, кто поменьше, придется все время так высоко поднимать руки, что он до смерти устанет раньше, чем проведет хотя бы одну-две сцены.

— Стало быть, слуга ваш становится на подставки, чтобы с вами сравняться? Здорово придумано, ничего не скажешь, здорово!

И тут же Юхан добавил, с сомнением покачивая головой:

— Одно странно — отчего же я не слышал стука этих подставок, когда он спускался с лестницы?

— Вам опять изменяет ваша природная сообразительность, господин мажордом. Если бы эти подставки не были подбиты толстым слоем войлока, они бы гремели на всю залу во время спектакля.

— И на все-то у вас есть ответ... Но что ни говорите, я никак не возьму в толк, каким образом этот тупой простолудин сумел так блестяще подыгрывать вам.

— Проще простого! — ответил Христиан. — Такова сама сущность актера: на сцене он блистает умом (в данном случае вернее было бы сказать «под сценой»!), а уйдя за кулисы, впадает в ничтожество, в особенности если ему свойственна злосчастная привычка напиваться с челядью знатных вельмож.

— Как! Вы полагаете, что он пил...

— Со здешними лакеями, а они, господин мажордом, по-видимому, отдали вам полный отчет о своей поучительной беседе с ним, коль скоро у вас имеются столь точные сведения о его непроходимой тупости...

Юхан опять прикусил губу, и Христиану стало

совершенно ясно, что либо Пуффо за стаканом вина частично раскрыл собутыльнику его инкогнито, либо это полностью сделал Массарелли, положив в карман немалую толику денег.

Пуффо знал Христиана только под именем Дюлака; Массарелли же знал все имена, под которыми он появлялся в различных местах, кроме, может быть, недавно присвоенного имени Христиана Гёфле. В последнем Христиану очень хотелось убедиться; вскоре он понял по жадному любопытству, сквозившему во взгляде мажордома, что тому не столь важно узнать, скрывается или нет череп мертвеца под этой черной маской, как необходимо удостовериться, что сегодняшний фигляр и вчерашний самозванный племянник Гёфле — одно и то же лицо.

— Но все же, — произнес наконец Юхан после множества осторожных вопросов, ловко отбитых молодым искателем приключений, — если какая-нибудь милая дама... или прелестная девушка... скажем, графиня Маргарита... попросит вас снять маску — неужели вы заупрямитесь и откажете ей?

— Что это за графиня Маргарита? — спросил Христиан самым непринужденным тоном, несмотря на горячее желание отвесить оплеуху достойному Юхану.

— Бог ты мой! — ответил мажордом. — Я назвал графиню Маргариту, потому что она, без сомнения, самая красивая женщина из всех, кто сейчас находится в замке. Неужто вы ее не заметили?

— А где же я мог ее видеть, скажите на милость?

— Среди ваших зрительниц в первом ряду.

— О, если вы полагаете, что я, разыгрывая почти в одиночку пьесу с двадцатью действующими лицами, еще успеваю заглядываться на дам...

— Это я не знаю, но неужели вы не горите желанием понравиться такой прелестной женщине?

— Понравиться? Господин Юхан! — воскликнул Христиан с отлично сыгранным жаром. — Вы, сами того не зная, произнесли очень жестокое слово. Вам, по-видимому, неизвестно, что судьба наградила меня чудовищно уродливой внешностью и только по этой причине я стараюсь прятать лицо под маской!

— Я об этом слыхал, — возразил Юхан, — но мне приходилось слышать и обратное; именно поэтому господину барону и всем гостям, в особенности съез-

хавшимся сюда дамам, весьма желательно знать, чему, собственно, верить.

— Я нахожу это желание очень обидным для себя и, чтобы отбить у них охоту, беру вас в свидетели.

И с этими словами Христиан, уже заранее потушивший из предосторожности все свечи, кроме одной, сбросил черную шелковую маску и как бы с отчаянием поспешно открыл взглядам мажордома свое лицо, или, вернее, вторую маску из полотна, залепленного воском, маску, столь искусно выполненную, что в неверном свете свечи, да еще наспех, невозможно было не принять ее за человеческое лицо, курносое, смертельно бледное и обезображенное огромным багровым родимым пятном. Несмотря на всю свою подозрительность, Юхан попался на удочку и вскрикнул, будучи не в силах скрыть отвращение.

— Простите меня, любезный,— спохватился он тотчас же,— вы поистине достойны сожаления, и все же я завидую вашему таланту и уму!

Сам мажордом был так дурен собою, что Христиан едва удержался от смеха, видя, что тот считает себя красивее, чем страшная личина.

— Ну, а теперь,— сказал он, снова закрывая лицо черной маской,— скажите мне попросту, почему вы так любопытствовали узнать, насколько я некрасив?

— О господи!— ответил Юхан после минутного колебания с наигранным простодушием.— Так и быть, скажу вам... Более того, если вы поможете мне раскрыть одну тайну — о, это сущий пустяк, но здесь многие хотят разгадать ее,— вас, несомненно, отблагодарят... понимаете, весьма щедро отблагодарит сам хозяин замка... Речь идет о шутке, о заключенном пари...

— Я не прочь,— согласился Христиан, охваченный желанием узнать, верна ли осенившая его догадка.— В чем же дело?

— Вы остановились в замке Стольборг?

— Да, ведь здесь мне было отказано в ночлеге.

— Вы провели ночь.. в медвежьей комнате?

— И превосходно выспался!

— Вот как, превосходно? А ведь говорят, что привидение...

— Неужели вы собираетесь что-то узнать от меня о привидении? Да вы в него верите не больше моего!

— Вы совершенно правы; но есть еще иное привидение, никому не ведомое,— оно появилось вчера на балу. Вы, должно быть, видели его в Стольборге?

— Нет, никакого привидения я не видел.

— Собственно, если я говорю «привидение»... Вы встретили там адвоката по имени господин Гёфле? Весьма достойный человек.

— Да, я имел честь беседовать с ним нынче утром. Он занимает комнату с двумя кроватями.

— Вместе с племянником.

— Племянника я не видел.

— Племянник он или нет, но это молодой человек вашего роста; на голос его я внимания не обратил, но лицом он мне показался весьма недурен, одет был в черное платье,— словом, как говорится, юноша приятной наружности.

— Приятной наружности? Послал бы господь мне такое счастье, господин Юхан! Меня вчера так клонило ко сну, что я и не знаю, был он в Стольборге или нет. А видел я там только пьяницу по имени Ульфил.

— И господин Гёфле тоже не видел этого незнакомца?

— Думаю, что нет.

— Он его не знает?

— Ах, я вспомнил... Да, да, теперь понимаю, о ком вы говорите: я слышал, как господин Гёфле возмущался тем, что какая-то темная личность явилась на бал под его именем. Это он и есть?

— Он самый.

— Но как же случилось, господин мажордом, что, заподозрив в чем-то этого незнакомца, вы никого не послали за ним вдогонку?

— Мы как раз ни в чем его не заподозрили: он выдал себя за родственника адвоката; мы не сомневались, что он опять явится сюда. И только сегодняшним утром, когда адвокат заявил, что его не знает, господин барон задался вопросом, как же осмелился этот самозванец явиться на праздник в замок! Должно быть, молодой нахал побился об заклад... Возможно, это студент горного училища в Фалуне... Но возможно также, судя по некоторым

его намекам, что он побочный сын адвоката, не имеющий права носить его имя.

— Все это, по-моему, не заслуживает внимания,— небрежно сказал Христиан.— Надеюсь, вы мне теперь разрешите пойти поужинать, господин мажордом.

— Да, разумеется, вы отужинаете со мной.

— Нет, благодарю, я очень устал и пойду во-свои.

— Все туда же, в замок Стольборг? Наверно, вы терпите там всяческие неудобства?

— Напротив, мне там очень приятно.

— Есть ли у вас по крайней мере постель?

— Нынешней ночью будет.

— А пьяница Ульфил прилично вас кормит?

— Как нельзя лучше.

— Вы согласны дать завтра представление?

— В котором часу?

— Как сегодня.

— Отлично. К вашим услугам.

— Ах, еще словечко, господин Вальдо, не будет ли с моей стороны нескромным спросить ваше настоящее имя?

— Ничуть, господин Юхан, мое настоящее имя — Стентарелло, ваш покорный слуга.

— Ах, шутник! Стало быть, это вы всегда говорите в ваших пьесах от имени этого персонажа?

— Или я, или мой слуга.

— Загадочный вы человек!

— Да, когда речь идет о секретах моего театра; ведь без этого — прощай престиж, прощай успех!

— Можно ли, хотя бы узнать, почему один из ваших персонажей носит титул барона?

— Ну, об этом спросите у лакеев, подпоивших моего Пуффо; что же касается меня, я так привык к его промахам, что не заметил бы и этой оговорки, если бы он сам в страхе мне не сознался.

— Он, возможно, подхватил какую-нибудь дурацкую сплетню?

— Сплетню? Какую? Объяснитесь...

— Нет, нет, не стоит того,— ответил Юхан, видя, что ловкость или беспечность его собеседника переменила их роли, и опасаясь, как бы ему не пришлось самому отвечать, вместо того чтобы расспрашивать.

Однако он снова вернулся к занимавшему его вопросу.

— Стало быть, у вас при себе была декорация, сходная со Стольборгом как две капли воды?

— Нет, сходство было случайным и незначительным, но я постарался довести его до совершенства.

— Это зачем же?

— Разве я не говорил вам? Чтобы угодить господину барону. Я всегда таким образом выражаю особое внимание жителям тех мест, где мне случается выступать. Как только я сменю место моего пребывания, я сменяю и декорацию, и вместо Стольборга она изобразит что-нибудь совсем иное. Господину барону, видимо, не пришлось по вкусу задник? Ну, что поделаешь! Я ведь его писал наспех.

Во время этого разговора Христиан с интересом наблюдал за выражением пренебрежительной физиономии мажордома. Это был толстяк лет пятидесяти, ничем, на первый взгляд, не примечательный, благодушный и ленивый; но Христиан еще накануне заметил, вручая ему письмо с приглашением на бал, найденное в кармане Гёфле, проницательный и недоверчивый взгляд, брошенный искоса и тут же сменившийся напускным равнодушием. Сейчас Христиану еще сильнее бросилось в глаза притворство мажордома, придававшее ему карикатурное сходство с его хозяином, бароном. Но так как в конечном счете Юхан был всего-навсего главным лакеем, то есть человеком необразованным и неотесанным, Христиану без труда удалось одержать над ним блестящую победу в этой игре, и мажордом удалился, не питая более сомнений относительно невинности его намерений. Христиан же почти окончательно убедился в правильности своих подозрений о судьбе баронессы Хильды. Ему стало ясно, что в Стольборге некогда разыгралась какая-то драма и что есть три вещи, которых барон не может без страха и гнева видеть на сцене, в каком бы виде они перед ним ни предстали: темница, тюремщик и жертва.

Х

Юхан, без сомнения, знал о разыгравшейся здесь трагедии, возможно даже — принимал в ней участие. Ему не терпелось выведать, насколько глубоко

успел проникнуть в эту тайну Христиан Вальдо, этот бродячий летописец минувших событий. Намеки Христиана навели мажордома на мысль, что проболтался кто-то из лакеев, и благодаря этому Гёфле и сам Христиан оказались пока что вне каких-либо подозрений.

Предоставим нашему другу грузить с философским спокойствием театральные пожитки на спину ослика и расскажем о том, что происходило вокруг, пока он беседовал с Юханом. Для этого нам придется вернуться к Гёфле, который бодро шагал по льду через озеро, в лучах луны и северного сияния, что-то напевал и размахивал руками, сам того не замечая.

Меж тем в новом замке гости сели ужинать, и дамы с восторгом любовались великолепным рождественским пирогом весьма внушительных размеров; по северному обычаю, ему предстояло красоваться нетронутым до шестого января. Этот шедевр кондитерского искусства изображал собою пафосский храм, которому были приданы отдельные черты христианского зодчества в сочетании с причудами галантного века. Каких только не было тут строений, деревьев, фонтанов, человеческих фигурок, животных! Выпеченное тесто и застывший сахар всех цветов радуги и разнообразных форм не отличались по виду от ценных пород дерева и камня.

За ужином барон поручил заботу о гостях одной из своих родственниц, престарелой девице, не примечательной ничем, кроме умения вести хозяйство, а сам удалился, якобы для того, чтобы просмотреть кое-какие срочные письма и ответить на них. Он всегда находил вдоволь предлогов, чтоб уединиться, когда был чем-либо озабочен. В данную минуту он заперся у себя в кабинете с каким-то бледным человеком, называвшимся Тебальдо; на самом деле это был не кто иной, как Гвидо Массарелли.

Не без труда добился Гвидо разговора наедине с бароном. Юхан, ревниво следивший за тем, чтобы хозяин узнавал новости только через него, старался выведать у Гвидо его тайну и тем самым обойти его; но не таков был Массарелли, чтобы попасться ему на крючок. Он упорно стоял на своем и после целого дня блужданий по замку был наконец принят бароном; в предвосхищении этого свидания Гвидо и объ-

явил Христиану о своей близости к барону. Беседа велась по-французски и началась с удивительного рассказа Массарелли, выслушанного бароном с ироническим и презрительным спокойствием.

— Все это,— молвил наконец барон,— можно было бы назвать происшествием чрезвычайным, я бы даже сказал — откровением первейшей важности, если бы я мог принять на веру то, что от вас услышал. Но меня слишком часто обманывали в делах весьма щекотливых, и мне нужны доказательства более веские, нежели слова. Вы мне рассказали о событии странном, романическом, невероятном...

— Но господин Стенсон признал, что все так и было!— возразил итальянец.— Он даже и не пытался отрицать...

— Это вы так говорите,— холодно возразил барон.— К сожалению, я лишен возможности убедиться в вашей правоте. Соответствует рассказ ваш истине или нет, Стенсон, без сомнения, будет все отрицать, стоит мне начать его расспрашивать.

— Вполне вероятно, господин барон; человек, способный на столь длительный, более чем двадцатилетний, обман, не постесняется лгать и впредь. Но если бы вы нашли способ подслушать разговор между ним и мной, вы бы узнали правду. Я берусь вырвать у него признание вторично, в вашем присутствии, лишь бы он не подозревал, что вы все слышите.

— Разумеется, он так глух, что проникнуть к нему не представляет труда. Но... если, по его словам... лица, о котором идет речь, уже нет в живых... какое мне дело до поведения старика Стенсона в прошлом? Он, без сомнения, действовал из наилучших побуждений, и хотя молчание его весьма повредило мне и навлекло на меня чудовищные подозрения, все же прошедшие годы уже рассудили нас...

— В этом господин барон жестоко ошибается,— перебил его итальянец, умевший не хуже барона в случае необходимости держаться хладнокровно до дерзости.— Все это стало легендой здешних мест, и Христиан Вальдо подхватил эту легенду на пути сюда.

— Будь это так,— возразил барон, не в силах скрыть тайного бешенства,— этот фигляр не осме-

лился бы сделать из легенды комедию и с такой наглостью выступить передо мной и моими гостями.

— Однако его декорация, безусловно, изображала старый замок. Я сам был сегодня в Стольборге, а ведь Христиан Вальдо живет там, уж он-то все успел рассмотреть. Итальянцы... весьма нахальный народ, господин барон, эти итальянцы!

— Я это вижу, господин Тебальдо. Итак, вы говорите, что этот Вальдо остановился в замке Стольборг? Стало быть, он с определенным намерением списал свои декорации с натуры? И с какой быстротой? Маловероятно. Должно быть, это сходство — случайное совпадение.

— Не думаю, господин барон. Вальдо — человек очень способный и пишет красками столь же легко, как импровизирует.

— Значит, он вам знаком?

— Да, господин барон.

— Как его настоящее имя?

— Это я вам открою, господин барон, если названная мною сумма не покажется вам чрезмерной.

— А какое мне, собственно, дело до его имени?

— Знать его вам важно... И даже очень важно...

Мнимый Тебальдо произнес эти слова так многозначительно, что, по-видимому, произвел некоторое впечатление на барона.

— Вы сказали, — произнес тот после недолгого молчания, — что этого лица уже нет среди живых?

— Так утверждает Стенсон.

— А вы как думаете?

— Сомневаюсь.

— Христиан Вальдо, возможно, это знает?

— Христиану Вальдо ровно ничего не известно.

— Вы уверены?

— Уверен.

— Но ведь вы дали мне понять, что именно он-то и есть...

— Я этого не говорил, господин барон.

— Итак, вы хотите что-то сказать, ничего не говоря; вы хотите получить деньги вперед за какой-то вымысел.

— Я, господин барон, просил дать мне только вашу подпись — на случай, если вы останетесь мной довольны.

— Я никогда ничего не подписываю... Тем хуже для того, кто не верит моему слову.

— Тогда, господин барон, я уношу свою тайну; ее получит бесплатно тот, кому она нужна не меньше, чем вам.

И Тебальдо решительно направился к выходу, но барон его окликнул. То, что происходило сейчас между этими людьми, было делом совершенно естественным: каждый из них боялся другого. Первый, уходя, еще не взялся за ручку двери, как подумал: «Я безумец, барон сейчас прикажет меня убить, чтобы заткнуть мне рот». Второй же, со своей стороны, сказал себе: «Как знать? Он, возможно, уже посвятил кого-то в эту тайну; только от него самого я смогу узнать, чего мне опасаться».

— Господин Тебальдо,—сказал барон,— что, если я докажу вам, что мне известно гораздо больше, нежели вы полагаете?

— Буду весьма рад за вас, господин барон,— дерзко ответил итальянец.

— Этот человек не умер; он здесь или по крайней мере был здесь еще вчера; я сам видел и узнал его.

— Узнали?—удивленно повторил Массарелли.

— Да, именно так, узнал; этот человек явился сюда под именем Гёфле, то ли с разрешения весьма почтенного лица, носящего это имя, то ли без его ведома. Итак, вы смело можете говорить: видите, я на верном пути, и совершенно бесполезно пытаться направить мои подозрения в сторону этого фигляра Вальдо.

Итальянец от изумления не мог вымолвить ни слова. Он ничего не знал о вчерашних событиях, так как появился в замке только утром; он встретил Гёфле, но не обратил на него внимания, не будучи с ним знаком; шведского языка он не знал, далекарлийского и подавно; поэтому завязать беседу он мог только с мажордомом, ибо тот был склонен каждого в чем-то подозревать и немного знал по-французски. Следовательно, Массарелли совершенно ничего не знал о приключении Христиана на балу и даже не догадывался, о ком говорит барон. А тот, видя растерянность и замешательство итальянца, решил, что поставил его в тупик своей проникательностью.

— Что ж,— сказал барон,— рассказывайте, и закончим на этом. Говорите всю правду, тогда вы сможете рассчитывать на известную награду, соразмерно с оказанной услугой.

Но итальянец уже обрел прежнюю самоуверенность. Он был твердо убежден, что барон идет по ложному следу, а потому решил ни за что не отдавать свою тайну даром; сейчас он хотел только одного — выиграть время; но слишком упорствовать в молчании тоже не следовало, чтоб не навлечь на себя гнев этого человека, славившегося своей жестокостью.

— Если господин барон даст мне двадцать четыре тысячи экю и двадцать четыре часа,— сказал он,— я представляю в его полное распоряжение то самое лицо, знакомство с которым для господина барона чрезвычайно важно.

— Двадцать четыре тысячи экю — это слишком мало! — насмешливо ответил барон. — А двадцать четыре часа — слишком много.

— Очень мало для одного человека.

— Вам, может быть, нужны помощники? У меня найдутся верные и расторопные люди.

— Если придется разделить с ними мои двадцать четыре тысячи экю, я предпочту действовать сам, на собственный страх и риск.

— Что вы намерены предпринять?

— То, что прикажет господин барон.

— Вот оно что! Вы, как видно, собираетесь предложить мне...

Но тут он умолк, услышав, что кто-то осторожно скребется за дверь его кабинета.

— Подождите здесь,— сказал он **Массарелли** и с этими словами вышел в соседнюю комнату.

Гвидо быстро оценил положение: спокойствие барона испугало его, и наиболее безопасным показалось ему вести в дальнейшем дело путем переписки. Поэтому он направился к двери, через которую его ввели, но она была заперта, и, несмотря на известный опыт, он не сумел раскрыть секрет этого замка; тогда он подошел к окну, но оно оказалось на высоте восьмидесяти футов над землей. Гвидо бесшумно подергал ручку двери, через которую вышел барон. Но и эта дверь была заперта. Зато от-

крыт был ящик письменного стола, и в нем столбиками лежали золотые монеты, притом в изрядном количестве.

— Эх!— вздохнул * Массарелли.— Крепкие же здесь, видно, двери и прочные замки, если меня оставили с глазу на глаз с этим прекрасным золотом!

И тут он уже встревожился не на шутку. Попытка подслушать, о чем говорят в соседней комнате, успехом не увенчалась. А говорили там ~~вот~~ что:

— Ну, как, Юхан, удалось поглядеть на лицо этого Вальдо?

— Да, господин барон, это вовсе не вчерашний незнакомец, а какой-то урод.

— Хуже тебя?

— Рядом с ним я красавец!

— Да точно ли ты его видел?

— Вот как вижу вас.

— Застал его врасплох?

— Вовсе нет. Я сказал, что мне любопытно взглянуть на него, и он охотно согласился.

— А тот, самозванный Гёфле?

— Как в воду канул!

— Странно. Никому он не повстречался?

— Этот Вальдо не видал его в Стольборге, а господин Гёфле не имеет к нему никакого отношения.

— Но Ульфил-то уж должен был застать его в Стольборге?

— Ульфил застал в Стольборге только господина Гёфле, его слугу и страшного уродца, которого я только что видел.

— Слугу господина Гёфле? Это и есть наш переодетый незнакомец!

— Этот слуга — десятилетний мальчишка!

— Тогда, признаюсь, ничего не понимаю!

— А этот итальянец, господин барон, ничего не рассказал вам?

— Нет. Он или помешанный, или обманщик. Но я во что бы то ни стало должен найти незнакомца, оскорбившего меня. Ты говорил, что он вел разговоры и курил с майором Ларсоном и его друзьями?

— Да, в нижней зале.

— Следовательно, эти молодые люди его и прячут. Он скрывается в бустёлле майора!

— Я велю установить надзор за бустёлле. Но не

похоже, чтобы майор хранил какую-то тайну, больно уж он беззаботен на вид! Он приехал нынче утром и больше к себе не возвращался. Его лейтенант...

— Настоящий осел! Но эти юнцы меня ненавидят.

— Чем опасен для вас этот незнакомец?

— Ничем и всем! Какого ты мнения о Тебальдо?

— Отъявленный мошенник!

— Вот потому-то и нельзя его отпускать. Понял?

— Разумеется.

— Как идет ужин?

— Скоро подадут пирожное.

— Придется мне там показаться. Вели приготовить мои лучшие сани и запрячь четвертку самых резвых коней.

— Вы намерены участвовать в гонках на озере?

— Нет, напротив, постараюсь получше отдохнуть, но мне надобно, чтобы все думали, будто я полон сил и бодрости, а сейчас занимаюсь важными государственными делами. Прикажи кому-нибудь из слуг натянуть ботфорты, и пусть он сойдет за курьера в глазах гостей. Подними суматоху, погоняй людей туда-сюда с разными распоряжениями. Словом, надо, чтобы все поняли, что я очень занят, а стало быть, превосходно себя чувствую.

— Итак, вам угодно, чтобы ваши любезные наследники лопнули от злости?

— Да, Юхан, а я устрою им пышные похороны!

— Аминь, дорогой хозяин. Проводить вас в столовую?

— Нет, мне больше по нраву войти туда незамеченным и застать всех врасплох, особенно сегодня.

Барон удалился, а Юхан прошел в кабинет, где перепуганному Массарелли минуты казались часами.

— Идемте, любезный,— сказал ему Юхан с самым добродушным видом,— пора ужинать.

— Но... разве я сегодня больше не увижу господина барона? Он мне велел подождать здесь...

— А теперь он велит вам спокойно ужинать и ждать его распоряжений. Или вы думаете, у него других дел нет, как только слушать ваши рассказы? Ну, идемте же. Да вы никак меня боитесь! Неужто я похож на злодея?

«Еще как!»— подумал Гвидо и осторожно вытащил из рукава стилет, которым отлично владел.

Юхан заметил это и поспешил уйти; Гвидо последовал было за ним; но тут из-за двери выскочили два молодчика исполинского роста, накинулись на него и, приставив ему к груди пистолет, потащили в темницу замка; там они его обыскали, отобрали оружие и оставили под надзором стража башни: этот проходимец, убийца и мошенник по призванию, как говорили в те времена, носил в замке звание капитана, однако в парадных комнатах его никогда не видели.

Юхан стоял тут же и с самым благодушным видом смотрел, как выворачивали карманы Массарелли и прощупывали все его платье. Убедившись, что при нем нет никаких бумаг, Юхан ушел со словами:

— Спокойной ночи, милейший. Следующий раз будете сговорчивей!

И добавил про себя:

«Он хвастал, будто может доказать, что владеет важной тайной. Либо он врёт, как болван, либо ведет себя осторожно, как человек деловой, но как раз осторожности-то ему и не хватило. Тем хуже для него! Посидит в темнице — живо во всем признается или представит свои доказательства!»

Между тем барон, несмотря на плохое самочувствие, тихими шагами вошел в праздничную залу, сел к столу, прикинулся, будто с удовольствием ужинает, и проявил всю веселость, на какую был способен, то есть высказал с ледяной усмешкой несколько мыслей, свидетельствующих о его чудовищном безбожии, и с отталкивающей жестокостью позлословил насчет тех, кого за столом не было. Сей милейший господин обычно произносил подобные клеветнические речи вполголоса, с небрежным видом. Наследники и прихвостни, услышав это, всегда спешили тотчас же рассмеяться, а затем усердно распространяли его наветы. Иные из гостей возмущались его словами, бранили себя за то, что откликнулись на его приглашение, но это как раз и мешало им спорить с ним, а уже если они отваживались на возражения, то делали это со всевозможными оговорками. Такие оговорки только подчеркивали обвинения, брошенные бароном по адресу отсутствующих. Он же повторял сказанное с видом надменным и вызывающим, а льстецы наперебой поддакивали

ему. Честные люди вздыхали и краснели, стыдясь своей слабости, заманившей их в это логово, но барон не любил долгих бесед. Он бросал еще какое-нибудь обидное словцо по адресу доброжелателей и трусов, потом вставал из-за стола и уходил, не общая, собирается ли воротиться. Все общество напряженно ожидало, пока не становилось ясно, что более он не явится. Тогда все с облегчением переводили дух, даже злоязычники, которые в его присутствии дрожали не менее остальных. Однако на сей раз барон упустил случай отомстить и кой-кого помучить. Если бы он знал, что Маргарита дважды побывала в Стольборге, он не преминул бы предать это огласке со свойственной ему язвительностью. К счастью, провидение хранило эту невинную тайну, и присутствие самозванного Гёфле в Стольборге осталось необнаруженным.

Впрочем, Юхан велел своим подручным расспросить Ульфила обо всех, кто находился в Стольборге; но Ульфил Маргариту не видел, а на вопрос о том, как выглядит Христиан, ответил весьма удачно: недаром Христиан внушил ему непреодолимый ужас, скорчив страшную рожу и пробормотав какие-то угрозы на непонятном языке. Без маски Христиан нагнал на него еще больше страха, чем на самого Юхана, поэтому слова Ульфила только подтвердили мнение мажордома, и барон еще крепче утвердился в своем заблуждении. Итак, все пришли к выводу, что красавец Христиан Гёфле безвозвратно исчез, а настоящий Христиан Вальдо — чудовищный урод.

Эту новость барон и поспешил сообщить за ужином, не скрывая удовольствия, ибо как раз перед его приходом присутствующие восхваляли талант Христиана, и барону было очень приятно развенчать его.

— Напрасно вы разочаровали графиню Маргариту, господин барон, — сказала Ольга, — ее пленило красноречие Христиана Вальдо, а завтра, после ваших слов, его голос уже не доставит ей никакого удовольствия.

Маргарита сидела за столом неподалеку от Ольги и барона, но она сделала вид, что не слышит их разговора, чтобы не отвечать барону, если тот обратится к ней, ибо он со вчерашнего дня уже неоднократно, но безуспешно пытался завести с ней беседу.

— Стало быть, вы полагаете,— спросил барон, повернувшись к Ольге, но достаточно громко, чтобы Маргарита услышала,— что в глазах графини любовную тяжбу выиграет только красавец защитник?

— Не сомневаюсь,— ответила Ольга, понизив голос,— и к тому же если он не старше двадцати пяти лет.

Этим словами Ольга хотела польстить своему пятидесятилетнему жениху, но он был в дурном расположении духа, и пущенная ею стрела не попала в цель.

— Графиня, вероятно, права,— сказал он Ольге так тихо, чтобы только она одна могла его услышать,— чем дальше уходят в прошлое эти прекрасные годы, тем меньше остается в человеке привлекательности, а следовательно — меньше надежд на брак по любви.

— Да,— ответила Ольга,— если действительно привлекательности становится меньше, но...

— Но если ты еще не стал пугалом,— подхватил барон,— можешь почитать за счастье брак по расчету!

И он продолжал, не давая Ольге возразить:

— Не осуждайте же бедную девушку, она обладает в моих глазах превосходным качеством — искренностью; если человек ей отвратителен, она так откровенно бросает ему в лицо свою неприязнь, что счастливый смертный, которого она полюбит, сможет не сомневаться в ее словах. Она-то уж никого не станет обманывать!

И прежде чем Ольга нашлась, что ответить, барон обернулся к своей соседке с другой стороны и переменил тему разговора.

Молодую девушку охватила сильнейшая досада и тревога. Как только гости встали из-за стола, к ней подошла Маргарита, встревоженная не менее ее, хотя и по иной причине.

— Что вам говорил барон обо мне?— спросила она Ольгу, уведя ее в безлюдную галерею.— Он говорил с вами две или три минуты, не спуская с меня глаз.

— Вам почудилось,— сухо ответила Ольга.— Барон о вас и не думает!

— Ах, как хотелось бы мне увериться в этом! Скажите мне правду, дорогая!

— Позвольте заметить, Маргарита, что ваше волнение по меньшей мере нескромно. Ужели вы думаете, что вам станут так настойчиво поклоняться, невзирая на вашу неприступность?

— А почему бы и нет?— сказала Маргарита, решив уколоть приятельницу, лишь бы выведать правду.— Как знать, моя неприступность приведет, быть может, к тому, что я займу помимо своей воли ваше место.

В глазах прекрасной россиянки молнией сверкнул огонь оскорбленного тщеславия.

— Маргарита,— молвила она,— вы объявили мне войну? Будь по-вашему! Вот, возьмите обратно свой браслет. Он мне более не нужен. Мое кольцо мне куда больше по вкусу!

И она вынула из кармана футляр, где хранились оба украшения — браслет Маргариты и кольцо барона.

— Черный бриллиант!— вскричала Маргарита, в ужасе отшатнувшись.— Вы осмелились дотронуться до него?

Но тут же она овладела собой и обняла Ольгу со словами:

— Все равно, все равно! Не хочу я никакой войны, дорогая моя, и благодарю вас от всей души за то, что вы показали мне этот залог вашей помолвки. Оставьте себе браслет, умоляю вас! И сохраните вместе с ним мою благодарность и дружбу.

Ольга разрыдалась.

— Маргарита,— воскликнула она,— если вы кому-нибудь проговоритесь о кольце— я погибла! Я поклялась молчать об этом ровно неделю, и если барон заметит, что вы обрадовались, он откажется от меня и станет снова думать о вас... Тем более, что он и без того о вас думает!

— И вы плачете из-за него? Ольга, неужели вы в самом деле его любите? Ну что ж, душенька, это чувство возвышает вас в моих глазах, хотя и кажется мне весьма странным. А я-то думала, что вами движет только честолюбие! Если вы его любите, я тем более люблю вас и жалею!

— Ах!— вскричала Ольга.— Это правда? Вы жалсете меня?

И она увлекла Маргариту в глубь галереи, громко рыдая.

Маргарита отвела ее в свою комнату, заботливо утешая, пока она наконец не успокоилась.

— Да, да, теперь все прошло,— сказала Ольга, поднимаясь.— У меня уже было несколько таких нервических припадков со вчерашнего дня, но это, я чувствую, последний. Решено! Я не стану попусту тревожиться, я вам верю, меня не одолеют более ни слабость, ни малодушие, ни страдания...

Она вновь вынула кольцо, надела на палец и, побледнев, долго мрачно смотрела на него, а потом сняла его, сказав:

— Мне еще нельзя его носить.— И снова положила кольцо в футляр и спрятала в карман.

Маргарита рассталась с Ольгой, недоумевая, что с той происходит. Страсть этой девушки к барону, такому мрачному старику, казалась Маргарите непонятной, но со свойственными ей простотой и великодушием она поверила приятельнице, а в это время Ольга, охваченная внезапной ненавистью к своему жениху и отвращением к обручальному кольцу, боролась с тем, что сама звала малодушием, и силилась задушить сопротивление сердца и ума, всего своего существа ради горькой и опасной победы, ради завоевания громкого имени и высокого положения в обществе.

Барон меж тем отдал все распоряжения относительно гонок и маскарада на льду, как будто сам намерен был принять в них участие. После чего, побежденный усталостью и недугом, он заперся у себя, в то время как гости собирались на праздник, а у входа, откуда лестница вела в его покои, рыли землю копытами кони в богатой упряжи, еле сдерживаемые кучером, застывшим в ожидании.

У барона находился его врач, молодой человек, обладавший не столь большим опытом, сколь обширным образованием, и вот уже в течение года пользовавший барона.

— Доктор,— говорил барон, отталкивая лекарство, поданное ему робкой рукой молодого врача,— вы плохо лечите меня! Бьюсь об заклад, это снова опиум?

— Господин барон, вам необходимо принять успокоительное, нервы ваши крайне раздражены...

— Еще бы, черт возьми! Я и сам это знаю. Но я

хочу успокоится, а не лишиться сил; постарайтесь унять эту конвульсивную дрожь, но так, чтобы не вызвать слабости.

Больной требовал невозможного, а врач не осмеливался сказать это ему.

— Надеюсь,— пробормотал он наконец,— это питье как раз успокоит вас, не отнимая силы...

— А как быстро оно подействует? Я хочу поспать часа два-три, затем встать и заняться делами. Вы можете поручиться, что нынешней ночью я буду в силах работать?

— Господин барон, вы приводите меня в отчаяние! После таких припадков, как вчера и сегодня, вы еще хотите работать ночью? Вы ставите себя в невыносимые условия!

— Но ведь сил-то у меня не в пример больше, чем у обычных людей, не так ли? Разве вы сами по сто раз не повторяли мне, что болезнь пройдет? Значит, вы обманывали меня? Смеесть вы надо мной, что ли?

— Ах, как вы могли это подумать!— в полном смятении воскликнул врач.

— Ну ладно, давайте сюда ваше лекарство. Оно сразу подействует?

— Через четверть часа, если только вы не ослабите его действия собственным волнением.

— Положите часы вот тут, возле меня. Я хочу убедиться, точно ли вы знаете, как действуют ваши снадобья.

Барон выпил лекарство, усевшись в глубокое кресло, и позвонил, чтобы вызвать камердинера.

— Скажите майору Ларсону, что я прошу его распоряжаться на гонках. Он управится лучше всех.

Слуга вышел. Барон тотчас вернул его.

— Пусть Юхан ложится спать,— сказал он.— Мне он понадобится к трем часам ночи. Он меня и разбудит. Ступай! Нет, поди сюда. Завтра я еду на охоту, все ли готово? Да? Хорошо. Теперь можешь идти.

Слуга наконец вышел, а молодой врач, очень взволнованный, остался наедине с больным.

— Лекарство ваше не действует,— нетерпеливо сказал барон,— я уже должен был бы уснуть!

— Если господин барон будет тревожиться из-за бесчисленных мелочей...

— Черт побери, когда б меня ничто не тревожило, мне, сударь, не нужен был бы врач! Ну, присядьте-ка вот тут, и побеседуем спокойно.

— Господину барону лучше не беседовать, а сосредоточиться на чем-нибудь возвышенном...

— Сосредоточиться! Я и так слишком часто этим занимаюсь! Мысли-то и нагоняют лихорадку. Нет, нет, давайте разговаривать как прошлой ночью. Я ведь тогда за разговорами и уснул. Знаете, доктор, я твердо решил жениться.

— На прекрасной графине Маргарите?

— Вот и нет, она просто дурочка. Я женюсь на длинноногой Ольге. Будут у меня русские ребяташки.

— Они будут красивы, не сомневаюсь.

— Да, если у моей жены окажется хороший вкус. Я ведь ни на грош не верю вашей лести, доктор: жена будет мне изменять. Наплевать, лишь бы у меня был наследник, лишь бы взбесить всех двоюродных и троюродных братьев! Доктор, я должен дожить до этого, слышите? Имейте в виду, по завещанию вы от меня ни единого дуката не дождетесь! Зато, пока я жив, я буду щедро платить вам, чтобы вы почувствовали, как выгодно сохранять мне жизнь! Точно так же я поступлю и с женой: каждый лишний год моей жизни будет приносить ей роскошные наряды и новые украшения. А когда я умру, ей ни черта не достанется, если только она до тех пор не сумеет чего-нибудь скопить. Она даже не будет опекуницей своего ребенка! Да-с, мне вовсе не хочется, чтобы меня отравили!

— Напрасно вы вынашиваете такие страшные мысли, господин барон. Это вредно...

— Глупости, доктор! Скажите еще, что напрасно у меня оказалось столько желчи в печени. Разве я в этом виноват?

— Прошу вас, постарайтесь думать о чем-нибудь приятном. Вот, например, об этой комедии кукол — до чего она была забавной!

— Чтобы я думал о марионетках! Вы хотите сделать меня идиотом?

— О, если бы я мог немного умирить ваш пылкий ум...

— Поменьше хвалите мой ум, прошу вас; я давно заметил, что он слабеет...

— Это никому не заметно, кроме самого господина барона.

Барон пожал плечами, зевнул и умолк на несколько мгновений. Врач увидел, что глаза его широко раскрылись, зрачки стали огромными, нижняя губа отвисла. Он засыпал.

Внезапно барон вскочил и указал пальцем на стену:

— Опять она! Как вчера! Сперва это был мужчина, потом женщина... Вот она смотрит в окно, вот наклонилась... Скорее, доктор, бегите к ней! Меня обманули, меня предали... Меня обошли, как ребенка... Ребенка... Нет, ребенка нет!

И барон, очнувшись, уселся в кресло и добавил с мрачной усмешкой:

— Это все было в комедии Христиана Вальдо... Фиглярские штучки! Видите, доктор, я думаю о ма-рионетках, как вам хотелось... Какая тяжесть навалилась меня... Не уходите...

И барон окончательно уснул с открытыми глазами, что придавало ему сходство с мертвецом.

Спустя несколько минут веки его ослабели и опустились. Врач нащупал пульс — он был наполненным и учащенным. По мнению врача, больному следовало пустить кровь. Но как его уговорить?

«Продлить жизнь этому человеку наперекор воле небес и возможностям его собственного организма — задача неблагодарная, отвратительная, невозможная, — подумал бедный врач. — Либо им овладевают приступы безумия, либо его терзают угрызения совести. Я чувствую, что сам теряю рассудок, находясь подле него, меня также преследуют страшные призраки, овладевшие его воображением, будто попытка сохранить ему жизнь делает меня его сообщником в каком-то злодеянии!»

Но у молодого врача были мать и невеста. Несколько лет щедро оплачиваемой работы могли дать ему возможность жениться и спасти мать от нужды. Поэтому он оставался здесь, прикованный к этому полутрупцу, непрестанно поддерживая в нем жизнь умелой рукой, то горячо отдаваясь своему делу, то падая духом от усталости и отвращения и подчас сам не зная, ищет ли он исцеления, или кончины больного.

Этот юноша был наделен кроткой душой и наивной непосредственностью. Постоянное общение с безбожником претило ему, он не смел защищать свои верования, ибо любое противоречие выводило больного из себя.

Врач был человеком общительным и веселым; пациент же скрывал беспощадную ненависть ко всему человечеству под маской едкого, насмешливого цинизма.

Пока барон спал, ночной праздник становился все оживленнее. Треск хлопушек, музыка, лай гончих, проснувшихся на псарне от ржання запрягаемых коней, женский смех в коридорах замка, огни, мелькающие там и сям на озере,— словом, все, что происходило за пределами этой сумрачной комнаты, где лежал неподвижный, мертвенно-бледный барон, заставляло молодого врача еще острее ощущать одиночество своей подневольной жизни.

А в это время графиня Эльведа вместе с русским послом готовила коварный заговор против Швеции, а двоюродные и троюродные братья барона не спускали глаз с дверей, ведущих в его покои, и спорили друг с другом: «Он сейчас выйдет!»— «Нет, не выйдет!»— «Здоровье его хуже, чем он думает!»— «Нет, оно лучше, чем полагают иные!»

Как же дознаться правды? Слуги, всецело послушные суровой воле хозяина, который щедро платил и не менее щедро карал (как известно, слуги в Швеции еще и поныне подвергаются телесным наказаниям), неизменно отвечали на все вопросы, что господин барон чувствует себя лучше, нежели когда-либо; что касается врача, то барон, принимая его к себе на службу, заставил поклясться, что тот никому не откроет, насколько опасен его недуг.

Мы уже знаем, что барон часто удалялся к себе в разгар затеянных им празднеств, раз навсегда объяснив эти исчезновения множеством неотложных и важных дел. В этом объяснении была доля истины: барон был всегда погружен в сложнейшие политические интриги, а помимо этого вел бесчисленные тяжбы, возникавшие по вине его беспокойного нрава и жажды власти.

Но на сей раз, сквозь сонм привычных беспокойных мыслей, пробивалась неясная тревога, что и сказывалось на его здоровье. Какие-то злобные подо-

зрения и давным-давно усмиренные страхи проснулись в нем после вчерашнего бала и еще окрепли после спектакля *bugattini*. Все это и привело его в то состояние нервного раздражения, когда рот кривился в произвольной гримасе, а один глаз начинал заметно косить. Будучи весьма тщеславен и придавая большое значение красоте увядших, но благородных и правильных черт своего лица, в особенности теперь, когда он был занят предстоящим браком, барон скрывался от посторонних взоров, как только чувствовал, что лицо его сводит судорога, и требовал, чтобы врач помог ему скорее справиться с приступом.

Поэтому, едва пробудившись от сна, барон тотчас же бросил взгляд в зеркало, лежавшее подле него, и был очень доволен, увидев, что лицо его вновь обрело обычный вид.

— Ну,— сказал он врачу,— вот и еще один припадок миновал! По-моему, я хорошо вздремнул. Не бредил ли я во сне, доктор?

— Нет,— смущенно солгал молодой человек.

— Вы что-то скрываете,— возразил барон.— Пожалуйста, если мне случится заговорить во сне, вы должны запомнить мои слова и в точности передать их мне; я так хочу, вам это известно.

— Вы произносили отдельные слова, без связи и смысла, по ним никак нельзя было догадаться о том, что вас беспокоит...

— Тогда, видно, ваше питье и впрямь хорошо действует. Тот врач, что был тут до вас, пересказывал мне мои сны... Они были безобразны, омерзительны! Теперь, по-видимому, мне снятся только пустяки...

— А разве вы сами этого не сознаете, господин барон? Разве, проснувшись, вы не чувствуете себя менее утомленным?

— Нет, не могу этого сказать.

— Значит, все еще впереди.

— Дай-то бог! А теперь оставьте меня, доктор. Идите спать. Если вы мне понадобится, я велю разбудить вас. Но я чувствую, что опять усну. Пошлите сюда камердинера, я хочу лечь в постель.

«Мой предшественник,— думал, уходя; молодой врач,— слишком многое слышал и слишком много болтал. Это дошло до барона, они поссорились; врача затравили, вынудили бежать из родных мест. Да послужит мне это уроком!»

Тем временем Христиан добрался до Стольборга, где его ждал Гёфле. Адвокат торжествовал! Он взломал замок одного из огромных шкафов караульни и нашел там роскошные женские наряды.

— Без сомнения,— сказал он Христиану,— платья эти принадлежали баронессе Хильде, и о них либо позабыли, либо Стенсон бережно сохранил их здесь; они вполне сойдут за маскарадный костюм, ведь таких нарядов давным-давно никто не носит, вот уж лет двадцать, как они вышли из моды. Взгляните, удастся ли вам напялить какое-нибудь из них; по счастью, дама эта была высокого роста, а если и скажут: «Юбочка-то коротковата!»— тоже не беда! А я сооружу себе костюм султана при помощи моей шубы и какой-нибудь тряпки, свернутой в виде чалмы. Ну, помогите же мне, Христиан! Ведь вы художник! Нет художника, который не сумел бы наvertеть чалму!

Христиан был совершенно трезв, поэтому его несколько огорчило, что Гёфле взломал шкаф.

— Людей моего сословия,— сказал он,— постоянно обвиняют в кражах, и обычно не без повода. Вы увидите, что у меня из-за этого шкафа будут неприятности.

— Ерунда! Я же здесь!— воскликнул Гёфле.— Я все беру на себя. Да ну же, Христиан, надевайте платье! Попробуйте по крайней мере.

— Дорогой господин Гёфле,— сказал Христиан,— позвольте мне сперва хоть что-нибудь проглотить. Я умираю от голода.

— Правильно! Перекусите! Да поскорее!

— И потом, сам не знаю почему,— продолжал Христиан, принимаясь за еду, стоя и поглядывая на разбросанные платья,— мне как-то противно ворошить эти старые вещи. Несчастной баронессе Хильде выпала такая злая участь! Знаете, ведь я сегодня еще более, чем прежде, уверился в моих подозрениях о том, какую смертью она умерла!

— К чертям!— воскликнул Гёфле.— У меня сейчас нет ни малейшего желания заново ворошить эти старые истории. Меня так и тянет куда-то бежать и веселиться напропалую. За дело, Христиан, за дело, и прочь печальные мысли! Наденьте-ка вот это роскошное платье в польском духе: оно великолепно! Лишь бы плечи пролезли, а остальное уж пойдет легче.

— Не думаю,— сказал Христиан, запуская руку в карман платья.— Взгляните, какая у нее была маленькая рука, если она проходила в такой узкий разрез.

— Но ведь и ваша прошла, как я вижу.

— Да, но зато я уже не могу вытащить ее обратно... Стойте, там какая-то записка!

— Ну-ка, ну-ка!— вскричал адвокат.— Это, наверно, занятно!

— Нет,— промолвил Христиан,— не надо ее читать.

— Почему?

— Сам не знаю; мне это кажется кошунством.

— В таком случае я то и дело занимаюсь подобным кошунством, ведь в мои обязанности как раз входит рыться в тайнах семейных архивов.

С этими словами Гёфле выхватил из рук Христиана пожелтевший листок и прочитал следующее:

«Возлюбленная моя Хильда, я только что прибыл в Стокгольм и застал здесь графа Розенштейна. Стало быть, мне нет нужды скакать в Кальмар, и десятого числа сего месяца я отправлюсь в обратный путь; мне не терпится поскорее обнять и приголубить тебя, заботиться о тебе и мечтать с тобою о будущем счастье, коль скоро господь опять одарил наш союз своей милостью. Посылаю тебе письмо сие с нарочным, дабы ты не тревожилась обо мне,— путь мой не был чрезмерно труден. Однако мне все же повстречалось немало препятствий, и я радовался, что ты, в твоём положении, не поехала со мной. Ведь до самого Фалуна не довелось спешиться. Итак, моя любимая, до скорого свидания, пятнадцатого числа или самое позднее шестнадцатого. А с Розенштейном тяжбы не будет, все уладилось. Люблю тебя. Твой А д е л ь с т а н В а л ь д е м о р а».

— Как это бесконечно грустно, господин Гёфле,— сказал Христиан адвокату, который молча укладывал платье на место,— найти такое письмо, дышащее любовью и семейным счастьем, среди одежд покойницы!

— Да, очень грустно!— ответил Гёфле, снимая очки и развязывая накрученную чалму...— И к тому же странно. Знаете, над этим стоит призадуматься...

Ведь бедная баронесса заблуждалась, она не была беременна и сама впоследствии добровольно признала свою ошибку. Стенсон как раз сегодня рассказал мне об этом. Он был при ней, когда она подписывала ту бумагу... Но посмотрим, каким числом помечено письмо.

Гёфле снова надел очки и прочитал: «Стокгольм, 5 марта 1746 года».

— Вот как! — продолжал он. — Это в точности сходится, если мне память не изменяет... Ну, все равно! Слишком темное это дело для человека, жаждущего веселья! Впрочем, письмо я сохраню. Надо будет опять просмотреть бумаги, доставшиеся мне от отца... Что с вами, Христиан? Вы так и не смастерили себе костюма?

— При помощи этих тряпок, пропахших могилой? Да ни за что! У меня дрожь пробегает по спине... Вы говорили нынче утром, что она была добродетельна, образованна, прекрасна — жемчужина Далекарлии! И умерла совсем молодой?

— Двадцати пяти или двадцати шести лет, примерно месяцев через десять после того, как это письмо было написано: ведь граф Адельстан был убит в марте 1746 года. Это, наверное, последние слова, обращенные им к жене, и потому-то она и хранила при себе дорогое ей письмо, возможно, до последнего своего дня, наступившего так скоро.

— Подумайте, как печальна ее судьба! — проговорил Христиан. — Быть молодой супругой, молодой матерью, внезапно стать бездетной вдовой... и пасть жертвой ненависти барона...

— О, это совсем не доказано! Но слышите, выстрел. Гонки начались, Христиан, а мы с вами тут рассуждаем о делах, давно забытых всеми и, надо сознаться, совсем нас не касающихся... Если вам нынче взгрустнулось, друг мой, оставайтесь здесь, а я побегу, мне надо проветриться; довольно с меня размышлений на сегодня!

Христиан предпочел бы никуда не идти; но Гёфле находился в таком возбуждении, что Христиан боялся предоставить его самому себе.

— Вот что, — сказал он, — не станем переодеваться. А чтобы показаться на людях вместе и не быть узнаваемыми, мы оба наденем маски — как я, так и вы. Вы будете Христианом Вальдо, ведь ваша одеж-

да куда наряднее моей; а меня уже приняли сегодня за слугу, и мне остается только играть эту роль и дальше: я буду Пуффо!

— Отлично придумано!— воскликнул Гёфле.— Идем же! Да, кстати, свет гасить не стоит, не то господин Нильс, проснувшись, чего доброго, испугается; а чтобы он не проголодался, оставим ему крылышко цыпленка вот тут, под самым его носом.

— Малыш Нильс? Разве он здесь?

— Конечно! Я, как только пришел, первым делом перетащил его сюда из конюшни, раздел и уложил в постель. Он там в соломе промерз бы до костей, дрянной мальчишка!

— Пришел он в себя?

— Да, вполне; да еще выразил недовольство тем, что я посмел его потревожить, и ворчал, пока я его укладывал.

— Ну, а Пуффо куда делся? Я не застал его в конюшне, когда привел туда осла.

— Я тоже его не видел. Наверно, опохмелается где-нибудь с Ульфилом. И на здоровье! Идем же, скоро полночь. Вы сумеете помочь мне запрячь коня? Увидите, мой славный Локи меня не посрамит!

— Но вас сразу узнают по коню и саням.

— Нет, сани у меня самые обычные; коня я купил как раз в здешних местах год тому назад, но мы наденем на него дорожную попону.

По предложению барона участники гонок, по команде майора Ларсона, должны были устремиться на противоположный конец озера, к так называемому *хогару*, расположенному примерно в полумиле от Стольборга и нового замка; как мы уже говорили, оба замка, старый и новый, находились очень недалеко друг от друга, первый — на островке возле берега, второй — на самом берегу. Хогарами называют курганы, насыпанные, как полагают, над древними могилами скандинавских вождей. Такой курган имеет цилиндрическую форму, склоны его почти отвесны, а на плоской верхушке, по преданию, вершили суд эти варвары правители. Курганы такого рода встречаются и во Франции, но в Швеции их гораздо больше.

Хогар, служивший целью участникам состязания, являл собой в эту ночь поистине фантастическую картину. Он был увенчан тройным рядом смоляных

факелов, и сквозь их багровый дым можно было разглядеть исполинское белое изваяние. Эту огромную статую за один день вылепили из снега крестьяне по приказу барона; недаром владетель замка, отлично знавший, каким прозвищем его наградили, насмешливо пообещал дамам, что на вершине кургана их ждет сюрприз в виде его собственного портрета. Эта грубо сработанная фигура удивительно сочеталась с окружающей ее дикой местностью и напоминала тех большеголовых идолов с толстой, узловатой палицей в руке, что из века в век олицетворяют Тора — скандинавского Юпитера, грозно вскинувшего молот над своим венценосным челом.

Этот белый колосс, словно паривший в пустоте, поразил всех своим видом, и приглашенные радовались, что не побоялись морозной ночи и получили в награду столь необычное зрелище.

Бледное северное сияние упрямо боролось с ярким светом луны; переливчатые оттенки сменяли друг друга, свет то угасал, то вновь разгорался, как свойственно этому явлению природы; очертания местности стали зыбкими и таинственными, а причудливая игра красок придавала пейзажу редкую красоту, не поддающуюся описанию. Христиану казалось, что все это ему снится, и он твердил Гёфле, что удивительная северная природа, несмотря на суровость ее, волнует его воображение больше, нежели все, что довелось ему видеть за годы странствий.

Участники гонок уже выехали на лед в своих саниях, и наши друзья присоединились к ним, стремясь не нарушить установившийся порядок. Ледяной покров озера был заранее тщательно осмотрен, и по нему была проложена дорога; она вилась в свете гигантских факелов, среди выступавших то тут, то там из льда верхушек скал и островков, поросших елями и березами. Пышно убранные сани мчались стрелой по четыре в ряд, строго соблюдая положенную дистанцию благодаря умелым возницам и послушным коням.

Ближе к берегу, где находился хогар, озеро достигало наибольшей глубины, и поверхность его была совершенно гладкой, без единого бугорка. Здесь все сани разом остановились и выстроились полукругом, те же, чьи молодые владельцы готовились вступить в состязание, стали в ряд, ожидая сигнала.

Дамы и пожилые мужчины вышли из саней и поднялись на островок, особо убранный для этого, то есть заботливо устланный сосновыми ветками, дабы зрители не поморозили себе ног, наблюдая за подвигами гонщиков. Ледяное поле было залито ярким светом гигантского костра, пылавшего на скалах, позади созданных самой природой подмостков, на которых толпились наблюдатели.

Собравшиеся здесь люди представляли собой зрелище не менее причудливое, чем местность, служившая для них фоном. Все были в масках, которые не только выполняли свое прямое назначение — скрыть лицо, но и защищали его от мороза, немилосердно щипавшего кожу. По той же причине приглашенные были тепло одеты и укутаны в меха, что, впрочем, отнюдь не исключало обилия золотых украшений, нарядных вышивок и сверкающего оружия.

Участники гонок стояли у всех на виду в легких открытых санях, изображавших фантастических животных — огромных серебряных красноклювых лебедей, зеленых дельфинов, отливающих золотом рыб с загнутыми вверх хвостами и т. д. Майор Ларсон, забравшийся на чудовищного дракона, был под стать ему одет в шкуру какого-то диковинного зверя с огненными пучками молний на голове. На хогаре теснились те, кому надлежало раздавать награды победителям; они щеголяли в доспехах древних воинов, кто в крылатой каске, кто в колпаке с единым рогом над ухом — так изображают Одина в праздничном облачении, во всем блеске его божественной сущности.

Христиан пытался разглядеть Маргариту среди дам, наряженных сивиллами или царицами варварских племен. Но наконец он понял, что старания его напрасны, и праздник, по-прежнему радовавший глаз, уже ничего не говорил его сердцу. Совсем обратное происходило с Гёфле, охваченным все нарастающим возбуждением.

— Христиан! — кричал он. — Пускай наши наряды вовсе не наряды, пускай наши сани всего только сани! Почему бы и нам не попытаться счастья? Неужто мой славный Локи уступит другим потому лишь, что на нем нет ни султана, ни птичьих чучел, ни рогов?

— Дело ваше, господин адвокат,— ответил Христиан.— Вы его знаете, вам и решать, принесет он нам славу или позор.

— Славу, я уверен в этом!

— Что ж, тогда вперед!

— Но ведь как он устанет, бедняга Локи! Поначалу разогреется, а там, упаси боже, схватит воспаление легких!

— Что ж, тогда ни с места!

— Черт бы побрал ваше хладнокровие, Христиан! У меня так и чешутся руки пустить его вскач!

— Что ж, тогда попробуем!

— Да неужели я, человек благоразумный, способен загнать любимого коня только ради того, чтобы обскакать этих юнцов? Нелепо, правда, Христиан?

— Нелепо, если вам это кажется нелепым; в подобных забавах все зависит от того, насколько они опьяняют.

— Вперед!— воскликнул Гёфле.— Противиться опьянению — значит быть благоразумным, сиречь глупцом! Вперед, добрый мой Локи, вперед!

— Стойте!— закричал Христиан, выскакивая из саней.— Надо снять с него попону, иначе он задохнется!

— Верно, Христиан, верно! Спасибо, друг мой, только скорей, скорей! Все уже готовы!

Едва адвокат произнес эти слова, как с оглушительным треском вспыхнул фейерверк, запущенный с другого островка, позади ледяного поля. Этот сигнал к началу состязания подстегнул тяжело дышавших лошадей.

— Вперед, вперед!— крикнул Христиан Гёфле, придерживавшему коня, чтобы его спутник успел вскочить в сани.— Ну, вперед же! Вы теряете время!

Он хлестнул Локи, тот рванулся и вихрем понесся по льду, а Христиан остался на месте с попоной в руках, глядя вслед адвокату и его верному коню. Но недолго он пребывал в задумчивости. Вскоре ему пришлось отойти в сторону, чтоб не попасть под копыта лошадей, не принимавших участия в гонках, но разгоряченных примером других скакунов и громом фейерверка.

Внезапно с Христианом поравнялись голубые с серебром сани, и он тотчас же узнал их — они при-

надлежали Маргарите: Кузов, расширенный кверху, напоминал карету времен Людовика XV, поставленную, или лучше сказать, опущенную на полозья, и поэтому Христиан мог ненароком заглянуть в окошко, разукрашенное морозным узором. Он, впрочем, не надеялся увидеть в карете Маргариту, ибо полагал, что она находится с остальными на скалистых подмостках; но, к счастью, он все же бросил туда взгляд, Маргарита, отговорившись нездоровьем, не надела ни маски, ни маскарадного костюма и теперь сидела одна в санях, глядя в окошко. Кучер поставил сани поодаль от других, так, чтоб Маргарита могла видеть всех участников состязания, а это дало возможность Христиану, в свою очередь, увидеть Маргариту и стать вплотную к ее саням незаметно для остальных гостей, занятых увлекательным зрелищем гонок.

Он ни за что не осмелился бы заговорить с ней и даже старался держаться так, будто очутился здесь невзначай, но она внезапно опустила оконное стекло и обратилась к нему, приняв его за одного из слуг, оттого что он все еще держал в руках попону.

— Скажите, друг мой,— промолвила она вполголоса, но очень просто.— Тот человек в черной маске... точь-в-точь такой, как ваша... он только что был здесь, а сейчас мчится с остальными... Это ведь ваш хозяин? Это Христиан Вальдо, не правда ли?

— Нет, мадемуазель,— ответил Христиан по-французски, не меняя на сей раз ни голоса, ни интонации.— Христиан Вальдо — это я.

— Ах, боже мой, вы шутите!— ответила девушка, еле сдерживая радость, но еще более понизив голос, так как собеседник подошел вплотную к окошку.— Это вы, господин Христиан Гёфле! Что вас побудило играть нынче такую роль?

— Быть может, желание остаться здесь, не ставя дядюшку в неловкое положение,— ответил он.

— Значит, вам все же хотелось остаться?— проговорила она с таким выражением, что сердце Христиана учащенно забилося. Он не смог заставить себя ответить отрицательно, на это у него не хватило сил; но он почувствовал, что пора кончать игру, опасную скорее для него, нежели для юной графини, и, охваченный непреодолимым желанием быть с ней честным, поспешил сказать:

— Я хотел остаться, чтобы вывести вас из заблуждения, я не то, что вы думаете. Я уже говорил вам — я Христиан Вальдо.

— Не понимаю,— молвила она.— Вы однажды уже подшутили надо мной, разве этого не достаточно? Почему вы снова хотите играть какую-то роль? Неужели вы думаете, что я не узнала ваш голос, когда вы так умно говорили за марионеток Христиана Вальдо? Я ведь сразу заметила, что ума-то у вас побольше, чем у него.

— Как это понимать?— изумленно спросил Христиан.— Чей же голос, по вашему мнению, вы слышали сегодня вечером?

— И ваш и его. Я уверена, что слышала два голоса, а может быть, и три... Ваш, и этого Вальдо, и его слуги.

— Клянусь вам, нас было только двое.

— Пусть так, не все ли равно! Говорю вам, я узнала ваш голос, тут уж вы меня не обманете...

— Хорошо, не отрицаю, это был действительно мой голос; но я должен сказать...

— Слушайте, слушайте!— вскричала Маргарита.— Вот, называют имя победителя состязания. Помоему, это Христиан Вальдо. Да, да, теперь я уверена, я отчетливо слышу это имя! Да вон и он сам, в маске, стоит на маленьких черных санях. Это он, настоящий, а вы всего-навсего самозванный Вальдо! Но все же, господин Гёфле, ему еще многому надо у вас поучиться. Ведь все лучшее, что было в пьесе написано и сказано, вся роль Алонсо — это сделали вы! Ну-ка попробуйте под честным словом сказать, что я ошиблась!

— Что касается роли Алонсо, вы правы...

— Вы завтра опять будете играть, господин Гёфле?

— Конечно!

— Очень любезно с вашей стороны. Благодарю вас заранее; но больше никто об этом знать не будет, правда? Смотрите хорошенько спрячьтесь там, в Стольборге. Впрочем, я с удовольствием вижу, что вы осторожны и ловко умеете носить чужое платье! Кто вас узнает в таком наряде? Уходите скорее! Вот уже все садятся в сани, чтоб ехать к хогару и там честбовать победителя. И, конечно же, моя тетушка... Нет, она села в сани русского посла... Бросила меня

одну! Понимаете, господин Христиан, ни одна мать так бы не поступила! Но молодая и красивая тетушка — это, конечно, не мать... Постойте-ка! Она, наверно, пошлет сюда господина Стангстадиуса, чтобы я не слишком скучала!

— Господина Стангстадиуса! — воскликнул Христиан. — Где же он? Не вижу...

— Он по наивности надел маску, как будто это может сделать его неузнаваемым! Если бы он был поблизости, вы бы сразу его заметили! Но его нет, а между тем все разъезжаются...

— Барышня, — сказал кучер Маргарите на далекарлийском наречии, — ее сиятельство ваша тетушка делает мне знаки, чтобы я ехал следом за ней.

— Едем, друг мой, едем, — ответила девушка. — Но не пойдете же вы пешком, господин Гёфле? Садитесь на козлы, иначе вы не сможете присоединиться к остальным.

— А что скажет ваша тетушка?

И Христиан вскочил на козлы, с огорчением думая, что разговор окончен; но Маргарита закрыла боковое окошко и открыла переднее. Козлы, на которых сидел Христиан, были как раз на уровне этого окошка. Сани бесшумно скользили по глубокому снегу, так как Петерсон выбился из ряда и уже не ехал по прибитому насту дороги. К тому же славный малый не мог понять ни слова из разговора, ибо не знал по-французски. Итак, беседа продолжалась.

— Что происходит в замке? — спросил Христиан, пытаясь отвести внимание от своей особы. — Я не вижу здесь барона; а уж его-то я, несомненно, узнал бы по росту, точно так же, как господина Стангстадиуса — по походке.

— Барон заперся у себя под предлогом срочных и неотложных дел. Это означает, что он опять болен. Никто не поверил рассказам о делах, все видели, что рот у него скосило набок, а глаз смотрит вкось. Знаете, он, несмотря ни на что, удивительный человек, если так упорно борется со смертью. Если бы нынче ночью состоялся с молодежью, как и было задумано, он наверняка бы победил: ведь у него такие чудесные лошади! На завтра объявлена охота на медведя. Либо барон примет в ней участие и убьет медведя, либо его самого похоронят раньше, чем успеют отменить охоту. И то и другое вполне возмож-

но. Все мы оказались здесь в несколько странном положении, не правда ли? Похоже, что нашему Снеговуiku вздумалось на деле убедиться, как мало у него друзей,— ведь все продолжают веселиться, как ни в чем не бывало.

— Однако, Маргарита, вы сами восхищаетесь его мужеством; стало быть, вопреки вашей воле, он все же произвел на вас желаемое впечатление.

— Знайте же, дорогой мой наперсник,— со смехом возразила Маргарита,— сейчас во мне почти что не осталось прежней ненависти к барону. Он мне стал безразличен, и я все ему простила. Он женится... Но эта тайна стала мне случайно известна, и ее надо сохранить, слышите? Он женится, но не на мне, а я, к счастью, остаюсь на свободе... хотя и в бедности...

— В бедности? Я полагал, что вы живете по меньшей мере в достатке...

— Нет, ничего подобного! Нынче я окончательно рассорилась с тетушкой, все из-за того же барона: она заявила мне, что не даст мне ни гроша на жизнь и еще предъявит свои права на очень скромное наследство, оставленное мне отцом, оттого что в свое время он взял у нее взаймы не знаю уж сколько дукатов... чтобы... Словом, я в этом ровно ничего не поняла, кроме одного — я полностью разорена!

— Ах, Маргарита! — вырвалось у Христиана. — Если бы у меня были имя и богатство! Послушайте, — добавил он, удержав ее за руку, так как она откинулась было в глубь кареты, — это не любовное признание, я не столь дерзок. Это было бы безумием с моей стороны, ведь я не могу похвалиться ни состоянием, ни родней... Но вы позволили мне считать себя вашим другом; разве это не дает мне права сказать, что, обладай я богатством и знатностью, я поделился бы ими с вами как с сестрой!

— Спасибо, Христиан, — сказала Маргарита, несколько успокоившись, но все еще трепеща. — Я знаю, какое у вас доброе сердце, и вижу, что вы желаете мне добра... Но почему вы говорите, что не можете похвалиться родней, когда ваш дядюшка носит столь почетное имя?

И тотчас она добавила, силясь рассмеяться:

— Не кажется ли вам, что я как будто сказала... то, чего у меня, разумеется, нет и в мыслях... Нет.

безусловно, вам это не пришло в голову. Разве вы фат? Конечно, нет. Вы так же доверчивы, как и я, и отлично понимаете, что я вас расспрашиваю, оттого что желаю вам счастья, все равно с кем... Скажите же, зачем вы попусту мучаете себя, когда немало людей могли бы позавидовать вашей принадлежности к такому достойному семейству?

— Ах, Маргарита!— воскликнул Христиан.— Вы хотите знать, а я — я тоже хочу сказать вам об этом! Поездка наша подходит к концу, и вскоре мы простимся, на этот раз — уже навеки... Но я не желаю остаться в вашей памяти ценой обмана. Вы вправе презирать меня, а потом забыть — что ж! Я к этому готов. Знайте же — Христиана Гёфле не существует. У господина Гёфле нет и не было ни сына, ни племянника.

— Неправда!— вскричала Маргарита.— Он говорил то же самое сегодня в замке, и потом все повторяли его слова, но никто им не верил. Вы его сын... от тайного брака; придет время, когда он вас признает и усыновит, иначе быть не может!

— Клянусь вам честью, я не состою с ним в родстве и еще вчера утром был вовсе незнаком ему, точь-в-точь как вам.

— Честью! Вы клянетесь честью! Но если вы не Христиан Гёфле — я вас не знаю! И у меня поэтому нет оснований верить вам. Если вы Христиан Вальдо... говорят, будто он умеет подражать любому голосу... Нет, как хотите, я совсем потерялась... Но мне очень грустно... и я, слава богу, все еще нахожусь в сомнении...

— Увы, не надо сомнений, Маргарита,— сказал Христиан, соскакивая с козел, так как сани остановились.— Посмотрите на меня и запомните: тот, кто навеки сохранит в сердце своем величайшую преданность и самое глубокое уважение к вам, и тот, кто сейчас клянется честью, что он Христиан Вальдо,— один и тот же человек!

С этими словами Христиан поднял на лоб шелковую маску, решительным жестом подставил лицо под свет факела и наклонился к окошку, чтобы Маргарита получше его разглядела. Она тотчас же узнала друга, приобретенного ею вчера, и, едва сдержав горестный взглас, слишком, быть может, выразительный, закрыла лицо руками.

Христиан снова натянул маску и смешался с толпой слуг и крестьян, глазевших на празднество.

Вскоре он встретился с Гёфле,— как раз в тот момент, когда адвоката собрались торжественно нести на руках, отнюдь не за то, что он пришел первым (ибо пришел он, надо сознаться, последним), а за неожиданную и забавную выходку: он на всем скаку подцепил кончиком кнута парик Стангстадиуса, бесцеремонно забравшегося в сани Ларсона, к великой досаде молодого майора. Конечно, Гёфле сделал это безо всякого умысла — он просто-напросто взмахнул кнутом, и кончик этого кнута захлестнул косицу парика; подобные случаи обычно называют невероятными — ведь они вряд ли выпадают даже один раз на тысячу. Итак, Гёфле, силясь высвободить кнут, сорвал с головы ученого шляпу, и она черной птицей слетела в снег: парик, естественно, неразлучный со своей косичкой, последовал за кнутом, ибо у Гёфле не хватило времени отвязать кнут от парика, хотя клубок напудренных волос, нависший на кончике кнута, лишил это орудие его живительных свойств и подгонять им славного Локи уже не было никакой возможности. В первые мгновения после победы Ларсон, опьяненный успехом, ничего не заметил; но крики и брань Стангстадиуса, требовавшего, чтоб ему немедленно вернули парик, и прикрытая носовым платком голова его вскоре привлекли всеобщее внимание.

— Это он! — вопил разъяренный геолог, указывая на Гёфле, еще не успевшего снять маску. — Этот итальянский шут в шелковой маске! Он нарочно все это подстроил, негодяй! Ну, постой же, мошенник, скоморох! Получишь сотню оплеух, будешь знать, как шутить с таким человеком, как я!

Громовой хохот присутствующих заглушил гневные крики Стангстадиуса, и участники гонок принялись было громко прославлять Христиана Вальдо, но события внезапно приняли иной оборот. Стангстадиус, окончательно рассвирепев от смеха дерзкой молодежи, бросился на похитителя парика: тот стоял на своей колеснице и смущенно показывал всем причину постигшего его поражения — парик, трепетавший на кончике кнута, как рыба на удочке. И в тот миг, когда Гёфле, изменив голос, в самых забавных выражениях предъявил Стангстадиусу обвинение в том,

что тот сыграл с ним злую шутку, лишив его возможности подгонять лошадь, и тем самым помешал прийти с честью к цели, ученый, проворный, как обезьяна, несмотря на хромоту и крючковатые пальцы, вскарабкался позади него на козлы, сорвал с головы его шляпу и маску и, безусловно, осуществил бы свой мстительный замысел, если бы, к великому изумлению, не узнал своего друга Гёфле, которого толпа тотчас приветствовала дружными аплодисментами.

Те, кто знал Гёфле в лицо, громко называли его по имени, остальные быстро и единодушно подхватили. Шведы очень гордятся своими знаменитыми соотечественниками, особенно теми, кто своим талантом прославил родной язык. К тому же адвокат давно завоевал любовь и уважение молодежи честностью нрава и остротой ума. Его уже собрались объявить победителем гонок, и ему с большим трудом удалось отказать от приза, который хотел отдать ему майор: приз этот, огромный кубок в виде рога, украшенный причудливой резьбой и серебряными руническими письменами, представлял собой точную копию древнего и очень ценного кубка, найденного за несколько лет до того при раскопках хогара и хранившегося в кабинете барона.

— Нет, дорогой майор,— сказал Гёфле, пряча в карман ненужную теперь маску, в то время как Стангстадиус водружал себе на голову парик,— я участвовал в гонках только чести ради, и коль скоро честь моя, а вернее — честь моего коня, ничуть не пострадала из-за нескольких секунд опоздания по вине злополучного парика, я горд за Локи и доволен собой. Я был бы еще более доволен,— добавил он, спрыгивая с козел,— если бы знал, куда делась попона,— бедное животное того гляди простынет.

— Вот она,— шепотом сказал Христиан, подходя к Гёфле.— Но раз вы всем открылись, дорогой дядюшка, мне остается только поскорее улизнуть; у Христиана Вальдо еще может быть слуга в маске, но у вас — это было бы вовсе неправдоподобно!

— Нет, нет, Христиан, я с вами не расстанусь,— возразил Гёфле.— Мы с вами сейчас бросим взгляд на озеро с высоты хогара, а затем вернемся вместе в замок Стольборг. Знаете что? Поручим моего коня заботам кого-нибудь из крестьян, а сами полезем

наверх вот по этой тропке, она уведет нас подальше от зевак. Черная маска того и гляди привлечет внимание и нас вот-вот окружают и забросают вопросами.

XI

Христиан и Гёфле, никем не замеченные, скрылись за курганом, а большинство гостей вернулось в новый замок, сочтя, что подниматься на вершину хогара им будет не под силу, в особенности морозной ночью. Тем не менее в пещере на склоне, на полпути к вершине, была раскинута палатка и приготовлен пунш для желающих согреться; но дамы отказались от подъема, а мужчины последовали их примеру.

Через полчаса, спускаясь с вершины, где мало-помалу таяла ледяная статуя, разогретая пламенем факелов, Христиан с адвокатом любопытства ради зашли в эту пещеру, затянутую со всех сторон просмоленными тканями, и застали там только Ларсона и его лейтенанта. Все молодые люди уже разошлись, один раньше, другие позже, кто — подчиняясь требованию возлюбленной, а кто — опасаясь, как бы не застудить коня. Осмунд Ларсон, весьма приятный молодой человек, делал все, что мог, дабы проникнуться французским духом, но, по счастью, был всем сердцем предан своей родине. Что касается лейтенанта Эрвина Осборна, то он принадлежал к тем грубовато-бесхитростным, простодушным людям, которые и не пытаются изменить свою сущность. Он обладал всеми качествами, необходимыми первоклассному офицеру и хорошему гражданину, и сочетал их с добротой здорового человека, не склонного ломать голову над тем, что его не касается. Ларсон был его другом, начальником и кумиром. Осборн следовал за ним как тень и пальцем не мог шевельнуть, не спросив у него. Даже в выборе невесты он следовал советам Ларсона.

Едва друзья завидели Гёфле, они бросились ему навстречу и наперебой принялись уговаривать его остаться, клянясь, что не отпустят его, пока он не окажет им чести выпить с ними. Пунш был уже готов, оставалось только зажечь его.

— Я хочу иметь возможность похвалиться, — воскликнул Ларсон, — что в ночь с двадцать шестого

на двадцать седьмое декабря я пил и курил на хогаре здесь, над озером, в обществе двух людей, каждый из которых по-своему знаменит — господина Эдмунда Гёфле и Христиана Вальдо.

— Христиана Вальдо, — повторил за ним Гёфле. — С чего вы это взяли?

— Да вот он стоит позади вас. Он одет как бедный простолюдин, он в маске, но все равно: он потерял одну из своих уродливых, грубых перчаток, и я тотчас же узнал его руку — эту белую руку мне случайно довелось увидеть однажды в Стокгольме, и я так внимательно рассмотрел ее тогда, что берусь узнать ее из тысячи! Послушайте, господин Христиан Вальдо, у вас очень красивая рука, но у нее есть одна особенность: левый мизинец слегка согнут, и вы не можете расправить его, как широко и дружелюбно вы ни раскрыли бы ладонь. Помните офицера, на глазах у которого вы спасли мальчонку-юнгю от ярости трех пьяных матросов? Это было в порту, вы только что вышли из своего балагана и еще не успели снять маску, а слуга ваш убежал. Не будь вас, мальчишка погиб бы. Припоминаете?

— Да, сударь, — ответил Христиан. — Вы были тем самым офицером, который в это время оказался там и, выхватив саблю, обратил пьяниц в бегство; потом вы меня посадили к себе в карету. Без вашего вмешательства меня бы прикончили.

— И на свете стало бы одним храбрецом меньше, — сказал Ларсон. — Согласны ли вы опять пожать мне руку, как тогда?

— От всего сердца, — ответил Христиан, обменяясь с майором рукопожатием.

Затем он снял маску и молвил, обращаясь к Гёфле:

— Не в моих привычках скрывать лицо от людей, которые внушают мне доверие и самые дружеские чувства!

— Как! — воскликнули вместе майор и лейтенант. — Вы Христиан Гёфле, наш вчерашний приятель?

— Нет, Христиан Вальдо, присвоивший имя господина Гёфле и прощенный им за эту дерзкую выходку. Я тотчас же узнал вас еще вчера вечером, майор.

— Отлично! Стало быть, вы были на балу, во-

преки предрассудкам барона, у которого, очевидно, не хватило бы ума пригласить вас.

— Ни в одной стране не зовут в гости человека, которому платят, чтобы он позабавил приглашенных. Следовательно, мне не пришлось бы обижаться, если бы меня выставили за дверь, и я сознательно подверг себя этой опасности, что было попросту глупо с моей стороны. Однако у меня есть оправдание: моя цель — получше узнать страны, по которым я путешествую, запомнить и впоследствии описать их. Я в некотором роде наблюдатель, ведущий запись виденному, что вовсе не означает, будто я иностранный шпион. Искусства и естественные науки занимают меня более, нежели обычаи и нравы; но в то же время меня интересует все, а так как мне в свое время довелось вращаться в свете, мной внезапно овладело любопытство вновь увидеть высший свет во всем его блеске здесь, в сердце гор, озер и льдов, среди местности, казалось бы, неприступной. Но дело в том, что лицо мое весьма не понравилось барону, вот почему я сегодня пришел в маске. Вчера вечером вы мне, кажется, советовали вовсе не возвращаться?

— И повторил бы этот совет, дорогой Христиан,— ответил майор,— если бы барон еще помнил о вчерашнем; но, по-видимому, недуг отшиб у него память. Берегитесь, однако, его челяди. Наденьте маску, и перейдем на французский язык: его лакеи сейчас принесут нам пунш, а они, может статься, видели вас на бале.

На стол нетесаного гранита поставили огромную серебряную чашу, до краев налитую пылающим пуншем, и майор принялся с веселыми шутками разливать его по бокалам. Меж тем Гёфле, еще недавно столь оживленный, внезапно впал в глубокую задумчивость и, казалось, точно так же, как это было утром, не мог решить: веселиться ли ему, или же размышлять над каким-то сложным вопросом.

— Что это с вами, любезный дядюшка?— спросил Христиан, наполняя его бокал.— Уж не осуждаете ли вы меня за то, что я раскрыл свое инкогнито?

— Ничуть,— ответил адвокат,— и даже, если вам угодно, могу вкратце рассказать господам офицерам вашу историю, чтобы доказать, что они правильно выбрали вас в друзья.

— Да, да, историю Христиана Вальдо!— восклик-

нули офицеры.— В ней, без сомнения, кроется немало любопытного, а если ее надлежит сохранить в тайне, мы клянемся честью...

— Но она слишком длинна,— возразил Христиан.— Мое пребывание у барона продлится еще два дня. Назначим встречу в более надежном и более теплом месте.

— Верно!— сказал Гёфле.— Господа, приходите завтра в Стольборг отобедать или отужинать с нами вместе.

— Но ведь на завтра назначена охота на медведя,— ответил майор.— Разве вы оба не намерены принять в ней участие?

— Оба? Нет. Я лично не охотник и не люблю медведей; что касается Христиана, такое дело вовсе не для него. Подумайте, что будет, если медведь отгрызет ему руку? Ему и двух-то еле хватает, чтобы управлять куклами. Кстати, Христиан, покажите-ка мне руку; что там у вас с мизинцем? Странно, я раньше ничего и не заметил. Он поврежден, не так ли?

— Нет,— ответил Христиан,— это у меня от рождения.

И, протянув левую руку, добавил:— Видите, на левой руке это менее заметно, а на правой более; но это мне ничуть не мешает.

— Странно, очень, очень странно!— повторил Гёфле, поглаживая подбородок, как он всегда делал, когда его что-то занимало.

— Не так уж странно,— сказал Христиан.— Я не раз встречал этот незначительный изъян. Кстати, я заметил его у барона Вальдемора. У него это гораздо резче выражено, чем у меня.

— Черт возьми! Вы правы. Я как раз об этом и думаю. У барона оба мизинца прижаты к ладоням. Вы обращали внимание на это, господа?

— Неоднократно,— сказал Ларсон,— и можем смело сказать Христиану Вальдо, который не сочтет этого за намек, ибо отдает неимущим чуть ли не весь свой заработок, что согнутые таким образом мизинцы считаются признаком скупости.

— Однако,— сказал Гёфле,— барон широко тратит деньги. Конечно, можно сказать, что такая расточительность служит ему поводом жаждать еще большего богатства и стремиться к нему любой це-

ной. Но отец его презирал деньги, а брат был человеком редкой щедрости. Следовательно, согнутые мизинцы еще ничего не доказывают.

— А разве та же особенность встречалась и у отца и у брата барона?— спросил Христиан.

— Да, и, судя по рассказам, это сразу бросалось в глаза. Однажды, внимательно рассматривая фамильные портреты предков барона, я был изумлен, обнаружив эти согнутые мизинцы у некоторых из них. Не правда ли, чрезвычайно странное явление?

— Что ж, будем надеяться, что это останется единственной моей чертой сходства с бароном,— сказал Христиан.— А что касается охоты на медведя, я до смерти хочу в ней участвовать, и пусть даже мне суждено лишиться обеих рук с их изъяном, но я-то непременно буду там.

— Вместе с нами!— воскликнул Ларсон.— Я зайду за вами утром.

— Рано утром?

— Конечно! До света!

— Это значит,— с улыбкой подхватил Христиан,— около полудня?

— Не клеветец на наше солнце,— сказал лейтенант.— Оно взойдет через семь-восемь часов.

— Тогда... пора ложиться спать!

— Спать?— воскликнул Гёфле.— Уже? Надеюсь, что пунш не даст нам уснуть! Я, например, только начал приходить в себя от волнения, пережитого в связи с париком Стангстадиуса. Дайте же мне свободно вздохнуть, Христиан; я вас считал куда более веселым. Кстати, знаете ли, вам сегодня изменил ваш веселый нрав.

— Признаюсь, я нынче в меланхолии, как англичанин,— ответил Христиан.

— По какой причине, племянничек? Ведь вы мой племянник, я на этом настаиваю сейчас, в дружеском кругу, хотя в большом обществе подло открекся от вас. Отчего же вы вдруг загрустили?

— Сам не знаю, любезный дядюшка; возможно, оттого, что превращаюсь мало-помалу в балаганного шута.

— Поясните сей афоризм.

— Вот уж три месяца, как я показываю марионеток, это слишком долгий срок. Было в моей жизни

время, — я рассказывал вам, — когда я примерно столько же месяцев посвятил этому ремеслу и испытал, хотя и в меньшей степени (я был моложе!), то же, что испытываю теперь, то есть сильнейшее возбуждение, за которым следуют полный упадок духа, отвращение и нежелание вновь браться за дело, лихорадочные приступы красноречия, бьющие через край веселость и взволнованность, когда я наконец берусь за него, и чувство удрученности и презрения к самому себе, когда я снимаю маску и становлюсь обыкновенным, скучным человеком, подобным любому другому.

— Э! Да со мной происходит то же самое, когда я выступаю в суде! Всякий оратор, актер, художник или учитель, который вынужден в течение доброй половины своей жизни из кожи вон лезть, обучая, просвещая и развлекая других, чувствует, когда занавес падает, что ему все постыло — и весь род человеческий и он сам. Я, например, сейчас весел и оживлен лишь потому, что вот уже четыре или пять дней не выступаю в суде. Видели бы вы меня, когда я сижу у себя в кабинете по возвращении из зала суда, слышали бы, как я злюсь на экономку за чай, поданный не вовремя, на клиентов, осаждающих меня, на скрипучие двери — уж не знаю, на что еще! Все меня бесит... А потом развалюсь в кресле, возьму книгу по истории или философии либо роман... и блаженно усну, забыв о своей проклятой профессии!

— Вы «блаженно» засыпаете, господин Гёфле, ибо сознаете несмотря на расстроенные нервы, что совершили нечто полезное и дельное.

— Гм, гм! Не всегда! Не всегда защищаешь правое дело, а даже если и защищаешь, не можешь быть до конца уверенным, что говоришь так, как того требуют истина и справедливость. Послушайте, Христиан, говорят, что нет глупых профессий; а я вам скажу, что все они глупые, поэтому совсем неважно, в какой именно из них вы блеснете талантом. Не презирайте своего ремесла: каким бы оно ни было, мое-то ремесло в сто раз его безнравственней.

— Ого, господин Гёфле, ну и парадокс! Говорите, говорите дальше, мы слушаем! Ждем красноречивого выступления!

— Нет, дети мои, красноречия не ждите,— сказал Гёфле офицерам и Христиану в ответ на уговоры дать волю воображению.— Здесь не место для мудрствований, да и я к тому же сейчас на отдыхе. Скажу попросту — ремесло, ставящее себе целью забавлять людей вымыслом, является первым из всех... первым по времени, это бесспорно, ибо едва человек выучился говорить, как он стал выдумывать мифы, слагать песни, рассказывать истории; первым по нравственной пользе — пусть попробуют оспорить это все университетские профессора во главе с самим Стангстаднусом, который верит только в то, что можно пощупать руками. Опыт еще никогда не шел человеку впрок; обучайте его истории сколько вашей душе угодно, а он неустанно будет совершать одни и те же безумства и ошибки,— правда, если хотите, всё в меньшей и меньшей степени, но всегда в соответствии с уровнем его цивилизованности. Разве мы-то сами извлекаем какую-нибудь пользу из собственного опыта? Я, например, отлично знаю, что завтра поплачусь своим здоровьем за то, что нынче веселился как юноша, но мне на это наплевать! Стало быть, не разум правит человеком, а воображение, мечта. А мечта — это искусство, поэзия, живопись, музыка, театр... Подождите, господа, дайте мне осушить бокал, прежде чем перейти ко второму пункту моих рассуждений.

— Ваше здоровье, господин Гёфле!—воскликнули все трое друзей.

— Ваше здоровье, дети мои! Итак, я продолжаю. Я вовсе не считаю Христиана Вальдо обычным кукольником. Что такое марионетка? Деревяшка, одетая в тряпку. Только ум и душа Христиана придают интерес и достоинство его пьесам. Не смотрю я на него и как на актера, ибо не то чарует нас, что он ежеминутно говорит другим голосом и в другой манере — это всего-навсего ловкий прием. А вижу я в нем автора, потому что каждая пьеса его — маленький шедевр, напоминающий прелестные, восхитительные музыкальные сочинения, созданные великими итальянскими и немецкими композиторами для театров такого рода. «Эта музыка для детей»,— скромно говорили они о своих произведениях. Однако наслаждаются-то ими знатоки. Следовательно, господа, воздадим Христиану Вальдо по заслугам!

— Да, да,— закричали оба офицера, необычайно оживившиеся под действием пунша.— Да здравствует Христиан Вальдо! Он гений!

— Ну, не совсем,— смеясь, возразил Христиан,— но теперь я понял, почему мой дядюшка презирает профессию адвоката. Он способен высказать самую неправдоподобную точку зрения и убедить других в своей правоте.

— Молчите, племянничек, я вам не дал слова! Так вот, я утверждаю, что... Да ты просто неблагоприятнейшее создание, Христиан! Ты не адвокат и при этом еще смеешь жаловаться на судьбу! Тебе дано находить истину в любом вымысле, а тебе уже наскучило привлекать к ней сердца людей! У тебя есть ум, сердце, образование, хорошее воспитание, а ты называешь себя балаганным шутом, чтобы приписать свое искусство, а может быть,— вовсе расстаться с ним! Говори, несчастный, уж не это ли ты задумал?

— Да, таково мое решение,— ответил Христиан,— с меня довольно. Мне казалось, что я смогу протянуть и дольше, но столь длительное инкогнито гнетет меня, как ребяческая затея, недостойная серьезного человека. Мне нужно найти способ путешествовать, не побираясь в пути. Я уже давно над этим думаю. Это трудная задача для человека неимущего. Тот, кто ведет жизнь оседлую, всегда найдет работу; но тому, кто хочет быть в движении, нынче приходится трудно. В древние времена, господин Гёфле, путешествовать — означало завоевывать землю на пользу разуму человеческому. Все понимали это, путешествие рассматривалось как высокая миссия, посвящение избранных душ в некую тайну. Недаром путешественник был существом священным для народов тех стран, куда он являлся, они почтительно приветствовали его и стремились узнать от него нечто новое о роде человеческом. В наши дни, если только путешественник не богач, он становится нищим, попрошайкой, вором или скоморохом...

— Скоморохом!— воскликнул Гёфле.— Зачем такое унижительное слово? Скоморох, которого я назвал бы скорее выдумщиком, ибо он излагает то, что выдуманно им самим, ставит себе целью отвлечь человека от повседневности жизни, а так как боль-

шинство представителей нашей дурацкой породы настроено весьма прозаически и грубо приковано к материальным благам, наши Кассандры, возглавляющие общественное мнение, осмеивают поэтов и их лиру. Если бы они только посмели, они еще яростнее отвергли бы проповедников, которые твердят им о небе, и религию, которая воюет с низменными страстями и призывает к идеалу; но нельзя восставать против идеализма, являющегося общепринятой истиной. Никто не осмелится на это. Зато его отвергают, когда он наивно заявляет вам: «Я открою вам красоту и добро через иносказания и притчи».

— А в то же время,— вставил Христиан,— притчи на каждом шагу встречаются в священном писании. С их помощью проповедовали в те времена, когда человек был простодушен и исполнен веры. Знаете, господин Гёфле, предвзятое отношение к комедианту кроется не в том, о чем вы упомянули, или, вернее, оно вытекает из одного факта, который я вам сейчас изложу. Комедиант не имеет реальных связей с остальным обществом. Будучи комедиантом, человек не оказывает обществу сколько-нибудь заметных услуг, тогда как уважение людей друг к другу как раз и возникает на основе взаимных услуг. Не забывайте, что все профессии тесно связаны с положением человека в обществе, даже профессия священника, который для неверующих все же представляет собой необходимого им чиновника. Что касается представителей других профессий, то каждый человек видит в них надежду или опору, в зависимости от того, как обернется жизнь. Врач несет ему надежду на сохранение здоровья, судья и адвокат — на выигрыш тяжбы, делец — на приобретение богатств; торговец поставляет ему товары, солдат охраняет его безопасность, ученый своими открытиями содействует развитию его предприятий, преподаватель в любой области знаний дает ему образование, необходимое для занятия той или иной должности; один лишь актер говорит обо всем, но не дает ему ничего... кроме добрых советов, за которые зритель расплачивается у входа, хотя мог бы получить их даром, если бы только дал себе труд подумать.

— Так что же?— воскликнул Гёфле.— К чему ведут все эти словопрения? Мы пришли к одному и тому же выводу; ты только подтвердил мои слова:

чернь презирает все, что порождено воображением и чувством!

— Не совсем так, господин Гёфле, воображением непроизводительным, чувством бесплодным! Чего же вы хотите? Разве несправедлив в своем суждении мещанин, когда он говорит актеру: «Ты мне твердишь о добродетели, любви, преданности, разуме, мужестве, счастье! Твердить об этом — твое ремесло; но коль скоро орудием твоим является только слово, не обессуди, если я сочту тебя пустозвоном. Если же ты представляешь собой нечто большее — сойди-ка с этих подмостков и помоги мне наладить мою жизнь так, как в пьесе ты наладил вымысел. Вылечи меня от подагры, выиграй в суде мое дело, принеси достаток в мой дом, выдай мою дочь за ее избранника, найди хорошее местечко моему зятю; а если все это тебе не по плечу, сшей мне хотя бы сапоги или вымости мне двор; сделай хоть что-нибудь путное за те деньги, что я тебе плачу!»

— А вывод?— спросил Гёфле.

— Вывод мой таков, что у каждого человека должно быть занятие, идущее непосредственно на пользу другим людям, и что неприязненное отношение к актеру и вообще к «выдумщику» придет к концу в тот день, когда театр станет бесплатным и любовью разумный человек, способный хорошо представлять на сцене, сможет стать на какое-то время из любви к искусству «выдумщиком» или актером, какова бы ни была его настоящая профессия.

— Вот эта фантазия, пожалуй, почище всех моих парадоксов!

— Не спорю; но двести лет назад никто не поверил бы в существование Америки, а еще через двести лет, как я полагаю, люди совершат такие удивительные дела, о которых мы и мечтать не можем!

С этими заключительными словами был допит остаток пунша, и Христиан уже намеревался проститься с Гёфле, который, по-видимому, был не прочь пойти с молодыми офицерами в новый замок и станцевать там куранту; но юрист не пожелал расстаться со своим другом, а так как тот и впрямь нуждался в отдыхе, все уговорились встретиться завтра, а вернее — сегодня же, ибо уже пробило два часа ночи; затем все разъехались восвояси.

— Послушай, Христиан,— сказал Гёфле, когда

они уселись рядышком в сани, держа путь в Стольборг,— неужели ты серьезно решил?.. Да, кстати, я замечаю, что сам не знаю, как и с каких пор стал говорить вам «ты»!

— Продолжайте и впредь, господин Гёфле, мне это очень приятно.

— Однако... я еще не так стар, чтобы позволить себе... Да мне еще и шестидесяти не стукнуло, Христиан! Прощу не считать меня патриархом!

— Упаси боже! Но если в ваших устах «ты» звучит как дружеское обращение...

— Еще бы, разумеется, мальчик мой! Итак, я продолжаю: скажи-ка мне...

Тут Гёфле прервал свою речь и молчал так долго, что Христиану почудилось, будто адвокат задремал; но тот внезапно встрепенулся и промолвил:

— Ответьте мне, Христиан, что бы вы стали делать с деньгами, если бы разбогатели?

— Я?— удивился молодой человек.— Я попытался бы приобщить к своему счастью возможно больше людей.

— Значит, это было бы для тебя счастьем?

— Да; я отправился бы путешествовать вокруг света.

— А потом?

— Потом?.. Не знаю... Написал бы книгу о своих путешествиях...

— А потом?

— Женился бы, чтобы завести детей... Очень люблю детей!

— И покинул бы Швецию?

— Как знать? Привязанностей нет у меня нигде. Черт меня побери, если... Нет, я не преувеличиваю, и я не пьян, но я испытываю к вам, господин Гёфле, самые дружеские чувства, и пропади я пропадом, если желание остаться возле вас не повлияло бы на мое решение! Но о чем это мы? Не в моих привычках строить воздушные замки, и я никогда не мечтал о богатстве... Через два дня я уеду черт знает куда, и, быть может, мне не суждено вернуться!

Друзья вошли в медвежью комнату, совсем позабыв о якобы водившихся там привидениях, улеглись и заснули, не обменявшись ни единым словом о вчерашнем призраке. Поначалу, лежа в постелях, они взялись было за продолжение своей беседы; но, не-

смотря на возбужденное состояние Гёфле и готовность Христиана поддерживать разговор, молодой человек вскоре почувствовал, что погружается в глубокий сон, словно в ворох мягких перьев, а юрист, поворчав на Нильса, храпевшего так, что дрожали стекла, в конце концов последовал примеру Христиана.

К этому времени в новом замке пробудился барон Вальдемора. Когда Юхан, повинуясь полученному ранее приказу, вошел к нему в спальню, барон, полуодетый, уже сидел на постели.

— Три часа утра, господин барон,— сказал мажордом.— Хорошо ли вы отдохнули?

— Я спал, Юхан, но очень плохо; всю ночь мне снились марионетки.

— Что ж, дорогой хозяин, это неплохой сон! Эти марионетки весьма забавны.

— Ты находишь? Ну, пусть будет по-твоему!

— Да ведь вы же сами смеялись, на них глядя!

— Кто ж не смеется? Вся жизнь — это сплошной смех... Печальный смех, Юхан...

— Ах, господин барон, гоните черные мысли. Какие будут приказания на нынешний день?

— Никаких. Если мне суждено сегодня умереть, кто сможет помешать этому?

— Умереть! Что за чертовщина лезет вам в голову! Вы нынче превосходно выглядите!

— А ежели меня убьют?

— Кому такое вздумается?

— Многим; особенно тому человеку, что был на балу, я помню его лицо и угрозу...

— Вы говорите о самозванном племяннике адвоката? Не понимаю, почему его лицо так тревожит вас. Ведь он ничуть не похож на...

— Молчи, ты никогда ничего не видишь, ты близорук!

— Отнюдь нет.

— Этот нахал у меня в доме, на глазах у всех, осмелился бросить мне вызов!

— С вами такое не раз бывало, и вы всегда смеялись!

— А на этот раз я упал, как громом пораженный!

— Это все проклятая годовщина! Вы отлично знаете, что каждый год в это время вы чувствуете себя нездоровым, а потом забываете об этом.

— Мне не в чем себя упрекать, Юхан.

— Черт возьми! Уж не думаете ли вы, что я вас в чем-нибудь упрекаю?

— Но что же творится в моей бедной голове? Откуда эти видения?

— Э! Мороз тому виной! Со всеми это бывает!

— С тобой тоже?

— Со мной? Никогда! Я ем вволю, а вы ничего в рот не берете. Ну, откушайте хотя бы чаю.

— Нет, еще рано. Что ты думаешь о словах итальянца?

— Этого Тебальдо? Да вы мне ничего о нем не рассказали!

— Верно. И не расскажу.

— Почему же?

— Это все слишком нелепо. Впрочем... скажи, как ты думаешь, враг ли мне Гёфле? Должно быть, враг!

— С чего ему врагом-то быть?

— Сам не знаю; я всегда щедро платил ему, и отец его был мне предан всей душой.

— К тому же Гёфле весьма неглуп, красноречив, светский человек, и предрассудков у него нет, уж поверьте мне!

— Ошибаешься! Он не хочет вести дело против Розенштейна; говорит, что я неправ; сегодня посмел спорить со мной. Ненавижу я этого Гёфле!

— Уже? Ну, подождите немного. Посулите ему побольше денег, и он тотчас признает, что вы правы.

— Я так и сделал вчера утром, а он резко отвечал мне. Говорю тебе, я его ненавижу!

— Вам угодно, чтобы с ним что-нибудь случилось?

— Еще не знаю, там будет видно. Ну, а как насчет старого Стенсона?

— Что именно?

— Мог он предать меня, как по-твоему?

— Когда?

— Я не спрашиваю когда. Ты находишь его скрытным?

— Круглым дураком я его нахожу, вот что.

— Сам ты круглый дурак! Стенсон еще тебя перехитрит, да и меня в придачу, возможно. Что, если итальянец сказал правду?..

— Стало быть, вы не хотите открыть мне, что он

вам сказал? Вы мне больше не доверяете? Тогда терзайтесь и дальше, сами старайтесь все разузнать, а мне позвольте пойти на боковую.

— Юхан, не брани меня,— необычайно кротко сказал барон.— Успокойся, ты все узнаешь.

— Да, когда вам понадобится моя помощь.

— Она мне нужна уже сейчас. Надо, чтобы итальянец представил доказательства, если они у него есть. При нем ничего не найдено?

— Нет. Я сам его обыскал.

— Он мне так и сказал, что у него ничего при себе нет. Да и что могло быть? Ты еще помнишь Манассе?

— Еще бы! Этот плут некогда продал здесь немало товара, и за большие деньги.

— Он умер.

— Мне это все равно.

— Его убил этот итальянец.

— Странно! Зачем же?

— Чтобы ограбить его, вероятно, и отобрать письмо.

— Письмо? От кого?

— От Стенсона.

— Интересное письмо?

— О, несомненно, если в нем написано то, на что намекал этот плут.

— Ну, ежели хотите, чтобы я понял вас,— расскажите.

Барон и его наперсник так понизили голос, что даже стены не слышали их беседы. Барон был взволнован, Юхан пожимал плечами.

— Ну и басни!— сказал он.— Этот каналья Тебальдо наслушался рассказней в наших краях и сочинил всю эту сказку, чтобы выманить у вас деньги.

— Он говорит, что ноги его не было в Швеции до вчерашнего дня и приехал он напрямиком из Голландии, через Дронтгейм.

— Возможно. Да не все ли равно? Должно быть, он что-то случайно узнал от окрестных жителей; про вас тут сочиняют столько небылиц! А может быть, где-то, путешествуя, повстречал старика Манассе, который тоже в свое время наслушался здесь всяких сказок.

— Ну, что же мне делать?

— Надо припугнуть этого итальянского синьора,

отбить у него охоту тянуть с вас деньги и посулить ему...

— Сколько?

— Два или три часа в нашем розариуме.

— Он не поверит! Ему, наверно, уже успели рассказать, что в Швеции в пору царствования старика епископа все это покрылось ржавчиной.

— Неужто вы думаете, что капитан большой башни не сумеет и без помощи этой железной рухляди развязать язык человеку из плоти и крови?

— Ты, стало быть, советуешь...

— Осыпать его розами, пока он не признает, что соврал, или не скажет, где прячет доказательства.

— Невозможно! Он поднимет крик, а в замке полным-полно народу.

— А охота? Придется вам, хоть через силу, поехать, и тогда все последуют вашему примеру.

— Все равно кто-нибудь да останется, хотя бы лакеи моих гостей. А старухи? Они скажут, что я беру на себя слишком много и посягаю на права государственной власти.

— Подумаешь! Плевать вам на эти разговоры! Впрочем, я могу все это уладить: я скажу, что какой-то бедняга сломал ногу и лекарь сращивает ему кость.

— И отыщешь незнакомца?

— Разумеется. Кто же еще?

— Вот бы мне присутствовать при этом.

— Вы же знаете, что у вас слишком чувствительное сердце, вы не выносите вида чужих страданий.

— Да, это плохо отзывается на моем желудке и пищеварении... Хорошо, я и впрямь отправлюсь на охоту.

— Тогда постарайтесь пока что уснуть. Я все беру на себя.

— И отыщешь незнакомца?

— Должно быть, он заодно с Тебальдо. Мы его найдем, когда тот заговорит.

— Тем более, что Тебальдо предлагал отдать мне в руки того, кто... Но это, может быть, два разных человека!

— Я уж все у него выведаю, можете спать спокойно.

— Надеюсь, итальянца не кормят?

— Еще чего!

— Ладно, ступай! Попытаюсь немного поспать... Ты меня успокоил, Юхан... Тебе всегда что-нибудь да придет в голову, а я совсем стал плох на этот счет... Ах, боже мой, как же быстро я состарился!

Юхан вышел, приказав Якобу разбудить барона в восемь часов. Якоб был камердинером и всегда проводил ночь в чуланчике, примыкавшем к спальне барона. Это был честнейший малый, и барон разыгрывал перед ним роль доброго хозяина, отлично зная, что весьма полезно быть окруженным порядочными людьми, хотя бы для того, чтобы спокойно спать под их охраной.

А Христиан, который всегда прекрасно спал, где и с кем бы ему ни довелось ночевать, проснулся после шестичасового сна и тихо подошел к окну, чтобы взглянуть на небо. Еще не светало, и молодой человек улегся было опять в постель, но, вспомнив о предстоящей охоте, решил, что участники ее, должно быть, уже собираются в новом замке.

Охота занимала Христиана лишь с естественнонаучной точки зрения. Он был отличным стрелком, но никогда не стремился убивать дичь, чтобы убить время и похвалиться меткостью; однако охота на медведя привлекала его новизной и живописным своеобразием, а также пробуждала в нем интерес любознательного зоолога. Он почувствовал внезапно, что уже не уснет, и принял твердое решение полюбоваться на это зрелище, даже если придется уйти до конца, чтобы готовиться к представлению вместе с господином Гёфле.

Перед сном он заговорил с юристом о своем участии в охоте и не встретил его одобрения; сам Гёфле отнюдь не собирался присоединяться к охотникам, и поэтому Христиан предвидел, что «дядя» будет его отговаривать, и чувствовал, что по доброте сердечной уступит настояниям адвоката.

«Эх, да что там! — подумал он. — Лучше потихоньку улизнуть и оставить записочку, чтобы он не тревожился... Он будет, пожалуй, несколько раздосадован, да и завтракать в одиночку, конечно, скучно; с другой стороны, он собирался еще поработать и побеседовать с господином Стенсоном; а я, быть может, вернусь так скоро, что он не успеет и соскучиться».

Христиан потихоньку выбрался из караульни,

оделся в медвежьей комнате, натянул маску, надвинул шляпу, по привычке и осторожности ради, и вышел через горд, где еще царили мрак и безмолвие. Потом, миновав плодовый сад, иссушенный морозом, он спустился к озеру и, видя, что гораздо быстрее достигнет противоположного берега, если пойдет напрямик, а не по тропке, проложенной на северной стороне, пересек озеро по льду, а затем берегом направился к новому замку.

В этот же миг Юхан вышел на лед с противоположной стороны, чтобы понаблюдать за Стольборгом, не догадываясь, куда улетела отслеживаемая им дичь.

XII

Христиан не рассчитывал, что застанет майора в новом замке. Он знал, что молодой человек постоянно проводит ночь или утро, следующие за праздниками в замке, в своем бустёлле, расположенном неподалеку. Но так как Христиан не спросил заранее у майора, где находится этот сельский домик, он и не стал тратить время на его поиски. У него было другое намерение, понаблюдать издали за приготовлениями к охоте, а затем смешаться с толпой крестьян, идущих облавой на медведя.

Рассвет застал его на тропинке, которая вилась по берегу озера, и Христиан сразу заметил человека, идущего ему навстречу. Он поспешно опустил маску на лицо и тотчас же поднял ее опять, узнав лейтенанта Осборна.

— Клянусь честью, я рад вас видеть здесь!— сказал лейтенант, пожимая ему руку.— Я как раз собирался зайти за вами, и наша встреча поможет нам выиграть по крайней мере полчаса. Но поспешим: майор ждет вас.

Эрвин Осборн повернул вспять и пошел впереди Христиана, указывая ему дорогу; пройдя несколько шагов, он свернул налево и стал подниматься в гору. Христиан последовал за ним по довольно крутому склону и вскоре увидел внизу, в небольшом овраге остановившиеся сани и майора, радостно бегущего ему навстречу.

— Bravo!— крикнул майор.— Вы необычайно до-

гадливы и точны! Откуда, черт возьми, вы знали, где нас найти?

— Совсем не знал,— ответил Христиан.— Я просто шел в новый замок, на всякий случай.

— Что ж, случай помогает нам с самого утра; значит, охота будет удачной. Эге! По одежде-то вас никто сегодня не узнает, как и вчера; но у вас нет ни обуви, ни оружия, необходимых в здешних условиях. К счастью, я это предвидел и позаботился обо всем, что вам нужно. Пока что возьмите-ка вот эту шубу, и — в путь! Ехать предстоит далеко, и нам еле хватит дня для всех наших дел.

Христиан уселся вместе с Ларсоном в двухместные сани, очень маленькие и легкие, запряженные одной горной лошадкой. Лейтенант вместе с капра-лом Дуфом, славным стариком и весьма искусным охотником, сел во вторые такие же сани. Майор первым тронулся в путь, лошади бежали легкой рысцой.

— Надобно вам сказать,— обратился майор к Христиану,— что мы намерены поохотиться на свой лад. Разумеется, на землях барона нет недостатка ни в звере, ни в метких стрелках, да и сам он весьма умелый и отважный охотник; но нынче по его приглашению в облаве примет участие немалое число гостей, которые в этом ничего не смыслят и у которых куда больше форсу, чем ловкости, а посему можно опасаться, что будет много шума и мало толку. К тому же облава с помощью крестьян не представляет интереса; вы сами в этом убедитесь, когда мы, после того как закончим свое дело, вернемся обратно вон теми горами. Это, право же, не охота, а подлое убийство: окружают со всех сторон беднягу медведя, которому страх как не хочется вылезать из берлоги; запугивают его, дразнят, а когда наконец он выйдет оттуда, чтобы защищаться или, напротив, пуститься наутек, в него стреляют без малейшей опасности для себя, прячась за сеткой, натянутой на тот случай, если он разъярится и бросится на охотников. Помимо того, что охота такого рода вовсе лишена остроты и неожиданности, часто бывает, что все идет протом оттого, что кто-то чересчур поспешит или промахнется, и зверь улизнет, оставив всех с носом. Мы же будем действовать иначе, без загонщиков, без суматохи, без собак. Когда подойдет

время, я вас научу, что надо делать. Поверьте мне, истинная охота сходна со всеми истинными удовольствиями: она не терпит толпы. Это тонкое развлечение, и делить его надо только с друзьями или же с самыми избранными лицами.

— В таком случае,— ответил Христиан,— я вам вдвойне благодарен за приглашение присоединиться к столь тесному кругу; но объясните мне — неужели вам позволено охотиться на землях барона, прежде чем он сам выйдет на охоту? Мне думалось, что он должен ревниво блюсти свои права охотника и землевладельца.

— А мы вовсе не намерены стрелять его дичь. Владения барона весьма обширны, но, слава богу, не весь здешний край ему подвластен! Видите вон те исполинские вершины? Это норвежская граница. Вот здесь-то, на первых подступах к этой громаде, лежит горная цепь, носящая название Блокдаля; там издавна поселилось несколько крестьянских семейств, обрета вольную жизнь на собственной земле в сердце безлюдных величавых гор, окутанных порой клубящимися облаками, ибо далеко не всегда вершины их видны столь ясно и четко, как сегодня. Вот у одного-то из *даннеманов* (так зовутся эти крестьяне) я с друзьями и откупил медведя, берлогу которого он отыскал. Живет сей даннеман, человек поистине примечательный своим охотничьим опытом, в живописнейшей местности, почти недоступной для экипажа; но с помощью божьей наши горные лошадки одолеют все трудности пути. Там мы и позавтракаем, после чего сам даннеман проводит нас к его светлости медведю, а тот, не будучи поначалу затравлен крикливыми и безмозглыми загонщиками, спокойно дожидается нас и примет... как ему вздумается. Но смотрите, Христиан, смотрите, какое великолепное зрелище! Случалось ли вам уже наблюдать такое явление природы?

— Никогда!— воскликнул Христиан вне себя от восторга.— И я счастлив, что мне довелось увидеть его вместе с вами. Я только по рассказам знал об этом необычайном явлении парегелия.

Действительно, на горизонте возшло разом пять солнц. Сияющий лик настоящего, могучего светила окружали справа, слева, сверху и снизу четыре его

подобия, менее яркие, более расплывчатые, но зато излучавшие радужный ореол неописуемой красоты. Поэтому друзья, прежде чем отвернуться и продолжить путь, помедлили несколько мгновений, любуясь удивительным оптическим явлением, весьма сходным по природе своей с радугой, но встречающимся только на севере Европы.

Дорога поначалу была укатанной, потом превратилась в узкую, неровную колею, а там — в едва протоптанную тропку, и, наконец, сани помчались вовсе без дороги, ныряя в снежные ухабы и находя путь по каким-то редким, едва различимым следам. Но вот Ларсон, умелый возница, отлично знавший местность, пустил свою лошадь по скалистому отвесному склону, то касаясь полозьями края пропасти, то скачиваясь на всем скаку в почти отвесные овраги, то перелетая через ров, то проносясь над упавшими деревьями и рухнувшими скалами, словно пренебрегая бесчисленными препятствиями, которые, казалось, ежеминутно грозили разнести в щепки хрупкие сани. Христиан не знал, что вызывает в нем большее восхищение — отвага майора или ловкость и смелость поджарой лошаденки, которой была предоставлена полная свобода, ибо поразительный инстинкт ее можно было уподобить второму зрению. Тем не менее сани дважды опрокинулись, но не по вине лошади, а оттого, что полозья не всегда успевали за ее бегом, хотя и были отлично приспособлены для этой цели. Подобные случайности могут, разумеется, иметь тяжкие последствия; но они повторяются столь часто, что на них почти что не обращают внимания. Сани лейтенанта, шедшие следом, тоже опрокинулись два или три раза, хотя пример майора, пролагавшего путь, должен был, казалось, предостеречь возницу.

Седоки падали в снег, отряхивались, поднимали сани и мчались дальше, столь же мало раздумывая об этом приключении, как если бы попросту сошли с саней, чтобы дать лошади передохнуть. В других краях происшествие такого рода вызвало бы смех или испуг; здесь же оно входит в число событий знакомых и неизбежных.

Христиану эта отчаянная езда доставляла неизъяснимое блаженство.

— Не могу выразить словами, как я счастлив

сегодня!— говорил он добряку майору, опекавшему его поистине с братской сердечностью.

— Слава богу, дорогой Христиан! Ведь прошлой ночью вы были настроены мрачно.

— В этом повинны были темнота, снежный покров озера у нас под ногами, грязный и истоптанный после гонок, похожий на застывший свинец; факелы, пылавшие над хогаром, мрачные, как светильники, озаряющие гробовой покров; варварское изваяние Одина, вскинувшего бесформенную руку с грозным молотом, словно он посылал проклятие нашему миру и всей этой равнодушной толпе. Это было живописное, но страшное зрелище, а я обладаю живым воображением, и к тому же...

— И к тому же, признайтесь,— подхватил майор,— у вас была еще причина для грусти.

— Быть может; какая-то греза, безумное мечтанье, рассеявшееся с первыми лучами солнца. Да, майор, солнце столь же благотельно влияет на дух человека, как и на тело. Оно в самом деле озаряет нашу душу. Ведь каким бы дивным, сказочным ни казалось ваше северное солнце, это все то же доброе солнце Италии и ласковое солнце Франции. Здесь оно не так сильно греет, но зато, на мой взгляд, в этом серебряном, хрустальном краю оно светит ярче, чем где бы то ни было. Все, даже воздух, служит ему зеркалом среди этих непорочных снегов. Благословим же солнце, майор! А я благословляю и вас — за то, что вы пригласили меня на эту живительную прогулку, которая несет мне и вдохновение и силы! Да, да, вот в чем жизнь моя! Движение, воздух, жар, холод, свет! Бескрайний простор впереди, конь, сани, корабль — нет, с меня достаточно еще меньшего: ноги, крылья, свобода!

— Вы странный человек, Христиан! Я, со своей стороны, предпочел бы всему любимую женщину.

— Что ж,— ответил Христиан,— я тоже, черт возьми! Не такой уж я странный человек; но надо либо иметь возможность прокормить семью, либо остаться холостяком. Что прикажете делать, если нет ни гроша за душой? Но не имея права мечтать о счастье, нахожу хотя бы утешение в способности забывать обо всем, чего я лишен, и с нетерпением ожидаю доступных мне радостей. Поэтому не говорите со мной о семейном счастье и домашнем очаге.

Позвольте мне предаваться мечтам о вольном ветре, что гонит меня к неведомым берегам... Да, дорогой друг, мне слишком известно, что человек создан для любви! Я это чувствую сейчас, встретив вашу братскую дружбу, но завтра мы с вами расстанемся навеки; и коль скоро судьба моя такова, что мне не знать семейных уз, и нет у меня ни родины, ни близких, ни состояния, вся тайна мужества моего кроется в приобретенном умении ловить на лету случайную радость, забывая о том, что завтрашний день унесет ее прочь, как прекрасный сон! Как видите, я немало передумал после того пунша, в пещере на хогаре.

— Бедняга! Да вы, должно быть, влюблены, раз вам не спалось.

— Влюблен я или нет, спал-то я как младенец. Но мысль работает быстро, когда не можешь терять время попусту. Пока я одевался и шел к вам из Стольборга, мне открылась простая и ясная истина: я совершил ошибку, возомнив, будто разрешил вопрос о бродячей профессии. Я рассуждал как баловень цивилизации. Я взял себе на долю радости сибарита... Вы сейчас поймете, что я хочу сказать...

И тут Христиан, не вдаваясь в подробности, рассказал майору в нескольких словах о стремлениях, требованиях, неудачах и успехах своей духовной и нравственной жизни, пытаясь объяснить ему, как случилось, что он стал актером, чтобы не отказаться от служения науке, а затем добавил:

— А на самом-то деле, дорогой мой Осмунд, чтобы быть актером, надобно быть только актером и с этой целью принести в жертву и путешествия, и занятия науками, и свободу. Я же вовсе не намерен идти на подобные жертвы; почему же мне не отказаться от искусства и не заняться просто-напросто каким-нибудь ремеслом, доступным любому здоровому человеку в определенную пору его жизни? Я хочу изучать недра земли: разве не могу я работать рудокопом, проводя по месяцу то на одном, то на другом руднике? Я хочу изучать ботанику и зоологию: разве нельзя мне наняться куда-нибудь в охотники или лесорубы на один сезон, а там двинуться дальше и жить в бедности, за счет труда собственных рук и ног, ради приобретения знаний, вместо того чтобы ломать голову над шутовскими выдумками ради хорошей еды и изящного платья? Разве не

хватит у меня сил, чтобы трудиться физически, предоставив уму полную свободу для скромной, но плодотворной деятельности? Я часто размышлял над жизнью вашего великого Линнея, в которой как бы отразилась жизнь большинства ученых нашего времени. Все они голодали, и могло случиться, что по вине тяжелой нужды способности их заглохли бы, а труды остались бы незавершенными и неизвестными. Я представляю себе, как все они в юности скитались, подобно мне, в тревоге о завтрашнем дне, и только случай, в лице умного покровителя, бросал им подчас якорь спасения. Да и то нередко доводилось им, приняв эту горькую милостыню, прерывать свои занятия, дабы нести унижительную службу, навязанную под видом благодеяния, которая отнимала у них драгоценное время, препятствовала работе, задерживала открытия! Что же мешало им поступать так, как хочу и собираюсь поступить я? Вскинуть на плечо молот или кирку и пойти дробить скалы или копать землю? Какая мне надобность сейчас в книгах и чернилах? Зачем мне спешить поведать ученому миру о своем существовании, когда я еще не могу сообщить ему ничего нового и ценного? Сейчас у меня есть ровно столько знаний, сколько нужно, чтобы начать учиться, то есть наблюдать и изучать природу на ней самой. Разве мало было вырвано великих тайн у природы руками нищих, безграмотных тружеников, в которых, подобно искре божьей, теплился дух исследователя? Ужели вы полагаете, майор Ларсон, что человек, одержимый, подобно мне, страстью к науке, утратит дар наблюдения оттого, что ему придется есть черный хлеб и спать на соломе? Разве он не сможет, ознакомившись со структурой этих скал или составом почв, подать плодотворную мысль об использовании... да вот хотя бы этих окружающих нас глыб порфира или невспаханных земель, мимо которых мы едем? Я уверен, что повсюду кроются бесчисленные источники богатств и человек мало-помалу будет открывать их. Приносить пользу всему человечеству — славный идеал труженика, дорогой Осмунд, развлекать богача — жалкий удел художника, и я с радостью отвергаю его.

— Как?!— удивленно спросил майор.— Неужели вы, Христиан, всерьез решили отказаться от изящных искусств, в которых вы так преуспели, от радостей

жизни, доступных вам благодаря достоинствам ума вашего, от удовольствий высшего света, который предоставит к вашим услугам все выгоды и преимущества, если вы согласитесь внести свою лепту в увеселения двора? Да стоит вам пожелать, вы тотчас же приобретете могущественных друзей и вмиг окажетесь во главе какого-нибудь театра или музея. Если хотите... семья моя достаточно родовита, у нас есть связи...

— Нет, нет, майор, благодарствуйте! Вчера утром предложения ваше пришлось бы мне по вкусу; вчера я был еще школьником, который сбежал с уроков и не знает, куда ему пойти; и я, наверно, согласился бы. Но на бале мне припомнились былые заблуждения, соблазны света, слишком знакомые по минувшим годам. Сегодня я взрослый человек и ясно вижу свой путь. Не знаю, что за свет проник мне в душу вместе с лучами утреннего солнца...

Христиан глубоко задумался. Он пытался постичь, какая связь мыслей привела его к такому простому и решительному выводу; но как ни искал он, как ни пытался объяснить все, что с ним случилось, воздействием крепкого сна и прекрасного утра — невольно в памяти его то и дело возникал образ Маргариты, закрывшей лицо руками при имени Христиана Вальдо. Сдавленный взглас, вырвавшийся прямо из сердца девушки, нанес удар гордости Кристиано Гоффреди и звучал не умолкая, наполняя душу его благородным чувством стыда и внезапно нахлынувшим нестигаемым мужеством.

— А скажите на милость,— отвечал он майору, напомнившему ему о тяготах и однообразии физического труда,— где это сказано, что я должен веселиться, отдыхать и оберегать себя от любой несчастной случайности? При рождении мне не было предоставлено судьбой никаких особых привилегий, на кого же мне пенять, если у меня неостанет смелости и здравого смысла самому завоевать себе достойное положение в обществе? На тех, кому я обязан жизнью? Будь они здесь, они могли бы возразить, что наделили меня крепким сложением и здоровьем вовсе не для того, чтобы я стал неженкой и лентяем, а если я не могу обойтись без мягких ковров и изысканных лакомств для поддержания сил и

хорошего настроения, они-то уж никак не могут быть в ответе за такую смешную и нелепую прихоть.

— Вы шутите, Христиан,— сказал майор,— но, по правде говоря, стоит ли жить, не имея всех этих излишних удобств? Разве цель человека не в том, чтобы вить свое гнездо по примеру птицы, с не меньшим старанием и осмотрительностью?

— Да, майор, такова цель вашей жизни, ибо для вас будущее тесно связано с прошлым; но знаете, что толкнуло меня, человека без прошлого, стать «выдумщиком», как говорит господин Гёфле? Я сам этого не сознавал, но теперь не сомневаюсь: то был страх перед тем, что зовут нуждою. А страх этот у человека одинокого просто-напросто признак трусости, и его иначе не выразишь, как потоком жалоб, которые производят самое забавное впечатление в устах такого крепкого и здорового малого, как я. Представьте себе монолог марионетки. Говорит наш друг Стентарелло со всей своей непосредственностью: «Увы! Трижды увы! Итак, мне более не суждено спать на простынях тончайшего полотна! Увы! Мне уже не доведется, изнемогая в Италии от зноя, наслаждаться ванильным мороженым! Увы! В Швеции, страдая от холода, я уже не смогу подлить себе в чай глоток отличного рома! Увы! Не танцевать мне больше в атласном кафтане цвета лаванды, не отгегиять белизну руки моей кружевным манжетом! Увы! Где пудра для волос, благоухающая фиалкой, где помада, надушенная туберозой? О звезды, взгляните на мою горестную участь! Моя изящная, бесценная, любезная всем особа лишится отныне комплота в тарелке саксонского фарфора, муаровой ленты в кошечке парика, золотых пряжек на башмаках! О слепая судьба, о проклятое общество! Разве я не имею права требовать все-это от вас, точно так же как Христиан Вальдо, который так ловко водит марионеток и так складно говорит за них!»

Веселая выходка Христиана рассмешила майора.

— Вы все же большой чудак,— сказал он.— Порой мне кажется, что вы говорите парадоксами, а порой я спрашиваю себя, уж не мудрец ли вы, подобный Диогену, разбившему чашу, дабы напиться прямо из родника.

— Диоген!— воскликнул Христиан.— Благодарю покорно! Этот циник всегда казался мне безумцем,

преисполненным чванства. Во всяком случае, если он и впрямь был философом и хотел доказать своим современникам, что можно быть счастливым и свободным без всяких жизненных удобств, он позабыл, в чем основа этого принципа: в том, что нельзя быть свободным и счастливым без полезного труда, а истина сия действительна на все времена. Если ты довольствуешься самым необходимым для того, чтобы посвятить время и силы выполнению благородной задачи, это вовсе не значит, что ты чем-то жертвуешь, напротив, ты этим добиваешься самоуважения и душевного покоя; без этой цели стоицизм превращается в глупость, и мне кажутся куда более разумными и приятными люди, которые откровенно признают, что умеют только ублажать себя и ничего более.

Беседуя таким образом, охотники увидели вдали сельское жилище, куда они держали путь. Оно так тесно лепилось к горному склону, что его нельзя было бы отличить от скал, если бы не дым, который вился над ним.

— Вы сейчас познакомитесь с очень славным человеком,— сказал майор Христиану,— с образцом далекарлийской гордости и простодушия. Правда, в доме есть еще довольно неприятное существо, но авось мы его не застанем.

— Очень жаль!— ответил Христиан.— Любопытство влечет меня ко всему и ко всем в этой удивительной стране. Что же это за существо?

Сестра даннемана — старая дева, иднотка или помешанная; когда-то она слыла красавицей, и о ней ходили всевозможные престранные толки. Говорили, что она родила ребенка от барона Олауса, а баронесса, супруга его (та самая, что у него в кольце), похитила и погубила младенца в приступе запоздалой ревности. Это якобы и послужило причиной безумия бедной девушки. Однако я не ручаюсь за достоверность всех этих рассказов, и меня мало интересует девица, уступившая чарам Снеговика. Иной раз она очень докучает нас своими песнями и изречениями, а бывает и так, что ее не видать и не слышать. Надеюсь, что так случится и сегодня! Вот мы и приехали. Входите поскорее в дом и грейтесь, пока капрал с лейтенантом будут выгружать наши припасы.

Даннеман Ю Бетсой встретил их на пороге дома. Это был красивый человек лет сорока пяти, с суро-

выми чертами лица, но ясным и приветливым взглядом. Одет он был очень чисто. Неторопливо подойдя к друзьям, он с большим достоинством протянул им руку, не снимая шапки.

— Добро пожаловать! Твои друзья — мои друзья, — сказал он майору (обращаясь к нему на ты, ибо далекарлиец говорит «ты» даже королю) и пожал руку Христиану, Осборну и капралу.

— Я ждал вас, но не рассчитывайте, что стол мой ломится от изобилия. Ты ведь знаешь, майор Ларсон, как беден наш край; однако всем, что есть у меня, я поделюсь с тобой и твоими друзьями.

— Ни о чем не хлопочи, даннеман Бетсой, — ответил майор. — Если бы я приехал один, я бы попросил у тебя каши и пива; но я привез с собой трех друзей, а потому запасаюсь всем необходимым, чтобы не затруднять тебя.

Между офицером и крестьянином завязался спор на далекарлийском наречии, непонятный для Христиана, но лейтенант разъяснил ему, в чем дело, разгружая содержимое корзины.

— Как положено, — сказал он, — мы привезли все необходимое, чтобы состряпать в этой хижине сносный завтрак; но этот славный крестьянин тоже немало потрудился, хоть и приносит извинения, что не может предложить нам ничего хорошего, и по его вытянутому лицу сразу видно, что наша предусмотрительность кажется ему обидной, будто мы усомнились в его гостеприимстве.

— В таком случае, — сказал Христиан, — не стоит огорчать его; сохраним свои припасы нетронутыми и съедим то, что он для нас приготовил. Живет он, видимо, в чистоте; к тому же дочери его, некрасивые, но весьма нарядные, уже накрывают на стол.

— Можно договориться таким образом, — предложил лейтенант, — соберем все угощение воедино и пригласим семейство даннемана отведать нашего, а мы, со своей стороны, отведаем их домашней стряпни; я сейчас поговорю с даннеманом... если, конечно, майору это покажется приемлемым.

Лейтенант никогда не принимал решения без этой оговорки.

Предложение, одобренное майором, было принято даннеманом без особого удовольствия.

— Стало быть, — проговорил он, хмуро улыба-

ясь,— это будет как на свадебном пире, куда каждый приносит изготовленное им блюдо?

Тем не менее он дал свое согласие; но несмотря на осторожные намеки Христиана не могло быть и речи о том, чтобы женщины уселись за тот же стол. Это значило бы пойти наперекор древнему обычаю, и молодые офицеры боялись оказаться в смешном положении, предложив даннеману такое нарушение правил, несовместимое с достоинством главы семейства.

Пока одни разгружали поклажу, а другие вели беседу, Христиан осматривал дом снаружи и изнутри. Постройка была уже знакома ему по горду в Стольборге: еловые бревна, проконопаченные мхом; стены, с наружной стороны окрашенные суриком в красный цвет; на берестяной кровле, засыпанной землей, проросла трава. Снег, обильно выпадающий в этой горной местности, мог бы своей тяжестью продавить крышу, поэтому его тщательно смели оттуда, и коза даннемана, животное, чуть ли не на треть более крупное, чем то, которые водятся в наших широтах, жалобно блеяла при виде обнажившейся свежей травки.

В помещении было так жарко, что все тотчас сбросили шубы, шапки и даже кафтаны. Домик даннемана, куда более удобный и просторный, нежели другие дома в поселке, все же был весьма невелик; однако выстроен он был не без изящества, а наружная галерея, над которой выступающий скат крыши образовал как бы навес, придавала ему сходство с уютными и живописными швейцарскими хижинами. Тесные сени, предохранявшие от вторжения морозного воздуха, вели в единственную комнату, где и жила вся семья, состоявшая из пяти человек — вдового даннемана, его сестры, пятнадцатилетнего сына и двух дочерей, постарше возрастом. Цилиндрической формы печь, высотой в четыре фута с приложенной к ней трубой, была сложена из голландских кирпичей и стояла посередине. Утопанный земляной пол устилала вместо ковра еловые ветви, распространяя приятный и здоровый аромат.

Христиан задался вопросом, где спит вся семья, ибо видел только две лежанки, вделанные в стену, наподобие корабельных коек. Ему объяснили, что они принадлежат даннеману и его сестре; дети же спят

на лавках, и постелью им служат звериные шкуры.

— Впрочем,— сказал майор Христиану, который расспрашивал обо всем с жадным любопытством,— вы встретите здесь, наряду с суровостью жизненного уклада, свойственного чистокровным горцам, известную роскошь, связанную с ремеслом хозяина дома и обилием пушного зверя в этих диких краях. Я уже говорил вам, что даннеман Бетсой весьма опытный и ловкий охотник; но следует добавить, что он не только знает, как выследить и убить зверя, не попортив драгоценной шкуры, но еще умеет мастерски выделывать и сохранить ее. Поэтому мы всегда обращаемся к нему, когда хотим приобрести добротную, красивую вещь за умеренную цену: простыню из кожи оленят, на которой удивительно прохладно и приятно спится в летнее время, да к тому же и стирать ее можно, как полотняную; длинношерстный мех черного медведя для санной полости; плащ из тюленьей шкуры, непроницаемой для дождя, снега и бесконечных осенних туманов, которые пробирают до костей и особенно опасны для здоровья; наконец, всевозможные ценные меха, подчас весьма редкостные, ибо этот Ю Бетсой исколесил весь север и до сих пор поддерживает сношения с многочисленными охотниками, а те переправляют ему товар через кочевников-лопарей и норвежских купцов, которые гонят по северным снегам караваны оленей вместо верблюдов и чаще всего выменивают одни товары на другие, по примеру древних, а не продают их за деньги.

Христиан полюбопытствовал, нельзя ли взглянуть на эти меха. Даннеман подумал, что он хочет купить какой-нибудь из них, и, приведя Христиана вместе с майором в небольшой сарай, где висели шкуры, обратился к Ларсону с просьбой показать другу все эти богатства, не желая даже заводить разговор о цене, пока тот сам ее не предложит.

— Ты ведь разбираешься в мехах не хуже моего,— сказал он майору,— и в моем доме ты хозяин.

Христиан, которому Осмунд перевел эти слова, был приятно удивлен речами даннемана и спросил, неужели тот оказывает такое доверие всякому, кто пользуется его гостеприимством.

— Люди здесь очень доверчивы, ибо среди них еще царят патриархальные нравы,— ответил майор.— Далекарлиец, житель этой северной Швейцарии, от-

личается множеством ценных качеств, порожденных здешней суровой природой; но страна его бедна. Разработка недр привлекла сюда множество бродяг, и в подземном мире нередко скрываются преступники, бежавшие от закона, осудившего их в других краях на тяжкую кару. Крестьянин, если у него нет земли или работы на рудниках, бедствует до такой степени, что бывает часто вынужден просить подаяния или воровать. И тем не менее число злоумышленников здесь крайне невелико, если учесть, сколь много людей терпит жестокую нужду, без надежды на помощь привилегированных сословий. Стало быть, богатый крестьянин никак не может доверять первому встречному, как не доверяет он и дворянину, отдающему свой голос в риксдаге за те законы, которые выгодны только ему самому; но военный, в особенности офицер *индельты*, — друг крестьянина. Мы представляем собой самую независимую часть общества, ибо закон обеспечивает нам безбедную жизнь и всеобщее уважение, какие бы скрытые течения этому ни противодействовали. Известно, что мы верой и правдой служим королю в том случае, если он защищает народ от злоупотреблений дворянства. Такова у нас первая обязанность королевской власти, и народ, поддерживая ее, знает что делает. Дайте срок, Христиан: наступит время, когда риксдаг и сенат вынуждены будут считаться с горожанином и землепашцем! Наш король еще не отважился на такой шаг. Королева Ульрика охотно сделала бы его, если бы муж ее был хоть немного энергичней. Но сможет ли сестра Фридриха Великого остановиться на полпути, если ей удастся обуздать честолюбие и спесь *ярлов*? Сомневаюсь... Она будет пещься об одном — о дальнейшем усилении королевской власти, не допуская и мысли о развитии гражданских свобод. Следовательно, вся наша надежда на Генриха, наследного принца. Вот это человек действия и подлинной силы духа! Да, да, придет время... Но простите! Я совсем позабыл, что вы хотите полюбоваться на меха, а политика наша вас совсем не занимает. Однако поверьте, что наследный принц...

— Да, да, наследный принц, — повторил лейтенант, входя в сарай следом за майором и Христианом. Затем он погрузился в задумчивость, стараясь хорошенько запомнить умные речи своего друга, дабы

составить определенное мнение о положении в стране, которое, впрочем, ничуть бы его не тревожило, повинуйся он только философии равнодушия, свойственной его нраву; но коль скоро у майора были какие-то убеждения, лейтенант должен был тотчас же последовать его примеру, а разве помыслы его могли быть иными, чем у друга? Такие умозаключения привели его к безграничной вере в наследного принца и надежде на величие его духа. Заблуждался ли он вместе с Ларсоном? Генрих (будущий Густав III) обладал множеством достоинств, привлекавших сердца: он был широко образован, красноречив, отважен и в начале царствования своего почитал истину и жаждал творить добро. Но ему было суждено, как Карлу XII и многим другим, пожертвовать благом общества ради обуревавших его страстей. Он, спасший Швецию от власти олигархии, погубил ее впоследствии бесшабашным расточительством и низменными политическими расчетами, приведшими его к роковым заблуждениям. И все же он был поистине велик в ту пору, когда сумел, не пролив ни капли крови, освободить народ от тирании привилегированной касты, чьи бесчинства вконец нарушили равновесие жизни общества.

Христиан охотно разделял иллюзии и надежды майора на основании того немногого, что узнал о положении в стране и характере наследника престола; однако в настоящий момент он был полностью поглощен если не покупкой мехов, о чем не мог и помышлять, то созерцанием звериных шкур, собранных даннеманом в этом небольшом помещении. Для него это был наглядный урок естественной истории, повествующий о разных видах животного царства севера, а Ларсон, опытный охотник, объяснял ему, в каких именно местностях северной Европы водятся тот или иной пушной зверь.

— Коль скоро мы собираемся охотиться на медведя, — сказал он в заключение, — вам непременно надлежит знать, с какой именно разновидностью мы будем иметь дело. По словам даннемана Бетсоя, этот медведь — метис; однако еще не доказано, что различные породы медведей способны скрещиваться и приносить потомство. В Норвегии насчитывают три вида медведей: *bress-diur* ест траву и листья и не прочь полакомиться молоком и медом; *ildgiers diur*

питается мясом, а пугеbiогп — муравьями. Что касается четвертой, еще более обособленной ветви этого семейства — белого медведя, жителя полярных морей, — нам о нем вовсе ничего не известно.

— Тем не менее, — возразил Христиан, — вот две шкуры белого медведя, и сразу видно, что они занимают далеко не последнее место в коллекции даннемана. Неужто он охотился даже на Ледовитом океане?

— Вполне возможно, — ответил майор. — Как бы то ни было, он связан, как я уже говорил, с дальним севером, и ему часто случается проделывать двести миль на санях, в самую суровую зимнюю пору, чтобы обменяться товарами с охотниками, которые, в свою очередь, проходят для встречи с ним немалый путь на лыжах или в санях с оленьей упряжкой. Сегодня же он обещал показать нам помесь белого и черного медведей, но видел-то он его ночью, при обманчивом свете северного сияния, поэтому я не ручаюсь за достоверность его слов. Медведь — животное весьма недоверчивое по своей природе, и повадки его все еще мало изучены, даже в наших краях, где сотню лет тому назад медведи водились в изобилии, да и сейчас отнюдь не стали редкостью. Итак, никто не знает, что представляет собой этот светлый медведь — помесь или особую породу. Одни полагают, что черно-белая шкурка означает начало или конец сезонной смены цвета, поскольку зимой она якобы белая; другие утверждают, что белый медведь остается белым круглый год; но, собственно говоря, зачем я все это вам рассказываю, когда вы, должно быть, знаете куда больше моего? Ведь вы прочитали столько книг, знакомых мне только по названиям.

— Именно потому, что я прочел так много книг, я не сумею разрешить ваших сомнений. Бюффон не согласен с Вормзиусом как раз по вопросу о медведях, и вообще все ученые противоречат друг другу чуть ли не по всем вопросам, что не мешает каждому из них противоречить самому себе. Впрочем, это не их вина, большая часть законов природы еще представляет собой загадку для нас; а уж если повадки существ, живущих на поверхности земли, столь мало изучены или вовсе нам не знакомы, что же сказать о тайнах, сокрытых в недрах земли? Вот почему я и говорил вам, что всякий, как бы ничтожен он ни

был, способен совершать грандиозные открытия; но вернемся к нашим медведям, или, вернее, поспешим позавтракать, чтобы двинуться им навстречу. Единственный, на мой взгляд, недостаток шведов, дорогой друг, — это привычка слишком часто и слишком подолгу сидеть за столом. Когда день продолжается двадцать часов — куда ни шло! Но когда я вижу, как невелика окружность, которую нынче опишет солнце, перед тем как вновь скрыться за горизонтом, я не могу взять в толк, в котором же часу вы намерены охотиться.

— Терпение, дорогой Христиан! — ответил, смеясь, майор. — Охота на медведя — дело недолгое. Поединок мгновенно кончается удачей или неудачей: либо вы всадите две пули в голову противника, либо он вас обезоружит и повалит с ног одним ударом лапы. А вот и даннеман приглашает нас к завтраку! Идем!

Закуска, привезенная офицерами, была отменного качества. Но Христиан тотчас заметил, что девушки и сам даннеман глядят на всю эту снесь с горечью и обидой и, радушно предложив сначала гостям отведать своей простой пищи, теперь едва решаются смотреть на выставленные ими блюда. А заметив это, он приложил все усилия, чтобы все перепробовать и похвалить, что отнюдь не было пустой вежливостью, ибо копченый лосось и свежая дичь даннемана таяли во рту, оленье мясо было вкусным на диво, брюква — мягкой и сладкой, а варенье из ежевики — свежим и душистым. Меньше понравился ему напиток из кислого молока, поданный в оловянных кувшинах. Зато он отдал должное терпкому винцу из местных ягод, которые растут, подобно ежевике, на колючем кустарнике и могут быть приготовлены на тысячу ладов. Наконец, он выразил неподдельное восхищение сладким блюдом — праздничным пирогом, нарочно испеченным для гостей, ибо семейный рождественский пирог даннемана должен был по обычаю, остаться нетронутым до самого крещения. Даннеман решительным жестом всадил нож в великолепное сооружение из пшеничной муки, снеся затейливые башенки и колоколенки, умело вылепленные руками дочерей. И только тогда этим рослым смуглым девицам, некрасивым, но статным, убравшим черные косы и нарядные белые кофты лентами

и украшениями в честь гостей, разрешено было наконец отведать пирога и смочить губы крепким пивом из отцовской кружки. К столу они не присели и перед тем, как пригубить пива, низко поклонились гостям и пожелали им счастья в наступающем году.

Нетерпение, которое Христиан, насытившись, всегда испытывал за столом, уступило место глубокой задумчивости. Спутники его, напротив, расшумелись, хотя не пили ни вина, ни водки, боясь опьянеть к началу охоты. Даннеман, сперва молчаливый и даже несколько высокомерный, теперь стал разговорчивее и, казалось, испытывал особую симпатию к своему чужеземному гостю; но он с трудом изъяснялся на своем родном шведском языке, хотя знаком был со всеми северными наречиями, умел говорить по-фински и даже научился русскому архангельскому говору. Христиан же, со свойственной ему любознательностью и способностью к языкам, уже начинал кое-что понимать по-далекарлийски, но все же ему с трудом и нередко только по жестам рассказчика удавалось следить за увлекательным повествованием об охотах и путешествиях, в то время как остальные сотрапезники с увлечением расспрашивали и слушали хозяина дома.

Устав от напряжения, с которым он вслушивался в речи даннемана, и от нестерпимой духоты в комнате, Христиан отошел от печи и стола. Он смотрел на величественный пейзаж, который простирался за окнами домика, стоявшего на краю глубокого гранитного ущелья, чьи темные склоны, исчерченные застывшими водными струями, отвесной стеной вздымались над ложем потока. Местами склон так круто обрывался к бездне, что снег не удерживался на лугах, открытых порывам ветра, и зеленый покров, чуть припорошенный инеем, сверкал на солнце, словно ковер, затканый светлыми изумрудами. Эти остатки нежной зелени, восторжествовавшей над морозом, оттенялись темной, почти черной хвоей исполинских сосен, тесным строем вставших над пропастью, подобно надгробным изваяниям, принаряженным бахромой ледяных сосуллек. Те же, что росли в глубине, спрятались в снежные сугробы чуть ли не до половины ствола, а ведь ствол этот нередко достигал ста шестидесяти футов. Ветви их согнулись под тяжестью налипшего на них снега и уперлись

концами в сугробы, застыв в неподвижности, словно арки готических соборов.

На горизонте скалистая гряда Себенберга вздымала к аметистовому небу розоватые вершины, покрытые вечными льдами. Было около одиннадцати часов утра; солнечные лучи уже дотянулись до синеватых глубин, которые были еще погружены в холодный и угрюмый мрак, когда Христиан их впервые увидел. С каждым мгновением у него на глазах они меняли цвет, отливая бесчисленными оттенками, подобно опалу.

Любой путешественник, наделенный художественным вкусом, непременно упомянет о великолепии заснеженных пейзажей в тех широтах, где они, словно красуясь напоказ, предстают человеческому взору. У нас никогда не увидишь столь ослепительно сверкающих снегов, и только изредка где-то среди скалистых уступов, в редкие дни, когда солнечные лучи еще не успели растопить снежный покров, мы получаем представление о многообразии красок и об игре прозрачных теней на бескрайних белых просторах. Чувство восторга охватило Христиана. Сопоставляя величественно-суровую красоту этого зрелища с приятностью теплого (даже чрезмерно теплого) жилища даннемана, он углубился в раздумье о жизни этого крестьянина и в воображении своем слился с ним воедино до такой степени, что ему почудилось, будто он сейчас находится в родных краях и в родной семье.

Кому не случалось под властью сильного впечатления погрузиться душой в непостижимую мечту, когда настоящий миг как бы раздвигается или отражается в мозгу, будто в зеркале? Тогда начинает казаться, что идешь по пройденному однажды пути, встречаешь людей, уже знакомых тебе по иному отрезку жизни, и заново повторяется в мельчайших подробностях какая-то сцена далекого прошлого. Под воздействием подобной галлюцинации памяти Христиан почувствовал, что когда-то отлично понимал этот далекарлийский язык, чуждый ему теперь, и, рассеянно внимая спокойной и неторопливой речи даннемана, поймал себя на том, что легко улавливает значение слов и даже мысленно забегают вперед рассказчика. Внезапно он поднялся в каком-то полу-

забыты и, сжимая плечо майора, вскричал в чрезвычайном волнении:

— Я все понимаю! Это удивительно... но я все понимаю! Не правда ли, даннеман только что сказал, что у него было двенадцать коров, из которых три так одичали прошлым летом, что он не сумел их привести осенью домой? И что он считал их пропавшими, а одну пристрелил, чтобы она не убежала, как остальные?

— Да, он и впрямь это говорил,— ответил майор,— только случилось это не прошлым летом. Даннеман рассказывал о событиях двадцатилетней давности.

— Все равно!— перебил его Христиан.— Видите, я почти все понял. Как вы это объясните, Осмунд?

— Не знаю, но меня это удивляет меньше, чем вас; видимо, дело в вашей редкой способности изучать языки, исследовать их строй и находить аналогии между ними.

— Нет на этот раз это было не так; я словно заново вспомнил весь рассказ.

— Вполне возможно. Вы, должно быть, в детские годы изучили бездну всякой всячины, и кое-что смутно сохранилось в памяти. Ну-ка, прислушайтесь к беседе девушек: понимаете вы что-нибудь?

— Нет,— сказал Христиан,— ничего; нантие истинно, и я опять ничего не понимаю.

И он отвернулся к окну, чтобы еще раз постичь таинственное откровение, вслушиваясь в говор хозяев, но все было тщетно. Неясные грезы рассеялись, и, вопреки желанию Христиана, рассудок его вновь подчинился реальному ходу мыслей и впечатлений.

Тем не менее он вскоре вновь погрузился в размышления иного порядка. На этот раз воображению его предстало не фантастическое прошлое, а мечты о будущем, логически вытекающие из принятых им решений, которыми он час тому назад поделился с майором. Вот он, одетый, подобно даннеману, в долгополый кафтан-безрукавку поверх куртки с узкими, длинными рукавами, в желтых кожаных чулках, натянутых на другие, шерстяные, стриженный в скобку, сидит у раскаленной печи и рассказывает ваезшему гостю о своих приключениях на плавающих

льдах, в гибельной пучине Мальстрёма или на неведомых тропах Сюльфеллета.

Среди этих мирных и простых картин, представившихся ему как некая скупая награда за труды и скитания, он невольно искал образ подруги, разделяющей с ним на протяжении долгих лет тяготы и радости сельской жизни. Пристально вглядывался он в дочерей даннемана,— нет, не так они были хороши собой, чтобы его увлекла мысль стать супругом одной из этих мужеподобных, суровых девиц. Если нельзя обрести духовное единство с подругой жизни, лучше остаться холостяком. Призрак Маргариты то и дело появлялся в мечтах Христиана, вопреки его воле, в облике прелестной белокурой феи, сменившей привычный наряд на одежду девы гор и ещё более очаровательной в белой кофточке под зеленым корсажем, нежели в платье с фижмами и шелковых туфельках; но это фантастическое переодевание было всего лишь временным маскарадом: Маргарита попала в эту картину случайно, из другой рамки; она могла только мелькнуть с улыбкой в сельской хижине и умчаться в голубых санях, украшенных серебром, с сиденьем из лебяжьего пуха, где для Христиана никогда не найдется места.

«Исчезни же, Маргарита!— произнес он мысленно.— Что тебе надо здесь? Нас разделяет бездна, и ты для меня только видение, пляшущее в лунном свете. Жена, которую подарит мне судьба, будет творением грубой действительности... Впрочем, нет, не надо мне жены; я ведь буду лет двадцать подряд добывать руду, пахать землю или кочевать, торгуя мехами, подобно хозяину этого дома, раньше чем совою себе гнездо на вершине одного из этих утесов. Что ж, когда мне минет пятьдесят, я поселюсь в каком-нибудь уголке этих величественных гор, буду вести жизнь анахорета и возьму на воспитание какого-нибудь брошенного ребенка, который полюбит меня, как я полюбил Гоффреди. Почему бы и нет? И разве я не буду счастлив, если к тому времени мне удастся сделать какое-нибудь открытие, полезное для человечества?»

Так размышлял Христиан о том, что уготовано ему судьбой; но его мечты о счастье, при всей их скромности, рассыпались в прах, стоило ему подумать о предстоящем одиночестве.

«А почему, собственно, вот уже сутки, как меня преследует мысль о большой любви?—спрашивал он себя.—До сих пор я почти не задумывался о завтрашнем дне. Что ж, неужели я не могу справиться с моим пробудившимся сердцем и заглушить его крик с помощью той самой добротной философии, что так помогла мне в споре с Осмундом о жизненных благах? Если я научился не думать о себе или хотя бы обходиться достаточно сурово с собой, существом материальным, когда я строю планы новой жизни, неужели я не обуздаю воображение и не запрещу ему лелеять надежду на счастье? Полно, Христиан! Раз уж ты наметил свой будущий путь и ясно понял, что тебе не суждено быть счастливым,—смирись со своей долей и скажи себе: «Пора забыть о благоухании роз и без оглядки пуститься в путь по тернистой тропе!»

Христиан почувствовал, что сколько бы он ни напрягал свою волю, сердце его вот-вот разорвется от горя; слезы хлынули из его глаз, и он закрыл лицо руками, притворяясь, будто задремал.

— Что же вы, Христиан!—воскликнул майор, вставая из-за стола.—Нашли время спать! Вы же больше всех стремились на охоту! Ну-ка, еще посшок на дорожку, и двинемся в путь!

Христиан ответил: «Браво!» и встал. Глаза его были влажны, но улыбался он так светло, что никому и в голову не пришло бы, что он плакал.

— Следует решить,—сказал майор,—кому из нас выпадет честь первому схватиться с его мохнатым величеством.

— Разве не жребий решает?—спросил Христиан.— Я думал — таков обычай.

— Да, разумеется; но прошлым вечером вы так славно развлекали и занимали нас, что мы пытались придумать, чем бы вас отблагодарить, и вот что мы е лейтенантом решили, с согласия капрала — ведь он имеет такое же право голоса, как и мы. Жребий мы действительно будем тянуть, и тот, кто вытянет длинную соломинку, будет иметь счастье предложить ее вам.

— Неужели!—сказал Христиан.— Я вам очень признателен и благодарю вас от всего сердца, дорогие друзья; но, может статься, вы жертвуете ради меня удовольствием, которое я не в состоянии оце-

нить. Я ведь не собираюсь выдавать себя за рыняного и бывалого охотника. Меня влечет только любопытство...

— Вы чего-то опасаетесь?— перебил майор.— В таком случае...

— Чего же я могу опасаться,— возразил Христиан,— когда мне вовсе неизвестно, чем грозит эта охота. И не такой уж я трус, чтобы отказываться идти туда, где, по-видимому, есть какая-то опасность. Повторяю, самолюбие мое тут ни при чем; я никогда еще не совершал подвигов, которые дали бы мне право надеяться на блестящий успех; не могли бы вы поэтому предоставить мне такое место, где наши шансы будут равными?

— Это невозможно. Перед судьбой шансы у всех равны; и все же удача на стороне того, кто идет впереди.

— Что ж,— сказал Христиан,— я пойду первым и выгоню медведя из берлоги; но скажу вам откровенно, мне вовсе не хочется убивать его, и даже, признаюсь, я предпочел бы иметь достаточно времени, чтобы хорошенько рассмотреть, как этот зверь выглядит и как ведет себя.

— А если он убежит от нас до того, как вы его рассмотрите? Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову. Медведь чаще всего боязлив и, если только он не ранен, старается уйти. Поверьте мне, Христиан, возьмите на себя нападение, если хотите наблюдать что-то интересное. Иначе вы увидите, возможно, только тушу мертвого зверя: говорят, что медведь этот прячется в тесной горловине, заросшей густым кустарником.

— Тогда я согласен,— сказал Христиан,— и обещаю сегодня же вечером показать вам на моей сцене презабавную охоту на медведя. Да, да, уж я постараюсь доставить вам возможно больше удовольствия, чтобы выразить свою признательность. А теперь, майор, научите меня, как взяться за дело, чтобы пристойно покончить с медведем, не причиняя ему особых мучений; я ведь охотник сентиментальный и должен сознаться, что свирепости во мне нет ни на грош.

— Как!— воскликнул майор.— Вы никогда не видели, как убивают медведя?

— Никогда!

— О, тогда это меняет дело, и мы отказываемся от нашего предложения. Никто из нас не хочет, чтоб медведь вас искалечил, дорогой Христиан! Не правда ли, друзья мои? И что скажет графиня Маргарита, если мы вернем ей партнера по танцам со сломанной ногой?

Лейтенант и капрал были того же мнения — не следует подвергать новичка опасной схватке с диким зверем; но сердце Христиана забилось сильнее, едва, к великому его сожалению, было произнесено имя Маргариты. С этого мгновения он принялся с той же горячностью настаивать на первоначальном плане, с какой только что отказывался от него из скромности и равнодушия.

«Если мне удастся более или менее изящно убить медведя, — думалось ему, — эта жестокая принцесса, возможно, перестанет краснеть при мысли о нашей недолговечной дружбе, а если мне суждена более или менее трагическая гибель на охоте, она, быть может, прольет втайне хоть одну слезинку, когда вспомнит о бедном фигляре».

Когда майор увидел, что Христиану, по-видимому, вовсе не хочется зависеть от жребия, он тотчас же стал уговаривать друзей вернуть ему внеочередное право на схватку с медведем. Однако после этого майор подошел к даннеману и обратился к нему на его языке:

— Друг, ты ведь пойдешь вперед, чтобы послужить проводником нашему дорогому Христиану; прошу тебя, не спускай с него глаз. Он впервые выходит на медведя.

Далекарлиец был так удивлен, что поначалу даже не понял и просил повторить сказанное, после чего внимательно посмотрел на Христиана и покачал головой:

— Красный молодец, — сказал он, — и с добрым сердцем, я уверен! Он ел мой какеброз, как будто всю жизнь только этим и занимался; у него зубы истого далекарлийца, скажу я вам, а ведь он иностранец! Такой человек мне по душе. Досадно, что он не может говорить со мной по-далекарлийски, и еще досаднее, что он собрался туда, где сложили головы охотники половчее, чем мы с ним.

Какеброз, о котором упомянул даннеман, представлял собой просто-напросто хлеб домашнего изготовле-

ния, выпеченный из смеси ржи, овса и толченой коры. Так как в этой стране хлеб пекут не чаще двух раз в год, такой хлеб, сам по себе очень твердый благодаря примеси мелкой истолченной березовой коры, становится, зачерствев, совершенно плоским, твердым как ячмень и почти недоступным для зубов чужеземцев. В историю вошли слова некоего датского епископа, который шел в поход против далекарлийцев во времена Густава Вазы: «Сам черт не справится с народом, который кормится древесной».

Тем не менее даннеман, несмотря на свой восторг перед мощью челюстей своего чужеземного гостя не мог, по-видимому, ручаться за его безопасность, и поэтому тревога Ларсона отнюдь не рассеялась; он снова попытался отговорить Христиана, но в это время даннеман попросил присутствующих выйти и оставить его наедине с чужеземцем. Все поняли его мысль, и Ларсон поспешил пояснить ее Христиану:

— Вам придется подвергнуться некоему кабалистическому посвящению, — сказал он. — Я уже говорил вам, что крестьяне наши верят во всевозможные чары и в помощь таинственных высших сил. Видимо, даннеман спокойно поведет вас навстречу медведю только в том случае, если сделает вас неуязвимым с помощью какого-то известного ему талисмана или заговора. Вы согласитесь на это?

— Еще бы! — воскликнул Христиан. — Я с жадностью собираю все, что касается местных обычаев. Оставьте меня одного с даннеманом, дорогой майор, и если он вызовет ко мне настоящего дьявола, я обещаю дать вам точное его описание.

Даннеман, оставшись наедине с гостем, взял его за руку и молвил по-шведски:

— Не бойся!

Потом он подвел Христиана к одной из двух лежанок, образующих поперечную нишу в глубине комнаты, и, трижды позвав: «Карин, Карин, Карин!», отдернул старый, заляпанный кожаный занавес, за которым лежало какое-то существо, поражающее своей худобой и бледностью.

Эта старая, болезненного вида женщина с трудом, казалось, пробудилась от сна: даннеман помог ей приподняться, чтобы дать ей взглянуть на Христиана. В то же время он повторил: «Не бойся!» и добавил:

— Это сестра моя, ты, должно быть, слышал о ней; прославленная ясновидящая, одна из *вал* минувших времен!

Старуха, чей глубокий сон не могли потревожить ни шум трапезы, ни застольная беседа, теперь словно старалась собраться с мыслями. Бескровное лицо ее казалось спокойным и приветливым. Она протянула руку, в которую даннеман вложил руку Христиана, но тотчас отдернула свою, будто в испуге, и сказала по-шведски:

— Ах, что это, боже мой? Это вы, господин барон? Простите меня за то, что я не встаю. Слишком устала я за мою горькую жизнь!

— Вы ошибаетесь, голубушка,— ответил Христиан,— вы не знаете меня; я не барон.

Даннеман, по-видимому, сказал сестре то же самое, ибо она возразила по-шведски:

— Я понимаю, вы обманываете меня: это великий ярл! Зачем он явился к нам? Зачем нарушил сон той, что так долго бодрствовала?

— Не обращай внимания на ее слова,— промолвил даннеман, обернувшись к Христиану.— Дух ее еще погружен в сон, она продолжает грезить. Сейчас она заговорит более разумно.

И добавил, взглянув на сестру:

— Ну, Карин, посмотри на этого молодца и скажи, следует ли ему идти со мной на *лукавца*.

Лукавцем далекарлийские крестьяне называют медведя, ибо избегают настоящего его названия.

Карин закрыла глаза руками и стала что-то с живостью говорить брату.

— Говорите по-шведски, раз вам знаком этот язык,— сказал ей Христиан, которому не хотелось упустить что-либо из обряда посвящения.— Прошу вас, матушка, научите меня, как мне должно поступать.

Ясновидящая с каким-то ожесточением крепко зажмурила глаза и сказала:

— Либо ты не тот, о ком я грезила, либо ты позабыл язык, знакомый тебе с колыбели. Оставьте меня оба, и ты и тень твоя: я ничего не скажу, я поклялась никому не говорить о том, что мне известно.

— Терпение,— сказал даннеман Христиану.— С

ней всегда так поначалу. Попроси ее поласковее, и она предскажет тебе твою судьбу.

Христиан повторил свою просьбу, и ясновидящая, по-прежнему прикрывая глаза бледными руками, заговорила наконец поэтическим слогом, словно произнося заученные наизусть речи:

— *Лютый* рычит в зарослях вереска, разорвав узы свои! Он умчался! Он умчался на восток, по долинам, меж топей, трясин и ядовитых потоков!

— Означает ли это, что он ускользнет от нас?— спросил даннеман, почтительно внимая словам сестры.

— Я вижу,— продолжала она,— я вижу, как бредут меж смрадных потоков клятвопреступники и убийцы! «Понятно ли вам это? Известно ли, я хочу сказать?».

— Нет, не известно, — ответил Христиан, узнав в этих словах знакомый ему припев древних скандинавских песен «Волуспы» и узнав также, как показалось ему, голос, звучавший среди камней Стольборга.

— Не перебивай ее,— сказал даннеман.— Продолжай, Карин; мы слушаем.

— Я видела, как пылает огонь в очаге богача,— молвила она.— Но на пороге его стояла смерть.

— Ты имеешь в виду этого молодца?— спросил даннеман сестру.

Она продолжала, будто не слыша вопроса:

— Однажды в поле я подарила одежду двум лесным людям; едва надев ее, они обернулись богатырями — обнаженный человек робок.

— Вот видишь!— воскликнул Бетсой, с простодушным торжеством глядя на Христиана.— Теперь-то, надеюсь, тебе ясны ее слова?!

— Вы так думаете?

— Разумеется, все ясно! Она советует тебе лучше одеться и вооружиться.

— Совет, безусловно, хорош; но разве это все?

— Слушай, слушай, она сейчас опять заговорит,— сказал даннеман.

И ясновидящая заговорила:

— Безумец полагает, что будет жить вечно, если уклонится от боя; но даже старость не принесет ему мира: миром обязан он будет лишь копыю своему. «Понятно ли вам это? Известно ли, что я хочу сказать?»

— Да, да, Карин! — вскричал обрадованный даннеман. — Ты хорошо сказала и можешь вновь уснуть; дети будут охранять твой сон, и ничто тебя не потревожит.

— Тогда оставьте меня, — сказала Карин. — «Вала снова погрузится во мрак».

Она закрыла лицо покрывалом, и костлявое тело ее, казалось, утонуло, исчезло в перине гагачьего пуха — богатом подарке даннемана, благоговейно почитавшего сестру.

— Ты доволен, надеюсь, — сказал он Христиану, доставая лежавшую в углу длинную веревку. — Хорошее предсказание!

— Очень хорошее, — ответил Христиан. — На этот раз я его понял. Человеку осмотрительному незачем прятаться, самое верное — идти прямо навстречу врагу. Итак, в путь, дорогой мой хозяин! Но на что вам эта веревка?

— Дай руку, — сказал даннеман.

И он принялся тщательно обвивать веревкой левую руку Христиана.

— Вот этим ты отвлечешь внимание лукавца, — сказал он. — Когда он схватится обеими лапами за твою руку, ты другой рукой всадишь ему в брюхо рогатину; впрочем, я тебе все объясню по дороге. Ты готов — идем же!

— Ну что? — воскликнули офицеры, ожидавшие Христиана в сенях. — Суждена ли нам удача?

— Что касается меня, — ответил Христиан, — я видимо, стал неуязвим; что же касается медведя — вряд ли ему посчастливится так, как мне. Впрочем, ясновидящая сказала, что он убежит на восток.

— Нет, нет, — прервал его даннеман таким серьезным и уверенным тоном, что все шутки мигом прекратились: — Было сказано, что лютый устремится к востоку, а вовсе не то, что он останется жив. В дорогу!

Но до того, как последовать за Христианом на охоту, вернемся на несколько минут в замок Вальдемо-ра, откуда барон, едва взошло солнце, выехал в сопровождении всех гостивших у него мужчин, способных участвовать в охоте, и двухсот или трехсот загонщиков.

Место, выбранное на горном склоне для этой господской облавы, находилось значительно ниже, чем

хижина даннемана. Поэтому дамы также проследовали туда: одни из них хотели возможно лучше увидеть охоту на медведя, другие, менее храброго десятка, решили остановиться на лесной опушке. В числе первых была и Ольга, желавшая показать барону, как ее волнует его охотничья доблесть; Маргарита же, совершенно равнодушная к этой доблести барона, оказалась среди последних, вместе с Мартиной Акерстром, дочерью пастора и невестой лейтенанта Осборна: это была славная девушка, чересчур, быть может, румяная, но приветливая, любезная и искренняя, за что Маргарита и предпочитала ее остальным. Заметим мимоходом, что пастор Микельсон, о котором шла речь в связи с историей баронессы Хильды, давно умер,— по слухам, после того, как отважился на ссору с бароном Олаусом. Его преемник был человеком весьма почтенным и высказывал большое достоинство и независимость в своих отношениях со Снеговиком, несмотря на то, что место приходского священника получил из его рук, как еще водилось в некоторых феодальных владениях. Барон, по-видимому, понял, что лучше поддерживать дружеские отношения с порядочным человеком, чем поощрять дурные склонности приятеля, который может стать опасным врагом. Поэтому с пастором он держался вежливо и тот нередко заступничал перед ним в пользу слабых и бедных, не вызывая у него приступов гнева своей искренностью.

Приглашенные не проявили особого рвения, собираясь на охоту вслед за бароном. Никто не верил, чтобы можно было встретить медведя так недалеко от замка, тем более после нескольких шумных праздничных дней. Медведь по природе своей угрюм и недоверчив. Ему вовсе не по вкусу звуки оркестра и огни фейерверка; поэтому все шепотом поговаривали о том, что если уж попадется им на пути медведь, это будет ручной зверь, ловкий плясун, который сам подойдет к владельцу замка и подаст ему лапу. Тем не менее погода была прекрасной, лесная дорога — весьма приятной, а посему никто не отказался от предложенной прогулки, даже старики, которых довели в экипажах до уютного павильона, обставленного на сельский лад, где предстояло позавтракать или даже пообедать, в зависимости от того, какова будет добыча — медведи или зайцы.

Когда замок почти что опустел, Юхан удалил под различными предложениями неугодных ему лакеев и сам наконец принялся за расследование дела, которое вознамерился довести до желаемого конца; попутно он час за часом подробно записывал происходящее.

«9 часов утра. Итальянец кричит от голода и жажды. Ему заткнули рот. Это дело нетрудное.

В Стольборге нет никого, кроме Стенсона, адвоката и малыша-слуги. Ульф-недоумок не в счет. Христиан Вальдо исчез, если только не заболел и лежит. Адвокат, который живет в одном с ним помещении, никого туда не пускает, что начинает вызывать у меня подозрения.

10 часов утра. Капитан послал ко мне спросить, не пора ли начинать. Рано. Итальянец еще не обессилел. Христиан Вальдо, несомненно, где-то разгуливает. Я проник наконец в знаменитую медвежью комнату, где застал адвоката за работой. Говорит, что не знает, куда делся кукольник. Я видел его поклажу. Далеко он не ушел.

11 часов утра. Я обнаружил слугу Христиана Вальдо в конюшнях нового замка. Вызвал его на разговор. Он знает настоящее имя своего хозяина: Дюлак. Стало быть, он француз, а не итальянец. Зато этому Пуффо мы обязаны более интересным открытием — у нас здесь, оказывается, два Вальдо, а не один. Пуффо вчера не работал с марионетками, а тот Вальдо, с которым я разговаривал, человек с пятном на всю щеку, наврал мне с три короба. Партнер его по спектаклю незнаком Пуффо. Этот Пуффо вчера напился и все проспал. Он говорит, что знать не знает, кто мог его заменить. Хотел было я отправить его к капитану, да решил, что он не врет. Все же надо за ним присматривать. Он может пригодиться. Очевидно, второй Вальдо и есть мнимый Гёфле. Если так, оба вечером попадутся в ловушку, только бы не догадались о наших подозрениях. По-моему, Стенсон чем-то взволнован. Я велел его не трогать. На всякий случай надо, чтобы он успокоился, тогда ему от нас не уйти.

Полдень. Все у меня в руках. Доказательство посылаю Вам в запечатанном конверте и к нему прилагаю показания итальянца (тянуть за язык его не пришлось: едва увидел «розариум» — залил слюной).

Христиан Вальдо, несомненно, тот, кого Вы ищете. Он красив и хорошо сложен; его приметы в точности отвечают наружности самозванного Гёфле. О человеке с родным пятном на лице итальянцу ничего не известно.

Пресловутое доказательство, раздобытое мною для Вас безвозмездно, было спрятано меж двух камней позади хогара, в отлично выбранном месте, которое я Вам покажу. Я сам сходил за ним и посылаю его Вам, не зная, стоит ли оно чего-нибудь. Судите о нем сами. Сейчас накормлю завтраком синьора итальянца, настоящее имя которого — Гвидо Массарелли.

Не уезжайте второпях с охоты, не проявляйте нетерпения. Если посланные Вам бумаги представляют собой нечто важное и если эти скоморохи в заговоре с Гвидо — они от нас не уйдут, ибо со вчерашнего дня им не довелось с ним встретиться. За всеми дорогами установлено наблюдение. Гвидо предлагает свои услуги против скоморохов, но я ему не доверяю. Если же все это мистификация, чтобы вытряхнуть из Вас деньги, мы заплатим звонкой монетой, дорого заплатим!»

Закончив отчет, Юхан приложил его к бумажнику, который ему удалось отнять у Гвидо, и отправил накрепко запечатанный пакет барону, на место сбора охотников, с самым верным из своих людей.

ХІІІ

Пока приведенное выше послание спешит вдогонку барону, мы позволим себе поспешить, в свою очередь, в домик Бетсоа, откуда храбрый даннеман намеревался увести Христиана безо всякого оружия, за вычетом веревки и палки с железным наконечником.

— Стойте! — сказал майор. — Надо снабдить нашего друга всем необходимым и вооружить его. Это отличная рогатина, дружище Ю, но добрый норвежский нож еще лучше, да и доброе ружье не будет лишним.

Уступив настояниям майора и лейтенанта, Христиан облачился в куртку из оленьей шкуры и натя-

нул на ноги войлочные сапоги без кожаной подошвы и без шва, мягкие, как чулки, непроницаемые для холода и позволяющие ступать, не скользя, по снегу и льду. После этого друзья вручили Христиану ружье, порох и пули, водрузили ему на голову меховую шапку и приступили к жеребьевке.

— У меня первый номер! — обрадовался майор. — Стало быть, место Христиану уступаю я, а сам становлюсь в ста шагах позади него; в ста шагах слева от меня — лейтенант, справа — капрал. Ступайте же вперед и считайте шаги; мы последуем за вами, когда вы сосчитаете до ста и подадите нам знак.

Когда все было договорено, даннеман и Христиан первыми двинулись в путь, остальные пошли вслед за ними, соблюдая должное расстояние.

Христиана удивило, что они сразу же выступили в боевом порядке.

— Неужто медведь находится так близко от нас? — спросил он своего провожатого. — Мы, верно, сто раз успеем занять нужные места, когда подойдем к его берлоге.

— Лукавец очень близко, — ответил даннеман. — Еще ни один лукавец не зимовал так близко от моего жилья. Я и не подозревал, что он тут; хотя раз десять я едва не натыкался на его яму, мне и в голову не приходило, что у меня завелся такой красавец сосед.

— А что, он красив, наш медведь?

— Я редко встречал зверя крупнее; но тише: слух у него тонкий. Еще четверть часа пути, и ему будет слышно каждое наше слово.

— Дочерей ваших не страшило такое соседство? — спросил Христиан, подходя к даннеману поближе и понизив голос ему в угоду, хоть и находил эти опасения преувеличенными.

Услышав этот вопрос, Ю Бетсой вскинул свою крупную голову, распрямил могучие плечи, искоса поглядел на Христиана и сухо сказал:

— Господин Христиан, дочери мои — порядочные девушки!

— Разве я, по-вашему, усомнился в этом, господин Бетсой? — удивился Христиан.

— Ужели тебе неизвестно, — продолжал даннеман, с трудом заставляя себя произнести ненавист-

ное слово,— что *медведь* бессилен перед девственницей и она, стало быть, может без страха вырвать у него из когтей козу или барана?

— Простите, господин даннеман, я этого не знал; я ведь здесь чужой и с каждым днем узнаю что-то новое. Но твердо ли вы уверены, что медведь столь почиттелен к девичьей чести? Взяли бы вы с собой на охоту свою дочь?

— Нет! Женщины не умеют держать язык на привязи и болтовней своей спугнут любого зверя. Вот почему на охоту не берут ни жен, ни дочерей.

— Но если вы вдруг увидите, что медведь гонится за вашей дочерью, вас это не испугает? Вы не станете стрелять в него?

— Стану, чтобы добыть его шкуру, а вовсе не из страха за дочь. Повторяю тебе — я ручаюсь за честь моих дочерей.

— А ваша сестра, та, что предсказывает будущее, была, должно быть, замужем?

— Замужем?— повторил даннеман и покачал головой. Затем, вздохнув, добавил:

— Была Карин замужем или нет, злые языки ей не страшны.

— Неужели даже здесь вас донимают злые языки, почтенный Ю? Мне казалось, что в этих безлюдных краях...

Даннеман пожал плечами и ничего не ответил, но на лице его выразилось недовольство.

— Неужели я опять, сам того не желая, обидел вас чем-то?— спросил Христиан, помолчав немного.

— Да,— ответил даннеман.— И коль скоро негоже идти вместе туда, куда идем мы с тобой, и при этом скрывать что-то друг от друга, я хочу знать, почему ты спросил меня, не боится ли Карин медведя? Я шага не сделаю дальше, пока не узнаю, не затаил ли ты дурную мысль о ней или обо мне.

Такой призыв к чистосердечию, высказанный даннеманом с величием, достойным мужа древних времен, поверг Христиана в смущение. Расспрашивая Бетсою о Карин, он уступил порыву любопытства, движимый какой-то непонятной ему самому таинственной силой. Он решил поправиться и тем самым выйти из трудного положения.

— Почтеннейший Ю,— сказал он,— я вовсе не спрашивал вас, боится ли ваша сестра медведя, я

только спросил, была ли она замужем, и не вижу в этом вопросе ничего оскорбительного.

Крестьянин вновь смутил его долгим, проницательным взглядом.

— Вопрос твой меня не оскорбляет,— сказал он,— если ты можешь поклясться, что не слыхал до своего прихода в мой дом никаких кривотолков о моем семействе.

И так как Христиан, припомнив слова майора, медлил с ответом, Бетсой продолжал:

— Ну, ну! Не обманывай меня, так будет лучше. У тебя нет оснований питать ко мне вражду, и ты смело можешь открыть мне, что тебе говорили про дитя озера.

— Дитя озера?— вскричал Христиан.— Что это за дитя озера?

— Если ты ничего не знаешь, мне нечего сказать тебе.

— О, нет, напротив!— возразил Христиан.— Я знаю... Мне кажется, что я знаю... Прошу вас говорить со мной как с другом, почтенный Ю. Дитя озера — это сын Карин?

— Нет,— ответил даннеман, и лицо его выразило чрезвычайное волнение.— Он и впрямь был ее ребенком, только зачат и рожден был не так, как другие. Карин досталась горькая участь, как всем девушкам, которые знают больше, чем им надлежит, и читают книги чужой веры, но нет на ней того греха, в котором ее винят. Я тоже в свое время обманывался на ее счет, даже я! Была пора, когда я, будучи еще совсем молодым, собрался было всадить пулю в лоб человеку, которым Карин слишком часто бредила во сне; но она поклялась мне и нашей матери, что она ненавидит того человека. Поклялась на Библии, и нам пришлось ей поверить. А ребенка выкормила в горах ручная лань, ходившая за Карин по пятам, будто коза. Более года прожила Карин с ним вдвоем, но не в том доме, что тебе известен, а в другом, выше по склону. Когда ребенок смог обойтись без молока лани, мы взяли его к себе и очень полюбили. Он рос, учился говорить, хорошел на глазах, но однажды исчез так же таинственно, как появился, а Карин пролила столько слез, что рассудок покинул ее, как покинул младенец. Немало скрыто здесь загадок. Но разве не-

известно, что иные дети появляются на свет, подобно слову, из уст матери, после того как те надышатся на озере ночным ветром, поднятым троллями? Карин слишком долго жила близ озера, а все знают, как опасно озеро Вальдемора. Теперь хватит об этом. Это тайна господ бога и тайна вод. Не надо дурно думать о Карин. Она не трудится, не делает ничего, что шло бы дому на пользу и украшение; но она из тех, кто приносит счастье семье своими песнями и знанием. Она видит то, что скрыто от других, и все, что она предсказывает, так или иначе сбывается. Поговорили, и хватит; повторяю тебе: вот мы входим в чащу, и сейчас надо думать только о лукавце. Выслушай меня внимательно, а затем — ни слова более, ни единого слова, хотя бы от этого зависела жизнь...

— ...Хотя бы от этого зависела жизнь,— подхватил Христиан, взволнованный, потрясенный загадочным рассказом даннемана,— вы должны еще рассказать мне кое-что о ребенке, который у вас воспитывался. А что, пальцы на руках у него были как у всех?

Лицо даннемана, несмотря на холод, вспыхнуло густым румянцем.

— Я уже сказал вам,— ответил он в раздражении,— все, что хотел сказать. Если вы явились сюда, чтобы есть мой хлеб, охотиться на моего зверя с намерением оскорбить честь моей семьи, берегитесь или откажитесь от охоты, господин Христиан, ибо, клянусь именем Бетсой, я брошу вас здесь один на один с лукавцем.

— Почтеннейший Бетсой,— спокойно ответил Христиан,— эта угроза страшит меня куда меньше, чем боязнь огорчить вас. Можете оставить меня наедине с лукавцем, если вам угодно: у меня лукавства тоже хватит, чтобы его перехитрить. Прошу вас об одном — не думайте обо мне плохо. Мы вернемся, надеюсь, к этому разговору, и вы поймете, что мне никогда не могла прийти в голову мысль оскорбить честь вашего семейства.

— Ладно,— сказал даннеман,— коли так, поговорим о лукавце. Либо он пустится наутек, когда мы подойдем к его берлогу, и ты выстрелишь ему вслед, либо он выйдет на тебя, встав на задние лапы. Ты хорошо знаешь, где у него сердце, и, если

только рука твоя не дрогнет, непременно всадишь туда этот добрый пож. Берегись только, чтобы он не выбил оружия из твоей правой руки раньше, чем схватит тебя за левую, так как он отлично видит, что человек держит в руке, и вообще соображает лучше, чем принято думать. Действуй спокойно, исподволь, не спеша. Пока лукавец не ранен, дерзости в нем мало, и он толком даже сам не знает, чего хочет. Иногда он ворчит, но дает подойти поближе. Я, например, обычно заговариваю с ним и обещаю не делать ему зла: ведь зверю солгать не грех. Поэтому мой совет — скажи ему ласковое слово: у него хватит ума, чтобы понять, что с ним заигрывают, но не хватит, чтобы догадаться, что его обманывают. Теперь обожди, я посмотрю, удалось ли господам офицерам окружить берлогу; ведь если зверь уйдет от нас, надо, чтобы он не ушел от других. Через пять минут я вернусь.

Христиан остался один в местности, непривычной его взору. Он прошел со своим провожатым примерно с полмили по прекрасному лесу, разливавшемуся глубоким, привольным потоком по склону горы.

Изобилие великолепных деревьев в этих краях и трудности, связанные с их вывозкой для обработки в другом месте, являются причиной безжалостной, можно даже сказать — кощунственной расточительности, с которой уничтожают величавые творения сей дикой природы. Чтобы выстругать какое-нибудь орудие труда или игрушку (а далекарлийские пастихи, подобно швейцарским, отлично вырезают из деля из смолистой древесины), приносят в жертву, без малейшего сожаления, зеленого исполнителя, а подчас, не заботясь о том, чтобы срубить его, поджигают дерево у корня; пусть даже пожар охватит и уничтожит бескрайные леса! Нередко можно встретить целые батальоны обугленных уродов, чернеющих на фоне снега или же, летом, на белой от лепла равнине. Эти обгоревшие стволы уже не служат убежищем ни единому зверьку, и среди них царят безмолвие и неподвижность смерти¹. Охотники, посетившие русские леса, с горечью рассказыва-

¹ Только совсем недавно правительство позаботилось — быть может, слишком поздно — о том, чтобы остановить это расхищение леса в Швеции. (Прим. автора).

ют, что и там, среди величественной природы севера, им довелось столкнуться с подобным же нерадением и святотатством.

Лес, где находился Христиан, не был ни горелым, ни вырубленным: он являл собой зрелище менее волнующее, и, однако, потрясал картиной грандиозной, величавой гибели от естественных причин — одряхления деревьев, оползней, налетающих вихрей. Это был, казалось, девственный лес, внезапно затертый плавучими льдами полярных морей. Огромные трухлявые сосны, иссохшие снизу доверху, рухнули на своих еще зеленых, крепких собратьев, обломав им верхушки или широкие лапы ветвей. Гигантские утесы скатились по склону, увлекая за собой целый мир растений, которые и теперь еще цеплялись за жизнь, изуродованные и расплюснутые, или заново возрождались на обломках других.

Беда эта стряслась, должно быть, несколько лет тому назад, так как кое-где на холмиках, а вернее — нагромождениях битого камня и развороченной земли, — успели вырасти молодые березки. При малейшем порыве ветра на легких, поникших ветвях этих прекрасных деревьев раскачивались ледяные сосульки, издавая сухое, торопливое шуршание, напоминающее шум ручья, бегущего по каменистому руслу.

Дикая местность эта поражала своим величием. В тысяче футов под собой Христиан видел *эльф*, или стрём (такое название носит любой поток), сохранивший подо льдом былой цвет и причудливость извилин. Глухой не усомнился бы на таком расстоянии в том, что потоки с грохотом мчат свои воды, ибо глаз был полностью обманут угрюмым, металлическим отблеском их поверхности, на которой вздувались, подобно пене, пышные белые гребни. Но слух Христиана способен был уловить самый слабый звук, идущий из глубины бездны, и поэтому его особенно впечатлял контраст этого бурного на вид и совершенно беззвучного потока. Ничто так не сходно с мертвым миром, как мир, оцепеневший под дыханием зимы. Не потому ли малейший проблеск жизни в этой застывшей картине, след на снегу или пичужка, украдкой взмахнувшая крылом, вызывает у нас волнение? И волнение это бывает почти что

сродни испугу, если звонкий бег лося или оленя внезапно пробудит уснувшее в безмолвии эхо.

И все же Христиан в эти мгновения не склонен был ни любоваться природой, ни готовиться к схватке с лукавцем. Страшная, мучительная мысль пронзила его душу. Удивительный рассказ даннемана, поначалу вовсе непонятный из-за ломаного языка и суеверных представлений, внезапно прояснился и сложился в его мозгу в единое целое. Эта сельская провидица, соблазненная троллем, духом озера, таинственный ребенок, выросший в хижине даннемана и исчезнувший в возрасте трех-четырех лет, наконец, испытанные Христианом во время завтрака галлюцинации памяти, а на деле, возможно, внезапно пробудившиеся воспоминания...

«Да,—думал он,—теперь ко мне возвращается память или иллюзия памяти. Три заблудившиеся коровы... двадцать лет тому назад... и выстрел, который не дал уйти четвертой... Мне кажется, я слышу этот прикончивший ее выстрел, вижу, как падает бедное животное, и заново испытываю чувство горя и жалости, пережитое мною тогда; это было, возможно, первое мое волнение, то, что пробуждает наши чувства к жизни. Боже, мне чудится, будто целый позабытый мир оживает и встает передо мной! Кажется, это событие случилось вон там, за скалой, на краю этого крутого обрыва, среди красноватых камней. Я словно вернулся сейчас к прошлым дням... Но я ли это был тогда, или только душа моя в какой-то былой жизни? А если то был я, кто же тогда мой отец? Кто этот человек, которого едва не убил даннеман, когда суеверие еще не усыпило пробудившегося в нем подозрения? Почему ясновидящая... моя мать, быть может... вздрогнула, коснувшись моей руки? Она была погружена в сонное забытие, она не взглянула мне в лицо; но она назвала меня бароном! И не служат ли гнев и скорбь даннемана в ответ на мой давешний вопрос о приметах на руке ребенка доказательством того, что он уже обратил внимание и понял, что означает этот наследственный признак, гораздо более заметный, наверно, в детстве, нежели теперь у меня, взрослого?

Впрочем, даже если он и разглядел сегодня эту особенность, вряд ли он сопоставил ее с прошлым. Ему и в голову не пришло искать сходство между

мной и тем ребенком. Он увидел во мне только любопытного и насмешливого чужестранца, который пытается выведать у него семейную тайну, а тайна эта позорна; он предпочел превратить ее в легенду, в сказку. Тот, кто усомнится в рассказанных им чудесах, оскорбит его; тот, кто скажет, что мизинцы ребенка были согнуты, как у барона Олауса, навлечет на себя его гнев. Говорят, что правда глаза коллет: значит, я угадал... И разве не испугалась бедная Карин, приняв меня за своего соблазнителя?

Соблазнитель! Как знать? Быть может, человек этот, заслуживший всеобщую ненависть и презрение, совершил над ней насилие. Она скрыла беду, воспользовалась всеобщей верой в духов зла, чтобы помешать своему младшему брату, даннеману, отомстить, рискуя жизнью, слишком могущественному врагу. Бедная женщина! Разумеется, она все еще ненавидит и боится его; она стала ясновидящей, то есть безумной, с того дня, как случилось это несчастье; она получила в свое время какое-то образование, ибо знает на память древние песни своего народа и в минуты вдохновения бредит ненавистью и мстостью, облекая эти чувства в слова, родившиеся из смутного вороха полузабытых трагических стихов. Наконец, будь то правдоподобная фантазия или логическое умозаключение, я вижу перст божий в том, что я вернулся в хижину, откуда был похищен... Почему и кем? Увез ли меня в дальние края отважный путешественник даннеман, чтобы избавить сестру от живого укора совести, а семью — от жгучего позора? Или же верно предположение майора о ревнивой жене Олауса?»

Все эти мысли теснились в мозгу Христиана, и душа замирала от ужаса и скорби. Догадка о том, что он сын барона Олауса, еще увеличивала его отвращение к нему. При сложившихся обстоятельствах он видел в бароне только виновника бесчестия и горя своей матери.

«Вдобавок, кто знает, — думалось ему, — уж не барон ли велел меня похитить, чтобы уклониться от выполнения какого-то обязательства, какого-то обещания, данного им своей несчастной жертве? Ах, если так, я навеки останусь в этой стране. Не признаваясь никому, кто я такой, наймусь к даннеману в работники; трудом и преданностью завоюю его

расположение и даже, может быть, любовь этой семьи — моей семьи! — и приложу все силы, чтобы вернуть если не рассудок, то хотя бы покой бедной ясновидящей, как когда-то вернул покой смятенному уму дорогой моей Софии Гоффреди. Что за удивительная судьба у меня, подарившая мне двух матерей, обезумевших от отчаяния? Что ж, этот незаслуженно жестокий подарок указывает мне, в чем мой долг и что надо совершить, дабы получить неведомую мне награду. Я согласен. Карин Бетсой не помнит, быть может, что лишилась ребенка, но зато она обретет заботу и поддержку сына».

В этот миг Христиану почудилось, будто кто-то его окликнул. Он огляделся по сторонам, но никого не увидел. Даннеман велел ему ждать и собирался прийти за ним; Христиан стоял в нерешительности; но мгновение спустя услышал отчаянный вопль, заставивший его сорваться с места, схватить оружие и броситься туда, откуда донесся крик.

Карабкаясь с поразительной ловкостью по опрокинутым стволам и обледеневшим грудам камней, опутанных чудовишными корнями, Христиан, сам того не зная, оказался в двадцати шагах от берлоги медведя. Страшный зверь лежал между ним и своим логовом и слизывал кровь, окрасившую снег вокруг него. Даннеман стоял возле отверстия, ведущего в логово, бледный, без шапки; волосы его, казалось, встали дыбом, оружия в руках не было; рогатина сломалась, вонзившись в бок медведя, и обломок ее валялся подле зверя, а Бетсой, вместо того чтобы снять с плеча ружье и прикончить медведя, стоял неподвижно, словно окаменев от ужаса или повинувшись какой-то непонятной силе, удерживавшей его на месте.

Едва он заметил Христиана, как стал делать ему какие-то знаки, которых тот не понял, но догадался, что надо молчать, и прицелился в медведя. К счастью, перед тем как спустить курок, он еще раз взглянул на Ю Бетсою и увидел, что тот, отчаянно взмахнув рукой, запрещает ему стрелять. Христиан, подражая ему, жестом спросил, следует ли бесшумно прирезать зверя, и когда Бетсой утвердительно кивнул, направился прямо к медведю, который, в свою очередь, с рычанием поднялся навстречу ему во весь рост.

— Скорей, скорей, или мы погибли!— крикнул даннеман, схватив ружье и подстерегая у берлоги какого-то невидимого врага.

Второго окрика Христиану не понадобилось. Когда медведь, несколько ослабевший от нанесенной ему раны, схватился обеими лапами за протянутую к нему левую руку Христиана, обмотанную веревкой, охотник ударом ножа вспорол ему брюхо, но забыл, что зверь может рухнуть на него и что следует поэтому быстро отскочить в сторону. К счастью, медведь повалился на бок, увлекая за собой Христиана, но страшные когти его, сведенные последним усилием, вонзились лишь в полу куртки.

Христиан, пригвожденный к снежному сугробу тяжестью лукавца и когтями его, вцепившимися в одежду, с трудом поднялся на ноги, пожертвовав большей частью оленьей куртки, одолженной ему майором; но ему было не до куртки: даннеман схватился с другим неприятелем. Он только что выстрелил наудачу в темное логово, и навстречу ему с угрожающим видом вылез другой лукавец, черный, молодой, но уже огромный, а два медвежонка, каждый величиной с крупного щенка дога, путались у охотника в ногах с единственным намерением дать стрелача и едва не повалили его в снег. Даннеман, готовый скорее погибнуть, чем упустить тройную добычу, оперся спиной о древесные стволы, образующие как бы природную арку перед входом в логово. Он боролся с молодым медведем, раненным его пулей; но медвежатам все же удалось опрокинуть Бетсою, и раненый медведь в ярости уже набросился было на него, когда Христиан, хладнокровно и уверенно прицелившись, раздробил пулей голову зверя на расстоянии фута от головы даннемана.

— Молодец!— сказал даннеман, быстро вскочив на ноги. Но медвежата уже перелезли через него и убегали, а он хотел во что бы то ни стало их схватить.

— Стойте, стойте!— сказал ему Христиан, внимательно следивший за беглецами.— Смотрите-ка, что они делают!

Медвежата подбежали к трупу матери и прижались к ней, прячась под окровавленной тушей.

— Правильно!— сказал даннеман, потирая руку, сильно помятую медведем, несмотря на веревку.—

Нам убивать их незачем, у каждого из нас уже есть своя добыча. Позови друзей; я еще должен дух перевести, и к тому же, сознаюсь, натерпелся я страху. На волосок был от смерти. Если бы не ты... Да зови же их. А я потом договорю.

И пока Христиан звал друзей во всю силу своих легких, даннеман, все еще слегка дрожа, но зорко оглядываясь по сторонам, наспех перезаряжал ружье на случай, если медвежатам вздумается отойти от труп матери и бежать в лес до прихода охотников.

Те вскоре явились с трех сторон сразу, так как издалека слышали выстрел. Ларсон первый поздравил Христиана с победой, увидев валявшуюся у его ног огромную медведицу.

— Осторожнее! Стойте!— крикнул Христиан.— У нашей медведицы есть, оказывается, приплод— двое красавцев медвежат, вот они! Прошу вас, пожалейте бедных сирот, возьмите их живыми.

— Конечно,— ответил Ларсон.— Помогайте, друзья. У нас тут завелись воспитанники!

Труп медведицы окружили и приподняли с осторожностью, так как всегда следует опасаться, не прикидывается ли медведь мертвым. Не без труда захватили детенышей, которые скалили зубы и выпускали когти, тщательно опутали им веревками лапы и морду, после чего на досуге охотники вдоволь налюбовались на превосходную добычу, найденную в берлоге, и только собрались посетовать на свою неудачу, как даннеман опередил их.

— Вам придется простить меня за мой поступок,— сказал он молодым офицерам.— Я подозревал, что у этой огромной зверюги есть детеныши. Кстати, я ведь говорил вам, что она пятнистая? О, ее-то я отлично разглядел, не то что детенышей; ну, а дружка ее совсем не видел. Мне, правда, говорили, что медведица-мать часто берет к себе на зиму молодого лукавца, хотя бы тот вовсе не приходился отцом детенышам и не принадлежал к той же породе, что их отец, чтобы защищать и растить медвежат, если ее убьют. Я сам такого никогда не видел и потому не очень-то верил этим рассказам. А теперь увидел своими глазами и навсегда поверил. Если бы я догадался об этом, я взял бы с собой вас обоих, чтобы каждый убил по отличному зверю; но кто мог знать, что такое случится? Стрелять я ле

собирался, ружье взял только из предосторожности, на случай, если господин, которого я веду, промахнется и окажется в опасности. Что касается рогатины, я вовсе не думал, что она мне пригодится, и потому даже не проверил, в порядке ли она. Теперь я расскажу тебе, как было дело,— продолжал даннemann, обращаясь уже к Христиану.— Я тебе сказал, что вернусь за тобой, когда расставляю остальных по местам; так я и сделал и пошел было прямо к тебе, но, видно, какой-то зверь попортил мои вешки, поставленные прошлой ночью, и я не то что заблудился, а неожиданно оказался возле берлоги и сообразил это, когда было уже поздно отступать. Лукавица услышала мои шаги; она пошла на меня, оттого что была с детенышами. Я замахал руками, чтобы спугнуть ее и заставить уйти в берлогу; но она не испугалась и встала на задние лапы. Тогда мне пришлось распороть ей брюхо рогатиной, и в то же время я дважды позвал на помощь. Дружок ее вылез на порог своего дома, услышав мой голос, и я кинулся навстречу, чтобы не дать ему уйти, совсем позабыв, что сломанная рогатина осталась возле медведицы. Мне казалось, что она мертва, но когда я подошел, она поднималась на ноги и опять падала. Долго тянулось для меня время, пока ты не пришел, господин Христиан; ведь с одной стороны от меня была мать, которая вот-вот могла собраться с силами и броситься на меня, а с другой — ее дружок, который забился в свою берлогу и ждал удобной минуты, чтобы вместе с ней кинуться на меня, не говоря о детенышах, а уж они-то, я знал, будут путаться под ногами, едва завяжется бой. Против всех этих врагов у меня была только одна пуля, а этого было мало, и я даже не решался прицеливаться, так как лукавцы при виде направленного на них оружия сразу переходят в нападение. Тут мне стало страшно, и я без стыда могу в этом признаться, ибо не убежал; и вот — все четверо у нас в руках. Казалось мне, что целый год прошел, а ведь ты, видно, быстро явился, господин Христиан, раз все так хорошо обошлось. Да, говорю, очень хорошо все обошлось, и ты настоящий мужчина! Мне жаль, что до того мы с тобой обменялись горькими словами. Все это позабыто, и я тебе дарю свое сердце, точно так же как ты подарил мне

жизнь. Обнимемся же, и помни, что я тебя обнимаю как сына.

Христиан горячо обнял далекарлийца, и тот рассказал остальным о том, как юноша после рукопашной схватки с медведицей весьма вовремя прикончил дружка «в двух дюймах от моей головы, вот вам крест!» Скромность вынудила Христиана уличить даннемана в изрядном преувеличении; но Бетсой, увлекшись рассказом, и слышать ничего не хотел, а так как доказать обратное было невозможно, подвиг молодого искателя приключений принял поистине исполинские размеры в воображении Ларсона и его друзей. Их уважение к Христиану соответственно еще возросло, и в этом не было ничего удивительного. Самообладание всегда говорит о подлинном мужестве. Того, кто гибнет, жалеют, тем, кто побеждает, восхищаются. Отнюдь не восхищаясь собственной особой, Христиан испытывал живейшую радость оттого, что приобрел право на дружбу даннемана, которого отныне считал своим кровным родичем; но он остерегался дальнейших распросов и решил дознаться правды другим путем, пусть даже пришлось бы ему потратить на это немало времени и терпения.

Убитые медведи, в особенности медведица-мать, представляли собой тяжелый груз, не менее четырехсот фунтов. Тащить их по каменистому бездорожью, где и людям-то было нелегко пробраться, представлялось невыполнимым. Даже лошади не справились бы с такой задачей. Меж тем день шел на убыль, а друзьям хотелось присоединиться к охоте барона, и богатая добыча оказалась им в тягость. С медвежатами тоже было не просто управиться — они вовсе не желали подчиняться.

— Ступайте восвояси, — сказал охотникам даннеман, — дети мои помогут мне срубить два или три деревца и соорудить волокушу, на которую мы погрузим всю добычу и по снегу дотащим до дому. Оттуда ее доставят на санях к вам в бустёлле, через два часа, не позднее, чтобы вы могли перед всеми друзьями похвалиться удачной охотой.

— А завтра мы вернем вам убитых друзей, — сказал Ларсон. — Вам одному мы можем доверить обработку и выделку шкур. Ваше мнение, Христиан?

— Мое мнение полностью совпадает с вашим,— ответил Христиан.

— Простите!— возразил майор.— Одного медведя мы купили у даннемана — это тот, которого вы убили; он принадлежит вам, точно так же как даннеману принадлежит убитый им зверь, если только он не захочет нам его продать.

— Он убил обоих,— сказал Христиан.— Я же только прикончил их и не имею права ни на одного.

Такое соревнование во взаимных уступках заняло немало времени, причем даннеман проявил не меньше щепетильности, чем остальные. Наконец Христиану пришлось уступить и принять свою долю добычи — медведицу. За обоих медвежат даннеману заплатили, как за одного взрослого медведя, и его же уговорили взять себе «друга госпожи медведицы». Покончив с дележкой, майор и друзья его хотели было увезти Христиана с собой, но он отказался.

— На охоте барона,— объяснил он,— мне делать нечего, ибо вы сами мне сказали, что после нашей вей нет ничего для меня интересного. К тому же и времени у меня не хватит. Я должен возможно раньше вернуться в Стольборг, чтобы подготовиться к представлению. Не забудьте, я ведь еще на два дня связан контрактом с моим ремеслом «выдумщика». Я останусь здесь и помогу даннеману увезти лукавцев, после чего воспользуюсь его санями, чтобы вернуться к озеру. И помните, вы обещали господину Гёфле и мне навестить нас в Стольборге.

— Будем непременно после ужина и спектакля,— ответил майор.— Ждите нас.

— А я,— сказал даннеман Христиану,— берусь доставить вас к озеру еще засветло.

Времени терять было нельзя. Офицеры направились к своим саням, а даннеман с помощью Христиана, своего сына Олофа и старшей дочери, присоединившихся к нему теперь, ловко и умело взялся за изготовление волокуши из ветвей.

Добычу погрузили; кто тащил, кто придерживал или подталкивал, и волокуша быстро скатилась по склону к хижине даннемана.

Едва переступив порог, Христиан тотчас стал

искать глазами ясновидящую. Занавес у ее постели был задернут и неподвижен. Была ли она здесь? Ему хотелось увидеть эту таинственную женщину, попытаться заговорить с ней, но он не осмелился подойти к ее лежанке. Ему казалось, что даннеман не спускает с него глаз, и он понимал, что всякое проявление любопытства будет неприятно хозяину дома.

Младшая из дочерей даннемана принесла самодельную водку — прославленную хлебную водку, на которую впоследствии Густав III установил государственную монополию, введя, таким образом, тяжкий и обременительный налог, который лишил короля былой популярности, ввергнув в горькую нищету народ, только что избавленный от гнета дворянства. Является ли столь частое потребление водки насущной необходимостью в этом суровом климате? Христиану это казалось маловероятным, тем более что от напитка этого, изготовленного лично даннеманом, чем тот изрядно гордился, немилосердно першило в горле. Радужный хозяин потчевал им гостя что было силы, не понимая, как же не напиться после того, как убьешь двух медведей. Этого Христиан при всем желании не мог выдержать, и несмотря на то, что был не прочь подпоить Бетсю, не напиваясь самому, чтобы таким путем, быть может, проникнуть в семейную тайну, он ограничился горячим чаем, оставленным для него майором и поданным ему в деревянной чашке, изящно выструганной и выточенной юным Олофом.

Христиан испытывал некоторую неловкость оттого, что позволил себе княжеское развлечение — убить медведя за счет друзей; ведь, по сути дела, медведь-то был собственностью даннемана, ибо любая добыча является собственностью того, на чьей земле она схвачена. Христиану же его подарили друзья, иначе говоря — оплатили его сами. Он обрадовался, узнав от даннемана, что тот еще не получил денег, так как майор и его спутники не ожидали столь удачной охоты и не захватили с собой требуемой суммы. Христиан спросил, сколько же полагалось заплатить.

— Это зависит от обстоятельств, — с гордостью ответил даннеман, — иногда мне оставляют зверя целиком, и я только приношу благодарность тому,

кто помог мне убить его; но, должно быть, господин Христиан, ты захочешь взять себе шкуру, лапы, жир и окорока?

— Ни в коем случае,— смеясь ответил Христиан.— Что мне с ними делать, бог мой? Прошу вас, господин Бетсой, оставьте все это у себя; а так как я полагаю, что вы берете несколько больше с тех, кто развлекается охотой на ваших землях, чем с тех, кто просто-напросто приходит к вам за товаром, разрешите предложить вам тридцать далеров, которые сейчас имею при себе...

И мысленно закончил: «и которые являются единственным моим достоянием».

— Тридцать далеров!— воскликнул даннеман.— Это много денег! Ты, стало быть, богат?

— Достаточно богат, чтобы просить вас принять их.

Даннеман взял деньги, посмотрел на них, потом перевел глаза на руки Христиана, но не заметил ничего, кроме их белизны.

— Золото у тебя чистое,— сказал он,— и руки белые. Ты не из тех, кто трудится, однако ты ешь как-то, как далекарлец. Лицом ты мой земляк, речью — чужестранец... Одет ты был, когда приехал сюда, не лучше, чем я. Но ты горд, как я замечаю; тебе не по нраву, чтобы друзья, уступив тебе свой черед убить лукавца, еще тратили на тебя деньги...

— Совершенно верно, господин Бетсой, вы угадали...

— Будь спокоен. Ю Бетсой — честный человек: он ничего не возьмет с твоих друзей, коль скоро ты оставил ему добычу. А приму ли я что-нибудь от тебя — это зависит от многого. Можешь ли ты поклясться честью, что ты человек богатый, сын состоятельных родителей?

— Не все ли равно?— спросил Христиан.

— Нет, нет,— возразил даннеман,— ты спас мне жизнь, за это не благодарят, я для тебя сделал бы то же самое; но ты меткий стрелок и, что еще важнее, понимаешь, что тебе хотят сказать. Если бы там, в лесу, ты меня не послушался, когда я подал тебе знак, худо пришлось бы нам обоим... особенно мне, без рогатины и с попорченной веревкой на руке. Я доволен тобой и хотел бы иметь сына с твоим лицом и твоим нравом, ибо ты отважен и при-

ветлив; стало быть, если ты небогат, незачем тебе и притворяться богачом передо мной. Какой в этом смысл? Я-то ведь далеко не беден! Живу в достатке, и ежели тебе в чем-нибудь будет нужда, обратись к Ю Бетсою, а у него-то уж всегда найдутся для друга тридцать далеров, а то и целая сотня!

— Я в этом не сомневаюсь, господин Бетсой,— ответил Христиан,— и с открытой душой пришел бы просить у вас не денег, а работы. Быть может, такое и случится, не зарекаюсь; а если случится, я хотел бы явиться к вам, уплатив сперва то, что с меня причитается, все равно как если бы был богачом. На этот раз я пришел к вам еще без нужды, и вы ничем мне не обязаны.

— Ничего мне не надо,— возразил даннеман,— забирай свои деньги и приходи, когда захочешь. Что ты умеешь делать?

— Сумею быстро научиться у вас всему, что вы мне покажете.

Даннеман улыбнулся.

— Значит, ничего не умеешь?— спросил он.

— По крайней мере умею убивать лукавцев!

— Отлично умеешь. Умеешь даже топором орудовать и рубить дрова. Это я видел. А вот странствовать умеешь?

— Лучше всего.

— Спать на скамье?

— Даже на камнях.

— Знаешь ли язык лапландцев, самоедов, русских?

— Нет, но знаю итальянский, испанский, французский, немецкий и английский.

— Это все мне ни к чему не послужит, хотя и доказывает, что можешь легко научиться говорить по-всякому. Что ж, возвращайся сюда, коли надумаешь, до конца месяца тора (января), и если захочешь отправиться в Дронтгейм или даже куда подальше, я с удовольствием возьму такого спутника. А если со мной поедет Олоф, которому уже не терпится побродить по свету, останешься при доме. Дочери у меня невесты, предупреждаю, так что берегись, как бы женихи не приревновали, не то пеняй на себя. Береги тетушку Карин: она очень кроткая, только не надо сердить ее — раз навсегда запрящая.

— Буду ходить за ней как за родной матерью,— взволнованно ответил Христиан.— Но, скажите, она нездорова, страдает тяжким недугом? Почему..?

— Тебе все расскажут, если будешь жить у нас. Сколько хочешь получать за труды?

— Ничего.

— Как ничего?

— Разве мало иметь хлеб и крышу над головой?

— Господин Христиан,— сказал даннеман, нахмурясь,— ты, видно, лентяй или проходимец, коли будущее тебя не заботит.

Христиан понял, что своим бескорытием вызвал у него подозрения.

— Знаком вам господин Гёфле?— спросил он.

— Адвокат? Хорошо знаком. Я ему продал лошаадь, отличную лошадку! Превосходный человек этот адвокат.

— Ну вот, он может поручиться за меня. Тогда вы мне поверите?

— Ладно, договорились. Забирай свои деньги.

— А если я попрошу вас сохранить их для меня?

— Значит, они ворованные?— воскликнул даннеман, снова охваченный подозрениями.

Христиан рассмеялся, поняв, что дипломат из него не получился.

— Поверьте,— сказал он даннеману,— я человек искренний и простодушный. Я не привык, чтобы мне верили на слово: располагающая внешность еще ничего не означает. Если вы сегодня не возьмете у меня эти тридцать далеров, майор захочет дать их вам завтра, а мне это обидно.

— Майор ровно ничего мне не даст, потому что я ничего не возьму,— с живостью возразил даннеман.— На сей раз, значит, ты мне не доверяешь?

Христиану пришлось отказаться от намерения оставить свое скромное достояние в этом доме, служившем, быть может, прибежищем его матери. Это соревнование в щепетильности легко могло привести к ссоре, так как от обильных возлияний наивная гордость вольного крестьянина разгоралась все пуще. Но сани уже ждали, и Христиану пора было ехать. Он ни за что не согласился бы отменить свои последние выступления, за которые ему причиталось сто далеров — сумма вполне достаточная, чтобы начать новую жизнь, не будучи ни перед кем в долгу.

Он полагал, что даннеман поедет с ним; но Бетсой, вместо того чтобы сесть в сани, отдал поводья сыну с наставлениями быть осторожным в пути и вернуться пораньше.

— Я надеялся разделить ваше общество до замка Вальдемора,— сказал Христиан даннеману.

— Нет,— ответил тот,— я в замок не езду! Разве что заставят силой! Прощай и до свидания!

В голосе даннемана прозвучало столько презрения и неприязни при упоминании о Вальдеморе, что Христиан, пожимая ему руку, испугался, как бы тот не заметил особенного строения его мизинцев, ибо сходство это, будь оно роковым или чисто случайным, могло положить конец возникшей дружбе; но пальцы были согнуты столь незначительно, а ладонь даннемана так огрубела, что он ничего не почувствовал и долго еще махал гостью на прощание.

Олоф же, невзирая на предостережения отца, став на передке саней и обмотав руки поводьями, пустил вскачь свою лошадку вниз по склону, вовсе не помышляя о том, что может при падении отлететь далеко от саней и поплатиться в лучшем случае вывихом кистей рук.

XIV

К счастью, сани даннемана были потяжелее и крепче тех, на которых майор привез Христиана в горный домик, иначе несдобровать бы путникам, так как юному далекарлийцу были нипочем валуны и рытвины. Вместо того чтобы предоставить лошади, значительно превосходившей его умом, свободно бежать, повинаясь инстинкту, он то хлестал ее, то дергал поводья, проявляя ненужную отвагу.

Христиану, лежавшему в санях среди четырех медведей — двух живых и двух мертвых, думалось, что падать будет довольно мягко, если только все не разлетится в разные стороны. Наконец ему надоело смотреть, как мальчишка понапрасну мучит лошадь даннемана, и он довольно резко отобрал у возницы поводья и хлыст, сказав тоном, не допускающим возражений, что ему захотелось править лошадыю.

Олоф по природе своей, был довольно кротким

и прикидывался свирепым только из самолюбия, чтобы его считали взрослым. Он тут же затыкнул шведскую песню, то ли от скуки, то ли чтобы спутник видел, что он лучше владеет родным языком, чем остальные члены семьи. Это и навело Христиана на мысль побеседовать с ним.

— Почему,— спросил он мальчишку,— ты не пошел с нами на охоту? Ты еще никогда не видел, как медведь встает на задние лапы?

— Тетка не позволяет,— со вздохом отвечал тот.

— Тетка Карин?

— Другой у нас нет.

— И все поступают так, как она хочет?

— Да.

— Она предсказала тебе что-нибудь плохое?

— Говорит, будто мне еще рано.

— Может быть, она права.

— Должно быть, права, раз так говорит.

— Она, видно, во всем разбирается лучше других...

— Она все знает, коли беседует с...

— С кем беседует?

— Об этом нельзя говорить: отец запретил.

— Оттого что боятся, как бы не стали насмехаться над его сестрой; но он знал, что я на это не способен, раз велел мне спросить у нее, что ждет меня на охоте.

— И она вам сказала?

— Да, сказала. Откуда она могла знать?

— Оттуда же, откуда она все узнает: из водопадов, где плачут девушки, умершие от любви, из озер, где появляются люди давних времен.

— Значит, она еще может ходить?

— Она не старая, ей всего пятьдесят лет.

— А я-то думал, что она хворая.

— Она ходит куда быстрее и дальше, чем вы сами можете.

— Может быть, она сейчас болеет, раз лежит в постели, в то время как все сидят за столом?

— Нет, не болеет. Она просто устала, как всегда, когда слишком долго остается на ногах.

— Я думал, что она не работает.

— Она и не работает; она разговаривает или ходит, поет или молится, и будь то днем или ночью, не спит, пока не свалится от усталости. А уж тогда

спит так долго, что можно подумать, будто она умерла; а в одно прекрасное утро исчезает, всем на удивление, и нигде ее не найдешь — ни в постели, ни дома, ни в горах; в общем, где ни ищи — нигде ее нет.

— Куда же она все-таки уходит?

— Злые люди говорят, что на Блокуллу; только это неправда!

— Что это за Блокулла? Место сбора ведьм?

— Да, это черная гора, куда злые ведьмы тащат ребятшек, которых крадут, пока те спят, и везут к сатане на коне Шюлтсе, похожем на крылатую козову. А сатана хватает их и кусает то ли в лоб, то ли в мизинец, и эта метка у них на всю жизнь остается. Но я-то знаю, почему такое болтают про тетку Карин.

— Почему же?

— Потому что давным-давно, когда меня еще на свете не было, она, говорят, принесла домой ребеночка, которому дьявол покусал пальцы, а мой отец и посмотреть-то на него не хотел; но потом отец его полюбил и говорил, что тетя — добрая христианка и что про нее все врут. Приходской пастор тоже не находит в ней ничего дурного и говорит, что если ей нужно спать на бегу, не следует ей мешать, пусть бегаёт. Да она сама предсказывала, что умрет, а нас ждет великая беда, если ее запрут в доме. Вот почему она и ходит куда хочет, а отец говорит, что нам лучше и не знать куда, оттого что она хранит какие-то тайны и может выдать их, если за ней пойдут и подсмотрят.

— И с ней никогда ничего не случалось, когда она так бегала во сне?

— Никогда; да, может быть, она вовсе и не спит на бегу. Как знать-то? Известно только, что иногда проходит три дня и три ночи, и никто не знает, вернется ли она; но она всегда возвращается, в любую погоду, и если ей дать вволю поспать и погрезить, она не болеет и предсказывает будущее. Вот, например, нынешним утром... Но отец мне запретил рассказывать!

— Мне можешь рассказать, Олоф, все равно что вот этим камням!

— Поклянитесь Библией, что не разболтаете.

— Клянусь, чем хочешь.

— Ну вот,— продолжал Олоф, радуясь, что нашел наконец солидного слушателя после долгого одиночества в горах,— вот что она сказала на расвете, когда проснулась: «Знатный *ярл* пойдет на охоту. На охоту пойдет знатный *ярл* со своею свитой». Знаете, кто этот *ярл*? Барон Вальдемора!

— А! Он действительно отправился на охоту; но твоя тетушка могла об этом слышать.

— Нет, подождите, еще кое-что есть: «*Ярл* оставит душу свою дома; дома оставит он душу свою». Стойте... стойте... я сейчас вспомню остальное... Она пела это... Мотив я помню, сейчас спою и вспомню слова.

И Олоф затянул совсем на зауспокойный лад: «А когда *ярл* вернется домой за душой своей, он в доме души своей не найдет».

Едва успел юный далекарлиец произнести эти таинственные слова, как чьи-то сани, пущенные во весь опор, поравнялись с его санями и раздались повелительные возгласы кучера: «Эй, с дороги, с дороги!», и свист хлыста, подгонявшего упряжку из четырех коней, перепуганных донесшимся до них запахом медведей, лежавших в санях Христиана. К этому времени горы остались уже позади, и сани мчались по узкой дороге, ведущей к озеру. Христиан, понимая, что его опрокинут, если он не посторожится, но не имея возможности отъехать, не рухнув при этом вниз с обрыва, возвышавшегося над *эльфом*, хлестнул лошадь даннемала, чтобы ускорить ее бег и домчаться до такого места, где можно было уступить дорогу; но едва он взял вправо, как с ним вплотную поравнялись задние сани, возница грубо натянул поводья, не справившись с разгоряченными лошадьми, и те и другие сани опрокинулись в снег.

Христиан так глубоко ушел в сугроб вместе с Олофом и всеми четырьмя медведями, что некоторое время не понимал, с кем же он оказался погребенным в снегу. Первым голосом, который он услышал, и первым лицом, порадовавшим его взор, оказались голос и лицо прославленного профессора Стангстадиуса. Ученый нимало не пострадал от столкновения, он пришел в страшную ярость, а поэтому, оказавшись лицом к лицу с Христианом, представшим перед ним на сей раз без маски, на-

бросился на него, осыпая бранью и призывая на его голову гнев божий и проклятие всей вселенной.

— Эй, эй, потише!— ответил Христиан, помогая ему встать на хромые ноги.— У вас, слава богу, все цело, господин профессор! Беру в свидетели моей радости по сему поводу и небо и вселенную; но если это вы так лихо правите санями, вы не очень-то любезны по отношению к тем, у кого лошади похуже ваших. Ну, ну, оставьте меня в покое,— добавил он, слегка отталкивая геолога, который уже норовил схватить его за шиворот,— а не то я обещаю, коли доведется мне опять встретиться с вами на озере, бросить вас там — замерзайте, если угодно, а я не стану больше наживать синяки, таская вас на плечах!

Профессор даже и не попытался узнать Христиана и продолжал доказывать ему в самых высокопарных выражениях, что все случилось по его вине; внезапно Христиан, намереваясь вместе с Олофом подобрать свою добычу, заметил среди медведей лежащего неподвижно человека высокого роста, уткнувшегося лицом в снег. В то же мгновение какой-то молодой человек, одетый в черное, бледный от испуга, поднялся по противоположному склону, куда он был сброшен при столкновении, и подбежал с криком:

— Господин барон! Где же господин барон?

— Какой барон?— спросил Христиан, подняв и поддерживая высокого человека, потерявшего сознание.

Но тут сын даннсмана подтолкнул Христиана плечом и сказал:

— Это ярл! Посмотрите, это ярл!

Молодой врач барона поспешно снял с головы своего пациента меховую шапку, которая при падении сползла ему на лицо, едва не задушив, а Христиан, узнав в этом полумертвом человеке барона Олауса Вальдемора, почувствовал такое непреодолимое отвращение, что его сильные руки чуть было не разомкнулись и не уронили барона в снег.

Барона уложили на нагроможденные медвежьи туши: лучшего ложа в данных обстоятельствах нельзя было найти; перепуганный врач умолил Стангстадиуса, который когда-то получил степень доктора медицины, помочь ему советами и опытом в этом

чрезвычайно трудном случае. Стангстадиус, ощупав все свои суставы и убедившись, что хромает не более обычного, согласился наконец заняться единственным человеком, серьезно пострадавшим при падении.

— Э, черт возьми!— сказал он, осмотрев и ощупав барона.— Дело ясное: лицо посинело, губы вздулись, предсмертные хрипы... И, однако, никаких повреждений... Да, все ясно как день: апоплексический удар. Надо немедленно пустить кровь, и побольше.

Молодой врач бросился искать свои инструменты и не нашел их. Христиан и Олоф стали помогать ему в поисках, но и их усилия не увенчались успехом.

Резвые лошади умчали сани барона далеко от места происшествия; кучер, опасаясь, как бы хозяин не приказал избить его до смерти палками за оплошность, пустился вдогонку за своей упряжкой, потеряв голову от страха и оглашая пустынную местность отчаянными проклятиями.

Меж тем смиренная лошадка даннемана осталась стоять на месте, и поэтому кто-то предложил поскорее отвезти барона в замок на крестьянских санях. Стангстадиус возразил, утверждая, что больной по дороге скончается. Врач, вне себя от волнения, собрался было догонять сани барона, чтобы там поискать свой футляр с инструментами. Наконец он обнаружил его в собственном кармане, где этот футляр уже не раз попадался ему под руку, но он от волнения не понимал, что это такое. Однако когда ему понадобилось вскрыть вену, рука его задрожала так сильно, что Стангстадиус, совершенно равнодушный ко всему, что не касалось его самого, и к тому же радуясь случаю показать свое превосходство, отнял у него ланцет и пустил барону кровь.

Христиан стоял рядом и, скрывая волнение, смотрел на странную и зловещую картину, озаренную багровым отсветом заходящего солнца: на этого человека с могучим телом и страшным лицом, корчившегося в судорогах среди беспорядочно разбросанных трупов диких зверей; на его толстую белую руку, откуда медленно лилась черная кровь, застывая на снегу; на молодого врача с кротким, испуганным лицом, который стоял на коленях возле своего грозного больного и не знал, что внушает ему больший

страх — возможная смерть пациента у него на руках или рычание медвежат, лежавших возле него; на опрокинутые сани, разбросанное оружие, лицо юного даннемана, выражающее растерянность и в то же время тайное злорадство; на тощую лошаденку всю в мыле, безмятежно жующую снег; и над этим всем — нелепую физиономию Стангстадиуса, сияющую неизменно самодовольной улыбкой, в то время как его пронзительный голос разглагольствовал в самой педантичной и непрерываемой манере. Это было незабываемое зрелище, потешное и в то же время трагическое, быть может, и непонятное на первый взгляд.

— Не стану скрывать от вас, бедный мой коллега,— говорил Стангстадиус,— у вашего больного почти нет шансов выкарабкаться! Только не думайте, что в его состоянии повинна катастрофа,— кровоизлияние неминуемо грозило ему в течение прошедших суток. Как же вы этого не предвидели?

— Я не только предвидел,— возразил молодой врач с оттенком раздражения в голосе,— я даже час тому назад говорил вам об этом, господин Стангстадиус, когда барон получил в охотничьем павильоне какое-то письмо и черты его так страшно исказились. Я не виноват, что вы позабыли. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы отговорить господина барона ехать на охоту; он и слышать не хотел, и я только добился разрешения сопровождать его в санях.

— Ну и ну, хорошенькую помощь он себе обещал! Да если бы я не увидел, что он не в силах продолжать охоту, и не предложил вернуться с вами вместе в замок, он скончался бы здесь от удушья. У вас никогда не хватило бы присутствия духа...

— Вы очень суровы с молодыми людьми, господин профессор,— прервал его вконец разобиженный врач.— Не так-то легко сохранить присутствие духа, когда тебя выбросит из саней на десять шагов в сторону, а потом, едва вскочив на ноги, надо с первого взгляда найти выход из безнадежного, быть может, положения...

— Эка важность свалиться в сугроб!— сказал господин Стангстадиус, пожимая одним плечом, так как другое не поддавалось.— Упали бы вы, как я когда-то, на дно шахты с высоты пятидесяти футов,

семи дюймов и пяти линий! Полежали бы в обмороке шесть часов, пятьдесят три минуты и...

— Черт возьми, господин профессор, сейчас лежит в обмороке мой больной, а не вы! Что прошло, то прошло. Подержите-ка его руку, пока я возьму жгут.

— Нет, все дело в том, что есть люди, которые хнычут по любому поводу,— продолжал Стангстадиус, шагая назад и вперед и не слушая собеседника.

Потом, совершенно позабыв, что только что кипел злобой против Христиана, этот вспылчивый, но не злопамятный человек весело обратился к нему:

— Ну-ка, признайтесь, ведь я даже в лице не изменился, когда на меня навалились эти четыре туши, не считая двух других — вас и вашего приятеля? Вот еще растяпы-то! Но что такое в конечном счете несколько лишних синяков? Да я о себе и думать не стал! Я тотчас же оказался в полной готовности судить о состоянии больного и пустить ему кровь! Верный глаз, твердая рука... Слушайте, где же я вас раньше видел?— продолжал он, все еще обращаясь к Христиану и совсем позабыв о больном.— Неужели это вы убили этих зверей? Прекрасная добыча! Медведица крупная, из породы пегих, синеглазых... И подумать только, что этот болван Бюффон... Где же вы ее нашли? В здешних краях это редкость!

— Разрешите ответить вам в другой раз,— сказал Христиан,— доктору нужна моя помощь.

— Ничего, ничего, пускай течет кровь,— спокойно ответил геолог.

— Нет, нет, довольно!— воскликнул врач.— Кровопускание оказало хорошее действие, посмотрите сами, господин профессор; но не надо им злоупотреблять: такое лечение сейчас столь же опасно, как и сама болезнь.

Христиан с необъяснимым, мучительным отвращением держал тяжелую, холодную руку барона, когда врач останавливал кровь.

Больной открыл глаза и осмотрелся, пытаясь понять, где он находится. Первый взгляд он бросил на свое странное ложе, второй — на окровавленную руку, третий — на трепещущего от страха врача.

— Ага!— сказал он слабым голосом, но весьма

презрительно.— Вы отворили мне кровь! Я же запретил вам.

— Это было необходимо, господин барон; вот вам, слава богу, и стало лучше!— ответил врач.

У барона не было сил спорить с ним. Угрюмо и тревожно переводил он потухший взор с одного на другого, пока не заметил Христиана и словно в каком-то оцепении устоялся в лицо ему широко раскрытыми глазами; когда же тот наклонился, чтобы помочь врачу поднять его, барон оттолкнул его судорожным взмахом руки, и слабый румянец, выступивший было на щеках его, вновь сменился синеватой бледностью.

— Вскройте опять вену!— воскликнул Стангстадиус, обращаясь к доктору.— Я сразу увидел, что вы слишком рано прекратили кровопускание. Говорил же я вам! А потом дайте больному минут пять полежать спокойно.

— Но холод, господин профессор,— сказал врач, машинально выполняя приказание Стангстадиуса,— вы не боитесь, что в таких условиях холод может привести к смертельному исходу?

— Вздор! Холод!— возразил Стангстадиус.— Наплевать мне на атмосферный холод! Куда страшнее холод смерти! Пусть течет кровь, говорю я вам, а потом дайте ему отдохнуть. Выполняйте предписание, а там будь что будет!

И он добавил, повернувшись к Христиану:

— Плохи дела у толстяка барона! Не хотел бы я сейчас оказаться в его шкуре... Ах, черт возьми! Да где же это я вас видел?

Но тут же он отвлекся, подобрав что-то на снегу:

— Что за красный камень? Обломок порфира? Здесь, среди гнейса и базальта? Или вы привезли его оттуда?— добавил он, указывая на западные вершины.— Он выпал у вас из кармана? Ага, видите, меня не проведешь! Я знаю наизусть все здешние породы на две мили вокруг!

Сани барона наконец воротились, и поэтому, когда несколько мгновений спустя его состояние снова улучшилось, кровопускание прекратили, больного уложили в сани и медленно повезли к замку, а Христиан поехал вперед с сыном даннемана.

— Ну, что?— сказал парнишка, когда они обогнали уныло ползущие сани барона.— Что я вам говорил

перед тем, как все это стряслось? Что предсказывала тетя Карин?

— Я не понял ее песни,— ответил Христиан, поглощенный своими мыслями.— Невеселая, кажется, песня.

— «Он оставил душу свою дома,— повторил Олоф, — а когда он вернется за душой своей, он ее не найдет». Разве это не ясно, господин Христиан? Ярл заболел; он хотел стряхнуть с себя болезнь; но душа его не желала идти на охоту, а сейчас она, наверно, находится на пути в пренеприятное место!

— Ты ненавидишь ярла?— спросил Христиан.— Ты думаешь, что душа его попадет в ад?

— Это уж как богу угодно! Что касается ненависти, я его ненавижу точно так же, как все, ни больше, ни меньше. Вы-то сами любите его, что ли?

— Я? Да я его совсем не знаю,— ответил Христиан, скрывая дрожь, охватившую его от сознания, что он ненавидит барона, должно быть, сильнее, чем кто-либо другой.

— Ничего, узнаете, если он выживет!— продолжал мальчик.— Он быстро дознается, кто его сбросил в снег, и тогда вам только останется дать тягу.

— Вот как! Значит, все думают, что тому, кого он невзлюбит, грозит беда?

— А как же! Отца своего он отравил, брата заколот, невестку уморил голодом, да еще немало других смертей у него на совести, о чем хорошо знает тетушка Карин и узнали бы все, если бы она только захотела рассказать; да она не хочет!

— А ты не боишься, что гнев барона обрушится на тебя, когда он узнает, что его опрокинули сани твоего отца?

— Сани тут ни при чем, да и я тоже! Это вы вздумали править! Если бы правил я, этого, быть может, и не случилось бы; но чему быть, того не миновать; если злодея постигла беда, на то, значит, божья воля!

Христиан, все еще во власти столь жестоко поразившего его подозрения, снова вздрогнул при мысли, что судьба обрекла его стать отцеубийцей.

— Нет! нет,— вскричал он, отвечая скорее на собственные мысли, нежели на слова сына даннемана,— не я повинен в его болезни! Врачи сказали, что вот уже сутки, как он обречен!

— И тетушка Карин предсказывала то же!— твердил свое Олоф.— Ничего, будьте спокойны, он уже не жилец!

И Олоф снова принялся напевать сквозь зубы печальный припев, все больше и больше напоминавший Христиану скорбные звуки, услышанные накануне на скалистом берегу озера.

— Тетушка Карин посещает когда-нибудь Стольборг?— спросил он Олофа.

— Стольборг?— удивился парнишка.— Я бы этому поверил, только если бы увидел ее там своими глазами!

— Почему?

— Потому что она не любит этот замок; она даже названия его слышать не хочет.

— Отчего же это?

— Кто знает? А ведь она там жила когда-то, во времена баронессы Хильды; но больше я ничего не сумею вам сказать, оттого что и сам ничего не знаю; у нас дома не принято говорить о Стольборге и о замке Вальдемора!

Христиан почувствовал, что расспрашивать юного даннемана о предполагаемых отношениях его тетки с бароном было бы нескромно. К тому же на сердце у него было так мрачно и печально, что просто духу не доставало что-то еще разузнавать.

Немало способствовала его меланхолии перемена, внезапно случившаяся в атмосфере. Зашло ли солнце или нет, только оно полностью исчезло среди тумана, какой подчас сопровождает в зимние дни его появления или угасание. Эта тусклая, мрачная, свинцово-серая пелена становилась все плотнее с каждым мгновением, и вскоре уже ничего нельзя было различить, кроме дна ущелья, куда туман еще не проник. Опускаясь в глубь ущелья, туман клубился тяжелыми волнами, не смешиваясь с черным дымом от огромных костров, зажженных, должно быть, для того, чтобы сберечь от холода остатки урожая или не дать замерзнуть какому-то потоку.

Христиан даже не спросил Олофа, зачем горят костры; урюмо любовался он этими багряными призраками, возникшими, подобно метеорам без лучей и отблесков, на берегу стрёма, и следил за медленной и печальной борьбой темных вихрей дыма с туманом, казавшимся белым по сравнению с ними. Оледенев-

ший поток все еще был виден; но по странной оптической иллюзии он то вился так близко от дороги, что Христиан мог, казалось бы, дотронуться до него хлыстом, то уходил в недоступные глазу глубины, хотя в действительности находился намного ближе или намного дальше, чем это чудилось в прихотливой игре тумана.

Ночь наконец наступила после долгих северных сумерек, обычно зеленоватых, а в этот вечер — мертвенно-бесцветных. Все живое в природе где-то затаилось и смолкло. Христиан чувствовал себя подавленным этой погребальной тоской, затопившей все вокруг, но мало-помалу свыкся и смирился с ней, обессилев душой. Олоф спешил, собираясь вести лошадь под уздцы по отвесному склону, у подножия которого простиралось озеро, или, вернее, бескрайняя бездна, дышавшая клубящимся паром.

Христиану представлялось, что он вот-вот сорвется с края земного шара и полетит в бездонную пустоту. Два или три раза лошадь, поскользнувшись, оседала на ноги, и Олоф уже вот-вот готов был выпустить поводья и предоставить сани и ездока на волю судьбы. Христиана же охватило безразличие, подобное смерти. Сын барона! Слова эти отпечатались черными буквами в мозгу его и убили, казалось, все мечты о будущем, всякую любовь к жизни. Это было не отчаяние, а отвращение ко всему на свете, и в этом расположении духа единственное, что он чувствовал, была непреодолимая дремота, единственное, чего жаждал, — тихо опуститься на дно озера и уснуть навеки. Он и уснул было и уже не сознавал, где находится, когда чей-то голос, неясный, как сумерки, затуманенный, как небо и озеро, запел совсем близко от него, и, вслушиваясь в слова, он постепенно стал понимать их смысл:

— «Вот солнце восходит над лугом, усеянным цветами, прекрасное, светлое солнце. Я вижу, как белые феи, увенчанные листьями ивы и цветами сирени, пляшут на мшистом ковре, серебряном от росы. С ними — дитя, дитя озера, что прекраснее утра.

Вот солнце стоит высоко в небе. Птицы умолкли, мошки жужжат в золотой пыли. Феи вступили в рощу азалий, туда, где свежестью дышит берег стрёма. Дитя дремлет у них на коленях, дитя озера, что прекраснее дня.

Вот солнце уходит на покой. Соловей поет алмазной звезде, что смотрится в воды. Феи сидят у подножия неба, на ступенях розового хрустала; они поют, баюкая дитя, а оно улыбается им из пухового гнездышка, дитя озера, что прекрасней вечерней звезды!»

Это был все тот же голос, что слышался Христиану на каменистом берегу, но теперь он казался нежнее и произносил понятные слова на приятный мотив. Это была, должно быть, современная песня, которую ясновидящая поняла и запомнила. Но тщетно пытался Христиан разглядеть какую-либо человеческую фигуру. Он даже не видел лошади, тащившей его сани, или, верней, уже не тащившей их, так как сани стояли неподвижно, а Олоф исчез. Ничуть не обеспокоенный этим, Христиан прослушал до конца все три куплета. Первый, казалось ему, был спет в нескольких шагах позади него, второй — еще ближе, третий — подальше, и постепенно голос удалялся, словно певичка уходила вперед, по пути саней.

Молодой человек чуть было не выскочил из саней, чтобы перехватить эту невидимую певичку; однако нога его встретила не твердую почву, а пустоту, и, словно нежные слова песни вернули ему инстинкт самосохранения, он невольно протянул вперед руки, стараясь понять, где находится. Он нащупал влажный круп лошади и тихим голосом стал звать Олофа, но ответа не было. Тогда, понимая, что певичка удаляется, он обратился к ней, называя ее *Вала* Карина, но она не слышала или не хотела ответить. Тогда Христиан решил выйти из саней с противоположной стороны и, оказавшись на дороге, проложенной по крутому склону, сделал по ней шагов двадцать, зовя Олофа с возрастающей тревогой. Неужели, пока он ненадолго задремал, мальчуган упал в пропасть?

Наконец в тумане блеснула еле заметная светлая точка, и вскоре навстречу ему вышел Олоф с зажженным фонарем.

— Это вы, господин Христиан? — спросил мальчик, испугавшись, когда Христиан так внезапно и бесшумно возник перед ним. — Напрасно вы вышли из саней, когда ни зги не видать; здесь передвигаться опасно, недаром же я сказал, чтобы вы оставались на месте, пока я не схожу на соседнюю мельницу и не зажгу фонарь. Разве вы не слышали?

— Нет; а ты слышал, как кто-то пел?

— Да, только я не стал слушать. Возле озера часто слышатся голоса, да лучше не понимать, что они поют, а то уведут тебя туда, откуда уже не вернешься.

— Ну, а я слушал,— сказал Христиан,— и узнал голос твоей тетушки Карин. Она, должно быть, где-то поблизости... Понщем ее, раз у тебя есть фонарь, или позови ее — она, быть может, отзовется на твой голос!

— Нет, нет!— воскликнул мальчик.— Ее надо оставить в покое. Если она грезит, а мы разбудим ее, она убьется!

— А разве она не убьется, бродя во тьме по краю ущелья?

— Нет, ей видно то, чего нам не видать; оставьте ее, если не хотите причинить ей зла и помешать вернуться домой, а вернется она туда задолго до меня, как всегда!

Христиану пришлось отказаться от поисков ясно-видящей, тем более что свет фонаря был почти что неразличим в тумане и едва можно было разглядеть, куда ступаешь. Он помог Олофу осторожно довести сани до берега; мальчик, свободно находивший дорогу во тьме, спросил, сядет ли Христиан в сани, чтобы поехать в бустёлле майора.

— Нет, нет,— ответил Христиан,— мне нужно в Стольборг. Куда идти, направо?

— Нет,— сказал Олоф,— старайтесь идти прямо вперед и отсчитайте триста шагов. Если вы потом сделаете еще два шага и не встретите скалы, вы заблудились.

— И что тогда делать?

— Смотрите, в какую сторону движутся клубы тумана. Ветер дует с юга, и сейчас почти тепло. Если туман пройдет слева от вас, надо будет взять вправо. Впрочем, на озере безопасно, лед держит повсюду.

— А ты, дружок, доберешься сам?

— До бустёлле? Ручаюсь! Лошадь знает дорогу отсюда, и видите, ей не терпится пуститься в путь.

— А домой ты сегодня не вернешься?

— Вернусь! Туман, наверно, рассеется, да и луна скоро выйдет, а так как сейчас полнолуние — будет совсем светло.

Христиан пожал руку юному даннеману, дал ему далер и, следуя его наставлениям, добрался до Стольборга, не заблудившись и никого не встретив.

XV

Гёфле присматривал за подготовкой своей четвертой трапезы и с самым серьезным видом учил Нильса правилам хорошего тона, а тот стоял навтыжку с салфеткой под мышкой и не изъяснял особого недовольствия по поводу неожиданного урока.

— Эй, скорей сюда, Христиан!— воскликнул доктор прав.— Я уж собирался пить кофе в одиночку! А между тем я ведь сам его сварил на двоих. За превосходное его качество я ручаюсь, а вам к тому же необходимо согреть желудок.

— Иду, иду, дорогой доктор,— ответил Христиан, сбрасывая изодранную куртку и принимаясь за мытье окровавленных рук.

— Бог ты мой!— продолжал Гёфле.— Никак вы ранены? Или вам довелось, часом, прирезать всех медведей Себенберга?

— Вы близки к истине,— ответил Христиан,— но, пожалуй, тут примешалось немного и человеческой крови. Ах, господин Гёфле, это целая история.

— Как вы бледны!— вскричал адвокат.— Вам выпало на долю нечто более важное, чем совершить охотничий подвиг... Что это? Ссора?.. Несчастье?.. Да говорите же... У меня уж аппетит пропал!

— Нет, то, что со мной случилось, вовсе не должно так действовать на вас. Кушайте на здоровье, господин Гёфле, а я постараюсь составить вам компанию, и рассказ свой поведам по-французски из-за...

— Да, да,— подхватил Гёфле по-французски,— из-за красных ушей вот этого дурачка; говорите, я вас слушаю.

Пока Христиан рассказывал, весьма точно и во всех подробностях, о своих приключениях и догадках, соображениях и тревогах, вдали послышались звонкие фанфары. Исчезновение барона в лесу, во время охоты, ничем не отличалось от его обычных исчезновений из гостиной. Убив оленя, обессилив от холода и усталости, а главное — желая поскорее заняться делом, о котором сообщил ему Юхан в своем послании, он уселся в сани, словно для того, чтобы

отъехать подальше, и велел передать остальным, чтобы о нем не беспокоились и продолжали свои охотничьи забавы. Ларсон и лейтенант к тому времени присоединились к этой охоте и увидели, что предсказание их оправдалось: медведя и следа не было, а добыча состояла из нескольких белых оленей и множества крупных зайцев.

Когда туман стал сгущаться, люди осмотрительные поспешили вернуться в замок, но часть молодежи, в сопровождении окрестных крестьян-загонщиков, задержалась на горных склонах, и поэтому Ларсон предложил остановиться у подножия хогара и подождать, пока выйдет луна или пока порыв ветра, предшествующий обычно ее появлению, не развеет густую пелену, вставшую над озером. Кое-кто предпочел зажечь фонари на санках и направиться к замку; с Ларсоном осталось не более двенадцати человек. Крестьянам щедро раздали водку и отправили их по домам. Слуги и псары протрубили конец охоты и зажгли на кургане исполнинский костер, возле бесформенных остатков снежной статуи, а блестящая молодежь собралась в пещере, у входа в которую сложили пирамиду из дичи, и предалась оживленной беседе, весело обсуждая события минувшей охоты.

Но рассказ майора оказался настолько занимательнее остальных, что вскоре все умолкли, чтобы внимательно выслушать его. В числе слушателей и слушательниц находились Ольга с Мартиной, а также Маргарита, которая получила от тетки разрешение остаться на хогаре в обществе мадемуазель Потен и дочери пастора.

— Итак, господа,— сказала Ольга майору и лейтенанту,— вы исподтишка совершили опаснейшие подвиги и обещаете представить нам завтра доказательство, если мы согласимся прогуляться до вашего дома?

— Скажите лучше — несколько доказательств! — ответил майор. — Огромную добычу: светлую медведицу с голубыми глазами, рослого черного медведя и двух живых медвежат, которых мы намерены вырастить, а потом отпустить на свободу, чтобы охотиться на них, когда они подрастут.

— Но кто же убил и захватил всех этих зве-

рей?—спросила Мартина Акерстром, белокурая невеста лейтенанта.

— Лейтенант захватил одного из медвежат,— ответил майор, выразительно улыбнувшись приятелю.— Капрал Дуф и я — второго, крестьянин, который привел нас туда, ранил медведицу и напал на черного медведя; но эти свирепые звери его неизбежно растерзали бы, если бы не подоспел еще один из наших друзей, который заколол медведицу и прострелил голову медведю на расстоянии полупальца от головы бедняги крестьянина.

Несомненно, если бы о выстреле Христиана довелось рассказывать в третий раз, расстояние между его пулей и головой даннемана стало бы вовсе ничтожным; майор меж тем считал, что говорит чистую правду, а когда слушатели недоверчиво зашумели, лейтенант стукнул кулаком по столу и поклялся, что если в оценке майора и есть какая-то неточность, то расстояние преувеличено, но уж никак не преуменьшено. Лейтенант также полагал, что придерживается истины: разве мог ошибиться его друг Осмунд?

— Как бы то ни было,— сказала Маргарита,— тот, кто убил этих чудовищ,— человек, по-видимому, отважный и хладнокровный, и я с радостью поздравила бы его от всей души. Скрывает ли он свое имя из скромности, или же его нет сейчас среди нас?

— Да, его здесь нет,— ответил майор.

— Правда?— спросила Мартина Акерстром с наивным видом, поглядывая на своего жениха.

— Увы, к сожалению, это правда,— ответил крепкий с не менее простодушным вздохом.

— Но разве он потребовал, чтобы имя его осталось неизвестным?— продолжала Маргарита.

— Мы ни за что не согласились бы на это,— ответил майор,— мы слишком привязаны к нему; просто, когда владение маленькой тайной, которая, к счастью, возбуждает любопытство дам, хочется набить себе цену, а поэтому, не правда ли, лейтенант, мы с вами будем молчать до тех пор, пока кто-нибудь не попытается угадать имени нашего героя?

— Это, быть может, господин Стангстадиус!— со смехом сказала мадемуазель Потен.

— Нет,— возразил кто-то из присутствующих,— профессор был с нами на охоте и уехал вместе с бароном Вальдемора.

— Что ж тут такого?— сказала Ольга.— Может быть, он и присоединился затем к этим господам. Кто знает! Вдруг это был сам барон?

— Такие подвиги ему уж не по летам,— сказал, подчеркнув смысл своих слов, один из молодых людей, который был не прочь приволочнуться за Ольгой.

— Почему же?— возразила она.

— Я бы не сказал, что подвиги эти ему не по летам,— заметил Ларсон,— но мне кажется, что они ему всегда были не по вкусу. Я никогда не слыхал, чтобы барон участвовал в новомодной охоте на медведя, не прячась за крепкой, туго натянутой веревочной сеткой.

— Что?— спросила Маргарита.— Вы охотились без сеток?

— Да, на манер горцев,— ответил майор.— Это славный вид охоты.

— Но очень опасный!

— Сегодня опасности подвергались не мы, а наш приятель, и мы завтра покажем вам его изорванную куртку оленьей кожи: когда вы увидите, в какое кружево превратился этот панцирь под медвежьими когтями, вы поймете, что наш друг схватился со зверем врукопашную!

— Но это безумие так рисковать собой!— воскликнула Маргарита.— Ни за что на свете не хотела бы я присутствовать при таком зрелище!

— А имя этого Мелеагра?— спросила Ольга.— Что же, мы так его и не узнаем?

— Признайтесь, что вы еще не делали особых усилий, чтобы узнать его,— ответил майор.

— Вы правы, но я вижу здесь всех гостей барона, способных на проявление такой отваги, а вы меж тем утверждаете, что вашего героя нет среди нас.

— Вы забыли еще одного, кто был зато вчера вечером в замке,— сказал лейтенант.

— Как я ни стараюсь, мне не отгадать,— продолжала Ольга,— разве только это был таинственный человек в черной маске, ученый скоморох Христиан Вальдо!

— А почему бы и нет?— сказал майор, поглядывая украдкой на вспыхнувшую румянцем Маргариту.

— Неужели он?— воскликнула она с живой непосредственностью.

— Клянусь богом!— обратилась к ней Ольга, грубовато, но без всякого недоброжелательства, ибо не таила никакого зла.— Похоже, душенька, что вас это занимает чрезвычайно...

— Вам ведь известно,— вовремя вставила словцо добродушная мадемуазель Потен,— что графиня Маргарита боится Христиана Вальдо.

— Боится?— удивленно переспросил майор.

— Разумеется,— продолжала гувернантка,— и, признаюсь, со мной происходит то же самое. Я всегда боюсь масок.

— Но вы даже не видели маски Христиана!

— Тем более!— ответила она смеясь.— Всегда боишься того, чего не видел. Об этом умном комедианте ходят такие удивительные рассказы! К тому же говорят, что лицо его сходно с черепом мертвеца! Разве этого мало, чтобы увидеть в нем страшный сон и задрожать при одном упоминании его имени?

— Напрасно!— сказал майор.— Дрожать вам более не придется, дорогие дамы: вчера мы весь день созерцали лицо Христиана Вальдо, и, что бы там ни говорил господин барон, этот пресловутый череп мертвеца — на деле голова юного Антиноя. Не правда ли, лейтенант, Христиан Вальдо — писанный красавец?

— Так же красив, как приветлив, образован и отважен,— ответил лейтенант.

А капрал Дуф, стоявший снаружи, покуривая трубочку, как бы помимо воли присоединил свой голос к остальным, восхваляя сердечность, благородство и скромность Христиана Вальдо.

Маргарита же ничего не сказала и ни о чем не спросила; она тщательно застегивала свою шубку, так как все собирались уходить, но не пропустила ни единого слова из похвал, которыми осыпали ее вчерашнего знакомого.

— Как же случилось,— спросила Ольга, выходя за ней следом,— что человек образованный и приличный занялся ремеслом не скажу постыдным, но легковесным и к тому же, наверно, не приносящим значительных доходов?

— Это не ремесло,— с живостью возразил майор,— а просто развлечение!

— Но, простите, ему за это платят!

— Что ж такого? Нам, военным, тоже платят за то, что мы несем государственную службу. Разве наши земли и доходы с них не являются жалованьем за наши труды?

— Есть разница между «жалованьем» и «наградой», — сказала Маргарита задумчиво и печально. — Но мороз дает себя чувствовать, не пора ли нам ехать? По-моему, озеро уже не представляет никакой опасности.

Майор понял — или так ему показалось, — что Маргарите очень хочется побеседовать с ним, и поэтому он подал ей руку, чтобы проводить до саней, и попросил у мадемуазель Потен разрешения занять в этих санях место для возвращения в замок. В нескольких словах он поспешно дал понять лейтенанту, чтобы тот усадил Ольгу в свои сани вместе с Мартиной Акерстром, и добряк лейтенант, не вдумываясь в причину, тотчас же выполнил его желание как приказ.

Итак, Осмунд мог на свободе с жаром вступить за Христиана Вальдо перед Маргаритой и ее верной наперсницей, мадемуазель Потен. Для этого достаточно было передать им свой разговор с Вальдо и благородное, хоть и эксцентрическое решение последнего начать суровую, полную лишений жизнь вместо поисков приключений, которые он сам осудил.

Маргарита слушала его, держась внешне спокойно, как если бы шла речь о деле, вовсе до нее не касающемся; но она отнюдь не была опытной притворщицей, и майор, тактично сделав вид, будто ничего не замечает, отлично понял, как живо занимает ее предмет их беседы, хоть она и старалась это скрыть.

Меж тем барона Олауса уложили в постель, и он, казалось, успокоился. На вопросы наследников врач, как обычно, подчиняясь полученному приказу, отвечал весьма уклончиво. Им было известно, что *почитаемый и любимый* дядюшка вернулся домой таким слабым, что его пришлось внести в дом, раздеть и уложить в постель, как ребенка; но, по словам врача, это было всего лишь легкое недомогание, которое скоро пройдет, как уже бывало. Юхан распорядился, чтобы игры и забавы продолжались без помех. На восемь часов вечера был назначен спек-

такль марионеток. Доктор Стангстадиус мог бы, разумеется, раскрыть всем, насколько серьезно состояние барона; но, едва воротившись с охоты, он поднялся в обсерваторию замка, дабы погрузиться в изучение такого феномена, как «сухой туман», который он приписывал, возможно, не без оснований, вулканическим испарениям, идущим с озера Веттерн.

По-настоящему встревожен был только Юхан. Врач отправился переодеться и закусить и оставил его наедине с больным. Юхан решил воспользоваться этим и узнать, в своем ли уме барон.

— Ну как, барин?— спросил он со свойственной ему фамильярностью, которой он бесстрашно злоупотреблял, имея на это достаточно веские причины.— Неужто мы на этот раз помирать будем? Неужели ваш старый Юхан не вырвет у вас этакой славной усмешечки, означающей: «Плевать мне на болезни! Я еще сам схороню всех болванов, которые надеются, что меня уже черти забрали»?

Барон сделал тщетную попытку изобразить эту торжествующую усмешку, но вместо нее получилась угрюмая гримаса, сопровождаемая глубоким вздохом.

— Вы меня слышите?— продолжал Юхан.— Это уже кое-что.

— Да,— ответил барон слабым голосом.— Но мне на этот раз очень плохо! Этот осел доктор...

И он попытался показать Юхану руку.

— Он вам пустил кровь?— сказал тот.— Он считает, что это спасло вас. Будем надеяться; только надо, чтобы вы сами того хотели... Вы ведь знаете, единственное ваше лекарство — это ваша воля, способная творить чудеса!

— Ее уж больше нет!

— Воли-то, у вас? Пустое! Коли вы такое говорите, это означает, что вы чего-то очень хотите, а чего — я вам сейчас сам скажу: вы хотите, чтобы этих двух или трех итальянцев...

— Да, да, всех!— подхватил барон, внезапно ожившись.

— То-то же!— продолжал Юхан.— Я знал, что сумею привести вас в чувство! Доказательство вы видите?

— Бесспорное...

— Почерк Стенсона?

— И подпись... Все подробности!.. Странно, странно... Но сомнений нет...

— Где оно, это доказательство?

— В моем охотничьем кафтане.

— Не нахожу.

— Плохо ищешь. Там оно. Все равно! Слушай: мне худо... Стенсона в башню!

— Сейчас?

— Нет, во время представления.

— А остальных?

— Потом.

— Их тоже в башню?

— Да... Предлог...

— Проще простого. Среди пожитков этих скомо-
рохов найдут золотую вещицу. Ясно, они ее украли.

— Хорошо.

— А если они что-то заподозрят? Если не придет
ни настоящий Християн, ни подставной?

— Где они?

— Кто их знает, в таком тумане! Я дал приказ
следить, но час тому назад в Стольборг еще никто
не воротился, хотя он оцеплен со всех сторон.

— Тогда... что будешь делать?

— Коли не станет доказательства, иначе говоря —
бумаги и человека, который вам ее отдал, не станет
и тайны. Раз Християну Вальдо ничего не известно.

— А ты уверен?

— Вот мы его поймем и расспросим.

— Но не поймали же!

— Может быть, и поймали... Я сейчас сам отпра-
влюсь в Стольборг проверить.

— Ступай скорее... А что, как он откажется
явиться вечером в замок?

— Тогда в Стольборг пойдет капитан Химера и
прихватит с собой...

— Отлично. Адвокат?

— Я ему заранее скажу, что вы его требуете к
себе. Только надо все предусмотреть... Что, если он
ослушается?

— Это докажет...

— Что он заодно с вашими врагами. Что тогда?

— Тем хуже для него!

— Опасно, его все знают!

— Не трогать его; пусть только не лезет не в свое
дело.

— Не знаю, удастся ли. Попробую. Сейчас пойду в Стольборг и суну в мешок, который навьючат на осла, ваш золотой кубок. Это послужит предлогом; только может подняться шум, Христиан-то драчун, а от Стольборга досюда — рукой подать.

— Тем лучше! Быстрее удастся заткнуть ему рот...

— Майору и лейтенанту понравился этот шут. Надо удачно выбрать время. В замке будет играть духовой оркестр, а снаружи пустим фейерверк, хлопушки, шутихи...

— Хорошо придумано!

— Как вы себя чувствуете?

— Лучше... И даже что-то вспоминается... Постой-ка, Юхан... Я ведь снова видел это лицо... Но где же? Постой же, говорю! Неужто пригрезилось? Проклятие! Не могу... Юхан, рассудок отказывает мне... В голове мутится, как позавчера.

— Ладно, не тревожьте себя понапрасну, я-то уж разберусь, это мое дело. Ну, успокойтесь, вы справитесь с этим припадком, как и с предыдущими. Я сейчас пришлю вам Якоба.

Юхан вышел. Барон, обессиленный после утомительной беседы, упал без чувств на руки Якоба. И врач, которого поспешили позвать, с трудом привел его в сознание. Затем его охватил приступ лихорадочной энергии.

— Подите прочь, доктор, — сказал он. — Мне тошно смотреть на вас... Рожа у вас противная... У всех такие рожи... А он, говорят, хорош собой; только это ему не поможет. После смерти быстро становишься безобразным, не так ли? А что, если я умру до него?.. Не завещать ли ему мое богатство?.. Вот была бы потеха! Но если я выживу, ему придется умереть, тут уж ничего не поделаешь! Ну-ка, отвечайте, доктор, вы думаете, что я помешался?

Барон еще несколько мгновений бормотал что-то бессвязное, потом впал в горячее забытие. Было шесть часов вечера. Приглашенные сели за чай и легкую закуску, предшествующую ужину.

Мы весьма сожалеем о том, что нам столь часто приходится усаживать читателя за стол, но если мы пропустим хоть одну трапезу, мы отклонимся от истины. Мы вынуждены напомнить читателю, что по обычаю в Швеции полагается есть и пить каждые

два часа, и в прошлом веке никто не нарушал этого обычая, тем более в зимнее время и в сельской местности.

Прелестные женщины могли похвалиться изрядным аппетитом и не становились от этого менее поэтичными в глазах поклонников. Бледность и темные круги под глазами не были в моде. Яркий, нежный румянец, сиявший на лицах прекрасных шведок, отнюдь не мешал им властвовать над сердцами и умами молодых людей, и если вся эта молодежь и не была романтична, романов в ее среде было все же немало.

Итак, миниатюрная Маргарита и длинноногая Ольга, белокурая Мартина и другие нимфы сих застывших во льду озер, откушав кофе в пещере на хогаре, принялись за творог со сметаной в раззолоченных парадных покоях замка, и каждая по-своему мечтала о любви, но ни одна из них не считала воздержание от пищи необходимым условием для пылких чувств.

Гости нового замка уже не были столь многочисленны, как в первые дни рождественских праздников. Некоторые матери поспешили увезти своих дочерей, заметив, что барон Олаус не обращает на них внимания. Зато дипломаты обоего пола, связанные с бароном деловыми интересами, и возможные наследники, которых барон называл, подшучивая над ними, «невозможными» наследниками, держались стойко, несмотря на уныние, охватившее замок. Графиня Эльведа была весьма раздосадована задержкой деловых переговоров с таинственным хозяином дома, но утешалась, покоряя своими чарами русского посла. Что касается пожилых дам, они проводили утренние и послеполуденные часы, нанося и возвращая визиты в отведенных им помещениях и соблюдая при этом необходимую церемонность и торжественность. Беседа между ними неизменно касалась одних и тех же тем: прекрасная зимняя погода, необычайное гостеприимство хозяина замка, его исключительный ум, «склонный к лукавой шутке», его «нездоровье», которое он переносил с таким мужеством, озабоченный тем, как бы не испортить «удовольствия» своих гостей,— и при этом каждая старалась подавить раздирающую рот зевоту. Затем переходили на политику и спорили весьма ожесточенно, что не мешало тут

же заговорить о религии весьма поучительно. Но чаще всего злобно сплетничали с тем, кто только что вошел, о тех, кто только что вышел.

Этой атмосфере нравственного холода успешно противостояли только человек двадцать юношей и девушек, которые, с одобрения своих семейств или без оного, быстро установили между собой нежные сердечные связи и, свободно встречаясь чуть ли не в любой час дня, служили друг другу поверенными и помощниками. К этой славной молодежи присоединилось несколько человек более зрелого возраста, доброжелательных и веселого нрава: гувернантки, подобные мадемуазель Потен, семейство пастора, которое уважали и приветствовали на всех сельских сборищах, кое-кто из стариков соседей, чуждых честолюбию и интригам, молодой врач барона, когда ему случалось вырваться из когтей своего требовательного и коварного пациента; наконец — знаменитый Стангстадиус, которого изредка удавалось заполучить и удержать, осыпая его в шутку преувеличенными восторгами, в искренности которых он никогда не сомневался, даже когда превозносили его приятную самость.

Итак, гости, собравшиеся к чаю, отлично провели время за столом, хотя геолога среди них и не было, и «молодое поколение», как их называли пожилые матроны, не заметило встревоженных лиц тех лакеев, которые не верили в «легкое недомогание» хозяина, хотя притворялись, что верят, ибо знали, что среди них есть тайные соглядатаи.

Встав из-за стола, молодежь заявила, что охотничьи рассказы всем наскучили, и Мартина предложила повторить игру, которая накануне имела большой успех и заключалась в том, что одни прятались в переходах и галереях замка, а другие их искали. Повинуясь какому-то инстинкту, все избегали флигеля, где находились личные покои барона, чтобы его не потревожить, а возможно, хоть об этом не говорилось в открытую, радовались предлогу держаться подальше от парадных комнат, занимаемых родителями. В длинных, темных, безлюдных галереях, тянувшихся вокруг замка и связанных всевозможными переходами с нижними этажами, где располагались такие хозяйственные помещения, как кладовые, прачечные и тому подобное, вполне хватало простора,

чтобы искать друг друга, и закоулков, чтобы прятаться. Молодые люди разделились на две группы и бросили жребий, чтобы решить, кто за кем будет охотиться; Маргарита оказалась в одной компании с Мариной и ее женихом, лейтенантом.

XVI

В то время как молодое поколение предавалось в новом замке этим невинным забавам, Гёфле и Христиан пытались разобраться в догадках последнего относительно тайны его рождения. Гёфле не был согласен с рассуждениями своего юного друга. Он полагал, что они — плод фантазии, скорее остроумной, нежели логичной, и был, казалось, весьма озабочен какой-то мыслью, поделиться которой он одновременно хотел и опасался.

— Христиан, Христиан,— промолвил он, качая головой,— не мучьте себя понапрасну этими кошмарами. Нет, нет! Вы не сын барона Олауса, даю голову на отсечение!

— Однако же,— возразил Христиан,— разве у меня с ним нет сходных черт? Я с ужасом смотрел на него, когда он лежал без чувств и кровь его лилась на снег; жестокое, насмешливое выражение лица его сменилось глубочайшим спокойствием, какое дарит смерть. По правде говоря, мне всегда думалось, что ни один человек, если только он не художник-портретист или не проводит всю жизнь перед зеркалом, не может иметь отчетливого представления о собственной физиономии; и все же мне казалось, что определенные черты смутно запечатлелись в моей памяти, и черты эти принадлежат мне. Вот то же самое я испытал, впервые увидев этого человека. Я не сказал себе: «Где-то я его уже видел», нет, я сказал: «Я его знаю, я знал его всегда».

— Что ж такого, что ж тут такого,— возразил Гёфле,— я ведь тоже, черт возьми, нашел, увидев вас впервые, да и сейчас даже нахожу, глядя на ваше серьезное, озабоченное лицо, если не сходство, то какое-то поразительное, необычайное подобие, и вот именно потому-то и утверждаю, друг мой: «Нет, вы не его сын!»

— На этот раз, господин Гёфле, я уж совсем вас не понимаю.

— О, неудивительно, я сам себя не понимаю! И все же меня преследует какая-то навязчивая мысль... Если бы этот чертов Стенсон наконец заговорил! Но я сегодня понапрасну изводил его целых два часа, он только нес всякий вздор. То он плетет какую-то несусразицу, то решительно не желает отвечать и прикидывается глухим и непонятливым. Если бы я раньше знал о существовании Карин и ее связи с этим делом, я бы попытался что-нибудь вытянуть из Стенсона, хотя бы касательно ее. Так вы говорите, со слов сына даннемана, что она могла бы раскрыть немало тайн, стоит ей захотеть? К несчастью, у нее тоже не все дома, или же она смертельно напугана чем-то и поэтому молчит! И все же нам необходимо разрешить наши сомнения, дорогой мой Христиан, ибо если только я не рехнулся, вы находитесь у себя на родине и вот-вот узнаете, кто вы такой. Ну, подумаем-ка еще, помогите мне, вернее, выслушайте меня. Ваше лицо послужило поводом для смущения и тревог в новом замке, а потому вам следует узнать...

В это время кто-то дернул дверь, пытаюсь войти без стука, затем постучался; но оказалось, что осматрительный Гёфле, незаметно для Христиана, запер дверь изнутри. Христиан хотел отворить, но Гёфле остановил его.

— Станьте под лестницу,— сказал он,— и представьте действовать мне.

Христиан, весь во власти занимавших его дум, машинально повиновался, и Гёфле отпер дверь, но не впустил в комнату стоявшего на пороге Юхана.

— Опять вы?— резко и сурово сказал Гёфле.— Что вам нужно, господин Юхан?

— Простите, господин Гёфле; я хотел бы поговорить с Христианом Вальдо.

— Его здесь нет.

— Однако, как мне известно, он вернулся в Стольборг, господин Гёфле.

— Можете искать его где вам угодно, только не у меня. Я занят и прошу мне не мешать. Вот уже третий раз вы меня отрываете от занятий.

— Тысяча извинений, господин Гёфле; но коль скоро вы живете с ним в одном помещении, я счел возможным явиться сюда, дабы передать этому ко-медианту приказання господина барона.

— Приказания,казания... Какие там еще приказания?

— Первое — подготовить театр к спектаклю, второе — явиться в новый замок ровно к восьми часам, как вчера, и третье — сыграть что-нибудь очень веселое.

— Вы повторяетесь, любезный. Вы мне уже сегодня это дважды говорили, в тех же выражениях... Но точно ли вы соображаете, что говорите? Разве барон не находится в очень тяжелом состоянии? И хорошо ли вам известно все, что происходит в новом замке, пока вы как тень бродите по старому?

— Я только что расстался с господином бароном, — ответил Юхан с обычной нагловато-смиренной улыбкой. — Господин барон отлично себя чувствует и сам послал меня сюда, почему я и вынужден досаждать вам, к величайшему моему сожалению. Впрочем, я должен добавить, что господин барон выразил живейшее желание побеседовать с почтеннейшим господином Гёфле, пока будут играть спектакль.

— Хорошо, я приду. Мое почтение.

И Гёфле захлопнул дверь перед носом Юхана, к великому разочарованию последнего.

— Зачем такие предосторожности? — спросил Христиан, выходя из тайника, откуда он слышал весь разговор.

— Затем, что здесь творятся какие-то непонятные мне дела, о которых я как раз и собирался вам рассказать, — ответил юрист. — В течение всего дня сей Юхан, отъявленный каналья, если судить по словам Стенсона, да и по собственной роже этого мерзавца, только и делал, что бродил по Стольборгу, а предмет его любопытства — не кто иной, как вы. Сперва он расспрашивал о вас Стенсона, который вас не знает и которому только сегодня стало известно — именно от Юхана, — что мы с вами живем здесь. Означенный Юхан вел затем долгую беседу с вашим слугой Пуффо в конюшне и с Ульфиллом на кухне, в горде. Он бы и Нильса втянул в разговор, если бы я весь день не держал мальчишку при себе. По-моему, этот проныра попытывался чего-то даже от вашего осла!

— К счастью, мой славный Жан не из болтливых, — сказал Христиан. — Не знаю, отчего вас беспокоят попытки этого лакея увидеть мое лицо: я привык к такому любопытству с тех пор, как стал носить

маску; но теперь я решил раз и навсегда избавиться от этой ребяческой таинственности и не менее ребяческих преследований. Раз мне уж надо вернуться вечером в замок, я вернусь туда с открытым лицом.

— Нет, Христиан, не делайте этого, я вам запрещаю; будьте осторожны еще два-три дня! Здесь скрывается очень важная тайна, и я буду не я, если ее не раскрою; только надо, чтобы никто не увидел вашего лица. Вам даже Ульфю больше не следует попадаться на глаза. Я же с вами не расстанусь ни на одно мгновение, не спущу с вас глаз. Вам, несомненно, грозит какая-то опасность. В галереях Стольборга я заметил не только косые взгляды Юхана, но кое-что еще. Если не ошибаюсь, сегодня, когда стемнело, вокруг замка по льду прогуливался взад и вперед некий верзила, которому его хозяин барон присвоил фантастическое прозвище капитана Химеры. Вполне возможно, что наше вчерашнее представление запалило пороховую бочку. Барон вас в чем-то подозревает, и лучше всего будет, поверьте мне, если вы скажетесь больным и не пойдете в новый замок.

— Тут уж прошу меня извинить, господин Гёфле, но мне не страшна никакая затея барона. Если мне действительно посчастливилось и я не его сын, я готов смело выступить против него и не постесняюсь дать по рукам любому, кому вздумается хотя бы приподнять занавес моего театра, чтобы взглянуть на меня, пока мне все еще угодно хранить инкогнито. Не забудьте, я сегодня убил двух медведей, и это несколько возбудило меня. Ну-с, дорогой дядюшка, время идет, и у меня едва ли осталось два часа, чтобы подготовиться к спектаклю. Пойду поищу канву пьесы в моей библиотеке, сиречь в глубине ящика, а вы уж, будьте любезны, сыграйте со мной эту пьесу, какова бы она ни была.

— Христиан, сегодня у меня к этому не лежит душа. Сегодня я не «выдумщик», но адвокат до мозга костей, иначе говоря — исследователь реальных фактов. Ваш слуга Пуффо, на мой взгляд, не слишком пьян; он где-то поблизости, в горде. Так вот, сейчас я выйду и позову его сюда, чтобы он вам помог, если уж вы непременно хотите сегодня «выдумывать». Впрочем, это, быть может, не так плохо... Это вас займет и отвлечет от вас подозрения. Как вы думаете, Пуффо предан вам?

— Понятия не имею.

— Но он не сбежит, если кто-нибудь затеет с вами ссору? Он не трус?

— Право, не знаю; но не тревожьтесь, господин Гёфле. У меня при себе норвежский нож, которым меня снабдили перед охотой, и ручаюсь вам, что сумею защитить себя без посторонней помощи.

— Берегитесь внезапного подвоха. Это, на мой взгляд, единственное, что вам грозит. А мне уже на месте не сидится! С тех пор как вы сказали мне, что у даннемана в полной тайне воспитывался ребенок... и пальцы у него были согнуты, как у вас...

— Как знаты!— сказал Христиан.— Быть может, мне все это приснилось, и теперь грезам пора рассеяться! Вот лежат на дне ящика бедные мои куклы, за которых я нынче буду говорить в последний или предпоследний раз, ибо во всех моих сегодняшних рассуждениях, господин Гёфле, это единственная реальная и здравая мысль. Я снимаю шутовской колпак и берусь за отбойный молоток рудокопа, за топор дровосека или кнут заезжего торговца. На все остальное мне наплевать! Не все ли мне равно, кто мой отец — милейший дух озера или злобный ярл! Я хочу стать порождением собственных трудов, и не стоит, право, ломать себе голову, чтобы прийти к такому простому и логичному выводу.

— Хорошо, Христиан, очень хорошо!— воскликнул Гёфле.— Мне по душе такие речи; но домыслы мои остаются при мне: я их храню, я в них копаюсь, я их питаю... а сейчас пойду и проверю их. Возможно, это вздор,— пускай! Я все равно хочу еще раз повидать Стенсона и вырвать у него тайну, которую он хранит; на сей раз я знаю, как взяться за дело. Я вернусь самое позднее через час, и мы вместе отправимся в замок. Я погляжу на барона, зайду к нему узнать, что ему от меня надобно. Он считает себя хитрецом; ничего, я его перехитрю. Итак, смелей! До свидания, Христиан. Эй, Нильс, посвети мне! Да вот и почтеннейший Пуффо, если не ошибаюсь!

И впрямь, Гёфле, выходя, столкнулся в дверях с Пуффо.

— Слушай, ты!— обратился Христиан к своему слуге.— Как ты себя нынче чувствуешь, получше?

— Все в порядке, хозяин,— ответил ливорнец еще более грубым тоном, чем обычно.

— Тогда, любезный, берись за дело! Время терять нельзя. Сыграем мы «Безрассудный брак», ты эту пьесу знаешь назубок, и репетировать тебе не нужно.

— Не нужно, если вы туда не подсыпете чего-нибудь нового.

— За это поручиться не могу; но готовых реплик не трону, будь спокоен. Теперь ступай поскорее в новый замок с ослом и поклажей; собери подмости, расставь декорации. Вот, я все уже подобрал. Возьми этот тюк; я же одену кукол и приду вскоре после тебя. У нас еще достанет времени, чтобы перечитать там канву пьесы, если возникнет надобность. Ты ведь знаешь, что проходит не менее четверти часа, пока эти великосветские зрители наконец рассядутся и замолчат.

Пуффо сделал несколько шагов к двери и остановился в нерешительности. Когда он, сам того не подозревая, был пленником Юхана в Стольборге, тот постарался в разговоре настроить его против хозяина, и сейчас Пуффо не терпелось затеять ссору; но ловкость и решительность Христиана были ему хорошо знакомы, и к тому же, возможно, в тайниках этой грубой и продажной души невольно теплилось дружеское чувство к хозяину. Наконец он расхрабрился:

— Это еще не все, господин Христиан,— сказал он.— Я хотел бы знать, какой мошенник водил вчера с вами кукол вместо меня?

— Ага!— ответил Христиан.— Тебя это наконец стало беспокоить? А я было решил, что тебе и вовсе неведомек, состоялось вчера представление или нет.

— Состоялось, я знаю, и притом без меня!

— Ты уверен?

— Я, может, вчера и выпил лишнего,— сказал Пуффо, повысив голос,— это я признаю, но сегодня-то мне сказали правду, так что я теперь все знаю.

— Правду!— засмеялся Христиан.— Можно подумать, будто я что-то скрыл от вашей милости! Я сегодня не имел чести видеть вас, синьор Пуффо, а если бы и видел, я вовсе не обязан давать вам отчет...

— Я хочу знать, кто посмел тронуть моих кукол!

— Твои куклы, которые, как ты забыл, принад-

лежат мне, расскажут тебе, если захотят,— спроси их.

— Мне и спрашивать нечего! Я и так знаю, что какая-то личность посмела меня заменить, чтобы прибрать к рукам мои денежки.

— А если бы и так! Разве ты мог вчера связать два слова?

— Следовало хотя бы спросить меня или предупредить.

— Согласен, это упущение с моей стороны,— в нетерпении сказал Христиан.— Но я так поступил нарочно, чтобы избежать искушения и не задать тебе, пьянице, трепки по заслугам.

— Задать мне трепку?!— вскричал Пуффо и с угрожающим видом двинулся на Христиана.— А ну-ка попробуйте! Посмотрим!

И с этими словами он замахнулся на хозяина куклой, схватив ее как дубинку.

Такое оружие, хоть и выглядело смешным, представляло достаточную опасность, ибо голова *buratti*-по была вырезана из очень твердого дерева, чтобы выдерживать потасовки на сцене.

Разъяренный Пуффо держал куклу за кожаную юбку и молотил ею воздух, так что в любую минуту мог и, возможно, собирался разmozжить противнику голову. Христиан на лету схватил куклу, а другой рукой, стиснув горло Пуффо, швырнул его на пол.

— Проклятый пьяница!— сказал он, прижав его коленом.— Тебя следовало бы хорошенько проучить; но мне противно бить тебя. Ты у меня больше не работаешь, ступай, и чтобы я о тебе никогда не слышал! Я тебе заплатил за неделю вперед и больше ничего не должен; но так как ты эти деньги, наверно, пропил, я тебе дам на дорогу до Стокгольма. Встань и смотри больше не лезь в драку, не то я тебя придушу.

Пуффо поднялся, молча растирая помятые бока. По природе своей он не был убийцей. Он чувствовал себя подавленным и униженным. Быть может, его также тяготило чувство вины, но главной заботой его, поразившей Христиана, было поскорее подобрать дюжину золотых монет, выпавших у него из-за пояса и рассыпавшихся по полу.

— Это еще что такое?— спросил Христиан, схватив его за руку.— Краденые деньги?

— Нет!— закричал ливорнец, воздев к небу руки с забавно героическим видом.— Я здесь ничего не украл! Это мои деньги, мне их дали!

— За что? Ну-ка, отвечай, я требую!

— Хотели дать и дали! Это мое дело!

— Кто тебе их дал? Может быть...

Но тут Христиан остановился, чтобы Пуффо не заметил возникших у него подозрений, о которых благоразумнее было умолчать.

— Ступай,— сказал он,— убирайся вон, и поживее; если я узнаю, что ты не только пьяница, но и кое-что похуже, я тебя убью на месте. Убирайся, и чтобы я никогда тебя не видел, не то берегись!

Перепуганный Пуффо убежал без оглядки, тем более что Христиан, желая удержать его на почти-тельном расстоянии, взялся за широкий норвежский нож майора. Одного только вида этого устрашающего оружия было достаточно, чтобы обратить плута в бегство: он решил, что Христиан сейчас силой отнимет у него золото и станет допытываться, где источник этого необъяснимого богатства.

Ливорнец покинул замок в состоянии величайшей растерянности. Юхан, который нередко самостоятельно предвосхищал тайные намерения барона, снабдил Пуффо деньгами не для того, чтобы толкнуть его на «мокрое дело», как выражался тот на разбойничьем языке, но с целью заставить его держаться в стороне, если хозяина вовлекут в опасную драку.

В долгой беседе с Юханом Пуффо подробно рассказал о пылком и бесстрашном нраве Христиана. А от Юхана он узнал, что Христиан вызвал недовольство какого-то важного лица в новом замке,— при этом имя барона названо не было,— и что полагают, будто под личиной комедианта скрывается чуть ли не французский шпион, одним словом — человек весьма опасный. Однако и такой вымысел был недостаточно грубым, чтобы Пуффо его понял. Зато он понял другое — наличие крупной суммы у себя в кармане. Ума у него хватило на следующее рассуждение: «Ежели мне так хорошо платят, чтобы я не мешал другим, мне куда больше заплатят, если я что-то и сам сделаю».

Поэтому он надумал действовать по своему разумению, полагая заставить Христиана врасплох и без-

оружным; но в последнюю минуту у него не хватило храбрости, а может быть, и подлости. Христан был всегда так добр к нему, что у него дня дрогнула рука. Но что же ему делать теперь, когда он побежден и унижен?

Пока Пуффо предавался жалким потугам на размышления, Христиан, взволнованный и усталый не столько физически, сколько нравственно, ушел на свой сундук и погрузился в скорбное раздумье.

«Жалкая жизнь! — думал он, машинально разглядывая брошенную на пол куклу, которая чуть было не разможила ему череп. — Жалкое существование в окружении таких невежественных людей! И все же теперь мне следует привыкать к этому больше чем когда-либо. Если я снова окажусь в низших слоях общества, к которым я, по всей вероятности, принадлежу по рождению и откуда долго и тщетно пытался вырваться, мне не раз придется силой кулака убеждать в своей правоте грубиянов, не внемлющих голосу чувства и ласковым уговорам. О Жан-Жак! Предвидел ли ты такое для своего Эмиля? Должно быть, нет; однако и тебя забросали камнями в твоей скромной хижине и вынудили бежать прочь от сельской жизни, ибо ты не сумел внушить страх тем, кто не способен был тебя понять!»

— Ну-с, а ты кто такой, едва не ставший моим убийцей? — продолжал Христиан уже вслух, чтобы рассеяться, поднимая с полу куклу, лежавшую лицом вниз. — О, Юпитер! Да это ты, мой бедный малыш Стентарелло! Ты, мой любимец, мой дружок, мой верный слуга! Ты, самый старый актер моей труппы, ты, потерянный мной в Париже и чудом найденный в чаще богемских лесов! Нет, быть того не может! Ты бы не причинил мне зла, скорее ты бы сам поднялся против моих убийц. Насколько же ты лучше всех этих глупых и злобных марионеток, которые мнят себя людьми и кичатся тем, что сердца их тверже, чем головы! Поди сюда, дружок, дай-ка мне надеть тебе нарядный воротник и стряхнуть щеткой пыль с твоего платья. Клянусь, тебя-то я никогда не покину! Ты будешь повсюду разбегаться со мной, втайне, чтобы не смешить серьезных людей, а когда ты затоскуешь по огням рампы, мы с тобой будем беседовать вдвоем; я стану верить тебе свои горести, твоя славная улыбка и блестящие

глазки напомнят мне о былых безумствах... и о грезах любви, что расцвели и увяли в мрачных стенах Стольборга!

Веселый детский смех заставил Христиана обернуться: это смеялся господин Нильс, вошедший на цыпочках и прыгавший теперь от радости, хлопая в ладоши при виде куклы, ожившей в умелых руках Христиана.

— О, дайте мне этого хорошенького мальчика!— в восторге воскликнул ребенок.— Дайте мне его на минутку, поиграть!

— Нет, нет,— ответил Христиан, наспех приводя в порядок наряд Стентарелло.— Мой мальчик играет только со мной, а сейчас он торопится. Что, господин Гёфле не вернулся?

— О, покажите мне все это!— вскричал Нильс, сам не свой от восхищения, уставившись на ящик, только что открытый Христианом, где вперемешку поблескивали золотые галуны на шляпах, шпаги, эгреты тюрбанов и жемчужные короны миниатюрного народа, населявшего этот ящик. Христиан пытался отвязаться от Нильса подобру-поздорову, но мальчуган так заупрямился в своем желании запустить руку во все эти чудеса, что Христиану пришлось повысить голос и грозно нахмуриться, чтобы помешать ему перевернуть всех актеров и их гардероб. Тогда господин Нильс надулся и сел за стол, заявив, что пожалуется Гёфле на то, что никто не хочет с ним играть. Тетка Гертруда обещала, что ему будет весело в этой поездке, а ему вовсе не весело.

— Вот подожди, противный!— сказал он, строя Христиану рожи.— Я умею делать красивые бумажные кораблики, а тебе не покажу!

— Ладно, ладно!— ответил Христиан, который все еще рассчитывал на помощь Гёфле и поэтому торопился покончить с обязанностями костюмера.— Делай свои кораблики, дружок, да побольше, только оставь меня в покое.

Прикалывая шляпы и плащи к головам и шеям своих маленьких актеров, Христиан посматривал на часы и с нетерпением ожидал прихода Гёфле. Он попытался было послать Нильса в горд, чтобы поторопить его, но Нильс все еще дулся и сделал вид, что не слышит,

«Только бы у нас достало времени прочитать канву пьесы!— думал Христиан.— Я тоже ее плохо помню! У меня сегодня было столько других забот... Да, я ведь обещал майору сыграть сцену охоты... Куда ж мне ее вставить? Ладно, как-нибудь! Составляю интермедию на основе сцены Морона с медведем из «Принцессы Элидской». Стентарелло будет у меня храбрым охотником; он всех очарует... и посмеется над людьми, которые охотятся на медведя, прячась за сеткой, как господин барон! Но не унес ли Пуффо пьесу? Я ведь сунул листки ему в руки!»

Христиан принялся искать свою рукопись. Если писать заново — уйдет еще полчаса, а уж пробило семь. Он стал шарить в ящике, где хранился его репертуар, все перерыл и перевернул вверх дном, как в лихорадке. Ему невыносима была мысль, что отсутствие его в новом замке в назначенный час будет понято как желание скрыться от гнева барона. Он стремился туда, побуждаемый ярой ненавистью к своему врагу и любовью к Маргарите. Ему не терпелось открыто бросить вызов в лицо Снеговуку в присутствии юной графини и доказать ей, что простой фигляр может похвалиться куда большей отвагой, нежели многие из родовитых гостей барона.

Внезапно он заметил, что Нильс с важным и сосредоточенным видом делает кораблики, фигурки самых различных форм из бумаги, которую он складывал так и этак, а потом рвал на кусочки, мял, скатывал в шарики и бросал на пол, когда ему не удавалось сделать то, что хотелось.

— Ах ты проклятый мальчишка!— закричал Христиан, вырывая у него из рук целую кипу бумаги.— Ты что же, делаешь кораблики из моих пьес?

Нильс разревелся в голос и, вырывая из рук Христиана листочки, громко божился, что взял бумагу совсем не у него. Но тут Христиан, торопливо разворачивавший кораблики, чтобы собрать воедино то, что осталось от рукописи, застыл, как вкопанный. Эти листки и впрямь ему не принадлежали, как и почерк, которым они были написаны; зато имя его, или, вернее, одно из его имен, начертанное неизвестной рукой, внезапно бросилось ему в глаза, а итальянская фраза: «Кристиана дель Лаго сегодня минуло пятнадцать лет» пробудила в нем живейшее любопытство.

— На, возьми,— сказал он мальчику, который не отставал от него, требуя обратно «свою бумагу»,— поиграй с куклами, а меня оставь в покое.

Нильс с наслаждением принялся разглядывать и осторожно перебирать лежавших на столе человечков, а Христиан уселся на его стул и, подвинув к себе свечу, стал с трудом разбирать ужасные каракули, написанные на очень плохом итальянском языке и совсем безграмотно, но тем не менее вызывавшие в нем, что ни слово, прочитанное или угаданное, чрезвычайное волнение.

— Где ты взял эти листочки?— спросил он мальчонку, продолжая разглядывать и собирать разорванные, смятые клочки бумаги.

— Ах, сударь, до чего же красивые у вас ушниц!— говорил Нильс марионетке, не сводя с нее восторженных глаз.

— Ты будешь отвечать или нет?— закричал Христиан:— Где ты нашел эти листки? У господина Гёфле?

— Нет, нет,— сказал наконец Нильс, поначалу притворившийся глухим, в ответ на градом сыпавшиеся вопросы.— Я их не брал у господина Гёфле; он их сам бросил, а когда бумажки бросают, я их подбираю. Это мне для корабликов, так сам господин Гёфле сказал еще утром.

— Врешь! Не бросал господин Гёфле этих бумаг! Это письма, писем не бросают, их жгут. Ты их взял из ящика в столе?

— Нет!

— Значит, в спальне?

— А вот и нет!

— Говори правду, живо!

— Не брал!

— Я тебе сейчас уши надеру!

— А я не дамся!

Христиан удержал Нильса, который норовил дать стрекача, прихватив кукол.

— Если ты мне скажешь правду,— сказал он,— я тебе подарю красивую лошадку в красной с золотом попоне.

— Покажите!

— Вот, смотри,— сказал Христиан, найдя среди своего реквизита нужную игрушку.— Будешь ты говорить, плутишка?

— Ну,— сказал мальчик,— вот как все это было. Господин Гёфле взял меня с собой к господину Стенсону, чтобы я ему посветил; вы знаете господина Стенсона, глухого, который ничего не слышит и живет вон в том дворе?

— Да, да, знаю; говори побыстрее, да не ври, не то отберу лошадку.

— Так вот, я ждал господина Гёфле в спальне у господина Стенсона, где топилась печка, а господин Гёфле громко-громко говорил с ним в соседней комнате.

— О чем же они говорили?

— Не знаю, я не слушал, я играл с огнем в печке. А потом вдруг туда к ним пришли какие-то дяденьки и сказали вот так: «Господин Стенсон, целый час вас ждет господин барон. Почему же вы не идете? Идите с нами сейчас же!» И тут все стали браниться.

Господин Гёфле говорит: «Господин Стенсон не пойдет; у него времени нет». А господин Стенсон говорит: «Надо пойти, я ничего не боюсь, я пойду». А господин Гёфле говорит: «Я с вами пойду». Тогда я туда вошел, оттого что побоялся, как бы не сделали плохого господину Гёфле, а там стоят трое... нет, шестеро дядей, и все одеты как слуги...

— Трое или шестеро?

— Или четверо, уж я не успел сосчитать, испугался, но господин Гёфле сказал мне: «Уходи!» и вытолкнул меня на лестницу, а вдогонку бросил связки бумаг, только этого никто не видел. Быть может, он хотел, чтобы никто не узнал, что он мне подарил эти бумажки, а я-то их подобрал, а потом уликнул, вот и все!

— И ты, дурачок, не сказал мне, что господин Гёфле...

Христиан не счел пужным закончить свою мысль, наспех собрал бумаги, запер их в свой ящик, вынул ключ и бросился бежать, тревожась об адвокате, неожиданно попавшем в водоворот непонятных и необъяснимых событий.

Нильс опять заплакал было, испугавшись, что останется один с марionетками, которые, при всей своей привлекательности, внушали ему некоторый страх, когда Гёфле, встретив Христиана в коридоре,

вернулся с ним вместе в медвежью комнату. Гёфле был бледен и взволнован.

— Да, да,— сказал он Христиану, осыпавшему его вопросами,— закроем двери. Дело становится очень сложным. Где Нильс? Ах, вот и ты, малыш! Куда ты дел бумаги?

— Он делал из них кораблики,— ответил Христиан,— но я их спас; вот они тут, рванные в клочки, но ничто не пропало. Что это за странные письма, господин Гёфле, и почему в них речь идет обо мне?

— О вас? Вы уверены?

— Совершенно уверен.

— Вы их прочитали?

— Не успел. Стараниями господина Нильса это стало делом нелегким. Да к тому же и почерк такой, словно кот нацарапал. Но я их все-таки прочту. Господин Гёфле, в них — вся тайна моей жизни!

— Правда? Да, я подозревал, я даже уверен был, Христиан, что речь в них идет о вас! Но я дал слово Стенсону, когда он мне вручил их, не знакомиться с содержанием этих бумаг до смерти барона или его собственной.

— Зато я, господин Гёфле, никому не давал обещаний, бумаги эти случайно оказались у меня в руках, я спас их от уничтожения, они принадлежат мне!

— Да неужели?— улыбаясь, воскликнул Гёфле.— Ну что ж, я ведь, собственно, не успел договорить мою клятву, когда в комнату вошли... Нет, нет, я и впрямь дал вчера клятву, но это касалось другого врученного мне предмета; а вот про эти листки могу сказать, что не договорил клятвы хранить их в тайне. К тому же Стенсон как раз собирался мне все открыть. Мне приходилось писать свои вопросы, чтобы не кричать в разговоре с бедным глухим. Я рассказывал ему о вас, о своих догадках и все время чувствовал, что за нами следят. Вы, должно быть, нашли мои карандашные заметки на отдельных листках?

— Да, так мне показалось. Но прочитайте же письма.

— Ах, это письма? Дайте-ка... Нет, лучше их припрятать. Мы окружены врагами, Христиан, за нами следят. Я уверен, что комнату Стенсона уже перерыли и разграбили. Ульфила куда-то увели. Как знать, не нападут ли сейчас и на нас!

— Напасть на нас? Вполне возможно. Пуффо только что пытался затеять со мной ссору из-за пу-
стяков. Он поднял на меня руку, а карманы у него
были набиты золотом. Пришлось этого мужлана вы-
толкать в шею.

— Напрасно. Надо было его связать и запереть.
Сейчас он, должно быть, уже спелся с головорезами
барона. Ну, Христиан, первое дело — тайник для
этих бумаг!

— Э, тайник, как всегда, ни к чему.

— Неверно.

— Тогда ищите, господин Гёфле, а я займусь
оружием, это будет вернее. Где же эти пресловутые
головорезы?

— Кто их знает! Я видел, как Юхан и его при-
хвостни вышли вместе со Стенсоном, и я сам запер
вход во внутренний двор; но они могут явиться со
стороны озера, благо по нему сейчас можно ходить,
как по полю; быть может, они уже здесь. Вы ничего
не слышите?

— Ничего. Да и зачем им к вам приходиться? Да-
вайте же спокойно поразмыслим о нашем положе-
нии, а потом уж будем волноваться.

— Не можете вы ни о чем поразмыслить, Хри-
стиан, потому что вы еще ничего не знаете! А я-то
знаю... или мне кажется, что знаю: барон хочет во
что бы то ни стало узнать, кто вы такой, а когда он
узнает... кто скажет, что тогда придет ему в голову?
Быть может, он велит вас держать взаперти, пока
не передумает. Только что арестовали Стенсона —
да, да, именно так, арестовали. Сперва это звучало
как вежливое приглашение из уст этого канальи
Юхана, а потом, когда старик испугался и замеш-
кался, а я пытался его не пустить, вошли несколько
лакеев и уволокли бы его силой, если бы он взду-
мал сопротивляться. Тогда я решил идти следом. Я
полагал, что в моем присутствии его не посмеют
тронуть, что я останусь при нем даже в покоях ба-
рона, что я, наконец, если понадобится, созову на
помощь гостей барона. Я даже несколько обогнал
лакеев, уведивших Стенсона, но заплутался в тумане
и вернулся; вдобавок я не мог решиться оставить
вас одного. Я подумал, что ежели барон вздумает
вырвать у Стенсона какое-то признание, он начнет
с того, что попытается его уговорить по-хорошему, а

мы тем временем успеем прийти ему на помощь. Итак, идемте, Христиан, но раньше, чем действовать, нам надо разгадать суть тайны... Поэтому станьте на страже у двери, взломать-то они ее не посмеют, черт побери! Вы правы, я ведь здесь у себя. Никто не имеет права тащить меня к своему барину, как беднягу управляющего. И под каким предлогом они решились бы на это?

— Будьте спокойны, господин Гёфле. Входная дверь очень крепка, дверь в спальню — не хуже. За вход на потайную лестницу я отвечаю — буду за ним следить. Читайте же, скорее читайте. К тому же у нас-то с вами всегда найдется предлог, чтобы явиться в замок: кукольный спектакль пока что не отменен.

— Да, верно, верно, пора узнать, где мы и *кто мы!* — воскликнул Гёфле, увлеченный азартом расследования, в котором и кроется все искусство профессии адвоката. — Я быстрее соберу клочки и разберусь в этой головоломке, чем вы, Христиан: это ведь мое ремесло. Пять минут терпения — вот все, что я у вас прошу. А вы, господин Нильс, помалкивайте: впрочем, можете пошептаться с куклами.

И Гёфле с удивительной быстротой принялся соединить друг с другом оборванные клочки бумаги, раскладывать письма по датам, заодно пробегая их глазами, вникая в их смысл и с поистине орлиной зоркостью всматриваясь в каждую строку, в каждый неожиданный штрих таинственного досье, то бросая Христиану какой-то вопрос, то спрашивая о чем-то самого себя, чтобы восстановить в памяти то или иное событие.

— «...Юноша очень счастливо живет в доме Гоффреди... его там очень любят...» Надеюсь, что речь идет, бесспорно, о вас. Однако в других местах сказано «мой племянник», а речь опять же идет о вас. «Мой племянник уехал на Перуджинское озеро с семейством Гоффреди. Юноше сегодня минуло пятнадцать лет... Он высок ростом и силен... Он похож на своего отца...» О да, Христиан, вы, конечно, похожи на него!

— На отца? Кто же мой отец? — вскричал Христиан. — Вы, стало быть, знаете?

— Вот, — взволнованно сказал господин Гёфле, вынув из кармана медальон и протягивая его Хри-

стиану,— смотрите! Вот что мне вручил Стенсон. Это подлинный и необычайно сходный портрет. Можно поспорить, что это вы, не так ли?

— Боже!— в страхе проговорил Христиан, разглядывая прекрасную миниатюру.— Право, не мне судить о сходстве! Но кто этот нарядный юноша? Разве это не барон Олаус в молодости?

— Нет, нет, клянусь богом, что не он! Подождите, молчите, Христиан, дайте дочитать, мне все становится ясным! В другом письме о вас говорят «ваш племянник», а не «мой племянник», а вот в этом письме — тоже «ваш племянник»... Полагаю, что это делается из осторожности, чтобы отвести глаза тому, кто перехватит письма, ибо вы не состоите в родстве ни с тем, кто их писал, ни со Стенсоном, кому они адресованы.

— Стенсон! Значит, это ему посылали краткие отчеты о моем здоровье, успехах, путешествиях? Я это заметил, когда перебирал листки. Видите, тут пишут о моей дуэли, письмо отправлено из Рима... и датировано июнем тысяча семьсот...

— Стойте! Да, да, понимаю. По письму в год. «Он имел несчастье убить Марко Мельфи, который являлся...» Так, рассуждения: «Кардинал мстить не собирается... Надеюсь узнать, что случилось с нашим бедным мальчиком...» А вот письмо из Парижа: «Разыскать его невозможно... Я мог бы обманывать вас, но не хочу... Боюсь, что его арестовали в Италии... Пока я ищу его здесь, он, быть может, сидит в темнице замка Святого Ангела!» Подождите же, Христиан, наберитесь терпения. Вот, должно быть, более позднее письмо — от шестого августа прошлого года из Троппау, в Моравии: «На этот раз я было напал на верный след... Он жил в Париже под именем Дюлака; но оттуда уехал путешествовать и, к несчастью, недавно погиб. Я только что отобедал в харчевне с неким Гвидо Массарелли, которого знал еще в Риме. Этот Гвидо был знаком с ним, и он-то и сообщил мне, что его убили в лесу...» Название неразборчиво! «Стало быть, я бросаю поиски, и так как мне надо быть в Италии по моим скромным торговым делам, уеду завтра, до рассвета. Не посылайте мне больше денег на мой разъезд. Вы человек небогатый... оттого что всегда были честным. То же можно сказать и обо мне, вашем

покорном слуге и друге, Ма... Манчини?.. Мануччи?..»

— Не знаю такого!— сказал Христиан.

— Манассе!— воскликнул Гёфле.— Тот, о ком упоминал вчера Гвидо, маленький еврей, который так интересовался вами неизвестно почему!

— Его звали иначе,— возразил Христиан.

— Это тот же самый, я уверен,— сказал Гёфле.— Звали его Таддео Манассе. Стенсон сказал мне об этом сегодня. В этом письме он впервые поставил полностью одно из своих имен, может быть, в последний раз обмакнув перо в чернила; ведь, по словам Массарелли, он умер, а я голову даю на отсечение, что прикончил его сам Массарелли... Стойте, не говорите ничего, Христиан! Сообщая Стенсону о смерти Манассе, этот Гвидо утверждал, что у него в руках есть некое страшное доказательство, которое он предлагает Стенсону купить, иначе он огнесет его барону; несомненно, что... Скажите, этот бедняга еврей любил выпить?

— Насколько я знаю, нет.

— Стало быть, Гвидо убил его, чтобы отобрать незначительную сумму денег, которая находилась у того при себе, нашел там же какое-то письмо Стенсона и воспользовался подписью и датой, чтобы приехать сюда и разжиться на своей находке. К тому же Массарелли вполне способен был подлить еврею какое-нибудь зелье за обедом в харчевне. Впрочем, нет, ведь Манассе еще успел потом написать письмо... Тогда, наверно, вечером или на следующий день...

— Увы! Не все ли равно, когда, господин Гёфле. Ясно, что Массарелли все узнал и рассказал барону; а я так и не узнал о себе ровно ничего, кроме того, что господин Стенсон был озабочен моей судьбой, а Манассе, или Таддео, был его поверенным и аккуратно сообщал ему обо мне и что мое существование весьма досаждало барону Олаусу. Да кто же я такой, скажите, бога ради? Не мучьте меня, господин Гёфле!

— Терпение, терпение, мой мальчик,— ответил адвокат, подыскивая в то же время местечко, куда бы спрятать драгоценные письма.— Сейчас я еще не могу вам этого сказать. Вот уже сутки, как я уверен в своей правоте, уверен инстинктивно, на основе моих умозаключений; но мне нужны доказа-

тельства, а этих — недостаточно. Я должен раздобыть их... Где? Как? Дайте же мне подумать... Если удастся — ибо от всего этого нетрудно голову потерять... И бумаги надо прятать, и Стенсону грозит опасность, да и нам тоже, возможно! Впрочем... Послушайте, Христиан, хотелось бы мне знать наверняка, что разделаться хотят именно с вами, тогда я уж точно буду знать, кто вы такой!

— В предполагаемых намерениях барона легко удостовериться. Я отправлюсь давать представление, как ни в чем не бывало, а в случае нападения сумею заставить разговориться моих противников, так как сегодня я при оружии...

— Пожалуй, и впрямь, — сказал господин Гёфле, спрятав наконец письма, — неприятная встреча на ледяном просторе озера все же лучше, чем здесь, в четырех стенах. Уже девять часов, а ведь нам следовало быть там в восемь! И никто не приходит узнать, в чем причина такого опоздания! Странно! Подождите, Христиан, ружье ваше заряжено? Возьмите его, я же беру шпагу. Я, конечно, не Геракл и не брестер; однако в свое время я, как любой студент, довольно ловко дрался на шпагах, и ежели нам навяжут ссору, я не дам себя прирезать, как теленка! Но обещайте, поклянитесь, что будете осторожным, больше я ни о чем вас не прошу!

— Обещаю, — ответил Христиан. — Идемте.

— А дрянной мальчишка меж тем уснул за игрой! Что с ним делать?

— Уложите в постель, господин Гёфле. Надеюсь, что сего-то не тронут!

— Положим, если ребенок поднимет крик, бандиты способны его прикончить, а этот малец заорет благим матом, ручаюсь, если проснется и увидит незнакомое лицо.

— Ну и черт с ним! Что же, нести его с собой? Ничего нет проще, лишь бы не было на пути нежелательной встречи. Но если придется драться, он нас свяжет, и ему может достаться в перепалке.

— Вы правы, Христиан; уж лучше оставить его в постели. Тот, кто за нами следит, сразу заметит, что мы вышли, и не пойдет сюда. Охраняйте пока что дверь. На этот раз церемония раздевания господина Нильса не состоится. Пусть себе спит одетым!

Не успел Гёфле уложить своего камердинера в постель, как тотчас же позвал Христиана.

— Слышите!— сказал он.— Идут через нашу комнату. Стучат в дверь.

— Кто там?— спросил Христиан, заряжая ружье и становясь у дверей караульни, которая, как читатель помнит, сообщалась с внутренней галереей, выходившей во двор.

— Откройте, откройте, это мы!— ответил грубый голос по-далекарлийски.

— Кто вы такне?— спросил Гёфле.

И так как ответа не последовало, Христиан добавил:

— Бойтесь назвать свое имя?

— Это вы, господин Вальдо?— отозвался нежный, дрожащий голос.

— Маргарита!— воскликнул Христиан, отворив дверь и увидев молодую графиню и другую девушку, которую он видел на балу, но не помнил, как ее зовут; их сопровождал верный слуга Петерсон.

— Где они?— спросила Маргарита, упав в кресло, с трудом переводя дыхание и едва не лишаясь чувств.

— Кто? О ком вы говорите?— спросил Христиан, испуганный ее бледностью и волнением.

— О майоре Ларсоне, его лейтенанте и других офицерах,— ответила вторая девушка, запыхавшаяся и взволнованная не менее Маргариты.— Разве их здесь нет?

— Нет... Они собирались прийти сюда?

— Они ушли из замка более двух часов тому назад.

— И... вы боитесь, что с ними случилось что-то недоброе?

— Да,— ответила Мартина Акерстром (это была она),— мы боялись... Я сама не знаю, отчего мы боялись за них, ведь они пошли все вместе; но...

— Тогда за кого же вы тревожились?— спросил Гёфле.

— За вас, господин Гёфле, за вас,— с живостью ответила Маргарита.— Нам стало известно, что вам здесь грозит большая опасность. А вы и не подозревали? Впрочем, я вижу, вы знали об этом, раз вы

вооружены. Здесь был кто-нибудь? На вас напали?

— Нет еще,— сказал Гёфле.— Стало быть, известно, что на нас должны напасть?

— О, нам это слишком хорошо известно!

— Как? И мне тоже что-то грозит?— подхватил Гёфле без всякого коварства.— Отвечайте же, милая барышня: вы уверены? Тогда все это чрезвычайно странно!

— Нет, относительно вас я не очень уверена,— сказала Маргарита, бледность которой внезапно сменилась румянцем; но глаза ее избегали взгляда Христиана.

— Тогда,— продолжал Гёфле, не обращая внимания на ее замешательство,— расправиться хотят с ним, именно с ним?

И он указал на Христиана, которого Маргарита упорно не хотела видеть или называть по имени. Однако она тотчас же ответила:

— Да, да, с ним хотят расправиться, господин Гёфле, хотят отделаться от него.

— А майор и его друзья об этом тоже знают? Как случилось, что их здесь нет?

— Да, они знают об этом наверняка,— ответила Мартина,— а нет их здесь потому, что они, должно быть, как и мы, заблудились в тумане, который становится все гуще и гуще.

— Вы сбились с пути в тумане?— сказал Христиан, взволнованный великодушной заботливостью Маргариты.

— О, мы недолго блуждали,— ответила она,— Петерсон — здешний житель, он быстро нашел дорогу; а господа офицеры, должно быть, приняли один берег озера за другой.

— Поставим светильник на окно в медвежьей комнате,— предложил Гёфле,— они пойдут на свет.

— Э!— возразил Петерсон.— Этот огонек будет виден сквозь туман не больше, чем звезда.

— Все равно, надо попытаться,— сказала Мартина.

— Нет, душенька,— остановила ее Маргарита,— ведь убийцы тоже, наверно, заблудились, раз их до сих пор здесь нет. Не стоит указывать им верный путь, пока не пришли господа офицеры...

— Приход господ офицеров, безусловно, весьма желателен,— сказал Гёфле.— Но пока что нас здесь уже трое хорошо вооруженных мужчин; я знаю Петерсона, он сумеет постоять за себя... Но скажите, милые барышни, может быть, вы приняли за убийц невинных зевак? Где вы их видели?

— Расскажите, MARTINA,— сказала MARGARITA.— Расскажите все, что мы слышали.

— Да, да, слушайте, господин Гёфле,— подхватила MARTINA с важным видом, придававшим ей еще больше простодушия.— Два часа тому назад... может быть, два с половиной... «молодое поколение», как нас называют, затеяло игру в прятки в переходах нового замка. Я оказалась вместе с MARGARITой и лейтенантом: так решил жребий, да к тому же нам, двум девушкам, было бы слишком страшно ходить одним по темным галереям и незнакомым комнатам; просто необходимо было, чтобы нас сопровождал какой-нибудь кавалер! Лейтенант знал не лучше нас ту часть замка, куда мы забрались. Там было так пустынно! Мы прошли по длинной галерее и спустились наугад по маленькой темной лестнице. Лейтенант шел впереди, и так как спрятаться там было некуда, он шел все дальше и дальше, пока мы не оказались в полной темноте и уже боялись, как бы не провалиться куда-нибудь, как вдруг он сказал: «Я понял, где мы находимся, мы подошли вплотную к большой башне, которая служит тюрьмой. Узников тут сейчас нет, дверь открыта. Если мы спрячемся внизу, в темнице, нас, ручаюсь, никто не отыщет».

Но MARGARITA боялась подземелий, про которые говорят, что они огромные и страшные.

«Нет, нет, не стоит идти дальше,— сказала она,— останемся у входа. Вот маленькая ниша, отгороженная досками; спрячемся здесь и помолчим; вы ведь знаете, что всегда кто-нибудь из играющих рад смощенничать и подглядывать, а потом позвать остальных».

Мы согласились; но едва мы спрятались, как услышали шаги и с трудом сдерживали смех и даже старались не дышать, думая, что нас вот-вот найдут. Тогда-то мы и услышали разговор, который я сейчас вам передам. Говорили между собой два человека, они вышли из башни и уходили по галерее, которая привела нас сюда. Беседовали они шепотом, но, проходя мимо нас, один сказал:

«Неужели меня опять поставят сторожить итальянца? Надоело уже!»

«Нет, ты пойдешь с нами в старый замок,— ответил второй.— Итальянец теперь с нами заодно».

«А что там будем делать?»

Тогда второй произнес какие-то слова, которых мы не поняли и не сумеем вам передать, должно быть, на воровском языке: но затем несколько раз упомянули имя Христиана Вальдо, да и адвоката не позабыли, сказав про него: «Об адвокате нечего беспокоиться, он убежит!»

— Это мы еще посмотрим!— воскликнул Гёфле.— А потом?

— Потом что-то говорили про осла, про золотой кубок, про то, как затеять ссору, все непонятней и непонятней. Так они постояли возле нас, а потом стали сговариваться перед тем как уйти.

«Значит, встреча в восемь часов на озере»,— сказал один.

«А если он там не пройдет?»— спросил второй.

«Тогда мы пойдем в Стольборг: нам объяснят, что делать». Как только эти мерзавцы ушли, лейтенант помог нам выйти из тайника и прошептал: «Здесь — ни слова!»

Он осторожно повел нас в большую Охотничью галерею и сказал, когда мы туда пришли:

«Теперь разрешите покинуть вас и побежать за майором».

Дело в том, что лейтенант понял воровской язык этих разбойников: они собирались напасть на господина Христиана Вальдо, обвинить его в какой-то краже, отвести в башню, убить его даже, если он будет сопротивляться, и один из них добавил: «Вот это будет лучше всего».

Лейтенант был возмущен. Уходя, он сказал нам: «Все это, возможно, исходит из более высоких сфер, чем мы думаем. Должно быть, здесь замешана политика и Христиану Вальдо известна какая-нибудь государственная тайна».

— Вот уж нет, клянусь вам!— перебил Христиан, улыбнувшись простодушию лейтенанта.

— Этого я у вас и не спрашиваю, господин Христиан,— возразила славная, наивная Мартина.— А знаю я только то, что лейтенант, майор и капрал Дуф поклялись выполнить свой долг и защитить вас, пусть

даже это будет не по нраву господину барону; но им пришло в голову, что действовать надо крайне осторожно, и поэтому они велели нам никому не говорить ни слова, а сами ушли поодиночке, пешком, захватив с собой побольше оружия, стараясь не шуметь, и сговорились встретиться здесь, чтобы устроить засаду, захватить убийц и выведать их тайну. «Продолжайте игру,— сказали они нам,— и старайтесь, чтобы никто не заметил нашего отсутствия». Мы с Маргаритой старательно притворялись, что ищем их, пока нам не пришлось расстаться, чтобы идти переодеваться к вечеру; но вместо того чтобы прихорашиваться, мы только и делали, что вглядывались через окно моей комнаты в туман, повисший над озером. Увы! Ничего нельзя было различить, даже очертаний Стольборга не было видно.

Тогда мы стали вслушиваться, оттого что в густом тумане иногда можно расслышать самые отдаленные звуки; но в самом замке и вокруг рвов гремели фанфары и грохотал фейерверк с такой силой, будто кто-то пытался заглушить шум ссоры и драки. А время шло... И тут Маргарите стало страшно...

— И вам тоже, милая Мартина,— вставила Маргарита, смутившись.

— Нет, это вы, душенька, заразили меня своими страхами,— наивно возразила невеста лейтенанта.— Словом, мы помчались, как одержимые, вместе с Петерсоном, надеясь, что встретим майора и его друзей и они нас успокоят, а мы с помощью Петерсона, который всегда найдет верную дорогу, выведем их к старому замку, в случае если они заблудились. Мы явились сюда пешком и почти не сбились с пути, если не считать, что подошли мы со стороны горда, а думали, что идем напрямик к главному входу. Петерсон сказал нам: «Все равно, мы и отсюда войдем». И вот мы здесь, хотя толком не знаем, через какой вход мы сюда проникли; но навстречу нам никто не попался, и теперь, когда мы можем быть спокойны относительно вас, нас начинает серьезно тревожить участь майора... и остальных офицеров.

— Ах, Маргарита!— шепотом произнес Христиан, обращаясь к молодой графине, в то время как Гёфле, Мартина и Петерсон совещались между собой о том, что следует предпринять.— Значит, вы пришли сюда...

— Неужели,— перебила она,— неужели я могла допустить, чтобы убили такого человека, как господин Гёфле, и не попытаться спасти его?

— Конечно, нет,— ответил Христиан, чья благородная душа, исполненная живейшей и горячей благодарности, не ведала и тени сомнения.— Разумеется, не могли бы; но это вовсе не умаляет вашей храбрости. Вы ведь могли столкнуться по дороге с этими разбойниками! Где еще найдется женщина столь преданная, столь человечная... что сама пошла бы...

— Со мной была Мартина,— с живостью перебила Маргарита.

— Мартина — невеста лейтенанта,— ответил Христиан.— Быть может, она бы и не решилась идти сюда ради... господина Гёфле.

— Прошу прощения, господин Христиан, она пошла бы и ради... ради любого человека, коль скоро шла речь о жизни ближнего! Но взгляните все же, не идут ли наши друзья; мне вовсе не кажется, что опасность миновала.

— Да, да,— воскликнул Христиан, собравшись с мыслями,— конечно, нам всем грозит опасность! Теперь, когда вы здесь, я наконец понял это. Боже мой! Зачем вы пришли?!

Молодой человек, раздираемый противоречивыми чувствами, испытывал одновременно величайшую радость от ее прихода и жгучее беспокойство при мысли о возможной опасности, которой она подвергалась. К тому же не могло ли присутствие этих двух девушек в Стольборге еще осложнить положение? Не могло ли оно послужить предлогом для откровенного вторжения в замок? Как бы беспечно ни относилась графиня Эльведа к возложенной на нее обязанности опекать племянницу, она вполне могла хватиться ее и послать кого-нибудь следом либо приказать разыскать ее. Как знать?

«Одно ясно,— подумал Христиан,— здесь ее никто не должен увидеть».

Сперва он решил было отвести Маргариту и ее подругу в горд Стенсона, где никому не придет в голову ее искать, но в жилище Стенсона, возможно, как раз и притаились сейчас враги, ведя оттуда наблюдение.

Христиан, охваченный смятением, рассеянно отве-

чал на взволнованные вопросы Гёфле; но внезапно его осенила мысль, которой он ни с кем не поделился. То было решение выйти одному из жилого помещения и то ли пройтись по дворам старого замка, то ли спуститься к озеру и, таким образом, встретиться лицом к лицу со злодеями, которые, безусловно, охотились только за ним.

С этой целью он взял один из светильников, с тем чтобы его почти заметили сквозь туман, и вышел, не сказав ни слова и надеясь, что Гёфле сразу не хватится его; но он еще не вышел за порог медвежьей комнаты, как Маргарита поднялась с места и окликнула его:

— Куда вы идете?

— Куда вы, Христиан?— подхватил Гёфле, бросаясь к нему.— Не выходите в одиночку!

— Я не выхожу,— ответил Христиан, ловко выскользнув за дверь.— Я только хочу взглянуть, заперта ли вторая дверь, которая ведет отсюда во внутренний двор.

— Что он делает?— спросила Маргарита у Гёфле.— Вы не бойтесь, что он...

— Нет, нет,— ответил адвокат,— он мне обещал быть осторожным.

— Но я слышу, как он отпирает замок второй двери, а вот он открывает и дверь!

— Открывает дверь? Значит, пришли наши друзья!

— Нет, нет, он уходит, клянусь вам!

И Маргарита, не помня себя от волнения, бросилась вслед за Христианом.

Гёфле остановил ее и, сделав знак Петерсону, чтобы он оставался с женщинами, пустился было догонять Христиана. Но тот уже запер дверь снаружи, чтобы помешать этому, и бежал к выходу из внутреннего двора, громко повторяя имя Ларсона и готовясь защищаться, если разбойники явятся на его голос; внезапно предназначенная ему пуля выбила из его рук светильник, и Христиан погрузился в белесую мглу, непроницаемую даже для лунного света и погрешальной пеленой окутавшую землю.

Гёфле услышал выстрел и громко выругался, испугавшись за своего юного друга; Мартина вскрикнула, Маргарита упала на стул, Петерсон подбежал к Гёфле. Быть может, им удалось бы совместными уси-

лиями открыть дверь, но они не поняли друг друга. Петерсон, всей душой преданный своей молодой барышне, хотел во что бы то ни стало помешать злоумышленникам войти и даже не догадывался, что Гёфле, напротив, стремится выйти, чтобы бежать на помощь Христиану.

Пока они таким образом мешали друг другу и добряк адвокат поминал всех чертей, вместе взятых, Христиан, обрадованный предоставленной ему свободой действовать по своему усмотрению, набросился на первого злодея, попавшегося ему на пути; тот же, не рассчитав расстояния в тумане и не ожидая, что Христиан так близко от него, обратился в бегство, а Христиан пустился вдогонку, осыпая его бранью, меж тем как второй убийца быстро и молча бежал за ним следом. Но Христиан слышал его топот по затвердевшему снегу, и тут же ему показалось, что сквозь гневное гудение крови в ушах он слышит еще другие шаги и голоса справа и слева. Он понял, что окружен, но, сохраняя полное присутствие духа и ясно отдавая себе отчет в своих поступках, продолжал упорно преследовать первого из своих противников, полагая невозможным обернуться ко второму, пока не разделается с этим, дабы он не напал сзади во время схватки с остальными. К тому же он помнил о своем намерении увести их возможно дальше от Стольборга.

Поэтому Христиан пробежал по крутому спуску, который вел из внутреннего двора к воротам, и застал их открытыми; по правде говоря, только по этому спуску он и понял, что идет в верном направлении. Но когда он почувствовал под ногами гладкий лед озера, он услышал позади себя еще несколько выстрелов, свист пуль, пролетевших мимо, и увидел, как в двух шагах от него упал человек, за которым он гнался. То ли сообщники приняли его за Христиана, то ли они наугад стреляли в обоих, не заботясь о том, кого настигнет пуля.

А настигла она Массарелли; Христиан услышал его предсмертный хрип и узнал его голос, но перешагнул через умирающего и бросился бежать дальше, надеясь перевести дух, когда убийцы задержатся, чтобы подобрать Массарелли или хотя бы посмотреть, кого же они подстрелили. Потом он остановил-

ся, прислушался, но до него донеслись только слова: «Оставьте его тут; он готов».

О чем же шла речь? Может быть, злодеи приняли Массарелли за него и собираются уйти? Или же поняли свою ошибку и будут продолжать преследование? Быстро меняя направление в клубах тумана, Христиан предполагал сбить их со следа, одного за другим. Он пытался сосчитать голоса и расслышать звуки шагов. Было у него перед ними одно значительное преимущество, о котором он поначалу и не подумал: на нем все еще были войлочные сапоги без шва и кожаных подошв, надетые перед охотой. В этой мягкой обуви он чувствовал себя так же свободно, как если бы шел босиком, и к тому же двигался по снегу совершенно бесшумно, в то время как ему был слышен каждый шаг противников, обутого с гораздо меньшим удобством и предосторожностью.

Он опять прислушался. Убийцы приближались, но не видели его. Шли они явно наугад. Христиан услышал торопливо произнесенные слова в десяти шагах от себя: «Эй, это я!» Злоумышленники неожиданно столкнулись друг с другом в тумане, среди них произошло замешательство. Теперь было проще простого убежать от них. Однако это Христиану и в голову не пришло. Ярость клокотала в его душе; он не хотел, чтобы головорезы повернули вспять и стали искать его в Стольборге. Громким голосом он вызывающе окликнул их, назвав свое имя, и принялся кружить по льду, не удаляясь, но делая все возможное, чтобы раздражить убийц и не дать им действовать сообща, а напротив, самому напасть на них поодиночке. Он превосходно владел собой, а потому вскоре сумел сосчитать их: злодеев было трое, убитый Массарелли был четвертым.

Несмотря на поразительное присутствие духа, Христиан был в то же время сильно возбужден, и пьянящее желание отомстить доставляло ему какое-то острое наслаждение. Поэтому он был чуть ли не раздосадован, когда позади него раздались шаги, такие же мягкие, как его собственные, по которым он сразу узнал своих спутников по охоте, обутого в такие же войлочные сапоги, как и он сам. Опасаясь, как бы разбойники не обратились в бегство без боя, Христиан подбежал к друзьям и торопливо шепнул им:

— Их трое, они близко, надо их схватить! Идите за мной, но — ни слова!

И тотчас же, повернувшись прямо навстречу врагам, он остановился там, где, по его расчетам, они собрались все трое, и снова назвал себя, осыпая их насмешками за промахи и трусость. В тот же миг один из злодеев нанес ему в руку удар кинжалом и сам упал к его ногам, задыхаясь, теряя сознание от сильнейшего удара рукоятью норвежского ножа Христиана, который пришелся ему прямо в грудь. Рана Христиана была незначительной благодаря рукаву прочной оленьей куртки; он вознес хвалу небу за то, что не поддался желанию пропороть злодея ножом, как медведя на охоте. Ведь необходимо было захватить живым одного из *bravi*¹ барона. Остальные двое сочли его убитым и, полагая, что со смертью вожака дело проиграно, обменялись какими-то словами, означавшими на их воровском языке: «спасайся кто может», но они не сообразили, что их подстерегают майор и лейтенант, тотчас же схватившие одного из них; второй же дал тягу.

— Праведное небо! Неужели вы ранены, Вальдо?— спросил майор, которому Христиан помогал разоружать негодяев.

— Нет, нет,— ответил Христиан, не чувствуя боли и ощущая только теплоту крови, струившейся по рукаву.— Веревки есть?

— Да, хватило бы на всех, если бы только мы имели право их повесить! Мы пришли с расчетом, что непременно возьмем в плен этих красавчиков! Христиан, если вы успели перевести дух, затрубите-ка в рожок, чтобы дать знать нашим остальным друзьям, которых мы ждем и разыскиваем вот уже целый час. Вот, возьмите рожок!

— Быть может, вам лучше дать выстрел?

— Не стоит; и без того достаточно тут стреляли; нет, потрубите, говорю вам.

Христиан выполнил просьбу майора, но на звук рожка явился только капрал.

— Видите ли,— объяснил майор Христиану,— надо, чтобы все подумали, будто мы просто вышли на прогулку, заблудились и растеряли друг друга, а затем вновь встретились.

¹ Наемных убийц (*итал.*).

— Не понимаю.

— Необходимо создать такое впечатление, говорю я вам, хотя бы на несколько часов, чтобы барон подольше оставался в неизвестности относительно исхода дела и не смог бы направить на нас других негодяев, несомненно имеющих у него в распоряжении. Что же касается его самого,— добавил он, понизив голос,— придет и его черед, будьте спокойны.

— Его черед уже пришел,— ответил Христиан,— это я беру на себя.

— Не спешите, не спешите, друг мой! Вам не дано на это права. Делом этим займусь я и не дам спуска барону, ибо теперь у нас есть доказательства и уверенность в своей правоте. Но выступить против столь родовитого дворянина, состоящего членом рикс-дага, мы можем, только получив приказ свыше; и мы его добьемся, можете не сомневаться. А сейчас остается только одно: вам придется повиноваться мне, друг мой, ибо я требую именем закона и во имя чести, чтобы вы помогли мне во всем, что я сочту необходимым сделать, и выполнили все приказания, которые я отдам.

В этот миг к ним подбежал Гёфле, без шапки, с факелом в одной руке, со шпагой в другой. Он вышел из замка кружным путем, через дверь спальни, уговорив не без труда обеих женщин остаться под охраной Петерсона, хотя они и стремились сопровождать его, соревнуясь между собой в отваге и желании оказать помощь друзьям.

— Христиан! Христиан!— воскликнул адвокат.— Так-то вы держите слово!

— Я позабыл обо всем, господин Гёфле,— тихо ответил Христиан.— Это было сильнее меня. Неужто я мог ждать, пока эти злодеи взломают дверь и начнут стрелять в женщин?.. Ну вот, мы наконец избавлены от опасности; ступайте же к Маргарите, успокойте ее.

— Бегу сейчас же,— ответил адвокат чихая,— тем более что я чертовски простудился... Надеюсь,— добавил он уже громче,— что вы, господа, посетите нас!

— Да, конечно, как мы условились,— ответил майор,— но сперва нам следует выполнить свои обязанности.

Гёфле отправился к дамам, чтобы успокоить их.

а остальные, приставив бандитам пистолеты к горлу, заставили их поднять труп Массарелли и отнести его в один из погребов горда. Затем их отвели, тщательно связав, на кухню к Стенсону, где капрал и лейтенант разожгли потухший очаг и уселись стеречь своих пленников, в то время как майор готовился допрашивать их в присутствии Христиана.

Христиан несколько досадовал на то, что майор так методично взялся за дело, в котором, видимо, разбирался лучше, чем он сам; но майор, перейдя на французский язык, объяснил ему, что не так-то легко с таким противником, как барон, доказать даже ясный и проверенный факт.

— К тому же,— добавил он,— я вижу, что, к сожалению, нам недостает свидетелей. Господин Гёфле видел только конечный исход дела. Среди нас нет ни господина Стенсона, ни его племянника, ни вашего слуги. Я надеялся, что мы окажемся в гораздо большем числе, чтобы вовремя прийти вам на помощь и в то же время подтвердить все происшедшее *de visu*¹. Младший лейтенант и четверо солдат, за которыми я послал, все еще не пришли. Несмотря на то, что наши бустеллы и торпы солдат расположены недалеко друг от друга, пройдет, быть может, несколько часов, из-за тумана, пока у нас здесь наберется восемь вооруженных людей.

— Но к чему нам восемь человек, чтобы стеречь двоих?

— Неужели вы полагаете, Христиан, будто барон, узнав, что его дьявольские затеи впервые потерпели неудачу, успокоится на этом? Не знаю, что он еще способен придумать, но уж что-нибудь да придумает, вплоть до поджога Стольборга, если сочтет нужным. Вот почему я и решил провести здесь ночь, чтобы с помощью моих людей захватить остальных злодеев, которые сюда, несомненно, явятся то ли с предложением услуг, то ли под другой личиной. Ведь большая часть этих иноземных холопов не что иное, как шайка воров и убийц, надо постараться застать их всех на месте преступления. Тогда, ручаюсь, служители правосудия решатся выступить против вельможи, вынужденного тщетно зывать к своим крестьянам о по-

¹ Как свидетели (буквально — «собственными глазами». — «Лат.).

мощи. Если же мы будем действовать иначе, мы проиграем дело, можете быть уверены. Все поддадутся страху; барон найдет способ либо снять с себя ответственность за все, что произошло, либо освободить наших пленников. Вас назовут убийцей, а нас — духовидцами или в лучшем случае — неопытными юнцами, офицерами, которые вступились за преступника и схватили ни в чем не повинных людей; можете не сомневаться, эти bravi, которых мы здесь держим, отлично вышколены. Я сейчас их допрошу, и вот увидите — они сумеют отлично выпутаться. Готов поспорить, что они слово в слово затвердили все, чему их научили.

Действительно, оба злоумышленника заявили с откровенной наглостью, будто явились по приказу мажордома напомнить кукольнику, что он запаздывает с началом представления; а он-де, узнав среди них своего бывшего приятеля, на которого имел зуб, бросился за ним вдогонку и убил его, а затем принялся бранить остальных, вызывая их на драку; тот же, кто ранил Христиана, клялся, что нечаянно нанес ему удар, желая усмирить буйнопомешанного.

— До того буйного, — добавил он, — что он мне грудь проломил, вот кровью харкаю!

— Увидите, — сказал майору Христиан, — получится, что я просто-напросто оскорбил этого господина, не дав себя прикончить!

— И еще увидите, — добавил Ларсон, — как убийцы выскользнут из петли! Наш закон карает смертью только того преступника, который сознался. Преступникам это отлично известно, и как бы нелепы ни были доводы, приводимые ими в свою защиту, они от этих доводов не отступятся. На суде вы можете оказаться в менее выгодном положении, чем они. Вот почему мы со своей стороны будем стоять горой за вас и будем рядом с вами, Христиан, не сомневайтесь.

— О, дело Христиана — верное дело! — сказал Гёфле, который пришел послушать допрос, а теперь провозжал своих гостей во «владения медведицы», как он говорил. — У нас в руках будет отличное оружие против барона, если только нам удастся освободить старика Стенсона, которого увели то ли добром, то ли силой в новый замок. Нам надо, господа, совместно придумать, как это сделать.

— Об этом, господин Гёфле, и думать нечего, —

ответил майор.— Владелец замка сам вправе вершить суд в своих землях, а тем более — в собственном доме. Я не знаю, каким образом дело Стенсона связано с делом Христиана, но, на мой взгляд, не стоит усложнять последнее. Прежде всего мне хотелось бы узнать, действительно ли спрятан во выюке осла золотой кубок, сунутый туда по приказу барона, вероятно, по примеру Иосифа, который некогда хотел таким образом испытать своих братьев, хотя, полагаю, с более мирной целью.

— Ей-богу, мне об этом ничего не известно,— сказал Христиан.— Пойдемте вместе, посмотрим.

Все направились в конюшню, где застали Пуффо, забившегося в угол, бледного, умоляющего о пощаде. Его обыскали: золотой кубок оказался при нем. Он во всем сознался на свой лад. Час тому назад он якобы увидел, как господин Юхан принес в конюшню сей ценный предмет, и он, Пуффо, разгадав его намерение, решил забрать кубок и отнести его в замок, чтобы, по его словам, спасти ни в чем не повинного хозяина от обвинения в краже; но когда он собрался убежать из конюшни, он увидел, что дверь заперта и не поддается, хотя он изо всех сил пытался взломать ее, услышав выстрелы и желая броситься на помощь Христиану.

Все эти признания были столь сомнительны, что майор велел связать почтенного Пуффо, точно так же, как остальных, и его отвели в горд, где и оставили под охраной капрала и Петерсона, призванного ему на помощь. Золотой кубок был торжественно водружен Гёфле на стол в медвежьей комнате.

Меж тем Мартина Акерстром бросилась навстречу своему жениху, совсем не помышляя о том, «что скажут люди», и не испытывая никакой неловкости в присутствии майора и капрала. У этой доброй, простодушной девушки сейчас на уме были две заботы: во-первых, беспокойство, которое, должно быть, испытывают ее родители из-за непонятного исчезновения дочери, и, во-вторых,— отсутствие сахара, без которого нельзя предложить чаю, а ведь «эти бедные господа, наверно, так промерзли!» Она все просила послать кого-нибудь в новый замок, чтобы успокоить родителей и принести сахару.

Последний вопрос, кстати, был разрешен Нильсом, проснувшимся от шума и сразу позабывшим о

своих страхах при виде офицеров: он отлично знал, где находится сахар, принесенный утром Ульфилом, и не раз уже туда наведывался, но первое желание Мартины исполнить было труднее, ибо послать было некого, и к тому же майору хотелось немедленно записать показания Мартины и лейтенанта Осборна относительно разговора бандитов, услышанного ими двумя часами раньше у входа в башню нового замка. Он считал, что этот разговор — ключ к делу, и поэтому просил не опускать ни единой подробности, тщательно все записывал и очень сожалел, что третий свидетель этого разговора, графиня Маргарита, отсутствует и не может поставить свою подпись.

Маргарита же находилась в караульне, куда Христиан поспешно увел ее, чтобы девушку не увидели молодые офицеры, ибо в их глазах у нее не было убедительного и священного для всякого шведа повода к приходу — тревоги за жизнь жениха; тем не менее, услышав из-за двери, что в ее участии нуждаются, поняв к тому же по голосам присутствующих, что злословие ей не грозит, она тотчас же открыла дверь и вошла в комнату. Ей не терпелось поставить свою подпись под клятвенным заверением о непричастности Христиана к подлой краже, тем более что злокозненные намерения барона были раскрыты в ее присутствии беседой двух бандитов.

Майор и лейтенант не могли сдержать удивленного восклицания при виде Маргариты: но Гёфле, со свойственным ему присутствием духа, взял объяснение на себя.

— Фрёкен Акерстром не могла бы добраться сюда одна, — сказал он. — Проводить ее было некому, тем более что вы так настойчиво просили ее соблюдать тайну, и она не могла взять иного провожатого, кроме слуги графини Маргариты, тоже посвященного в эту тайну. Естественно, что графиня Маргарита желала сопровождать свою подругу, которую Петерсон, возможно, стал бы отговаривать от этого похода, ссылаясь на туман...

Немало других доводов привел еще Гёфле, чтобы доказать, насколько естественно все произошло. Мартина с присущим ей простодушием могла бы, конечно, возразить, что дело было не совсем так, как объясняет Гёфле, и, наверно, сделала бы это, не догадываясь о симпатии Маргариты к Христиану, если

бы она не была поглощена вместе с Нильсом приготвлением чая; к столу была подана, кроме того, каша, так как Нильс обнаружил в горде все яства, предназначенные Ульфилем для ужина его дядюшки и гостей, живущих в Стольборге.

Итак, мрачная медвежья комната служила сейчас декорацией к одной из мирных сцен, столь обычных в сей жизни в силу земных потребностей человека и вечных контрастов нашей судьбы: несколько мгновений тому назад — тревога, борьба, смертельная опасность; миг спустя — домашний уют, ужин и застольная беседа. Однако за столом сидели только Гёфле и Мартина. Остальные же, стоя, наспех перекусили, с нетерпением ожидая новых событий или же появления подмоги, что дало бы им возможность принять новое решение.

Разумеется, у каждого из участников столь необычной трапезы были живейшие основания для беспокойства. Маргарита тревожилась, не станет ли тетушка разыскивать ее, когда узнает о перемене программы увеселений в новом замке из-за отсутствия *burattini*; и не разделит ли сама мадемуазель Потен беспокойство и недоумение графини Эльведы, убедившись в отсутствии Мартины, на попечение которой она оставила Маргариту. Мартина же недолго размышляла о том, волнуются ее родители или нет: будучи особой рассудительной, она сообразила, что помещения замка весьма просторны, а матушка ее, уверенная в своей дочери и вдобавок большая любительница карточной игры, не имеет привычки разыскивать ее, когда она бежит по замку с подружками; да к тому же того и гляди явятся другие офицеры и освободят невольных узников Стольборга; но в то же время она вспомнила, как мала горсточка защитников старого замка, ее охватил страх за судьбу жениха и нетерпеливое желание, чтобы подмога подросла скорее.

Христиан тревожился о Маргарите и почти что позабыл думать о собственной участи. Майор тревожился о Христиане и о себе самом; он все время твердил лейтенанту, что дело обернулось, с точки зрения правосудия, весьма для них невыгодно. Лейтенант тревожился из-за того, что тревожится майор. Что касается Гёфле, то его волновала мысль о старике Стенсоне, и это снова и снова приводило

его к бесчисленным молчаливым умозаключениям о рождении и дальнейшей судьбе Христиана.

Словом, никто из присутствующих не мог сказать, что чувствует себя спокойно. Внезапно послышался стук и звон колокола у ворот. Возможно, что наконец явились долгожданные солдаты с офицером; но возможно также, что из замка прислали новую разбойничью шайку в поддержку или для спасения первой. Майор и лейтенант зарядили пистолеты и выбежали во двор, велев Христиану, которому они по праву могли отдавать приказания в данных обстоятельствах, оставаться в помещении и не ввязываться в драку, пока они не подадут сигнала. Затем Ларсон, ничего не спрашивая у вновь прибывших, решительно распахнул ворота, рискуя первым пасть под ударами неприятеля, и с радостью узнал своего друга младшего лейтенанта и четырех солдат, расквартированных неподалеку от его бустелле. Теперь он считал, что положение спасено. Не было сомнений, что барон, с нетерпением ожидавший исхода событий и томимый неизвестностью, пошлет на разведку отряд своих проходимцев. Младший лейтенант кратко доложил о своих действиях. Он сбился с пути со своими солдатами; на Стольборг они набрали случайно, после долгих блужданий в тумане. Навстречу им никто не попался, а если и попался — они никого не видели.

— Все же, — добавил он, — туман на берегу уже редет, и самое большее через четверть часа можно будет выйти в дозор. Рев фанфар и треск фейерверка, которые доносились из нового замка, наконец утихли, и теперь малейший звук будет хорошо слышен.

— Нам будет тем легче сделать обход, — сказал майор, — что здесь находится местный житель, некий Петерсон, паделенный, как и все крестьяне, поразительным чутьем. Он и сейчас мог бы проводить вас куда угодно; но подождем еще немного. Расставьте людей возле обоих входов в Стольборг, так чтобы никто их не слышал и не видел. Закройте дверь в домик, что в горде. С пленных по-прежнему не спускать глаз и пригрозить им смертью, если они хоть слово скажут, но чтобы это осталось только угрозой! С нас хватит и одного убитого, которым, возможно, нас еще будут долго попрекать!

Не успел храбрый и осмотрительный майор отдать эти распоряжения, как мимо него промелькнула какая-то тень, как раз в тот миг, когда он ошупью возвращался в медвежью комнату, чтобы продолжать следствие и пополнить его чрезвычайно важными сообщениями господина Гёфле обо всех происшествиях, касающихся Христиана. Тень неуверенно двигалась вперед, а майор шел за ней следом, пока она внезапно не наткнулась на стену и не принялась браниться довольно тонким голоском, по которому Христиан, вышедший на порог, тотчас узнал Олофа Бегсоа, сына даннемана.

— На кого же ты так сердишься, дружок?— спросил Христиан, взяв его за руку.— И как случилось, что ты явился сюда, а не домой?

Все трое вошли в медвежью комнату.

— Ей-богу, кабы не вы,— сказал Олоф Христиану,— я бы еще долго искал входную дверь. Снаружи-то я хорошо знаю Стольборг, нашел бы его с закрытыми глазами; а вот входить-то сюда не входил, нет! Сами понимаете, в такую проклятую погоду я не мог воротиться домой, как собирался. Наконец немного рассело, и я отправился пешком, чтобы отец не встревожился, а лошадь оставил в бустёлле господина майора, где провел битых два часа; только сперва надумал я занести вам по дороге бумажник, который вы забыли в санях, господин Христиан. Вот он. Я в него не заглядывал. Все, что там было, так и осталось в целости и сохранности. Я никому не хотел его доверить, потому что отец часто говаривал, что ныне бумаги порой дороже денег.

С этими словами Олоф протянул Христиану бумажник из черного сафьяна, которого тот никогда не видел.

— Быть может, это ваш бумажник, случайно оставшийся в кармане куртки, которую вы мне дали надеть?— спросил он майора.

— Отнюдь нет, в первый раз вижу,— ответил Ларсон.

— Стало быть, он принадлежит лейтенанту?

— Ручаюсь, что нет,— сказала Мартина.— Бумажники лейтенанта всегда украшены моей вышивкой, других у него нет.

— Можно спросить его самого,— подхватил майор.— Лейтенант где-то поблизости, в горде.

— Стойте!— воскликнул Гёфле, по-прежнему во власти своей навязчивой мысли.— Вы, кажется, говорили мне, Христиан, что сегодня на охоте опрокинули сани барона?

— Вернее, барон опрокинул мои сани, а уж вместе с ними и свои собственные,— ответил Христиан.

— Ну вот,— продолжал адвокат,— все, что было в тех и других санях вывалилось на дорогу, от медведей до бумажников, вперемежку, и, должно быть...

— Должно быть, этот бумажник служил врачу футляром для инструментов, готов поспорить, что так!— воскликнул Христиан.— Оставь его здесь, Олоф, мы его отошлем доктору.

— Дайте-ка сюда!— сказал Гёфле весьма решительным и уверенным тоном.— Единственный способ узнать, кому принадлежит бумажник,— это открыть его, и я это беру на себя.

— Вы берете это на себя, господин Гёфле?— спросил майор, весьма шепетильный в таких вопросах.

— Да, господин майор,— ответил адвокат, открывая бумажник,— и я прошу вас быть свидетелем, коль скоро вы явились сюда, чтобы расследовать дело, по которому я, быть может, буду выступать в суде. Смотрите, вот письмо господина Юхана, предназначенное его барину. Почерк его мне знаком, и с первого взгляда я вижу следующее: «Кукольник... Гвидо Массарелли... «Розариум»?» Ах, да, барон считает себя вправе иметь таковой, наряду с сенатом! Майор, это документ чрезвычайной важности, и вдобавок тут же имеется второй, быть может, еще более важный. Возложенное на вас поручение требует, чтобы вы с ним ознакомились.

— Мне можно уйти?— спросил юный даннеман, смутно понимая, что идет разбирательство какого-то судебного дела, и опасаясь, подобно любому крестьянину в любой стране, оказаться замешанным в него как свидетель.

— Нет,— ответил майор,— тебе надо остаться здесь и слушать.

И, обращаясь к Маргарите и Мартине, которые шепотом совещались о возможности возвращения в замок, майор сказал:

— Я очень прошу вас также прислушаться к на-

шей беседе. Мы имеем дело с опасным противником, и нас, возможно, обвинят в подделке уличающих его документов. Меж тем вот один из них; он передан нам в вашем присутствии, и необходимо, чтобы вы ознакомились с ним вместе с нами.

— Нет, нет!— воскликнул Христиан.— Я не хочу, чтобы дамы были замешаны в тяжбу...

— Весьма сожалею, Христиан,— перебил его майор,— но закон выше вашей воли, и я намерен честно выполнить свой долг. Нынешним вечером был убит человек, которого, несомненно, лучше было бы взять живым. Я знаю, что вы тут ни при чем, и к тому же вы ранены... Вы человек пылкий, отважный и великодушный, но вы весьма неосмотрительны, когда дело касается вас. Я же утверждаю, что это дело может привести вас на эшафот, потому что вы, конечно, честно признаете, что бросили вызов своим врагам, а эти мошенники будут отрицать все со свойственным им бесстыдством!.. Итак, приступим к чтению и сделаем все возможное, дабы истина восторжествовала.

— Да, да, майор, читайте, я слушаю!— вскричала Маргарита, побледнев при взгляде на окровавленный рукав Христиана.— Я готова быть свидетельницей, пусть даже я на этом лишусь доброго имени!

Христиану невыносимо было самопожертвование благородной девушки, и он весьма досадовал на майора, предъявившего ей какие-то требования. Однако майор был прав, и Христиан чувствовал это, тем более что офицер ставил на карту свою честь, точно так же, как делали остальные. Поэтому Христиан опустил на стул и закрыл лицо руками, чтобы никто не заметил его смятения, в то время как майор принялся читать вслух дневник почтеннейшего Юхана, написанный его рукой и отправленный барону в разгар охоты.

— Бумага эта представляет для меня загадку,— сказал майор, закончив чтение,— из нее видно, что против Христиана затеян хорошо продуманный заговор, но...

— Но вам трудно понять,— подсказал ему Гёфле, который во время чтения торопливо пробежал глазами вторую бумагу,— откуда к незнакомцу без имени, без семьи, без состояния возникла столь жгучая ненависть со стороны видного и могущественного

вельможи, барона Вальдемора? Зато я «то отлично понимаю, и коль скоро нами уже доказано, к каким последствиям привела эта ненависть, пора раскрыть ее причину: вот она... Голову выше, Христиан Вальдемора!—добавил Гёфле, с силой ударяя кулаком по столу.— Небо привело тебя сюда, и прав был старик Стенсон, когда говорил: «Богатство грешника уготовано праведнику!»

В глубоком изумлении все умолкли, с нетерпением ожидая дальнейшего, и Гёфле прочел следующее:

«Я, Адам Стенсон, доверяю Таддео Манассе, коммерсанту, уроженцу Перуджи, сие сообщение, дабы он передал его Христиану в тот день, когда это дозволит последние обстоятельства.

Адельстан-Христиан Вальдемора, сын барона Вальдемора и благородной госпожи Хильды Бликсен, родился пятнадцатого сентября тысяча семьсот сорок шестого года в так называемой медвежьей комнате замка Стольборг, что во владениях Вальдемора, в провинции Далекарлия.

Был тайно поручен заботам Анны Бетсой, жены даннемана Карла Бетсоя, мною, Адамом Стенсоном, нижеподписавшимся, и девицей Карин Бетсой, дочерью поименованных выше и доверенной служанкой покойной баронессы Хильды Вальдемора, урожденной Бликсен.

Означенный младенец был вскормлен молоком прирученной лани в доме вышеупомянутого Карла Бетсоя, на горе Блокдаал, где и прожил до четырехлетнего возраста, будучи известен всем как сын Карин Бетсой, каковая из преданности к покойной госпоже наговорила на себя, будто была совращена и обманута неизвестным лицом, и благодаря сему самопожертвованию сумела спасти ребенка от преследования врагов, выдавая его за своего.

Означенный ребенок был затем увезен мною, Адамом Стенсоном, ибо, несмотря на принятые меры предосторожности, вокруг него возникли подозрения, подвергавшие опасности его жизнь.

Я, нижеподписавшийся, отвез его в Австрию, где имею замужнюю сестру, каковая сможет засвидетельствовать, что я прибыл к ней с ребенком по имени Христиан, говорившим на далекарлийском наречии.

По совету близкого друга и поверенного моего Таддео Манассе, исповедующего веру *Ветхого завета*, некогда хорошо известного в Швеции под именем Манассе и пользовавшегося большим уважением покойного господина барона Адельстана Вальдемора, как человек слова, надежный и безукоризненно честный в своем деле, а именно — торговле произведениями искусства, коих поименованный барон был большим любителем,

я, нижеподписавшийся, отправился в город Перуджу, что в Италии, где находился в то время вышеупомянутый друг мой, Таддео Манассе. Явившись под маской в дни карнавала к почтенным супругам Гоффреди, а именно: Сильвио Гоффреди, преподавателю древней истории в перуджийском университете, и Софии Негрисоли, его законной жене, родом из семьи прославленного врача, носящего ту же фамилию,

Я им вручил, доверил, словом, *отдал* упомянутого Христиана Вальдемора, не ознакомив их ни с родом его, ни со страной, где он появился на свет, ни с особыми причинами, вынудившими меня расстаться с ним.

Отдавая горячо любимое мною дитя вышеупомянутым супругам Гоффреди, я полагал, что выполняю волю покойной баронессы Хильды, каковая говорила, что желает, чтобы он рос вдали от *своих врагов*, у людей образованных и добродетельных, которые, безо всяких к тому корыстных побуждений, полюбят его как родного сына и дадут ему такое воспитание, чтобы он был достоин имени и рода своего, кои будут возвращены ему в тот день, когда умрут его враги, что, по законам природы, случится задолго до его собственной кончины.

А на тот случай, ежели нижеподписавшемуся суждено будет умереть раньше вышеупомянутых *врагов*, он, нижеподписавшийся, поручил означенному Таддео Манассе принять все меры, дабы Христиану Вальдемору была вручена настоящая грамота, как только станет известно о кончине его врагов. В силу чего и был заключен дружеский договор с Таддео Манассе, согласно которому он обязался не терять из виду вышеназванного Христиана Вальдемора, жить всегда поблизости от него, быть ему опорой в случае, если другой опоры у него не станет, и подо-

брать себе в замену, на случай собственной тяжелой болезни или смерти, столь же верного человека, как он сам, и, кроме того, ежегодно сообщать нижеподписавшемуся сведения относительно Христиана. После чего нижеподписавшийся, желая сохранить за собой должность управляющего замком Вальдемора, дабы не вызывать подозрений, а также дабы иметь возможность заработать деньги, необходимые для предполагаемых разъездов Таддео и для могущих возникнуть нужд дитяти, покинул, не без скорби сердечной, город Перуджу и вернулся в Швецию шестнадцатого марта тысяча семьсот пятидесятого года, полагая и надеясь, что совершил все возможное, дабы избавить от опасности сына своих покойных хозяев и обеспечить ему счастливую и достойную жизнь.

Адам Стенсон.

Подтверждаю: Таддео Манассе, главный хранитель картинной галереи дель Камбио в Перудже».

— Говорите же, Христиан,— обратился Гёфле к своему юному другу, потрясенному услышанным и погружившемуся в глубокое молчание.— Все следует еще проверить. Этот Манассе был действительно честным человеком?

— Думаю, что да,— ответил Христиан.

— Предлагал он вам когда-либо денежную поддержку от имени вашего семейства?

— Да. Я отказался.

— Знакома ли вам его подпись?

— Хорошо знакома. Он неоднократно вел дела с синьором Гоффреди.

— Взгляните, его ли это рука?

— Да, это его рука.

— Что касается меня,— продолжал Гёфле,— я ручаюсь, что узнал и почерк и язык Стенсона в прочитанной мной рукописи. Прошу вас, майор, открыть эту папку и удостовериться в тождественности почерка. Это хозяйственные отчеты по имению, составленные и подписанные стариком управляющим примерно в то же время, то есть в тысяча семьсот пятьдесят первом и пятьдесят втором годах. Впрочем, почерк

его не переменялся и поныне, и рука все так же тверда. Вот доказательство: три стиха из Библии, написанные только вчера, смысл которых, соответствующий состоянию его духа, очень ясен и помогает нам понять многое.

Майор сличил рукописи; тем не менее тайна казалась ему все еще неразгаданной. Состряпал ли барон подложные документы, свидетельствующие о том, что его невестка умерла, не оставив наследника? Он был вполне способен на такой подлог, но ведь Гёфле в свое время ознакомился с этими бумагами, и даже теперь они, должно быть, находились в его руках вместе с остальными делами, полученными им в наследство от отца.

— Да, эти записки находятся у меня в Гевале,— ответил Гёфле.— Они были проверены экспертами, и подлинность их не вызывает сомнений; но разве не ясно теперь, что баронессу Хильду принудили к этому ложному признанию силой или угрозами? Успокойтесь, Христиан, все это выяснится. Смотрите, майор, вот вам еще одно доказательство, найденное мною вчера случайно в кармане платья, письмо барона Адельстана к жене: прочтите и прикиньте, совпадают ли даты. Надежда на будущее материнство подтвердилась пятого марта, после двух или трех месяцев сомнений, быть может! Ребенок родился пятнадцатого сентября, баронесса нашла прибежище здесь в первых числах этого же месяца. Здесь же, по-видимому, она оказалась узницей барона и умерла двадцать восьмого числа. И еще одно доказательство — эта миниатюра. Взгляните на нее, Маргарита Эльведа. Этот портрет графа Адельстана, конечно, не был написан ради занимающего нас сейчас дела: писал его знаменитый художник и поставил дату и подпись. Но ведь это вылитый Христиан Вальдо! Сходство поистине необыкновенное. Теперь посмотрите на портрет того же графа Адельстана во весь рост. Здесь бросается в глаза то же сходство, хотя это творение гораздо менее талантливого живописца, но руки выписаны с наивной точностью, и вам, должно быть, хорошо видны согнутые мизинцы; ну-ка, Христиан, покажите нам ваши!

— Ах,— вскричал Христиан, возбужденно шагавший из угла в угол, пока Гёфле не остановил его, взяв его дрожащие руки в свои,— если барон Олаус

мучил мою мать — горе ему! Вот эти скрюченные пальцы выврут у него сердце из груди!

— Ничего, пусть итальянская страсть скажет свое, — сказал Гёфле майору, который вскочил с места, опасаясь, как бы Христиан не выбежал из замка. — Этот молодой человек — воплощенная отвага, уж я-то его знаю! Мне известна вся его жизнь. Неужели вы не понимаете, что ему необходимо излить свою скорбь и негодование? Но подождите, друг мой Христиан. Возможно, что у барона не такое преступное прошлое, как мы полагаем. Надо узнать подробности, надо повидать Стенсона. Освободить Стенсона и привести его сюда — вот что нужно сделать, майор, и как раз этого вы и не хотите.

— Вы отлично знаете, что я не могу этого сделать! — вскричал майор, чрезвычайно взволнованный и возбужденный. — Я не имею никакого права вмешиваться в действия столь важного лица, как барон, особенно если он вершит суд над собственными слугами; если барон вздумает пытать этого старика, он найдет для этого тысячу предлогов.

Тут майора прервал Христиан, который уже не в силах был сдерживать свой порывистый нрав. Он хотел сам идти в новый замок, спасти Стенсона или расстаться с жизнью.

— Как! — говорил он. — Ужели вы не видите, что в этом логове ни перед чем не останавливаются? Я теперь слишком понимаю, что именно скрывается за этим шуточным, но горьким и страшным прозвищем «розариум»! И этот несчастный старик, который едва дышит, верный слуга, спасший меня от врагов, как он говорит в своей исповеди, и посвятивший мне после долгой, утомительной поездки еще долгие годы молчаливого труда, сейчас умирает, быть может, в страшных муках, тоже ради меня! Нет, это немыслимо; вам не удастся удержать меня здесь, майор. Я не признаю вашей власти, и если даже мне придется пробить себе дорогу шпагой — что ж, тем хуже, пеняйте на себя!

— Тише! — воскликнул Гёфле, вырывая из рук Христиана шпагу, которую тот схватил со стола, — тише! Слушайте! Кто-то ходит над нами, в комнате, куда вход замурован.

— Кто же может там ходить, — сказал майор, —

если вход, как вы говорите, замурован? К тому же я ничего не слышу.

— Я тоже не слышу шагов,— ответил Гёфле,— но помолчите, и взгляните на люстру.

Все умолкли, глядя на люстру, и не только заметили, как она вздрагивает, но и слышали тихое металлическое позвякивание медных подвесок, трещающих под чьими-то шагами в верхнем этаже.

— Неужели это Стенсон?— воскликнул Христиан.— Только ему одному может быть известен вход через наружную галерею.

— А разве есть такая галерея?— спросил майор.

— Как знать!— ответил Христиан.— Думаю, что есть, хотя убедиться в этом мне не удалось; но вскарабкаться по скалам, на мой взгляд, невозможно. Подождите, вы ничего больше не слышите?

Все опять прислушались, и им показалось на этот раз, что по ту сторону замурованного входа в медвежью комнату хлопнула дверь и кто-то стал постукивать или царапать о стену. Был ли это Стенсон, который вырвался из рук злодеев и, опасаясь вернуться через горд или двор, охраняемые, быть может, врагами, вошел в замок потайным ходом, известным только ему? Звал ли он друзей на помощь, или подавал им тайный знак, предупреждая о возможности нового нападения? Все эти предположения казались майору игрой досужей фантазии. В это время вошел лейтенант с даннеманом Бетсоем и сказал:

— Наш приятель только что пришел сюда из бустёлле, он разыскивает сына. Нет ли его здесь?

— Да, да, отец!— отозвался Олоф, перепуганный тем, что ему довелось услышать, и весьма обрадованный приходом отца.— Вы беспокоились за меня?

— Ничуть я не беспокоился,— ответил даннеман, проделавший весь этот путь в ненастную погоду, лишь бы разыскать сына, но полагавший такое признание несовместимым с отцовским достоинством.— Я отлично знал, что наши друзья тебя одного не пустят. Но я опасался, как бы лошадь не покалечилась!

В то время как даннеман объяснял таким образом причину своей тревоги, лейтенант сообщил майору известие, которое, по-видимому, поразило того.

— В чем дело?— спросил Гёфле.

— А в том,— ответил Ларсон,— что все мы чрез-

мерно предались черным мыслям и стали вести себя попросту нелепо. Лейтенант, делая обход, услышал нечто подобное человеческому стону, а солдаты наши так напуганы вечными рассказами о стольборгской даме в сером, что тотчас разбежались бы, если бы вовремя не вспомнили о дисциплине. Пора положить конец всем этим мечтаньям, и если нельзя проникнуть отсюда в замурованную комнату, следует тщательно осмотреть подходы к ней снаружи и убедиться, что злодеи не воспользовались этой фантазмагорией, чтобы расставить нам ловушку. Пойдемте с нами, Христиан, ведь вы как будто нашли способ, как забраться наверх.

— Нет, нет! — возразил Христиан, — Такой путь слишком долг и труден. Я знаю, как быстрее и проще пробить себе дорогу. Главное — выломать первый кирпич.

И с этими словами Христиан сорвал с колец большую карту Швеции и, вооружившись своим геологическим молотком, принялся с отчаянной решимостью пробивать стену, то колотя тупым концом молотка по звонкому кирпичу, то вставляя острый, режущий конец его в образовавшиеся отверстия и выламывая сразу по нескольку кирпичей, накрепко соединенных между собой известковым раствором, и они с грохотом рушились на гулкие ступени лестницы. Остановить Христиана было бы теперь невозможно. Какое-то бешенство овладело им, толкавшее его противиться во что бы то ни стало вынужденному бездействию. Возникшие в его мозгу странные предположения о существе, замурованном, быть может, заживо в этой комнате, преследовали его, подобно кошмару. Возбуждение его было таково, что он готов был разделить все суеверные мысли, зародившиеся у Гёфле, и невольно ему приходило в голову, что некая сверхъестественная сила призывает его раскрыть адскую тайну, окутавшую кончину его матери.

— Отойдите, отойдите прочь! — кричал он Гёфле, который ежеминутно подбегал к подножию лестницы, движимый таким же волнением, смешанным вдобавок с живейшим любопытством. — Если кладка рухнет целиком, мне ее будет не удержать!

И действительно, кирпичная перегородка, протянувшаяся на большом пространстве, разваливалась мало-помалу под яростными ударами Христиана,

осыпая пылью бесстрашного разрушителя, оставшегося каким-то чудом невредимым под градом камня и извести. Никто не осмеливался заговорить с ним; все затаили дыхание, ожидая, что вот-вот увидят его погребенным под обломками или раненым насмерть упавшим кирпичом. Он скрылся в туче пыли и вдруг закричал:

— Нашел! Лестница продолжается! Дайте свету, господин Гёфле!

И, не дожидаясь, Христиан бросился во тьму. Но пока он искал на ощупь дверь и увидел наконец, что она полуоткрыта, майор догнал его и сказал, удерживая за руку:

— Христиан, если у вас есть хоть какое-то дружеское чувство ко мне и уважение к моему званию, вы пропустите меня вперед. Господин Гёфле полагает, что здесь скрыты решающие доказательства вашей правоты, а ведь не положено свидетельствовать в свою собственную пользу. К тому же берегитесь! Доказательства эти, быть может, таковы, что вы с ужасом отступите перед ними.

— Я выдержу все, что бы я ни увидел,— ответил Христиан в исступлении, ибо та же мысль приходила и ему.— Я хочу знать правду, пусть даже она меня поразит, как удар молнии! Идите вперед, Осмунд, это ваше право, но я следую за вами, это мой долг.

— Нет же, нет!— воскликнул Гёфле, поспешно поднявшийся по лестнице вслед за майором вместе с даннеманом и лейтенантом и с решительным видом загородивший собой дверь.— Вы не пройдете сюда, Христиан, вы не войдете без моего разрешения! Вы человек горячий, а я — упрямый. Что же, поднимете ли вы руку на меня?

Христиан сдался и отступил. Майор вошел с Гёфле; лейтенант и даннеман остались на пороге, заслонив собой Христиана.

Майор сделал несколько шагов по таинственной комнате, где царил мрак, который не рассеял даже огонь свечи в руке Гёфле. Комната была просторной, и стены ее были обшиты деревянными панелями, как и в медвежьей комнате, но здесь было пусто, неприютно и во сто раз мрачнее, нежели там. Внезапно майор попятился и, понизив голос, чтобы его не услышал Христиан, стоявший у двери, сказал, обращаясь к Гёфле:

— Взгляните! Взгляните сюда! На пол!

— Стало быть это правда?— ответил Гёфле так же тихо.— Как это ужасно! Ну, майор, смелее! Надо все узнать.

И они подошли к человеческой фигуре, полулежащей, а вернее — опустившейся на колени и сгорбившейся у стены, опершись головой о деревянную панель. Вот и все, что можно было разглядеть под пыльными черными покрывалами, сквозь которые угадывалась необычайная худоба этого существа.

— Это она! Это призрак, увиденный мною!— сказал Гёфле, узнав под покрывалами серое платье, украшенное длинными перепачканными лентами.— Это баронесса Хильда! Она умерла или провела в заточении все эти годы?

— Она жива,— взволнованно ответил майор, приподняв покрывало.— Но это не баронесса Хильда. Я знаю эту женщину. Подойдите поближе, Ю Бетсой. Войдите, Христиан. Здесь нет ничего такого, что вам чудилось. Это только бедная Карин, и она без чувств или спит.

— Нет, нет,— сказал даннеман, тихо приблизившись к сестре,— она не спит и не в обмороке; она погружена в молитву, и дух ее вознесся к небесам. Не трогайте ее и не говорите с ней, пока она сама не встанет с колен.

— Но как же она сюда вошла?— спросил Гёфле.

— О, на это у нее есть особый дар,— ответил даннеман.— Она всегда войдет куда захочет и пролетит, подобно птице, сквозь щель в старой стене. Она проходит, даже не замечая этого, по таким местам, куда я иногда следовал за ней, препоручив душу мою господе. Поэтому я никогда не тревожусь, если не застаю ее дома; я знаю, что у нее есть дар и упасть она не может. Но вот — смотрите!— она кончила молиться. Встает, идет к двери... Снимает ключи с пояса. Эти ключи она всегда хранит как святыню, мы и не знаем, откуда они у нее...

— Последим за ней,— сказал Гёфле,— благо она нас не видит и не слышит. А что это она делает сейчас?

— Это у нее такая привычка,— сказал даннеман.— Она порой остановится возле какой-нибудь стены, будто хочет пайти и отворить дверь. Видите?

Она приставила ключ к стене и повернула его, потом увидела, что ошиблась, и пошла дальше.

— Вот оно что!— сказал господин Гёфле.— Теперь я понимаю, откуда эти кружочки, нацарапанные на стене в медвежьей комнате!

— Можно мне заговорить с ней?— спросил Христиан, подходя к Карин.

— Можно,— сказал даннеман.— Она вам ответит, если ей понравится ваш голос.

— Карин Бетсой,— спросил Христиан у ясновидающей,— что ты здесь ищешь?

— Не зови меня Карин Бетсой,— ответила она.— Карин умерла. Я *вала* древних времен, та, чье имя нельзя называть!

— Куда ты идешь?

— В медвежью комнату. Они уже заделали дверь?

— Нет,— сказал Христиан.— Я провожу тебя. Дай мне руку.

— Ступай,— сказала Карин,— я следую за тобой.

— Значит, ты меня видишь?

— Почему же мне не видеть тебя? Разве мы с тобой не находимся в царстве мертвых? Разве ты не бедный барон Адельстан? Ты просишь, чтобы я вернула тебе мать твоего ребенка? Я только что молилась за них обоих. А теперь... идем, идем! Я все тебе расскажу!

И Карин, словно внезапно опомнившись, переступила порог и спустилась по лестнице, сильно напугав своим появлением Маргариту и Мартину, не смотря на то, что юный Олоф, стоявший подле лестницы и все слышавший, предупредил их, что им нечего опасаться несчастной безумицы.

— Не бойтесь,— сказал им Христиан, который шел вслед за Карин в сопровождении обоих офицеров, Гёфле и даннемана.— Внимательно следите за ее движениями; постараемся все вместе разгадать смысл ее грез. Не правда ли, она как будто воздает последний долг человеку, который только что скончался?

— Да,— ответила Маргарита,— она словно закрывает кому-то глаза, целует руки, складывает их на груди. А вот она сплетает воображаемый венок и кладет его на голову покойному. Смотрите, она кого-то ищет глазами...

— Не меня ли ты ищешь, Карин?— спросил ясно-видящую Христиан.

— Ты ведь Адельстан, добрый *ярл*,— сказала Карин.— Слушай же и смотри: наконец-то она перестала страдать, твоя возлюбленная! Она ушла в страну эльфов. Злой *ярл* сказал: «Она умрет здесь», и она умерла. И он еще сказал: «Если родится сын, он умрет первым». Но он забыл о Карин. Карин была здесь, она приняла младенца, она спасла его, она вручила его феям озера, а Снеговик так и не узнал, что он родился. И Карин никогда не сказала ни слова, даже в болезни и лихорадке! А теперь она заговорила, ибо колокол замка возвещает о смерти. Слышите вы его?

— Ужели правда?— вскричал майор, поспешно открывая окно.— Нет, ничего не слышно. Она грезит.

— Если колокол и не звонит сейчас,— сказал даннеман,— он вскоре зазвонит. Она уже услышала его нынче утром у нас в горах. Мы-то знали, что это невозможно, но мы знали также, что она многое слышит наперед, так же как видит то, чему суждено случиться.

Карин, почувствовав, что в комнате открыто окно, подошла к нему.

— Это было здесь!— сказала она.— Через это окно улетело дитя с помощью Карин Бетсой.

И она повторила припев баллады, которую Христиан уже слышал в тумане: «Дитя озера, что прекрасней вечерней звезды...»

— Эту песню вы слышали от своей госпожи?— спросил Гёфле.

Но до слуха Карин, видимо, доходил только голос Христиана.

Ответила Гёфле Мартина Акерстром.

— Да,— сказала она,— я эту балладу знаю, ее когда-то сочинила баронесса Хильда. Мой отец нашел ее среди бумаг, захваченных в Стольборге и оставшихся у нас в доме от прежнего пастора. Там были также древние скандинавские песни, переведенные стихами и положенные на музыку бедной баронессой; она ведь была очень ученой и превосходной музыкантшей. Из этого хотели состряпать на нее клевету, будто она поклонялась языческим божествам. Мой отец осудил поведение прежнего пастора и бережно сохранил рукописи.

— Что же, Карин,— спросил Гёфле ясновидящую, впавшую в какой-то молчаливый экстаз,— ты нам болыше ничего не скажешь?

— Оставьте меня,— ответила Карин, вступив в новую сферу своих грез,— оставьте! Я должна пойти на хогар, навстречу тому, кто возвращается.

— Кто тебе сказал об этом?— спросил Христиан.

— Анст, что живет на крыше и приносит матерям, ожидающим возле очага, известия о покинувшем их сыне. Потому я и надела платье, подаренное мне самой любимой, чтобы он увидел то, что осталось от матери. Вот уже три дня я жду его и пою, дабы его привлечь; и наконец, наконец-то он возле меня, я чувствую это. Нарвите же васильков, нарвите фиалок и позовите старого Стенсона, пусть он порадует-ся перед своей кончиной. Бедный Стенсон!

— Почему ты сказала «бедный Стенсон»?— испуганно вскричал Христиан.— Он появился в твоих видениях?

— Оставьте меня,— ответила Карин.— Я все сказала; теперь *вала* снова уходит во мрак!

Карин закрыла глаза и пошатнулась.

— Это значит, что теперь она уснет,— сказал даннеман, поддерживая ее.— Я усажу ее здесь, она тотчас же должна уснуть, где бы ни находилась.

— Нет, нет,— сказала Маргарита,— отведем ее в другую комнату, где стоит большой диван. Бедная женщина, она вконец измучена и горит как в лихорадке. Идемте.

— Но что она делала наверху?— спросил Гёфле майора, возвращаясь к лестнице в то время, как девушки провожали семейство даннемана в караульную.— Никто не разубедит меня в том, что в этой комнате, столь тщательно замурованной Стенсоном, кроется тайна еще более важная, доказательство еще более веское, чем воспоминания Карин и исповедь Стенсона. Послушайте, Христиан, надо бы... Да где же вы?

— Неужели успел вернуться наверх?— спросил майор, быстро поднимаясь по деревянной лестнице.

— Проклятие!— вскричал Гёфле, поднявшийся с ним вместе.— Ушел! Выскользнул через пролом, как ящерица! Да никак это он бежит по краю стены! Христиан!

— Ни слова,— сказал майор.— Он идет над про-

пастью! Не трогайте его... Вот он скрылся из глаз, вошел в туман. Я бы хотел пойти за ним, но я плотнее его, мне здесь не пролезть.

— Слушайте,— перебил его Гёфле.— Он спрыгнул со стены! Вот он что-то говорит! Слушайте!

Послышался голос Христиана, говоривший солдатам:

— Это я! Это я! Майор послал меня в замок!

— Ах, безумец! Ах, храбрый мальчик!— воскликнул Гёфле.— Ничьих советов не слушает! Помчался один против всех на поиски Стенсона!

Действительно, Христиан пролетел, подобно ночной птице, по выражению даннемана, сквозь щель в старой стене. Имя Стенсона, произнесенное Карин, жгло ему сердце.

«Пусть он порадуетя перед своей кончиной!»— таковы были последние слова, которые она вымолвила в пророческом сне.

Неужели Стенсону и впрямь суждено умереть под ударами палачей, или же в этих горестных словах таился жестокий обман, какими подчас тешит нас надежда?

Христиан чувствовал, что осторожность майора сковывает и парализует его силы. Назревала неизбежная ссора, и Христиан, отлично зная, как опасен путь через пролом, все же предпочел бросить вызов страшной бездне, нежели лучшему из друзей, ниспосланных ему провидением. К тому же он видел в свое время этот второй выход только издалека и был тогда слишком озабочен, чтобы его разглядеть. Туман редел медленно, и все кругом тонуло в мутной дымке, но ведь Карин-то удалось здесь пройти!

— Боже мой!— молвил Христиан.— Награди мою преданность той же сверхъестественной силой, которой ты подчас наделяешь безумных!

И понимая, что ни ловкость, ни осторожность ему не помогут, ибо в трех шагах под ногами ничего не видно, Христиан, «для озера», вверяясь чудотворной силе, постоянно оберегавшей его жизнь, ринулся вниз по отвесному склону, подняться по которому не решился при свете дня.

Христиан добрался до замка Вальдемора раньше, чем майор, поскольку ему надо было принять решение и отдать приказ своему маленькому отряду, который прошел лишь половину того же пути. Христиан увидел, что все ворота, ведущие во дворы, открыты и освещены, как всегда во время празднеств. На лестницах и галереях по-прежнему толпились люди, но в царившей суматохе не оставалось ничего праздничного. Уже не видно было прекрасных дам в пышных нарядах и разодетых господ в пудренных париках, которые, встречаясь под звуки музыки Рамо, обменивались церемонными поклонами и учтивыми улыбками; зато сновали взад и вперед деловитые лакеи, таская сундуки и нагружая ими сани. Почти все гости готовились к отъезду; одни перешептывались в коридорах, другие заперлись у себя, отдав все распоряжения относительно предстоящего путешествия и собираясь теперь отдохнуть часок-другой.

Что же происходило в замке? Все было так взволновано, что высокие войлочные сапоги Христиана, рваная и окровавленная его куртка и охотничий нож за поясом ни на кого не произвели впечатления. Все невольно посторонилось, давая ему дорогу, но никто не задался вопросом, кто сей запоздалый охотник, словно идущий на штурм и готовый, казалось, все смести на своем пути, лишь бы не ждать ни одного мгновения.

Так Христиан миновал Охотничью галерею, где блуждали какие-то фигуры, видимо охваченные сильнейшей тревогой. Некоторые были ему знакомы: ему показали их на бале, как на самопадеющих наследников хозяина замка. Они были весьма озабочены, тихо переговаривались и ежеминутно оборачивались к одной из дверей, как будто с тревогой ждали оттуда какого-то важного известия.

Не дав им времени опомниться и понять, что он делает, Христиан прошел в эту дверь, сказав себе, что она, должно быть, ведет в покои барона; но, оказавшись в длинном коридоре, он вдруг услышал страшные стоны. Он побежал в ту сторону, откуда они доносились, и попал в какую-то комнату, где неожиданно очутился лицом к лицу со Стангстадну-

сом, мирно читавшим газету при свете маленькой лампы под колпачком и, по-видимому, совершенно спокойным, невзирая на ужасные стоны, которые здесь были слышны еще отчетливей.

— Что это такое?— спросил Христиан, хватая его за руку.— Неужто здесь кого-то пытаются?

Очевидно, Христиан, с ножом в руке, имел весьма угрожающий вид, так как прославленный геолог в испуге подскочил и закричал:

— Что это значит? Что вам надобно? Что вы говорите о...?

— Покои барона?— коротко спросил молодой человек таким суровым тоном, что Стангстадиус и не подумал возражать.

— Сюда!— ответил он, указывая налево.

И, обрадованный уходом Христиана, Стангстадиус снова взялся за чтение, поразмыслив над тем, какие странные бандиты находятся в услужении у барона, и как неприятно, когда по дому разгуливают люди, с которыми не хотелось бы встретиться в темном лесу.

Христиан прошел еще через одну комнату и очутился перед закрытой дверью. Ударом кулака он распахнул ее. Сейчас он был способен разнести вдребезги даже врата ада.

Мрачное зрелище представилось его глазам. Барон метался в судорогах страшной агонии, а Юхан, Якоб, врач и пастор Акерстром делали все возможное, чтобы не дать ему упасть с кровати на пол. Припадок барона был столь жестоким, а окружающие его люди были так поглощены своим делом, что никто не заметил Христиана, с шумом ворвавшегося в комнату, и только тогда обернулись к нему, когда умирающий, глаза которого были устремлены на вошедшего, закричал с неопишущим ужасом:

— Вот... вот... вот мой брат!

В тот же миг рот его искривился и зубы с такой силой прикусили язык, что брызнула кровь. Он откинулся назад, неожиданным и резким движением вырвался из удерживающих его рук, голова его с громким стуком ударилась о стенку, и он испустил дух.

В то время как пастор, врач и честный Якоб в ужасе произнесли торжественное слово: «Конец», Юхан, сохранивший удивительное хладнокровие, уз-

нал Христиана. Значит, нападение на Стольборг, о котором он целый час с нетерпением ждал известий, не имея возможности отойти от умирающего, провалилось! Юхан почувствовал, что погиб. В этот миг он видел спасение только в бегстве, даже если впоследствии можно будет войти в милость к новому барину или попытаться отделаться от него с помощью оставшихся сообщников. Но каковы бы ни были его замыслы на будущее, сейчас он думал только о том, чтобы скрыться; однако Христиан не дал ему возможности улизнуть и схватил его на пороге за шиворот с такой силой, что негодая, задышавшись и изменившись в лице, упал на колени, прося пощады.

— Стенсон!— крикнул Христиан.— Что ты сделал со Стенсоном?

— Кто вы такой, сударь, и что вы делаете здесь?— строго воскликнул пастор.— Как вы смеете творить бесчинство в столь торжественный миг, когда человеческая душа предстает пред высшим судилищем?

В то время как пастор произносил эти слова, Якоб тщетно пытался освободить Юхана из рук Христиана; но возбуждение молодого человека удесятерило его силы, и возмись за него даже все трое присутствующих в комнате, им не удалось бы заставить его отпустить свою жертву.

Мгновенно спустя на шум прибежал Стангстадус, за ним — наследники, сгоравшие от нетерпения узнать наконец истину о состоянии барона, а вместе с ними и лакеи, которые давно уже толпились за дверью и слышали предсмертный крик умирающего.

— Кто вы такой, сударь?— повторял пастор, которому Христиан добровольно отдал свое оружие, но Юхана все еще не отпускал.

— Я Христиан Гёфле,— ответил он, жалея бедных наследников, и в то же время опасаясь их.— Я пришел сюда по поручению господина Гёфле, моего родича и друга, потребовать свободы для старика Адама Стенсона, уже, быть может, убитого по приказу этого негоды.

— Убитого?— воскликнул пастор, в ужасе отступая.

— О, на это он вполне способен!— откликнулись наследники, ненавидевшие Юхана.

И, тотчас позабыв об этой стычке, они столпились вокруг *дорогого усопшего*, чуть не задушив

врача, жадно забрасывая его нетерпеливыми вопросами и с наслаждением созерцая чудовишно обезображенное лицо покойника, все еще утешавшее их, как ни радовала их его смерть.

Только перед невозмутимым Стангстадиусом они почтительно расступились, когда он подошел с зеркальцем в руках для последней проверки, повторяя, что врач — болван, не способный установить факт смерти. Если бы Христиан был менее озабочен, он услышал бы, как несколько голосов воскликнуло: «Неужели нет надежды?» — но с таким выражением, как будто имели в виду: лишь бы он впрямь скончался!

Но Христиан и не помышлял о наследстве, он хотел увидеть Стенсона и требовал, чтобы Юхан немедленно его привел или сам проводил его к старику.

— Отпустите этого человека, — сказал ему пастор, — вы его душите и лишаете возможности ответить.

— И не думаю, — ответил Христиан, отнюдь не собиравшийся лишить жизни того, у кого хотел вырвать признание.

Меж тем хитрый Юхан воспользовался добрыми намерениями пастора Акерстрома. Желая хранить молчание, он притворился, будто падает в обморок, и пастор стал порицать Христиана за его жестокое обращение с мажордомом, а лакеи, озабоченные участью, ожидающей их, если «заступники справедливости» возьмутся за дело, были скорее склонны защищать Юхана, чем повиноваться незнакомцу.

Едва Юхан убедился в достаточно сильной и многочисленной поддержке, к нему тотчас же вернулся дар речи, и голос его зазвучал с такой силой, что перекрыл гул, стоявший в помещении:

— Господин пастор, я разоблачаю в вашем присутствии мошенника и самозванца, который с помощью чертовски хитрого вымысла намерен выдать себя за единственного наследника владений барона! Дайте ему расправиться со мной, коль скоро вы не навидите меня, — обратился он к наследникам, — и тогда увидите, что после смерти моего барина не осталось никого, чтобы раскрыть коварные козни господина Гёфле, ибо именно он нашел этого искателя

приключений и хочет помочь ему лишить вас всех законных прав!

Если бы над присутствующими грянул гром, он бы не поверг их в такой ужас и оцепенение, как слова Юхана, но, как он и рассчитывал, растерянное молчание тотчас же уступило место гневному хору браниных слов и проклятий, заглушившему голос Христиана, от которого пастор потребовал оправданий или объяснений.

— Прогнать его! Прогнать с позором!— кричали в пестулении двоюродные братцы и племянники покойного.

— Нет, нет!— кричал, в свой черед, Юхан, подерживаемый сообщниками, отлично понимавшими, что пробил час разоблачения и необходимо принудить мстителей к молчанию.— Заточить его в тюрьму! В башню! В башню!

— Да, да, в башню!— завопил барон Линденвалд, один из наиболее рьяных охотников за наследством.

— Нет, убейте его!— закричал Юхан, рискуя играть в открытую.

— Да, да, выбросьте его из окна!— поддержал его хор, обуреваемый дьявольскими страстями.

И в комнате, где лежал покойник, разыгралась безобразная сцена: лакеи набросились на Христиана, который не мог защищаться, так как пастор встал перед ним, прикрывая его собой и клянясь, что скорее даст себя убить, нежели позволит совершить убийство в своем присутствии.

Врач, Якоб и двое из наследников, старик и юноша, сын его, стали на сторону Христиана из уважения к пастору и из присущей им природной честности. Стангстадиус, надеясь подавить разгул страстей авторитетом своего имени и своим красноречием, бросился между дерущимися, которые пренебрегли вмешательством геолога и отбросили его на Христиана.

Таким образом, ничтожная горстка сторонников скорее мешала, нежели помогала Христиану, и его мало-помалу теснили к окну, которое Юхан, сверкая глазами и брызгая слюной, предусмотрительно раскрыв, подогревая неистовыми криками ярость и страх, опьянившие его сторонников.

При виде этого омерзительного человека, сбро-

сившего наконец личину притворной кротости и обнажившего инстинкты тигра, пастор и врач, охваченные ужасом, почувствовали, что силы им изменяют, и отступили, чуть не упав на Христиана, в то время как двое наиболее расторопных мошенников ловко схватили его за ноги, чтобы поднять и вышвырнуть из окна. Плохо бы ему пришлось, если бы в комнату не ворвались майор Ларсон, лейтенант, капрал, Гёфле и четверо солдат.

— Повиновение закону!— крикнул майор, направляясь к Юхану.— Именем короля, вы арестованы.

И, передав мажордома капралу Дуфу, добавил, обращаясь к лейтенанту,— Никого не выпускать!

Все умолкли, охваченные почтительной боязнью, ибо никто в этот миг не смел ослушаться облеченного властью офицера индельты; Ларсон обвел глазами помещение и увидел барона, неподвижно лежащего на кровати. Он подошел ближе, внимательно всмотрелся в него, снял шляпу и молвил:— Смерть— посланница всевышнего!— а затем вновь надел шляпу, добавив:— Да ниспошлет господь прощение барону Вальдемора!

Тогда раздалось несколько голосов, требующих поддержки майора против интриганов и самозванцев; но он велел им замолчать, объявив, что хочет услышать только из уст пастора объяснение той странной сцены, которую он застал, войдя в комнату.

— Не лучше ли дать это объяснение в другой комнате?— спросил пастор Акерстром.

— Да,— ответил майор,— здесь, рядом с покойником, не место для разговора; перейдем в кабинет барона. Вы же, капрал, выпустите отсюда присутствующих по одному, но чтобы никто не остался тут и не вышел в другую дверь. Господин пастор, прошу вас выйти первым вместе с доктором Стангстадиусом и врачом барона.

Христиан указал майору на старого графа Нора и его сына, оказавших ему благородную поддержку, и тот предоставил им полную свободу и чрезвычайно учтиво расспросил их обо всем.

Несмотря на тщательность, с которой он вел расследование, майор не стал дожидаться его окончания, чтобы, уступив желанию Христиана и Гёфле, дать приказ освободить старика Стенсона, которого час тому назад отвели в башню, как с грустью за-

свидетельствовал Якоб. Христиан хотел сам немедленно бежать туда, но майор этому воспротивился, не объясняя причины, и велел тотчас же отвести Стенсона домой в Стольборг и оказать ему всяческое внимание, не давая, однако, ни с кем говорить; тому, кто нарушит этот приказ, майор пригрозил самой суровой карой. Затем он распорядился заключить в замковую тюрьму, на место Стенсона, Юхана и четырех лакеев, посягнувших, как показал пастор, на жизнь Христиана. Тех же, кто только бранил его, а теперь поспешно отказался от своих слов, майор сурово отчитал, пообещав отдать их в руки правосудия, если повторится что-либо подобное. Но они и не помышляли о повторении. Как ни мал был отряд, сопровождавший майора, все понимали, что он — олицетворение закона и права и в то же время — мужества и силы воли. К тому же каждому по поведению майора было ясно, что он уже дал знать о событиях в свою роту, и вооруженные солдаты могут в любой миг войти в замок.

Ввиду отсутствия представителей правосудия, — ибо, согласно установленной привилегии, вся власть в округе находилась в руках ныне покойного владельца замка, а преемника у него пока что не было, — майор взял себе в помощь приходского священника, как советника по вопросам гражданским и духовным, и Гёфле — по вопросам юридическим. Он потребовал, чтобы ему принесли все ключи, и вручил их Якобу, назначив его мажордомом и хранителем замка и дав ему в помощники двух солдат, на случай, если остальные слуги не проявят к нему должного уважения. Доктору он поручил заботу о похоронах барона и объявил, что, несмотря на завещания Юхана, будто покойный не оставил завещания, немедленно приступит к поискам такового в сопровождении пастора, Гёфле, лейтенанта и четырех свидетелей, которых выберут наследники.

А наследники, поначалу испуганные и озлобленные, успокоились, увидев, что ни майор, ни Гёфле, ни Христиан ни слова не говорят о новом претенденте. Было их около дюжины, и каждый питал к остальным весьма недобрые чувства, хотя все они обща в свое время увивались вокруг барона, подстерегая будущую добычу. Только старый граф Нора, самый бедный из всех, сохранил человеческое

достоинство и всегда говорил барону правду в глаза.

Так как никакое завещание барона не могло нанести ущерба правам Христиана, последний понял по некоторым словам и взглядам Гёфле, что поиски эти предприняты с целью успокоить хищную стаю наследников и выиграть время до тех пор, пока не появится возможность действовать в открытую. Ему также стало ясно из молчания друзей, что еще не пришла пора объявить, кто он такой, и поэтому следует пока что забыть про обвинение в незаконных притязаниях, брошенное ему Юханом.

Наследников, естественно, весьма обрадовало это положение вещей, о котором они судили по жестам Гёфле, выразившим отрицание, и по спокойному виду Христиана, которому это спокойствие далось без труда, едва он узнал о спасении Стенсона. Итак, Христиан, разгадав намерения друзей, не пошел с ними на поиски завещания и желал только одного — осторожно разузнать у кого-нибудь о Маргарите, как вдруг он встретился в галерее с графиней Эльведой.

Она узнала его издалека и направилась ему навстречу.

— Вот оно что! — шутливо сказала она. — Вы, оказывается, не уехали? Или, быть может, успели вернуться, господин призрак? И что это за костюм? Неужели вы охотились до самой полуночи?

— Вы угадали, графиня, — ответил Христиан, увидев по веселому расположению духа тетушки, что ей и в голову не приходило раздумывать над исчезновением племянницы. — Я охотился на медведя далеко отсюда, только что приехал и узнал о случившемся.

— Ах, да, о смерти барона! — небрежно сказала графиня. — Все кончено, не так ли? И наконец-то можно свободно вздохнуть! Как мне не повезло! Из моих комнат был слышен каждый его стон, когда он умирал, и мне пришлось перебраться к Ольге, а та угостила меня другой музыкой, на свой лад. Эта нервная особа, узнав от меня, что вместо кукольного спектакля нас ждет либо путешествие в густом тумане, либо пребывание в доме умирающего, пока он не отдаст богу душу, вдруг упала в страшнейших судорогах. До чего же суеверны эти русские девицы! Словом, теперь, надеюсь, все спокойно, и я могу по-

скорее отправиться в путь: я слышала, что собираются ударить в большой колокол, который оповещает только о смерти или рождении здешних владельцев лиц. Стало быть, мне надо спастись бегством, не то этот погребальный звон не даст мне спать, да еще нагонит черные мысли. Слышите, уже звонят!

— Кажется, да,— ответил Христиан.— Но разве вы не берете с собой графиню... вашу племянницу?— И добавил с притворным равнодушием:— Как это глупо с моей стороны, я позабыл ее имя.

— Ах вы лицемер!— засмеялась графиня.— Вы же за ней ухаживали и даже настолько увлеклись, что бросили вызов барону! Нет, нет, я вас не осуждаю, что свойственно вашему возрасту, и к тому же мне весьма понравилась смелость, с которой вы отвечали этому бедняге барону, пренеприятному человеку, скажу вам. У вас есть мужество, уж я-то в этом разбираюсь! Теперь я вижу, что вовсе нехстати проповедовала вам в тот день хитроумие и осторожность. Вы стоите на другом пути к успеху — ведь их два: один — ловкость, другой — отвага. Что ж, вы, должно быть, выбрали более короткий, излюбленный путь смельчаков и упрямцев. Вам надо поехать в Россию, друг мой; вы красивы и отважны; я уже говорила о вас с послом, он вас заметил и имеет на вас кое-какие виды. Вы понимаете меня?

— Совершенно не понимаю, графиня!

— Ну как же! Граф Орлов не вечно будет в милости, и кому-то, возможно, будет выгодно стать у него на дороге... Теперь вам все понятно? Итак, о моей племяннице не думайте; вы можете сделать гораздо лучшую партию, а я, со своей стороны, преждеду вас, коль скоро вы сейчас — никак, даже не племянник господина Гёфле, который не хочет к тому же признать вас за внебрачного сына, что я вас выставлю за дверь, как только вы ко мне явитесь с дурацким намерением пленить Маргариту; зато я вас буду ждать в Стокгольме, чтобы представить послу, и устрою вас к нему на службу. Итак, до свидания! Впрочем, нет, подождите, я увезу вас с собой!

— Неужели?

— Конечно! Племянницу я оставляю здесь: ее напугали вопли умирающего, она ушла почевать в дом священника со своей подругой фрёкен Акерстром;

так по крайней мере утверждает ее гувернантка. Одним словом, где бы эта трусиха ни спряталась, мадемуазель Потен сегодня уедет с ней в Дальбю, а отвезет их Петерсон, вполне надежный человек. Господин Стангстадиус обещал их проводить. Девочка будет очень горевать, она так надеялась поехать со мной в Стокгольм; но она еще слишком молода, чтобы появляться в свете; еще глупостей натворит! Начнет выезжать с будущего года.

— Итак,— сказал Христиан,— ей предстоит еще целый год одиночества в старом поместье?

— О, я вижу, что она поведала вам свои горести! Весьма трогательно! Вот потому-то я и увезу вас с собой! Ну, я даю вам час на сборы, а затем захожу за вами сюда же. Решено?

— Не уверен,— возразил Христиан, решив идти напролом.— Предупреждаю вас, я страстно влюблен в вашу племянницу!

— Что ж, тем лучше, если только вашей влюбленности хватит надолго,— ответила графиня.— Если вы не раздумаете, проведя несколько лет в России и получив там изрядную толику рублей и крепостных душ, я, пожалуй, не откажу вам в ее руке, если вы будете настаивать.

И графиня удалилась, в полной уверенности, что Христиан явится на свидание с ней.

Не успела она исчезнуть за дверью, как мадемуазель Потен, которая, кажется, только того и ждала, подбежала к Христиану и принялась сурово его отчитывать. Она сказала, что очень тревожилась за Маргариту и повсюду ее искала.

— К счастью,— добавила гувернантка,— она сейчас вернулась со своей подругой Мартиной, которую родители не разыскивали, думая, что она засиделась у нас; но мне уже не под силу так часто лгать, покрывая неосторожные выходы Маргариты, и я предупреждаю вас, что все расскажу графине, если вы не дадите мне честное слово немедленно покинуть замок и Швецию.

Христиан успокоил славную женщину, пообещав выполнить ее требование, хотя вовсе и не помышлял об этом, и стал ждать дальнейших событий.

В час ночи в замок бесшумно прибыл воинский отряд, о чем был извещен майор, объявивший, что поиски завещания закончены, ибо они не увенчались

успехом; это обрадовало большую часть наследников, которые предпочитали надеяться на собственные права, нежели на весьма сомнительную милость покойника.

— Теперь, господа,— сказал майор,— прошу вас пойти за мной в Стольборг, ибо я имею основания полагать, что завещание могло быть доверено господину Стенсону.

Все тотчас бросились к выходу, но майор остановил их:

— Позвольте,— сказал он,— на господина пастора, господина Гёфле и на меня возложена серьезная ответственность. Я вынужден действовать чрезвычайно тщательно и притом официально, собрав возможно больше надежных свидетелей, и проследить, чтобы все протекало в полном порядке и под их надзором. Поэтому прошу вас проследовать со мной для начала в Охотничью галерею, где эти свидетели, должно быть, уже собрались.

Майор отдал распоряжение, чтобы все лица, гостившие в замке, явились в Охотничью галерею, к великой досаде некоторых из них, уже собравшихся в путь; но индельта приказывала именем закона, и все подчинились.

Графиня Эльведа, энергичная, как всегда, и к тому же спешившая уехать, пришла туда первой и застала Христиана, уснувшего на диване.

— Что же это?— воскликнула она.— Так-то вы готовитесь к отъезду?.. А вы зачем сюда явились?— добавила она, увидев Маргариту, входившую с гувернанткой.

— Не знаю,— ответила Маргарита.— Всем было велено собраться здесь...

Действительно вскоре явились и Ольга, и пастор с семьей, и Стангстадиус, и посол со своей свитой — словом, все гости замка Вальдемора, в дорожных костюмах и в большинстве своем весьма раздосадованные нежданной задержкой в минуты отъезда или вынужденным пробуждением от сладкого сна. Все ворчали, проклиная зловещий колокол, сходясь в единодушном мнении, что ударить в него можно было и после их отъезда.

— В чем же дело? Чего от нас хотят?— твердили старухи.— Уж не отдал ли барон приказ, чтобы все опять пустились в пляс после его смерти, или же от

нас потребуют, чтобы мы созерцали его на погребальном ложе? Я, например, вовсе этого не жажду. А вы?

— Что за молодой человек только что вышел отсюда?— спросил посол у графини Эльведы.— Сдается мне, что это наш шалопай.

— Да, он самый,— ответила она.— Ему только что передали какую-то записку. Очевидно, приказ, по которому нас всех задержали здесь, к нему не относится.

Христиан и впрямь получил записку от Гёфле, где было сказано:

«Идите в Стольборг и поскорее оденьтесь, как на позавчерашнем бале: ждите нас в медвежьей комнате. Велите расчистить лестницу и завесить пролом большими картами».

В Охотничью галерею между тем подали чай и кофе, а четверть часа спустя все лица по списку, составленному майором и пастором, так же как и наследники, многие из слуг и наиболее уважаемые вассалы барона направились в Стольборг, где успевший переодеться Христиан принял их с помощью Нильса, обоих даннеманов и Ульфил, выпущенного на свободу после нескольких часов заключения в темнице. Добавим, что Ульфил так никогда и не узнал, за что его так наказал господин Юхан, ибо все события, случившиеся в Стольборге, остались ему совершенно непонятными.

XX

Когда все были в сборе, майор изложил обстоятельства, связанные с покушением на жизнь Христиана и вызвал арестованных им злоумышленников, которые, понимая, что их ждет печальная участь, коль скоро Юхан заключен в тюрьму, а барон скончался, защищались весьма неумело и скорее сознавались в своей вине, нежели отрицали ее. Пуффо же откровенно признал, что ему поручили спрятать золотой кубок среди пожитков хозяина, за что Юхан ему и заплатил.

— Ну-с, а теперь,— молвил скупой и чванный барон Линденвальд, ближайший родич покойного,— мы не откажемся подписаться под обвинительным заключением по делу господина Юхана, лишь бы нас из-

бавили от необходимости выносить свое суждение о поступках и намерениях его хозяина барона. Я полагаю варварской и безбожной затею учредить следствие над человеком, тело которого еще не опустили в могилу и который не может отвести от себя предъявленных обвинений, ибо лежит на смертном одре. На мой взгляд, господа, вести такое следствие еще слишком рано или уже слишком поздно, и мы не станем слушать дальнейших сообщений. Какое дело нам до незнакомца, который прибегает к столь крайним мерам, дабы с помощью правосудия расправиться с какими-то ничтожными лакеями, а заодно и с памятью человека, коего любой из нас волен мысленно судить как угодно, но вовсе не обязан публично осыпать проклятиями? Нам поначалу говорили о завещании, теперь же о нем умалчивают, и нетрудно понять, что нас хотели ввести в заблуждение; поэтому я намерен удалиться отсюда и отнюдь не собираюсь подчиняться приказам офицера индейцы, самовольно прибравшего к рукам всю власть. Думаю, что тут попираются привилегии многих из нас, а не только мои собственные, а в таких случаях, господа, нам с вами отлично известно, что именно следует предпринять.

С этими словами барон Линденвальд взялся за эфес шпаги, остальные наследники последовали его примеру и уже готовы были ринуться в бой, но тут вмешался пастор и весьма убедительно, с величавым достоинством обратился к тем из собравшихся, кого знал за людей честных и бескорыстных, с просьбой о поддержке; те тотчас же выступили с горячим осуждением злодейских козней барона, после чего слушникам не оставалось иного выхода, как подчиниться майору, который, таким образом, был избавлен от необходимости принять против них суровые меры.

И майору и остальным свидетелям этой сцены стало очевидным, что наследники не желают слышать о ненависти барона к Христиану лишь потому, что уже догадываются об истинной ее причине. Гёфле как бы невзначай отвел ему место под портретом его отца, и поразительное сходство бросилось всем в глаза: но всех язвительных насмешек, какие только знает шведский язык, было мало, чтобы выразить неприязнь *самонадеянных* наследников к скомороху, которого Юхан разоблачил, а Гёфле (разумеется, не-

законный отец его) хочет вывести в претенденты при помощи состряпанных им небылиц и подложных доказательств.

Гёфле оставался спокоен и улыбался, Христиан же сдерживался только чудом, благодаря нежным, умоляющим взглядам Маргариты.

— Теперь,— молвил пастор, когда наконец восстановилась тишина,— позовите сюда господина Адама Стенсона, который, по нашему настоянию, пребывал в одиночестве у себя дома после освобождения из темницы.

Вошел Адам Стенсон; он был тщательно одет, кроткое, благородное лицо его, сильно изменившееся от большой усталости, но сохранившее спокойствие и достоинство, вызвало у присутствующих глубокое волнение. Гёфле усадил его и прочел ему вслух заявление, написанное собственной рукой Стенсона и переданное им Манассе в Перудже. Чтение этой рукописи, до сих пор неизвестной собравшимся, было встречено шепотом удивления и интереса со стороны одних слушателей и полным молчанием со стороны других, пришедших в оцепенение.

Русский посол, не имевший, быть может, тех видов на Христиана, которые приписывала или хотела внушить ему графиня Эльведа, но заинтересованный его приятной наружностью и решительным видом, полностью одобрил ход расследования, надеясь, что его доброе мнение поможет не довести дело до суда, и в то же время намереваясь, буде суд все же состоится, свидетельствовать там по чести и совести. Следует добавить, что к такому решению посол пришел вследствие настоятельных и убедительных просьб друзей Христиана. К тому же знаки внимания, которые Гёфле умело расточал ему, невзирая на свою неприязнь к политической деятельности этого высокого лица, льстили послу, большому любителю вмешиваться не только в государственные дела Швеции, но и в личную жизнь ее обитателей.

Когда чтение было закончено, к Стенсону обратился пастор, спрашивая, в состоянии ли он выслушать некоторые вопросы.

— Да, господин пастор,— ответил Стенсон.— Слышу я, по правде говоря, плохо, но далеко не всегда, и часто бывает, что я просто не отвечаю, коли мне вопросы приходится не по вкусу.

— А сегодня вы согласны отвечать?

— Да, сударь, согласен.

— Вы узнаете свою руку на этом заявлении?

— Да, сударь, безусловно.

— В этой бумаге говорится о причинах вашего долгого молчания,— продолжал пастор.— Но раскрытие истины требует больших подробностей. Обращение барона с вами до сего дня не давало оснований для страха, который он, по-видимому, вам внушал, и оно не подтверждает его злодейских намерений относительно других лиц, о коих вы упоминаете в рукописи.

Вместо ответа Стенсон закатал рукава, и все увидели на худых, дрожащих руках его следы веревок, врезавшихся чуть ли не до крови.

— Вот,— сказал он,— каким зрелищем забавлялся барон, пока смерть не закрыла ему глаза и не прекратила мои мучения; но я ни в чем не признался. Переломай палач все мои старые кости, я бы и тогда ничего не сказал. Разве смерть страшна в мои годы?

— Вы еще поживете на этом свете, Стенсон!— воскликнул Гёфле.— И доживете до большой радости. Вы можете говорить свободно, барон Олаус скончался.

— Это мне известно, сударь,— сказал Стенсон,— ведь иначе я не был бы здесь; но радости в этом мире для меня быть не может, ибо того, кого я спас, уже нет в живых!

— Вы уверены, Стенсон?— спросил Гёфле.

Стенсон окинул взглядом ярко освещенную комнату. Глаза его задержались на Христиане, который с трудом притворялся равнодушным и даже делал вид, что не видит его, хотя горел желанием броситься ему в объятия.

— Что это?— спросил Гёфле старика.— Что с вами, Стенсон? Почему у вас текут слезы?

— Потому что я боюсь, что вижу сон,— сказал Стенсон,— потому что тот же сон, казалось, пригрезился мне два дня тому назад, когда я увидел этого человека, не зная, кто он, и все же узнав его.

— Подождите, господин Стенсон,— сказал пастор старику, не давая ему подойти к Христиану,— ведь сходство может быть случайным. Надо найти подтверждение всему, что написано вами в документе, только что прочитанном здесь.

— Это очень легко сделать,— сказал Стенсон,— пусть только господин Гёфле прочитает вам бумагу,

врученную мной ему позавчера, и поможет установить, что Кристиано Гоффреди и Христиан Вальдемора — одно и то же лицо, с помощью писем Манассе, которые я также передал ему вчера.

— Я дал клятву, — сказал Гёфле, — вскрыть этот конверт только по смерти барона. Поэтому я вскрыл его два часа тому назад, и вот содержание вложенной в него записки: «Пробейте стену за портретом баронессы Хильды, что в Стольборге, справа от окна в медвежьей комнате».

— Эге! — прошептал майор на ухо Гёфле, когда пастор под руководством Стенсона приступил к вскрытию тайника под портретом, — а я-то думал, что доказательство скрыто в замурованной комнате.

— Слава богу, нет, — также шепотом ответил адвокат, — не то пришлось бы сознаться, что мы туда уже проникли, в то время как сейчас об этом никто не догадывается и не беспокоится благодаря картам, повешенным на место, и нас не вздумают обвинять в том, что мы якобы подсунули туда подложное доказательство. Именно потому я и просил вас привести сюда без опасений как можно больше свидетелей, что уже ознакомился в новом замке с этой таинственной запиской Стена.

Когда тайник был открыт, пастор собственными руками вынул отуда металлическую шкатулку, где и хранилось решающее доказательство, которое он тут же прочитал вслух.

То было четкое и подробное повествование, с начала до конца написанное рукой самой баронессы Хильды, о печальных днях, проведенных ею в Стольборге узницей ненавистного Юхана, и о преследованиях, которым подвергалась она сама и верные ее друзья и слуги — Адам Стенсон и Карин Бетсой.

Несчастная вдова торжественно клялась «вечным спасением бессмертной души своей и памятью мужа и первого ребенка, безжалостно убитых по приказу человека, назвать коего она не хочет, но чьи злодеяния станут когда-нибудь всем известны», что 15 сентября 1746 года, в два часа по-полуночи, в медвежьей комнате замка Стольборг она произвела на свет второго сына, плод законного брака ее с бароном Адельстаном Вальдемора. В сдержанных и в то же время впечатляющих выражениях она рассказывала, какое понадобилось мужество, чтобы не издать ни единого

стона, ибо тюремщики ее находились рядом, в так называемой караульне. Карин поддерживала ее в эти мучительные минуты, распевая, дабы своим голосом заглушить плач новорожденного. Стенсон ни на мгновение не покидал ее и, едва младенец появился на свет, сделал попытку унести его через потайную дверь, но дверь эта оказалась запертой и охраняемой снаружи. (В то время еще не существовало пролома в стене над медвежьей комнатой, иначе Стенсон воспользовался бы им). Однако через некоторое время Стенсона выпустили из замка, предварительно подвергнув тщательному обыску; ему удалось найти лодку и спрятать ее под покровом ночи среди скал или камней, выступающих над озером, а Карин спустила из окна ребенка в корзине, обвязанной веревкой. На все это ушло немало времени, и уже светало. В тот миг, когда Стенсон дрожащими руками вынимал младенца из корзины, открылось окно в караульне; но скалы послужили ему надежной защитой, и, скрываясь в их тени, он выждал, пока все стихло, а затем, уповая на милость господню, прокрался по берегу в горах.

Стало быть, Христиан, осматривая эту таинственную местность, разгадал и воссоздал в своем воображении события собственной жизни.

Ребенка поручили Анне Бетсой, матери Карин и даннемана Ю. Его вскормили молоком прирученной лани в хижине Блокдаля и время от времени извещали о нем баронессу-узицу, зажигая в отдалении огни в условный час.

Баронесса перестала наконец тревожиться за младенца и даже надеялась бежать с ним в Данию; но барон обещал ей свободу только на одном условии — она должна была подписать признание в том, что беременность ее была ложной; когда же она отказалась, говоря, что согласна признать ошибку, но не сознательный обман, ей намекнули, что имеются весьма основательные догадки относительно истинного хода событий, столь тщательно скрываемых ею. Тогда, охваченная страхом, как бы не раскрыли тайну рождения и убежища ее сына и не погубили бы его, она и подписала бумагу, составленную пастором Микельсоном.

«Но перед богом и людьми,— писала она в последнем своем признании,— я опротестовываю собст-

венную подпись и даю клятву, что меня принудили к ней угрозами и страхом. Если я при таких обстоятельствах и пошла на то, чтобы впервые в жизни изказать истину, мою вину оправдает любая мать, а бог мне ее простит».

Как только барон насильственно вырвал у своей жертвы ее подпись, он тотчас же отказался освободить ее, опасаясь, что она отречется от своего признания или разоблачит его козни; поэтому он объявил баронессу сумасшедшей и сделал все возможное, чтобы рассудок ее и впрямь помутился от заключения в полном одиночестве, от лишений, оскорбительных нападков и угроз. Когда кое-кто из крестьян отважился вступить за нее и сделали даже попытку ее вызволить, он велел высечь их «на русский манер» в соседнем с ней помещении караульни, чтобы ей были слышны их крики. Он пригрозил Стенсону и Карин, что их ждет та же участь, если они будут и впредь настаивать на освобождении баронессы, и верным друзьям приходилось действовать якобы в согласии с ним, дабы не разлучаться со своей злополучной госпожой.

Наконец страдания и скорбь подточили силы несчастной жертвы барона. Она чахла день ото дня и, в предвидении близкой смерти, оставила сыну подробную повесть о пережитых муках, заклиная его не стремиться к отмщению, если «обстоятельства, кои не дано предвидеть», раскроют ему тайну его рождения до кончины барона. Она была твердо уверена в том, что в каком бы уголке земли ни скрывался ее сын, его настигнет ненависть этого беспощадного, богатого и могущественного человека. Она молила бога, чтобы он «прожил долгую жизнь в неизвестности, в неведении относительно прав своих и возлюбил искусство или науку пуще благ земных или власти, ибо последние являются источником стольких зол и жестоких земных страстей». Тем не менее несчастная еще добавила, на случай необходимости, что сын ее получил при рождении имя Адельстана-Христиана и обладал волосами черного цвета и пальцами, «согнутыми так же, как у отца и деда».

В конце письма она послала ему свое предсмертное благословение и просила его свято верить каждому слову Стенсона и Карин о муках, перенесенных ею в заключении, где она сохранила, несмотря ни на

что, полную и неизменную ясность рассудка, какие бы слухи ни распространяла клевета о том, что она якобы буйно помешана.

«Душа моя спокойно ждет смерти,— писала она.— Я ухожу в лучший мир, исполненная смирения, надежды и упований. Я прощаю палачам моим и, расставаясь со своей печальной жизнью, жалею только о том, что покидаю сына: но его неожиданное и благополучное исчезновение из замка научило меня надеяться на провидение и на святую преданность тех, кому уже удалось однажды спасти его».

Подпись была твердой и уверенной, словно последнее усилие согрело бедное, умирающее сердце в этот решающий час.

За подписью следовала дата: 15 декабря 1746 года.

28 декабря того же года Стенсон составил точную запись последних минут и смерти своей несчастной госпожи.

«До последнего мгновения ее лишали сна,— писал он,— так как Юхан и его прихвостни, рассеявшиеся в соседней комнате, день и ночь бранились, орали и изрыгали страшнейшие ругательства, оскорблявшие ее, а господин барон, ее деверь, ежедневно являлся к ней, якобы для того, чтобы проверить, хорошо ли с ней обращаются, а на деле — чтобы неустанно твердить об ее помутившемся рассудке и осыпать ее оскорбительными упреками насчет ее «хитрой уловки», разоблаченной им. А вся уловка-то, благополучно удавшаяся, сводилась к тому, чтобы путем молчаливого долготерпения убедить мучителя, что она, госпожа моя, и впрямь ошибочно судила о своем положении и ему-де нечего опасаться в будущем.

Со своей стороны, пастор Микельсон, не менее жестокий и назойливый, чем его хозяин, преследовал ее даже на смертном одре, то и дело повторяя, что недаром жила она в свое время в странах, где господствует папизм, и, несомненно, прониклась духом сего вредного вероучения; и вместо того, чтобы успокаивать ее и дарить надежду, на которую имеет право любая христианская душа, он по сто раз в день сулил ей адские муки.

Удалился он только за час до того, как она ис-

пустила последний вздох, и она скончалась у нас на руках на четвертый день рождества, в четыре часа пополудни, а последние слова ее были: «Боже мой! Пошли сыну моему вторую мать!»

Мы свидетельствуем, что умерла она как святая, и душа ее даже на миг единый не ведала ни злобы, ни помрачения, ни сомнений в милости господней.

Закрыв ей глаза, мы остановили маятник в часах и задули рождественскую свечу, горевшую в люстре, моля бога, чтобы он позволил нам дожить до того часа, когда рука нашего будущего молодого хозяина снова пустит эти часы и зажжет свечу.

После чего мы составили сию бумагу, которую вместе с собственноручной запиской доброй госпожи нашей, намерены сейчас спрятать и замуровать в стену в том самом месте, которое она сама давно выбрала и указала нам.

И, оросив бумагу слезами нашими, подписываемся здесь оба, еще раз повторяя клятву в том, что удостоверяем чистейшую истину.

Адам Стенсон, Карин Бетсой.

Эти простые строки были прочитаны пастором с таким умиленным чистосердечием, что все женщины прослезились, а мужчины, растроганные и уверовавшие в правдивость написанного, трижды провозгласили имя Христиана Вальдемора и поспешили подойти к нему, стремясь пожать ему руку и поздравить; но шайка наследников (за исключением старого графа Нора и его сына) дружно потребовала вызвать Карин Бетсой, очевидно разудав где-то, что она жива и слывет помешанной. Если бы последнее оказалось правдой, ее свидетельство могло быть сочтено недействительным; поэтому майор, весьма опасавшийся результатов ее прихода, поспешил возразить, что она больна и живет очень далеко. Но тут его перебил грубый, хотя и добродушный голос: то был даннеман Ю Бетсой.

— Зачем говорить то, чего нет на деле, господин майор?— воскликнул он.— Карин Бетсой отнюдь не так больна и находится совсем не столь далеко, как ты думаешь. Она хорошо поспала, и теперь, после доброго отдыха, рассудок ее так же ясен, как твой. Не бойся же призвать сюда Карин Бетсой. Спора нет, настрадалась ее бедная душенька, особенно с

того дня, как пришлось расстаться с ребенком; но если она и говорит подчас темно и непонятно, она все же обладает здравым умом и твердой волей: тому пример, что никому не стала известна ее тайна, даже мне, хоть я и знал того младенца; однако имя и историю его я впервые услышал только сегодня. А это значит, что женщина, умеющая хранить тайну, — не чета другим, и если уж она заговорит — ее словам надо верить.

И распахнув дверь в караульную, он сказал ясно-видящей:

— Иди сюда, сестра; тебя здесь ждут.

Карин вошла, приковав к себе любопытные взгляды.

Бледное, преждевременно состарившееся лицо ее, удивленный взгляд, неуверенный и в то же время торопливый шаг вызвали поначалу скорее жалость, нежели симпатию. Однако при виде столь многочисленного сборища она внезапно выпрямилась, и поступь ее стала заметно тверже, а на лице отразились восторг и решительность. Серые лохмотья, столь дорогие ей, которые она всегда снимала перед тем, как уснуть, уже не покрывали ее крестьянского платья, и белые как снег волосы были стянуты красным шерстяным шнурком, что придавало ей какое-то сходство с сивиллой древних времен.

Она подошла к пастору и молвила, не дожидаясь его распросов:

— Отец и утешитель страждущих, ты знаешь Карин Бетсой; тебе известно, что душа ее не способна на преступление или обман. Карин спрашивает тебя, почему звонит колокол нового замка; скажи ей — и она поверит словам твоим.

— Колокол звонит по умершему, — ответил пастор. — Слух твой не обманул тебя. Я знаю, Карин, что тебя давно тяготит какая-то тайна. Теперь ты можешь говорить открыто, и это, возможно, принесет тебе исцеление: барон Олаус скончался!

— Я знала это, — сказала она. — Великий ярл явился мне прошлой ночью. Он сказал: «Я ухожу навсегда», и я почувствовала, как возрождается душа моя. Теперь я могу говорить, ибо сюда вернется «дитя озера». Его я тоже видела во сне!

— Не говори сейчас о снах, Карин, — перебил ее пастор. — Постарайся собрать свои воспоминания.

Если ты хочешь, чтобы господь ниспослал тебе просветление и спокойствие духа, сделай усилие, дабы самой познать смирение и покорность; ибо, я не раз говорил тебе, в безумии твоём немало гордыни, и ты мнишь разгадывать будущее, в то время как сама, быть может, не способна рассказать о прошлом.

Карин несколько мгновений пребывала в замешательстве, о чем-то думая, потом ответила:

— Если добрый пастор владений Вальдемора, столь же человечный и добрый, сколь прежний пастор был зол и жесток, повелит мне рассказать о прошлом, я расскажу.

— Велю и прошу, — ответил пастор, — говори спокойно и помни, что господь слышит и взвешивает каждое твое слово.

Карин снова погрузилась в задумчивость, а потом молвила:

— Мы сейчас находимся в комнате, где уснула вечным сном возлюбленная госпожа!

— Ты так называешь Хильду Вальдемора?

— Да, ее самое, вдову доброго молодого ярла, мать младенца по имени Христиан, который скоро вернется, дабы зажечь рождественскую свечу над очагом своих предков. Она дала жизнь этому младенцу в один из осенних дней здесь, на этом ложе, где и умерла на рождестве. А благословение свое она дала ему возле этого окна, через которое он и улетел, ибо родился крылатым! А потом она солгала, но в сердце своем промолвила: «Да простит меня господь за то, что я на словах убила сына! Но пусть он лучше живет среди эльфов, нежели среди людей!» А потом она пела эти слова под звуки арфы и, умирая, сказала: «Да пошлет господь моему сыну вторую мать!»

Воспоминания с такой ясностью вернулись к Карин, что она не могла сдержать слез; потом мысли ее снова стали мешаться, и пастор, увидев, что она уже не понимает задаваемых вопросов, подал знак даннеману, и тот ласково увел бедную ясновидящую, окинув торжествующим взглядом собравшихся, перед которыми его сестра так разумно отвечала пастору.

— Чего же вы еще хотите? — спросил у них Гёфле. — Разве не поведала вам эта вдохновенная женщина, в словах, исполненных народной поэзии, то же самое, что Стенсон записал здесь с методической точ-

ностью, свойственной ему? И своеобразный мир смутных снов, в котором она живет, не есть ли сам по себе достаточное доказательство того, что она жестоко пострадала за тех, кого так любила?

Слишком соблазнителен был повод для защитительной речи, чтобы Гёфле не ухватился за него. Он дал волю вдохновению, быстро подытожил события, частично рассказал о жизни Христиана, сперва подтвердив его личность с помощью писем Манассе к Стенсону, остановился на романических обстоятельствах двух истекших дней и так захватил своих слушателей, что они, позабыв и о позднем часе и об усталости, засыпали его вопросами ради удовольствия еще послушать его; после чего каждый поставил свое имя в конце подробной записи всех событий этой ночи.

Барон Линденвальд сделал последнюю попытку оживить поникший боевой дух остальных наследников.

— Как бы там ни было,— молвил он, вставая, ибо все двери были уже растворены настеть и каждый был волен удалиться, когда вздумает,— мы еще опровергнем все эти нелепые бредни: мы обратимся в суд!

— Я на это и рассчитываю,— возбужденно ответил Гёфле,— и готов спокойно выслушать все ваши доводы!

— А я отказываюсь от тяжбы,— сказал граф Нора,— я верю всему, что говорилось здесь, и потому ставлю свою подпись!

— Эти господа тоже судиться не станут,— многозначительно сказал посол.

— Станут!— ответил Гёфле.— Но проиграют дело.

— Мы не признаем и будем оспаривать законность этого брака!— воскликнул барон Линденвальд.— Хильда Бликсен была католичкой!

Разгневанный Христиан хотел было вмешаться, но Гёфле поспешил остановить его.

— С чего вы взяли, сударь?— обратился он к барону Линденвальду.— Где доказательства? Где эта пресловутая часовня богородицы, якобы воздвигнутая здесь баронессой? В Стольборге нет больше тайн, неужели кому-нибудь вздумается все еще цепляться за дурацкие рассказы, послужившие поводом для исследований и гибели несчастной женщины?

— А не стал ли католиком сам господин Христиан Гоффреди, воспитанный в Италии? — бормотали наследники, уходя. — Подождите! Вот дознаемся до всего, а тогда посмотрим, может ли унаследовать столь обширные владения и все привилегии, с ними связанные, человек, которому не дано права заседать в риксдаге или занимать высокую должность!

— Молчите, Христиан, молчите! — шепотом сказал Гёфле, силой удерживая Христиана, которому не терпелось догнать своих противников и схватиться с ними. — Ни с места, или все пропало! Когда получите свое наследство, можете признать себя иноверцем, если вам заблагорассудится. А сейчас не поддавайтесь на этот вызов! Ведь никто не заметил, что комната, где мы находимся, вновь обрела квадратную форму!

— Что вы хотите сказать? — спросил Гёфле майор. — Мы могли бы хоть сейчас показать всем замурованную комнату, раз пресловутой часовни там нет!

— Могли бы, если бы сами предварительно не проникли туда, — ответил Гёфле, — но коль скоро мы там были, нас могли бы обвинить в сокрытии доказательств запрещенных обрядов!

Гафиня Эльведа приблизилась к Христиану и молвила с величайшей любезностью:

— Надеюсь, господин барон, что еще буду иметь удовольствие встретиться с вами в Стокгольме?

— Но опять при условии, — перебил он, — что я поеду в Россию?

— Нет, — ответила она, — поступайте так, как подскажут вам желания собственного сердца.

— Едет ли графиня Маргарита с вами в Стокгольм? — тихо спросил Христиан.

— Она, быть может, приедет туда, когда вы выиграете дело, если действительно дойдет до суда. Пока что она вернется к себе в замок. Так решено, этого требует предусмотрительность; но я по прежнему предлагаю вам место в моих санях, чтобы поехать в Стокгольм, где решится ваша участь.

— Благодарю, графиня, но я полностью завишу от моего адвоката, а он находит, что я ему еще нужен здесь.

— Итак, до свидания, — ответила графиня, покидая комнату под руку с послем, который шепнул ей в дверях:

— Весьма рад, что красавец барон не едет с вами!

Маргарита простилась с тетушкой у ворот Стольборга и отправилась с гувернанткой и семьей Акерстром в бустёлле пастора, чтобы отдохнуть там в ожидании отъезда. Она не обменялась с Христианом ни словом, ни даже взглядом; тем не менее они молча согласились друг с другом, что не расстанутся, не повидавшись еще раз.

Майор со своим отрядом и пленниками вернулся в новый замок, где ему надлежало дожидаться приказа свыше, дабы и дальше выполнять свои обязанности или сложить их с себя.

Даннеман с семьей воротился в горы, но Карин так и не признала в Христиане «дитя озера». Рассудок ее не мог столь быстро освоиться с событиями, и даже впоследствии, когда ее душевное состояние значительно улучшилось и она бессознательно почувствовала себя избавленной от терзавшей ее тревоги, Карин ни разу, встречаясь с Христианом, не узнавала его и обычно принимала за его отца, молодого барона Адельстана.

Было четыре часа утра; невзирая на привычку поздно ложиться в такое время года, когда ночи столь длинны, герои нашей повести так устали к этому часу от пережитых волнений, что погрузились в глубочайший сон, за исключением, должно быть, Юхана и его прихвостней, запертых в башне нового замка, где они в свое время держали под замком и мучили столько народу.

Но рассвет еще не забрезжил, когда Стенсон прокрался к постели Христиана; несколько мгновений старик в восторге смотрел на него, потом тихонько разбудил, не потревожив Гёфле.

— Вставайте, господин мой,— сказал он на ухо Христиану.— Я должен кое-что сказать вам — вам одному! Я жду вас в замурованной комнате.

Христиан поспешно и бесшумно оделся и, притворив за собой дверь, последовал за Стенсоном в пустую, полуразрушенную комнату, куда уже заходил вчера.

Тогда Стенсон обнажил голову и сказал:

— Здесь, господин барон, за этой деревянной обшивкой, на которой, как видите, выточен голубь, кроется тайна, узнать которую должно только вам...

Здесь ваша матушка велела тайно воздвигнуть алтарь пресвятой девы, ибо, это правда, она была католичкой. Исповедовать запрещенную веру в стране, где жила замужем, она не могла и сделала это тайком, боясь навлечь преследования на мужа. Пастору Микельсону не удалось ничего обнаружить, потому что алтарь был привезен втайне и сокрыт здесь проезжими итальянцами, которые выполняли другие работы по мрамору и дереву в новом замке. Только мне одному все было известно. В замке жил старик француз, ученый и к тому же католический священник, хотя о последнем-то никто не догадывался, он и приходил сюда тайно служить мессу; но ко времени, когда бедную матушку вашу начали преследовать, он умер, а итальянцы-рабочие давно уехали. Вам следует взглянуть на этот алтарь, господин барон, и, какова бы ни была ваша вера, взглянуть с должным уважением. Помогите мне нажать на потайную пружину, она, видимо, заржавела.

— Нет, это у вас, бедняги, распухли и болят руки,— сказал Христиан, поднося к губам израненные руки старика.

— Ах, не жалейте меня!— ответил Стенсон.— Руки-то заживут; я их и не чувствую, а все, что перенес,— пустяки, по сравнению с тем счастьем, что наконец пришло!

Христиан, по указанию Стенсона, сдвинул с места деревянную панель, а затем отдернул занавес золоченой кожи, за которым стоял белый мраморный алтарь в виде саркофага. Увидя, что Стенсон в глубоком волнении опустил на колени, Христиан спросил его: «Разве вы тоже католик, друг мой?» — на что старик покачал головой, хотя это предположение, видимо, не обидело его; по бледным щекам его медленно струились слезы.

— Стенсон!— вскричал Христиан.— Моя мать покоится здесь? Этот алтарь стал ее гробницей!

— Да,— отвечал старик, задыхаясь от слез.— Карин похоронила ее в белом платье и венке из ветвей кипариса, ибо в это время года не было цветов. Мы положили ее в гроб, пропитанный благовониями, а гроб вставили в этот безупречный саркофаг — точное подобие гробницы Христовой. Я сам накрепко заделал его со всех сторон, а потом замуровал комнату, дабы никто не проник сюда и не осквернил мо-

гины несчастной жертвы. Ваш недруг никогда не узнал, почему мне вздумалось заложить эту дверь. Он решил, что я боюсь привидений. Ведь он поверил, что я по его повелению и после отказа пастора похоронить по-христиански «эту язычницу» бросил труп бедной госпожи моей в озеро; но что бы там ни говорил пастор Микельсон, покойница была святой женщиной! Пусть она была иной веры, но она любила господа, творила добро и уважала верования других. Сейчас она на небе и молится за нас, а душа ее радуется, видя, что сын ее тут и стал таким, каков он есть!

— Ах,— молвил Христиан,— стало быть, счастья нет места на этом свете! Ведь я принес бы ей счастье, а ее уже нет в живых!

Христиан почтительно и с глубокой верой прикоснулся губами к гробнице, а потом, задержав занавес и поставив на место деревянную панель, спустился со Стенсоном в медвежью комнату.

Там Стенсон сказал ему:

— Не знаю, много ли вам придется потратить труда и времени, чтобы права ваши были признаны; но разрешите мне пока что вновь заделать стену в эту комнату. Как только вы станете здесь хозяином, мы перенесем гробницу в часовню нового замка.

— И мать моя будет погребена рядом с бароном Олаусом? Нет, нет, никогда! Коль скоро Швеция, лишив ее сперва воздуха и свободы, отказала ей в клочке земли, где могли бы покоиться ее кости, я увезу дорогие мне останки и схороню их под иным, благодатным небом. Богат я буду или беден, но я найду средства, чтобы вернуться с ними на берег озера в Италии, где поконится моя вторая мать, которая исполнила ее предсмертное желание и в великом горе своем имела возле себя по крайней мере сына, закрывшего ей глаза!

— Вам надлежит поступать спокойно и осмотрительно,— сказал Стенсон,— иначе права ваши будут попорчены. Когда-нибудь вы волены будете действовать, как вам заблагорассудится; но сейчас следует скрыть от ваших лучших друзей, даже от достойнейшего господина Гёфле, что матушка ваша исповедовала иную веру; с тем большим жаром будет он доказывать, что она не была католичкой. Да и вы

сами, если вы иноверец, никому об этом не говорите, иначе вам не восторжествовать над врагами!

— Увы!— сказал Христиан.— Стоит ли богатство всех предстоящих стараний, хитростей, на которые придется пускаться, сдержанности, под коей я должен буду скрывать негодование? Когда я пришел сюда три дня назад, Стенсон, у меня ничего не вошло, даже гроша в кармане! На сердце было легко, рассудок был ничем не обременен! Ни к кому я не испытывал ненависти и ни в ком ее не встретил! А теперь...

— А теперь вы будете не так свободны, не столь счастливы, я это знаю,— с суровой нежностью спокойно ответил старик.— Но зато вы принесете утешение и поддержку людям, перенесшим тяжкие страдания. И если вы подумаете об этом, вы обретете мужество для борьбы.

— Отлично сказано, дорогой мой Стенсон!— воскликнул Гёфле, который только что встал и услышал последние слова благочестивого слуги.— Тот, кто возлагает на себя известные обязанности, сковывает ноги свои цепями, а душу — горестями. Остается спросить, может ли человек, оказавшийся в расцвете сил перед лицом этих обязанностей и обратившийся в бегство, радоваться своей беззаботности и быть довольным собой?

— Вы правы, друг мой,— сказал Христиан,— делайте со мной все, что сочтете нужным. Клянусь, буду следовать вашим советам.

— И к тому же,— добавил Гёфле, понизив голос,— я полагаю, что Маргарита явится отрядным утешением в вашей трудной великосветской жизни!

Гёфле решил, что Христиану следует уехать из поместья Вальдемора, где он не мог предъявить никаких прав, пока секретный комитет риксдага не вынесет решения. Это был совершенно особый, тайный привилегированный орган власти, присвоивший себе право решать некоторые дела, подлежащие обычному судебному разбирательству, в особенности когда дела эти касались знати.

Христиан должен был ехать со своим адвокатом в Стокгольм, чтобы подать там прошение и ждать результатов.

Они вместе направились в пасторский дом, где Христиан в теплых и почтительных словах принес

благодарность пастору Акерстрому и возложил на него управление всеми своими владениями, надеясь, что уже имеет известное право так поступить, и справедливо предвидя, что этот его выбор будет впоследствии одобрен дворянским судом. Ему не удалось провести и мгновения наедине с Маргаритой, но, даже будь ему предоставлена возможность свободно изъясниться в своих чувствах, он не решился бы просить ее связать с ним свою судьбу, пока не уверился бы, что никогда более не превратится вновь в Христиана Вальдо. Тем не менее у Маргариты не было никаких сомнений относительно его намерений и окончательной победы, а потому она и уехала в свой уединенный замок, полная надежд, присущих юности, и доверчивости, свойственной первой любви.

Христиан отказался от завтрака в новом замке с майором и его друзьями. Те отлично поняли причину его нежелания являться туда и сами пришли в горд Стенсона, чтобы отобедать там с Христианом и Гёфле. Вечером их всех пригласил к ужину пастор. Маргарита уехала на следующий день; тогда же уехал и Христиан с Гёфле, который сам правил своим Локи, благодаря чему господин Нильс получил возможность сладко спать в течение всего путешествия, просыпаясь только для того, чтобы поест.

После двух недель, проведенных в Стокгольме, где Христиан, появляясь в обществе, держался с чрезвычайной осмотрительностью, сдержанностью и достоинством, Гёфле, жаждавший поскорее вернуться к себе в Гевалу, пригласил его туда, предлагая ему дожидаться там решения верховного суда — решения, возможно, весьма нескорого, ибо смерть короля и восшествие на престол принца Генриха (принявшего имя Густава III) внесли немало тревожных изменений в высшие сферы государственной жизни; но Христиан, понимая, что неопределенность его положения может затянуться на очень долгий срок, не пожелал жить на счет Гёфле и решил выполнить свой замысел и предпринять трудное путешествие с даннеманом Бетсоем к далеким, скованным льдом окраинам Норвегии. Чтобы не быть ничем обязанным славному даннеману, Христиан согласился принять от Гёфле скромную сумму, то ли в счет богатств, которые когда-нибудь достанутся ему по

наследству, то ли в долг, под будущий заработок. Он тепло распростился со всеми друзьями в замке Вальдемора и Стольборге и уехал с Ю Бетсоем вновь поручив своего любимца Жана заботам старика Стенсона.

ЭПИЛОГ

Христиану с лихвой хватило времени на путешествия. Несмотря на меры, принятые друзьями, и на непрерывные старания Гёфле, дело о восстановлении его в правах встретило столько препятствий со стороны партии «колпаков», к которой принадлежал барон Линденвальд, что даже деятельному и мужественному адвокату оно стало наконец казаться обреченным на полную неудачу. Русский посол, державшийся поначалу благоприятно, неожиданно круто изменил тактику по неизвестным причинам, а графиня Эльведа стала подыскивать других претендентов на руку своей племянницы. Гёфле добился рассмотрения дела в тайном совете молодого короля; но Густав III, уже замышлявший с чрезвычайной осторожностью грандиозный переворот, совершившийся в августе 1772 года, посоветовал отложить решение, не давая при этом никаких оснований для надежд, которые Христиан вправе был лелеять. По сути дела, в то время король не обладал еще всей полнотой власти.

После поездки с даннеманом Христиан в конце февраля получил от Гёфле известия, побудившие его продолжать в одиночку исследования северных областей Норвегии. Гёфле, видя, что у недругов Христиана имеется весьма могущественная поддержка, опасался его приезда в Стокгольм, где его могли вовлечь в ссору и погубить. Вспыльчивый нрав Христиана был ему хорошо известен, и он отлично понимал, что если молодой человек и одолеет одного-двух противников, он все же может пасть жертвой третьего. Слишком многие только и ждали, как бы вывести его из терпения и поставить к барьеру. Гёфле, разумеется, не привел Христиану всех этих доводов, а только советовал ему не рассчитывать на успех дела в ближайшее время.

Вместе с этим письмом Гёфле выслал Христиану

еще некоторую сумму денег, но тот принял решение не увеличивать свой долг. Отдавая себе отчет в шаткости своего положения, он нанялся рыбачить на Лофотенских островах, а в конце апреля написал Гёфле следующее письмо:

«Сейчас я оказался в одном нордландском селении и должен сказать, что чувствую себя на обетованной земле, хотя торп даннемана Бетсоя можно назвать Луврским дворцом по сравнению с моим нынешним жилищем, а его какеброэ, наверно, показался бы сдобной булочкой после хлеба из отрубей, который я здесь ем с величайшим удовольствием. Иначе говоря — довелось мне испытать немало лишений, не говоря уж об усталости и опасностях; зато я повидал самые величественные зрелища, какие только можно встретить во вселенной, самые суровые и впечатляющие явления природы: подводные бездны, куда устремляются и корабли и киты с такой же легкостью, как осенние листья, несомые холодным вихрем; незамерзающие реки, текущие среди вечных, натающих льдов; водопады, чей рев раздается на много миль вокруг; пропасти столь глубокие, что даже лось и олень не могут противостоять головокружению; снега, что тверже пароского мрамора, людей, что уродливее обезьян, айгелльские души в безобразных телах, гостеприимный народ, живущий в неслыханной нищете, терпеливых, кротких и благочестивых людей, ведущих нескончаемую борьбу с невообразимо могущественной и суровой природой. Разочарований не испытал я ни разу. Все, что я видел, изумляло меня безмерно и величием своим превосходило все мои ожидания.

Итак, я счастливейший из путешественников! Добавлю к этому, что здоровье мое выдержало все испытания, а кошелек наполнился в такой степени, что я могу рассчитаться с вами и еще остаться при деньгах; наконец, скажу еще, что, основательно изучив геологическое строение длинной горной цепи, я везу с собой редкие и ценные образцы пород, при виде коих прославленный доктор Стангстадиус иссохнет от зависти, и немало полезных наблюдений, которые могут принести мне, стоит только захотеть и приложить немного хитрости, звание кавалера Полярной Звезды.

Вы спросите, как случилось, что я так разбогател? Отвечу: цепой тяжких трудов, тысячу раз рискуя утонуть или сломать себе шею, скользя по краю бездны на длиннющих лыжах, которыми научился пользоваться, ловя рыбу на норвежских островах и продавая весь улов на месте, задешево, тому, кто обладает коммерческим талантом, и подвергая себя опасности кровавой мести моих собратьев, отказавшихся, впрочем, от расправы, когда поняли, что я скор на руку, а кулаки у меня увесистые.

Словом, теперь я направляюсь в Берген, куда хочу прибыть до распутицы, иначе застряну здесь на шесть недель из-за непреодолимых для человека снежных бур и лавин.

Прошу вас, лучшего из друзей и из всех людей на свете, не огорчаться, если дело мое будет проиграно. Чего-нибудь в жизни я все же добьюсь, а Маргарита тоже не богата, и мое «хорошее происхождение» дает мне право претендовать на ее руку несмотря ни на что. И потом, разве нет у меня вашей дружбы? Я прошу у неба лишь одного — иметь возможность взять на себя заботы о моем дорогом старике Стенсоне, если он лишится своего места и крова в замке Вальдемора».

Гёфле получил еще несколько писем в том же духе в течение последующих лета и зимы. Тяжба не двигалась, тем более что никакой тяжбы-то, собственно говоря, и не было, так как *самонадеянные наследники* вели тайную войну, куда более опасную, громоздя одно за другим неуловимые препятствия на пути рассмотрения дела тайным советом.

Меж тем Христиану начинала приедаться жизнь, столь полная неожиданностей и тяжких, утомительных трудов. Он не признавался в этом своему другу, но пылкая любознательность уже не влекла его вперед, как прежде. Сердечная склонность, пробужденная заново обманчивыми, быть может, надеждами, все чаще звала его навстречу мелькнувшему однажды счастью. «Страшная жизнь», как он говорил, не притупила его героической решимости и веселого, деятельного нрава; но душа его нередко молча тосковала, и настал наконец миг, когда, по выражению майора Ларсона, птицу, утомленную дальними пе-

релетами, тянет под благодатное небо, в надежное место, где можно свить гнездо.

Несколько раз Христиану пришлось испытать жестокую нужду, невзирая на ум и неутомимую деятельность. Жизнь путешественника — это цепь находок и потерь, неожиданных удач и лихих бед. Он зарабатывал только на хлеб, торгуя зверем и рыбой и выменивая одни товары на другие, скитаясь по трудным и дальним дорогам, требующим исключительного мужества и решимости; но как ни был сговорчив, правдив и великодушен молодой барон, он все же не родился коммерсантом, и прирожденная щедрость аристократа то и дело выдавала его инкогнито.

Непредвиденные обстоятельства не раз опрокидывали самые верные его расчеты, и случилось наконец, что он был вынужден осуществить отчаянный, героический план, некогда изложенный им майору на горе Блокдаль, иначе говоря — он отправился, подобно Густаву Вазе, работать в шахтах и, подобно этому герою романической эпохи, был в скором времени признан за «чудо-рабочего», в чем были повинны отнюдь не «расшитый ворот рубахи», а властность речи и огненный взор.

Христиан работал в шахтах Ророса, в самых высоких горах Норвегии, в десяти милях от шведской границы. Не прошло и недели, как сила и ловкость завоевали ему уважение всех его товарищей по труду; в это время он и получил от Гёфле письмо следующего содержания:

«Все кончено. Я был у короля, он чрезвычайно мил; но — увы! — я рассказал ему, кто вы такой, предъявил ему все доказательства, изложил ваши мысли о злоупотреблении дворянскими привилегиями и объяснил, какую пользу вы могли бы принести, помогая мужественному властелину-философу восстановить равновесие в правах его народа. Он выслушал меня с таким участием и пониманием, каких я не встречал ни у одного судьи, и сказал:

«Увы, господин адвокат, добиваться справедливости для угнетенных — великая задача; мне она не по силам. Я на этом погибну, как погиб мой несчастный отец, который из-за «них» безвременно сошел в могилу от усталости и скорби».

Густав добр, но слабovolен; умирать ему вовсе не хочется! Напрасно мы льстили себя надеждой, что он нанесет мощный удар по Сенату. Швеция погибла, и наше дело тоже!

Вернитесь ко мне, Христиан. Я вас люблю и уважаю. У меня есть небольшое состояние, а детей нет. Одно ваше слово, и я отдаю вам половину моих клиентов. Вы превосходно владеете шведским языком, у вас есть дар красноречия. Вы изучите наш свод законов и станете моим преемником. Жду вас».

— Нет!— воскликнул Христиан, прижимая к губам письмо своего великодушного друга.— Мне лучше, чем он думает, известны скудные возможности этой страны и ущерб, который понесет этот достойный человек вследствие нашего с ним объединения! К тому же свод законов надо изучать годами, и, стало быть, в течение всех этих лет мне, человеку сильному и молодому, придется жить за счет того, кто нуждается в отдыхе и благополучии после столь длительной борьбы и усталости! Нет, нет, руки у меня еще крепкие, и они будут служить мне, пока волею судеб мне не будет дано пустить в дело свой ум.

И он вернулся на рудник, где ему приходилось трудиться от рассвета и до заката при свете крохотной лампочки, среди сернистых паров, несшихся из бескрайних глубин, долбить медную жилу, залегающую в недрах земли.

Однако прошло еще несколько дней, и участь его стала несравненно более легкой. Без всяких усилий с его стороны начальники заметили и оценили его образование и способности и стали поручать ему руководство некоторыми работами. Будучи весьма знающим, скромным и трудолюбивым человеком, он тратил свой досуг на обучение рабочих. Однажды он начал бесплатно читать курс начальной минералогии, и эти грубые парни внимательно слушали его, видя в нем товарища по труду и в то же время уважая его рассудительность и знания. Помещением для этих лекций служила одна из огромных выработок, обычно носящих, по прихоти рудокопов, разные громкие названия, а кафедру заменяла глыба медной руды.

Христиан силился обрести счастье в труде и пре-

данности окружающим людям, ибо человеку свойственно вечно стремиться к счастью, даже принося себя в жертву. Он ходил за больными и ранеными, пострадавшими в шахте. Появляясь всегда первым там, где надо было с героическим мужеством оказать помощь в случае несчастья, он в то же время учил рабочих, как избегать грозивших им страшных опасностей, соблюдая разумную осторожность. Он пытался смягчить их нравы и побороть их роковую страсть к водке — причину нередкой в их среде чудовищной поножовщины.

Он завоевал всеобщую любовь и уважение; но жалование его целиком уходило на поддержание калек, сирот и вдов.

«Решительно я родился знатным барином, то есть, в моем понимании, защитником угнетенных! — часто твердил он себе, бесконечно долго спускаясь в бабье на дно шахты. — Вот почему мне заказана жизнь при свете солнца!»

— Христиан, — окликнул его однажды инспектор, наклонясь над чудовищной пастью шахты и крича в рупор, — брось-ка на время свой молоток и выйди встретить гостей, пришедших осмотреть шахту. Будь за хозяина, друг мой, а то мне недосуг!

Как всегда в таких случаях, Христиан велел зажечь под землей большие смоляные факелы и пошел навстречу гостям; но, узнав пастора Акерстрема с семьей и лейтенанта Осборна, шедшего рука об руку со своей молодой супругой Мартиной, Христиан передал свой факел старику шахтеру, сказав, что ему свело руку судорогой, и попросил проводить гостей вместо него. Затем он низко надвинул на лоб просмоленную шапку и стал поодаль, радуясь от всего сердца счастливому виду друзей, но не желая быть узнанным, из боязни огорчить их, а также из стремления скрыть от людей, знакомых с Маргаритой, свое положение.

Послушав их оживленную, веселую беседу, он собрался было удалиться, как вдруг госпожа Осборн обернулась и спросила:

— А Маргариты все нет? Неужели трусиха так и не решилась пройти по мостику?

— По которому вы сами прошли с превеликим страхом, дорогая Мартина! — ответил лейтенант. —

Но вы напрасно опасаетесь за нее, ведь с ней господин Стангстадиус!

Христиан, позабыв о своей мнимой судороге, бросился по крутому наклонному ходу, который вел к деревянному мостику, поистине внушавшему страх; по нему-то и предстояло пройти Маргарите в сопровождении Стангстадиуса, известного своим умением падать, но отнюдь не способного уберечь от падения других.

Маргарита стояла в нерешительности, опасаясь головокружения, в то время как мадемуазель Потен храбро следовала за Стангстадиусом, чтобы подбодрить свою подругу.

Лейтенант воротился, чтобы помочь Маргарите и успокоить свою жену, но раньше, чем он успел подойти, Христиан бросился вперед, подхватил Маргариту на руки и молча перенес ее через подземный поток.

Маргарита, разумеется, не видела его лица, так как крепко зажмурилась, чтобы не взглянуть ненароком в бездну; но в тот миг, когда Христиан опустил ее на землю возле друзей и хотел убежать как можно скорее, Маргарита, все еще не оправившись от пережитого страха, пошатнулась, и ему пришлось взять ее за руку, чтобы отвести подальше от пропасти.

Пальцы его, почерневшие от работы, оставили след на светло-зеленой перчатке девушки, и Христиан увидел, как она, мгновение спустя, тщательно стерла пятно платком, сказав гувернантке:

— Скорее дайте что-нибудь этому бедняге за то, что он перенес меня!

«Бедняга» поспешил удалиться с тяжелым сердцем; он не осуждал молодую графиню за пристрастие к чистым перчаткам, но огорчался, что уже не может похвастаться белизной рук.

Он вернулся в кузницу, где под его наблюдением и по его замыслу, одобренному инспекторами, изготавливались новые, усовершенствованные инструменты и, как всегда, сам приложил руку к этой работе, но не прошло и часу, как он услышал, что гости возвращаются с прогулки, и не мог справиться с желанием снова увидеть молодую графиню. Еще на мостике он заметил, что со времени их разлуки она стала чуть выше ростом и так похорошела, что могла свести с ума самого подслеповатого и угрюмого из всех циклопов.

Голоса звучали еще вдалеке, и поэтому Христиан смело направился в штольню, где должны были пройти гости, как вдруг он оказался в ярко освещенном переходе, лицом к лицу с Маргаритой, шедшей впереди всех, ибо страх ее рассеялся и она уже почти что свыклась с оглушительным гулом и суровым видом этих новых для нее мест. При виде Христиана она вздрогнула: ей почудилось, что она узнала его; он поспешил нахлобучить шапку и этим окончательно выдал себя.

— Христиан!— воскликнула она.— Это вы, я уверена!

И протянула ему руку.

— Не прикасайтесь ко мне,— сказал Христиан.— Я перепачкан копотью и дымом.

— Ах, не все ли равно, раз это вы!— отвечала она.— Я все теперь понимаю! Рудокопы, провожавшие нас, столько рассказывали о каком-то Христиане, большом ученом и славном работнике, неизвестного рода, но сильном, как крестьянин, и благородном, как яри, образце мужества и дружеской преданности. Так вот, нашим друзьям и в голову не пришло, что речь, возможно, идет о вас; в Скандинавии так часто встречается имя Христиан! Но я-то подумала: «Есть только один такой Христиан, и это он!» Дайте же мне руку, ведь мы с вами по-прежнему брат и сестра, не так ли?

Как мог Христиан тут же не позабыть о столь маловажной обиде, как стертая с перчатки пятно? Маргарита протянула ему руку без перчатки.

— Вы не краснеее за меня, видя, чем я занимаюсь?— спросил он.— Вы верите, что не беспутство привело меня сюда? И что я работаю вовсе не затем, чтобы наверстать время, потраченное в праздности и безумствах?

— Я ничего о вас не знаю,— ответила Маргарита,— кроме того, что вы сдержали слово, данное вами некогда майору Ларсону, стать скорее рудокопом или охотником на медведей, чем продолжать заниматься неприятным мне делом.

— Но ведь я, Маргарита, тоже ничего о вас не знаю,— сказал Христиан,— кроме того, что тетушка ваша, должно быть, хочет выдать вас за барона Линденвальда, одержавшего, очевидно, верх над мной в нашей тяжбе.

— Вы правы,—засмеялась Маргарита.— Таким путем тетушка собирается утешить меня после смерти барона Олауса; но раз вы так хорошо умеете угадывать, вам, вероятно, известно, что я вообще не намерена выходить замуж.

Христиан понял это решение девушки, и надежды его вновь возродились.

В глубине души он дал себе клятву разбогатеть, пусть даже придется для этого стать себялюбцем! Но что он ни говорил, Маргарита не согласилась с его желанием сохранить инкогнито перед лейтенантом и семьей пастора, нарушившими их уединение.

— Это он!—воскликнула девушка, подбегая к ним.— Это наш друг из Стольборга, слышите? Это он, тот самый Христиан, кормилец бедняков, герой шахты; барон, лишенный титула, но зато обладающий честью и добрым сердцем! И если вы не так рады его видеть, как я...

— Мы все ему рады!—вскричал пастор, пожимая Христиану руку.— Он здесь подает истинный пример благородства и подлинной веры.

Христиан, осыпанный ласками, похвалами и вопросами, обещал поужинать в деревне со своими друзьями, собиравшимися провести тут ночь перед возвращением в поместье Вальдемора, где Маргарита недели две гостила в пасторском доме.

Они хотели тотчас же увести с собой Христиана, но он, с одной стороны, не был так волен распоряжаться своим временем, как они полагали; с другой стороны, ему хотелось, вопреки, быть может, свойственному ему здравому смыслу, непременно переодеться, пусть в простое, но безусловно чистое платье. Итак, встреча была назначена на вечер, и Христан вернулся к своим занятиям, счастливый и взволнованный.

Однако бурные, противоречивые мысли то и дело овладевали им. Следует ли ему упорствовать в фантастических надеждах на разделенную любовь? Расположение, искренно и непосредственно выраженное Маргаритой, являло собой скорей всего мирную, дружескую привязанность, не знающую душевного смятения и стыдливого румянца. Разве могла любовь проявляться столь откровенно, столь смело и радостно? И он то корил себя за самонадеянность и безумие, то обвинял себя в неблагодарности:

внутренний голос подсказывал ему, что, как бы ни обошлась с ним судьба, Маргарита всегда с готовностью разделит его участь.

Наконец он бросил работу и, отдавая, как всегда, предпочтение перед долгим подъемом по лестницам и наклонным ходам бадье и шкивам, где у него никогда не кружилась голова, уже собирался мгновенно взлететь из мрачной бездны к выходу, навстречу видневшемуся краешку неба в переплете ветвей рябины и сирени, как вдруг столкнулся с рудокопом, который уже встречался ему накануне в забое, хотя и не состоял в бригаде рабочих, возглавляемой теперь Христианом.

Никто из товарищей Христиана не знал этого человека.

То ли по небрежности, то ли нарочно, он до такой степени перемазался копотью и так нахлобучил на лицо рваную широкополую шляпу, что черты его невозможно было разглядеть, да Христиан и не приложил к этому особых стараний. Возможно, подумал он, человек этот принадлежит к числу так называемых стыдливых рабочих (как бывают стыдливые бедняки, одержимые чувством, прямо противоположным стыду, а именно молчаливой гордостью). Поэтому он не стал обращать внимания на таинственные повадки незнакомца и дал, как всегда, свисток, чтобы предупредить рабочих, управлявших подъемным механизмом, а затем указал неизвестному на свободное место рядом с собой в бадье, полагая, что тот собирается подняться вместе с ним; но незнакомец остановился, как бы в замешательстве. Сперва он было ухватился руками за край бадьи, будто собирался влезть в нее, потом задержался, осматриваясь по сторонам.

— Вы потеряли свой инструмент?— спросил Христиан, отметив про себя неповоротливую, грузную фигуру этого человека, не похожего на других рудокопов, проворно и умело влезавших всегда в бадью.

Едва он произнес эти слова, как незнакомец тотчас же туда забрался, проявив больше решительности, чем ловкости, словно звук голоса Христиана подстегнул его, и стал молча ждать, пока тот свистнет вторично.

Христиан решил, что человек этот не понимает по-норвежски, а так как сам он теперь владел чуть

ли не всеми северными наречиями, он попробовал задать незнакомцу несколько вопросов, но безуспешно! Тот оставался безмолвным, словно у него отнялся язык от страха, когда бадья повисла над бездной. Подъемная машина эта, как известно, представляет собой подобие бочки, охваченной крепкими железными обручами, и требует умелого управления в особо глубоких выработках. Христиан, отлично освоивший этот способ передвижения, маневрировал с исключительной ловкостью. Стоя на краю, ухватившись рукой за канат, он слегка отталкивался то одной, то другой ногой от стенок колодца, чтобы не дать бадье удариться о них и разбиться; отказавшись от тщетных попыток вырвать хотя бы одно слово у своего спутника, он тихо запел венецианскую баркароллу, как вдруг нога его от сильного, предательского толчка потеряла точку опоры, и он вылетел из бадьи.

К счастью, Христиан был не только смел, но и осторожен, а поэтому, стоя в бадье, он, как всегда, крепко держался левой рукой за канат, благодаря чему он только соскользнул вдоль стенки, как корзина, подвешенная за ручку, но не сорвался; наконец же, взмахнув острым концом молотка, ударил по правой руке Христиана, ухватившегося за край бадьи. Еще мгновение, и он лишился бы если не жизни, то уж руки наверняка, если бы под тяжестью его тела бадья внезапно не накренилась. Ноги его, висевшие в воздухе, ударились о другую бадью, спускавшуюся навстречу, и он с такой силой оттолкнулся от первой, что убийца вынужден был сам уцепиться за канаты, чтобы, в свою очередь, не вывалиться. Этого было достаточно, чтобы Христиан сумел уцепиться за канат встречного подъемника и, перепрыгнув в него, стремительно взвиться кверху, в то время как первая бадья еще с большей скоростью понеслась вниз, унося с собой злодея. Уже поднявшись к выходу из шахты и ступив на деревянный настил, Христиан услышал какой-то глухой рев, доносившийся из бездны, и одновременно увидел с собой рядом улыбающееся нелепое лицо Стангстадиуса, явившегося ему навстречу со словами:

— Эй, дорогой барон, скорей, скорей же! Без вас не садятся за стол, а я умираю от голода!

— Но что же такое случилось?— не отвечая ему,

воскликнул Христиан, обращаясь к рабочим, управлявшим подъемником.— Где вторая бадня? Где этот человек?

— Канат лопнул!— ответил один из них, сопровождая эти слова отборной руганью, с притворным возмущением, в то время как другой шепнул на ухо Христиану:

— Молчите! Мы сами отпустили канат!

— Что? Вы сбросили этого несчастного? Помешанного?

— Никакой он не помешанный,— ответил рабочий.— Целых три дня он все искал случая остаться с тобой с глазу на глаз. Мы за ним следили и сразу поняли, что он затеял. На всякий случай мы пустили тебе навстречу другую бадью, а что касается первой — развалилась она, вот и весь сказ!

Христиан знал, что в те времена на рудниках нередко вершили такой скорый суд и расправу, без всяких проволочек. Известно было ему и то, что в этом подземном мире людям немолодым случается впадать в беспричинное иступление; тем больше сожалений и тревоги вызвало у него все случившееся. Он опять спустился в шахту, взяв с собой Стангстадиуса, который по праву хвалился, что может судить о подобных катастрофах *ex professo*¹. С ними спустились еще два рудокопа, дабы, по их словам, удостовериться в происшествии, а на деле — чтобы припрятать труп и тем самым избежать объяснений с рудничными инспекторами.

— Что ж!— сказал Стангстадиус, осмотрев при свете факелов обезображенный труп.— Готов! Мне в свое время больше повезло, чем ему; но, клянусь богом, составлю-ка я записку об опасности применения канатов для рудничных подъемников. Слишком уж много несчастных случаев... Подумать только, ведь я сам...

— Господин Стангстадиус!— перебил его вдруг Христиан.— Посмотрите на этого человека! Разве вы его не узнаете?

— Ей-богу, узнаю!— воскликнул Стангстадиус.— Редь это почтеннейший Юхан, бывший мажордом барона Вальдемора. Вот занятная встреча, а? Ну,

¹ Со знанием дела (лат.).

не велика потеря! Он в темнице во всем сознался: ведь это он убил когда-то бедного барона Адельстана... кстати... да, вашего отца, дорогой Христиан! Этот Юхан в свое время был рудокопом в Фалуне и уже тогда слыл за негодяя. Видимо, ему удалось удрать из тюрьмы; но, стало быть, ему на роду написана смерть от веревки!

И Стангстадиус, в восторге от собственной остроты, увлек Христиана вон из шахты, а рудокопы, бросив труп в давно облюбованное ими «*in расе*»¹ в самом отдаленном забое, преспокойно занялись починкой бады.

Христиан поспешил к себе, в скромное жилище, которое нанимал в деревне, чтобы переодеться. Там его ждало письмо от Гёфле:

«Все спасено!— писал он.—Король действительно добр, как я и говорил, но вовсе не слабоволен, как я думал. Это такой молодец, что... Но не в этом суть. Приезжайте немедленно! Будьте в Вальдемора двенадцатого числа; там один из моих друзей сообщит вам приятное известие. До скорой встречи, дорогой барон!»

Христиан ничего не сказал об этом письме своим друзьям, ожидавшим его к ужину у пастора Ророса, гостеприимно и сердечно предоставившего свой дом в распоряжение пастора из поместья Вальдемора и его друзей. На несколько мгновений Христиану удалось остаться наедине с Маргаритой и ее гувернанткой. Он держался смелее, чем раньше, и решился заговорить о любви. Мадемуазель Потен хотела помешать ему, но Маргарита, в свою очередь, остановила ее.

— Христиан,— сказала она,— я еще недостаточно знаю, что такое любовь, и не понимаю, какую разницу вы видите между этим чувством и тем, что я испытываю к вам. Знаю одно, что я вас уважаю и ценю, и если когда-нибудь обрету свободу, а вы к тому времени еще сохраните свою, я разделю вашу участь, какова бы она ни была. Я немало потрудилась с тех пор, как мы расстались; теперь я сумею

¹ Место упокоения (лат.).

давать уроки или вести чьи-нибудь бумаги, подобно другим неимущим девушкам, живущим своим трудом и не видящим в этом ничего зазорного: возьмите, к примеру, мадемуазель Потен де Жервиль, девицу из знатной семьи, вынужденную жить за счет собственных способностей и не только не потерявшую, а еще выигравшую от этого в глазах поистине благородных людей; доказательство тому,— добавила она, нежно и лукаво взглянув на свою гувернантку,— ее тайная помолвка с майором Ларсоном; она только и дожидается моей свадьбы, чтобы отпраздновать свою.

Мадемуазель Потен было нечего возразить Маргарите. Она сердилась на Христиана за то, что тот все еще добивался любви молодой графини, хотя дело его было окончательно проиграно; еще более рассердилась она, увидев, что он присоединился к их маленькому каравану, чтобы вместе с ними переправиться через горную цепь и вернуться в Швецию через Идру и Блокдаль.

На следующий день, 12 июня 1772 года, Христиан увидел на горной тропе идущего к нему навстречу друга, о котором писал ему Гёфле; то был не кто иной, как сам Гёфле в сопровождении майора Ларсона.

Друзья обнялись, опьяненные радостью свидания, обменялись дружескими словами и отправились обедать в хижину даннемана, разукрашенную гирляндами диких горных цветов. Карин встречала их на пороге, еще смутно понимая, что происходит, и с трудом привыкая к мысли, что красивый молодой ярл и есть «дитя озера».

Обед был сервирован на открытом воздухе, под лиственным сводом беседки, откуда открывался великолепный вид на горы, некогда пленивший Христиана в морозный зимний день своей суровой и печальной красотой. Лето в горах недолговечно, но оно великолепно. Зелень сверкала не менее ослепительно, чем снег, а растения цвели столь буйно, что Христиану казалось, будто он перенесся в совсем иную местность и даже в иную страну.

Все оставались в горах до шести часов вечера. На сей раз гости уже не охотились на медведя, а сентиментально собирали цветочки на берегах быст-

ротекущих потоков, прислушиваясь к нежному шепоту и гулким раскатам этих бесчисленных голосов, спешивших, казалось, спеть все свои песни и вволю насладиться жизнью, пока зима снова не закует их во льды и эльфы поздней осени не превратят их в хрусталь.

Христиан чувствовал себя очень счастливым, но все же ему не терпелось поскорей увидеть Стенсона; однако Гёфле настаивал на том, чтобы тронуться в путь, когда спадет жара. Солнце в это время года садилось только после десяти часов вечера, а три часа спустя вставало снова, и краткие звездные сумерки не пускали ночную мглу на летний небосклон.

Адвокат приготовил Христиану сюрприз. Едва повеяло вечерней прохладой, подкатила повозка со стариком Стенсоном, сияющим, помолодевшим и почти избавившимся от глухоты — то ли благодаря летнему теплу, то ли от возвращенной ему радости и веры в жизнь. Он привез решение комитета риксдага, признавшего права Христиана, а также письмо от графини Эльведы, негласно позволявшей Гёфле отдать руку ее племянницы новому барону Вальдемора.

Возвращаясь в замок вместе со своим «дядюшкой» Гёфле и глядя счастливыми глазами на экипажи милых своих друзей, один за другим следовавшие по извилинам живописной дороги, Христиан почувствовал, как его охватывает, несмотря на радость, глубокая меланхолия.

— Я слишком счастлив, — сказал он адвокату, — мне хотелось бы умереть сейчас. Боюсь, как бы жизнь, которая открывается передо мной, не оказалась помехой простому и чистому счастью, являвшемуся мне в мечтах.

— Вполне возможно, друг мой, — ответил Гёфле. — Ведь только романы кончаются вечной фразой: «Они жили долго и счастливо». Участие в жизни общества, весьма бурной в наши дни, в особенности в высших его слоях, куда вы вступаете, принесет вам немало огорчений. Мы стоим, несомненно, на пороге каких-то удивительных событий. Я почувствовал как бы предвестие этого во время моей последней аудиенции у короля. На этот раз он показался мне одно-

временно и великим и грозным. Полагаю, что он готовит некий взрыв, который многих людей поставит на свое место; но захочет ли и сможет ли он удерживать их на этих местах? Может ли создать что-либо прочное революция, опережающая ход времени и человеческой мысли?

— Не всегда,— ответил Христиан,— но она всегда остается вехой в истории; пусть даже она в дальнейшем и потерпит неудачу, какой-то прогресс будет все же достигнут.

— Стало быть, вы и впрямь встанете за короля против Сената?

— Безусловно.

— Видите, значит, вы в помыслах своих вовсе не бежите от бури, а ищете ее. Ну, что ж, таков инстинкт молодости и роковой удел человеческого ума! Что касается меня, я приветствую все, что избавит нас от влияния России и Англии... Но как же, черт возьми, вы собираетесь принять участие в государственной деятельности, если откажетесь принять веру своей страны? Нет, нет, молчите; позже вы сами поймете, что подскажет вам совесть и чего потребует от вас долг отца и гражданина.

— Долг отца?— воскликнул Христиан.— Ах, господин Гёфле, вот в чем мое счастье, я это чувствую! Боже мой! Как я буду любить детей, которых мне подарит эта честная, смелая девушка, передав им не только свою прелесть и красоту, но и свойственные ей бескорыстие и искренность!

— Да, да, Христиан, вы найдете счастье в кругу семьи. Вы заслужили его своими заботами о несчастной Софии Гоффреди. Вы постройте жизнь свою на звездский лад, у себя на земле, в полном благополучии, на лоне величавой и суровой северной природы. Вы осчастливите всех, кого ваш предшественник разорил и обидел. Наука и искусство будут процветать возле вас. Вы сами займетесь воспитанием своих детей. С самого рождения эти плутишки будут окружены любовью и заботой; они будут расти вместе с детьми Осмунда и Осборна. А я собираюсь возможно дольше не расставаться со своей работой, оттого что стану чересчур болтливым и раздражительным, если брошу судебную деятельность; но каждый год буду проводить отпуск у вас. Мы с ва-

ми будем наперебой баловать старика Стена и бедняжку Карин; мы будем строить воздушные замки в области политики, мечтая о безоблачном союзе с Францией и объединении всей Скандинавии для противодействия честолюбивым замыслам России. А по вечерам мы возьмемся за burattini и станем развлекать нашу милую детвору, собравшуюся в замке, кукольными спектаклями, где я надеюсь помериться силами с прославленным Христианом Вальдо, оставившим по себе столь чудесную, веселую память!

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Фесенко. На пороге удивительных событий.	3
СНЕГОВИК.	11

Жорж Санд

СНЕГОВИК

**Ташкент
Главная редакция
издательско-полиграфического
концерна «Шарк»
1993**

Ответственная за выпуск *С. Тарбеева*
Редактор *В. Шаповалов*
Художественный редактор *М. Аглямов*
Технический редактор *Г. Ломиворотова*
Корректор *Л. Русакова*

Сдано в набор 06.07.93 г. Подписано в печать 21.10.93 г.
Формат 84×108^{1/2}. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. п. л. 27,72. Уч.-изд. л. 29,8. Тираж 100000 экз.
Заказ № 2201.

Типография издательско-полиграфического концерна
«Шарк»
700083, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41.

В 1994 году Главная редакция издательско-полиграфического концерна «Шарк» продолжит издание серий **«АРХИВ ФРАНЦУЗСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ»**, **«ТЕНИ ЛЮЦИФЕРА»** и **«ШЕДЕВРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ»**.

«АРХИВ ФРАНЦУЗСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ»
пополнится книгами:

Клод Фаррер. Последняя богиня.
Поль де Кок. Женщины, игра и вино.
Жорис-Карл Гюисманс. Там, внизу.

В серии **«ТЕНИ ЛЮЦИФЕРА»** выйдут следующие издания:

Октав Мирбо. Сад пыток.
Иуда Искарот (произведения русской и зарубежной литературы о предателе Христа).
Насилие (сборник зарубежных детективных романов, исследующих природу насилия).

Серия **«ШЕДЕВРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ»**
будет продолжена романами:

Георг Эберс. Иисус Навин.
Морион Кроуфорд. Крестный путь.
Вальтер Скотт. Пират.

Главная редакция ИПК «Шарк» планирует в 1994 году начать выпуск новых серийных изданий: **«ЖЕМЧУЖИНЫ МАЛОГО ЖАНРА», «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».**

ЖЕМЧУЖИНЫ МАЛОГО ЖАНРА

Новелла неизменно очаровывает своих почитателей волшебной занимательностью фабулы и острой коллизий, экзотичностью тем и необычайной стремительностью изложения. Преимущество короткого динамичного повествования — в цельности впечатления, в той колоссальной власти, которую получает автор над душой читателя.

Задуманная серия «Жемчужины малого жанра» позволит широкому читателю познакомиться с подлинными шедеврами новеллистического жанра, способными удовлетворить самый взыскательный вкус.

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Среди английских прозаиков едва ли найдется хоть один, который не писал бы новелл. Различны творческие принципы, манера и стиль Киплинга, Джером К. Джерома, Уэллса, Честертона, Уайльда и т. д., но роднят их вечные темы: трагические надломы человеческой психики, столкновение добра и зла, чувств высоких и низких.

В сборник вошли лучшие английские новеллы XIX—начала XX вв.

ВРАТА ДЬЯВОЛА

Форма стремительного повествования, острота сюжета, парадоксальность финала настолько типичны для американской литературы, что новелла по праву считается американцами национальным жанром, выдвинувшим целую плеяду изумительных рассказчиков — Э. По, Марка Твена, Д. Лондона, Э. Хэмингуэя и др., новеллы которых составили предлагаемый сборник.

БЛЕФ

Жизнь всех сословий Франции, показанная сквозь призму острых психологических конфликтов, выступает в предлагаемых новеллах, исполненных блеска и гармонии. Загадочность, непостижимость человеческой жизни, драматические повороты судьбы освещаются силой таланта таких признанных мастеров этого жанра, как Мериме, Мопассан, Бальзак, Стендаль и др.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Серия «Устное народное творчество» ставит своей целью близкое знакомство ребят с бесценными памятниками русского фольклора. Мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, волшебные и бытовые сказки воплотили ум и достоинство русского народа, его многовековой опыт и мудрость.

СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В сборник «Сказки для малышей» вошли наиболее известные народные сказки, которые ребенок слышит от старших в первые годы своей жизни.

ДИВО-ДИВНОЕ

Книга волшебных сказок «Диво-дивное» поможет ребятам младшего школьного возраста, уже умеющим читать, самостоятельно совершить увлекательное путешествие в чудесный, таинственный мир русских сказок.

ПЕСНИ ВЕЩЕГО БАЯНА

«Песни вещего Баяна» — сборник русских былин, поэтическая красота, величавость которых покоряют читателя надолго. Русские богатыри-воины Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, великан Святогор, купец-гуслир Садко, буян Васька Буслаев воплотили народные идеалы силы, мужества, справедливости, любви к родной земле.

МАГИЯ СЛОВА

«Магия слова» — это сборник русских народных песен, игр, незаслуженно забытых сегодня, загадок, пословиц, поговорок, представляющих своего рода тесты на сообразительность, оригинальность мышления, умение увидеть и выразить в обыкновенном необыкновенное.

Значительное место в портфеле Главной редакции ИПК «Шарк» отведено переводной литературе. В 1994 году будут выпущены следующие книги:

Ван Вогт. Путешествие космического Бигля.

Описание экспедиции в самые таинственные недра Вселенной, сопряженной с постоянным риском для членов экипажа «Бигля», донесет до читателя смертельный холод и очарование межзвездного мира.

Роберт Силверберг. Замок лорда Валентина.

Главному герою Силверберга суждено преодолеть на опаснейшем пути к некогда утраченной власти бесчисленные преграды, за каждой из которых таится смерть. Схватки с оборотнями и чудовищным драконом, мрачный лабиринт не останавливают его. Но герою предстоит финальная битва...

Томас Уайт. Король на все времена.

Весь мир восхищается этой книгой, повествующей о короле Артуре и его сверкающем Камелоте, о Мерлине, Сове и Гуинivere, о говорящих зверях и людях, умеющих летать, о черной магии и войне. Это шедевр жанра «fantasy», которому были обязаны своим вдохновением многие писатели.

Роберт Грейвс. Граф Белизарий.

Исторический роман о временах расцвета Римской империи прославленного английского классика развернет перед читателем величественную панораму кровопролитных сражений, подвигов и любви.

А. А. Фэйр. Окно в спальне.

В книгу вошли два романа А. А. Фэйра, под именем которого скрывается знаменитый «король детектива» Э. С. Гарднер. Как всегда, отличительная черта его произведений — головокружительная интрига и присутствие героя, любящего поиграть со смертью.

**Дафна Дю Морье. В когтях страха.
Мэри Стюарт. Полые холмы.**

Скрип половиц в кромешной темноте, захлебывающиеся крики о помощи, давящая атмосфера страха зачаруют воображение читателя. Мастерски написанные готические романы двух английских писательниц стали классикой этого жанра.

**Мадлен Лэнгл. Морщина времени.
Ширли Джексон. Лотерея.**

Две именитые американские писательницы представляют жемчужины «психологического триллера». События первого романа замешаны на фантастическом элементе, а в сюжетную канву второго вплетены страхи повседневной жизни.

Джим Анджер. Карикатуры

Задавшись поначалу целью уморить своими блистательными рисунками Америку, Джим Анджер распространил затем эпидемию смеха на весь мир. Пришла и наша очередь.

С вопросами и предложениями обращайтесь
по телефонам:

33-69-86— Главный редактор

33-58-72— агентство распространения печати.